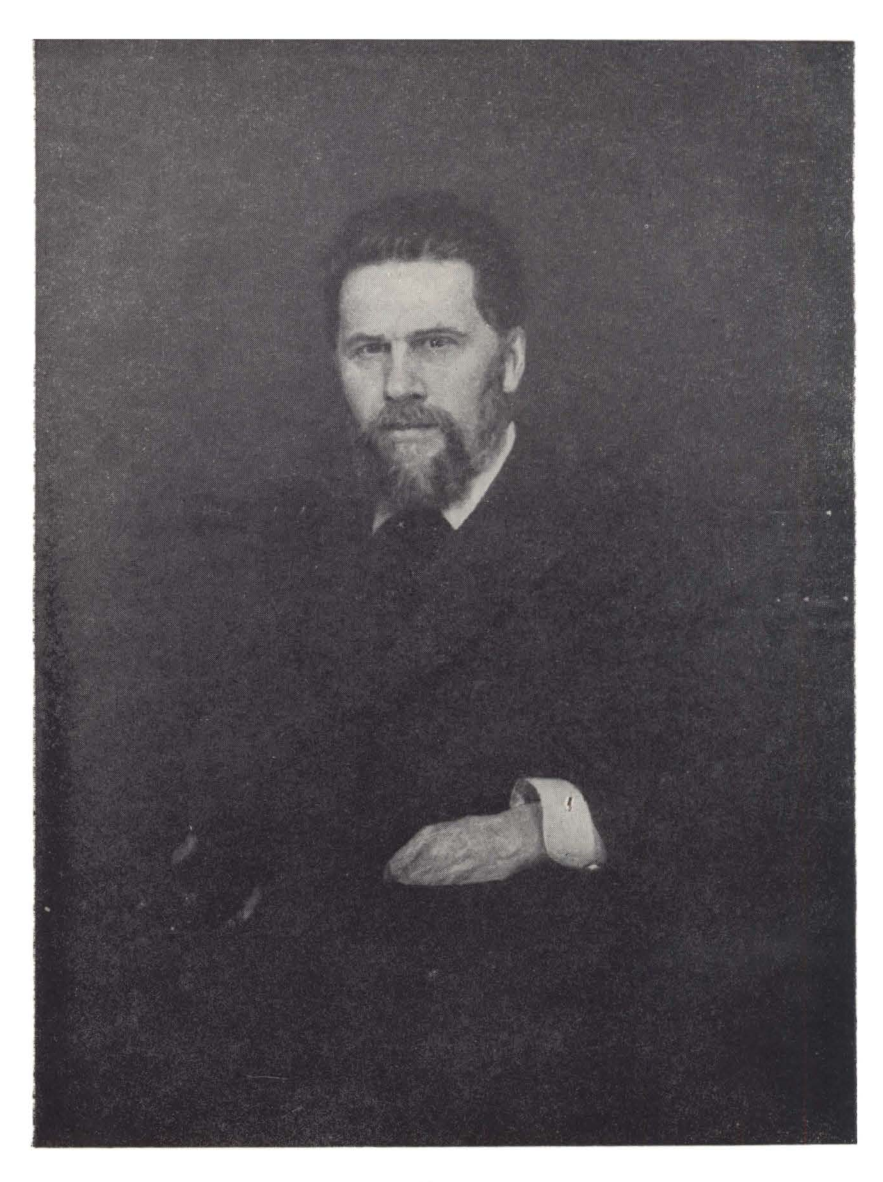
ПЕРЕПИСКА И. Н. КРАМСКОГО ②

ПЕРЕПИСКА И. Н. КРАМСКОГО

2

ИСКУССТВО



И. Н. Крамской
1837—1887

Портрет работы И. Е. Репина ГТГ

ПЕРЕПИСКА

И. Н. КРАМСКОГО

②

ПЕРЕПИСКА С ХУДОЖНИКАМИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ИСКУССТВО"
МОСКВА
1954



Письма подготовлены к печати
и примечания к ним составлены
научными сотрудниками
Государственной Третьяковской галлереи
и Государственного Русского музея
Е. Г. Левенфиш, О. А. Лясковской,
Ф. С. Мальцевой, Г. В. Смирновым.
Общая редакция примечаний
С. Н. Гольдштейн.

ОТ РЕДАКЦИИ

Во второй том настоящего издания переписки И. Н. Крамского (первый том вышел в свет в 1953 году: Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1869—1887) включена переписка с художниками Ф. А. Васильевым, И. Е. Репиным, В. Д. Поленовым и К. А. Савицким, имеющая наиболее полный двухсторонний характер.

Письма Крамского к Васильеву и Репину хранятся в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (за исключением двух писем Крамского к Репину — от 3 августа 1873 года и от 23 ноября 1880 года, хранящихся в Архиве Академии художеств СССР), письма к Поленову и Савицкому — в отделе рукописей Государственной Третьяковской галлереи. В основном публиковавшиеся ранее, письма Крамского в данном томе пополнены, главным образом, в разделе, посвященном переписке с Поленовым.

По сравнению с предшествующими публикациями, ряд уточнений внесен в тексты писем Васильева, хранящихся в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, и в тексты писем Репина, хранящихся в отделе рукописей Государственного Русского музея. Находящиеся в отделе рукописей Государственного Русского музея письма Поленова и Савицкого, в незначительной своей части опубликованные ранее, в настоящем издании впервые публикуются полностью. Переписка Крамского с Васильевым, Поленовым и Савицким впервые публикуется как встречная.

Письма печатаются по новой орфографии, но с сохранением своеобразия языка корреспондентов. В квадратные скобки включены восстановленные авторские сокращения и недописанные слова.

Даты писем для единообразия во всех случаях перенесены в правый верхний угол письма. Восстановленные даты заключены в квадратные скобки.

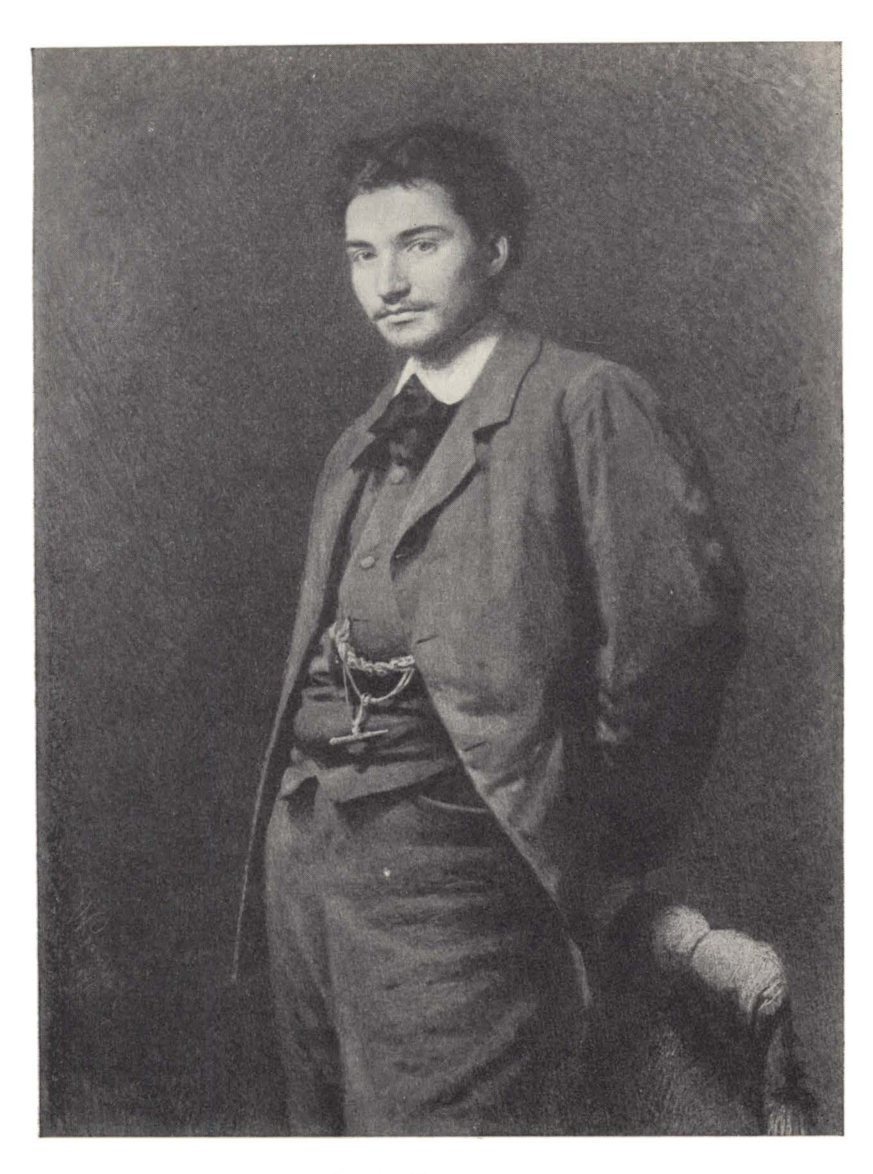
Письма Крамского к различным корреспондентам, которые будут опубликованы в последующих томах, а также ответные письма этих корреспондентов в примечаниях к данному тому цитируются без отсылки к предшествующим публикациям, но лишь с обозначением точной даты.

Названия изданий, неоднократно встречающихся в тексте примечаний, обозначены при первом упоминании полностью, при последующих — сокращенно.

ПИСЬМА

ПЕРЕПИСКА
С
Ф. А. ВАСИЛЬЕВЫМ

1871—1873



Ф. А. Васильев
1850—1873

Портрет работы И. Н. Крамского ГТГ

1871

1. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ [1]

Спасите!!!!!
из «Гибели фрегата Медуза»
Ментору * (в Биржевом переулке)
От Телемаха (из 2-й линии)
(ввиду того обстоятельства, что на словах наговоришь вздору более, нежели напишешь).

Слезное прошение

Великая потреба порешить с Академией, о! vanitas-vanitatum [3], заставляет прибегнуть к Вам с просьбой, родимый, не откажите; подсобите (не Вашими руками) нарисовать пару *хороших* голов и, и, и... что еще посоветуете [4]. На случай мысли: «чего же сам мямлит» — ариф[метическая] задача. Внимание и терпение разделить на сотню ярлыков, букв, перепи... [неразборчиво] и пр. много ли в остатке, если за ухо не притянет к делу никак не оскудевающая Шуйца (а время летит на крылах... как там это говорится, в хороших-то книжках)? Всуе советующий Нецветаев [5], mersi, не оставляет, но, увы, «прискорбна есть душа моя даже до смерти».

— Так как, Иван Николаевич, а?

Поможете? я уж скажу спасибо то самое, за которое мучник три года работал.

Отставной член «Общества вольных шелопаев»

Нахал —

Сим и пат писуюсь.

---

* В пятницу приду за ответом.
Honny soit qui mal y panse [2].

2. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

11 июня 1871 г.

Добрый мой Федор Александрович!

Вот уже и 11 июня, а я все в Петербурге. Расскажу по порядку — и Вам станет ясно. Вы уехали 23 или 22 мая [1]. Софья Николаевна [2], как Вам известно, приподымалась, и после Вас было все лучше и лучше, но потом, уж бог знает отчего, воротилось все старое, да так сильно, что я стал опять ко всему готовиться. — Словом, история была проделана сначала. Теперь опять, слава богу, поправилась, и я могу вздохнуть свободно. Но так как четыре недели были вычеркнуты, и я не работал, как Вам известно, то работаю волом и завтра, самое позднее послезавтра, я кончу проклятых великих людей [3]. Одурел: по три портрета в день. Потом перевезу семью на дачу, потом укладываюсь — и к Вам. Впрочем, в Москве придется пробыть дня два. Вот каковы дела. Пожалейте меня сугубо. Того мало, что Вы написали, ибо я без Вас скучаю. Знаете ли Вы, что у нас летом, т. е. на нашем полушарии, будет потоп? Это я предсказываю: к берегам Африки приплыла льдина из южного полюса, величиною в два раза больше Франции. Известие это помещено в одном ученом издании. Вон что! Впрочем, это до нас не касается, т. е. я буду у Вас. Софья Николаевна Вам шлет свой привет. До отсроченного свидания, Ваш поклонник

И. Крамской

3. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

1 августа 1871 г.
Хотень (Харьковская губерния)

Дорогой мой Федор Александрович!

Вот Вам моя Одиссея (виноват, впрочем, я дурак, что не писал о всех приключениях, но кто ж знает будущее? Мы ведь хотели ехать в Крым в конце августа). К 29 июня только поправилась Софья Николаевна настолько, что можно было рискнуть перевезти на дачу. Портреты, которые я работал, чтобы получить деньги, все кончены были; оставалось немногое: получить деньги. Пишу Дашкову раз, два, три, портреты уложены, ждут, телеграфирую — ничего. Узнаю уже от Исеева [1], что Дашков уехал за границу именно тогда, когда у меня все готово; короче, надул: тихонько через Петербург проехал! Раз! Что мне делать? Как быть? Три месяца ничего другого

не делал, да, как Вы знаете, в семье было не совсем благополучно! Но ведь нужно же было как-нибудь. Я перед Исеевым расходился, что ведь это чорт знает что такое. Он мне предлагает на первый раз, чтобы уехать, 400 рублей. Я, конечно, взял, но что такое 400 рублей. Это только временное обеспечение семьи, а мне нужно именно столько, сколько нужно. 11 июля я выехал, наконец, в Москву, думаю, ведь он, может быть, распорядился там, да еще и в храме спаса, может, что-нибудь состоялось [2]. Дашков, разумеется, никаких распоряжений не сделал, а в храме спаса эскиз мой лежит неутвержденным и другие тоже, потому что преосвященный Леонид сделал замечания и не утвердил. А денег нет, заметьте. Я начинаю вести две линии: достать презренный металл и поймать Леонида, который то на даче, верст за пятнадцать, то в Москве; наконец, поймал его в городе, когда ему действительно было некогда, а завтра ему нужно ехать в епархию. Я говорю: остаюсь неделю и жду. Он обещается выбрать время для объяснения со мной и дать мне знать непременно. А государь должен утверждать эскизы в августе — следовательно, в противном случае, отлагается дело на год. Проходит неделя: нет Леонида; восемь-девять дней нет, наконец, жду — завтра будет. Завтра известие, что он остался в монастыре еще на несколько дней, около шестидесяти верст от Москвы. Я, не медля ни минуты, туда. Нагрянул, объяснился, потом поправил эскиз, еще раз виделся с ним, добыл несколько денег (5 августа возвращается Дашков из-за границы, и мне деньги высылают сюда, в Хотень [3]) и 30-го из Москвы телеграфировал сюда. Еду. Наконец, милые Новоселки. Смотрю и думаю: а ведь, пожалуй, и Федор Александрович здесь встретит и задаст головомойку, — ну, да что было, то прошло, слава богу, приехал. Остановка, выхожу. Нет его. Вечереет, багаж мой вынули. Какие-то лошади стоят, тройка, — нет Васильева. Почуял я что-то недоброе. Поезд тронулся дальше. Ну, что ж! Сам виноват, слишком долго, вероятно, тебя ждали. Спрашиваю на станции: нет ли лошадей из Хотени? Есть, говорят. Обрадовался, слава богу. Конечно, жаль, что он не встретил, но что за нежности, пожалуй, пропал где-нибудь на охоте и не знает, что я приехал. А может быть, бедный, нездоров. Все бывает. Подходит парнюга и говорит: «Мы Вас второй день ждем здесь с лошадьми». Конечно, и это внимание. «Вот, говорит, Вам записка». «Записка?» — «Да». Читаю: «Федор Александрович Васильев выехал в Ялту, имение императрицы, 18 июля», и красным карандашом приписка: «Ивану Николаевичу Крамскому». Рука старческая. Вот-те раз! Записка как бы приглашает не останавливаться здесь,

да я бы так и сделал, если бы поезд стоял с полчаса. Ну, надо ехать. Повезли меня... Ночью приехал. Когда садом подъезжали к дому, все проверял Ваши рассказы: действительно, ночью делает впечатление сказочное. Чай готов. Опять внимание. Ночью ждал привидений — не пришли. Утром милый Дементий говорит, что Федор Александрович пили молоко, а потом чай. «Ну, коли он так делал, то и я сделаю». 10 часов утра. Солнце, сад передо мною — и ни души, только шумят деревья. Чорт знает, что такое! Такое чувство охватило меня: и хорошо-то здесь очень и тяжело мне очень. Вот она, природа! Остаться здесь и кончать «Ночь» [4] не в силах буду, настроившись известным образом работать не одному. Ехать сейчас, сию минуту в Ялту — значит не кончить картины, но ответа Вашего я все-таки подожду здесь. А, между прочим, сейчас начинаю писать одну штуку, которая мне вчера пришла в голову за чаем под впечатлением приезда [5]. Мне кажется, сюжет ого-го! Если его сделать понятным, может страшно сделаться. Итак, жду, пока Вы не напишете. Чорт знает, поразительное впечатление: окно растворенное, которое Вы, вероятно, знаете, зеркало на столе, и Ваша эта комната с мольбертом и подрамками, которую Вы оставили меньше двух недель. Правда, Вы думали, что я и совсем не приеду, хотя если бы это мне сделалось известным, то немедленно и Вам, а так как планы не расстраивались, а только отлагались, то я и ждал не сегодня-завтра, не сегодня-завтра, и вот дождался... а деревья, подлецы, дружно, дружно шумят! Воображаю, что Вы вынесли, ожидая меня, так как и Ваши планы не осуществились, особенно под конец, когда Вы потеряли терпение. Я даже не извиняюсь, потому что извинение ни поправить, ни воротить ничего не может, а о чувстве моем Вы, вероятно, и сами не сомневаетесь. Я не могу сделать этого заведомо, зная что-нибудь вперед. Итак, ожидаю ответа.

И. Крамской

4. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

21 октября 1871 г.
Петербург

Дорогой мой Федор Александрович!

Вот, наконец, и устроилось все. Не знаю, как Вы находите, а по-моему, хорошо; вот разве не окончательно устроено с домом, как мне говорил Нецветаев [1], отложено на время, а у него так ноги и чешутся приняться за это дело; говорю: ноги, по-

тому что он это в самом деле сделает ногами. Он рад сделать хоть что-нибудь для Вас, как он говорит. Извините, что не мог исполнить до сих пор Ваше поручение относительно красок и книг, но и то и другое я высылаю, и надо полагать, что Вы все это получите еще во-время, т. е. успеете еще и начитаться и наработаться, но не думайте, однакож, что я потому и не выслал с Вашей мамашей, что полагал: успеется. Нет, не потому, а потому что на книги нужно было, — ну, да все равно, что нужно было; дело в том, что виноват, и только.

Здесь все обстоит благополучно, т. е. так же, как и всегда: погода мерзость, винограда нет, и волн не наблюдаю, и все стараюсь в настоящее время поймать луну. Говорят, впрочем, что частица лунной ночи попала-таки в мою картину, но не вся [2]. Трудная штука — луна. А «Охотник» [3] произвел впечатление некоторое — нравится, а Софье Николаевне особенно: и как лицо, и как охотник. Ге [4] написал прекрасную вещь, «Петра», которого Вы видели начало, да и я был уверен в этом, он тут на месте, как никто, пожалуй. Григорович [5] завертелся кубарем, когда узнал, что Вы обращались к Третьякову [6], да что ж делать, дело сделано, не воротишь, и, может быть, возвращать не стоит. Оно хорошо так. Ему пуще всего Третьяков, везде он суется, но когда я ему сказал, как это было, то он, повидимому, стал спокойнее [7]. Впрочем, он Вам сам хотел писать, да, вероятно, уже и написал, не так как я. А чем же, впрочем, я поступил худо, что долго не писал? Но может случиться, что я и еще дольше писать не буду — это со мной случается, да и с Вами случается. Каково теперь в Крыму? Все еще тепло? Это любопытно. Здесь такая мерзость, что и не расскажешь, да Вы и сами знаете. А вы, небось, продолжали похаживать к Клеопину [8] добрейшему за виноградом и прочими сластями, а теперь, небось, приучаете и Романа [9]? Знаете, по правде сказать, я тут-таки частенько вспоминаю, точно сон, пребывание мое в Крыму: Клеопина, виноград. Но волны, вот как живые стоят передо мной, валы так и заворачиваются, так и шумят, шельмецы, а Федор Александрович все их чертит, да по законам физики старается уразуметь... Кстати, передайте Клеопину (можете себе представить — забыл его имя, Александр Николаевич, кажется) мое искреннее почтение и поклон и скажите, что я его вспоминаю. Евгения Ивановна Иконникова [10] все еще не уехала, она то едет, то нет, не знаю, как теперь она думает, — я ее не видел недели две. Она все говорит, что тотчас же уедет, как только почувствует хуже. Но я не знаю, что же ей еще хуже нужно, как это есть. Я полагаю, впрочем, что причина, как мужа оставить одного, он, пожалуй, избалуется, Яков

Михайлович-то[11]? Однако ручаться ни за кого нельзя. Я и не ручаюсь. Я надеюсь, дорогой мой Федор Александрович, что Вы сообщите мне что-нибудь хоть в нескольких строках, как там Вы устроились и где зимовать будете: у Рыльского[12] ли или в другом месте, и как идет Ваше горло? Краски, ей-богу, я высылаю; уже они запакованы. Я знаю, как это Вам неприятно, но Вы утешайте себя следующей мыслью: если мне человек сделал неприятность, я догадываюсь, что, значит, он меня любит. Русские все так, а мы — русские.

Савицкий[13], Репин[14] и прочие Вам кланяются. У них хорошие программы и, конечно, получат. Макаров[15], по-моему, далеко слабее их; у убогого Урлауба[16] недурно, украдено, а недурно. Господь его прости, у него в голове ведь ничего нету, так ведь надо же. Поленов[17] — колорист решительный, но плох относительно всего остального. Кланяюсь Вашей мамаше. Как ей понравилось в Крыму?

До свиданья. Не забывайте любящего Вас

И. Крамского

5. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

8 ноября 1871 г.
С.-Петербург
Оказывается из письма С[офьи] Н[иколаевны], что сегодня одиннадцатое число.

Дорогой мой Федор Александрович!

Письмо Ваше доставило нам истинное и чистое удовольствие. Мы с С[офьей] Н[иколаевной] сидели в кабинете и так кое о чем рассуждали, вечером, сейчас после обеда, и тут-то Вы к нам прилетели, другого выражения нельзя дать этому, так это было весело. Не делайте мне выговоров, что я, заваленный грудами портретов, забыл черную точку на горизонте. Этого, Вы сами знаете, не может быть. Ведь и в то время, когда Вы выводили эти строки, Вы не были уверены, что пишете правду, зачем же это делать? или уж чувство без фраз не обходится? Ну, да это пусть так останется. У меня есть вещи более интересные, чтобы сообщить Вам. Здесь был Перов[1], несколько дней, как проводили его только. Пробыл он почти неделю, и его приезд поднял между нами, т. е. выставляющими на Передвижной выставке, такую кутерьму, что мы едва еще дышим, и я собрался Вам даже сообщить об этом, как только приду в себя. Дело в том, что работаю я себе мирно однажды, ломаю голову, как бы это справиться с луной, как вдруг И. И. Шишкин[2] и Перов! Я струсил. Ну,

думаю, попался. Но он — ничего, расхвалил так, что я уж и нить потерял, что нужно сделать и как нужно сделать. Словом, приехал *«папа»* московский! Кисти в сторону, позавтракали да к Ге. Ну, там уже Перов присмирел и от впечатления не говорил. И[ван] И[ванович] тоже видел в первый раз его картину, и надо сказать, что, кажется, оба они не ожидали, что нашли [3], а я только потираю от удовольствия руки. Что, думаю себе, каково, мол! То-то! Словом, картина огорашивающая! — выраженьем, да и прочим. Так-то мы прихватили еще Бессонова [4], где Перов остановился, да в «Мало-Ярославец», да как начали обедать, как начали, да до двух часов ночи и прообедали. И я редко когда проводил так хорошо время. А на другой день обедали все у Ге, на третий у меня, а потом у Бессонова, а потом еще у Клодта М. К. [5], — словом, дальше уже было некуда. Но любопытнее всего весь тот перепуг, который Академия выказала перед нами, по поводу предстоящей выставки [6]. И кончила тем, что сама предложила залы для нашей выставки, а раньше того Общество поощрения художников [7], так что мы просто выбирай любое [8]. Боголюбов [9] же так совсем снизошел со своего величия и униженно при Перове упрашивал Ге слиться с тем обществом, которое, Вы знаете, он устраивал в Академии [10]. Но в бессилии, наконец, говорит: «Ну, хорошо, так и быть, я пойду к вам. Примете?» Ге и Перов говорят: «Очень рады, представьте картины, мы будем баллотировать!» Каково! О ужас, о унижение! И грома и молнии за сим не последовало, и боги Олимпа не наказали дерзких титанов?

Выставка наша состоится через недели полторы или две. Из Москвы двадцать три картины, да здесь около двадцати — вот и все, но Перов и Ге, а особенно Ге, одни суть выставка. Итак, вперед!

Репин, Зеленский [11], Поленов, Макаров и Урлауб получили 1-е золотые медали. У всех вышло настолько хорошо, что Совет не мог никому из них отказать. Только Макарову и Урлаубу, как слабейшим, с условием посылки за границу на три года, а не на шесть, и не сейчас, а когда будут деньги [12]. Савицкий и Кудрявцев [13] получили тоже свое, Ковалевский [14] тоже. Итак, все довольны, и Академия и воспитанники ликуют — ну, и бог с ними!

Что касается Нецветаева, то я его видел третьего дня, он от Вас тоже получил письмо, и мы тут говорили о разных предстоящих ему пассажах, но все то, что он намерен сделать, мне кажется хорошо, и я ему только сказал, что если он действительно любит Вас, как он говорит, то ему предстоит теперь случай доказать это. И он это сам понимает так, сколько

я заметил. Вы знаете, что я не особенно расположен к нему, и скорее готов видеть дурное, чем хорошее. Но в данном случае — он золотой человек. Затем, прибавлю от себя, что если б Ваши интересы потребовали, то я немедленно Вам сообщу, как мне кажется. Я еще ничего не знаю, что я Вам сообщу, да и не знаю, о чем именно я сочту нужным написать Вам. Но говорю на всякий случай, для Вашего спокойствия. На все махните рукой, да и господь с Вами, работайте, а главное — выздоравливайте. Я, впрочем, не мог себе и представить, чтобы природа распорядилась в ущерб нам, т. е. Вашему здоровью. Итак — в Египет, пожалуй, и это недурно [15]. С Григоровичем я увижусь завтра и попробую его. Вы говорите, что он чудесный, и я верю Вам, даже знаю, что это так — с Вами. И успокойтесь поэтому, Вам никто повредить не может. Это верно. Я это здесь отлично вижу. В будущем Вам повредить и не прочь, может быть, но поодиночке ни у кого силенки не хватит, а всем собраться для такого дела, Вы понимаете, унизительно: это каждый понимает. Успокойтесь, это ничего, это признак, что Вас забыть никто не может, хотя и по разным причинам.

Что касается «Охотника» [16], то пока он отложен, во-первых, потому, что кончаю «Ночь» [17], во-вторых, потому, что начинаю «Христа» [18]. На обратном пути я был в Бахчисарае и видел все, что мне нужно, и, признаюсь, видел вещи именно такие, какие мне нужно [19]. Прекрасно. Что касается Евгении Ивановны, то махните на нее рукой, она сама не знает, что она хочет, и несмотря ни на что тает, тает и тает, и понимаете, чем это кончается. Никто с нею ничего сделать не может. Сегодня она едет, завтра нет и т. д., словом, жаль. Четверги [20] начались, хотя и в Артели [21], но Артель еще принизилась, ее не видно и не слышно. Дети у меня спрашивают, что Роман, ест виноград? Кстати, когда будете писать, если будете, то черкните несколько ответов на первое мое письмо, которое теперь уже должны получить давно. Написать разве: любящий? Ах ты, господи, ведь Софья Николаевна просила оставить место! Вот тебе и оставил!

И. Крамской

6. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

6 декабря 1871 г.
С.-Петербург

Дорогой мой Федор Александрович!

6 декабря! Вот уже сколько времени миновало. Боюсь я, что мы с Вами долго не увидимся, и боюсь потому, что, как

я заметил, все близкие по мыслям люди, вследствие разнообразных условий своей жизни и живя врозь, сохраняют только идеальное согласие, а на практике, при ближайшем сравнении прошлого с настоящим, оказываются такими же далекими, как и совершенно посторонние между собой... Но что уж тут горевать, дай-то бог, чтобы Вы поправились, а там пусть будет, что будет, лишь бы искусство было не в потере. Передавал я Григоровичу все, что Вы писали: он, по обыкновению, замахал и руками и ногами, но только ему нужно напоминать, и я ему напоминаю. Что касается Ваших домашних обстоятельств, то слухи есть, что молодой человек, которому оставлена по ошибке доверенность, что-то там натворил и будто бы многих вещей не оказывается, и, к сожалению, Нецветаев, не имея доверенности, ничего предпринять не в силах, а так и горит, и надо полагать, что он бы управился. Ну, да это пока вещь поправимая, если только Нецветаев скоро вступит в права управляющего. А потому я спокоен: мне он говорил, что Вы уже выслали или высылаете доверенность [1].

Теперь поделюсь с Вами новостью. Мы открыли выставку с 28 ноября, и она имеет успех, по крайней мере Петербург говорит весь об этом [2]. Это самая крупная городская новость, если верить газетам. Ге царит решительно. На всех его картина произвела ошеломляющее впечатление [3]. Затем Перов [4], и даже называют Вашего покорнейшего слугу, и я рад, что с таким сюжетом окончательно не сломил себе шею, и если не поймал луны, то все же нечто фантастическое вышло [5], — словом, кажется, недурна выставка. «Охотника» Ник. Кор. [6], нашего милого, сравнивают, как Вы думаете, с кем? Ни больше, ни меньше, как с портретом Кнауса «Рабенека» [7]. Лестно! Но, дорогой мой, как грустно, как грустно, если бы Вы знали, что нет пейзажиста у нас. Пейзаж Саврасова [8] *«Грачи прилетели»* есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов [9] (приставший) и барон Клодт [10], и И[ван] И[ванович] [11]. Но все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в «Грачах». Грустно! Это именно заметно особенно на такой выставке, где резко выражается индивидуальность, где каждая картина должна выражать нечто живое и искреннее. Всех вещей сорок две, и все хорошие, но выделяющихся пять, шесть, и это, согласитесь, много, особенно принимая в соображение выставки академические.

Случился перерыв, выпил чаю, а там Софья Николаевна поет детям, укладывая: «По синим волнам океана... Пустынный и мрачный гранит... И молча в открытые люки чугунные пушки глядят» [12], — словом, уносит куда-то, мысли все спутались и продолжать письмо нет никакой возможности.

Голубчик мой, подождите... И как на зло затянула еще греческую, ту самую, которую Вы принесли к нам. Чорт знает, как жизнь распоряжается нами: ну зачем так случилось, что Вы заболели? Ну что хорошего в том, что Вы сидите в Крыму, и нигде нельзя в другом месте, т. е. я разумею под другим местом — там, где я живу, например. И потом, к чему служит то, что в кои-то веки напишешь Вам, а от Вас получить и не думай. Да хоть и получишь, то это будет когда? А тут именно теперь нужно видеть лицо, слышать голос, и хоть помолчать, и то хорошо. Неприятно. Грустно, что Вас далеко зашвырнуло. Теперь только я чувствую, что я, кажется, привязан чем-то к Вам! Иконникова приехала ли туда? Уж давно они уехали, наконец.

Кончу я письмо, ей-богу, кончу, допишешься, пожалуй, до объяснения в любви: глупо будет, неприлично в мои лета. Итак, до свиданья, дорогой мой.

И. Крамской

Кланяюсь низко Клеопину. Ольге Емельяновне [13] низко кланяюсь, дети целуют Романа.

7. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

27 декабря 1871 года
Ялта

Дорогой мой Иван Николаевич!

Ей-богу, не знаю, с чего начать. Получил я от Вас два письма и ни на одно еще не ответил — отсюда и путаница. Впрочем, перекрестясь, начну справа налево. С радостью встретил я строки о Передвижной выставке и ее успехе. Не стану распространяться, как я рад. Скажу, впрочем, о статье Стасова [1], помещенной в «Петерб[ургских] вед[омостях]». Первая статья, т. е. определение целой выставки, недурно, но все остальное, как-то: критика картин, особенно Ге, и *мысли* по этому поводу Стасова — просто бог знает, что́ такое [2]. Я уже не говорю о его отчаянных восторгах по поводу всех картин вообще. Этим он совершенно задавил то, что хвалил сначала. Определение целей выставки вышло хорошо только потому, что он, как это ясно видно, познакомился с ними, благодаря ясности гг. художников и их очевидной помощи в первой статье; но остальное, т. е. критика картин, представляло обширное поле для завиваний, и он им как нельзя лучше воспользовался и завивается, по обыкновению, с неподражае-

мым жаром. Но ведь это все портит, портит еще более, чем прежде, потому что серьезность и действительно прекрасные цели общественных движений художников — не прежние, гремящие и пустословные, предприятия и требуют, чтобы о них говорили публике не увлекающиеся цветами красноречия ораторы, сквозь речь которых часто слышатся старые побрякушки и балаганство, а люди, вполне понимающие, зачем они говорят, и кому говорят, и о чем. Если бы я не имел Ваших писем, то ничего не вынес бы из этой статьи, даже быв прежде знаком с планом Передвиж[ной] выставки. Да письмо Нецветаева больше имеет смысла и толково проводит по выставке [3]. Ну, да ведь это все старая песня, и сколько ее ни пой, без времени ничего не сделаешь. (Ради бога, расшибите меня самым энергическим образом, если я тут заврался; прошу об этом, как о милости: ведь мое настоящее положение — чорт знает что такое!) Вы пишете, что «даже упоминают Вашего покорнейшего слугу»... Но зачем это «даже»? Ведь «покорнейшего слугу» упоминали и прежде, и прежде «покорнейший слуга» собственными глазами видел кучи любопытных у своих портретов. Что же касается того, что Вы удивляетесь, как не сломали себе шеи, то этому Ваш почитатель нисколько не удивляется, а скорее не понимает: как можете Вы думать, что у Вас тоненькая шея и что «Майская ночь», имея не больше полутора аршин и ста фигур, может сломить ее? Это точно непонятно, и если бы не существовало на свете скромности, то я совершенно встал бы втупик и уж ничем не в состоянии был бы объяснить Вашего «даже»... Что касается до «Охотника» [4], то утешьтесь, если этим можно будет утешиться: его никто все-таки до сих пор не понимает как следует. Это я отсюда вижу. Впрочем, мало ли что я отсюда вижу. (Экая у него, у Васильева, наглая самоуверенность; — от редактора). Вижу, например, что теперь в Вашу, ищущую чего-нибудь поэтичного, душу «Прилетели грачи» [5]. Я их и не видал, а уж наверно знаю, что они не долго там будут, в Вашей т. е. душе, и что Вы скоро скажете: «улетели»! И удивительного, ей-богу, ничего не будет, потому что грач самим господом богом так устроен, что долго жить на одном месте не может. Еще Вы пишете: «Пейзажа нет. Тут и Боголюбов, и Клодт, и И[ван] И[ванович], но все это — деревья, вода и даже воздух, а душа только в „Грачах". Грустно». А я прибавлю: еще бы! Еще как грустно-то! В «Грачах» души больше, чем в Клодте, Боголюбове и Ив[ане] Ив[ановиче], скажу в довершение всего [6].

Много радости, но много и горя принесла мне эта выставка. Радости — потому, что осуществилось то, в чем

я чуть-чуть был замешан [7], и горести — оттого, что я сам не могу гнаться вместе с Вами, сброшенный сердитым вихрем и засыпанный пылью, сквозь которую даже не видать моих горьких слез. О! судьба, судьба! Скверное, душное мое настоящее; далеко и невозвратно мое светлое прошедшее, моя юность; будущее...

Жизнь моя, мое настоящее существование, рисуется мне так: большие, старые хоромы, сырые и холодные, покрытые пылью, в них рождающеюся, существующие только прошедшим и, благодаря прошедшему, не разваливающиеся.

Однако и довольно! Это можно про себя держать. Ветошью-то никого не удивишь; да ведь Вы и не подумаете, что я на удивление пишу, и если не будете сочувствовать, то уж смеяться наверное не будете. Я ведь тут опять болен был, потому только и не отвечал Вам, как бы это мне ни было приятно. В голове страшно шумит, глухота напала; да, много всякой мерзости, а то бы я Вам написал целую книгу, так что недели на две достало бы чтения. Нет мочи! Завтра допишу.

Продолжаю. Рекомендую Вам Константина Николаевича Филиппова [8]. Он желает познакомиться с новыми художниками. Для этого Вы должны, милостивый государь, съездить с Константином Николаевичем на *четверги* [9], ибо только этим способом можно вполне удовлетворить его желанию. О том же прошу и Ивана Ивановича. Вообще примите его достойным образом, как он того и заслуживает.

Жизнь наша идет здесь, как Вы, я думаю, и подозреваете, скучно. Однообразие невыразимое! Еще хорошо, что могу теперь понемногу работать. Погоды здесь, месяца полтора, стоят вроде петербургских — дожди, грязь и холод; даже мороз один раз доходил до 2 град[усов]. Все это я, впрочем, пишу по рассказам, не имея возможности собственною персоною проверить, все ли подлинно и верно. Уже два месяца, как не выхожу. Евгения Ивановна [10] серьезно сердита на всех, кто ей советовал ехать в Крым. Она не на шутку хандрила первое время и была уверена, что если бы осталась в Петербурге, «то прожила бы еще года два» (?!). Теперь ей лучше, и она начинает мириться. Доктора говорят, что у нее чахотка в самом начале (поражено очень левое легкое, вверху) и что если она будет беречься и проживет здесь зимы три, то ей в конце этого срока можно будет жить уже и в Петербурге лето и зиму. Что же касается до Вашего покорного слуги, то он два почти месяца ведет самую отчаянную жизнь, не смея выходить даже в другую комнату. На основании этого не стану предполагать, что со мной будет. (Я об этом, впро-

чем, всегда самого дурного мнения, хотя доктор и говорит, что только бы горло, горло, да не было бы холодов, а то все исправимо; а горло-то у меня меняется чуть не каждый день. Ну, да это все пустяки). Ромка отрастил свою морду так, что летом, пожалуй, лопнет. Жаль, что нельзя сказать этого о мамаше; у нее, бедной, столько хлопот, что я не знаю, что мне и делать.

Григорович пишет, что в Комитете [11] *«было говорено»* о моей отправке за границу, для окончательного излечения, на два года, и что все единогласно объявили свое участие и полное согласие. Комитет думает предложить это мне в *марте, после конкурса,* который *возьму, конечно, я.* Просто начинают привыкать к этому и не допускают мысли, чтобы *Васильев мог провалиться.* А Васильев как тут и провалится. Это почти не подлежит сомнению, а почему — тому следуют пункты. Во-первых, время на написание картины, ее укупорку и пересылку — у меня два месяца. Это ужас! Во-вторых, если я и переворочу эту преграду, то воздвигается вторая, в виде моей мастерской («см. прилагаемый политипаж») [12]. Как затейливо свет располагается на холсте! Право, иногда любо смотреть. Жаль, что нельзя нарисовать рефлекса, который преждевременно обращает картину в сторублевые ассигнации. О! мой ужас перед отсылкою картины в Петерб[ург] будет невыразим! Еще ко всему всегда чорт дернет заковырнуть что-нибудь замысловатое. В настоящем случае я желаю изобразить утро над болотистым местом [13]. (Впрочем, не думайте, что это настоящее болото — нет, настоящее-то впереди, а это только приготовления). О болото, болото! Если б Вы знали, как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия. Ну, ежели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящейся водой утра? Ведь у меня возьмут все, все, если возьмут это. Ведь я, как художник, потеряю больше половины! Но, довольно. Ей-ей, навертываются слезы. Слезы? Неужели это знак примирения в этом случае?.. Нет! Боже мой, бумага в конце, а и десятой доли не написано. Каких, каких мыслей не толпится в голове! И холодные, как мертвецы, и горячие, как первая любовь! Но мертвых, холодных — больше. Какие картины! Только написать их нечем: не выдумали. А впрочем, и пущай. Если я еще два года проживу здесь, то через несколько времени Вы получите уже стихами писанное письмо; спустя еще месяц, два — смесь из драм, од, элегий, очерков: физиологических, психологических и, наконец, философических. Последние будут означать, что Вы еще получите одно письмо, кончающееся чем-нибудь совершенно однородным с шишкой

алжирского бея. Кончаю и решительно не прикину ни одного листика. Вспоминайте иногда истинно Вас уважающего и искренне любящего

Ф. Васильева

Скоро напишу еще. Так и кажется, что самое главное забыл. Забыл, голубчик мой, поблагодарить за Ваше устройство моей посылки за границу. Вы, должно быть, приперли хорошо Дмитрия Васильевича-то [14]. Впрочем, благодарят всегда только тогда, когда снова о чем-нибудь хотят просить.

1872

8. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

1 января 1872 г.
СПБ

Дорогой мой Федор Александрович!

И что это от Вас нет весточки? Или Вы больны, или Вы уж очень здоровы? С последним я готов бы был помириться, если бы и совсем Вы забыли, что я существую, но только в этом единственном случае. В этот день поздравляют с Новым годом, и я бы готов был Вас поздравить, если бы возможно было немедленно, сию минуту это сделать. Но ведь это письмо придет, когда Вы уже к новому году привыкнете. Итак, это можно обойти, а лучше сообщить Вам новости из далекого севера и, как хотите, из умственного центра. А жаль, что Вас нет. Вы не последний человек, о котором вспоминают при всех вопросах интересных и живых. Дело в следующем: Стасов написал статью, говоря о Передвижной выставке, задел Артель [1] тем, что сказал: «Артель к стыду своему устранилась от этого движения, оно совершилось помимо нее» [2]. Артель прислала опровержение в редакцию, в котором говорит, что Стасов нанес ущерб Артели своим отзывом в «Петерб[ургских] ведомостях». Опровержение это было напечатано, но не все [3]. Она обратилась в «Голос» с требованием — напечатать все сполна [4]. В этом опровержении говорится, кроме того, что она, занятая своими делами, не могла принять участия; притом, наученная восьмилетним опытом, считает нужным строго держаться того круга действий, который она себе избрала. Потом тут же сболтнула, что Артель не есть замкнутое общество, а что она имеет вечера, где бывают профессора Академии, и что все новое и живое обсуждается на них; дается нахлобучка Стасову, что он послушался наущений какой-то темной закулисной и озлобленной на Артель личности [5] и что он был введен в заблуждение этой личностью, а что к проекту о Передвижной выставке она отнеслась сочувственно [6]. Члены четверговых вечеров сейчас же после этой

статьи Артели, видя, что она бесцеремонно эксплоатирует четверги [7], возьми да на следующий четверг и перейди всем своим составом, как один человек, в Общество поощрения художников [8]. Боже, какая буря! Какая злоба на всех и на вся! Кажется, если бы могли, то зарядили бы пушку Вашим покорнейшим слугою, да и выстрелили бы. Хотя я тут меньше всех принимал участия, но не скрою, что мне приятно, что так блистательно я был прав. Этого я даже и не ожидал. И вот теперь четверги на постоянной выставке [9]. Вы не можете себе представить, как там хорошо. Григорович членом, конечно. Недавно я виделся с Строгановым [10], насилу собрался поблагодарить его за гостеприимство, говорили о Вас, и, сколько можно судить, Вам будет предложена поездка за границу, куда Вы желаете, — словом, все как будто обстоит хорошо. Дай бог, чтобы Вы, дорогой мой, только окончательно поправились. А что говорит доктор и слушаетесь ли Вы его? Ведь хотя опасность и миновала, а слушаться все-таки нужно. Но Вы, пожалуй, сейчас козла задавать? Нет, не хочу думать, чтобы Вы были настолько *уж юноша*. Получил письмо от Иконникова, передайте ему, что поручение его завтра исполню относительно *«Отечественных записок»* [11]. Поклонитесь Вашей мамаше, и Роману дети шлют поклон, Е. И. Иконниковой и от меня и Софьи Ник[олаевны], а Вас С[офья] Н[иколаевна] крепко любит и кланяется.

Ваш *И. Крамской*

9. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

8 января 1872 года
Ялта

Наидрагоценнейший Иван Николаевич, наидостойнейшим образом желаю наказать Вашу дерзость, заключающуюся в прошлом письме в строках: «а от Вас и не жди получить письма». Для этого я предпринимаю, ни более, ни менее, как втрое увеличить объемы моих писем в частности и корреспонденцию в общем. Не забудьте: я пишу «увеличить», потому что совсем несогласен с Вашим мнением, будто бы я манкирую отвечать Вам. Да-с! Не угодно ли сравнить свои письма с моими, и Вы убедитесь, что мнение Ваше о моей лености — ни более, ни менее, как игра воображения, мечта, так сказать. Итак, сие мое письмо будет бесконечно, дабы отнять у Вас всякую возможность исправиться. Уже вся Ялта — что я говорю: «Ялта», — весь Крым занят перевозкою и грузкою из

Англии бумаги! В чернилах недостатка не будет, ибо Черное море под рукою.

Так как я пишу письмо-дневник, то и не огорчайтесь его необыкновенными сюрпризами, вроде нижеследующего:

Несказанно, необычайно обрадовало меня сегодня письмо Шанина[1]. Но, боже мой, что же это Вы удивляетесь? Но, боже мой, ведь действительно удивительно, что вдруг, с позволения сказать, Шанин необычайно меня радует! Но успокойтесь: радуют меня в действительности *артельщыки*. Но не думайте, что радость моя — радость легкомысленного завиралки (это уже в тоне наших брандохлыстов с Софией Николаевной), — нет, забирай глубже! Радость моя по этому поводу совсем не такого дешевого свойства. (Впрочем, распространяться и *растекаться по древу* не намерен).

Итак, олимпийские *четверги* обрели себе надлежащий по чину и званию Парнас. Да будет святая воля провидения и *поощрительных* начал. Ну, шутки в сторону, хвост на бок, — а как я рад! как рад! о господи, как рад!!! А знаете почему? Оправдалось мое хорошее мнение относительно четвергового общества, и если бы продолжали собираться *там,* то я совершенно бы отупел, разрешая это необыкновенное явление. В самом деле, не случись этого разрыва (точно из романа слово-то), четверговое общество стало бы для меня туманным пятном, качества которого были бы самыми подозрительными и долгое существование которого подлежало бы решительному сомнению. Но теперь все кончено: звезды вышли из тумана на ровное, светлое место и ни у кого не приживают. У меня сегодня праздник, праздник по всем статьям.

Эге! да я и не упомянул других-то статей. Вот они:

1-е — вышесказанный блистательный турнир четверг[овых] рыцарей;

2-е — получение от Вас красок;

3-ье — возможность пользоваться чудною погодой (я уже два дня выхожу);

4-е — весьма выгодно для меня переведенный взгляд моей хорошенькой соседки и, наконец,

5-е — приятное расположение духа, вследствие всего вышеписанного явившееся (не браните, что разучился писать).

Да, я бы не написал Вам, что получил краски сегодня, если бы не жалел Якова Михайловича[2], жизнь которого, при встрече с Вами в Петербурге, подвергалась бы опасности. Дело в том, что он отправил один сундук из своего багажа через комп[анию] «Двигатель», не знаю зачем, и этот сундук (в нем были и краски) пожаловал только сегодня. Я уже, впрочем, написал о высылке других Григоровичу.

Оказывается, что у меня теперь одна комната будет полна красок. (Это, между прочим, очень хорошо, ибо картины большущие, а именно: одна в 3 арш. 4 верш. длиною, другие не менее полутора арш. О Крым! Что за погоды, что за поэзия! 12 град[усов] по Реом[юру], солнце не щадит тепла и света, деревья (миндальные) цветут: свежесть первого дня творения! Какой-то философ сказал, что люди, «любящие природу, — люди, верующие в бога». Совершенно согласен: и не ожидал, и благодарю.

9 января

Есть у меня к Вам, государь мой, просьбица. Заранее вижу гримасу на Вашем лике; но делать нечего, все-таки придется прибегнуть к Вам. Но прежде всего заявлю, что буде просьбы моей Вы не захотите исполнить, то донесите о сем добросовестно. Дело в том, что здесь, в Ялте, я не могу найти самоучителя французского языка, да и не знаю, чей лучше; а оный мне необходимо иметь. Впрочем, самоучитель не чисто разговорный, а такой, посредством которого я мог бы познакомиться и с грамматикой этого языка. Будьте отцом и благодетелем, заставьте вечно бога молить! (Ну, если я в моих письмах буду напускать столько воды, то, во-первых, похож буду на Боборыкина [3], а во-вторых, не совсем честно исполню мое обещание написать письмо длинное). Если Ваша доброта поможет исполнить и эту просьбу, то, пожалуйста, не посылайте эту книгу через общество «Двигатель», а по почте.

Получил письмо В. Н. Шустовой [4] (предсказания Софии Николаевны оправдываются).

Был ли у Вас Филиппов? Я ему дал к Вам письмо (на почту по его объему отправить было неловко). И один был, или с женой? Пожалуйста, все это пишите: ведь я от Вас уже давным-давно не получал писем, хотя Вы и осмеливаетесь говорить мне противное при каждом удобном и неудобном случае (первого случая, впрочем, совсем не представлялось, так что Вы пользуетесь только последним). Экий вид у письма! Впрочем, ни на минуту не забывайте, что это дневник, и тогда все пойдет отлично.

Из окна наслаждаюсь природой. Что за прелесть! Яркое, как изумруд, море усеяно катерами: охота на морских свиней в полном разгаре. Часто видишь их массивные черные спины с толстым плавником; это они выглядывают из воды подышать воздухом. У горизонта море принимает замечательно неуловимый цвет: не то голубой, не то зеленый, не то розовый. А волны неторопливо идут, идут откуда-то издалека отдохнуть на берег, на который они, впрочем, грохаются самым непри-

личным образом. Волны, волны! Я, впрочем, начинаю уже собаку доедать относительно их рисунка; но успел совершенно убедиться в следующем: вполне верно, безошибочно их ни рисовать, ни писать невозможно, даже обладая полным их механическим и оптическим анализом. Остается положиться на чувство, да на память. Думаю написать большую штуку с волнами. Я буду обладать, значит, и другим жанром — мокрым. Я говорю: «буду обладать»; это значит, что я теперь еще не обладаю, но, уже бесспорно, *буду*.

Боже мой, что это за край! Тепло, светло и ароматно. Совершенно особенное состояние воздуха. Нельзя сказать, чтобы лето; позднею осенью тоже нельзя назвать: нет, это — что-то совершенно особенное, это — южная зима. Даже странно употреблять это слово «зима». Хороша зима — 15 град[усов] тепла! Одним словом, если бы человека, не бывшего на юге, привезти сюда невзначай, без его ведома, с завязанными глазами, и вдруг окунуть в эту атмосферу и спросить: где он находится, то его ответ будет непременно этот: «ну, братцы, ей-ей, не знаю, какое время года, и ясно только для меня, что я не *тутошний»*.

Вижу, дяденька, вижу, мой родной, Вашу зевоту; да ведь на то-то я и предпринял этот труд. Сегодня с Клеопиным о Вас толковали. Он, изволите ли видеть, жил последний месяц в Севастополе и там *наслышался* о Ваших картинах. Видел также фотографию с «Иоанна Гроз[ного]» Антокольского[5]; ну, конечно, *поражен*! Сидит у нас Яков Михайл[ович]. Разоврался я жестоко! Хохот и гвалт. Я, впрочем, только в словах участвую, ибо последние две вещи запрещены наиположительнейшим образом. Проходимся насчет 200 000, которые Яков Михайлович хочет выиграть, а я у него их выманить, притом самыми курьезными способами.

Ох, боюсь! Знаете чего? — Что моя мания писать Вам дойдет до колоссальных размеров. Потребность *излиться*, доведенная постоянной молчанкой до болезненного состояния, ставит меня в необходимость на что-нибудь излиться. Средства есть два: первое — писать Вам о всем, меня волнующем; или, второе, подавить совершенно эту потребность моего мозга. Но... Но и то, и другое — неудобно, по крайней мере. А именно: в первом случае мне будет очень тяжело вести большую и постоянную переписку, да и вряд ли удовлетворит подобный род передачи животрепещущей мысли; второе, т. е. способ подавления, как всякое насилование, имеет свои дурные стороны. В обоих способах, как видите, оказываются прорехи... Постойте, постойте! Ишь как человек-то устроен! Когда я дописался до «прорехи», то опустил руки, и мне

показалось, что все устроил преблагополучно, т. е. совершенно уяснил себе этот вопрос, а Вам не осталось ничего желать. Перечитал. Что за чепуха! Сначала боимся, что «мания писать дойдет до колоссальных размеров», потом находим два средства для удовлетворения потребности излиться; потом находим прорехи в этих средствах; наконец, перечитавши, находим, что все это писание — одна прореха, в которую, кроме темной дыры, ничего не видно. Из рук вон! А потому приходится сказать: простите великодушно, милостивый государь, что заставил Вас бесполезно потратить время на исследование пустой головы и ее механизма Вашего покорнейшего слуги. Надо было сперва обдумать то, что пишешь. Дела формулируются проще. Я давно чувствовал потребность излиться (фу, проклятое слово!), но, по обдумывании этого (тем путем, на котором, как Вы изволите видеть, сам чорт ногу сломит), пришел к заключению, что это невозможно; значит, и до колоссальных размеров не дойдет — успокойтесь, — и придется, наоборот, молчать, умалчивать и примолкнуть (точно кнут[?]).

Ну! если после всей этой чепухи у Вас не заболит голова и не потемнеет в глазах, — признаюсь!

Господи! Перечитал опять — еще хуже! Да что же это делать? Плачь! Ну, все-таки писать больше не могу; уж объясню эту чепуху, когда увидимся... если бог даст.

13 января 27520 (1872)

В этот промежуток было чорт знает что такое, а не впечатление. В голове моей было так же пусто, как в выпотрошенной курице. Сейчас получил письмо Ваше от 1 января. Вы боитесь поздравить с Новым годом, говоря, что наверно опоздает. Согласен, а так как не хочу, чтобы *мои* поздравления опаздывали, то и спешу поздравить Вас с 1873. Вы предупредили меня своею радостью о переселении в землю обетованную из земли халдейской (ей-ей, этот звук очень близко подходит к Артели). Дальше — молчание, ибо об этом предмете читай вначале.

Боюсь, что кончу это послание к своему отъезду в Петербург. Ах! Насчет этого меня томит недоброе; впрочем, ведь это — только предчувствия, а им верить не след, что я и делаю.

Пишете Вы, что меня хотят за границу отправить, и об этом я Вам писал в письме, которое Вам должен передать К. Н. Филиппов. Неужели он до сих пор не в Петербурге? Хотел сейчас написать, чтобы высшие там ваши собрания, как четверговое общество, и замечательные подвиги, как Передвижная выставка, не имели себе места в Ваших пись-

мах (не потому, что это меня не интересует, а потому, что уже очень больно делается при чтении всего этого в таком положении, как мое). И так *хотел* это написать (точно не написал!), да и пожалел. Уж лучше пишите: все-таки оно и свои хорошие стороны имеет.

Работаю понемногу; да уж что-то мудреное выходит. Может, оно и не так плохо, как я думаю, — не знаю, — а может, даже и хорошее что-нибудь. Ах, как все это противно! Вы себе представить не можете моего положения. Вы, впрочем, представите. Лежит рядом Ваше письмо. Какая непроходимая разница! Письмо человека больного, должно быть, трудно читать (я еще, слава богу, не во всем письме больным кажусь). И Вы тоже о здоровье? Но это́ мне до того надоело, что писать о нем тошно, тошно, понимаете ли. Сколько писем пишешь, и в каждом приходится отделять графы на горло, грудь, ревматизм и т. д. Но Вы-то чем же виноваты? Что же я к Вам-то придираюсь? Дурак! Но уже хоть погодите, в конце письма напишу. Какова милость?

Урод. А каково письмооо!!!

Вы не хотите думать, что я до сих пор юноша? Это, во-первых, делает честь Вашей проницательности, а во-вторых, дает новый оборот этому слову — ругательный. В этом, впрочем, не одни Вы виноваты, и нет, кажется, человека, который бы не говорил мне этой фразы, только немного иначе: «неужели Вы и после болезни остались таким же болваном?» Недостает только, чтобы писали именно это слово. Другая сторона этого еще знаменательнее, т. е. уверенность всех в том, что после болезни всякий должен *исправиться* (?).

14 января

Глава четвертая, в которой автор предается топографическим исследованиям и горести.

Предо мной расстилается мое неограниченное царство — квартира в доме Бейман. Пределы этого царства покрыты, с одной стороны, дымом от чугунной печи, с другой... с другой тоже дымом от той же чугунной печи. Как белоснежная вершина Эльбруса, воздымается на... на сундуке голова сахару. Чистого соснового дерева мольберт растопыривает свои неуклюжие ноги и как бы говорит: «Ах ты! еще художник!» Странное свойство имеет эта квартира. Посмотрите: не кажется ли Вам, что она вся состоит из заплаток со старых парусинных матросских штанов? Потом, как будто везде лежат и висят какие-то лоскуточки, бумажки от леденцов и корпия. Но ничего подобного нет: подойдешь и убедишься, что этого действительно нет, а что это только кажется; одним

словом, уж такое свойство и в окраске, и в штукатурке. Потом, в этой квартире, в каждой комнате по стольку дверей и окон, что вы никак не можете избежать простуды: архитектор так остроумно направил на каждый пункт по нескольку сквозных ветров, что только разводи руками от удивления. Вот стоит кровать, на которой спит мама: совершенно Собакевич, если бы он встал на карачки. Вот стулья, похожие на того же Собакевича в другом положении. Над кроватью висит зеркало и совершенно равнодушно показывает одну рожу, кто бы ни смотрелся, так что я называю его зеркалом с своею собственною физиономиею. Комнаты вообще устроены и меблированы не особенно, можно сказать, дурно: есть и зеркало, и диван; да мало ли еще что: диван, зеркало... Одним словом, не дурно. Жаль только (это, конечно, пустяк), что на диване неудобно сидеть по его необыкновенно малому росту, и уж я хотел подложить этакие, знаете, полешки; да как-то неловко: ведь в этой комнате зеркало и все такое, а тут вдруг — полешки.

Вторая половина этой главы — горесть, вся вышла при взгляде на мои апартаменты с философической точки зрения. (По случаю утомления автора продолжение в следующем №).

16 января

Мое письмо не может быть бесконечным — увы! Завтра отсюда едет Яков Михайлович [6], чем я и пользуюсь для пересылки этого письма. Сейчас смотрели картину, которую я готовлю к конкурсу [7]. Сколько тяжелых мыслей, сколько еще более тяжелых предчувствий! Дальнейшую судьбу моего больного детища препоручаю Вам, мой добрый. Если оно и больное действительно (ведь я признаю закон о наследовании детьми болезней отца), то Вы не будете над ним издеваться, как это сделают другие. Чем же виновато оно, бедное, что больно? Да и отец-то не виноват. Вообще, приговор Ваш будет мной признан непреложным, какой бы он ни был. Это твореньице дойдет к Вам, изображая на лице своем следующие приказания виновника своего рождения: 1) Решить, стоит ли оно конкурса, притом решить это без всякой *посторонней* помощи (я подразумеваю посторонними *всех* в Петербурге, кроме Вас и Софьи Николаевны); 2) Облечь картину в раму, уже заказанную через Григоровича, и *определить* (?), если достойна (только в этом случае), поставить на конкурс поощрения. Цена будет зависеть совершенно от Вас. Я знаю, что это — дело щекотливое, и Вам могут прийти в голову некоторые соображения, т. е., что цена, назначенная Вами, может показаться мне мала, или, если Вы назначите большую, то

Вам может быть неловко, если она не продастся, и проч. Но это все между нами можно с успехом бросить. Неужели мы всегда, как только дело дойдет до денег, будем делаться уже чужими? Мне было бы это очень, очень тяжело, и потому прошу Вас, даже без особенных соображений по этому поводу, а просто, как свою, оценить спустя рукава. Притом ведь нет цены высокой и нет низкой, и никто, даже приблизительно, не может определить этого.

Якова Михайловича я просил никому не говорить, что я пишу картину на конкурс. Все, что Вас заинтересует, передаст Яков Михайлович, да и я, с своей стороны, — не беспокойтесь, — не ограничусь этим письмом, если только Вы по прочтении оного не захотите, чтобы меня поскорее побрали разные чахотки и даже чорт. Следующие строки будут весьма способствовать такому желанию. Послушайте, мой родной: чем я больше пишу, тем, во-первых, больше хочется написать, а во-вторых, накопляется столько просьб, что делается просто стыдно. Ведь еще есть и самые важные и крупные: я, как Вы знаете, буду ставить в Академии мои прежние картины на звание; оно, звание, совершенно зависит от Академии, т. е. дадут ли мне живописца, художника, академика, профессора, испанского короля, — все равно. Картины должен собрать Волковский [8], Иван Васильевич, и Бартков, Михаил [Васильевич] [9]. Подаст прошение первый от моего имени. Вас бы я просил только, когда Вы будете в Академии, посмотреть за тем, сделано ли со стороны их что-нибудь, и то же самое в Обществе поощр[ения]; одним словом, наблюсти при случае, исполняют ли они *свои обязанности.*

Еще другая *важная* просьба: это — не оставляйте, как Вы то делаете до сих пор, Вашего беднягу Васильева письмами.

Ох, приближается время исповедаться в болезнях по предложенным Вами пунктам! Доктор говорит, что болезнь легких хотя и ухудшилась от последнего воспаления, но в конце *лета,* вероятно, пройдет; «эти болезни здесь исправляются» (его собственные слова). Что же касается горла, то привожу его слова целиком: «Вам придется (мне т. е.) полечиться еще годика два. Зимою Вы поезжайте в Италию, а именно в Ментону; лето — надо же Вам и искусство также беречь — Вы уж проживите в Риме. Горло у Вас идет если не к лучшему, то уж не к худшему никак. Хорошо, если не будет холодов: тогда Вы через полгода можете позволять себе разговаривать понемногу и тихо, не волнуясь. Вам необходимо очень беречься все это время; иначе в Италии Вы не будете в состоянии осматривать внутренности церквей и палаццо: они

бывают сыры и холодны, а это Вам нельзя». Одним словом, скверно, как ни поверни. А еще хуже то, что он почти уверен, что у меня на всю жизнь останется *расположение* к этой болезни и самая ничтожная простуда горла поведет за собой то же самое, чем и теперь наслаждается Ваш Васильев. А если бы Вы посмотрели, как я поправился, то просто засмеялись бы над тем, что я пишу. Как Вы думаете о моем терпении после этого письма? Ведь это уже девятый лист!!!!

Ну, все к чорту! Ни о чем более напоследок не хочу думать. А буду теперь разливаться, разливаться. Вы не хотели признаться мне в любви, так я же сама начну. Вот Вам — сама! Я Вас люблю так, как мой дед любил огуречный рассол, даже еще хуже! Что же касается до Вашего предчувствия, что мы чем-то связаны, то я тоже убежден, что нас с Вами сам чорт веревочкой связал, или, по крайней мере, между нами существует какая-то невидимая колбаса, вроде той, какою обладают сиамские близнецы; только наша обладает еще изумительною способностью не рваться, если даже ее растягивают на тысячи верст, как в данном случае (через час я буду писать по-еврейски). Ах Вы, моя милая, темная, закулисная личность! Вы думаете, и в самом деле милая? Как бы не так, чтоб Вам распухнуть! Вот Вам и все! Эх, не попадетесь Вы мне теперь в руки! Я бы из Вас такое сделал... Отчего это перепела на дудку нейдут? Право, не знаю, отчего это они нейдут. Софья Николаевна, голубушка, будьте здоровы, чего и себе от души желаю. Я вот себе тоже желаю писем от ваших высокоблагородий побольше, а затем остаюсь

Федька Васильев из Капернаума

Так и пишите — найдут.

Посылаю Вам портрет моего косоглазого брата и, вместе с тем, образчик фотографии, которая задалась следующим: хотя фотографский объектив и математическая машина, но все-таки может вывернуть наизнанку что угодно [10].

10. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

2 февраля 1872 г.
Ялта

Лучший из смертных, великодушнейший из художников и проницательнейший из приятелей, Иван Николаевич, снова является желание писать Вам. Впрочем, желание это у меня всегда есть, а скорее, оказия, представляющаяся мне каждый раз, как я только взгляну на портфель, заключающий в себе

эти мертвые материалы для передачи самых наиживейших чувствий. Эта оказия представилась мне и в настоящем случае, когда я, проходя между мольбертом, холстами и всякой пакостью, обратил свой взор на сей злосчастный портфель... Ишь, как быстро подвигается письмо! Не успеешь соврать двух-трех слов — ан и половина! Ладно. Теперь, слава богу, писать есть на чем: Евгения Ивановна [1], вероятно, желая сохранить мои финансы от траты на бумагу, на которой я буду отпускать Якову Михайловичу бюллетени об ее здоровье, прислала сейчас с мамой сию самую бумагу. А? каково злоупотребление! Два слова об Евгении Ивановне: она очень плоха; лихорадка постоянная, никакого аппетита, бессонница и проч. Доктор говорит, что теперь, «до наступления теплой погоды, ничего положительного сказать нельзя; но, во всяком случае, она очень плоха». Я сам, впрочем, не видал ее недели три, потому, что нельзя выходить — ветрено и холодно. Вы, вероятно, обрадуетесь этому, тому т. е., что холодно, ибо это совершенно согласуется с Вашими убеждениями относительно Крыма; но только позвольте — в Капернаум! Холодно — это значит не более 9—10 градусов. А Вы, небось, думали, градусов 10 морозу? Как же! Ведь это не Петербург какой-нибудь анафемский.

Кончаю *по необходимости* картину, которая больше подвинута; но, к несчастью, подвинута самая плохая. Ах, если б Вы знали, если бы Вы знали, как мало — какое мало, совсем нет — у меня времени!!! То есть я не говорю, «мало» именно теперь — это своим чередом, — а вообще «как мало». Просто бесишься: мотивов, мотивов — чортова пропасть, а вместе с тем жалкое сознание невозможности все это написать. Нет, как там ни толкуй Иван Иванович [2], а и Крым, юг т. е. вообще, имеет такие стороны, которые ничуть не уступают северу. Впрочем, он, я думаю, недоволен не югом собственно, а ужасной односторонностью художников, которые берут один казовый конец, т. е. по уши залезают в однообразие. А впрочем, кто его, Ивана Ивановича, знает, что он думает? По крайней мере, из его слов очень трудно что-нибудь положительное вывести. Страдаю я теперь невыносимо оттого, что все начатое — дрянь, особенно по мотивам, и только теперь, когда нет никакой возможности начинать другие картины, новые, только теперь, говорю я, выступают в голове настоящие картины, действительные мотивы. Да чорт ли в этом? Надо хоть прежние окончить, а то приедешь в Питер с голыми руками, и перчаток не на что будет купить!

А залез я в долг, батюшка, по уши. Уже 2500 есть, да еще придется тысячу до октября-то просмолить; вот Вам

и 3500!!! А? Вот уж подлинно в Капернаум! Да и там этаких художников не любят.

Получил от Григоровича письмо и надежду на многие блага земные. Так, напр., подтверждает он за Общ[ество] поощ[рения] обещание послать меня за границу. Потом... Ох, ей-богу, как бы это написать?.. Потом он говорит, что на конкурс в Петербурге приготовляются самые плохие картины, и питает надежду найти в моей больше достоинств (?). Вот как деньги-то наизнанку человека выворачивают! Будь у меня теперь меньше долгу и получки в перспективе, так и не стал бы радоваться, что [на] конкурс готовят дрянь. Авось, значит, и на нашей улице будет праздник *.

В серьезном тоне.

Надеюсь, мой неопытный друг, искренне надеюсь найти в Вас более расположения и доверенности к Дмитрию Васильевичу Григоровичу, гораздо более, чем Вы питаете к нему до сих пор. Это — человек, достойный искренней любви и участия по многим своим хорошим качествам, как душевным, так и умственным. Не допускаю никаких возражений — не допускаю и не терплю.

Барон Брамбеус [3]

В самом серьезнейшем.

Вышеописанный Дмитрий Васильевич так мне полезен и так бескорыстно заботится обо мне, как, ей-богу, не способны другие. Ведь я Вас знаю: Вы сейчас начнете высчитывать, что, как и почему, и непременно досчитаетесь до того, что он останется виноватым. Зная это, я только беру на себя обязанность доложить Вам, чтобы Вы не забыли сосчитать доброту, которая в нем неотъемлема и которая, в каких бы формах она ни выражалась, все-таки есть *достоинство*. Примите уверение, и проч., и проч.

Сегодня получил письмо от П. М. Третьякова — письмо и деньги [4], последние деньги!!! Он желает видеть мою картину прежде, чем я ее выставлю [5]; но этого я не могу решительно исполнить за недостатком времени. Посмотрите: 10 числа я ее, вероятно, уже вышлю из Ялты, да дней десять она пройдет при самых выгодных условиях, а то и двадцать, может,

---

* Тут редактор находится в совершеннейшей необходимости сделать некоторые заметки. «Этот бандит Васильев, чорт знает, какие штуки отпускает, а потому, быв в тесном родстве с ним, вышереченным бандитом, и досконально зная, что зверство его становится нетерпимым в обществе истинных джентльменов, даю формальное обещание ни под каким видом не помещать более на страницах моего журнала богомерзких выходок сего разбойника».

так что 22—23-го она будет только в Петерб[урге] в почтамте, да пока Вы ее возьмете, — и пройдет все время (ведь срок 25 февраля). Пересылать же ее в Москву — это такой риск, которого я не могу сделать, что ни думал бы о своей картине. Еще раз прошу Вас оказать мне великую услугу и распорядиться с картиной, как я уже писал Вам.

Григорович мне пишет, что уже и покупатель есть, в лице в. к. Николая Константиновича.

Не забудьте, мой друг, следующих соображений: 1-е, если Вы наверное увидите, что она премии взять не может, то не ставьте ее на конкурс, а отправьте на выставку[6] по окончании всей процедуры (это для меня, в настоящем моем положении, необходимо); 2-е, в противном случае, т. е. если найдете нужным ее поставить, то велите Барткову, если картина сильно пожухнет, т. е. так, что это будет заметно, покрыть ее белком с сахаром, как он делает обыкновенно; 3-е, рама должна закрывать нижнюю часть картины не больше и не меньше как до проведенной мною линии; что же касается верха и боков, то это — все равно; 4-е, свет, освещающий картину, должен быть непременно с левой руки; иначе ее рисунок и даже тон значительно изменится, благодаря слишком жирной живописи. Все остальное, т. е. что бы ни встретилось, зависит от Вашего благоусмотрения. Тысячу раз буду благодарен за эту услугу. Вы меня все-таки простите за мои бесконечные просьбы.

Пожалейте Вашего бедного друга. Так тяжело живется, так скверно, так скверно.

И некому руку подать
В годину печальной невзгоды[7].

Поверите, что по временам становится так холодно и *все равно,* что просто не дай бог! То страшные и печальные, то болезненно живые картины не перестают создаваться в уставшем мозгу и, как вечный кошмар, давят и гнетут мою бедную душу. И нет никакой возможности переменить этого, потому что окружающее не дает никаких средств, а только заставляет все глубже и глубже, до помешательства, уходить в себя. Скоро ли пройдет это ужасное время?

Как вы все поживаете? Здорова ли хорошая Софья Николаевна? Скажите ей, что я никогда ее не забываю и желаю всего, что можно желать хорошим людям. Дай вам бог всего, всего, в чем только нуждаются люди! Ведь никак не утерпишь: непременно где-нибудь проврешься и захнычешь — гадко! Ну, да Вы, впрочем, меня знаете, а потому и пусть написано то, что пишется бесконтрольно.

Пишите, пожалуйста. Вот вспоминается Ваш честный разговор. Помните, когда Вы мне советовали *окунуться в другие общества,* чтобы узнать, не найду ли я лучше Вашего, более подходящего. Я тогда еще брыкался и уверял, что и пробовать не стоит. Сколько с тех пор воды утекло, и сколько разных обществ я перевидал, а ни одно, не только общество, ни одно существо не было близко, ни в одном не узнавал родного брата, человека. Больно и досадно!

Получили ли Вы мои письма — одно от Филиппова, другое от Иконникова? Да я еще, кажется, 6-го писал — не помню. Поклон Николаю Николаевичу Ге. Кланяюсь также и другим.

Ваш *Ф. Васильев*

11. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

22 февраля 1872 г.
СПБ

Дорогой мой Федор Александрович!

Пишу ответ на записочку, присланную при картине [1], а на два перед этим бывших письма чувствую, что ушло время. Да и кроме того, есть о чем сообщить; не думайте, однакож, чтобы я остался в долгу перед Вами; но... теперь, по крайней мере, пишу главным образом о картине. Я ее получил в целости, успокойтесь, и еще во-время. Краски и холст, Григорович говорит, что он выслал. Расскажу по порядку. Само собой разумеется, что меня не надо было бы и просить говорить правду. Вам я чувствую себя обязанным говорить ее: во-первых, потому что считаю Вас человеком совершенно зрелым уже в искусстве, по крайней мере понятиями, если не технически, и, во-вторых, потому что я принял, не протестуя, Ваше доверие ко мне как относительно ценности картины, так и ее судьбы. — Словом, так или иначе, а раз я силою вещей вмешан в Вашу судьбу и от моих поступков и слов будет зависеть многое, я должен говорить и делать только правду, по своему крайнему разумению.

Недели две тому назад И[ван] И[ванович] Шишкин работает, т. е. оканчивает у меня свою картину на конкурс [2], так как у него ему нет возможности ничего написать, вследствие тесноты, кроме черных сапогов. К тому же он начал большую вещь, очень большую. Вы его знаете хорошо, и можете представить себе, что он сделал, если я скажу, что он написал вещь хорошую до такой степени, что Шишкин, оставаясь все-таки самим собою, до сих пор еще не сделал ничего равного настоящему. Это есть чрезвычайно характеристическое произ-

ведение нашей пейзажной живописи, — конечно, принимая во внимание, что школа наша не бог весть что такое. Сегодня вторник, а в прошлую субботу утром, как тать, является Третьяков. Чорт его знает, какое чутье собачье! Ну, в разговоре коснулось Вас. Я говорю, что жду Вашей вещи; он при этом читал Ваше письмо, которое Вы ему писали. Я сказал, что Вы и мне то же пишете, и что, пожалуй, картина не придет так скоро, и что ему не дождаться, так как я жду ее не раньше 24 числа. Однакож вечером в тот же день я получил повестку, стало быть, картину я мог получить только в понедельник. На другой день, в воскресенье, Третьяков был опять, и я ему сообщил, что повестка получена, и, вероятно, это картина. В ночь на воскресенье Шишкин *заболел,* не успевши кончить вещь, в которой работы было дня на два. Она и теперь еще здесь. Конкурс отложен до 1 марта [3]. И вот вчера я поехал за посылкой. Привез, и один раскупорил и открыл, так как Софьи Николаевны и детей не было: отправились на балаганы — первый день масленицы. Уж я ее открывал, открывал, долго открывал, но, наконец, открыл, и один около часу ее рассматривал, в офортной мастерской запершись, чтобы кто чужой не накрыл меня. Первый взгляд не в пользу силы. Она показалась мне чуть-чуть легка, и не то, чтобы акварельна, а как будто перекончена. Но это был один момент. Я об этом упоминаю к сведению, но во всем остальном она сразу до такой степени говорит ясно, что Вы думали и чувствовали, что, я думаю, и самый момент в природе не сказал бы ничего больше. Эта от первого плана убегающая тень, этот ветерок, побежавший по воде, эти деревца, еще поливаемые последними каплями дождя, это русло, начинающее зарастать, наконец, небо, т. е. тучи, туда уходящие, со всею массою воды, обмытая зелень, весенняя зелень, яркая, одноцветная, невозможная, варварская для задачи художника, и как символ, несмотря на то, что, кажется, буря прошла, монограмма взята все-таки безнадежная [4], — все это Вы. Мне, конечно, может быть более понятно, чем другому, в этой картине многое, но там остается такая масса для всех *других* смертных, что присланного достаточно для публики, а конкурентам будет большая пожива: не преминут, при сем удобном случае, ругнуть в душе Вас, а другим, более тупоумным — пожалуй, и громко. Но это предположение, о котором я напишу Вам, если оно осуществится. Наконец, я ее вынес и поставил рядом с Шишкиным; думал, неся, что она рядом будет жидка. Но нет, этого не было. Эта картина рассказала мне больше Вашего дневника. Но не думайте, что дневник — лишний, ведь Вы же не станете присылать картину за картиной

вместо писем? После того я ее вставил в раму, и сегодня утром ее видели Третьяков и Григорович. Третьяков желает ее оставить за собой, а что касается денег и Вашего долга, то пусть он, т. е. Вы, не размышляет и успокоится, я буду высылать сколько и когда нужно. Я еще ему не назначил цены, он Вам об этом напишет сам, да я хотя и уполномочен от Вас назначить ей цену, но боюсь все-таки. Это трудно, голубчик мой, ей-богу, трудно: я было думал назначить 1 000 рублей, в крайнем случае никак не менее 800 рублей. Это, по-моему, самая настоящая цена. Ради бога, напишите, как Вы? Третьяков во всяком случае желает ее иметь. Затем Григорович ничего больше и не говорил: «Ах, какой Шишкин!», «Ах, какой Васильев!», «Ах, какой Васильев!», «Ах, какой Шишкин!», «Две первых премии, две первых премии, две первых премии», Конечно, ничего не известно, что будет и как решат, но мое мнение, по совести, если класть шары: и та и другая. Эти вещи до такой степени разнородны и равносильны, что нет возможности решить, которая. Если бы премии были такие: 1-я — 1000, а 2-я — 900, и я был бы в числе обязанных уж непременно произносить приговор, то я бы положил: Шишкин — 1-я, Васильев — 2-я, но так как расстояние между 1-й и 2-й премиями громадное, то не может быть сомнения, что первых премий должно быть две. Вещи взаимно исключают одна другую или взаимно заменяют. Бо́льшей противоположности трудно себе вообразить. Одна — Шишкина — объективная по преимуществу, другая — Ваша — субъективная; до сих пор картину видели: Савицкий, Ге, Постников[5] и Боткин[6], которые приехали и сделали мне честь — посетили меня и увидали тут Ваши вещи. Все они отзываются о картине хорошо решительно.

Покончивши с впечатлениями, обратимся к рассуждениям. Прошу не забывать, что мы понимаем задачи искусства несколько больше того, чем довольствуются обыкновенно, и требуем, чтобы уровень подымался, а не то, чтобы была вещь только лучшая из того, что всеми делается. Итак, Ваша картина в тонах на земле — безукоризненна, только вода чуть-чуть светла, и небо тоже хорошо, исключая самого верхнего облака, большого пятна света, в нем я не вижу той страшной округлости, которая быть здесь должна. По Вашей же затее, у горизонта налево особенно небо хорошо. Пригорок левый тоже, деревья мокрые, действительно и несомненно мокрые. Но что даже из ряду вон — это свет на первом плане. Просто страшно. И потом эта деликатность и удивительная оконченность, мне кажется, тут именно идет, хотя она везде идет. Но, несмотря на это, желательно бы, чтобы градация

между светом и полутонами, особенно направо и налево от воды, была бы для глаза чувствительнее. Это прямое следствие условий, при которых Вы писали. Отодвинуть далеко, вероятно, было нельзя. В общем вещь, несмотря на все мною сказанное, пожалуй, лучше «Зимы» [7], даже решительно лучше. Это и говорили уже. Я только слушаю и не вмешиваюсь. Но что нужно непременно удержать в будущих Ваших работах — это окончательность, которая в этой вещи есть, т. е. та окончательность, которая без сухости дает возможность не только узнавать предмет безошибочно, но и наслаждаться красотой предмета. Эта трава на первом плане и эта тень — такого рода, что я не знаю ни одного произведения русской школы, где бы так обворожительно это было сработано. И потом счастливый какой-то фантастический свет, совершенно особенный, и в то же время такой натуральный, что я не могу оторвать глаз. Замечаете ли Вы, как я стараюсь добросовестно исполнить Вашу просьбу, определить недостатки Вашей картины, и свожу всякий раз на хвалебный гимн; если уж Вам непременно хочется отыскать в своей картине недостатки крупные, то вообразите, что Вам о них говорит человек, к Вам пристрастный и любящий. Но прошу не забывать, что настоящее сочувствие не бывает слепо. И так далее, пояснение можете найти в прописях.

Теперь опишу Вам картину Шишкина [8]. Вот она как расположена [9]: величиной она вместит четыре Ваших на своей плоскости — почти. Лес глухой и ручей с железистой, темно-желтой водой, в котором видно все дно, усеянное камнями. На левой стороне — большая, упирающаяся в раму сосна, березка — и за ними глушь. Внизу под ними — коряга, мхи и папоротники. Направо, по пригорку, сосновый лес, уходящий влево. Под соснами, на пригорке, два медведя, один очень умильно поглядывает на улей, привязанный к дереву, на благородную дистанцию, другой охаживает около — это выражено. Направо, на пригорке — сломанное дерево, с вывороченным корнем. Все освещено солнцем. Правый берег — осыпающийся песок с камнями, опутанными корнями. Голубое небо с белыми легкими облачками. Картина имеет чрезвычайно внушительный вид: здоровая, крепкая и даже колоритная. Всего лучше вода и вся правая сторона, и что удивительно — небо, действительно светлое и легкое небо, — словом, картина хорошая и производит впечатление здоровое. Но, как всегда, скорее более рисунок, чем живопись. Лучшей вещи он не писал. Но вот горе: заболел и, кажется, тифом. В субботу еще работал, сидел долго вечером и ушел с Иконниковым, а наутро в воскресенье приходят ко мне от него и говорят:

«Пожалуйте, И[ван] И[ванович] бредит, что-то с ним нехорошее». Он не знал о том, что Вы прислали картину, и не знает еще и до сих пор, все так лежит. Сегодня я его видел; впрочем, ему лучше было, но к ночи слышал, что опять хуже. Итак, вот Вам отчет мой, отвечайте о цене. Вот каким образом слагаются обстоятельства. Две картины, к которым нельзя подходить с критикой, — вещь невозможная, и мне чрезвычайно интересно, как жюри выпутается из этого.

Из представленных других картин недурна Волкова [10]. Жанров хороших нет, лучшая Маковского Константина «Обед во время жатвы» [11].

Теперь Вы спросите, что же я сделаю с картиной Вашей, которую Вы приказали не ставить, если я увижу, что премию Вы не возьмете, и говорите, чтобы я распорядился по своему усмотрению. И я, чувствуя всю серьезность вопроса, всю ответственность, которая на меня ляжет, несмотря на вещь Шишкина, все-таки Вашу поставлю. Завтра она будет там. И как себе Общество хочет, а оно должно будет убедиться, что нет другого выхода, как сделать две первых премии, — иначе невозможно. Что же делать, если Шишкин, наконец, озлившись, выдвинул действительно целый лес внушающих размеров? Что же делать, если Васильев пропел действительно превосходно про непогоду, случившуюся раннею весною? Голубчик мой, это не слова — я так думаю. Не поручали бы мне. Будьте здоровы, дорогой мой, до свиданья.

И. Крамской

Если хотите, я сам буду вести с Третьяковым о цене переговоры, а лучше, если бы Вы меньше назначенной мною суммы ни за что не уступали. Она за это продастся здесь.

12. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

1 марта 1872 г.
Ялта

Как я ни ломаю голову, но все-таки никак не могу объяснить Вашего молчания, мой милейший Иван Николаевич! Целые месяцы я не имею от Вас ни одной строчки. Если мне придет в голову объяснить это молчание *продолжительностью разлуки*, то... то... неужели у Вас нет сожаления? Я должен оговориться, что подобная мысль придет ко мне, конечно, не скоро, вследствие того, что я Вас мерю по собственной мерке.

Крым постепенно оживляется: небо чаще и чаще показывает образчики голубого цвета, с каждым разом темнее и тем-

нее; деревья, вместо листьев, покрыты густыми партиями цветов и испускают самое соблазнительное благоухание; снег на горах остался только в долинах и ущельях не ниже 2000 футов; морю наскучило, наконец, кувыркаться, и оно самым степенным образом бормочет у берега. Больные, как мухи, оживают и выползают во всех направлениях с самыми, впрочем, однообразными рожами, не выражающими никакого особенного удивления ни к чему, даже к тому, что остались живы. Я тоже выхожу и, должен признаться, очень за последние два месяца поправился и даже потолстел, так что физика очень напоминает восьмиугольник, а буркулы, которые и прежде не отличались величиною, совсем начинают превращаться в изюм, который усердная кухарка попихала в тесто кулича. Вот Вам ансамбль Вашего приятеля! Но я надеюсь летом спустить это необычайное приращение жира, причиняющее мне великое смущение. Мамаша тоже понемногу поправляется, а про Романа и говорить не стоит: поросенок — одно слово.

Теперь насчет судьбы. Знаете ли Вы, что я опять сижу у моря и жду... не погоды, а красок! Нет их, как нет; потому — судьба! Я нарочно Григоровичу за два месяца писал об их высылке и нарочно приписал: «отправьте-де по почте»; но не тут-то было: получил повестку и ужаснулся, узрев, что посылка передана в компанию «Транспортов». Нешто не судьба? Ну, рок? Ну, провидение? — Что хотите, только что-нибудь из этой же фамилии. Смех — смехом, а дело — делом, но как же не сказать, что ведь сам чорт мне ногу подставляет. Ведь этак не хватит человека, будь он 77 пядей во лбу, да столько же в спине и прочих частях. Скоро придется распустить паруса, снять руль и валять по ветру, зажмурив глаза, и если угодишь вместо «тихого пристанища» на какой-нибудь пень, то останется утешение: «судьба»!

Мама сидит напротив меня и полощет какую-то траву, клятвенно утверждая, что это — настоящий салат, который растет в саду Клеопина в диком состоянии. Гм... может быть, небезинтересно будет описать нашу комнату и ее обитателей. Одиннадцать часов вечера; весьма изящная лампа освещает стол, покрытый желтой скатертью с белыми разводами (совершенная яичница), полоскательную чашку, бутылку, четыре коробки табаку самых разнообразных видов и цветов, половину булки, величина которой была, вероятно, не менее нескольких сажен, начатый чулок, съежившийся, как карась на сковородке. Но есть и более привлекательные предметы. Вот, напр., стоит тарелка с водой, покрытою густым слоем фиалок, разливающих тонкое благоухание; или вот эти белые, нежные, как пух, цветочки в банке из-под варенья, ярлык которой

гласит, что сим производством занимается некто Абрикосов, купецкий сын. Есть даже художественные произведения, как-то: нарисованный Романом цветок, вырастающий не то из корзины, не то из мужской шляпы; на этом цветке, не знаю, по какой причине, растут не цветы, а как будто растопыренные руки. Мама кончила убирать салат, растущий в диком состоянии, и шьет, а Роман валяется на постели и от избытка чувств декламирует то «Что ты ржешь, мой конь ретивый» [1], то «Нива моя, нива» [2], то советует мне написать Вам какую-то чепуху. Но вот бросается мне в глаза распростертая на дверях шкурка морского нырка, убитого мною на днях, из которого мама хочет сшить себе муфту, хотя шкурка имеет не более четверти. Вот мы теперь хохочем с мамкой над нашей хозяйкой, у которой язык ни за что не хочет выговаривать, как нужно, отчего являются слова: «разбовники», «шкварцы», «мырки», «ведмедь» и проч. Есть у них всех, у наших т. е. хозяев, и другие странности, не менее замечательные; но их не стоит заносить на бумагу, ибо они много потеряют из своей прелести. Однако уже Роман нахрапывает, и без 20 минут 1 час. Пора и честь знать, особенно людям, которые лечатся, как я, и которые ожидают с нетерпением получить хоть несколько строк от тех, кого любят.

Ф. Васильев [3]

2 марта

Сейчас получил от Вас письмо, дорогой мой, из которого оказывается, что мне вовсе не следовало ломать голову и приискивать причину, отчего Вы не пишете, ибо это так ясно и только в мою глупую голову не пришло. Не могу описать впечатления при чтении и до чтения этого письма. Когда мне принесли этот пакет, то я, конечно, узнал, что это — от Вас; но, прочтя две первые строчки, выронил его из рук, не ожидая, что Вы уже получили мою картину, и, следовательно, сейчас, сию минуту, я узнаю Ваш приговор, от которого зависела чуть ли не вся моя жизнь. Походя по комнате и собравшись с духом, я начал продолжать чтение. Когда дошел до места, где Вы говорите, что должны высказывать мне свое мнение беспристрастно, так, как Вам кажется, то у меня сердце запрыгало от удивительно хорошего чувства, которое происходило оттого, что я Вас действительно угадал и что у меня действительно есть человек, на которого я могу полагаться, как на самого себя (впрочем, больше). Это — удивительно хорошее, спокойное и крепкое чувство, за ощущение которого я выражаю Вам мою сердечную, глубокую благодарность.

Первый раз Вы вполне высказались, вполне поверили мне,

а я, первый раз в жизни, в моей жизни, богатой самыми разнообразными и необыкновенными положениями, встретил руку, которая может и готова помочь. Я встречаю в Вас более, чем я смел просить, и более, чем мог представить. Ну, да Вы это все сами прекрасно знаете.

Далее Вы продолжаете писать о картине Шишкина, об ее достоинствах [4]. Мне стало смертельно холодно, потому что я предположил, будто, начиная хвалить картину Шишкина, Вы желаете подготовить меня к принятию удара и будете дальше писать о том, что я, вероятно, провалюсь, и смягчать это тем, что Шишкин превзошел меня как-то случайно и проч. и проч. Но постепенно этот ужас стал проходить (он достиг высочайших размеров, когда вы *откупорили* картину). Когда я дочитал критику моей картины, то опять отдохнул, но уже отдохнул от избытка счастья. И знаете ли, что смешно? Только прочитавши письмо второй раз, разглядел или вспомнил, не знаю, что Вы велите известить о моем согласии на цену. Об этом мне и в голову не приходило, т. е. о вознаграждении, ибо я получил, читая Ваше письмо, гораздо более того, чем заслужил, и краска покрывает мое лицо, когда я пишу эти строки о цене за картину. Прошу Вас еще раз распорядиться, как Вы заблагорассудите, и прибавлю разве только то, что, во всяком случае, Вы сделали гораздо более, чем сделал бы я сам (в моей голове такая путаница, что, я думаю, трудно понять, что я хочу сказать). Впрочем, надо все-таки еще раз вернуться назад.

Я говорю: Вы так поэтично прекрасно описываете картину, как только Петрарка [5] мог описывать природу; на основании впечатления, которое я получил из описания моей картины, я буду бояться увидать ее когда-нибудь, из опасения разрушить чудную гармонию, составившуюся в моей голове по прочтении Вашего описания. (Фу, какая у меня в голове теперь пыль пошла: сам ничего хорошенько разобрать не могу; все путается и сливается, а Вы тут еще с ценой, с судом жюри, — пусть их всех чорт возьмет, очень они мне нужны). Ну, теперь, значит, я могу работать спокойно: выходит — не забыл, не пропал, а даже, говорят, еще лучше настрочил. Но если б Вы знали, как Вы хорошо, как глубоко умеете критиковать картину! Ведь я, как по книге, теперь знаю, что я должен сделать с моими другими начатыми картинами, которые могли бы погибнуть без Вашей помощи. Можно, и расхваливая картину, сказать так много об ее недостатках, как нельзя сказать, *ругая* ее сверху донизу. Как я страдаю от известия о болезни Ивана Ивановича [6]! Ради бога, телеграфируйте о его выздоровлении немедленно. Неужели болезнь опасна? Ведь это

ужасная болезнь? Кто лечит?!. Ведь на сестру[7] полагаться нельзя: она, может, не понимает, что такое тиф. Не буду спокоен ни одной минуты. Мне даже телеграфировать сестре нельзя: пожалуй, рассердится, что беспокою; ведь эти проклятые телеграммы и ночью принести могут, а нет ни малейшей возможности рассчитать. Ради бога, телеграфируйте!

Кстати, я получил от Третьякова телеграмму от 26 февраля; но так как телеграмма послана из Петербурга, то я и не мог отвечать ему, не зная, там ли он еще; а если в Москву телеграфировать, то тоже не знаю, приказал ли он переслать. В этой телеграмме он спрашивает, сколько стоит картина — 800 или 1000 р., и прибавляет, что желает оставить за собой, так что я на другой же день, ибо в этот день было поздно, телеграфировал Вам, а не ему, подтверждая просьбу об оценке. Я думаю, он не обиделся. За что же?

О боже мой, боже мой! Скоро ли я буду у Вас! Скоро ли пройдет это ужасное время! Я уже около месяца ничего не делаю: это происходит оттого, что состояние духа какое-то унылое. У меня теперь начатых картин всех вообще — три маленьких и пять больших, из которых одна 3 аршина в длину, да два в вышину. На этом холсте у меня начато море. Вот Вам легкий рисунок ее[8]. Может быть, выйдет что-нибудь похожее на море — постараюсь. Момент взят к вечеру. Освещены волны сзади, из светлой полосы на небе. Горизонт воды у корабля блестит. Небо, т. е. эти тучи, освещены снизу рефлексом. Вообще свет из картины. Не знаю, справлюсь ли с задачей правой стороны воды, которая должна быть освещена сверху холодноватым рефлексом, тогда как левая отражает светлую полосу неба. Ужасно устаю ее писать; руки ужасно болят: так долго приходится замазывать воздух. Но все-таки холст оказался меньше, чем нужно. Во всяком случае, если мне не удастся выполнить ее, как хочу, или хоть приблизительно, то я ее уничтожу.

Другие в этом роде[9].

Остальные не стоит чертить, также и картину в. князя[10], которая не задается, да и кончено. Если бы Вы только видели, что это за мерзость! Просто потеха, да и только: совершенно пейзаж Еремеевского[11] с примесью еще какого-то наиглубочайшего безобразия в тонах, так что когда я на нее смотрю, то просто волосы дыбом становятся, и я поскорее припираю ее к стенке. А между тем, необходимо окончить, и еще хорошо, ибо задаток взят и изменять нельзя.

Но знаете что? Я решительно начинаю уважать себя! Я хотя и часто описывал комнату, где я работаю, но все-таки это — самый бледный очерк ее безобразия. Комната вся —

белой штукатурки, так что чуть-чуть верный к природе по силе тон становится необыкновенно черным пятном на картине. И я пишу, не рассчитывая на то, что мне кажется здесь, а должен предугадывать, как это будет в Питере, в других комнатах, и еще по соседству с золотыми рамами и картинами. Это — такой тяжелый и рискованный труд, что просто беда, и еще вдобавок отнимает страшно много времени, необходимого на то, чтобы писать не сразу массами, а по частям, до того мелким, что картина иногда делается похожей на ситец, который удается привести в общий тон с необычайным трудом. Но особенно трудно дать ансамбль и глубину по невозможности отходить далее двух шагов. Картину же большую писать решительно невозможно далее: свет из окна освещает только один угол картины, тогда как другой покрывается рефлексами, голубым и желтым, из двери, находящейся под прямым углом от окна, из которого свет падает чистый и совершенно бесцветный. Ну, довольно, очень поздно опять...

Ах, отложить-то нельзя: завтра почтовый день. Евгении Ивановне эти дни немного лучше, но и только; крепко благодарит Софью Николаевну за письмо, но сама отвечать не может, и хорошо делает. Здоровье ее надломлено более, чем я даже ожидал, и боюсь, не поздно ли она приехала. Положительно ничего нельзя сказать. Я, с своей стороны, тоже не могу писать к Софье Николаевне, за что она вправе назвать меня самым наиподлейшим именем; но с будущей почтой я доставлю себе это неудовольствие (пусть-ка прочтет) и уже так и быть напишу, хотя мне это и неприятно.

Ф. Васильев

Ради самого меня, как только продадите картину, немедля высылайте деньги: у меня нет совсем и приходится побираться.

Пишу Нецветаеву, а на прошлой почте Григоровичу, где задается ему должная головомойка по поводу красок. Впрочем, виною, вероятно, Бартков (это я говорю не затем, конечно, чтобы начать следствие). (Ну, зато уж это-то я говорю прямо для защиты от Вас бедняги Дмитрия Васильевича). 200000000000 раз благодарю за письмо, так долго жданное (чорт знает, все укоризной пахнет!).

До следующего письма, крепко Вас обнимаю, а Софье Николаевне целую руки.

Весь Ваш *Ф. Васильев*

Поклоны:

Косте Савицкому [12] и его милейшей супруге, Николаю Николаевичу [13] (супруге боюсь, ибо мало знаком), Сомову

Андрею Ивановичу[14], Дмитрию Васильевичу Григоровичу. (Ботникову и Поскину только не кланяйтесь[15]). Об укрывательстве[16] Ильи Репина сообщите, что знаете, а также и о Макаре Макаровиче Макарове[17] (точно макарьевская ярмарка). И прочая, и проч., и проч., и проч., и прочая и прочаая, а вот «Огнеед».

13. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

15 марта 1872 г.
С.-Петербург

Иван Иванович поправляется (вместо телеграммы)

Добрый мой Федор Александрович!

Не знаю, какое у меня письмо выйдет, т. е. не то что какое выйдет, а как мне сделать, чтобы Вы правильно поняли. Ведь у меня иногда чорт знает как язык заплетает и логика чудна́я, но ведь, кроме письма, нет другого средства, стало быть, будем усиливаться: я — правильно выражаться, Вы — правильно понять. Итак, Вы получили 2-ю премию[1], Шишкин — 1-ю[2]. Впрочем, это известие долетит к Вам скорее моего письма, так как премия поехала уже с доктором Боткиным[3], который отправился с больной императрицей. Но не это суть, и я знаю, что и Вам не это главное, а будущее — судьба Ваших картин, и последней, присланной Вами. Какое она произвела впечатление вообще? Я Вам обещался написать, что о ней говорят, и напишу. Восторженных, порывистых восклицаний я вообще не слыхал (вот Вам!). Скорее на лицах, на которых черти горох молотят, было какое-то недоумение, как им отнестись к явлению? Они с комическим беспокойством приставали ко всякому и просили разъяснить, что, дескать, сие? Ни одной стороны традиционной в картине нет, ни одного патентованного эффекта, т. е. такого, о котором все мнения согласны, и что мозги утруждать нечего. Вещь хороша, конечно, если в ней есть то-то и то-то, а тут — картина серенькая, почти туманная, что-то как будто скучное. Чорт его знает, поди разбирай. Некоторые находили, что все-таки это не то, что «Зима»[4], однакож при этом так выходило, что Васильев не сделал шага и назад, — словом, конец с началом не сходился, а ведь согласитесь, что такое положение прочности мнения не способствует. Для всех было несомненно, что когда поставили вещи ваши, т. е. Вашу и Шишкина, то премия определилась, и определилась до такой степени, что между этими двумя вещами и другими, присланными на кон-

курс, не было даже никакого перехода — точно пропасть, и точно только две вещи и прислано. Только немногие, простые и не заинтересованные в этой полемике люди, люди с чувством, умом и художественным развитием, выражали непритворное удовольствие, а некоторые художники только руками разводили и говорили приблизительно следующее: прошлогодняя «Зима» породила уже новых зимних пейзажистов, на ту же тему, а эта вещь окончательно собьет их с толку. Этому уж и подражать нельзя, нельзя и подозревать о существовании *такого* пейзажа, не имея дара божьего.

Словом, на новой дороге всегда мало проезжих, хотя бы она была и кратчайшая, и пройдет немало времени, пока все убедятся, что именно эта дорога уже давно была необходима. Это то, что говорят. Я вообще мало и неохотно о Вашей вещи говорил, потому что я не видел необходимости ее защищать: она сама за себя говорит, и потому был спокоен. С тех пор, как я ее получил, прошло три недели, я ее уже знаю, и мнение мое первоначальное ни на волос не изменилось, а в том возрасте, в котором я нахожусь, как-то мнения не очень уступают внешним давлениям. О своей вещи еще я могу сегодня подумать одно, а завтра другое, но чужие для меня то же, что книга: прочел и понял или не понял, а уж заключение выливается в определенные формы. Не могу только не выразить своего сожаления о той глупости, с которой составляются премии: 1-я — 1000 рублей, а 2-я осталась 200 рублей. Это такое невозможное расстояние, что в данном случае это было настолько очевидно, что некоторые, чтобы избежать комизма, предлагали премии разделить пополам. Я не был в числе жюри и не знаю подлинно, как это происходило, но что это происходило — это верно. Я сожалею теперь, что написал Вам в прошлом письме о словах Григоровича, что первых премий две. Я ему и поверил. Еще урок мне в том, что не следует говорить обо всем, что болтают, если это может производить какое-либо неожиданное и неприятное впечатление. Мне бы следовало воздержаться. Напрасно Вы думаете, что я в письме или на словах способен Вам золотить пилюлю. Вы требуете моего откровенного мнения, и я его сказал бы ясно и просто, что Ваша вещь сравнительно с Шишкиным — слабая, если б она была слабая. Повторяю, приготовлять Вас я не стал бы. Вам не то нужно. Вам нужно знать правду, как доктору, чтобы знать, что Вам делать. Я даже так поступил бы в том случае, если бы Вы ко мне и не обратились. Мне слишком дорого Ваше будущее, чтобы делать Вам (даже с добрым намерением) затруднения его достигнуть. Но что касается картины Шишкина, то это действительно

замечательная вещь, вещь редкая во всей русской школе. Судите же, что это такое и кто с Вами конкурировал. Но чорт знает, выходит и в самом деле, что я как будто устилаю. Бросим это, дорогой мой, а поговорим лучше о другом. Третьякову я назначил 1000 рублей за Вашу картину, и он *согласен* [5]. Краски вышлю немедля, только не знаю, те ли пошлю, каких нужно Вам. Постараюсь взять побольше.

В Академии выставка, как всегда, заурядная. Есть и хорошие вещи, но мало, много посредственного, а уж плохого и не приведи бог какой урожай [6]. Савицкий все вздыхает о своем непотребстве, что не пишет Вам. Но решительно собирается. Репин где-то и что-то, но я его не вижу [7]. Говорят, женился. Макаров написал два портрета детских очень хороших, краски прекрасные, и что удивительно — хорошо нарисованы [8]. Просто — благодарю, не ожидал! Н. Н. Ге пишет повторение своей картины для государя [9], а я... я... не знаю, что я делаю, стыд и срам. Зима почти миновала, а я бью баклуши, скучно и тяжело, тяжело и скучно. Впрочем, начал «Христа» [10]. Чудное дело, а страшно за такой сюжет приниматься. Не знаю, что будет.

Если можно, вышлите мне фотографии Чуфут-Кале, что есть у Рыльского [11], если есть Рыльский в Ялте вообще, помните, из той коллекции, которую мы с Вами рассматривали. В ножки поклонюсь. Что касается начатых Вами картин, то с богом, вперед! Решительно вперед! Нам нельзя и некогда оглядываться. Работы на сто человек, а рабочих сил пять-шесть всего-навсего. Ведь и до станции не бог весть как далеко, а там нас сменят свежие силы. Но пока сменят, а дело у нас на плечах. Впрочем, что же это я, кому говорю, точно равному... Не забудьте, у Вас будущего больше моего на целую станцию, а может быть, и больше, а уж мне больше одной упряжки не сделать, это верно, а все-таки вперед! Чертеж Вашей «Волны» живо напомнил мне шум настоящего моря [12]. А хорошо бы, если бы оно зашумело и в самом деле, так хорошо и страшно как-то. Вот катится, катится, катится... бесконечно. Вы помните, на меня Крым не произвел того впечатления, какое бы Вы хотели, но волны... это хорошо, музыкально как-то. Нет, впрочем, это не совсем музыка, а какое-то чудовище, живое, мрачное, да и, правда, свет оттуда из картины, только чудовище большое-большое, даже больше, чем всякая картина. Итак, чем больше, тем лучше. Часто, очень часто я вижу наяву вечер, берег моря и волны, волны и волны...

Однакож так нюнить непростительно — не к лицу: будем говорить степенно. Мне нравится, что Вы взяли этот мотив,

он имеет в себе внушительную степенность, и линия хорошая; так просто и хорошо, давай бог. Праздник будет у меня, когда свидимся. Знаете что, кончу я письмо, лучше кончу, не могу писать, чорт знает, что такое: пусть лучше останется чистая бумага, добавляйте, что Вы хотите, все будет хорошо, нового не будет. Будьте здоровы! Ничего не нужно лучше этого. Прощайте!

Мамаше Вашей шлю сердечный привет. Роману дети написали бы, да спят, а Софья Николаевна, Вы знаете, что она думает. Передайте Иконниковой наш искренний поклон.

И. Крамской

14. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

Марта[1] 1872
Ялта

Дорогой друг Иван Николаевич. Получил Ваше письмо от 15 марта. Постараюсь отвечать по пунктам. Относительно премии могу сказать только одно: жаль, что так мало, т. е. всего 200 рублей, пришлось получить, когда я ожидал больше, судя по письмам Вашим и письмам других. Благодаря этому некоторые из моих расчетов распались, и мне придется только больше поработать до осени, чтобы исправить это, если это можно будет исправить. И только: никакого *бедствия* или *удара* не произошло, как Вы, я думаю, и подозревали. Что же касается до Вашего сожаления о том, что Вы в прошлом письме передали мне слова Григоровича о *первой премии* и тем обнадежили меня, то это, т. е. сожаление, напрасно: если бы Вы всего этого не написали (чего Вы не могли сделать, не изменяя всего тона письма, а следовательно, и его смысла), то я получил бы неполное и не совсем — до подробности — верное впечатление, произведенное моей картиной; а это, т. е. самое верное изображение произведенного впечатления, было для меня все, все, чего я желал, и Ваше понимание меня и проч. не допустило Вас контролировать и критиковать виденное и слышанное Вами. Потому, повторяю, сожаление напрасно, совсем напрасно. Не думайте, однако, что я только с этой стороны смотрю на это слово: нет, я смотрю на него еще с другой. Эта другая сторона указывает мне Вашу, дорогую мне, привязанность и честность. Но довольно об этом: у меня в голове, при всех подобных случаях, возникает такой рой всяких мыслей и соображений, что хоть брось, что я и делаю.

Замечу только то, что есть совершенно определившееся в Вашем письме. В прошлом письме Вы еще не так рельефно изобразили состояние *посторонних* любителей, т. е. почти *публики.* Но из этого письма я и это уже совершенно ясно вижу, и особенно успокоительно действует на меня то, что люди рутины, не совсем понимающие, даже совсем не понимающие подобных картин, все-таки чувствуют, что я не пошел назад, что хотя «Зима» [2] как будто и лучше, но, однакоже, и это тоже недурно. Положим, эта картина выиграла такое хорошее мнение только потому, что она новость, и только благодаря этому (я в этом уверен) нравится; но напиши я подряд пять-шесть картин в таком же духе, то *все* отвернутся от меня и назовут бездарным, — это верно. Потому, желая, чтобы мои картины... Какая меня берет злость! Ужасно трудно передать на бумаге мысли и чувства точно и верно... Словом, я желаю представить публике картины в двух родах: картины патентованных эффектов и картины без всяких условных рамок, — словом, какие бы мне ни представились. Может быть, мне это и удастся нравственно и физически, хотя времени совсем почти нет, да и из этого времени сколько потрачено на ожидание то красок, то здоровья, то всякой дребедени. Повторяю: если мне это удастся, то — Вы понимаете — публике самой придется разбирать, что лучше и что хуже: тут-то я их и поддену на их же словах.

Что касается до Третьякова, то действия его кажутся мне не то что странными, а скорее непонятными. Он мне пишет: «Картину Вашу я видел и оставил за собой, *пока Вы не возвратитесь* сюда, совсем поправившись»? Что это значит: пока не возвратитесь? Мне кажется, возвращусь я или нет, — картина принадлежит ему, и потому мое возвращение ничего в этом переменить не может. Потом он пишет о том, что брат его [3] и Солдатенков [4] (от которого я тоже получил письмо) и *многие другие* желают приобрести мои картины и: «я Вас прошу не продавать *там* свои картины, чтобы я мог выбрать». Но ведь это почти приказание, а я ему писал, что хотя я и употреблю все мое старание уберечь картины от продажи здесь, но ведь я прибавлял, что это очень трудно устроить, а он, Третьяков, почти приказывает, не обращая внимания на то, что ставит этим меня в довольно затруднительное положение. В самом деле, что я скажу, если меня спросит в. к. Владимир Алекс[андрович]: «Написали Вы что-нибудь, кроме моей?» Ведь мне придется лгать, чтобы скрыть картины, имеющиеся у меня. Потом: «Деньги я Вам буду высылать по мере надобности. Уведомьте меня, сколько Вам нужно выслать. Если деньги очень нужны, то пришлите теле-

грамму. Вчера получил известие от Ивана Николаев[ича] Крамского, что за картину Вы назначили тысячу рублей. Весь Ваш Третьяков». Не правда ли, ведь все это непонятно? Ну что же мне было делать? Деньги были нужны сию минуту, и я телеграфировал, чтоб он выслал 500 р. Право, я боюсь, чтобы не вышло еще новых недоразумений.

Очень сожалею, если выслали уже краски, ибо истратили деньги, а краски я уже получил от Григоровича. В будущем письме, прошу Вас, напишите, сколько я Вам во все время задолжал. Напоминаю Вам, кстати, о руководителе французского языка.

Деньги за вторую премию я получил не от Боткина, а от человека Лазаревского[5]. С самим Боткиным я думаю все-таки повидаться. Кстати — о Григоровиче. Я получил от него два письма подряд. В этих письмах Григорович как-то виляет относительно моей поездки за границу. Он — не знаю, какой цели ради, — советует непременно поговорить о необходимости моей поездки за границу с вел. кн. Владимиром Александр[овичем]. Что это такое? Уж не думает ли он, что я буду клянчить? Я об этой поездке ни слова не скажу в том тоне, в котором он *почти* советует, и не буду ни у кого добиваться ее, как милости, даже у Общества поощ[рения], которое действительно кое-что мне сделало! И если оно, Общество поощ[рения], не хочет сделать этого просто, ради моих успехов, то я не сделаю ни одного поклона для того, чтобы подвинуть это дело, и уж лучше употреблю свои силы осуществить это, необходимое для моего спасения, дело. Потом он пишет, чтобы я назначил сам необходимую на мою поездку сумму... Но ведь если я назначу ее, то очень легко может быть, что *они* станут торговаться? Что же это будет? Предполагать это я ведь могу, потому что Общество будет смотреть на это дело не как на свою обязанность, им же на себя взятую, а как на благодеяние, которого я опять-таки принимать не хочу. Но, вместе с тем, Григорович пишет такого рода фразу: «Весь Комитет давно, в один голос, готов все сделать, что Вы скажете; я это говорю без всякой фразы, а это есть на деле». Но зачем же мне разговаривать об этом с в. к., когда от него тут нечего ждать. Может быть, посылку мою желают свалить на счет Академии? Да ведь я об этом не просил. Может быть, тут нет ничего подозрительного, и мне это только так кажется. Дай бог!.. В письме Григоровичу напишу, как он просит, сумму, мне необходимую, а именно 1200 руб. в год, ибо поездка на Восток — не то, что поездка куда-нибудь в Нерехту, и двумя двугривенными не обойдешься. Да, сверх того, я ведь не Красносельский[6] какой-нибудь, который больше

чем на два двугривенных и не сделает. Я ведь даю слово сделать не менее того, что Общество от меня просит. А если я и не в состоянии буду сдержать свое слово, так в этом буду виноват не я, а человеческий организм, которому должен помогать всякий, имеющий средства, а следовательно, и обязанность. Этим я говорю, что мое слово крепко, пока крепко мое тело, а остальное зависит от бога, который делает то, что есть и что будет; следовательно, я, чувствуя, что могу дать слово, должен его дать, не рассуждая и не справляясь у Общес[тва] поощ[рения], справедливо ли бог заставляет меня чувствовать.

Но довольно. Довольно не потому, что я все написал, что хотел и как хотел, а потому, что, сколько ни пиши, толку выйдет мало, и даже чем больше, тем хуже: допишешься не до довольства собою, а до расстройства нервов, которые и без того ни к чорту не годятся; сверх того — это странно во всех отношениях — я уже чувствую, что в октябре месяце, хотя еще и далеко, мы увидимся-таки, а потому как-то не пишется: все, мол, на словах переговорим, а эта подлая бумага никак не выносит.

Что же касается до наших упряжек и величины станций, то это никому не известно, а потому — бросим. Притом величина от станции до станции, какая бы она ни была, должна быть ничтожна и незаметна сравнительно с общим расстоянием, которое отделяет первую станцию от последней, так что лошадь, пробежавшая одну станцию, и лошадь, пробежавшая пять, будут равно далеко от последней, потому что до последней — миллионы, и четыре станции лишних — капля в море.

Три дня погоды здесь стоят скверные, но до этого и теперь снова улыбается настоящее лето! Был день — день приезда царской фамилии, в который на солнце было 25 градусов тепла, и не менее 12—15 градусов в остальные. Дамы щеголяют в одних платьях, а мужчины в сюртуках. Приезжих уже много. Деревья — одни цветут, другие покрываются самым живым изумрудом; трава в поларшина; снегу и на горах ни капельки; цветы всех возможных сортов так и лезут из земли. Горы стали теплого розоватого тона и далеко ушли назад с своего прежнего места, заслонившись густой завесой благоуханного весеннего воздуха, наполненного мглой. Небо чудного какого-то голубого тона, которого никто не видал на севере: так он глубок и мягок. Если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор, без единого облачка, и передать это так, как оно в природе, то, я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину,

полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей своей безобразной наготе. Я верю, что у человечества, в далеком, конечно, будущем, найдутся такие художники, и тогда не скажут, что картины — роскошь развращенного сибарита. Это может показаться или безумным, или совершенным незнанием человека и его стремлений. А впрочем, какое мне до этого дело? Я верю в это, и потому прав, и никакие доводы не заставят меня думать иначе. Думать противное я буду только тогда, когда сам себе покажусь гадок; но тогда я, значит, буду другим человеком, а я отвечаю только за настоящего.

Остается шесть месяцев; пройдут же и они, а тогда — в Питер! Ну и, значит, расчудесно! Никак с собой не поладишь! То время тянется очень долго, то его очень мало для работы. Я, право, не знаю, что мне дороже: вернуться ли поскорей в Петерб[ург] или окончить начатое? Думаю, что последнее возьмет верх; но, вместе с тем, день перед отъездом будет самым необыкновенным днем в последние годы.

Здоровье Евгении Ивановны, к несчастью, не оставляет никаких сомнений: осень нынешнего года будет последнею. Доктор ручается, что весну она проживет; это — очень хорошо, потому что она может вернуться в Петербург; у нее здесь нет ни одного существа, близкого по проведенной жизни.

Мама, несмотря на все неудобства и лишения, поправляется уже заметно. Роман превзойдет, кажется, мои ожидания: свежесть лица, присутствие крови — в таком избытке, что просто потеха смотреть, как при всех его движениях лицо покрывается до ушей красным цветом. Я не заставляю его заниматься ни одного часа с тех пор, как он приехал, и не запрещаю проводить весь день на воздухе: это, т. е. здоровье, по моему мнению, в его лета самое лучшее приготовление к жизни; учение — не уйдет, а Крым — да! Да, кстати, я так и не дождался зимы. Всю *зиму* мама ходила на кухню в платье (кухня на дворе), а Роман в рубашке провел всю зиму тоже на дворе. Вот Вам. Дни самые холодные были не хуже тех, в которые выехали Вы из Крыма; только рано утром в Ялте один раз был мороз в 4 градуса, а снег был три раза, по два, по три часа. Не забудьте, что жители Ялты просто ругают бога, говоря, что нынешняя зима отвратительная. Еще в январе и феврале я разъезжал по морю и охотился за птицами, незнакомыми мне. Ну, а у вас, я думаю, еще Нева стоит, и мороз градусов в 100, или, по крайней мере, грязь и вонь по уши?

Хорошо бы Вам на лето удрать сюда! Ей-богу, хорошо! Мы бы тут дешево довольно устроились. А как бы провели лето!!! Купанье-то! А воздух-то! Впрочем, Вы тут летом превратитесь в жаркое: ведь Вы северные!

Благодарю Савицкого за его бесконечное желание написать мне! Не ожидал от Макарова подвигов, ей-ей, не ожидал! Поклон ему самый приветливый. Посылаю карточки свои [7]. Фотографии вышлю с будущей почтой — не готовы еще. Целую руки Софье Николаевне; написать ей все еще не могу: очень увеличилась *деловая* и проклятая корреспонденция. Треплю ребятишек. До следующего письма.

Весь Ваш *Ф. Васильев*

15. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

20 апреля 1872 г.
СПБ

Добрый мой Федор Александрович! Вот как бывает, и я запаздываю с письмами! Но случилось так, что, получивши Ваше письмо, я долго был в недоумении и довольно тяжелом раздумьи, что делать, как писать и с которой стороны подойти к Григоровичу, чтобы накрыть его и узнать то, что есть пахучего в его действиях. Был у него — не застал, собирался опять к нему, и вдруг он является ко мне сам. Ладно, думаю. Ну, говорим; — думаю, зачем он? И уже собрался повести атаку, как он заговорил о своем удивлении по поводу Вашего письма к нему; но в чем дело — ходит вокруг да около, а что именно ему нужно, не говорит. Я знаю Григоровича с одной стороны, с которой Вы, быть может, его не знаете. Знаете ли Вы, что его глубоко можно обидеть, обидеть до того, что он станет врагом, врагом тем более опасным, что все в нем остается то же, он так же говорит со слезами на глазах, как и прежде, так же, как заведенная машина, вертит колеса и трещит фразами, но время от времени есть фразы, окрашенные зловещим цветом, и вы чувствуете только, что есть нечто, что крепко и упруго сидит в нем и начинает вплетаться во все его действия, к вам относящиеся? Это нечто состоит в том, что относительно Вас он как будто должен еще с кем-то советоваться, на кого-то взглянуть, с кем-то переговорить. Судьбами Вашими не он один распоряжается. Картину Вашу Вы прислали через меня — ему обида, Третьяков ее купил не через него — ему обида, считаете Вы нужным картины приберечь и не высылать их, до окончания,

в Общество — ему обида, тем горшая, что эта последняя мысль, он подозревает, Вам кем-то внушена, что не будь кого-то, Вы бы сами не выдумали такой революционной мысли, и т. д. Это верно. Хорошо ли, худо я сделал, но сделал так, как мог и считал приличным. Я ему сказал, что получил от Вас тоже письмо и что хотел видеться с ним, чтобы посоветоваться, взял да и прочел из Вашего письма страничку о Вашем недоумении: зачем это Вы ему советуете поговорить о своей поездке за границу с великим князем. Нужно было видеть и слышать, как он божился и клялся, что ничего подобного он к Вам не писал и не советовал, что, напротив, именно не нужно ничего брать от Академии, — ну, словом, я ничего не понял во всей этой кутерьме. Так и оставил это дело, после того он поведал свое горестное положение, что Вы не обещаете выслать картин в Общество до окончания нескольких разом, и потом, что Вы ему при этом прибавили: *«Это секрет»*. «Так, — говорит, — и подчеркнул. Что же это такое? Неужто мы не увидим от него ни синя пороха, так как он говорит, что все вещи надеется распродать там, в Крыму, и частью в Москве, а между тем, ведь нужно же свести счеты, все бы-таки хоть две картины следовало бы дать нам, чтобы я мог перед Обществом упираться на факты. Конечно, вы себя, господа, независимо и почетно поставили, что же, ему, пожалуй, и хорошо поместить свои вещи на Передвижную выставку...» Я подумал, чорт знает, кто ему это бухнул? И, наконец, не написали ли Вы ему сами, что хотите делать отдельную выставку, и не пробует ли он меня, чтоб я проговорился. Но так как Вы мне это писали под особым секретом и со мною советовались, и притом Яков Михайлович, когда приехал, говорил то же самое и тоже по секрету, то я и удержался, не выводил его из заблуждения, если он не знает Вашего намерения, и, пропуская мимо ушей это, говорю ему: «Дмитрий Вас[ильевич], мне кажется, что дело это такого рода, что следует Ф[едору] А[лександровичу] Васильеву поставить на вид прямо, что так как он должен Обществу и так как Общество не может больше ждать долгов, то Васильев и обязан уплатить, ведь Фед[ор] Александр[ович], я думаю, удивлен не будет, что кредиторы требуют с него долг, и, сколько я его знаю, он, разумеется, должен будет представить для уплаты Вам картины. Я не допускаю мысли, чтобы он обиделся, если Вы ему прямо это напишете, ведь это дело денежное...» — «Нельзя, мой друг, нельзя, ведь не могу же я так писать, я ведь его знаю, я и то теперь уж не знаю, как ему писать, и когда пишу, то десять раз каждую фразу обдумаю прежде, как бы смягчить и не задеть; ведь он кипучий,

самолюбие, батюшка, самолюбие, я понимаю, нет, нельзя...» — «Напрасно, говорю, по-моему, надо сказать прямо, он не мальчик, — боюсь, чтобы как-нибудь не вышло недоразумений». Словом, я так ничего и не понял. Изложил Вам для того все это, что так как Вы писали и ему и мне, и знаете, что писали нам обоим, то, может быть, Вам это будет яснее. Сколько мне кажется, в Обществе и в самом деле некоторые думают: зачем ему еще давать, когда он так блистательно продает свои вещи? Это объяснение для меня имеет правдоподобие, а впрочем, чорт их там знает. Ей-богу, я, голубчик, тут ничего не могу и понять и, кажется, сделать. Что же касается господина Третьякова, то рекомендую Вам послать ему некую цыдулочку, в которой Вы так и скажите, как и в письме ко мне. Он должен знать, что цена картины не может быть одна, когда Вы в Крыму, а другая, когда Вы в Петербурге, и что все равно, здоровы Вы или больны. С ним это будет хорошо. Может быть, ему это нужно сказать несколько мягче, но что следует выразить несомненное удивление к его словам — это верно. Видите, он тоже как будто обижен, что не то он Вам помогает, не то Общество. Чорт их знает, что у них такое. Еще Третьяков, как частный человек, может сказать: «Ндраву моему не препятствуй», но Обществу — неприлично. Эдакая гадость, с какими Вам казусами приходится возиться в то время, когда надо тишину и спокойствие. Теперь о другом — относительно Академии, т. е. звания Вашего и диплома, все будет сделано, как Вы говорили. 27 или 29 апреля будет Совет [1], и тогда извещу. Но вперед успокойтесь: мне обещали сделать, как я и просил. Дорогой мой, письмо это такое гнусное, что я не хочу здесь больше ничего писать, а дня через три напишу какое следует. Кланяется С[офья] Н[иколаевна] Вам и мамаше.

Ваш весь *И. Крамской*

16. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

25 апреля 1872 г.
СПБ

Дорогой мой Федор Александрович!

Хвостик про Григоровича. Он Вас не понимает, вразумите его. Часто в Ваших письмах он видит совсем не то, что нужно. Ему нужно коротко, но ясно, каждую вещь своим именем — иначе он расползается. Он, например, понял, что Вы сейчас, теперь, хотите ехать на Восток, и оттого в ужасе. Я, как мог,

его успокоил, сказал ему, что, по всем вероятиям, поездка эта состоится не раньше будущей зимы, следовательно, подробности ее выработаются еще, и, наконец, Вы будете сами здесь, и тогда он будет иметь удовольствие выслушать от Вас приказания. «А до того времени высылайте ему по 100 рублей, если можно, ежемесячно, и кончено дело». Встретил Исеева и, между прочим, сказал ему, что Вы как будто стесняетесь делать перемены в картине для великого князя, так как он начало уже видел [1]. На это он говорит, что смело можете творить суд и расправу над небом и землею и, как господь бог, месить все, как нужно. Нужно отодвинуть гору — отодвиньте, мешает море — сделайте сушу, — словом, можете насадить смоковницы или терние — все равно, лишь бы хорошо было. Краски посланы, и думаю, что человеку, обладающему Вашим аппетитом, ничего не значит скушать сорок пузырьков белил и через неделю потребовать еще столько же, и хотя я могу, положим, прийти в ужас от Вашей прожорливости, но, ограбивши магазин Сухоровского, можно для Вашего удовольствия опустошить Беггрова [2], и после того уже в крайнем случае лишить торговли Аванцо [3]; итак, во славу божию, валяйте! Конечно, моих капиталов может не хватить при таком опустошении, ну, тогда я буду рекомендовать Вам обратиться к другому, более меня ветреному человеку. Вы пишете, что там у Вас какой-то удивительный воздух; я на это мог бы сказать многое, но на первый раз ограничусь пока тем, что доложу Вам, что Петербург удирает какие-то невозможные штуки. Например, перед праздником и на праздниках здесь было 15, 17 и 19 градусов в тени. Каково! Вот Вам! Ну, когда это видано? Это в половине-то апреля! И теперь просто прелесть, но так как в Крыму, вероятно, по Вашим известиям, будет еще прогрессивнее, то я и умолкаю. Желаю Вам изжариться. На второй день праздника, в ночь, здесь был пожар — горели балаганы: сгорел бесстыдник Берг [4], зверинец, ипподром, карусели и прочие безобразия — не все, впрочем, чему я сокрушаюсь очень. Мы с Савицким ходили смотреть. Жарко было, и хорошо, что было тихо, — могло бы кончиться плохо. Оно и теперь нехорошо: в присутственных местах, на углу Гороховой и по другую сторону той же улицы, полопались стекла, сгорели рамы, и во всех этажах повреждения очень существенные. Несмотря на это, через день площадь была уже опять застроена, и публика, как ни в чем не бывало, вкушала удовольствия, — даже подло смотреть. Был у меня как-то недавно брат Карла Васильевича Имсена — Василий Васильевич, принес поклоны, и при сей верной оказии помыли Вам косточки, о чем и довожу до Вашего сведения. Замечаете

ли Вы, что мое письмо становится похоже на те письма, в которых обыкновенно говорится: жив и здоров, чего и вам желаю, у нас отелилась корова, яблони в саду распускаются, Мария Ивановна опять принесла двойни, а дедушка приказал долго жить — и все в этом роде. А отчего это, как Вы думаете? Трудно угадать, но возможно, только не Вам, конечно. Разумеется, меня может терзать угрызение совести, что я отвечаю на дневники чорт знает чем, но ведь я Вам в этом не сознаюсь, конечно, следовательно, Вы без моей помощи пропали. Потом я могу привести в свое оправдание, что дел ужасно много, никак не могу собраться: третьего дня был нездоров, а завтра, вероятно, кто-нибудь помешает, и так дальше, до бесконечности... И разгонисто подлец пишет! Как прежде, бывало, лепил строчка на строчку, а теперь, смотри, будет рад, когда домахает до конца; раньше не остановлюсь — это верно, потому что Вы можете подумать, что ишь какой, ленится, забывает уже меня, если бы я вздумал вот на этом месте подписать свою фамилию. Конечно, пустое место смотрит несколько укоризненно, но ведь что будете делать — весна! Петербург, как Вам известно, становится в это время светел, и ночью ламп не зажигают почти совсем. Ну, а какой порядочный человек станет тратить долгое время на письма, я Вас спрашиваю? А место все еще остается, но остается его так мало, что дела не вместишь, а безделья и так много; взять другой лист — значит наклеить две марки, а зачем, скажите ради бога? Оставаться в естественных границах, бумажным фабрикантом отведенных, тоже не хотелось бы — нарушение принципа свободы; и так до конца балансируешь между Сциллой и Харибдой[5]. Каково вывожу периоды, хоть в печать. Не уступлю и Вам в болтовне. Вот единственная разница: у Вас в письме есть что-то о будущем искусстве, хорошо что-то сказано, да несколько строк траурных относительно Евгении Ивановны (бедная, что с ней?). Траурных известий с моей стороны, слава богу, нет, а об искусстве мы толковали так много, что можно отложить до другого раза, хотя на выставке показались некоторые новые вещи, но... как бы Вам сказать — не трогают, а потому лучшее, что я могу сделать, — это поклониться Вашей мамаше, Роману желаю потолстеть, а Вам сказать спасибо за косоглазых братьев Ваших. Дописал, наконец.

И. Крамской

17. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

2 мая 1872
Ялта

Дорогой мой Иван Николаевич, сегодня получил письмо Ваше. Нечего и говорить, как мне тяжело все это достается, т. е. все эти дрязги, которые решительно ничего, кроме дурного, не приносят; но они есть, и, следовательно, делать нечего. Прежде всего прошу у Вас прощения за все эти выкрутасы, которые Вам, благодаря мне, приходится проделывать, а во-вторых, благодарю от всей души и от всей же души прошу Вас не отказать в своей помощи. (Видите, какой у Вас безобразный... ну, как бы тут?.. написал бы: «друг», да хорошие друзья так бессовестно не пользуются добротою).

Дело состоит теперь так: я обязан благодарностью Григоровичу (именно Григоровичу, а не Обществу), а во-вторых, я обязан и Третьякову (хотя я и возвращу ему мой долг, но все-таки он будет вправе считать меня обязанным). И Григорович, и Третьяков желают пальмы первенства — это, *кажется,* прежде всего. Затем я даже подозреваю, — прости меня боже, — что Третьяков ищет тут еще и выгоды, чего за Григоровичем я не имею причин подозревать, и если у него даже и есть желание выгоды, то эта его выгода нисколько не в ущерб мне, а даже напротив. Я хочу сказать, что у Григоровича менее надобности иметь меня в своих руках, чем у Третьякова. Потом, как Вы справедливо говорите, у Третьякова может оказаться *«ндрав»,* чего у Григоровича, действия которого контролируются высокопоставленным Обществом, контролируются и гарантируются, случиться не может. Сверх того, Григорович уже давно и усердно мне помогает, а Третьякова я еще очень мало или почти совсем не знаю, а поступки его, кроме некоторой странности, ничего не имеют. Потом еще и то, что в руках Григоровича моя поездка за границу — поездка, столь мне в настоящем положении необходимая, затеянная им же, Григоровичем, по его инициативе.

Следовательно, повторяю, предстоит ублаготворение. По всей строгой справедливости, пальма первенства на этом необыкновенном соискании принадлежит исключительно Григоровичу; и нравственно, и материально он помогал и может помочь вернее, чем Третьяков (от Третьякова я хотя и одолжался, но зато, кроме наставлений о воздержанности и *угрожаний судом* [1] (помните?), другого ничего надеяться не могу).

Средство удовлетворить обе стороны — картины. Григоровичу достаточно ублаготворения нравственного, Третьякову —

материального, т. е. я Третьякову предоставляю первому выбор картин и их покупку с *уступкою,* а Григоровичу отдаю часть картин, даже уже проданных, для выставки в Общ[ество] поощ[рения], и притом выражу ему на днях мою искреннюю признательность и уверение, и проч. и проч. Что же касается моего долга Обществу и Григоровичу, в сложности около 900 р. (более), то если болезнь не ухудшится от каких-либо обстоятельств или что-либо другое не задержит моих работ, то я надеюсь их выплатить, и, мне кажется, Общество ничего не потеряет, если я расплачусь чистыми деньгами, хотя и не ранее октября сего года.

От всего этого, конечно, лично для меня никакой пользы не будет, и план мой относительно *выставки* лопнет хуже мыльного пузыря; но ведь делать нечего, и за это — неоднократное спасибо: все-таки дешево отделаюсь. Во всяком случае, у меня еще надежда на переписку с *жалкими словами,* которой я угощу милейшего Дмитрия Васильевича и на которую надеюсь, как на каменную стену.

Все это я Вам пишу к сведению и на скорую руку, под свежим впечатлением; но вслед напишу более определенное письмо с подробнейшим изложением плана. Это будет необходимо и благодаря этому Вы не будете находиться в самом глупейшем из глупых положений — в неизвестности, благодаря которой Вас может озадачить Григорович. Пошлю также письмо Григоровичу, в котором напишу, что я слышал об его беспокойстве относительно моих планов и моей несостоятельности в долге Обществу. Я думаю, можно будет написать, что это я слышал от Вас. Вам же пошлю копию с моего письма к нему, чего, конечно, он не должен знать.

5 мая 1872

Сейчас получил и второе Ваше письмо, мой наипрелестнейший Иван Николаевич. Благодаря этому и тому, что первое письмо еще не окончено, посылаю Вам две цыдулки, вместо одной. С великим смущением вижу всю суетность и крючкотворство сих посланий. Но... но делать нечего — одолжайтесь! Мне — пуще всего Григорович: путается он сам по незнанию и путает меня и мои начинания, ибо эти начинания в большой от него зависимости.

Но, позвольте, прежде чем не кончу дела, не могу приступить к описанию более интересных сторон моей теперешней жизни: кажется, и некогда будет.

Вот главные черты моего плана — черты, изменение которых будет весьма для меня опасно, последует ли то через болезнь или по каким-либо другим причинам. Начато у меня

всего-навсего десять картин, т. е. шесть больших и четыре маленьких, из коих большая — 1 арш. вверх и $^3/_4$ арш. поперек. Но, смотря по тому, как подвигаются картины, я могу наверное рассчитывать только на семь картин, ибо рабочего времени остается не более четырех с половиной месяцев. Стоимость этих семи картин — около 4000 р. Долгу у меня, считая сюда и пять месяцев по сту руб. из Общ[ества] поощ[рения] худ[ожников], — 3000 р. Следовательно, с проездом и пересылкой картин у меня на руках не останется ничего, кроме совершенной расплаты с долгами. Значит, впереди опять заем у Общ[ества] поощ[рения], которое полагает, что Васильев в один год стал (почему-то) капиталистом и помогать ему не след. Дурни! Ведь они забывают, что Васильев живет, стало быть, и жрет и пьет, и штаны ему купить надо. Нет, они думают, что Васильев сидит и только хапает *тысячи,* да прячет туда их, к чорту в подкладку. Лысого беса тут накопишь! Ну, да дело не в том. Распорядиться этими семью картинами я думаю так: ни в каком случае не продавать их без условия с покупателем, который должен будет получить купленную картину не ранее, как в январе месяце будущего года, что мне необходимо для того, чтобы успеть их выставить частью на выставке Общ[ества] поощр[ения], частью на Передвижной [2]. (*Секрет:* я хотел все картины поставить на последнюю, но это, как видите, невозможно). Даже великому князю я поставлю это условие, и, надеюсь, он согласится. Кстати, бесконечно Вам благодарен за то, что Вы сообщили мне слова Исеева о переделках этой картины: это мне развязало руки. Таким образом, все картины я привезу сам: надеюсь, что здоровье мое не настолько дурно, чтобы Боткин, у которого я, впрочем, до сих пор не был, запретил мне заехать в Петербург на две-три недели в первых числах октября.

Резюме:

Картин начато десять. Употреблю все старание для окончания семи из них. Покупателю поставлю непременным условием известный срок, до истечения которого он не может получить картины. Четыре или пять картин отделяю для Общества поощ[рения]. Остальные две или три отдаю на Передвижную выставку (это последнее, впрочем, еще не от меня зависит по разным причинам, так что это только в проекте). По реализировании картин, выплачиваю долг Третьякову (650 р.) и долг Обществу, старых 800 р., да вновь присужденных по 100 р. в месяц, считая по октябрь месяц, — 500 р., всего 1950 р. (это не все долги). Вот все, что я могу в настоящее время предположить.

Из последнего письма Григоровича (от 25 апреля) я вижу, что он и не подозревает, как я задолжал, и, вероятно, думает, что я имею небольшой долг в Обществе поощр[ения], иначе он не дерзнул бы, по Вашему наущению, высылать мне еще. Ну, чорт побери, как все это надоело, Вы себе и представить не можете! Целые кипы бумаги исписываю такой пакостью, что упаси боже всякого крещеного человека. Григорович пишет, что уезжает, а куда, на сколько времени, — ни слова. С каким лихорадочным нетерпением ожидаю *вестей* из Академии [3]. Ведь это в некотором роде...

Приехали сюда Боткин и Постников, были у меня, я был у них. На первый раз мне очень понравился Боткин; Постников же — до того безличная штука, что, ей-ей, не знаю, что бы про него сказать. Знакомство с братом поможет мне сильно у Сергея Петровича [4], в руках которого, так сказать, моя будущая жизнь.

Господи боже мой, до чего у меня в голове все перепутано! Крым, Петербург, Каир; Третьяков, Григорович, Боткин и проч. Картины, деньги, мать, брат, и проч., и проч., и проч... бррр!

У нас в Крыму лето уже надоело: жара — несносная, зелень — густа до безобразия; розы и всякие другие цветы приводят в исступление. Посмотрите сей рисунок, на котором изображено некое вьющееся растение, особенно замечательное по обилию цветов [5]. Величина цветных гроздьев нисколько не преувеличена, а скорее жидковата. Не забудьте, что на этом растении сначала появляются цветы, а уже потом листья. Цвет — светлофиолетового тона, который до того гармонирует с серым мрамором или белой стеной, что трудно оторвать глаза.

Купанье в море идет с утра до вечера. Вот уже пять дней море — как стекло, даже облака отражает. Третьего дня была сильная гроза с дождем. Уже 12 часов ночи, а стекла у нас в дверях, выходящих на двор, не вставлены, и я, сидя в одной рубашке, обливаюсь потом. Реомюр показывает $20^1/_2$ градусов тепла. Груши, персики, абрикосы, черешни наливаются. Через полторы недели поспеет черешня. Уже почти все квартиры заняты. Приезжих — тьма. На бульваре — музыка.

Но природа, батюшка, природа! Что за бархат и глубина тонов! Я просто могу заболеть: серьезно, такая обида берет, что ничего подобного не написал. Но постараюсь пересилить себя и окончить, что начал: иначе — беда непоправимая.

Кончу письмо, а то конца не будет. Сколько ни пиши — всего не скажешь. Уж как я Вам, голубчик мой, благодарен за Ваши великодушнейшие попечения! Уж так, так, так! Эх,

кабы Вас с Софьей Николаевной и ребятишками сюда перетянуть. Вы, я думаю, про себя скажете: «Отваливай-ка, брат, с этим подальше». А все-таки хорошо было бы. Иконников говорит, что Вам, кажется, придется быть в Одессе с выставкой[6]. Правда ли это? Если правда — хорошо! Почему хорошо — Вы догадаетесь.

Я дальше всякой возможности пойду и решительно кончу письмо сейчас же, сию же минуту, не вдаваясь в рассуждения.

По гроб Ваша кисейная девушка *Ф. Васильев*
Скоро напишу опять.

18. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

22 мая 1872 г.
Ялта

На сем крохотном листочке
Напишу четыре строчки...

Во-первых, мочи нет! Так трескать черешни! — Ведь это безобразие! Пузо — как барабан; ну, можете представить, сударь ты мой, — барабан! Это мы кажинный день, с 14 мая, до такого состояния доходим — все *для поправления здоровья* (?).

Разлюбезный ты мой друг! Какие, я тебе скажу, тут прелести! Словом, благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. А море-то, море! Тихо катятся перламутровые, блестящие волны; белая, как снег, чайка сидит и охорашивается; глубоко, глубоко на горизонте потонули облака в солнечной пыли. Сядешь на катер и поплывешь туда, в зеленую, чарующую глубину, полную прохлады и какой-то задумчивости; наклонишься через борт и полощешься руками в изумрудной влаге — и далеко расходятся круги, игриво изменяя отраженные облака. Чудо, как хорошо! И вдруг, среди этого спокойствия и наслаждения, как-то сам собой, ярко выступит дугой загнувшийся песчаный берег с одной стороны, песчаный берег с другой. Тихо, не шелохнет; тянется длинная вереница бурлаков; туго натянулась бичева, на конце которой столпились мощные люди с мощными руками и грудью. Идут они, идут от самой Астрахани до Твери, мерно раскачиваясь то вправо, то влево[1]. Вот на горизонте стеной встают облака, одно другого выше. Вот уже и солнышка нету и все притулилось и затихло; только по гладкому зеркалу воды, темному, как вороненая сталь, пробежал ветер и, зацепившись, провел

тоненькие бороздки, блестящие, как серебро... Господи, да что же это такое? Это? Это — черешни! Как Вы, Иван Николаевич, думаете, — что хуже: есть черешни пудами или писать письма с отягченным желудком? Я бы ни за что не послал Вам этой белиберды, если бы не интересовался таким вопросом. Ну, вот, ей-богу, не послал бы (а совесть шепчет: «посылал, брат, еще и хуже». Ну, да кто же нынче признает за совестью право голоса?).

Одолевают меня теперь мухи, жара и любители изящных искусств. Был даже на днях со свитой г. Айвазовский[2] и сообщил, между другими хорошими советами, рецепт краскам, с помощью коих наилучшим манером можно изобразить Черное море; впрочем, всем без исключения остался доволен, свита тоже, хотя она, свита, предпочитает всему обед или, по крайней мере, закуску. Одолжайтесь...

Ваш верноподданный, даже с продранием бумаги,

Ф. Васильев

Ах! места нет, а хотелось бы еще написать кое-что.

19. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

24 июня 1872 г.
Ялта

Иван Николаевич! Вы себе представить не можете, с каким нетерпением я ожидал, ожидал и ожидаю до сих пор хоть несколько строк от Вас. Что бы это могло значить? Уж не больны ли Вы, упаси боже? Я бы, пожалуй, и дольше еще ждал, но, как Вы сами должны знать, в Ваших руках находится в настоящее время очень важный для меня вопрос, а именно вопрос о конце академической истории, т. е. решение моей судьбы; особенно тяжело мне не знать, как кончилось дело относительно моего *отчества*[1]. Иконников мне пишет, но до того глухо, чтобы не сказать глупо, что я решительно ничего не понимаю и до сих пор нахожусь в самом тяжелом положении.

Писать к Вам до сих пор не писал, но не оттого, что забыл или ленился, а оттого, что не знаю адреса. Месяца полтора тому назад, или больше, Нецветаев писал мне, что Вы переехали на дачу; но куда — не знаю. Я писал и Нецветаеву, и Иконникову, прося их дать Ваш адрес; но ни тот, ни другой мне до сих пор ничего не пишут. Ваши фотографии[2] лежат у меня на глазах уже два месяца (а я еще жаловался Рыльскому на его помощников, которые не скоро их отпечатали)

закупоренные, а отправить их некуда; есть возможность переслать их Иконникову, прося его, — ведь знает же хоть он, что ли, Ваш адрес, — переслать их на Ваше имя, но я не могу этого сделать потому, во-первых, что теперь просить его о чем бы то ни было непростительно, а во-вторых, не знаю, понравится ли это Вам. (Это письмо посылаю тоже на его имя; может быть, он Вас как-нибудь встретит, или каким-либо другим способом найдет случай передать это письмо). Ради самого бога, пишите! Целые месяцы ни от кого ни строчки! Особенно *Вам* это непростительно.

Относительно себя не могу сказать Вам ничего особенно нового, разве только то, — и это весьма для меня тяжко, — что я не успею к концу сентября кончить всех картин, а это я поставил себе непременной задачей; поэтому мы, вероятно, и в этом году не увидимся, так как ехать в декабре или январе месяце, следовательно, в самое дурное время, мне будет невозможно.

Застало ли Вас в Петербурге мое последнее письмо, в котором я пишу о мнении Боткина по поводу моей болезни? Как странно все располагается! Вот — говорим себе — кажется, теперь все, решительно все устроено: остается работать и быть спокойным; ложное предположение!

В понедельник, т. е. 26 июня, выезжаю в Севастополь на восемь-десять дней, чтобы поездить, порисовать с натуры, поохотиться, — словом, освежиться от постоянной беспрерывной работы. Это, наконец, совершенно необходимо, потому что я потерял энергию и до тошноты пригляделся к картинам, так что работать дальше — дико.

Южный берег почти целый месяц подряд поливает дождь, и грозы по ночам сделались необходимым атрибутом. Вот и теперь, когда я пишу это, долетают с моря далекие, но продолжительные раскаты, и молнии почти без перерыва, и притом такие молнии, что только удивляешься, откуда берется такой страшный запас электричества. Несколько дней назад в Байдарской долине был такой ливень, с которым, я думаю, не поспорят и тропические. Этот ливень продолжался только восемь минут, но и этого было совершенно достаточно, чтобы смыть нависшие над дорогой севастопольской скалы, затопить луга и снести все стога сена, перетопить несколько сот баранов, которых заливало (так густо шел дождь), снести на реках мосты (эти речки обыкновенно не более полутора, двух аршин ширины) и вырвать с корнем и унести деревья. При этом на дороге, следовательно, на гладком месте, воды в 8 минут набралось до трех четвертей. Это я слышал сегодня сам от очевидца, который едва успел спастись и спасти детей

через окно, около которого стояло большое старое дерево. Но этот ливень лучше всего характеризует то, что утки и гуси тоже тонули. В Ялте, благодаря бога, далеко до этого, хотя по улице почти каждый дождь бежит целый поток, после которого надолго остается канава. Водопад же Учан-Су совершенно изменил свой резервуар и совершенно бесследно уничтожил около этого резервуара дорогу. Я на днях ездил туда с Филипповыми.

Вот Вам и все новости; разве только базар стал живописнее, благодаря страшным грудам зелени и фруктов. Приезжих в нынешнем году мало: дороговизна, доходящая до помешательства, отвадит всех сюда заглядывать.

Передайте мой поклон всем хорошим людям. Жму руку милой Софье Николаевне и прошу вас обоих не забывать искренне вас любящего

Ф. Васильева

Мамаша не может собраться написать Софье Николаевне, что совершенно возможно и понятно. Роман, не получая ответов на свои иероглифы, тоже серчает и молчит, но как первая, так и второй просят вам кланяться и очень желают повидаться с вами, в чем я их, к несчастью, должен разочаровывать еще на неопределенное время.

Ваш *Васильев*

Если Вы наконец напишете, то адрес мой тот же: В Ялту, худож[нику] Фед[ору] Алекс[андровичу] Василье[ву], дом Бейман.

Если я в это время и буду в Севастополе или где бы то ни было, то письма перешлют. Кланяется Вам Клеопин; это он, впрочем, делает очень часто, но я по моей рассеянности забываю передать.

Кстати, не знаете ли чего относительно Лондонской выставки [3]. Клеопин говорит, что он читал в «Journal de St. Petersbourg» нечто о моей картине: перепечатано из английских газет. Очень бы интересно узнать, что именно [4].

20. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

5 июля 1872 г.
Усадьба Снарской

Дорогой мой Федор Александрович!

Пишу к Вам, окончательно выпудренный Вами за мою неисправность, но, в сущности, разве есть с моей стороны

неисправность, когда я часто — всегда — только и думаю: нужно ему, моему милому мальчику, вот это написать, вот это, и то, и вот это, а между тем в течение двух месяцев не писал, дожидался двух писем от Вас, и не писал, разве это неисправность? — Это подлость! И не сентименты со мной следует разводить Вам, а просто потянуть к мировому... Но шутки в сторону: ей-богу, это гнусно, просто ни на что не похоже. Одно есть облегчение для меня: все, что Вы пишете, такое великое угрызение совести во мне возбуждает, что Вы можете быть довольны. Что я не писал просто — это я выше назвал, что это такое, но что не известил Вас об академическом присуждении — это такая скверность, что уж я и не знаю, как это обозвать. Я расскажу Вам, как это случилось. Когда Вам дали классного художника 1-й степени — я думаю, нужно ему написать. Нецветаев говорит: я ему пишу и поздравляю, Шишкин говорит: надо его известить, Волковский говорит: я ему напишу, — словом, со всех сторон только и пишут... Но никто Вам, конечно, не мог написать относительно отчества, потому что это, кроме меня и Исеева, никто не знал. Еще раньше гораздо я Вам писал [1], как я это сделал, и Исеев сказал, что мы его назовем так, как он сам себя называет, если он не представит метрического свидетельства. Ну, я к Волковскому, говорю: так и так, скорей подавайте прошение, и рассказал, что и как нужно. Я думаю, что Вы сделали ошибку, давши ему доверенность, чрез что не могло быть ничьего вмешательства, и он чуть-чуть не пропустил, я Вам об этом писал. Но все равно, сделано так, что ничего не тронуто, чего трогать не следует, и Вы названы, как сами называете себя, а потому можете успокоиться. Когда же я из Вашего письма увидал, что Вы ничего не знаете, то я, признаюсь, пришел в ужас: как могло случиться, что Вы ничего не знаете, когда со всех сторон было намерение чуть не лобызать Вас. Я, признаюсь Вам, был немножко усыплен и полагал: ну пусть они ему напишут. Я подожду, тем более, что я в то время был немного расстроен — разные превращения с близкими знакомыми совершались, с Ге [2] и прочими; ну, да когда-нибудь расскажу. Дело не важное... потом отправлял на дачу семью, потом поскорее оканчивал один портрет, чтобы ехать в Москву. В это-то время я получил от Вас письмецо-экспромт: о черешнях и Черном море, о глубоком горизонте, и вдруг в заключение была выдвинута другая картина, и затянулась песня о Волге... ну, прелесть! Я перечитывал его и, признаюсь, не утерпел, чтобы не прочесть это письмо Савицкому, собирался писать немедленно, а между тем уехал в Москву. Возвратясь, сделал закупки, и скорее на дачу — уж

было 27 июня. И вот здесь две недели уже живем. Я, кажется, уже писал Вам о том, что мы будем жить втроем: Шишкин, Савицкий и я. Они раньше меня сюда приехали. Собирался писать Вам обо всем длинное и спокойное письмо, а вот вчера вечером получаю еще письмо от Вас, из которого узнаю, что Вы мне писали чрезвычайно важное письмо о свидании с Боткиным, а между тем я его не получал. Это жаль: письмо для меня интересное, да и не для одного меня, — словом, я теперь в великом смущении от долгого промежутка и в беспокойстве за участь письма. Странно, оно не могло затеряться потому только, что меня не было в Петербурге, потому что в квартире живет Щербатов [3] (ученик Академии) со времени отъезда Софии Николаевны на дачу; следовательно, все адресованное ко мне безостановочно доходило. Это на почте где-нибудь случилось. Словом, как бы то ни было, а Вам придется написать мне еще раз, как Вы видались с Боткиным и что из этого вышло, что такое с Вами вообще; ведь, серьезно говоря, я ни из одного письма обстоятельно не знаю, как Ваше здоровье. Чего можно ждать? Я, по крайней мере, так полагал, что Вы будто бы поправились совсем, т. е. не настолько, чтобы воротиться жить в Петербурге, а настолько, что можно быть спокойным, оставаясь там; но разные нотки в письмах, то в одном, то в другом, дают какое-то тревожно-смутное впечатление, точно колотье то в одном, то в другом месте: повидимому, организм здоров, а ни с того, ни с сего охнешь. Так и Вы в письмах: нет-нет, да и проговоритесь. И потому важно, что Вам сказал Боткин. Я в него, как в господа бога, верю.

Итак, мы тут живем и работаем. Шишкин нас просто изумляет своими познаниями, по два и по три этюда в день катает, да каких сложных, и совершенно оканчивает. И когда он перед натурой (я с ним несколько раз пытался садиться писать), то точно в своей стихии, тут он и смел и ловок, не задумывается: тут он все знает, как, что и почему. Но когда нужно нечто другое, то... Вы знаете. Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает пейзаж ученым образом, в лучшем смысле, и только знает. Но у него нет тех душевных нервов, которые так чутки к шуму и музыке в природе и которые особенно деятельны, не тогда, когда заняты формой и когда глаза ее видят, а, напротив, когда живой природы нет уж перед глазами, а остался в душе общий смысл предметов, их разговор между собой и их действительное значение в духовной жизни человека, и когда настоящий художник, под впечатлениями природы, обобщает свои инстинкты, думает пятнами и тонами и доводит их до

того ясновидения, что стоит их только формулировать, чтобы его поняли. Конечно, и Шишкина понимают: он очень ясно выражается и производит впечатление неотразимое, но что бы это было, если бы у него была еще струнка, которая могла бы обращаться в песню. Ну, чего нет, того нет: Шишкин и так хорош. Удовольствуемся... он все-таки неизмеримо выше всех, взятых вместе до сих пор; не более, но и не менее. Все эти Клодты, Боголюбовы и прочие — мальчишки и щенки перед ним, но дальше нужно другое. Что? Вы, надеюсь, понимаете. Шишкин — верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа. Но живая школа. Но ведь после школы наступает жизнь, и хотя тоже школа, но другими приемами, чем прежде, передаваемая, — это он, как и следовало ожидать, отрицает: вечная история. Впрочем, что ж, что я приношу приговоры? Ведь Шишкин до сих пор еще не перестал расти, и чорт его знает, до которых пор он вырастет, а что он растет — это несомненно.

Что пишут о Лондонской выставке — я не знаю; слышал, что хвалят вообще, но более подробно не знаю и узнать, к сожалению, не могу, ибо — в деревне. Я работаю «Христа» [4], говорят — ничего, и уже успокоился, что придется окончить пейзаж без фотографии, как [вдруг] Ваше письмо и известие, что фотографии лежат запакованные и ожидают адреса, перевернули вверх дном мою решимость оканчивать пейзаж без них, и я не буду спокоен, пока их не получу. Если можно выслать их по адресу в Петербург, в д[ом] Елисеева, то они дойдут очень скоро, скорее, чем сюда. Адресовать письма можно и сюда, но посылка — возня великая, так как ближайшее место получения писем — девять верст от нас. Письма носят со станции ежедневно, но посылку нужно самому, да свидетельствовать повестку, а через Петербург я получу на другой день. Итак, адресуйте в Петербург по старому адресу на имя Мих[аила] Лазар[евича] Щербатова, в мою квартиру; он их привезет немедленно, я ему об этом напишу. Софья Николаевна говорит, что пусть он и не ждет письма, потому — лето, а впрочем, она напишет. Дети Роману не отвечают, но ведь что Вы будете делать, они даже и мне не отвечают, когда я их спрашиваю, — словом, лето. Анархия полная. Вам до тошноты надоело работать и видеть свои картины — понимаю совершенно, и удивляюсь, что Вас раньше не толкнуло на мысль поехать и освежиться. Что же касается до окончания Ваших картин, то это будет действительно жаль, если уж Вы совсем ничего не вышлете осенью: все-таки одну или две, я думаю, можно, хоть маленьких. Все же картины кончить, начатые Вами, и приехать самому, как Вы полагали

сначала, я полагал и прежде, что Вы не успеете, — не хватит физических сил. Я это знал и на это не рассчитывал никогда, а вот что свидание наше все отодвигается и отодвигается на неопределенное время, вот это поистине неприятно. Спросите у Боткина, нельзя ли Вам, в конце будущего мая, приехать на лето к нам или куда-либо в средние губернии: мы бы устроили и помещение и зажили чудесно. Ах, хорошо бы было, если бы состоялось. Пишите — а я обещаю быть исправнее. Неизменный Ваш товарищ

И. Крамской

Собственно мой адрес теперь такой: По Варшавской железной дороге на станцию Серебрянка. Усадьба г-жи Снарской — мне.

21. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

15 июля 1872 г.
Ялта

Милейший Иван Николаевич! Сейчас получил письмо Ваше от 5 июля. Спешу выслать фотографии [1], которые уже более двух месяцев дожидаются адреса. Я взял у Рыльского все, что только может Вам пригодиться, и, к несчастью, вижу, что ничего действительно годного у него не имеется; да еще и то горе, что то, что я выбрал, он, Рыльский, ужасно отвратительно напечатал; так, например, *дали* на всех фотографиях едва возможно разобрать; сегодня, по получении письма, пошел еще раз к нему, Рыльскому, снова перебрал все альбомы и снова убедился, что ничего не могу прибавить к тому, что отобрал в первый раз. С великим прискорбием извещаю Вас о неполучении Вашего письма, в котором Вы пишете про неисправного Волковского, про историю отчества моего, про что-то еще, — не знаю. Но и Вы не получили двух моих писем, как я вижу из Вашего письма; одно, в котором я описываю мое посещение Боткина, другое — длинное-длинное письмо, изображающее самую верную картину моего положения и моих надежд. Не думайте, что я ограничусь этим лоскутком: это — только для того, чтобы вложить при фотографиях, но я принимаюсь писать Вам настоящее письмо, в котором напишу много, чтобы пополнить пробелы, происшедшие от неполучения Вами моих прежних посланий. Не знаю, может быть, Вы и других писем не получали; я последнее время писал Вам очень часто. Ради бога, извините, что не мог я заставить Рыльского лучше напечатать фотогр[афии] и снять те именно

виды, какие Вам понадобились. Видов же Мангуб-Кале и Чуфут-Кале [2], как на грех, совсем нет. Я взял некоторые фотографии по собственному соображению. Жаль, что Вы остановили картину, ожидая большой помощи от этих видов; не думаю, чтоб они Вам принесли пользу.

Ваш *Васильев*

22. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

20 июля 1872 г.
Ялта

Дорогой мой Иван Николаевич, следовало бы мне благодарить Вас за Ваши неоценимые услуги; но они так неоценимы, что я решительно не нахожу слов для изъяснения моих чувств, что́ Вы, конечно, понимаете, а потому и пользуюсь этим. Есть, действительно, такая благодарность, которая не может выразиться в словах, а выражается не то жестом, не то каким-то совершенно особенным звуком; но жест в письме пропадает бесследно, а для произведения этого звука чернила и бумага представляют еще менее применимости. Словом, это — к чорту! Вернулся сейчас с бульвара, где гремела, именно гремела, *военная* музыка (удивительно меткое название), толкались немилосердно чающие движения воды больные и таращили глаза и уши туземцы. Ялту удивительно обрисовывают отрывки разговоров, долетающие до слуха. Приезжие обыкновенно ведут нескончаемые разговоры о качке, о следствии ее, сопровождая все самыми выразительными жестами и часто повторяющимся: «ужас, ужас!». Туземцы же во всех темных уголках составляют проекты наискорейшего, и притом неизбежного, ободрания приезжих, полных еще впечатления морской болезни. Бедные больные! Дорого обходятся воздух, вода и горы. Господь бог, творя Крым, вероятно, и не подозревал, что за житье в нем будут драть так немилосердно; притом дерут именно те, которые не только не выдумали этого климата, а наоборот, употребляют все средства испортить его, по крайней мере, около своих жилищ, и — надо им отдать справедливость — выказывают в этом случае необыкновенные, неслыханные способности. Результатом таких занятий являются два случая смертности от холеры. Холера в Ялте!!! Боже мой, да ведь после этого что же в другом месте?

21 июля, пятница

Вы пишете, что ничего не знаете о ходе моей болезни: одолжайтесь. Боткина, доктора, я видел в первый раз в конце июня, а во второй — на днях. Он говорит, что здоровье мое исправится совершенно. Но скажу более подробно, чтобы уже не повторять никогда. От последнего воспаления легких у меня осталась только незначительная боль в груди и правом боку по утрам, слабый кашель с мокротой — и только. Для излечения этого Боткин прописал мне мазь, порошки и воды Обер-Зальц-Брунер. Относительно горла он то же говорит, что и Олехнович[1], с тою только разницею, что последний немного увеличивает еще остатки этой болезни. Боткин про горло говорит так: «Горло Ваше не представляет теперь никакой опасности, но с ним Вам придется еще долго промучиться, прежде чем оно получит свой настоящий вид»; прописал полосканье. Как видите, кроме хорошего, ничего нет. Я же, с своей стороны, могу присовокупить, что эти ничтожные остатки нисколько мне не мешают, и я даже только тогда их вспоминаю, когда еду или иду к доктору. Про Боткина могу сказать следующее: я не ожидал такого внимания, даже от него; ни одной минуты не дожидаюсь, хотя попасть к нему здесь вряд ли не труднее, чем в Петербурге, — такая пропасть больных. Потом — память изумительная, так что ничего не приходится повторять прежнего. Притом, очень выгодно для меня и то, что брат его, Михаил Петрович, и Постников часто у меня бывают и передают ему некоторые подробности, которые он запоминает; не думаю, однако, чтобы это было ему нужно: он смотрит таким всезнающим относительно грудных болезней, что невольно ему веришь во всем. Словом, все, что касается здоровья, обстоит благополучно. Нельзя того же сказать относительно денежных дел; но и они до сих пор идут настолько сносно, что и за это тревожиться нечего.

Оканчиваю картину[2] Владимиру [Александровичу], который 25-го сего месяца прибудет в Ялту с государем. Я-таки одолел себя и без особых изменений довел картину благополучно до конца. Сказать по чистой совести, картина вышла хороша, если взять в расчет все условия, а в особенности совершенную новизну сюжета: горы и море. Хотя Вы, мой дорогой, и можете сказать, что это, дескать, того, ты и соврал маленько, говоря, что новизна сюжета становится какой-то помехой, но, ей-ей, это отчасти правда. Вот сейчас и хочется этакую, знаете, мысль выразить, да, честное слово, перо-то как-то уж оченно не слушает. Изволите видеть, мне кажется — это на основании многих теоретических предположений при-

шло мне в голову, — что человек прежде должен изучить предмет, а потом учиться выразить его... Господи, какую истину узнал!!! Да ведь это все индюки знают! Второй раз Америку открыл... Ну, больше не буду таким неприбыльным и притом глупым делом заниматься. Гм... а ведь потому и неприбыльное, что глупое. Вот уж эта мысль, хотя и не открытие Америки, но зато решительно открытие в людях самой непонятной стороны. Как, однако, я глубокомысленно соображаю! Божусь богом, Вы ничего из вышеписанного не поймете; в противном случае, это будет непостижимо. С каким, однако, успехом всю эту чепуху можно бросить! Вот уж это открытие! Только благодаря этому я продолжаю как степенный человек. На чем, бишь, я заврался? Да, на картине. — Итак, картина эта, составлявшая мое мучение, оканчивается и уже доставляет, наоборот, удовольствие, ибо ясно собою изображает получку грешного металла и всех с оным сопряженных удовольств. Были сегодня у меня Бот[кин] и Пост[ников], единственные изображения художников в Ялте (я Филиппову, за его скромность относительно критики, не доверяю), и очень расхваливали эту картину, притом хвалили от души, чтó я уловил-таки. А чтò я уловил? Как глупо пишу! Однако — без поправок! За сие мое произведение думаю я лупнуть с в. к. Владимира 1000 карбованцев, что будет совсем недорого, если не по картине, то по времени, которое я на нее затратил... Даже совестно становится, когда пишешь такие гадости! Стой! Стой! И это небось объяснять начну. Изволите видеть, я, вернувшись из магазина редкостей, помещающегося в Ялте, вернувшись, говорю, из оного, удрученный персидскими коврами, вазами и проч., сильно колебался относительно того: не прибавить ли мне за оную картину стоимость сих злосчастных ковров и ваз? И имел на это неотъемлемое право — право! Сами посудите: ну мне ли, бедному человеку, удрученному болезнью и семейством, мне ли, говорю, платить за эти вещи? Конечно, не мне! Притом и купил я их по настоятельному требованию торговца, говорившего: «Купите что-нибудь, осчастливьте!» Ну, я, как человек неспособный холодно взирать на другого человека, желающего счастья, и осчастливил; да-с, и притом чем же стали эти вазы? Вещественным доказательством вещественной помощи, оказанной мною несчастному торговцу. О-о-хо-хо! Сколько на свете персидских ковров!.. Сколько ваз!.. Сколько мне определено судьбою выручить торговцев, жаждущих счастья при виде таких, как я, покупателей!..

Знаете ли Вы, о знаете, как мне нужны деньги для моего успеха? Как мне много нужно денег для того, чтобы тушить

тот адский огонь, который, постоянно увеличиваясь, жжет меня?.. Мой рай, но и мой ад, заключается в природе, в моей любви к искусству. Думая, глубже вникая в самого себя, я с ужасом вижу, что мало впереди возможности остановить этот страшный огонь, эту разрушающую силу. Как иногда мне бы нужно было потолковать с Вами, по возможности передать то, что облегчило бы на время эти не то недуги, не то уж очень хорошее нравственное здоровье! Ужасно интересна духовная жизнь человека, его способность, вследствие, вероятно, наследственности, носить в себе какие-то темные, неясные зародыши будущих мыслей, поступков или даже целого характера. Ведь очень может быть, что характер человека и не складывается вследствие окружающих обстоятельств, а только проявляется в настоящем своем виде в положенный кем-то или чем-то срок. Эту мысль, впрочем, отчасти мыслители и допускают, применяя только этот своего рода закон к исключительным личностям, составляющим, в свою очередь, вероятно, тоже особый *народ,* имеющий свои законы рождения, развития и смерти, свою историю. Однако это слишком метафизически — еще хуже. Однако, еще несколько соображений, явившихся по поводу всего этого, как работы мысли. Ведь вот, например, мысль эта, ничему, кажется, не подчиняющаяся фея, имеет своего рода законы, без которых ее рождение невозможно. Для получения известной оформленной мысли необходим целый ряд комбинаций, целый порядок махинаций, без которых невозможно обойтись, как невозможно... как невозможно мне написать письма, не наполнив его самыми наивными рассуждениями. Просто злость берет! До завтра — да уж и поздно.

22 июля, суббота

Получил сегодня письмо от Третьякова. Спрашивает о здоровье и о том, двигаются ли картины. (Участь некоторых моих писем очень плачевна, потому что пишу иногда даром; и Третьяков не получает некоторых писем от меня, так что он, например, до сих пор не знает, что я был уже у Боткина два раза). Просит выслать ему мерки картин и описать сюжеты [3], обещая приехать на короткое время в Крым к концу августа, тогда как прежде думал попасть сюда в мае. Надо будет написать ему также и то, что одну картину просит у меня Солдатенков через Боткиных. Еще, кажется, в апреле мне писал Солдатенков, прося меня известить его: нет ли у меня чего-нибудь, что я мог бы ему уступить, и просил известить его, как это устроить; но я, по лености и другим более уважительным причинам, не отвечал ему. Он, Солдатенков,

в конце июля, около 20-го, писал об этом же Михаилу Петр[овичу] Боткину, прося его выбрать у меня картину, буде таковые я имею, условиться в цене и написать обо всем этом. Мне это теперь как раз в руку, ибо денег нет, а представляется случай получить задаток, который теперь как раз впору. Я уступил одну картину: «Болото утром» [4], за 1200 рублей, с пересылкой на мой счет. Михаил Петрович написал ему об этом, так что я теперь дожидаю или отказа, или задатка. Не думаю, чтобы Третьяков протестовал за то, что я, без его ведома, уступил картину. Когда я ему напишу об этом, то постараюсь доказать, что этой картины ему иметь не следовало, если бы он и пожелал, ибо у него уже есть мое конкурсное болотце [5]: хотя между ними и есть разница, но все-таки — болото. Да и сверх того, нельзя же мне рассчитывать продать все картины Третьякову или дожидать его приезда. Ведь у меня имеется, с маленькими, одиннадцать картин, о продаже которых я должен серьезно позаботиться, а не рисковать: ведь у меня вся надежда на них. Эти же картины виною тому, что мое свидание с Вами, мой дорогой, откладывается до конца мая 1873 года, а может быть, и еще дольше. Увы, так угодно судьбе! Ехать же раньше, хотя и можно бы было, но это настолько неблагоразумно, что я уже лучше решился совершенно покончить разом все эти хитросплетения, одолевающие меня два года, чем рискнуть этой ранней поездкой и закабалить себя в Петербурге, зарабатывая деньги для уплаты моих колоссальных долгов. Их около четырех с половиною тысяч. С картинами я думаю поступить следующим образом: по окончании картины [6] Владимира [Александровича], что будет через неделю, примусь за картину Солдатенкова [7], но только в таком случае, если он ее возьмет; если же нет, то буду оканчивать какую-нибудь другую, похуже, и вышлю ее на продажу в Общ[ество] поощр[ения]. Это — для того, чтобы утешить Григоровича (Вы, может быть, и того не знаете, что Григоров[ич] высылает мне вот уже два месяца по сту руб., определенных мне Комитетом в ежемесячную ссуду). Но я не думаю все-таки выслать в течение всей зимы более двух картин, руководствуясь тем, что будет все-таки лучше привезти с собой порядочное количество, так как от этого зависит моя поездка за границу; а если я вышлю картины до своего приезда, то впечатление пройдет, члены поостынут, и поездка за границу подернется каким-нибудь туманом. Для разогнания этого тумана мне придется употреблять меры, т. е. напоминать о себе словесно, просить и тому подобное, а это совсем не в моем расчете, и я хочу *не удовлетворения моей проѣьбы*, а желаю, чтобы Общество поощр[ения] само

предложило мне эту поездку, как должное мне, как заслуженное. Так что я все лучшие вещи буду приудерживать до мая. На это можно возразить только то — и это самое, пожалуй, важное, — что в мае не будет покупателей; в таком случае я постараюсь как-нибудь продать картины в течение этого времени Третьякову, Солдатенкову, брату Третьякова и, наконец, через Григоровича. Меня только ужасно беспокоит Григорович: как бы он чего ни натворил с своею поспешностью и необдуманностью; а от него зависит все дело. От него не имею писем со времени его отъезда за границу; да и теперь не знаю, где он. Поздно — до завтра!

23-го, воскресенье

Воскресенья у меня отличаются от будней тем только, что я в эти дни успеваю как-то больше работать, чем обыкновенно, и еще тем, что в Ялте по воскресеньям я посещаю иногда здешний клуб, с членами которого я знаком. Упаси боже всякого крещеного человека быть знакомым с членами ялтинского клуба! Если вы умны, они вас возненавидят, как человека опасного; если вы глупы, они постараются вас *обработать;* если вы бедны... впрочем, это самое лучшее, потому что они вас не примут. Можно бы было и еще кое-что сказать, да не стоит. Вот я и сейчас вернулся с бульвара, Вам знакомого; нет, впрочем, незнакомого, ибо бульвар наш составляет не место, обсаженное деревьями, а приезжие. Это может показаться странным, а, однако, это так. Скука, я Вам скажу, неизобразимая! Народу куча, но какого народу? Тут и грек, и армянин, и жид, и русский, и турок, и еще не знаю кто. Скажите, пожалуйста, для какого чорта они собрались сюда? Собрались они сюда для ограбления, как собираются в тихий залив акулы, прочуявшие хороший ход мелкой рыбы, ободрание которой, по ее беззащитности, ничего не представляет трудного, даже совсем напротив: сами же обдираемые говорят „спасибо. Татаре, армяне, особенно греки изображают собой акул; беззащитную рыбу — приезжие, больные по преимуществу. Уши, не привыкшие к необыкновенной бессодержательности и мутности разговора всех здесь сущих, вянут моментально. Вы только послушайте, что это такое: «Ах, ах, как меня укачивает!» (тенор). — «А вот меня так нисколько» (бас). — «Вы боитесь качки?» — «О, ужасно!» — «Бедные матросы!» — «Почему же бедные?» — «Да как же? Ведь это ужасное страдание». — «Да их не укачивает, говорят». — «Ах, полноте, не верьте, какие сказки!» И все в этом роде, все в этом роде. Положим, качка — ощущение неприятное: сам это знаю. Но, помилуйте, зачем же уж ничего, кроме качки, в разговоре не

допускать. Зачем же истощать себя, крича поминутно: «ужас», «неслыханное мучение», «ужасно» и проч., и проч.? Ведь, ей-ей, такой разговор хуже качки; вот разве только что после него не рвет, да и это, я думаю, только оттого, что привыкли. Словом, гулянье, наш бульвар, — гулянье превеселое: ходят греки, турки и проч., ходят больные и расслабленные, и все друг на друга чортом посматривают. Военная музыка отдирает какие-то, светом неслыханные увертюры; разные господа с большим успехом уничтожают «цымлянское с гвоздем» и на всех проходящих дам посматривают самыми *понятными* глазами, а на бедных статских как взглянут, так вот, так и говорит все — и эполеты, и шпоры, и сабли разные, — так вот и выговаривают: «Ведь мне тебя слопать ничего не стоит. Вот только что не хочу». Для меня только одно совершенно непонятно: кой чорт сталкивает их всех на бульвар, когда они друг друга терпеть не могут и готовы сейчас же заложить кого угодно без всякой надобности в первый попавшийся кабак? Я, знаете, никак этого не пойму. Ей-богу, я просто позабыл, как это у нас в Петербурге делается; неужто все то же? Да-с, вот она Ялта! Бедная моя мама скучает ужасно; я еще хоть какое-нибудь разнообразие нахожу в работе, а ведь ей, бедной, кроме приготовления обедов, да разных починок, и отдохнуть не на чем. Только мать способна приносить себя на такие пожертвования. Она очень похудела за последнее время и чувствует себя не совсем хорошо. Еще бы! Ни минуты отдыха, да еще приходится готовить у печи, когда на дворе и без того 30 градусов. Я последнее время просто из кожи вон лезу, чтобы что-нибудь придумать; но решительно ничего нельзя. Этакое горе! Живем мы все в том же доме, в той же квартире. Я кое-как устроил комнату, т. е. повесил на все двери и окна гардины, чтобы сделать свет удобным, насколько возможно, и хотя явилось новое неудобство — темнота, но все-таки стало как будто лучше. Денег проживается еще больше, чем зимою, а толк тот же.

Приступлю к самому неприятному, что только может быть, — это об академическом звании и об отчестве [8]. Я ужасно боюсь до сих пор, чтобы не вышло чего. Как-нибудь, что-нибудь отменят, а это будет для меня хуже, чем было бы и совсем в противном случае, т. е. если бы дело и не начиналось никак. Представьте себе, что после многих лет пытки я обнадежен, считаю дело оконченным, — и вдруг говорят, что это только хотели, но в сущности ничего не вышло. Меня ужасно пугает Волковский. Как же, сам человек вызвался без всяких, решительно без всяких с моей стороны намеков или просьб, взялся вести дело, на что я ему послал

и доверенность, — и ничего не сделать, даже не отвечать на мое письмо, так что до сих пор, с моего отъезда из Петерб[урга], я не имею от него никаких известий. Может быть, он не подавал никаких прошений [9] и ничего не сделано, а он Вас утешает. Я это пишу не для того, чтобы намеком заставить Вас самому приняться за все подробности дела — упаси боже от такой подлости, — но я, впрочем, и сам не знаю, зачем я Вам это пишу. Если у Вас есть какие-нибудь факты относительно моего признания худож[ником] 1-й ст[епени] и отчества, то, ради бога, черкните мне об этом. Это Вам может показаться странным такое требование точностей; но Вы не знаете, чего мне стоила и стоит эта долголетняя игра. Прошу у Вас великодушного прощения за все хлопоты, которые я Вам доставил и которых у Вас самого не мало, — по крайней мере, я так думаю. Может быть, и мне, в свою очередь, представится когда-нибудь случай помочь дорогому моему Ивану Николаевичу, который имеет полное право рассчитывать на мою сердечную благодарность.

С завистью читал я строки, как Вы там, в своей Серебрянке живете, работаете, и проч. Оглядываюсь кругом и вижу пустоту около себя... некому слова сказать, не с кем по душе об искусстве поговорить, — словом, скверно. На картины у меня критику читает мне мама, и, должен отдать справедливость, гораздо более толковую, чем многие наши записные критики и из писак пером, и из писак красками. Кстати — о критике. Я узнал о выставке в Лондоне, и притом узнал совершенно неожиданным образом. Вот как это произошло: ехал я из Севастополя с охоты с Клеопиным; по дороге в Байдары взяли верховых лошадей и поехали на берег моря, в имение графа Весаля, кажется, к его управляющему, французу Ваке. Зашел разговор о выставках, в том числе и о Лондонской. Ваке начинает говорить о том, что очень хвалили русскую школу и в особенности один пейзаж — «Зиму». Я навострил уши. При этом Ваке обратился ко мне и спросил: «не родственник ли Вы этого Васильева?» Я сказал: «да», и при этом спросил: хороший ли критик, пишущий эту статью? Ваке отвечал, что это — лучший критик в Лондоне, и при этом сообщил, что он пишет всегда выпивши, что мне *почему-то* крайне не понравилось. Этот критик — забыл его фамилию — пишет, между прочим, что «вот нам бы этого художника», т. е. автора «Зимы» [10]. Когда все эти сведения были собраны, то Клеопина чорт дернул сказать: «Это — совсем не родственник Васильева», — я-то т. е., — «а сам он, Васильев». Тут Ваке с чем-то непонятным поздравил меня и почему-то покраснел и потерялся. Мне очень, очень приятно, что хорошо

отозвались о моей картине не у нас, в Рассее, на критиков которой я смотрю с самым постоянным равнодушием, а в Лондоне, который видел, пожалуй, побольше картин, чем, напр., наша Академия. Я первый раз поверил, что картина действительно порядочная. Не подумайте, что я и эту критику принимаю за совершенную: а я просто этой критике верю больше, чем нашей доморощенной, рассуждения которой или крайне нелепы, или уж крайне сухи, до чахотки. В самом деле, все, кто у нас пишет об искусстве, все хвалят меня в один голос, а между тем — что случается с большинством? Я им ни на грош медный не верю. Вот еще недавно появилась статья в «Рус[ском] вестнике», за июнь, какого-то Матушинского [11], который тоже что-то очень хорошее пишет про меня, а я все-таки очень хорошо вижу, что он врет. И не то, чтобы я не верил им за то, что они меня хвалят, а не верю я им потому, что, рядом с похвалой моей картины, обругают такую, которая не только не хуже моей, но даже, может быть, лучше или, по крайней мере, равная. Вследствие этого я и могу подумать так: «ведь если ты, брат, проврался на этом, да вот на том, так на моей и преблагополучно можешь проврâться, а следовательно — проваливай; нас на кривой кобыле не объедешь, похвалами верить в себя не заставишь». Ну, значит, все критики и поступают в общий склад «безнадежных»; и притом все они, критики, так равны, что не знаешь, кого положить все-таки сверху; я, впрочем, об этом и не думаю, а валю их в одну кучу.

24-го, понедельник

Как мне странно кажется то, что Вы еще так недавно выехали на дачу. Мне лето уже давным-давно надоело, и я только благодаря Вашему письму вспомнил про то, что ведь в самом деле лето в Петербурге только начинается. Что поделывает Савицкий? Поклон ему и его жене, которая, между нами будь сказано, мне нравится более других жен художников. Как бы хорошо было иметь этакие крылья, или ковер-самолет, что ли, для случая экстренной поездки, которую я бы немедленно совершил к Вам, пользуясь попутными желаниями. Фу, чорт побери, как жарко! А еще ночь! Я работаю в одном белье, а пот все-таки капает с носу на палитру, что меня зело смущает. Молоко киснет через час после того, как подоят, а это для меня просто беда, ибо воды пью я с ним. Никак не ухитрюсь рано вставать; все выходит то в 10, то в 11 часов. Завтра приедет царь, а с ним и Владимир [Александрович]. Следовательно, надо навалиться на картину [12], да и деньги нужны. Не знаю, приятно ли Вам читать

такие длинные письма, но мне было бы необыкновенно приятно получать такие же; жаль, что не от кого. Уж я было думал начать переписку с Багацким[13]: он, говорят, пишет к приятелям целые книги. Хорошо, впрочем, писать такую длинную чепуху тому, кому делать нечего. Ведь, в самом деле, мне делать нечего, в особенности по вечерам: ничего не придумаю; уж хотел было сапожному искусству обучаться, даже еще хуже — в музыку было ударился, да хорошо, что хозяйка, ради жильцов, попросила оставить. Говорит: «Просто квартиры никто не нанимает, оченно уж много музыкантов», а музыкант-то один я, и уж, право, не знаю, отчего так кажется, как будто играет несколько человек, и притом на расстроенных инструментах. А тут еще и мамаша говорит: «Оставь, спать не даешь». Ну, а днем играть, так уж просто самого себя совестно слушать, да притом же и картины, так что я остался, как рак на мели; думаю, впрочем, о разных важных материях самым неважным образом. А вы, небось, не знаете, что это — десятый лист? Ну-с, больше ни пол-листочка не прибавлю. Тысячу раз отвешиваю поклон золотой Софье Николаевне, а Вас обнимаю от всей души и со всею силою мышц, какая только осталась. Вы, впрочем, не думайте, что такое объятие с моей стороны будет без последствий.

Весь Ваш *Ф. Васильев*[14]

23. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

11 августа 1872 года
Ялта

Жду от Вас ответа до последней возможности, мой дорогой Иван Николаевич! Впрочем, может быть, он, ответ, уже едет? Ну, а если не едет, тем сугубее Вы наказаны этим предположением. Я не послал Вам одного письма, письма от 27 июля. Это письмо, я не знаю, отчего написал, и еще менее знаю о том, отчего оно не послано. Ну, да это все в сторону. А впрочем, не желаю затрагивать любопытство, а потому и скажу, что письмо это должно было произвести нехорошее, очень тяжелое впечатление, так как в нем писалось о смерти моего брата[1]. Ну, словом, скверно было бы.

Окончил и сдал картину[2] Владимиру [Александровичу]; очень остался доволен, заказал еще четыре. Как разлетаются все мои планы! Это просто непостижимо. Теперь я должен буду работать без увлечения, без желания даже, так как картины эти — скорее фрески, потому что они назначаются для украшения ширм, которые великий князь хочет, кажется, по-

дарить кому-то накануне рождества, т. е. 24 декабря, к которому я и должен их окончить. (Свободно ли Вы разбираете мое маранье? Если нет, напишите: постараюсь исправиться). Я, сколько ни старался, не мог отказаться от этой работы, потому что не имел ничего сказать в свое оправдание, а лгать не хотелось. Теперь я с грустью смотрю на начатые картины, видя всю невозможность их окончить. Главное, меня очень тяготит то обстоятельство, что не удастся написать на конкурс; а я хотел, задал себе задачу написать *наверное*, т. е. наверное хорошо. На это я теперь мог бы рискнуть, не подвергаясь ни с какой стороны опасности; даже и мотив есть, мотив хороший вполне, как для критиков серьезных, так и для публики, которая ищет только приятного. Я уверен, удовлетворил бы обе стороны. Не судьба, да и только! Мне писал Третьяков о своем приезде в Ялту в конце августа, на что́ я ему ответил: что до конца августа я еще могу его подождать, но за этим сроком начну *заботиться* о своих картинах, по крайней мере о тех, которые очень близки к концу. Ответа еще не получил; да и Солдатенков, желавший приобрести картину, о чем он писал Боткину (М. П.), тоже молчит. В начале сентября начну высылать Григоровичу маленькие картинки для продажи, чтобы его успокоить. Он — а может быть, это Бартков — очень неаккуратно высылает мне мои сто рублей, так что я иногда стою в самом двусмысленном положении.

Если бы Вы знали, хотя наполовину, как мне трудно жить в этой проклятой Ялте! Ко всем ее прелестям присоединилась еще и холера, да такая, что из каких-нибудь двух тысяч человек заболело до двухсот, а умерло тридцать! Ведь это ужасно! И без того город населяют полумертвецы, приезжающие сюда для катастрофы, а тут еще и то малое число здоровых, которое имеется, заболевает проклятой холерой. У нас в дому уже были три случая заболевания, и только благодаря быстрому пособию окончились счастливо. Не будь в Ялте моря, умерли бы все: так велико количество нечистот и безобразие жителей, уничтожающих страшное количество незрелых плодов и других гнилых или нездоровых продуктов. Еще большое счастье — такое лето, как нынче, и было бы совсем другое, если бы доходило до 50 градусов, как, например, в прошлое лето. Хотел уехать с мамой и Романом недели на две в Севастополь, но нет столько денег и времени. Поклон моей драгоценной Софье Николаевне, а Вас обнимаю самым дружеским образом и желаю самого хорошего лета. Ваш, искренне Вас любящий и вполне доверяющий, уважающий и пр., и пр., и пр.

Ф. Васильев

Когда получили фотографии? Годятся ли?

24. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

20 августа 1872 г.
Серебрянка

Дорогой мой Федор Александрович!

Как это у Вас переплетается, золотой мой юноша: упреки в том, что не от кого получать длинных писем, с благодарностями за самые бесполезные услуги с моей стороны! Тем более, что последнего и самого важного для Вас я не могу сделать до своего возвращения в Петербург. Я говорю о звании, и как оно там прописано в самом протоколе. Поручить же кому-нибудь справиться в петерб[ургских] академических книгах, Вы понимаете, — нельзя; я думаю, и сами Вы не поблагодарите, а я буду там только в конце сентября. Я так заработался, а времени так мало, что дай бог только кончить к тому времени. Пишу «Христа»[1], фотографии получил, дождался, но Вы правы — они почти ничего не прибавили, и ожидал их напрасно, мог бы писать. А все-таки великое спасибо. Они меня переносят туда легко, как будто ходишь там, и это помогает. Изображу Вам не совсем приятный пассаж с Вашими письмами. Дело в том, что всякий раз, как я получу от Вас письмо, у меня спрашивают, что Вы пишете? Я всем и каждому докладываю в общих чертах существенное и для всех неважное, словом, безобидное. Но вот с последним письмом что случилось: С[офья] Н[иколаевна] сидела у Шишкиных. И[ван] И[ванович], кажется, был на этюде, а Е[вгения] А[лександровна] спрашивает у жены моей: «Ив[ан] Ник[олаевич] получил от Феди письмо?» — «Получил». — «Что же он пишет?» — «Я не знаю, не читала» (она действительно не читала). — «Разве Вам Ив[ан] Ник[олаевич] не дает читать?» — «Нет, дает, да я сама не стану, если он не скажет...» — «Какой странный Ив[ан] Ник[олаевич], никогда не даст нам прочитать, не скажет даже, просто обидно; и отчего он не говорит?» — «Я не знаю». — «Не может быть, Вы знаете; ведь странно в самом деле, ведь не может же быть секретов...» — «А может быть, и есть, почему Вы знаете?» — «Вздор, какие секреты, уж мне-то можно; как Вы думаете, отчего он не дает нам читать письма?» — «Да я же не знаю».. Слово за словом, и явилось предположение, что я потому не даю читать письма, что Иван Иванович не расположен к Феде. Приходит С[офья] Н[иколаевна] и рассказывает мне; а через полчаса по возвращении И[вана] И[вановича] — баталия; ты вот какой, через тебя я не знаю, что с ним там, и проч. и проч. Ив[ан] Ив[анович] спрашивает С[офью] Н[иколаевну], что это значит, откуда это. И кто знает, как я

отношусь к Ф[едору] А[лександровичу], словом, поднялась такая суматоха, что я беру письмо, длинное, только что полученное и отправляюсь. Прихожу. Е[вгения] А[лександровна] в слезах, И[ван] И[ванович] рассерженный. Я говорю: «Иван Иванович, я пришел с письмом, и я прочту Вам его, Евг[ения] Алекс[андровна], но предупреждаю Вас, что я потому не читаю Вам его писем, что не имею на то никакого права. Тут есть такие места и человек говорит такие вещи, которые, в сущности, ни для кого не интересны, хотя человек раскрывается весь, и я, которому он это открывает, не имею возможности, не нанося ему оскорбления, кому-либо что-либо сообщить, но ввиду того, что тут происходит, я прочту, делать нечего. Вообразите себе, что я стал бы из письма читать только выдержки, Вы бы заподозрили, что секреты я пропускаю, это было бы хуже. Я всегда Вам говорю, о чем он пишет, наконец, что для Вас интересно знать, его здоровье и занятия Вы знаете, а до прочего Вам дела нет...» и прочел. Мне показалось, что И[вану] И[вановичу] стало неловко, что я вынужден был прочитать все, а Е[вгения] А[лександровна] успокоилась. И как мне показалось (может быть, я ошибаюсь), ей только этого и хотелось. Через несколько дней зашла об этом речь опять, и я сказал, что сожалею о случившемся и что, согласитесь сами, Е[вгения] А[лександровна], я не имею права на это, услышал в ответ — ничего, мне можно, это вздор. Итак, мой благородный друг, я поступил скверно. Это, впрочем, всегда со мной так, если меня задеть, я наделаю глупостей. Простите, голубчик, дорогой мой, но, ей-богу, я не сообразил тогда. Слишком уже скоро все это случилось. Я не успел обдумать, как мне действовать. Ведь странные люди — покажи им, что у тебя там в сердце, и ведь не нужно им совсем, а так, дай потрогать руками. Знаете, мне очень неприятно, вот что я несу за то, что получаю от Вас письма. Вы говорите, что не знаете, приятно ли мне получать длинные письма (а Вам не от кого, бедный), да приятно, больше даже — дорого, только надо молчать и молчать насчет персидских ковров и ваз, на которые Вы хотели накинуть великому князю. Я сожалею, что Вы не накинули, и ликую, если накинули. Потому что в самом деле не резон, имея сострадательное сердце, оказывать помощь из своего кармана, а не оказать нельзя — не по-христиански. 1000 маловато за большую вещь. Серьезно. Ведь наши фонды подымаются, прочитайте в «Петерб[ургских] вед[омостях]», что в Лондоне пишут [2]. Оно, знаете, надобно немножко публику отесывать, а то она все норовит нас держать в черном теле. Дудки, будет. Хорошо бы также немножко поприжать и Третьякова с Солдатенковым, я был бы этим доволен.

Григорович за границей и, пишу к сведению, в первых числах сентября он воротится. Я знаю, что он высылает Вам по 100 рублей ежемесячно, но что приостановилась высылка — этого не знал. Перед отъездом за границу он говорил мне об этом. Вы ему пошлите, разумеется, картину, другую, да не забудьте и Передвижную выставку: она открывается 1 октября[3]. Хорошо бы это усилило нас: Ге в этом году ничего не пишет. Что она продастся — это наверное. Однакож как долго оттягивается Ваш приезд. Я боюсь, что многое изменится. Ведь мой возраст и Ваш — не одно и то же. Я немножко осел, а Вы — чорт знает, что Вы такое. Для меня Вы хотя и не загадка, но тот ужасный огонь, который надо потушить во что бы то ни стало и который есть не то болезнь, не то очень хорошее нравственное здоровье, как Вы красноречиво и верно выражаетесь, — штука рискованная. Если Вы помните, я его иногда касался. Но у каждого своя планида. Вы рассуждаете о важных материях самым невозможным образом. Хорошо. Теперь попробуйте рассуждать наоборот — ручаюсь, хуже не будет; мне даже кажется, что Вы уже и без моего совета понемножку ступаете по этой дороге. Итак, очень жаль, что отъезд оттягивается, но... лучше живите, чем испортить такую дорогую машину, с таким трудом и издержками поправленную. Слава богу, что она в порядок приходит. Я, разумеется, верю Боткину, и спасибо Вам, что Вы написали об этом подробно. «Я спокоен, совсем спокоен», — это сказал Боткин, а если я кому верю — так это ему. Ведь увидимся же мы. Да мы и видаемся, а если Вы пришлете еще картину, то это уже будет совсем хорошо.

Знаете ли, мне сдается, что это хорошо, что так случилось, что Вы принуждены волей или неволей сидеть в Ялте. Вы пишете, что мысль, чтобы созреть и оформиться, должна пройти целый ряд превращений механических, химических и всяких; разумеется, это так, но не подлежит сомнению также, что и человек, в известную пору, зреет и совершенствуется в одиночестве, конечно, не очень продолжительном, но в одиночестве. Ведь странное дело (я Вам, кажется, это говорил): в галлереях есть работы мастеров, которые никогда не выезжали из своего гнезда, выставок не было, а стало быть, и сравнения (внешнего), потому что только внешность и можно сравнивать, а между тем производили вещи, в трепет приводящие. Вся штука в том, что у них было то ясновидение, то страшное, неумолимое требование от себя сделать так, как я думаю, а так как они думали и чувствовали особенным, исключительным образом и не успокаивались до последней степени, то и вещи выходили незаурядные. Тут все дело не

в красках и холсте, не в скоблении и мазке, — а в достоинстве идеи и концепции... Стало быть... стало быть, можно остановиться и не рассуждать... потому что всякое глубокомыслие по существу своему необходимо наивно, а всякая наивность, доведенная до очевидности, приводит слушателя к снисходительной улыбке сначала, потом и к настоящему смеху, так что и удержу не будет. А так как я имею претензию на репутацию серьезного человека, до того серьезного, что И[ван] И[ванович] даже не ругается скверными словами и вообще не сквернословит в моем присутствии (совестно, как он говорит), то Вы понимаете все неприличие, конечно, если я, благодаря Вашим подстрекательствам, стану в такое положение.

Лучше я Вам взамен рассуждений расскажу, что мы тут делаем. Во-первых, Шишкин все молодеет, т. е. растет — серьезно. И знаете, хороший признак, он уже начинает картину прямо с пятен и тона. Это Шишкин-то! Каково — это недаром, ей-богу. А уже этюды, я Вам доложу, — просто хоть куда, и как я писал Вам, совершенствуется в колорите. Савицкий же... — как бы Вам это сказать повернее — не то что хуже стал, а как-то не идет вперед, остановился точно. Развитие как будто кончилось, и это производит впечатление тяжелое, за будущее. Впрочем, ручаться нельзя — увидим. А я... Впрочем, нет, не под силу труд. Лучше рассуждать, вот кстати и тема для него.

Ночь, даже почти утро, я сижу и пишу к ветреному и неблагодарному. А почему я так поздно сижу? Потому, что в окрестностях цыганский табор, и сегодня несколько человек забрались в усадьбу, и я их насилу выпроводил из кухни; и так как их присутствие всегда и везде вызывает опасения и усиливает осторожность, и, несмотря на то, все-таки сопровождается исчезновением собственности, то я, в качестве храброго сторожа, коротаю время в беседе с Вами. А Вы думали, я такое длинное письмо написал бы Вам, если бы не цыгане? Нет, это верно. Мне это прискорбно, но это так, таить нечего.

Из Петербурга напишу длинные письма, а отсюда — нет. Кажется — противоречие, а это в самом деле так, и вот почему. Я ложусь спать рано, и рано же встаю, работаю много, да днем письма и не пишутся, т. е. такие — длинные; следовательно, остаются вечера, но их еще нет, если Вы помните петербургское лето. И остаются одни цыгане. Один цыганенок поразительный, и если бы не нужно было торопиться, я не утерпел бы. Из всего вышесказанного Вы с успехом можете видеть, как подлец виляет, но как ни виляй, а никого не надуешь; сколько о цыганах ни распространяйся, а письма

можно писать и без них, тем более, что в самом деле, добрый мой, мне как будто и совестно получать большие письма от Вас, ей-богу... Вы видите, как опять затянул, только на этот раз уже Лазаря, подлец. А как Вы полагаете, можете Вы всю эту канитель распутать? Чуть не забыл: Антокольский вылепил Петра I [4] и выставил на Политехнической выставке в Москве. Я еще не видал даже и фотографии. Пока даже и слухов не знаю. Здоровье его поправилось, женился в Вильно на богатой. С[офья] Н[иколаевна] шлет (т. е. велела перед тем как пошла спать) привет и кланяется мамаше, а дети Роману все собираются писать, но на даче их и не загонишь. Не довольно ли? До свиданья.

И. Крамской

25. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

29 августа 1872 г
Усадьба Снарской

Хороший мой Федор Александрович!

Что мне делать, ума не приложу, я не могу сообщить Вам о судьбе Вашего отчества в Академии. А Вы так беспокоитесь, что считаете дни прихода от меня писем. Вы не можете себе представить, как мне это горько... впрочем, можете представить, если Вы в таком состоянии. Но что ж делать, уж теперь немного осталось до переезда в город. Первое дело будет это. Я вот прожил лето, хорошо прожил, нечего говорить, и лето было образцовое — этакие лета бывают не часто у *нас* в Петерб[урге]. Вообразите себе, что с половины апреля и вплоть по сей день погода превосходная, ровная, солнечная, урожай здесь хорош, сено немножко плохо, но во всем остальном — слава богу, дожди шли, но хорошо шли, ну просто, лучше не надо. А все-таки попытаемся на будущий год еще лучше сделать. Съедемся на лето где-либо на нейтральной почве. Вы подыметесь посевернее, а я спущусь с семьей на юг. На этот год (т. е. будущий) мне ничего, полагать надо, не помешает, и помещение мы озаботимся сыскать пораньше. Ив[ана] Ив[ановича] [1] тоже соблазнить можно, он даже облизывается, слушая меня. Не облизнетесь ли и Вы? Вот бы хорошо. А то, чего доброго (т. е. самое скверное и недоброе), и около Петербурга можно будет устроиться наподобие теперешнего. Мне такая перспектива чрезвычайно улыбается. Не улыбается ли она и Вам? А уж поработали бы мы! Право, подумайте. В прошлом письме я Вам говорил

о статье в «Петерб[ургских] ведомостях», теперь я навел справки и советую отыскать Вам 201 №, вторник, 25 июля (6 августа нов. ст.). Там есть фельетон: «Русская живопись и скульптура в Лондоне», — прочтите: говорится кое-что о Вас[2]. Я думаю, что даже Ваше ненасытное честолюбие может успокоиться хотя немножко, и сердце патриота, которое я в Вас предполагаю, забьется гордостью за других. Вона как кудряво сказано (это, должно быть, оттого, что я по ночам пишу письма). Недавно я получил письмо от Имсена Карла Васильевича. Он очень интересуется узнать что-нибудь о Вас. Я ему сообщил Ваш адрес. Надо полагать, что он Вам напишет. Глубоко сочувствую Вашему положению — писать четыре ширмы. Очень приятно. Эти люди всегда так, ведь они покровительствуют! Чорт знает что такое! И отказаться нельзя; к сожалению, пожалуй, действительно нельзя. Я тем более Вам сочувствую, что сам немножко вкусил творчества. Это такая штука, что потом всякая другая работа — каторжная работа. Все было еще сносно, пока не начинал; все, думалось, в будущем, настоящее было некрасиво, работал через пень в колоду, лишь бы сдать, но теперь не знаю, как быть... просто, кажется, невозможно уж будет и приняться за заказные работы.

А картина[3]... не знаю, впрочем, что выходит. Шишкин говорит, что очень что-то хорошее, Савицкий чуть не удивляется; единственный человек, которому я верю, жена, говорит: «Ты у меня не спрашивай, я присмотрелась, — кажется, хорошо». Больше нет никого. Как бы я хотел, чтобы Вы видели. Думаю, впрочем, что завешу опять коленкором. Это, чем дальше, тем больше и больше я начинаю думать так. Ведь это Христос, да еще в пустыне, да еще утром, да еще — уж и и не знаю что. Просто больно, ей-богу. Ведь эти вещи нужно делать так, чтобы уж никакого сомнения не было, что это такое, а иначе — поступай в разряд безнадежных. Тут выбора нет. Вот я и думаю: где это человек, такой правдивый, настолько уважающий и искусство и меня, чтобы сказать прямо? Ох, как это важно! Добрый мой Федор Александрович! Я очень жалею, что не могу сделать так, как Вы сделали — прислали мне свою картину и спрашивали моего мнения. К сожалению, это невозможно. Но как бы я хотел, чтобы Вы ее так сами с собой, своим чувством, и не относительно с другими вещами, а сравнили бы с задачей, с требованиями ума и идеала, и сказали бы мне, что я сделал. И верьте, Ваш приговор был бы для меня действительным приговором. И я уверен, Вы бы не стали утаивать чего-нибудь из желания смягчить удар, если его нужно нанести. Ей-богу, я думаю

закрыть его, кончить и закрыть. Не знаю, что скажут в Петербурге, но меня самого не обманешь, страшно что-то. Оно лучше, когда никто не увидит. Извините, сорвалось. О себе заговорил. И Вы знаете, это предмет самый интересный для самого себя. Прощайте, до свидания, кланяюсь мамаше Вашей и крепко Вас, хотел сказать, обнимаю, но воздержусь.

И. Крамской

26. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

22 сентября 1872 года
Ялта

Дорогой мой друг, Иван Николаевич! Напишите мне, ради бога, относительно моего дела по восстановлению моего отчества. Я бы не беспокоил Вас снова этой просьбой, но решаюсь на нее по необходимости. Дело в том, что сейчас получил письмо от Григоровича, в котором он называет меня, ни с того, ни с сего, «Виктором». Что это значит? Не перепутали ли как чего-нибудь? И так ли рассказал вам Иконников? Дело все заключается только в следующем: я желаю заменить мое *ложное* отчество *«Викторович»* на мое настоящее — *«Александрович»*. Викторовичем я зовусь только в моем прежнем паспорте, как незаконнорожденный, который не имеет права, кажется, оставлять за собою фамилию и отчество своего отца, т. е. и то и другое вместе, а может только носить или фамилию отца или его отчество, но ни в каком случае не то и другое вместе. Словом, я прошу только, чтобы в дипломе, если мне его желают дать, было написано: *«Федору Александровичу Васильеву»*, а не «Федору Викторовичу Васильеву», или «Федору Васильевичу Викторову». Все это может показаться глупым, пошлым, — словом, чем угодно, но не для меня, которому это так давно надоело. Конечно, если уж ничего нельзя такого сделать, то пусть это все и канет в вечность, но только бы узнать наконец и наверное, чтобы не быть в самом отвратительном положении человека, висящего между небом и землею без всякой почти опоры. Тысячу раз простите! Но я все-таки надеюсь, что письмо мое застанет Вас уже в Питере, т. е. в то время, когда Вам можно будет что-нибудь положительно узнать.

Здоровье мое последнее время, не знаю почему, ухудшилось; даже бок немного болит, но все-таки ничего опасного нет. Мама и Роман здоровы. По окончании картины [1] Владимиру [Александровичу], ничего ровно не делаю, а хлопочу от-

носительно написания этюдов для четырех других картин [2], заказанных им же и притом к сроку. К 24 декабря я уже должен буду их доставить в Петербург. Третьяков был с женой в Ялте десять дней; ничего не оставил за собой, вероятно, потому, что нет ничего оконченного, а рискнуть он боится, видя, что *цены мои* уже не третьегоднешние. С великим прискорбием сообщаю, что ничего не могу прислать и на настоящую Передвижную выставку — мочи нет. Даже на конкурс не могу написать: этот новый заказ, от которого я не мог отделаться, не позволяет ничего предпринимать. Григорович, кажется, вправе прекратить высылку мне ежемесячных ста рублей, без которых моя жизнь в Ялте невозможна; но я ему напишу, и напишу ясно и просто, что этого сделать они не могут, боясь выказать всю свою нелогичность, а потому и несостоятельность. Впрочем, это только предположение, почему и прошу Вас не сообщать никому (не подумайте, что это — тонкий намек на то, что Вы уступили Шишкин[ым] и прочли им мое письмо: Вы полный хозяин моих писем и можете с ними поступать как заблагорассудится). Три дня не мог окончить этого письма, не знаю почему.

Вчера был у великого князя Владимира, который мне передал, что императрица желает приобрести у меня какую-нибудь картину, буде есть у меня оконченные. Весьма сожалею, что ничего порядочного по величине и содержанию не имеется, кроме одной маленькой, которую я и оканчиваю для нее [3].

Осень у нас начинается, а с нею какое-то томительное одиночество и хандра. Я уже очень скоро расту, и хандра теперешняя нисколько не похожа на ту хандру, которую Вы за мной знаете: это — что-то такое зрелое, что уже с боязнью начинаешь думать о ее долгом продолжении, может быть, бесконечности. Ах, зачем я всю эту чепуху пишу? Просто самого злость берет!

Как Вы поживаете, что поделываете? Э! Да я, кажется, не отвечал на одно Ваше письмо. Ну, это гнусно, а ведь в нем Вы писали о «Христе» [4]. Дело в том, что я решительно ничего не могу сказать об этой картине, не видя ее. Впрочем, как-то раз ночью, когда у меня обыкновенно начинается что-то вроде галлюцинаций, я очень хорошо рассуждал о том, можете ли Вы написать ее или нет. Но для того, чтобы решить — можете ли Вы ее написать, мне, сколько помню, нужно было поговорить с Вами. Больше ничего, к моему горю, не помню, т. е. не помню, какие именно вопросы хотел задать Вам. Впрочем, напишу хотя и то, что из тех мыслей вспоминается... что бишь такое?.. Да, кажется, вроде того: «Можете ли Вы совершенно отрешиться от всего *земного*?» А потом,

что: «Дело тут не в том, чтобы нужно было уметь рисовать или писать, даже не в том, чтобы уметь думать и чувствовать, а в том, чтобы уметь думать и чувствовать совсем иначе, чем обыкновенно, и притом без малейшего сомнения в то, о чем Вы думаете и что хотите изобразить в виде истины». Видите, насколько я позабыл из моего тогдашнего, поистине хорошего (насколько я помню) умозаключения; даже утерял общий смысл первого вопроса, почему слово «земной» не имеет никакого определенного, точного смысла, что Вы сразу заметите. Простите, что ничем в настоящее время не могу помочь Вам, как бы мне этого ни хотелось (точно я когда-нибудь в состоянии был помочь Вам или помогал).

Фу, какое глупое состояние! Хочется писать, а ничего не пишется: не то какая-то дремота, не то усталость. Должно быть, от пошлейшей перспективы, которая развертывается перед умственным взором. (А как вычурно, до пошлости). А ведь натурально: совсем не хочу порисоваться, а выходит вычурно. Что тут вычурного? А! нашел: умственный взор. Да и это кажется мне вычурным, должно быть, только благодаря моей скромности, что ли, а может быть... чорт его забери, и совсем! Вот размазываю. Да, кстати, я переехал на другую квартиру, поссорившись, — нет, не поссорившись, это уж слишком, — а просто переехал на другую квартиру потому, что старая — подлая до крайности и жестоко надоела; новая же и больше, и чище, и удобней, даже для работы, о чем я, впрочем, мало забочусь! Дороже только вдвое, да делать нечего. Так пишите: Худож[нику] Фед[ору] Алекс[андровичу] Васильеву, в доме Суходольского, в Ялту.

На конкурс написать не успею, я, кажется, писал об этом. Я начинаю спокойно смотреть, привыкать к этому продолжительному отсутствию из Питера. Так долго здесь живу, так медленно идет починка организма, так ожесточены против меня какие-то неизвестные силы, что нет никакой охоты брать шаг за шагом, приступом, свою свободу. Да и к чему? Вы, дорогой мой, не подумайте, что это упадок духа, бесхарактерность или что-нибудь в этом роде: нет, характера и силы у меня хватит навсегда. Это более всего похоже на разочарование умственное, которое боишься проверить на практике, не ожидая от этого ничего хорошего. Странно, что я до сих пор точно так же мягок и добр с людьми, как и прежде, когда никакие мысли, никакие черные подозрения не гнездились во мне. Может быть, это будет исходной точкой моих — как бы это сказать?.. страданий; это уж очень как-то глупо; ну да все равно. Эх, дорогой мой Иван Николаевич! Много на свете болезней, много нужно докторов и времени, чтобы унять

сплошные стоны, необъятные страдания! Как скверно еще и то, что я превращаюсь в какой-то аппарат, в котором, кроме страданий, ничего не может отражаться. Может быть, я действительно только *не способен* видеть светлых картин; может быть, они и есть, да уже по устройству моему проходят незамеченными, не отражаются. Пейзажисты бывают двух родов: первый род пейзажистов происходит из бездарности, которая не в состоянии охватить человека, как большую задачу, а потому бросается на более легкое, как им кажется, — на камни, древеса, горы и так далее. Другой род — люди, ищущие гармонии, чистоты, святости, невольно становятся поклонниками природы, не находя ничего такого полного в человеке, этом венце творения. Почему имя Рафаэля [5] знает каждый не дикий человек? Потому, что он писал человека? Конечно, не потому: человека писали гораздо лучше его. Рафаэля знают потому, что он написал *человека,* каким он должен быть и как он далек от чистоты, святости, от всего, что он должен носить в себе, как венец творения. С первого раза может показаться, что между вышеприведенными двумя мыслями нет никакой связи, но это только *может показаться.* А впрочем, связывать их явными нитями нет никакой охоты и нужды. Это все очень в связи и с Вашим Христом, дорогой мой Иван Николаевич, — подумайте. Выше Рафаэля стать нельзя, потому что нужно повторить истину, найденную и выраженную уже один раз, а это никого не возвышает, *но ставит на один уровень только, конечно, в том случае, если будет доказано, что мысль эта не украдена, а самобытно пришла в голову.* (Ну, тут я или проврался, или просто лень было обдумать, а главное — переписать, чего я никогда не делаю; писать же черновую для писем — глупо, если письмо *не важное,* т. е. не политичное; в этом последнем случае даже подло писать черновые).

Ну, ничего больше писать не хочу. Поклон от нас всех дорогой Софье Николаевне, и деток поцелуйте. Передайте поклон Савицким, Шишкиным, хранящим на все мои письма упорное молчание.

Ваш весь *Ф. Васильев*

27. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

10 октября 1872 г.
С.-Петербург

Мой дорогой друг!

До последних чисел сентября я просидел на Серебрянке и приехал в Петербург. Но приехал таким образом, что,

собственно, не приехал: мне нельзя было показываться нигде, и велел всем говорить, что я еще не приехал. «Христа» [1] не кончил, и потому мне чрезвычайно важно было, чтобы не помешали. *Ваше письмо [2], собственно, вывело меня на свет божий.* Добрый мой, Вы не можете себе представить, какое неприятное и прискорбное для меня обстоятельство, что Вам, бог знает, по какому поводу, Григорович бухнул. Воображаю, что Вы передумали и перестрадали. Но успокойтесь — все обстоит благополучно — сам собственными глазами видел, а почему сие — объясню. По получении Вашего письма, поздно вечером третьего дня, я был в глубоком беспокойстве и, как только дождался утра, отправился в контору Академии. К Исееву не хотел итти раньше. Вы знаете, в свое время я подробно сообщал мой разговор с Исеевым. И Вы помните, что он мне сказал: «Будьте покойны, как он себя называет, так и мы его назовем; только пусть не представляет документов» [3]. Кажется, ясно. Но мимо Исеева не пройдешь, и потому я счел себя вправе разъяснить дело. От него — к Волковскому, и долго внушал ему, что *надо сделать.* Ну, итак, прихожу в контору, требую, чтобы мне показали подлинное дело о Вашем поступлении в Академию и о признании Вас классным художником 1-й степени. Подали, и я его внимательно пересмотрел. Будьте уверены, что внимательно; нигде нет другой подписи и имени, кроме: Федор Васильев. В постановлении Совета на звание художника стоит такое определение: *«признать ученика Федора Васильева классным художником 1-й степени по выдержании экзамена»* [4]. Вот и все, что есть. Прошение Волковский подписал тоже за Федора Васильева: по доверенности, такой-то. Я и спрашиваю у Юндолова [5]: «Скажите, пожалуйста, почему я нигде не вижу отчества, а только имя и фамилия?» Он отвечает, что только академики и профессора именуются по отчеству, а художников мы никогда иначе и не пишем, даже и в дипломах. Убедившись собственными очами, что в деле нет ничего подозрительного, — я поехал дать Вам телеграмму об этом, и потом к Григоровичу — распутывать эту гнусную болтовню. Я нашел его во дворце Марии Николаевны [6] и прямо приступил к делу: прочел ему начало Вашего письма, и почему он позволил в своем письме назвать Вас иначе, чем он знает Вас? Он завертелся, засуетился, на глазах показались слезы, и он стал как будто что-то припоминать и говорить, что он *«действительно написал Виктору Александровичу, но не на конверте, сколько помнит, а внутри, от рассеянности, ей-богу, от рассеянности!» «Ах, Иван Николаевич, ведь Вы знаете, как я его люблю; я самым осторожным образом всегда с ним говорю; я уж и*

не знаю, как к нему приступить; я не знаю, что делать; голубчик, научите, он ведь меня повергает в ужас. Что я скажу Обществу? Ведь он теперь пишет, что не хочет иметь дело с Обществом, обещает не высылать картин к нам. Что же это будет, что мне делать?» Я и говорю: «Вот видите, я знаю один путь к нему. Это путь прямоты и откровенности. Пишите ему прямо, и только, и он Вас всегда правильно поймет». — *«Не могу, голубчик, не могу, я всегда самым деликатным образом...»* и пр. Потом коснулись дальнейших обстоятельств. Я говорю: «Вот в чем дело: как же ему не удивляться и не беспокоиться, когда Вы два раза выслали деньги по 100 рублей, а потом прекратили. Он, говорю, писал мне с беспокойством, что не знаю ли я, почему это». — «Послано, Ив[ан] Ник[олаевич], все послано, у меня расписки почтамта». — «Но летом не посылали». — *«Все послано, и за сентябрь послано».* — «Ну, вот пишите же ему». — *«Я уж писал».* — «Ну хорошо, стало быть, дело кончено». Однакож дело для меня все-таки не разъяснилось: думал я, думал и пришел к такому выводу, кажется, верному. Волковский — друг и приятель Барткову. Думаю, что он наболтал ему что-нибудь, а тот Григоровичу. Григорович, не зная, в чем дело, перепутал в голове и, полагая, вероятно, что Вы не Федор, а уж Виктор, хотел деликатным образом показать, что он знает, как Вас следует именовать, и, перепутавши, промахнулся. Это бывает, а с ним и подавно. Бог Вам судья, что Вы поцеремонились дело это поручить мне, т. е. подать прошение. Конечно, и теперь ничего не произошло, но не было бы толков и неприятных минут для Вас.

Теперь о дипломе: чтобы Вам его выдали, Вам нужно держать экзамен, а так как Вы, разумеется, этого не сделаете, то Вам надо будет написать об этом прошение на имя президента, и я думаю, что Григорович Вам это обработает. Ну, словом, чтобы выслать Вам диплом, Вам нужно немедленно поднять этот вопрос посредством прошения, чтобы Вас уволили, и, как Юндолов говорит, Вам это сделают. Я справлюсь еще раз, куда, собственно, нужно об этом подать просьбу; итак, дело это кончено — успокойтесь, ради бога. Жаль, что об этом знает большее число лиц, чем бы следовало, как оказывается. Плохо дело, если здоровье Ваше опять захромало. Я сильно сомневаюсь в Вашем благоразумии, т. е. что Вы как-нибудь козла задавали, когда следовало бы воздержаться; притом же товарищ Ваш *Лебеда* подстрекнул на какое-либо рискованное предприятие, вроде охоты на медведя. Делать нечего, а уж я сделаюсь адвокатом Григоровича (я — адвокат Григоровича!). В самом деле, что Вы с ним делаете?

Ведь Вы знаете, что он за Вас растянется, и потому не лишайте его удовольствия получить от Вас картину для Общества, до этого доводить не следует, я думаю. Если бы Вы видели его убитую фигуру, жалости достойно. Я за него готов вступиться. Мне лично очень жаль, что у нас ничего не будет на выставке[7], но ему как-нибудь устройте. Он получит крылья и работу: Вы не думайте, чтобы мне уж не было совсем Ваше состояние понятно, относительно хандры, той, которую я знаю, и той, которую я еще не знаю; дело в том, что тоска потому и тоска, что она бывает бесконечная, она-то и есть бесконечная; чем больше вы — человек, тем бесконечнее ваша тоска — это общее правило. Общими правилами ведь и наполняются письма. Одиночество — страшная штука. Однакоже это странно: я начинаю писать слогом новейших французских писателей, отрывочными периодами. Изобразил мысль — точка. Изобразил общее место — опять точка. Сказал чепуху — опять точка. Это чорт знает что такое. Вы заметили, какой я скряга: леплю строчки так, как будто прямой потомок Плюшкина.

Да, дорогой мой, кончил или почти кончил «Христа», и потащат его на всенародный суд и все слюнявые мартышки будут тыкать пальцами в него и критику свою разводить. Вы в самое сердце попали, говоря, что его надобно делать без малейшего сомнения в том, что думаешь и изображаешь. Это я знал: и вот уже пять лет неотступно он стоял передо мной, я должен был написать его, чтобы отделаться, и я ни разу не колебался в том, что он действительно не имел в себе ничего земного, и это слово взято Вами верно, т. е. у него только и было земного, что форма. Но разве же форма не есть доказательство присутствия *августейшей* мысли? (Вона как! Иногда и я Вам не уступаю в высокопарности). Во время работы за ним много я думал, молился и страдал (будемте уж говорить высоким слогом). Бывало, вечерком уйдешь гулять, и долго по полям бродишь, до ужаса дойдешь, и вот видишь фигуру, статую. На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко, крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена. Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запеклись, глаза не замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся, повинуясь законам мускульного движения. Ничего он не чувствует, что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены уже как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сиденья. Нигде и ничего не шевельнется, только у горизонта черные облака плывут

от востока, да несколько волосков по воздуху стоят горизонтально от ветерка. И он все думает, все думает. Страшно станет. Сколько раз плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это написать? И Вы спрашиваете себя, и справедливо спрашиваете: могу ли я написать Христа? Нет, дорогой мой, не могу, и не мог написать, а все-таки писал, и все писал до той поры, пока не вставил в раму, до тех пор писал, пока его и другие не увидели, — словом, совершил, быть может, профанацию, но не мог не писать. Должен был написать. Уж как хотите, не мог я обойтись без этого. Я могу сказать, что писал его слезами и кровью. Но, вероятно, как слезы мои, так и кровь, должно быть, были не совсем доброкачественны, потому что мне иногда то кажется, что это как будто и похоже на ту фигуру, которую я по ночам видел, то вдруг никакого сходства. Словом, грустное сознание, что мне нет другого удела, как изображать самые тривиальные портреты с самых обыденных личностей — это не ложное смирение, а Вы понимаете и, надеюсь, поймете, как я это говорю. Что говорить, Рафаэль нашел истину и выразил, но с тех пор те же истины иначе для нас осветились. Христос был человек, и только потому что он был действительный человек, он и доказал, что можно быть истинным сыном божиим. Большой нужно иметь риск, чтобы браться за такие задачи, я знаю это. Мировой человек требует и мировой картины. Но разве он может от меня требовать, чтобы я реализовал современное представление об этом легендарном человеке? Впрочем, что ж, требовать можно, но нельзя меня казнить. Я по силе возможности мазал красками такое лицо, которое, быть может, никто не согласится признать за схожее с тем, какое каждый себе составил. Да это и невозможно; ведь и те люди, которые его видели живого, отрицали сходство; что же остается нам, теперешним. Дело сделано. Не могу ничего прибавить, не могу ничего и убавить. Я написал своего собственного Христа, только мне принадлежащего, и насколько я, единица, представляю из себя тип человека, настолько, стало быть, там и есть — ни больше, ни меньше. Много нужно докторов и времени, чтобы унять сплошные стоны, необъятные страдания. Да, много нужно. Думаю, что и стоны и страдания всегда останутся, нет им исхода. Не взыщите, добрый мой, что я так долго о себе распространился, ведь это так естественно человеку. К Вам ведь все я могу написать.

Не могу удержаться, чтобы не сказать Вам очень серьезно: что это Вы делаете, к чему такие драгоценные подарки [8]? Право, голубчик, я не могу до сих пор места найти от изумления. Ведь это, как хотите, а выходит из пределов благоразумия,

ей-богу, так. Что же после этого? Жена моя тоже была ошеломлена. Не годится так потрясать нервы. Мы люди простые, любим Вас просто и искренне, а теперь как будто что-то случилось, жена от восторга чуть не помешалась, боялась, чтобы его кто не увидал. Но, к сожалению, нельзя было скрыть, потому что все знали, уж почему и откуда, просто удивительно. Мы решили никому не показывать, никому не говорить — нет, невозможно было. Нюх какой-то оказался у людей. Прилагаемые два письма от моих молодцов к Роману. За правописание не взыщите, как умели. Самолично и собственноручно сочинили и преподносят. Я, разумеется, благосклонно выслушал сочинителей и не поскупился ради этого приобрести лишнюю марку.

Поклонитесь Клеопину, если попрежнему видаете его.

А что же относительно будущего лета? Напишите, что Вы думаете о моем проекте. Ольге Емельяновне низко кланяюсь. Скучно Вам, дорогой мой, ой, как скучно, видно по всему. Но ведь и творить — великое наслаждение. Дай бог Вам поправиться только.

Ваш *И. Крамской*

28. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

20 октября 1872 года
Ялта

Вчера получил письмо Ваше, дорогой мой Иван Николаевич. Я его ждал с великим нетерпением, но не по одному только делу, а потому что очень давно не получал от Вас писем. Очень, очень мне тяжело, что письмо мое заставило Вас выйти на свет божий. Это я говорю от всего моего сокрушенного сердца. Вы приказывали мне успокоиться, и поэтому я совершенно спокоен. Буду стараться отвечать Вам по порядку на все, что Вы знать хотите. (Не очень ли плохо Вы разбираете мою руку? Постараюсь писать лучше). Хотя я и раскаиваюсь в глупости своей, благодаря которой я поручил дело мое Волковскому, но должен сказать Вам, что поручить его Ивану Николаевичу не мог, на том основании, что и так этот друг человечества уже слишком много делает для моей непристойности. Я не знаю, как благодарить Вас, мой дорогой, за все Ваши неоплатимые услуги! Относительно Академии я могу сказать Вам только следующее: держать экзамен я ни в каком случае не буду, во-первых, потому, что я не имею времени *на глупости;* во-вторых, потому, что не хочу просто.

Это я пишу, не надеясь, конечно, на то, что экзамена *требовать не будут,* — требовать будут беспременно, это уж верно, — но для того, чтобы Вы в точности могли понять мое нежелание подчиняться в чем бы то ни было глупым постановлениям Академии. Еще будь экзамен из предметов серьезных и действительно трудных, то я, может быть, из желания удовлетворить свое самолюбие, не упирался бы так; но потерять месяц, хоть неделю, хоть день над законом божиим, над катехизисом т. е., — это, признаюсь, для меня невозможно! А ведь это у них главный предмет!

Мне просто совестно перечитывать Ваше письмо в том месте, где Вы пишете о Григоровиче. Совестно не потому, что я виноват перед ним, а совестно перед Вами, дорогой мой, за Ваше истинно дружеское и человеческое со мною обращение... Ну, хорошо, — дело не в том. Я, признаюсь, хохотал, читая, как бедный Дмитрий Васильевич потерян, растерян, убит и пр. Я до осязания ясно его себе представляю в эти минуты. Я, видите ли, написал ему следующее: «Картины свои я буду стараться продать здесь, во-первых, из боязни привезти с собой семь-восемь картин непроданных; ведь эти картины должны положить конец моим долгам, и потому рисковать их продажей я не могу; во-вторых, у меня здесь постоянно есть желающие приобрести их; отказывать я не имею никаких решительно причин, и с этим Вы, Дмитрий Васильевич, надеюсь, согласитесь. Во всяком случае, продать *все* картины здесь я не имею ни желания, ни возможности, что, вероятно, Вас утешит. Картины я продаю с условием, которое даст мне возможность собрать их в известное время и сделать выставку [1] у вас, т. е. в Обществе поощрения».

Ну, скажите, голубчик мой, что тут есть такого страшного? Скажите, отчего ему умом рехнуться? Неужели я поступал бы благоразумнее, отказывая желающим покупать мои картины? Да и как бы я отказал. Ведь Григорович никаких рассуждений в расчет не принимает, а потому и не понимает всей невозможности посылать картины только в Общество, отказывая всем остальным. Я уж и не говорю, что я здесь продаю их вдвое лучше, чем бы это было в Петербурге, да еще и летом. Но это — еще пустяки сравнительно с тем письмом, которое я написал ему на днях; в этом последнем письме я излагал ему вот что (будьте внимательны), — я пишу только главное из этого письма:

«Я вообще усматриваю из нашей переписки одно очень важное обстоятельство: это — полная неопределенность моих отношений к Общ[еству] поощ[рения], и наоборот. Я, видя ясно, что Общество неправильно смотрит на свои ко мне

обязанности и на мои к Обществу, не вижу возможным, без ущерба для моей честности, молчать долее, как бы пользуясь темнотою дела в свою пользу, и потому откровенно должен сказать Вам, Дмитрий Васильевич, как я смотрю на это. Я — это лотерейный билет, по которому Общество проиграть может скорее, чем выиграть, и вот почему: если я — билет *пустой,* то Общество проиграет и материальную и нравственную сторону в этом деле; если же я — билет с *номером,* то Общество выиграет только нравственную сторону. (Нужна ли ему эта нравственная сторона?). Если Вам, Дмитрий Васильевич, не приходила эта мысль в голову, то пусть придет. Я, с своей стороны, могу сказать, что это — единственная верная точка зрения, и Комитет Общества не должен смотреть ни с какой другой, потому что всякая другая есть ложная. Только при таком взгляде на дело возможен выигрыш для обеих сторон; только при таком направлении помощи Общес[тва] эта помощь принесет благотворные результаты. Всякая другая точка зрения только спутает дело, только будет тормозить и парализовать и ту и другую сторону. Вот как надо смотреть на это, вот обязанности Общества! Если уж Общес[тво] раз меня отметило, если раз вызвалось само помогать мне, то оно должно отнестись к этому не легкомысленно и не портить дела разными сомнениями и ограничениями. Мои обязанности относительно Общества — постоянное учение и усовершенствование и честное пользование великодушно предложенным. Если я не то, что Общество создало в своем воображении, если я не возвращу десятью талантами больше, бог нас рассудит: никто не знает конца. Вот все, что я Вам хотел сказать по этому поводу. Если не все понятно, спрашивайте» [2].

Вообще смысл письма тот, что чем больше ко мне будет доверия, тем, я надеюсь, будет лучше. Если я ничего не стою, то оно, Общество, проиграет, — вот и все. Вот какую цыдулку послал я Дмитрию Васильевичу! Что же будет после такого письма?! Ведь его, как громом, поразит! А ведь и в этом письме ничего нет страшного, ровно ничего; даже совсем наоборот. Ведь не могу же я смотреть на все так, как смотрит Дмит[рий] Васильевич. Мне нужно знать наверное, а не жить день за днем, час за часом. Если я буду так жить и так думать, то чрез несколько времени окажется, что я заботился о дровах, о подметках, о заплатках на штаны, о том, где продается подешевле русский холст, или нельзя ли у кого-либо обтрепанных, старых кистей *разжиться,* — и окажется в конце концов, что я сам — отрепанная кисть, которую выкинуть надо, выкинуть без сожаления. Это все — рассуждения на веселую тему, т. е. мне очень хочется поддержки от людей,

чтобы уж не очень тяжело досталось искусство и жизнь счастливая; но в противном случае, т. е. если Общество поощр[ения] худож[ников], испугавшись моей атаки откровенностью, откажется мне помогать, как я хочу, то я докажу им, что иногда одна личность, одна единица носит в себе силы и могущества более, чем тухлое сборище людей — общество. Если бы Вы знали, какое нервное состояние. Я готов был бы все бросить, все: и искусство, и здоровье, самую жизнь, для того, чтобы сейчас, сию минуту быть у Вас и душу отвести!.. Но это *должно пройти,* это нервное состояние, пройти потому, что нет возможности улететь отсюда, нет силы, которая перенесла бы сейчас к Вам... Стараешься подавить в себе это желание... подавить до другого раза, а там еще до другого и так далее.

Для того, чтобы написать самое необходимое, не хватит целых дней. О чем же писать? Какой мысли, или слову, или желанию отдать предпочтение? Какое из них так богато, так многозначительно, что даст облегчение, перейдя на бумагу? — Нет их! Общий груз так велик, что не ощутить отсутствия десятков мыслей, тысяч слов! (Вот, точно из Гамлета). Вот вертится в голове какая-то мысль... о чем это? Да, ловлю, ловлю... о том, отчего на дружбу и любовь действует разлука... Вот, опять туман, и такие отрывки этой мысли из него выглядывают, что невозможно составить понятие о целом. Ну, да это не беда: придет, когда нужно, вся целиком. У меня так голова устроена! Впрочем, я не знаю устройства других голов, а потому мне моя может казаться оригинальною. Попытаюсь описать устройство ее, и буду очень рад, если Вы эти строки о голове будете читать в то время, когда у Вас будет бессоница, которая мигом пройдет, — так велико целительное действие этого описания. Ну, засыпайте, начинаю. Я, например, не могу читать долго и толково про себя, или вслух, потому что мозг ни на минуту не останавливает своей работы и во время чтения отделяет только половину себя для слушания, другая же половина постоянно работает самостоятельно. Но и этого мало: вдруг эта самостоятельная половина хватает, ни с того, ни с другого, половину слушающую и заставляет ее работать вместе с собой над чем-нибудь таким, что ничего общего с книгой не имеет. (Глаза еще ничего не знают и прилежно ходят по буквам, но так странно, что мне всегда напоминают мух, одуревших от мышьяку и шатающихся по тому же месту, где лежит эта злосчастная бумажка). Но всегда есть несколько мгновений борьбы, прежде чем пассивная сторона уступает, а уступает всегда она. Или еще и так бывает: думаешь, например, о чем-нибудь хорошо знакомом, известном

до последней возможности; все идет прекрасно, последовательно... вдруг нападает какой-то столбняк, прежней работы над этим *известным* и след простыл, сдуло куда-то так далеко, что и из памяти пропало; стоишь и ничего не понимаешь, но чувствуешь, что это мозги что-то там затеяли. Пройдет несколько мгновений — и снова владеешь рассудком. Ну, что тут, кажется, интересного? Нашел столбняк, и кончено! Нет, вот тут Вы сейчас увидите, что не кончено. Проходит известное время, и опять посреди какой-нибудь мысленной работы случается такой же переворот в мозгах, которые начинают устраивать какую-то мысль, мысль совершенно новую, но, вместе с тем, как будто и знакомую, как будто когда-то давно приходившую в голову. Начинаешь припоминать и доходишь до того случая, когда случился со мною столбняк. Дальше воспоминания не хотят итти, как будто желая, чтобы хорошенько всмотрелся человек в этот столбняк; всматриваешься, всматриваешься и начинаешь видеть, что этот столбняк есть не что иное, как колыбель этой знакомой будто бы мысли, которую ощутил только сегодня, что отыскалась последняя буква, без которой не составлялась мысль. Тогда, во время столбняка, эта родившаяся только мысль была до того неуловима, до того нова, что ее смысла нельзя было найти, она только на ничтожную часть мозгов произвела тончайшее впечатление, поэтому-то и вышло в первый раз что-то такое, что другим словом, кроме столбняка, и назвать нельзя. Спите? Просыпайтесь, довольно, больше не буду! А и в самом деле больше не буду: уже четверть первого ночи, и мне давно спать пора; вот только жаль, что никто таких писем не пишет и долго не могу уснуть. А все-таки попытаюсь. Покойной ночи!

22 октября

Два дня не мог продолжать. Я теперь нахожусь в отчаянном положении человека, который обязался к известному времени сделать обещанное и не может, т. е., лучше сказать, не надеется сделать. Я, изволите видеть, взял по необходимости заказ от в. к. Владимира, о котором Вы, кажется, знаете. Этот заказ заключался в четырех картинах-панно для ширм, которые он, в. к., желает подарить государыне 24 декабря. Взял я этот заказ 7 еще августа; 9 числа того же месяца Владимир уехал из Крыма. Я начал компоновать эти четыре картины. Оказалось, что необходимо сделать этюды. Я обратился к извозчикам, желая нанять которого-нибудь на месяц, что было необходимо по дальности назначенных мною для этюдов мест и трудности дорог. Меня совершенно ошеломила цена: эти уроды, извозчики, не соглашались дешевле 200 и 250 руб.

в месяц. Не имея никакого желания тратить такие деньги на этюды (я и так очень дешево взял за картины, а именно 2000 руб.), я решился подождать приезда в. к. в Крым 10 сентября, чтобы поставить ему это на вид и вымаклачить экипаж или прибавить цену на картины. По приезде его, я сейчас же отправился к нему и сказал, в чем дело. Он отговаривался тем, что экипажей совсем нет лишних и что он отдал бы в мое распоряжение свой, но, благодаря ожиданию цесаревича, он и этого не имеет права сделать, но при конце все-таки сказал: «Я постараюсь это устроить, а пока передаю Вам желание государыни, которая просила меня узнать: нет ли у Вас чего-нибудь или готового уже, или такого, что можно окончить к 5 октября: государыня желает подарить Марии Александровне [3] (дочери) картинку или картину». Я сказал, что есть одна маленькая, которую я успею сделать к 5 числу. Итак, в ожидании экипажа, я оканчивал картинку [4] императрице; эта картинка предназначалась Григоровичу, но, должно быть, не судьба. 3 октября принес ее в кабинет *великого князя,* установил ее там хорошенько (князя не было дома) и велел камердинеру сказать, что я желаю видеть князя. Отправился в парк и ожидал, когда он придет; но он не пришел и только прислал сказать, что не может сегодня никак меня принять, потому что должен сейчас ехать с государем кататься. Я отправился к Лазаревскому, управляющему Ливадией, с которым я очень хорошо знаком, и у них встретил адъютанта в. князя, адмирала фон Бока [5]. Этот адмирал из разговора моего и Лазаревского узнал, что я желаю достать экипаж в Ливадию, и, несмотря на упорное мое молчание на все его предложения услуг, взялся силой вести это дело. Я принужден был принять его услуги, не имея никаких положительных причин отказываться от такого добродушного предложения услуг. Ну-с, этот Бок все испортил настолько, что я потерял всякую надежду получить экипаж или деньги, и притом он старательно оттирал меня от личных объяснений с в. князем Так что я потерял все, чего надеялся добиться, а главное, потерял пропасть времени. Увидев полную невозможность окончить заказ к сроку и не желая долее оставаться в этом гнусном положении, я отправился прямо к великому князю, застал его спящим и сказал камердинеру, что *непременно* нужно видеть Владимира Алекс[андровича], а потому пусть он *так и доложит*. Через полчаса он меня принял. В физиономии его было что-то недовольное, и он в первый раз встретил меня *княжеской* фразой: «Чем я могу Вам служить?». Смотрите, как Ваш покорнейший слуга умеет в минуты *гнева* (!!!) быть придворным человеком. Вот, слово в слово, моя

защитительная речь: «Смею просить прощения у вашего высочества за то, что так часто осмеливаюсь Вас беспокоить; но обстоятельства заставляют меня поставить на вид вашему высочеству все затруднения, которые я встретил и продолжаю встречать; в случае моего молчания, вся тяжесть ответственности в неисполнении заказа ляжет на меня, что будет *несправедливо.* Я не имею права и желания отказываться от заказа, но пришел просить у вашего высочества отсрочки, не видя ни малейшей возможности исполнить работу к сроку». (Отсрочить заказ невозможно, потому что день, в который великий князь желал *подарить* эти ширмы, бывает один раз в году). На это мне сказано: «Ах, извините меня. Я совсем забыл мое обещание выдать Вам пропуск в Ливадию, но я это сию минуту прикажу сделать. Ведь это одно из затруднений?» — «Это, ваше высочество, одно из главных, и на это я истратил больше всего времени, и притом совершенно бесплодно». — «Но Вы его получили?» — «Получил, но должен сказать, что не могу им довольствоваться, ваше высоч., так как этот пропуск имеет ограничения». — «Какой же Вам нужен? Ведь других нет; это — пропуск для служащих в Ливадии». — «Мне нужен *свободный* пропуск, с которым я мог бы быть там, где мне нужно; только свободный пропуск дает мне некоторую надежду окончить к сроку». (Этого опять нельзя, потому что императ[рица] не желает никого из посторонних в Ливадии). — «Я не знаю, что́ сделать для Вас, потому что только императрица может распоряжаться своим имением». Он был так добр со мной всегда и так прост, что я решился выдумать что-нибудь для того, чтобы ему не очень дерзким показалось мое поведение (ведь он мог думать, что я только желаю отказаться от заказа), а потому я и начал следующее: «Не могу ли я знать, ваше высочество, кому Вы желаете сделать этот подарок? Но я уверен, что это — подарок; мне необходимо знать это?» (Он немножко подумал, но все-таки сказал, что императрице — это ведь секрет, конечно). «В таком случае, не могу ли я, ваше высочество, сделать к 24 декабря что-нибудь другое, например, вид с балкона нового дворца [6]. Эту картину я успею». — «Прекрасно, прекрасно, а ширмы останутся своим чередом; Вы их сделаете к апрелю месяцу. Желаю Вам совсем поправиться; не советую много работать и побольше заботиться о здоровье. Я завтра уезжаю; картину Вы вышлете прямо на мое имя. Прощайте, будьте здоровы».

Вот с 7 августа, в которое я последний раз держал в руках кисти, чем я занимаюсь! Сегодня я с ужасом увидел, что эту картину очень трудно успеть написать, хотя нечего и допускать вопроса о невозможности; эту я должен написать,

хотя бы целый год не было ни одного светлого дня, хотя бы пришлось писать двадцать семь часов в сутки. Он, в. к., уехал, кажется, 12 сентября, а у нас сегодня 22 октября, и у меня еще не начата картина! С 12 сентября я начал этюд [7], и до сих пор не могу хоть сколько-нибудь порядочно его подготовить: то облако, то туман, то дождь, то ветер! Я не говорю уже о том, что писать приходится не более трех четвертей часа, потому что освещение страшно быстро меняется; не говорю и о том, что приходится ездить за двенадцать верст на гору и платить по 10, 15, редко по 8 рублей за экипаж, который взбирается туда три часа, четыре там отдыхает (а я — плати), да два часа едет назад. Я трачу девять часов для того, чтобы работать сорок пять минут!!! Ну, как же после всего этого мне посылать еще и Григоровичу? Ведь нужно быть для этого чортом, или Крамским, а я ни на того, ни на другого не имею счастья походить. Григорович думает, что я сижу здесь, не ем, не пью, не дышу, а все сижу у мольберта и пишу в день по картине, которые, при последнем мазке, превращаются в кипы радужных ассигнаций. Но ведь это только он может думать, и только он может думать, что я ненавижу и его, и всех членов Общества поощрения художеств и их друзей и знакомых и ничем более не занимаюсь, как изобретением аппарата, который, в один прекрасный день, должен совершенно истребить все Общество поощрения художеств и даже место, на котором оно благополучно процветало. И после этого не прийти в ужас?! Прошу Вас, мой родной, если увидите его, то успокойте и скажите, что я попрежнему люблю и Общество поощрения и его, и попрежнему, если не больше, в нем и в Обществе нуждаюсь. Можете сказать также и то, что при первой свободной минуте напишу ему картинку, две *в его вкусе* и немедленно отправлю их в Общество. Я ему писал о том, не может ли он достать на настоящий конкурс картину от в. к. [8], которую я ему окончил-таки в августе. Если это *вообще* возможно, то пусть ставит ее, если хочет: я ему даю на это мое полное согласие (хотя я не считаю эту картинку за хорошую; а впрочем, чорт ее знает, но для его успокоения готов даже такую поставить на конкурс). Впрочем, если великий князь и даст ее, то не знаю, примет ли ее Общество, во-первых, потому что она не для конкурса писана, а во-вторых, больше марина, чем пейзаж, да и окончена не так, как надо и сколько надо. Ну, да это уж дело Григоровича. (Ведь вот мальчишка я до сих пор!) Я уверен, что эта картина ничего не получит; а ведь это будет худо, потому что будет какой-то прогрессивный упадок: в позапрошлом году получил первую премию, в прошлом — вторую, а в этом

остается провалиться, для того, чтобы Общество имело полное право отказать мне во всем, ссылаясь на такое торжественное шествие к реке забвения.

Поздно, друг мой, поздно, и пора мне спать ложиться. Сейчас был у окна и долго смотрел! Какая чудная ночь. Тепло и прозрачно кругом, как на нашем родном севере не бывает. Мерно бьют о берег волны, рассыпающиеся электрическими огнями по берегу; *«не пылит дорога»*.[9], тихая до тех пор, как глаз видит; редко, редко на горе мелькнет огонек чабана, странствующего со своей отарой по осыпавшемуся листу нагорных буков, что черной мантией одевают высокие уступы гор... Все звуки умерли, только море знать не хочет отдыха... Пойдемте погулять!

Боже мой, 27 октября

Однако письмо так бухнет, что надо поскорей его окончить. Вчера начал картину великому князю: преглупейшая и преказеннейшая штука будет[10]. Ну, да что же делать! Даю слово не брать больше заказов ни от кого. Теперь надо кончить дела. Прошение в Академию об увольнении от экзамена напишу немедленно по получении от Вас совета, как это сделать, и адреса, куда послать. Никак не увернешься от просьб к Вам, а потому прошу Вас, мой дорогой, узнать у Григоровича, не может ли он участвовать в этом деле, т. е. не может ли он помочь мне поскорей окончить дело в Академии? Еще раз прошу Вас успокоить его и сказать ему, что я *не мог* написать на конкурс; что же касается до присылки картины, то я, немедленно после окончания теперь начатой, окончу ему одну из прежних. Во всяком случае, мне придется еще написать ему о многом — для него же. Да, кстати, о высылаемых деньгах: их я получаю еще, хотя Григорович и написал в последнем письме, что это — помимо воли Общества и даже помимо его знания, т. е. что эти деньги высылает сам Григорович, на свой страх, до первого Комитета, в котором он заявит об этом и спросит его мнения о том, сколько времени продолжать выдачи ежемесячно (?). (Сам же писал, что Общество присудило выдавать мне по 100 руб. в месяц во все время моего пребывания в Крыму. Вот тут и толкуйте с ним!) Это я пишу Вам для того, чтобы Вы не думали, будто я перестал быть пациентом Комитета или Григоровича, в денежном отношении. Прошу Вас от всего сердца быть потомком Плюшкина по леплению строчек; но, ради бога, не думайте, что мне будет противно встретить в Вас Ноздрева по количеству траты бумаги. Я никак не могу понять, как можно говорить серьезно о браслетах[11]. Дорогой мой, ведь это — бог знает, что такое!

Вы, написав мне это, или думали об этом *не так серьезно,* как написали, или поступили *не откровенно и не ценность подарка на Вас нехорошо подействовала, а что-нибудь другое, что Вы скрыли.* Что за ценность? Как противно встречать такие слова в письмах человека, которому веришь и в котором нуждаешься, как ни в ком. Неужели мы же так мало знаем друг друга, что какое-нибудь ничтожное обстоятельство будет заставлять нас делаться подозрительными? Ей-богу, я тут ничего не понимаю. Думаю только одно: *Вы написали не то, что хотели и что нужно было написать.* Если я что-нибудь делаю, то делаю это не по глупости, потому что ее нет в моей натуре; веря в отсутствие этой глупости, я не могу понять, каким образом мог сделать неприятное Вам и Софье Николаевне? Ради бога, лучше выкиньте мой подарок, но не заставляйте меня думать, что я сделал неприятность, желая сделать самую *обыкновенную вещь.* Надеюсь, что мы никогда о подобных вещах распространяться не будем, имея написать что-нибудь толковое.

Клеопина видаю так же часто, как и прежде, и так же тяжело его переношу за его многочисленные болезни, а особенно за головные боли, к которым он так привязался, что ни на что не похоже. Впрочем, он у нас совершенно расцветает и бывает до того иногда в ударе, что у нас разболеваются животы и бока от хохота. Он, по моему мнению, прекрасный человек вообще, и при его страшной обстановке, обстановке проклятой провинции, в особенности. Он постоянно просит Вам кланяться и постоянно уверяет меня в том, что я — настоящий маринист, и если не буду писать постоянно море, то сам буду виноват, не прославившись, кажется, до Огненной земли. Ваш проект относительно лета бесподобен, и не имей я воли, то, конечно, мы прожили бы следующее лето вместе. Но, дорогой мой, меня заставляют болезнь и рассудок остаться в Крыму до сентября или августа 1873 года. Я дал слово окончить здесь все, что можно, или все, что начато. Это совершенно необходимо для моей будущности, для моей свободы. Я так желал бы быть свободным от разных неприятностей хоть месяц, что принял вышесказанное намерение, утешая себя надеждой, что посредством него я добуду себе полную свободу хоть на короткое время. Лучше промучиться еще год, чем мучиться пять, десять и т. д. В августе или в сентябре я лечу в Петербург, в котором и пробуду два или два с половиной месяца, после чего еду за границу и прямо на Восток. Это я постараюсь устроить через Общество поощр[ения], которое это мне обещало, судя по письмам Григоровича. Если даже Общество и спятит с своего обещания, то я попытаюсь

на собственные средства (не знаю, почему мне кажется, что моя репутация или известность находится там). До тех пор я буду писать свои картинишки, которых не должно оказаться менее шести, кроме трех уже написанных и пяти великого князя, которые я должен окончить все к апрелю месяцу. Всего, значит, в проекте, я выставлю в Обществе поощр[ения] от двенадцати до тринадцати картин [12], с маленькими, конечно.

Цель этой выставки [13] будет не приобретение утерянной репутации, — для этого картины эти очень слабы, — а желание показать Комитету Общества мою трудолюбивую душу, жаждущую от высокопочтенного Комитета *слова* одобрения и *поощрения;* при сем я слезно буду доказывать Обществу совершеннейшую необходимость посылки меня за границу на счет его, высокопокровительственного Комитета. Я уверен, что достаточно будет Дмитрию Васильевичу прослезиться, указывая членам Комитета мою неустанную бдительность интересов Общ[ества] поощр[ения] и неутомимую трудолюбивость удрученной болезнями натуры для того, чтобы я почувствовал благоволение Общества и сумму для поездки.

Ах, друг мой, как дорого мне стоит все, что я приобрел. Как дорого мне будет стоить каждая картина, которую я напишу здесь! Многим кажется, что мне моя жизнь удается так легко и скоро, что на удивление. Как это можно! Я за все, за все плачу дорого. Ну, да это — к чорту! Значит, до августа будущего года мне и Вам суждено марать бумагу — и только. Сколько воды утечет... а там — короткое свидание, а там — разлука скоро, а там —

Черед свой строго наблюдая,
И смерть холодная придет.

Мама Вам усердно кланяется, а Софью Николаевну крепко целует. Мы по вечерам, равнодушные, ходим гулять на берег моря и вспоминаем там всех и Рассею. Нам уже не кажется таким странным наше здесь присутствие: привыкли. Когда существует что-нибудь такое, чего преодолеть нет средств, то становишься равнодушным и уже не пытаешься предпринимать что-нибудь.

Кончаю! Ей-ей, кончаю! Поклон Шишкиным: получил от них, наконец, письмо и сам им пишу. Поклоны всем разным людям. Григоровича же утешьте и скажите, что он страху набрался только оттого, что не разглядел.

О «Христе» [14] Вашем ничего писать не могу. Скажу только, что он мне крайне нравится и что очень хочется его видеть. Это — вещь такая, о которой *критику разводить* не годится. Будьте здоровы, дорогой мой, и верьте в мою глубокую к Вам

дружбу и полное сочувствие. Целую у Софьи Николаевны ручки, и дай ей господи всякого здоровья и счастья. Роман не успел кончить Вашим молодцам послания по безграмотности и по необыкновенной вечером сонливости, а главное — от большого усердия: он уж что-то много насочинял и притом подробно очень описывает.

Ваш *Ф. Васильев*

29. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 ноября 1872 года
Ялта

Сколько я исписываю к Вам бумаги, сколько раз порываюсь *облегчиться,* но всегда напрасно. Милый друг, погода подурнела, откуда ни взялись серые, скучные облака, заморосил дождь, отчего плачут оконные стекла, плачут так тоскливо, что мочи нет. Как усиливает такое плаксивое состояние погоды плаксивое состояние духа! У вас теперь там веселости начинаются, люди лучшим своим даром пользуются — даром речи. Как некоторые несчастные дурно употребляют этот великий дар! Единственный признак, ставящий их выше всех млекопитающих, потребляется самым глупым образом... «Скучно на этом свете, господа!» [1]

Я стал необыкновенно раздражителен; это даже мама замечает. Я теперь очень иду к Ялте и ее смыслу; думаю, еще больше подходил бы к Карлсбаду или к чему-нибудь в этом роде... Может быть, еще и придется сделать это сравнение... Неужели Вы так снисходительны, что в Вас не разливается, как желчь, досада и нетерпение при чтении таких писем? Знаете, что скоро, очень скоро, меня никто не станет выносить; и это будет нисколько не обидно, не несправедливо... Скверные мысли и скверные предчувствия!..

Получили ли письмо? Простите, пожалуйста, что письмо послал страховым, отчего Вам пришлось *итти за получением* письма, но иначе сделать не мог — не принимали простым. Положим, на это можно сказать, что «от Вас зависело не делать его таким неудобопересылаемым, а главное — неудобополучаемым». Обещаю исправиться. Я прошу Вас передать сестре [2] прилагаемое письмо: она не нашла нужным дать свой адрес... Что́ пишет, а главное, как пишет Иван Иванович? Сестра сообщает мне, что он начал две картины и что обе очень, очень хороши. От души желаю ему взяться за дело хорошенько (мастер я давать советы, а сам должен бы

стыдиться, если бы кто-нибудь случайно навестил меня и посмотрел, что я делаю).

В самом деле, совестно, голубчик, мне, крайне совестно. Совестно мне не за то, что я *пишу* такую мерзость, а совестно — *зачем* не устроил так, чтобы не писать ее. Хотя я сам себя упрекнуть не могу в этом, сознавая, что это случилось не потому, что я не предвидел этого, а оттого, что этого и предвидеть нельзя было, не имевши случая... Довольно! Как все эксцентрично! Не правда ли? Рисую Вам контур картины — *произведения,* которое я теперь выполняю [3].

Надеюсь на господа бога и снисходительность людей, которые не прогонят меня сквозь строй за такие поистине гениальные произведения! Тут еще недостает будочника для того, чтобы это произведение обладало всеми достоинствами! Эта несчастная картина портит мне все дни, часы и минуты; аппетит с первого часа исчез совершенно, постоянные головные боли и безысходное беспокойство! Для этой картины я потерял два месяца хождения по дворцам, деньги и еще месяц для написания ее самой. Еще можно бы было взять выработкой деталей, правдой, но и это совершенно невозможно за недостатком времени. А еще Григорович смеет делать мне неприятности, подозревая, что я все это делаю потому, что это мне нравится. Какие я пакостные дрязги Вам пишу! Для того, чтобы не писать их никогда, я отказываюсь навсегда от всяких заказов. Я с каждым годом убеждаюсь в справедливости однажды мною сказанного: «Мое развитие страшно останавливает недостаток совершенной независимости в средствах». Если бы не это и еще многое, я, уверен, давно был бы далеко впереди; было бы несравненно больше испачкано холстов, несравненно больше истреблено красок и мотивов, но зато все, что я позволял бы себе отдать на суд публики, носило бы в себе действительные достоинства; благодаря этому и репутация моя не страдала бы от таких произведений, какие я должен буду выпустить. До сих пор я еще не принялся ни разу написать море. То, которое я написал в картине в. к., страшно безграмотно. Я очень подвинулся в этом отношении, даже больше чем могу теперь выразить технически...

Просьбы. Вышлите, если это в настоящее время Вам можно, следующие штуки: папье-пеле штук тридцать, больших и малых, круглых и квадратных, светлых и темных. Это мне необходимо для эскизов, делать которые карандашом слишком долго и неудовлетворительно, особенно, если нужно волны, которыми у меня наполнены альбомы и для которых эта бумага очень хороша. Сверх того, эти эскизы можно будет оканчивать в свободное время и носить на рынок. Потом —

простого угля для контуров на холсте, потом — еще много, мой дорогой! Соус и хорошую растушку. Потом — фунт или два сиккатив-де-Гарлем, который Беггров прекрасно укупоривает; флаконов пять Робертсон-медиум, еще много, много; потом — краски следующие:

Vert Emerade — 8 шт.
Caput mortum — 3 (темный)
Umbra, gebranten — 3
Англ. светл. — 3
Индейская желт. (Indisches Gelb) — 8.

Кнопок штук сто, кистей круглых, колонковых, не толще [4], дюжину.

Если Вы будете столько добры (?), то не откажите выслать это, причем приложите счет стоимости этих вещей. Кстати, уже при первой встрече изругайте, на чем свет стоит, Иконникова за его обещание, которое он сам на себя взял и не исполнил, — выслать мне хороший самоучитель французского языка. Я ему тогда поверил, а потому и не просил никого выслать таковой; но теперь вижу, что сделал глупость и потерял много времени на ожидание этого самоучителя, — времени, которое я употребил бы с пользой. Скажите, что я уже более не нуждаюсь в этой книжке. Он, впрочем, не мог помнить о каком-нибудь гнусном самоучителе, когда с ним совершалась такая катастрофа. Не знаете ли, что Григорович сделал с моим предложением взять на конкурс мою «марину». Вещи пошлите, если пошлете через почту (а то очень опоздают), по адресу: Худож[нику] Федору Александр[овичу] Васильеву, дом Суходольского, в Ялту. Если Вам привезет фельдшер посылку из Ливадии, прошу Вас передать Шишкиным. Нельзя ничего послать (13 ноября). Обнимаю Вас, дорогой друг, и желаю всего хорошего.

Ваш упорно печальный *Ф. Васильев*

Целую руки Софьи Николаевны.

30. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

23 ноября 1872 г.
Ялта

Дорогой друг! Как меня допекают — это удивительно! Какие-то смутные намеки в письмах всех знакомых занимают свои места. Я переживаю самое неприятное время. Сейчас написал письмо — ответ Нецветаеву, которым он, вероятно,

останется доволен [1]. Он написал такого рода штуку: «В Обществе поощр[ения] Вами сильно недовольны и, кажется, *имеют причины*». Другие хоть просто пишут, что растут, дескать, тучи на горизонте, а этот даже не подумал, что придется самому *ответ держать,* да и бухнул: по делам, дескать, заслужил! Я ясно вижу только одно: не одно Общество, а все поголовно заняты не моей судьбой, конечно, а *распущением* обо мне самых нелепых предположений; вижу, что всякий, кому от меня весточки нет, не затрудняется и ставит меня во всякие нравящиеся положения. Благодаря тому, что меня судьба запихала в Ялту, и лени узнать от меня самого, что я делаю, всякий паршивец подозревает меня во всяческих злоумышлениях. О господи! Одна беда еще с плеч не свалилась, а уж тут стараются навалить новых! Что я им сделал? Ведь это удивительно! Не могу я, голубчик Вы мой дорогой, подозревать, что это из зависти к моему только что появившемуся, только что чуть-чуть одним уголком показавшемуся таланту! Если я буду предполагать это последнее, то ведь ужас возьмет за будущее. Что же будет тогда, когда я сформируюсь?! Я пишу Вам так же откровенно, как бы говорил самому себе, а потому и скажу, что ведь теперь я — ничтожность, ничтожность едва-едва заметная, и уже нет покоя от всяких пакостей! Горькое, горькое раздумье берет. Неужели никогда отдыха? Смешно и больно взирать на мир божий! Всюду трибуны; всюду с одушевленным взором, с раздутой истиною грудью воздымаются ораторы, великие люди, друзья человечества; всюду — ликование; просветленные толпы волнами движутся от одного оратора к другому, от паровых машин к исполинским орудиям, от плугов к митральезам... Хором гремит из одного конца света в другой: «Да здравствует девятнадцатый век». Поет этот гимн вчера раздавленный француз, поет этот гимн вчера раздавивший целый народ пруссак [2], и, громче всех, с сияющей радостью лицом, поет его страшный призрак «коммуны» [3], стоящий отдельно от всех... Это — апофеоз...

Я последнее время очень Вами, голубчик, недоволен. Когда, когда я получил от Вас письмо! Хоть строчку! Пожалуйста, не думайте подражать мне и исписывать целые стопы. Мне это к лицу, а Вы, надеюсь, не всегда имеете свободные вечера. Скоро и я Вам буду меньше писать — совсем это непривлекательное занятие. Ну, написал, написал, да и брось, а то до дурости. Как все поживают? Здорова ли Софья Николаевна? Детки? Совсем я холостяком сделался на этом свете, в Ялте; был маленько болен, да прошло — хоть разнообразие. Матушка тоже не совсем была здорова, даже очень не совсем,

но, благодарение богу, и это успешно окончено. Продолжаю мучиться за картиной. Получили ли прошлое письмо с приписками Романа? Голубчик, успокойте, напишите, что знаете о намерениях Общ[ества] или Григоровича, да, пожалуйста, истину святую, — не бойтесь. По крайней мере, нельзя ли хоть узнать мне, что вообще обо мне говорят и где именно; мстить никому, конечно, не желаю. Григорович только разговоры разговаривает! Вот опять деньги не высланы, а я еще 14 числа, по крайней мере, должен был их получить. Денег поэтому — ни гроша, а долг страшный. Вы, пожалуйста, ему не говорите о деньгах; может, он выслал, да очень поздно. Если еще пять-шесть дней не получу, то придется ему телеграфировать. Я вообще с болью думаю о том, что мне, кажется, придется расстаться с Обществом. Этого еще недоставало! Вы меня, я уверен, простите за мои безобразно скучные письма. Как благоразумный человек, поймете, что я со всем бы желанием писал веселые, да все еще не выходит. Во всяком случае, обещаю постепенно исправляться. А меня все-таки беспокоит Ваше долгое молчание: так и кажется, что перед бурей. Матушка моя целует вас всех. Роман — тоже. Если Вы что хотите иногда знать обо мне, то прямо ставьте в письме вопросом, требующим ответа. Говорили ли Григоровичу о моем предложении взять на конкурс картину великого князя Владимира? Его высочество ее увез в Петербург. Третьяков приехал из-за границы и желает знать, что *я пишу* на конкурс. Бедняга. Ожидания его лопнут.

Пишите, ради бога. Поклон всем.

Весь Ваш *Ф. Васильев*

31. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

30 ноября 1872 г.
С.-Петербург

Мой дорогой друг!

Я думаю, что Вы заждались от меня письма; я же до такой степени завертелся, что, как видите, становлюсь недостойным того, чтобы мне писать, да еще такие письма, как Ваши. Не думайте, чтобы я стал оправдываться, да между нами и не может быть этого. Я сообщу только то, что есть. Дело в том, что с 9 октября открылись заседания комиссии по повелению великого князя Владимира Александровича для пересмотра Устава Академии художеств [1], — я членом назначен, вместе с другими, а именно: Боголюбов, Гун [2], Ге, Резанов [3]

(архитектор), Чистяков [4] и Иордан [5]. Не скажу, чтобы другие ничего не делали, но между художниками достаточно быть только грамотным, как Вы знаете, чтобы на него взвалили кучу бумаг. Кроме того, я хотя и не жду особенного добра от всего этого дела, но все-таки как будто считаю обязанностью сделать все, что мне кажется нужным. Нужно написать чуть не целое сочинение по поводу некоторых вопросов, относительно которых особенно много предрассудков; и вот Гё и я работаем, и много и долго. Кроме того, отчетность по Передвижной выставке за прошлый год, разбор книг, проверка разных дурацких расходов и многое множество таких невозможных и утомительных переливаний из пустого в порожнее, что, ей-богу, голова кругом пошла. Кстати, выставка дала чистого барыша, который выдается теперь, 23 процента на рубль [6]. Я получил 490 рублей, Шишкин 390, Ге больше 700, Перов — тоже, — словом, как видите, дело такого рода, что продолжать его стоит, и некоторые заскорузлые враги теперь только облизываются. Достаточно сказать Вам, что полтора месяца я не брал в руки кистей — каково? Семьи моей почти не вижу. И все-таки не резон, я скажу, не отвечать так долго бедному изгнаннику, единственному человеку, проживающему в Крыму. В самом деле, на что это похоже? Что Вы с собою делаете? Неужели нельзя найти другого выхода? Все сидеть в Ялте? Да ведь можно и того — тронуться! Подумайте, разве нельзя теперь же поднять вопрос о Вашем переселении за границу, в Италию, например? Климат тот же, а люди другие, т. е. есть и люди и художники. Да климат-то, может быть, и получше. Вы как об этом думаете? Или уж лучше Ялты нет ничего на свете? Не шутя, мой дорогой, мне кажется, что Вам пора бросить этот прелестнейший уголок земного шара; так мне кажется по письмам, т. е. по некоторым местам из писем Ваших, что оставаться без людей — воля Ваша — опасно. Я понимаю, что иногда это и полезно, как я когда-то писал, кажется, об этом. Но... вот видите, нужно, чтобы это было поступком добровольным, и притом с твердо определенною целью. Положим, цель у Вас есть, но свободы выбора не было, а это несколько меняет весь смысл. Впрочем, что ж это я, убеждаю Вас, что ли? Хотя мне может многое казаться, но с тех пор, как я, кроме писем, не буду видеть того, что Вы делаете, — я умолкаю. Мне, признаюсь, очень и очень хочется увидеть картину Вашу [7], которую Вы писали великому князю Владимиру Александровичу. Где она: осталась ли в Ливадии или она в Петербурге, — даже Григорович не знает.

Кстати о Григоровиче: уморительно, до какой степени он расцвел, когда получил от Вас письмо — не ругательное; до

такой степени обрадовался, что не утерпел; как только меня встретил на четверге (четверги начались), сейчас же сообщает, и точно ему орден дали, которого он давно добивался. «Я, — говорит, — очень рад, очень рад, кажется, Федор Александрович наш совсем поправился — слава богу, здоров, такие милые письма начал писать; пишет, что картину высылает, велел раму приготовить. Я, разумеется, сейчас же распорядился. Только какую он высылает — не знаете? На конкурс? Нет?» Словом, человек обрадовался. Это недурно, что Вы послушались меня. Не обижайтесь, я написал: послушались, не в том смысле, чтобы я обольщал себя надеждою, что Вы меня слушаетесь, а просто так. О, если бы Вы, в самом деле, иногда меня послушались! Я, разумеется, не думаю, что мог бы Вас руководить — не в этом дело, а дело в том, чтобы я мог хотя подвинуть на размышления — не бросить ли Ялту для Флоренции? А там бы уж остальное само собой вышло. Теперь по поводу диплома: если Вы хотите его получить, напишите письмо, т. е. виноват, не письмо — прошение в Совет, где изложите, что так, мол, и так, будьте добры и прочее; что будут добры — я ручаюсь. В первом же Совете Вам решат выдать, и попросите его выслать. Не забудьте — писать нужно не великому князю, а в Совет. Закона божия и катехизиса не потребуют. Письмо, которое Вы написали Д. В. Григоровичу по поводу Общества и Вас и в котором Вы решительно и ясно ставите вопрос о своих к нему и его к Вам отношениях, Вам следовало бы давно написать, очень давно, но хорошо и то, что Вы, наконец, его написали [8]. Я догадываюсь, что Григорович уже давно получил его, но что будет из этого — не знаю. Спросить, разумеется, не могу, да он и не скажет. Как он ни болтлив, а не такой дурак, чтобы про себя говорить такие вещи. Вот только что мне кажется: он письмо Ваше в Комитете не доложит, частью потому, что это загвоздка, частью и потому, может быть, что, вероятно, он уже говорил что-либо несогласное с Вашим письмом членам Комитета, — словом, я боюсь — дело останется еще на неопределенное время в том же положении, а это нехорошо во всех отношениях. Воля Ваша, Вам придется, вероятно, вернуться еще раз к этому делу и уже не вокруг да около обходить, а в форме простой официальной бумаги, с приличными делу объяснениями, поставить вопрос уже прямо к Обществу, — тогда Вы добьетесь, по крайней мере, известного: Вы будете знать не то, что думает Дмитрий Васильевич, а то, что думает делать Общество. Это и проще и спокойнее для Вас. Что же касается до оригинального устройства Вашей головы, то успокойтесь: Ваша голова не единственная — есть и другие в том же роде. Столбняк,

как Вы его называете, бывает у всякого, у кого только на чердаке не сено. Правда, всякий хозяин-приобретатель старается прежде всего, чтобы там поместить сено, но ведь приобретатели людям немножко помешанным и не указ. Если Вы желаете (и совершенно похвально) заботиться о подметках, то можете быть уверены, что найдется еще подобный Вам чудак на свете, такого же беззаботного характера, и, стало быть, Вы всегда питайте себя надеждою встретить такового и быть в его обществе.

С удовольствием читал то место в Вашем письме, где Вы рассказываете о Вашем подвиге придворного человека[9], это, во-первых, очень верно, во-вторых, хорошо, в-третьих, именно так, как нужно, и потому-то результат благополучный — насколько может быть вообще результат благополучным в деле, от которого желаешь отделаться.

Возвращусь еще раз к Обществу. Будто непременно нужно сидеть в Ялте до сентября 1873 года? Будто непременно нужно пятнадцать картин, и все их поставить?

Не ошибаетесь ли Вы? Ну, а если бы, например, можно поездку совершить без сих геркулесовских подвигов? Что тогда? И потом, почему на Восток? Конечно, Восток для того и существует, чтобы туда ездили для поклонения, а оттуда *восходили — аки светила,* положим. Но ведь, ей-богу, пока все это совершится, пока Вы будете оканчивать картины, пока соберетесь путешествовать, 666 раз солнце взойдет с востока и столько же раз оно опустится на западе, я успею поседеть, Клеопин — потерять остроумие и головные боли, а Вы пустите глубокие корни в ялтинскую почву, — и бог знает еще, что будет. Почему не попытаться приступить к этому немедленно? Оканчивайте картину великому князю, а между тем подымайте письменно вопрос в Обществе о Вашей поездке за границу, но за границу, где есть жизнь и люди, где целая армия художников работает и удивляет сонный мир результатами своих усилий. Мне, сидящему в болоте, толкущемуся в этой скверной яме, называемой российской интеллигенцией, право, иногда кажется: ведь, право, можно бы сделать это. Можно тем более, что достаточно трех-четырех картин Ваших, чтобы решить дело в пользу свободы и света. Или уж так необходимо, по-Вашему, огорошить Общество своим беспримерным в истории прилежанием? Но ведь это — гордость, гордость похвальная, положим, но все-таки гордость лишняя. И мне сдается, что именно прилежанием можно огорошить только немца, а не нас. А потом, во-вторых, если уж и огорашивать, то неожиданностью другого рода — это дерзостью суммы, так-таки прямо давайте, да и конец. Это, по крайней

мере, понятно для нашего брата. Скажут: за что? А за то, что «Вы же сами обещались»; я еще, скажете, снисходителен — долго ждал. Вы давно обещались, но я не пользовался, а теперь нужно... Дадут. Это верно, и, наконец, я думаю, что если не дадут теперь, то где ручательство, что дадут тогда? Пятнадцать картин? Может быть, Вы и правы, но все-таки сколько крови и здоровья, сколько, наконец, времени чрезвычайно дорогого уйдет чорт знает куда, для чего? И добро бы это было кому-нибудь нужно — т. е. Ваше заточение и ссылка; думаю, что ни в интересах Ваших, ни в интересах Общества этого не нужно. Да и что в самом деле, только и свету, что в окне, только и воздуху хорошего, что в Ялте! Подумайте — может, тут есть толк. Разумеется, я, может быть, преувеличиваю Ваше положение, но мне сдается, что остаться одному на необитаемом острове, работать картины и посылать их на людный рынок, где этого товару привозят еще из-за граници тьму, да к этому еще поправляться здоровьем! Это что-то мудрено — не пойму. Мне иногда кажется, что Вы не в Ялте, не в благодатном климате, а в Якутске, где-нибудь в юрте и катаетесь на оленях, право, так. Последую Вашему совету (т. е. примеру), не буду писать письма залпом, а с отдыхами и промежутками: во-первых, больше напишу, не станете упрекать, а во-вторых, все-таки больше чепухи нагородишь.

1 декабря 1872 г.

Дождался! Ей-богу, добрый мой, краска бросилась в лицо, когда сегодня получил два письма от Вас: одно от 15, другое от 24 ноября. Итого три письма. Ради самого неба, не сердитесь на меня. Вы не поверите, разумеется, что меня бросило в краску, а между тем это так. Вот видите ли, я просто простить себе не могу, что не написал Вам двух строк по получении большого письма, потому, что две строки написать всегда возможно, это правда, но думалось: что же я ему теперь напишу, подожду недельку, пока отделаюсь. Ан вот и дождался. Теперь, знайте, всякий раз самым решительным образом буду писать хоть слово — все-таки Вы будете знать, а то, бог весть, что Вы можете там подумать. Да уже и думаете, потому что звучит некая нота, не то горечи, не то обиды, что вот, дескать, пишешь-пишешь ему, а он-то молчит, как рыба, и уж обещаетесь писать поменьше. Как хотите, так и делайте, а я скажу, что письма Ваши доставляют мне больше, чем Вы думаете. Я с самым глубоким интересом слежу за всем, что происходит в Вашей душе. Ведь Вы все-таки продолжаете быть для меня открытым инструментом; не закрывайте его, ради бога, не закрывайте. Вы не в дурные руки пишете письма. Ведь если

Вам тяжело и черные мысли лезут Вам в голову, если для Вас открывается изнанка вещей, изнанка человеческих мыслей и поступков, и скверные предчувствия неотступно тревожат Вас, то я, мой дорогой, уже давно во все глаза смотрю на мир божий. Сначала как будто жутко, точно могила перед тобою, потом... потом привыкнешь и уже ничего не ждешь. Страшно созреть до той высоты, на которой остаешься одинок. Лучше, кажется, как бы был свинья и животное только, чавкал бы себе спокойно, валялся бы в болоте — тепло, да и общество бы было. Сосал бы себе спокойно свой кус и заранее намечал бы себе, у которого соседа следует оттягать еще кус, а там еще и еще, и, наконец, свершивши все земное, улегся бы навеки; понесли бы впереди шляпу и шпагу, прочие свиньи провожали бы как путного человека — трудно, но вперед, без оглядки! Были люди, которым еще было труднее, вперед! Хоть пять лет еще, если хватит силы, больше едва ли, да больше, может быть, и не нужно. Надо написать еще Христа [10], непременно надо, т. е. не собственно его, а ту толпу, которая хохочет во все горло, всеми силами своих громадных животных легких. В самом деле, вообразите: нашелся чудак — я, говорит, знаю один, где спасение. Меня послал он, и я — его сын. Я знаю, что он хочет, идите за мной, раздайте свои сокровища и ступайте за мною. Его схватили: «Попался! Ага! Вот он! Постойте — гениальная мысль! Знаете, что говорят солдаты, он царь, говорят? Ну, хорошо, нарядим его шутом-царем, неправда ли хорошо?» Сказано — сделано. Нарядили, оповестили о своей выдумке синедрион — весь бомонд высыпал на двор, на площадку, и, увидавши такой спектакль, все, сколько было народу, покатились со смеху. И пошла гулять по свету слава о бедных сумасшедших, захотевших указать дорогу в рай. И так это понравилось, что вот до сих пор все еще покатываются со смеху и никак успокоиться не могут. Этот хохот вот уже сколько лет меня преследует. Не то тяжело, что тяжело, а то тяжело, что смеются.

Как быть, трудно Вам, знаю, и помочь не могу, — уж кого отметит господь бог, кому он даст частичку самого себя, — знайте, свершит он свой путь, как следует свершить. Роковые последствия потому и роковые, что человек должен нести ответственность только за то, что он умнее, лучше, талантливее. Успокойтесь, это не намеки, я ничего не знаю о намерениях Общества, всего меньше — Нецветаев, этот унтер, прости господи. Знаете — это такое колоссальное, непроходимое чудовище, деревянное животное в военном мундире, что просто поразительно. Не любил я его никогда, но до какой степени он имеет мало человеческого, признаюсь, — не ожидал. Все,

что он написал Вам — его чистый вымысел [11]. Я уже выше Вам писал, что Общество тут ни при чем, и теперь повторяю. Пора поднять просто в Комитете вопрос о Вашей поездке. Напишите Григоровичу письмо, и уж как знаете, так и сделайте, но поставьте вопрос перед Обществом.

Право, мне кажется, пятнадцати картин не нужно для этого. Повторяю самым настоятельным образом — успокойтесь. Я ничего не знаю, ничего не слышу, чтобы гроза какая-либо собиралась. Может быть, и есть такие храбрецы, которые кукиш в кармане показывают, т. е. пишут так и так. Отчего и не постращать, благо за это никто в загривок не положит, да еще когда-то отвечать придется, а все-таки не худо напакостить. Все это вздор, бросьте, стыдно, или уж напишите, кто и что пишет. Тогда, может быть, я буду в состоянии указать Вам источник. Господи, когда подумаю, что около двух недель это письмо еще к Вам пройдет, — просто страх берет. Письмо Евгении Александровне я отослал, курьера еще не было. О Шишкине сообщу Вам, что он, право, молодец, т. е. пишет хорошие картины [12]. Конечно, чего у него нет, того и нет. Но он, наконец, смекнул, что значит — писать, — судите, мажет одно место до пота лица, — тон, тон и тон почуял. Когда это было с ним? Ведь прежде, бывало, дописал все, выписал, доработал, значит и хорошо. А теперь — нет: раз двадцать помажет то одним, то другим, потом опять тем же и т. д. Проснулся. Пейзаж сгрохал в 3 аршина, 1 вершок, внутренность (болотистая) леса, да еще и в сумерки, какое-то серое чудовище, а ничего — хорошо. Другую, облачную, светлую поляну, под отвесными лучами солнца. Приехал Третьяков, покупает у меня картину [13], торгуется, да и есть с чего. Я его огорошил, можете себе представить: за одну фигуру вдруг с него требуют не более не менее, как шесть тысяч рублей. Как это Вам кажется? А? Есть от чего рехнуться. Вот он и завопил! А все-таки не отходит. Друзья вопят, наоборот, дешево. Каково — это дешево! Признаюсь. Что состоится, напишу Вам. Требуемые Вами пеле, краски и прочее не замедлю выслать, ей-богу, не замедлю. Усните спокойно, господь с Вами.

Ваш *И. Крамской*

Пусть Роман милостиво примет послание моих молодцов. С[офья] Н[иколаевна] искренне и глубоко Вам кланяется — нездорова. Ольге Емельяновне наше сердечное приветствие.

32. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

16 декабря 1872 г.
Ялта

Сейчас вернулись с берега. Как Вы, дорогой друг, ни браните Крым, а все-таки — удивительное место! Сегодня 16 декабря, и несмотря на это, на солнце в два часа дня было 17 градусов тепла. Впрочем, не все здесь масленица, и два дня тому назад лежал в Ялте и на горах снег, и было 2 градуса морозу, правда, ночью. Эти два дня было холодно. Итак, мы сейчас вернулись с прогулки. Небо — голубое-голубое, и солнце, задевая лицо, заставляет ощущать сильную теплоту. Волны — колоссальные, и пена, разбиваясь у берега, покрывает его на далекое пространство густым дымом, который так чудно серебрится на солнце, что я просто готов на стенку взлезть. Картина, в самом деле, так очаровательна, что я рву на себе волосы — буквально, — не имея возможности сейчас бросить все дурацкие заказы и приняться писать эти волны. О горе, горе! Вечно связан, вечно чему-нибудь подчиняешься. Не могу утерпеть и не нарисовать Вам сегодняшнего мотива [1].

Свет падает сзади и транспарантом светит пена. Легкость и блеск воды поразительны. На горе едва-едва заметны детали и глубоко сидят за блеском, которым сверху все пролесировано. Этот мотив я написал бы хорошо. А тут извольте мазать отвратительные заказы — этакая мука!..

Или Григорович лишен всякой способности понимать написанное, или большинство моих писем не доходит по адресу. Вы пишете, что Григорович спрашивает у Вас: не знаете ли Вы, какую он (я т. е.) шлет картину? Ведь это ясно *обозначает,* что он ничего не понимает из того, что я ему пишу. Я ему, по крайней мере, четвертый раз пишу о посланной картине; четыре раза я ему объяснял, что эта картина принадлежит вел. князю Владимиру, им заказана для императрицы, которой картина должна быть поднесена 23 числа декабря сего года; четыре раза — нет, больше, — я ему писал о том, что на конкурс написать не успею, и он даже уж отвечал мне, что это ему очень не по душе, особенно Обществу. После всего этого вдруг спрашивать: «Не знаете ли, Иван Николаевич, какую он картину шлет?» Ведь это из рук вон! Можно сказать, что слишком за такие пустяки бранить нечего, а я отвечу: если Дмит[рий] Васильевич не понимает ясно изложенных пустяков, то что же он сделает, если начнешь серьезную переписку о посылке за границу? Вы тоже, наверное, не получаете моих писем, потому что спрашиваете о том, что я уже

писал Вам. Прошу Вас, отмечайте в письмах ко мне, какие именно, т. е. от какого числа, получаете; этим способом я ясно увижу, все ли Вы получаете; а так как не одни же мои письма могут пропадать, то я и Вам буду писать, от какого числа получено мною от Вас. (Вот бестолково настрочил!!) О посланной картине (12 декабря, вторник) сообщаю следующее: эта картина — прегнусная по всему; это случилось, во-первых, оттого, что я должен был написать ее в один месяц (!!!); во-вторых, оттого, что это — заказ, и, в-третьих, сюжет — отвратительно казенный, который, между прочим, нельзя было и изменять, так как это место — портрет [2]. Как грустно, что не удастся Вам увидать ее и сообщить мне, насколько она отвратительна. Письмо это придет к Вам тогда, когда картина уже будет сдана Владимиру [Александровичу] Григоровичем, о чем я ему писал и о чем просил. Но знаете, что я должен взять за нее 2000 руб., minimum — 1500 руб., и то в таком только случае, если цифра 2000 руб. покажется уже слишком безобразной. Величина картины — 2 аршина, и 1 арш. 6 верш. ширина (даже и по размеру дорого). Я писал Григоровичу: 1-е, чтобы он сообщил во дворце цену картины тогда только, когда узнает, какое она произвела впечатление; 2-е, если впечатление будет хорошее, то пусть объявит цену 2000 руб. и присовокупит, что художник просит картину окончить, чего он не сделал, не имея времени; 3-е, если картина не понравится, то пусть объявит цену 1500 руб., но уже не объявляет о желании художника окончить, ибо сей художник должен будет, в этом последнем случае, т. е. если еще ее оканчивать, не только не получить выгоды, но, наоборот, приплатить из своего кармана, чего он решительно не хочет делать, боясь прослыть за это в уме несостоятельным. Сколько я потерял, благодаря этим заказам!!! Я с 7 августа написал только одну эту гнусную картину, когда мог бы написать три, и притом хороших. Ну, что потеряно, то потеряно, а потому и говорить не следует. Если бы Вы знали, как я мучусь, не видя возможности объяснить все, все до ясности! Я с ужасом замечаю, как увеличиваются различные недоумения, рождающиеся из того, что не знают, что я делаю, как делаю, какими обстоятельствами окружен. Ведь описать, объяснить все нельзя: не хватит времени и терпение самое большое не в состоянии вынести такой труд, а главное — это совершенно невозможно, описать-то *все*. Я уже не думаю, как бы это устранить, эту неизвестность, уже сознал, что это совершенно невозможно, и теперь только покорно страдаю от этого.

Если бы Вы только знали, что производит во мне получение Вашего письма, то не стали бы так редко писать. Когда

я так счастлив, что в числе других писем завижу Ваше, то просто уж и не знаю, что с собой и с письмом делать. Я никогда не читаю его сейчас, сию минуту; сию минуту я читаю только *другие* письма: отделался — значит, и шабаш. Ваше письмо я откладываю до тех пор, пока совершенно не расчищается горизонт, т. е. когда уже неоткуда ждать каких-нибудь пошлейших остановок и перерывов. Итак, когда расчищается горизонт, я закуриваю настоящую гаванскую сигару и несколько часов сряду предаюсь наслаждению, выше которого я ничего в Ялте не испытываю. После прочтения Вашего письма или какого-либо отдельного места из него, требующего паузы, я начинаю ходить вокруг комнаты и *обдумывать*. То же самое случилось и на этот раз, но особенно сильно. Таким особенным местом была на этот раз картина, которая сидит у Вас в голове [3]. Когда я прочел все это, то положил письмо на стол; встал, шагнул, еще шагнул — окно; я бессознательно остановился. Вон оно, небо голубое, чайки вьются... по дали гор облака ходят... странно все как... Сигара упала из рук, я весь вздрогнул, зашагал по комнате скоро-скоро. Вздрогнул опять, и какие-то мурашки побежали по спине и затылку. Чудная эта картина: спаситель перед народом! И больно, и тоскливо защемило что-то в груди, и так подло, подло рисовались в голове какие-то рожи, рожи без заботы, рожи тупые, как угол, рожи, которым ни до чего нет дела... Я рассматриваю не картину, а идею, и она меня поражает своею новизною и силой; картины этой я даже не могу себе ясно представить, — так она сильна и серьезна. Ради самого неба, не откладывайте исполнения в долгий ящик! Вы давно одержимы этой страшилищной идеей, давно. Давно она ищет у Вас формы, но теперь решительно, — или я неспособен понимать, — решительно форма нашлась; форма эта выдержит эту идею. О голубчик мой, о мой друг! Я боюсь потерять силу воли, которая меня держит в Ялте. Я боюсь, что в один прекрасный день не в состоянии буду видеть этой помойной ямы и брошусь, очертя голову, вон из нее. Но меня держит в Ялте надежда увидеться с Вами на несколько месяцев. Объяснюсь. Если я уеду отсюда весной, то должен буду, не разгибая спины, работать в Петербурге для денег, которые необходимы для расплаты моих огромных долгов, — я уже не говорю о жизненных нуждах; 2-е, у меня не будет даже денег для выезда весной, и неоткуда их взять, да и не благоразумно брать в долг еще, когда старые долги велики; 3-е, если я даже и ухитрюсь уехать отсюда в конце мая (раньше ехать в Россию нельзя мне), то, живя в Петербурге и притом усиленно

работая, я не дотяну дальше конца июля — здоровье не позволит. Итак, что же я выиграю? Приеду и буду работать, с тоской смотря на эту беспрерывную *необходимость,* расстрою здоровье, и придется, может быть, опять на несколько лет попасть в проклятую Ялту, так как на поездку за границу на счет Общества я не могу наверное рассчитывать. Если же, наоборот, я буду иметь силу просидеть здесь до сентября 1873 года, то я в состоянии буду заплатить долги, останется даже на дорогу, да и здоровье еще улучшится настолько, что, *может быть, мне можно будет прожить всю зиму 1873 года с Вами.* Об этом стоит подумать. Ехать же за границу отсюда прямо я не имею никаких сил. Я не в состоянии буду, не побывав в Петербурге, ехать куда бы то ни было. Во всяком случае, я еще хорошо об этом подумаю и хорошенько допеку доктора. Знаете, вообще подлость у людей сильнее всего развита, сильнее всех способностей. Я очень боюсь, что доктора так упорно советуют здесь оставаться, потому что все-таки одной дойной коровой больше. Это меня ужасно мучает. Притом все точно спелись насчет этого пункта, т. е. насчет отъезда отсюда больных. Летом еще они имеют на это полное основание, но зимою отсюда нужно гнать больных — с голоду умрут. За прошлый месяц мы заплатили за один стол, т. е. за обеды в три блюда, 81 руб. Да ведь что это за стол! Ешь только оттого, что с голоду умирать еще хуже. Роман упорно ест *котлеты* вот уже третий месяц, и совершенно прав; я тоже, кажется, ему последую, ясно видя невозможность разжевать здешнюю говядину в натуральном виде. Вот и еще причина, заставляющая серьезно позаботиться о деньгах: я в Петербурге буду целые дни ходить из трактира в трактир и с утра до вечера буду обедать и обедать. Два года здесь я ни разу почти не съел чего-нибудь без гримас. Ну, все это к шуту: и на деле противно. Словом, посоветуюсь и прижму доктора, и — чем чорт не шутит — вдруг весной нагряну к Вам. Извещу об этом подробно во-время.

18 декабря

Кстати, два слова о конкурсе. Написать на конкурс я во всяком случае не успел бы. Меня о нем известил Григорович 15 сентября, т. е. письмо писано от этого числа. Он, Григорович, писал, что последний срок — 15 декабря, т. е. к этому времени картина должна быть уже на выставке. Разве можно в такое короткое время написать? Положим, мне скажут, что я «Зиму» написал в полтора месяца; но ведь это еще нисколько не заставляет думать, что человек всегда способен делать такие фокусы. Я ожидал, что конкурс будет, по примеру

прошлых лет, в марте, а потому и был спокоен. Но вдруг получаю сказанное извещение от Григоровича. Можете себе представить, как оно меня удивило и разрушило мои надежды написать на конкурс. Это, т. е. такое пренебрежение к художникам, довольно рельефно обрисовывает смутность представлений Общества поощрения о том, что такое конкурс и чего, каких благ они от него добиваются. Можно ли, зная сколько-нибудь дело, ожидать хороших результатов от соревнования, на которое дают *два месяца.* Я думаю, что в этом виноват Григорович и что конкурс объявлен ранее, но он только забыл меня известить во-время. А может быть, и Общество — это даже вероятнее: я подозреваю, что оно даже само не знает, будет ли или не будет конкурс в нынешнем году. Ведь он зависит от *доброхотных дателей:* есть они — значит, есть конкурс; нет их, нет суммы, а значит, и конкурса. Пушкин говорит, что сомнение в себе есть *пытка творческого духа.* Право, не знаю, какое во мне сомнение. Если та пытка, которую я выношу, есть пытка творческого духа — давай бог; но не дай бог как скверно, если эта пытка есть только прямое следствие верного понятия тех картин, которыми я теперь окружил себя. (Нужно все это исправить ради ясности; но я этого не сделаю, потому, во-первых, что нужно будет переписать весь этот лист, а во-вторых, ниже можете яснее увидеть то, что мне хочется сказать).

Я, видите ли, ужасно мучаюсь, глядя на свои картины. До такой степени они мне не нравятся, что я просто в ужас прихожу. Крайне нуждаясь в советах и суде людей, понимающих природу, я сзываю к себе мысленно всех компетентных судей, мне знакомых. Но — увы! — мысленно звать — ведь чепуха! Мои судьи здесь главные — Лазаревский и Клеопин. Но первый слишком строг и положительно не распространяется о достоинствах картины, если он их и замечает, а нападает только на недостатки. Клеопин, радуясь, что он сам *художник,* чаще всего самого себя услаждает, находя самые необыкновенные вещи. Например: «Как Ваши тона на мои похожи! Это удивительно!», или: «Ах, уж эта земля в тени — самое *феральное* место». Или еще так: «Чего Вы тут бьетесь? Совершенно окончено». На мои замечания о том, что и как еще можно сделать, обыкновенно говорит: «Это — только иллюзии, и решительно ничего тут сделать нельзя!» Это последнее меня особенно бесит. Ведь я ясно вижу, что он действительно не смыслит, что можно сделать с картиной; но зачем же уверять меня в глаза, что и я не могу сделать и даже не вижу, что сделать. Вот судьи мои! Прибавьте же к этому мою собственную строгость к себе — строгость, выхо-

дящую из границ, может быть, и Вы себе ясно представите, какое для меня мучение работать здесь. Недели через две посылаю Григоровичу на продажу картинку [4]. Голубчик мой, передайте ему размер рамы, которую он должен теперь же заказать; иначе картина придет, а рама будет не готова. Вот размеры: просвет в ширину 11$^{6}/_{8}$ вершка, вверх 1 арш. 3 вер. без $^{1}/_{8}$. Это совершенно точная мера. Я нарочно не мерю подрамка и даю меру просвета по той причине, что фальцы пускают различной ширины, а потому закрывают иногда такие места в картине, на которые падает некоторая роль. Картина вверх; сюжет... впрочем, сюжета нет решительно никакого: описывать не стоит: сами увидите. Тороплюсь, как можно скорее, ее окончить; да пора и за ширмы князю приняться. Да, цена картины — 600 р. Но прошу Вас сбавить, сколько найдете, если покажется дорого. Поторопитесь рамой, а то она опоздает — я ведь живо ее вышлю.

Ваши заседания, г. член высочайше утвержденной комиссии о просмотре уставов, не приведут, конечно, Академию к желанному благоденствию, но все-таки будущее поколение скажет спасибо за те лепты, кои, *господин член,* Ваша рассеивающая добро рука возложит на алтарь гражданских подвигов. Призывая благословение бога *на сынов Ваших,* не могу ли я, верноподданный, *прибегнуть* к стопам Вашим, у коих и положить мою униженную просьбу? Удрученный сугубым незнанием многих чисел и фактов, прямо к моему производству в художники относящихся, как-то: в котором году, какого числа, каким постановлением Совета и за какую картину сего высокого звания удостоен, коего даже безошибочно на бумаге воспроизвести не могу, не имея точного сведения о высоте отведенной мне степени, беру смелость повергнуть перед Вами мои соображения. Так как я, за неимением самых необходимых сведений, решительно не могу составить прошения, которое могло бы быть подано (я исписал много листов, но так смешно, что даже Вам послать нельзя — я ведь имею самолюбие), то спрашиваю у Вас, не возможно ли будет подать прошение без моего участия, т. е. не дожидаясь его от меня, просто составить там, на месте, и подать в академи[ческий] Совет? За меня может подписаться всякий: протестов не заявлю, ей-богу! Если же это положительно невозможно без моей, т. е. личной, подписи, то уж нельзя ли выслать мне готовое прошение только для подписи? Я же сам решительно не умею написать, я могу только испортить дело. Я уже не говорю о том, что пройдет много драгоценного времени! Ведь Совет собирается не часто. Пока я буду писать да справляться то о том, то об этом, время все будет уходить, да

уходить, и бог знает, что может случиться! Ради бога, нельзя ли это устроить? Прошу Вас действовать от себя лично и послать ко всем чертям Волковского, который только напакостить может. Доверенности для этого высылать не нужно; я сделал величайшую глупость, что выслал этому ослу Волковскому таковую. Все эти доверенности, как я ясно вижу, сущая чепуха для Академии и положительно никому не нужны. Если нельзя подать прошение без меня, то, дорогой мой, нельзя ли выслать готовое, составленное уже совсем, только для подписи? Срок моего ученического, академического свидетельства уже год, как прошел: я живу в Ялте без всякого документа, и это может привести меня к неприятности [5]. Прошение, я думаю, можно подать от имени вольнослушающего ученика Академии Федора Васильева. Ради бога, нельзя ли? Время, время и время — это тратить я боюсь больше всего. Больше об этом писать не могу...

Передвижная выставка дала, действительно, необыкновенно блестящие результаты — 23 процента. Скажите, какое учреждение даст такие? Пожалуйста, отпишите что-нибудь о конкурсе. Успел ли написать Шишкин? Первая премия, конечно, благосклонно упадет в его карман. Если бы Вы знали, какое бешеное чувство злости поднимается во мне при мысли, что я не буду одним из поселяющих страха на многих жаждущих урвать свою часть! Если бы я — о предположения! — знал, что конкурс будет так рано! Я только расходился и только хотел явиться львом на этом дележе. Дело в том, что я хотел написать *наверное* и посмотреть *в последний раз* на физиономии обманувшихся еще разик. У меня был проект картины, которая предназначалась для этой роли, — проект хороший, который теперь придется отложить, бог знает, на какое время. Я, действительно, хотел последний раз писать на конкурс, но теперь нужно изменить это решение: теперь я должен еще два раза подряд получить первую премию, а потом — и баста. (Какая самонадеянность...) Да ведь я могу! могу! и ведь это знаю; но обстоятельства!.. Пока я должен буду гнаться за двумя зайцами, я постоянно буду делать меньше, чем могу. Ну, значит, и плохо, плохо оттого, что зайцев впереди будет уже не два, а многое множество. Что же делать? Так устроено, а потому так нужно; а уж если нужно, так я и буду делать все, что нужно. Сколько впереди обязанностей!!! Ух!.. Ну, довольно настрочил; теперь только отвечу на некоторые вопросы — и кончено. Глаза по вечерам что-то болеть стали. Картина моя, которую Вы хотите посмотреть, находится у Владимира [Александровича] в Петербурге [6]. Мне очень хотелось бы слышать Ваше мнение. Григорович расцвел

не оттого, что я картину посылаю (он знает, что это — не ему), а оттого, что я ему выслал доверенность на получение денег 2000 р., из коих он половину берет в счет долга; вот оно *что.* Примусь вести переписку с Григоров[ичем] относительно моей посылки за границу. Очень серьезно подумаю о том, сидеть ли мне в Ялте и писать ли пятнадцать картин (я Вам уже обещал это). Может быть, даже и о *Востоке* раздумаю. Но Восток, видите ли, хорош тем, что климат, по словам докторов, самый подходящий. Я ведь уже серьезно убедился, что моя болезнь — штука весьма серьезная и очень нескоро развяжет мне руки. В настоящее время кашель сильнейший, и ночью поэтому не совсем хорошо сплю; горло же в том же самом положении, как и в начале года. Боткин относительно горла сказал (я это писал), что мне «еще долго придется с ним помучиться» — его собственные слова. Да, еще о пятнадцати картинах: я потому хочу постараться *все их* выставить, что в числе их нет ни одной выдающейся, и, следовательно, надо брать хоть количеством. Но все это, хотя было *положительно решено*, благодаря Вашему письму подлежит рассмотрению снова. В Ялте же я сижу не по своей воле и не потому, что она мне нравится; я бы давно удрал отсюда, но здоровье положительно не позволяет без серьезной опасности ехать раньше конца мая или начала апреля. Даже этот срок, если мне и возможно будет (по обдумании Вами написанного) выехать, может быть, слишком ранний. Все вообще думают, что я совершенно выздоровел; это ни на чем не основано: я только совершенно отделался от опасности, но болезнь еще очень крепко сидит во мне (кстати, благодаря моему Олехновичу в нынешнем году ревматизм уже не появлялся, и я питаю надежду, что он исчез окончательно). Что касается до того, как *хорошо* мне здесь жить, Вы нисколько не преувеличиваете: и в Якутске мне, наверно, не было бы хуже. А что я пишу здесь картины два года, не видя ни одного художественного произведения, то это меня страшно беспокоит. Несказанно рад за Шишкина, за его т. е. прилежание *к тонам.* Я страшно боюсь, как бы это не была последняя песня. Ах, да боже мой, что же с этим поделаешь? Дай только господи, чтобы он работал серьезно. Да что говорить — Вы его лучше меня, может, знаете. По тону описаний его картин, я вижу, что эти последние уступают его конкурсной прошлогодней. Так ли?.. Я так и боюсь, что письмо мое застанет Вас уже продавшим свою картину Третьякову. Не дай бог, чтобы Вы сбавили цену: это будет положительно непонятно [7]. Ведь Третьяков не может не торговаться, ведь это у него органический порок. Неужели Вы хоть фотографии не сняли? Впрочем, если и не сняли, то

я Вас понимаю. Заранее спасибо за посылку, которую привезут; впрочем, долго. Теперь письма от Вас доходят иногда на двадцатый день, а нет и больше. Мама и Роман всем вам кланяются, и проч. Надеюсь, Софья Николаевна не больна в собственном смысле, а только похварывает? Конечно, мы все живем попрежнему. Романа здоровье очень исправное. Он необыкновенно вырос. Очень меня пугает его обучение. Самому мне решительно невозможно. Мама его только и может учить читать да писать кое-как; учителя же найти здесь невозможно: был один, да и тот уехал. Это у меня новое горе! Ему уже десять лет в октябре исполнилось. Просто беда! Ах ты, положение! Границ этого листа не перейду ни за что. Григорович до безобразия неаккуратно высылает деньги; теперь дело все-таки к празднику, а я сижу без гроша. Обнимаю Вас из всех моих оставшихся сил и жду писем.

Ваш друг навсегда * *Ф. Васильев*

33. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

22 декабря 1872 года
Ялта

Дорогой друг, поздравляю Вас с прошедшими, вероятно, уже праздниками, которые желаю провести во всяческом удовольствии. Как проведу их я? Впрочем, это отчасти можно предположить. Завтра, т. е. в субботу, 23-го, приглашен я на елку к князю Трубецкому[1]; послезавтра приглашен на елку, устраиваемую m-me Лазаревской[2] для детской ливадской школы. Елок, вероятно, больше не будет, ибо больше никуда не приглашен. От этих елок отказаться было невозможно совершенно, а потому придется проскучать, и, вероятно, проскучать за карточным столом, ибо от девиц и юношей до тридцати лет включительно имею сильную антипатию, родившуюся, вероятно, из моей *зрелости* и прочих *достоинств*. Впрочем, еще будет и спектакль у Трубецких, и придется аплодировать Олимпу, который будет изображен некоторыми княжнами и князьями. Отчего это заранее знаешь, что будет скучно, тяжело и пр.? Княгиня Трубецкая — ведь очень добрая и очень хорошая вообще женщина; муж ее — тоже, на-

---

* Кисейные девушки иначе не подписываются; надо было бы еще прибавить: по гроб Ваш такой-то. Если Григорович получит деньги за картину с великого князя, то пусть *немедленно* высылает 1000 р.: 20 января я должен уплатить в Ялте 900 р. долгу.

сколько я мог узнать, человек ничего, а все-таки скучно. Впрочем, от души говоря, мне скучно и дома, и везде... Впрочем, не везде. Это от глупости люди скучают. А ведь было время, когда человек, одолеваемый скукой, пустотой, как Печорин [3], напр., многих поражал, всем без исключения нравился... Только бы ново было — понравится наверное, потому — мода. Какая бы глупая мода ни была, все равно ее участь — произвести эффект до другой моды, еще более глупой, может быть. Знаете, я разучиваюсь говорить даже; писать же я никогда не умел. Вот что Ялта-то значит! Половина второго ночи... все спит, только где-то далеко-далеко собака лает. Послезавтра воскресенье: разоденется народ во все свои пестрые лоскутки, еще больше переполнятся ялтинские и другие кабаки; много будет попито и побито за эти дни всего, что держит в себе хмель, и всего, на чем могут остаться знаки. Потеряет человек последние жалкие способности и последние гроши перейдут в руки разных Мошек, Абрашек и Иосек. Вы, может быть, подумаете, что я это с горестью какой-нибудь? Ничуть! Так это давно ведется и так пригляделось, что уже не делает того первого впечатления горя и ужаса. Противно только ждать мерзких картин, непременно следующих за праздником. А природа кругом — вечно прекрасна, вечно юная и — холодная. Впрочем, не всегда она держит за собою это последнее качество; я помню моменты, глубоко врезавшиеся в меня, когда я весь превращался в молитву, в восторг и в какое-то тихое, отрадное чувство примирения со всем, со всем на свете. Я ни от кого и ни от чего не получал такого святого чувства, такого полного удовлетворения, как от этой *холодной* природы. Да, это — правда, и да будет она благословенна, хотя люди и говорят, что ей ни дурного, ни хорошего приписывать нельзя.

Сатира или мораль смысл этого всего?

Иконников писал от 8 декабря о продаже Вашей картины Третьякову, причем, к моей великой радости, цифра не уменьшена. Кстати — об Иконникове: как он недалек, так чорт его знает! Он меня поставил в неприятное положение и этим своим посланием. Я просил его получить в почтамте и передать посылку мою сестре в день ангела, но он уезжает 18 декабря, а потому посылка останется до его приезда. Да я не за то его браню, что едет, — пусть едет куда хочет, — а дело в том, что он даже не догадался передать свое право на получение этой посылки хотя Шишкину, а преглупо сообщает, что посылка, дескать, Ваша полежит на почте до моего обратного приезда! Урод! Нецветаев, должно быть, и ему насолил — больно он его честит. Уж кто бы кого, а то... Конечно, до завтра ни одной строчки не прибавлю!

23 декабря, суббота

Вот и еще день прошел... Сейчас вернулся с елки Трубецких. В карты не играл, а потому и деньги в кармане целы, и курил меньше, поневоле, находясь в кругу мадемуазелей и месье молодых годов. Не могу сказать, чтобы особенно скучал, но и не скажу, чтобы особенно веселился: просто чувствовал себя как-то *ровно,* именно ровно. Музыку, впрочем, слушал с удовольствием, хотя музыка эта была гостинная, т. е. играли на пианино все понемногу. Хорошо *очень* играет m-me Лазаревская. Мотивы все, конечно, на отбор знаменитейшие: Мендельсон [4], Шопен [5], Шуберт [6], Гуно [7] и проч., и проч. Очень досадно, что в нашем кругу так мало играющих. Впрочем, в нашем кругу время ведь купленное и тратить его на изучение музыки могут немногие. Впрочем, это — не главная причина. День сегодня серый, хотя и нехолодный. Чудные виды какие из окон и с балкона у Трубецких! Как досадно, что из моих окон прежде всего расстилается грязная, вонючая Ялта, за которой горы видны только до половины. Вот странно! Ничего сегодня писать не могу. Как-то все не пишется и не думается. Это — оттого, что сел писать без всякой потребности; а потому и кончу. Понимаете ли Вы, неблагодарный, что у меня в привычку обратилось сообщать Вам все, все решительно! *Хорошо,* что это невозможно, а то я писал бы целые дни не картины, как это сделал бы благоразумный, а письма к Вам. Это я Вам пишу не потому, что чаю Вашего исправления, а просто по моей всегдашней откровенности, откровенности нерассчитанной, откровенности без всякой задней мысли. Как, я думаю, Вы меня ругаете за мою каллиграфию. Но я не могу делать так, как Вы, потому, что исписываю по три и четыре листа, а мой почтенный друг написал мне один раз на двух, да и то дал почувствовать (это неправда — не дал). Покойной ночи. Бывают ли у Вас кошмары? Меня они очень преследуют и всегда в самых ужасных видах, ужасных не видом, а какою-то чудовищной таинственностью. Знаете Вы песню, кажется, Гейне [8] — «Фонвед»; припев после каждого куплета: «Эй, оглянися, гер Фонвед!» Почему она мне вспомнилась? Так и звучит в ушах конец песни:

И играл он на арфе до тех пор, пока
Струн не порвала рука.
Эй, оглянися, гер Фонвед!

Покойной ночи, дорогой мой! Сейчас вспомнил: не трудно Вам будет выслать, голубчик мой, две вещи: программу для поступления в гимназию Роману и лучший самоучитель фран-

ц[узского] языка — мне? Самоучитель, который можно иметь здесь, отвратителен, а мне надо посильнее налечь на этот язык, благодаря близкой поездке. Будьте для меня вечным благодетелем!

25 декабря

А? Каков! 25 число декабря 1872 года, после которого также появится 25 декабря 1873 года — и только; ничего, значит, удивительного в настоящем 25-м не заключается. Постойте! Переменю перо и буду продолжать в том же умилительно бессмысленном направлении. С сегодняшнего дня запираюсь и сижу дома безвыездно. Это благое намерение принял вследствие необычайно усилившегося кашля и головных болей; да и сон, благодаря тому и другому, никуда не годится. Итак, сижу дома, хоть бы меня за глаза сжарили те, которым я не отдал *визитов*. Ведь у меня здесь в последнее время все *знать бывает* — чувствуйте! Может быть, Вы поинтересуетесь узнать некоторые подробности (?!!). (Ведь Вы мне, наверно, завидуете. Вот — думаете — окружен он там князьями да графами, кроме французского языка ничего не слышит, за обедом все подаются трюфели, да зефиры этакие, да и не знаю что... Да, вот он, счастливец-то!) Да, счастливец, это точно; еще бы немножко, и совсем бы про... счастлив. Ну, бог с Вами, пущай. Вы, впрочем, и без этого знаете, что я *тут* совершенно счастлив, а потому и письма свои пишите кому-нибудь действительно несчастному, а мне зачем же? Французские разговоры, дамы этакие, трюфели, ну и пр. Ну, и бог с Вами, пущай. Что же это, в самом деле: так я тут и погиб? Да ведь это, чорт побери, никуда не годится! Ведь это, наконец, мочи нет.

Я, должно быть, сегодня болен: такая дичь человеку здоровому в голову не пойдет. Знаете, какая мне мысль в голову пришла? Вы, наверно, получивши письмо, посланное перед этим, будете *собираться* ответить и получите еще и это; словом, повторится то же самое, что случилось с Вами 1 декабря. Голову даю на отсечение! А если не повторится? А если повторится? В самом деле, я болен: все больше и больше чепухи. Вчера стихи вечером поздно писал; ничего не вышло. Точно могло выйти — вот дурак! Думал, что выйдет, ха, ха, ха! (Дочитавши до этого места, Вы вспомните, что я жаловался на головную боль, и уже непременно сделаете соображения о состоянии моих умственных способностей). Есть ли теперь какая-нибудь выставка в Петербурге? (Я неверно выразился: выставок должно быть много; я хочу спросить о картинной). На какую Вы поместили или поместите «Христа»?

Может быть, Третьяков уже утащил его в Москву [9]? Как здоровье Софьи Николаевны, и прочие вопросительные знаки. Теперь для меня самого становится вопросительный знак: можно ли писать такие письма, а главное — продолжать ли увеличивать весь этот вздор другим вздором? Так как у меня все-таки остались обрывки здорового смысла, то я полагаю остановиться во-время. (Давно уже опоздал. — От редактора). Если Вы имеете привычку, правда, дурную, дочитывать мои письма до конца, то увидите, что и на этот раз в конце стоит имя и фамилия, появляющиеся только на самых глупых творениях.

Ф. Васильев

Ялта, Ялта, Ялта, Ялта, и так далее, до бесконечности. Одолжайтесь!.. Кач: ясные признаки умопомешательства, или, по крайней мере, mania transitoria [10].

1873

34. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

1 января 1873 г.
С.-Петербург

Вот он, Новый год! Тяжелый год прошел, тяжелый год наступает. Мой дорогой Федор Александрович, если бы знали, чего мне будет стоить написать это письмо! Но так уж и быть, Вы и сами не захотите ничего знать другого, кроме правды. Я отвечаю Вам на письмо Ваше от 16 декабря, которое я получил вчера, накануне Нового года. Собственно говоря, я бы должен был написать Вам 22 числа, когда я видел присланную Вами картину [1] к Григоровичу, написанную в подарок императрице, но я долго раздумывал, — *рука не подымалась*. Отчего? Вы, разумеется, догадываетесь — речь идет о картине, которую Вы и сами ругаете. Ругать я не стану, пусть это делают другие, кому это доставит удовольствие, — мне же было очень грустно. Опишу по порядку. Григорович известил меня записочкой, чтобы я пришел посмотреть скорее, так как он должен доставить ее во дворец. Картина — прежде всего, разумеется, казенная, заказная. Это снимает с меня обязанность относиться к ней со стороны содержания. Остается рассматривать ее со стороны исполнения. Но, принимая во внимание один месяц работы, это избавляет Вас, собственно, *от многих упреков*. Вы скажете, что же, собственно, остается, что еще там есть такое, о чем следует вести разговор. Кое-что остается. Во-первых, та сила удара по свету и тени, которая у каждого художника всегда остается, что бы он ни делал, и, во-вторых, выбор тонов, или, лучше, освещения и пятен, при которых всякий предмет, сохраняя сходство, получает физиономию несколько иную, чем бывает обыкновенно. Последние два положения всегда во власти художника. Этими правами Вы не воспользовались или не могли воспользоваться — не знаю, но вещь через *это много потеряла*. Сила ударов так слаба, что равняется плоскости, следствие одиночества — самого страшного врага для художника, а пятна

в картине так незамысловаты, что не представляют никакого интереса. Я не говорю уже о том, что картина имеет вид чрезвычайно усталый: это понятно. Вы видите, дорогой мой, что я, может быть, беру выражения не совсем обдуманные, но к чему бы это послужило? Ничего из того, что я Вам здесь пишу, я не сказал Григоровичу. Он, как бы боясь, все нахваливал и восторгался. Но как бы то ни было, а правда и для него, должно быть, сказалась. В одном мы сошлись — это, что так как картина — портрет, то, стало быть, и относиться к ней не следует иначе. Теперь я поведу речь от себя. Вы хлопотали, чтобы картина не была закрыта сверху. Почему это, скажите? Мне кажется, что чем меньше неба, тем лучше. Когда Вы находитесь на высоте и смотрите вниз, Вы не видите неба — закон перспективы таков. Если же Вы, находясь на высоте, смотрите вдаль на горизонт или горы, то не можете видеть земли под ногами, т. е. ближайших предметов, составляющих первый план. У Вас в картине есть место перед балконом, за которым — громадная пропасть и там, на десятиверстном расстоянии, внизу пролегает не то дорога, не то берег с едва видными предметами, за ними залив и горы. Попробуйте увидеть при этом столько неба, сколько у Вас, и Вам надо будет поднять голову, что решительно нельзя позволить в одной картине, не нарушая законов зрения и перспективы. Это относительно постройки картины. Что же относится до исполнения, то, за исключением середины, т. е. пропасти и части гор, то это, несмотря на остальное, так хорошо, что я все-таки узнаю Вас. Картина, собственно, должна бы быть панорамой с птичьего полета, а при этом, чем больше будет земли и меньше неба, тем лучше и вернее. Помните, я писал Вам о картине «Болото»[2], в которой я заметил некоторую слабость отношений между светом и тенями. В этой же, последней, слабость так заметна, что дальше остается только отсутствие рельефа, и я так этого испугался, что решился написать Вам самым решительным образом, не допускающим никаких сомнений. И, по-моему, Вам следует употребить все усилия Вашего красноречия, чтобы поехать за границу во что бы то ни стало при первой возможности, т. е. не при первой возможности, а именно летом — в Италию, Францию, Испанию или куда еще в другое место, и я уверен, что мой дорогой и единственный друг, не нарушая здоровья, т. е. не расстраивая его, по крайней мере *спасет себя для России.* Я говорю это, нисколько не увеличивая и не уменьшая значения Васильева для русского искусства. Нет у нас пейзажиста-поэта, в настоящем смысле этого слова, и если кто может и должен им быть, то это только Васильев.

Отчего, скажите, когда я думаю о Вас, мне приходят в голову слова Берне [3], друга и приятеля Гейне, который говорит, что «горе тому общественному деятелю, у которого оказались фарфоровые чашки». Чорт знает, в самом деле, фарфоровые чашки — это все то постороннее, что, собственно, должно только сопровождать и следовать за картинами, а не предшествовать им. Не ждите от меня наставлений и морали: ими Вас с избытком наделяют другие, пишущие к Вам. Моя роль другая. Чего мне от Вас нужно? И что я Вам такое? Жизнь моя не была бы такая богатая, гордость моя не была бы так основательна, если бы я не встретился с Вами в жизни. Что из этого выйдет, кто кому будет обязан, — рассуждать не наше дело, но уж одна возможность говорить, что думаешь, честно и без прибылей заняться рассмотрением какого-нибудь действительного человеческого вопроса — такая, в сущности, находка для человека в жизни, что, право, одного этого достаточно, чтобы сказать иногда: слава богу — я живу.

Но возвратимся к практике. Не страдайте от невозможности сказать все до очевидности, не мучьте себя, что многое в Ваших письмах не все понятно. Вы, стало быть, не знаете после этого, что всякий неглупый человек всегда понимает многое между строками, что всякий неглупый человек, живя на свете, пытаясь употреблять человеческий язык, очень хорошо знает, что есть вещи, которые слово выразить решительно не может. Он знает, что выражение лица именно приходит на выручку в такое время — иначе живопись не имела бы места. Если бы все можно сказать словом, то зачем тогда искусство, зачем музыка? Теперь, когда нет возможности ни показать свое лицо другому, ни пропеть, ни написать картину, то остается писать письма, но написать не все возможно, — слов нет. Ну, тогда остается та логика, которая видна между строками, чтó человек говорит после чего, и как он это говорит, где он остановился, в какую сторону уползает мысль. Все это, уверяю Вас, в письме может быть отыскано так же или почти так же, как бы и видеть живого человека, — словом, не сокрушайтесь. Я понимаю все, что Вы пишете, или, по крайней мере, — главное. И что Вас беспокоит? Долги? Недостаток средств устроить свою жизнь, чтобы можно было предаваться искусству? Хорошо, положим, это скверно, это даже больше, чем скверно. Но почему же, скажите ради бога, нужно их заплатить немедленно? Вы очень ошибаетесь, чтобы иначе нельзя было бы. Конечно, часть их должна быть погашена в ближайшем будущем, т. е. та, которая должна итти беднейшим; другая же с таким же удобством может быть отодвинута на такое же время, которое уже прошло. Это раз.

Ведь Вы же их заплатите? Из чего же убиваться? Роману десять лет? Ну, что же из этого? Пусть он идет по дороге всех детей, — пусть воротится с Вашей матушкой в Петербург и ходит в гимназию. Если же Вы думаете, что тут можно сделать что-то другое, то Вы опять ошибаетесь. Вы не имеете права иначе поступать относительно себя. Когда человек обязан что-либо в жизни делать, то ему остается только сказать: «Нет у меня братьев, нет у меня матери», когда на то пошло. Слова эти были сказаны Христом, когда во время его учения ему доложили, что мать и братья пришли и его спрашивают. Перешагните через них и ступайте с богом дальше. Это не жестокость, а непреклонная необходимость и разумность, лишь бы причины были основательны. Есть у Вас они, эти причины, — плюньте на все; нет их у Вас — сидите в Ялте, в Петербурге, в Камчатке и делайте глупости. Я так смотрю на это дело. Заказы — ширмы — это самое скверное. Но отчего же их не отвалять некоторым образом декоративно — этак на шарлатанизм, поскорее, лишь бы красиво? Я даже скажу, что если Вы сделаете что-нибудь другое, то полагаю, что сделаете не то, что хотят, и не то, что нужно. Уж таково положение всякого, кто берет заказы: взять заказ, значит, постараться понравиться одному кому-нибудь. Ну, и понравились. Это подло, Вы скажете, а зачем брались? Я согласен, что отказаться нельзя было, ну, и обработайте. Вы, я вижу, еще не имеете ни малейшего понятия о том, как нужно исполнять заказ. Тут задумываться некогда. Разумеется, тяжело будет просидеть за ними, но Вы скажите мне, что́ не тяжело? Тяжело все, что делается по необходимости. Тяжело и котлеты есть два месяца кряду, а едите же? Девять десятых в жизни человек обязан делать тяжелые вещи — не живите, коли так. Конечно, есть и такие трусы, которые, запутавшись, пускают себе пулю в лоб, но ведь это не шутка, на это хватает и дурака, а Вы попробуйте остаться да сделать, ну, тогда я скажу — мастер. А то, скажите пожалуйста, колесо его немножко царапнуло (ну, может, там что-нибудь и оторвало даже), а он и охает. Ведь у Вас, собственно, весь вопрос о том, нельзя ли перенести свою особу, вместе с долгами, из Ялты куда-нибудь в другое место? Это не так хитро. Попробуйте прислать три картины в Общество и поднять вопрос о перемещении, и Вы увидите, что это больше, чем возможно. Да даже и вопроса никакого быть не может, ведь 100 рублей ежемесячно будут Вам высылать всегда, останетесь в Ялте или переедете в Ташкент; ну, и воспользуйтесь этим. 100 рублей в Крыму и трем мало, а за границей и одному — это деньги. Я думаю, беспокоиться нечего. Остаются психологические тонкости, очень,

пожалуй, уважительные до тех пор, пока Вы имеете собеседником Клеопина (человека, достойного всякого уважения), но чуть только увидите настоящих художников, как сейчас же почувствуете, что и Крамской не бог знает что и без него обойтись можно чудесно. Право, так. Просто, не говоря худого слова, дождитесь лета, да ни с того, ни с сего уведомьте Григоровича, что, мол, добрейший Д[митрий] В[асильевич], потрудитесь высылать мне деньги впредь по следующему адресу: «Roma, пострестант», или что-нибудь подобное. Ей-богу, чудесная штука. Мне весело даже стало, есть выход. Впрочем, как знаете. Я ведь это болтаю, а Вам, разумеется, не до того. Еще более практическое: конкурс в марте. Если можно, являйтесь за львиной частью.

2 января

Видел сейчас Григоровича, рассказал он мне похождения свои к великому князю по поводу Вашей картины [4]. Вы объявили цену за нее две тысячи рублей, а в крайнем случае полторы, но у меня рука не подымается рассказать всего, что сделалось, и, вероятно, Григорович Вам уже сообщил. Очень уж тяжело. Великие князья считают гроши так же, как и мы грешные. Когда он ему заикнулся, то Вл[адимир] Алекс[андрович] говорит, что «я Васильеву уже дал вперед что-то много, не помню сколько, нужно справиться, но дал уже вперед».

Григорович говорит, что, может быть, ваше высочество изволили дать не за эту, а за ширмы? «Это все равно, — говорит, — за что бы то ни было, за то или другое, но дано вперед». Вот как. Не знаю, что сделать и как сделать и что тут сказать нужно! До такой степени дело дурно, что я и не знаю уж. Не могу Вам, дорогой мой, об этом писать, прошу уволить. Это всегда так бывает: друзья-приятели сейчас в сторону, когда у человека какое горе случится, так и я. Скверность эта ворвалась в мое письмо совершенно неожиданно.

Конкурс отложен до марта [5], как я сказал выше. Я думаю, что Вы успеете. Шишкин хотя и намерен, кажется, писать, но едва ли что сделает. Со своими двумя большими пейзажами [6], о которых я Вам писал уже, он так устал и измучился, что, как он говорит, — голова пуста. Один из них вышел очень хорош — лучше прошлогодней конкурсной. Академия его покупает. Другой же — «Полдень» — вышел ординарным. Но все-таки лучше его прежних неизмеримо — в тонах. Но что положительно чудо — Боголюбов написал удивительную вещь: «Устье Невы» [7] от Петергофа. Он давно не писал таких вещей, т. е. с самого приезда. По-моему, превосходная вещь. Все эти

вещи находятся на Передвижной выставке, которая открылась уже, впрочем, поздно, как видите [8]. Но все-таки выставка — ничего. Несмотря на то, что в этом году капитальных вещей на выставке меньше, чем прошлый год, но посетители есть. Нужно Вам сказать, что здесь, в Петербурге, что-то странное в атмосфере: мы ездим на дрожках, до сих пор нет ни снегу, ни морозов; все дожди пополам со снегом и 5 градусов тепла. Чорт знает, что такое. Одни говорят, что мы находимся в хвосте какой-то кометы. Свету ни зги — около часу как будто посветлеет, а в остальное время сумерки — ничего не видно: в залах Академии (в античной) картин не видно. Другие уверяют, что перемену климата надо отнести к перемене течения Гольфстрема в Атлантическом океане. Не знаю, что правда и что враки, но тем не менее в Петербурге творится что-то необычайное. И не в одном Петербурге — в Москве и других городах то же. Четверги [9] попрежнему продолжаются и члены почти все те же. Итак, все идет, несмотря ни на что, по-старому. Пишем мы письма друг другу. Терзаем мы себя разными, иной раз неприличными сомнениями, тоскуем и радуемся, а что будет впереди, единому богу известно.

Дорогой мой, я после своей картины [10] какой-то странный сделался, постарел. Седина показалась — рано, кажись бы, еще тридцать пять лет, а там скоро и к сорока подойдет, после — шабаш. Вы говорите, чтобы я не откладывал в долгий ящик задуманной картины [11]. Как бы то бог дал, я и сам бы был рад. Но... слишком уж много нужно для этого. Нужно видеть и народ тот, и места, и многое другое, да нужно поехать и за границу еще раз. Если не вычеркнет меня судьба из списка, напишу, будьте покойны. Уж очень хорошая форма, уж очень хочется самому, и должен, наконец, чтобы не даром жить. Право. Я никогда не думал, чтобы картины могли поглощать человека до такой степени. Мне просто не верится, чтобы я, исполнявший всевозможные заказы, и я теперешний — одно и то же лицо. Я с ужасом думаю, как это я буду в состоянии исполнять их, как прежде, а ведь нельзя без этого. Успокойтесь, дорогой мой, я понимаю Вас отлично, что значит заказы. Я и всегда понимал. Если бы Вы томились так долго, как я, на работах, которые Вы знаете, то поняли бы и мою радость и мой ужас — нет другого слова.

Радость моя Вам незнакома, а ужас понятен. А ведь картина моя и не особенно понравилась. Как будто бы это — сущая безделица. Впрочем, Вы отзывы узнаете о ней: напишут. Но я, несмотря на это, как-то празднично покоен, и только бы работать, работать и работать, а тут — заказы, текущие работы. Ох! То есть, видите ли, я отказываюсь от

всех заказов, но для храма Христа спасителя [12] в Москве, как Вы знаете, давно взято, и наступают, наконец, сроки, вот что скверно. Ну, да уж мне не привыкать.

Напишите мне, между прочим, что Вам будут писать о моей картине, посплетничайте, я готов в ножки поклониться тому, кто мне скажет прямо, ей-богу, так. Странно: одни, поближе, как-то сторонятся и неохотно даже встречаются, слышу только стороной, что картину ругают. Другие же как-то странно восторженно говорят, но что-то глупое, и люди, кажись, глупые, но я им готов верить. Право, так хочется, так хочется узнать, что они думают и говорят без меня. Впрочем, зачем же это я прошу Вас писать мне об этом, ведь я покоен, я должен быть покоен и, наконец, не мальчик же я. Я знаю, что я сделал — вперед. Все равно — что сделано, должно оставаться назади.

Добрый мой, не взыщите, я пишу что-то несвязное. Не остановиться ли? Что бы такое не забыть? Да, посылают Роману мои мальчишки свои глупые письма. Очень обрадовались, получивши от него, а сами ничего путного не написали, да и мало. Из всей комиссии по пересмотру Устава, я вместе с Вами полагаю, что толку будет немного [13]. Но на алтарь отечества лепту положим, пусть ее уляжется в архиве. Так и есть, забыл самое главное: прошение от Вашего имени в Академию. Но обещаю Вам написать его немедленно и прислать для подписи. Теперь поздно. Сейчас ушел Панов [14], говорили про Вас, вспоминали и помыли немного бока. Ну, все же таки увидимся! Жена моя благословляет Вас, хворает она все. Кланяется Ольге Емельяновне [15], а я каким был, таким и остаюсь, исключая наружности.

И. Крамской

35. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

4 января 1873 г.
Ялта

Дорогой друг, вот и 73-й нагрянул! Мы вечером поминали вас всех и предполагали, кто и у кого собирался и как встречали Новый год?.. Скучно делать такие предположения, не имея ни малейшей возможности встретить также *где-нибудь* это необыкновенное происшествие. Зачем это русские позднее других цивилизованных народов устраивают Новый год? Знаете анекдот о том, как один господин за границей где-то начал уверять, что на следующий день будет света преставление,

на что ему отвечали: «Поезжайте в Россию; там еще тринадцать дней будете жить». Получил я, дорогой мой, на днях от Григоровича цыдулочку, в которой он, между прочим, сообщает о том, что конкурс отложен до 1 марта. Этакое, я Вам скажу, соблазнительное известие! Нешто рискнуть? Времени есть с месяц; картина одна подвинута наполовину; жаль только, что мотив не задушевный. Может, что-нибудь и выйдет. Не равен только для меня конкурс (впрочем, он всегда был для меня труднее, чем для других), не равен тем, что я пописать могу с месяц, а Шишкин-то уже шестой месяц протирает глаза своей картине. Да и размер — также штука важная. Небось, там все саженные этакие чудовища наставлены будут, так что нам, грешным, с своими аршинчиками и не лезть лучше. Потом, с другой стороны, написать хорошо и потому, что невольно в один месяц картину кончишь — одну и с рук долой, одной и меньше. Только дело-то в следующем: начну я на конкурс, кончить не успею, а времени на ширмы в. к. опять не хватит; опять будешь распроклинать всякие заказы и раскаиваться, что начал на конкурс, имея дело и без этого, притом дело, которому срок назначен к апрелю. Что это значит, к апрелю? Это, вероятно, значит, что ширмы должны быть готовы в конце марта. Экая оказия! Вот что называется, как ни кинь, все клин! *Начну,* куда кривая не вывезет! Пошлю на Ваше имя с такою же, как и прежде, просьбой: располагать ею, как бог на душу положит. *Ради бога, насчет этого, этой просьбы, напишите непременно самым откровеннейшим образом, т. е. не имеет ли для Вас такая просьба чего-либо неприятного; ради бога, не делайте ничего такого, что было бы хоть сколько-нибудь неприятно Вам.* Сюжет из Татарии, даже — да простит мне господь — с волами и фигурами [1] ...брррр ...бррр; да и пребольшие, бестии, вышли, ей-ей, не по моему росту. К этой картине пущай Григорович еще раму закажет. Вот точная мера:

Ширина просвета 1 ар. 4 верш.
Вышина просвета 1 ар. $10^7/_8$ верш.
(Картина вверх)

Эта мера — линия в линию. Что будет, то будет. Жаль только, что здоровье опять плохо: не сплю целые ночи, кашель жесточайший, боль в правом боку, боль в левом, — словом, все обстоит благополучно. Положительно, усиленная работа сильнее всего влияет на меня. Григорович просто меня в ужас приводит. Представьте себе, пишет: «Конкурс отложен до 1 марта. Спешу Вас уведомить об этом: *может быть, Вы и успеете что-нибудь прислать. С нетерпением ожидаю обещан-*

ной Вами картинки». Этакая бестия! И на конкурс-то хочет зацепить, и картинку-то ожидает, и не знаю чего еще. Он положительно забывает, что у меня еще заказы до апреля ждут исполнения. Картинку-то уже я, вероятно, не успею ему окончить, хотя за ней и дела-то всего осталось дней на пять. Но уже положительно не могу: к концу марта я ведь должен написать пять картин, в том числе и ту, которую на конкурс хочу окончить. Это, небось, шутка — пять картин в четыре месяца! Это и Григоровича должно осадить. А, впрочем, может, он и прав: я ведь не знаю, насколько растяжима во мне способность ускорять работу; может, я и то успею сделать, чего даже Григорович не ожидает. Это — большое самоутешение; однако, как ни будь растяжима всякая способность, ей все-таки есть предел, и я думаю, что в последние месяцы достиг этого предела, так что если попытаюсь растягивать еще, то может случиться штука скверная, такая штука, после которой придется на долгое время отложить всякие пробы и даже какое-нибудь самое обыкновенное применение способностей. По всему вышеписанному, всякие растяжимости пробовать брошу, а постараюсь только успеть окончить к конкурсу, да ширмы к апрелю, итого — пять. Останется, значит, неоконченных пять картин всего: облегчение мне, и слава аллаху!

Не знаю, как Вам благодарен за посылку: как раз вовремя получил, и уже пользуюсь. Даже посылка из Петербурга производит на меня впечатление самое приятное, потому — сейчас видно, по всему страна цивилизованная: все это так увернуто, укручено, с таким, можно сказать, вкусом, что я хотел созвать всю Ялту, дабы поучались. Каждый почти лист бумаги переложен картоном, за который я крайне благодарю Беггрова, потому он мне отлично служит для эскизов масляными красками. Думаю написать Третьякову о моем желании писать на конкурс. Это необходимо для того, чтобы избежать отсылки картины к нему, прежде нежели она попадет на выставку, согласно нашему условию. Напишу, что послал бы ее к Вам, Пав[ел] Мих[айлович], да решительно невозможно этого сделать, потому что картина может опоздать на конкурс (это — настоящая причина, а то я послал бы к нему). Он видел подмалевок этой картины, и она ему нравилась.

Ох, дорогой, надрываюсь я от сомнений за свои картины! (Вот еще причина, заставляющая меня писать на конкурс). Этот подмалевок, который я предназначаю для конкурса, целые дни притягивает мои глаза к себе. Вечер, уже поздно, тороплюсь окончить письмо, а самого так поминутно и поворачивает какая-то сила к картине. Ведь уж знаю ее до последней точки; чего бы, кажется, глядеть? Так ведь нет,

тянет; как будто вдруг наступит момент какого-то нравственного света, и я ясно-ясно увижу картину, сразу познаю, хороша она или нет. Мое положение скверно тем, что мучишься постоянно: хороша картина или дурна, смотря по этому художник счастлив или угрюм; я же — постоянно несчастный человек, во всех случаях несчастный, и если бы писал гениальную вещь, лично мне она не принесла бы минуты спокойствия или довольства собой. Человек, лишенный этого, лишенный возможности сравнения, есть человек, вполне заслуживающий сострадания. Этакой человек в Ялте — я. Есть ведь еще и другая сторона, еще более важная: это — то, что, не видя хороших худож[ественных] произведений, я могу делать гораздо, несравненно хуже, чем я могу в настоящее время сделать. Это — ужасно, а между тем, я уверен, как уверен в своем существовании, что, действительно, хуже работаю, чем мог бы при лучших условиях. Правда, бывают у меня минуты художественного ясновидения: вдруг я ясно вижу все, что нужно сделать в картине, все, до подробностей; но это всегда поздно, т. е. тогда, когда картина уже почти готова, а ясновидение мое заставляет переделать все сверху донизу. На это честный художник скажет, что никогда не поздно сделать так, как будет лучше, и скорее написать одну картину, вместо десяти, но такую, которой будет доволен. Но я не могу быть честным художником: у меня детей куча, долгов куча; доктору вон отдать надо. Подло это до крайности, — и грубо, и пошло, — да уж, видно, ничего не сделаешь. Может, впереди времена лучше будут. Экие письма веселые выходят. Это, впрочем, важность небольшая; даже и совсем важности никакой нет.

5 января

Разве нарисовать Вам картину, которую пишу для конкурса. Нарисую, только на другой стороне [2]. У меня с некоторого времени иллюстрированные письма выходят. Роман сокрушается, что я ему не сказал, кому письмо пишу, а то бы, толкует, и я успел бы написать. Отчего это в эскизе всегда лучше картина, чем в оригинале? Это, вероятно, оттого, что эскиз много обещает; каждое запутанное место может казаться чем-то лучшим. В картине обещаний нет, и все, что сделано, то и есть. (Какая чепуха преотличная! Мне в Ялте уж и думать-то лень). В этом рисунке картина положительно кажется хорошей, а это — неверно совершенно. Тут все как-то шире, панорамы больше, а в картине все это съежено. Надо будет исправить эту сжатость в картине насколько возможно. Что картины Шишкина [3]? Я думаю, он их в это время сильно

подвинул к окончанию. По тону Ваших отзывов, я ясно вижу, что эти последние картины ступенью ниже конкурсн[ого] «Леса» [4]. Правда ли, угадал ли я, или это только ложно мне показалось? Продолжаются ли еще Ваши заседания в комиссии [5]? Ах, если бы Вы хоть на два месяца последовали моему примеру в писании писем! Получили ли мое письмо? В нем, как и во всех, заключается просьба; это — насчет прошения о звании. Почта теперь привозит из Петербурга корреспонденцию на двадцатый день, за что я готов повесить всех служащих. Для меня получение писем — все, особенно, теперь, когда даже погулять по болезни нельзя выйти. Погоды стоят просто на смех: тепла меньше 10 градусов не бывает, конечно, днем; ветров всю осень и зиму не знают, и только последние два дня задул такой сильный восточный ветер, что во многих домах выдавил стекла. Олехнович (мой доктор, которого Вы, кажется, видели) сегодня меня удивил, сказавши на мое замечание, что он — без кашне: сегодня очень тепло. Ведь Олехнович и изображение чахотки, это — одно и то же; представьте, если такой человек говорит, что тепло. Ах, двадцать раз, мой дорогой, до какой степени мне скучно! Эта скука начинает обращаться в какое-то болезненное состояние. Вы не поверите, если я Вам скажу, что я каждый день засыпаю, представляя себе, *как я вхожу в петербургский вокзал,* как встречаю Вас — будто Вы уж непременно там должны быть, — как подо мною земля во все это время как-то кружится, как-то все расползается кругом, — словом, какое-то крайне странное впечатление произведет на меня этот приезд в Питер. Знаете ли Вы, что я до тонкости знаю то ощущение, которое буду испытывать во время приезда, да не только во время приезда, а даже во время всего пути из Крыма постанционно. Смешно, в самом деле, переживать в настоящую минуту то, что еще далеко впереди.

Не хочу больше писать. Покойной ночи!

Ваш по гроб жизни своея *Федька Васильев*

Целую руки Софьи Николаевны и жалею, что их не целая тысяча. Ребятишек всех по одному ставлю вверх ногами и сам перекувыркиваюсь с ними.

Порядочный человек

На Новый год до трех часов ночи такая ружейная перестрелка шла по городу, что хоть святых вон неси. Многие кухарки и прочие люди, не обыкшие в военном деле, много посуды непроизводительно побили; слышно даже, и раненые есть, да на это не стоит внимания обращать, потому — какой

же смысл имеют раненые при великом завоевании Нового года. Особенно сильное ружейное дело шло против нашего дома, на Базарной, всему миру известной улице. Красивые здания портного Абрашки и величественная масса *присутственных мест* весьма эффектно освещались в ночной темноте, выставляя при этом удобном случае на удивление умиленных народов два поучительных предмета: «Вновь прибывший иностранный портной с Одеса» и «Упрощенное городское управление». Наша служанка из «хахлив» при каждом выстреле изволили орать на весь дом: «Ой, мамо моя!», чем привела весь дом в крайнее бедствие. Оно, впрочем, за совершенною сипотою скоро перестало быть слышно, и гармонические перекаты блокады Нового года уже не нарушались стонами страждущих. Я совершенно разделяю убеждение ялтинских пруссаков относительно обучения Нового года военному делу; иначе он, бедный, явится совершенно новичком и, чего доброго, струсит, когда кто-нибудь вздумает прочитать своим соседям ближайшим нотацию по прусской системе.

Доношение от штык-юнкера *Пушкарева*

Голубчик Вы мой, не забудьте мою 1257000000-ю просьбу о высылке мне учебника французского языка. Да, если можно, то и два; один «Концентрический учебник французского языка сравнительно с русским», Игнатовича, в типографии Безобразова. Другой — тоже, если можно, и притом самый лучший.

36. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

14 января 1873 года
Ялта

Сегодня получил Ваше, дорогой друг, письмо от 1 января... Что мне написать Вам? Странно, необъяснимо, почему оно, т. е. то место в нем, где Вы пишете про картину мою, оставило такое тяжелое, тяжелое впечатление [1]. Было бы понятно это только в том случае, если бы я не видел всей гадости этой картины, если бы думал, что она носит в себе хоть какое-нибудь достоинство; но нет, я, напротив, видел, что она отвратительна, пакостна, — следовательно, ждать хороших отзывов не мог. Постойте, понимаю: я знал, что она дурна, но не знал, что в такой мере; вот почему на меня подействовало сильнее, чем мог я ожидать. Во всяком случае, это грустно, грустно потому, что оправдываются мои предчувствия, что здесь работать для меня становится с каждым днем труднее. Но что ж делать? Судьба! Это — положительно. Я в прошлом

письме описывал Вам мои не то что опасения, а настоящие беды от отсутствия всего художественного и среды. Природа всегда одинакова, и наедине с ней быть долго нельзя (впрочем, я этому не совсем верю; даже скорее готов отрицать, а между тем факты как будто вразрез идут). Природа мне может принести, если я ею одной буду пользоваться, больше вреда, чем, например, жизнь в Париже, в среде картин и художников. Я настолько люблю природу, настолько всматриваюсь в нее, что мои картины начинают хромать смыслом, изобилуя подробностями. Вы в одном месте пишете, друг мой, что мне поездка за границу нужна для того, «чтобы не упасть окончательно, *спасти себя для России*» (это — не слово в слово, а смысл только). Из этого я вижу то, что Вы слишком мягко, слишком нежно дотрагиваетесь до больных мест последней картины и не пишете прямо, что она гораздо ниже того, что Вы могли себе представить и чем написали. (Это ясно потому, что если картина была бы только такою, какою Вы ее описываете, т. е. довольно сносною, то Вам не пришло бы в голову так испугаться, как Вы испугались, а следовательно, Вы и не написали бы, что мне нужно спастись от очевидно мне грозящей опасности). Прошу Вас, дорогой мой друг, не верить, что мне мое отчуждение от общества может принести такое положительное падение, может грозить серьезною опасностью моей художественной будущности. Это — неверно: как ни сильно я страдаю от своего исключительного, ненормального положения, эти страдания никогда, если бы они продолжались даже всю мою жизнь, никогда, повторяю, не разрушили бы во мне художника, никогда не остановили бы совсем моего развития. Что же касается до того, что они останавливают его, то это, конечно, не может подлежать сомнению, но и только. У меня есть другой, более страшный враг: это — моя болезнь. Я ведь опять болен, опять похудел, как щепка, и проч. Доктор, впрочем, говорит, что это все ничего. Я сам готов разделять его мнение, особенно не чувствуя слабости, которая при всех серьезных болезнях — необходимый результат; но сообразив хорошенько, невольно приходят в голову скверные мысли. Мне двадцать три года только что исполняется [2] — время, когда натура быстро работает и быстро починяет свои недостатки, — а я уже два года, при постоянном лечении в хорошем климате, остаюсь в весьма далеком от здоровья состоянии. Как возьмешь все такие штуки в расчет, так всякое желание верить, *«что ничего»*, пройдет. Что касается до участия, какое Григорович принимает в этой картине, и — главное — в гонорарии за нее, то я весьма опасаюсь, что он обратился за деньгами не к князю, а контр-адмиралу

Боку, которому я оказал за его заслуги полное пренебрежение, чего он, конечно, никогда не забудет и не упустит случая сделать мне всякую пакость. Положительного ничего я против него не имею; да в таких отношениях, какие были у нас с Боком, и не бывает никогда чего-либо *положительного,* т. е. фактического. Бок же и деньги выдавал мне *в счет,* о чем говорил князь Григоров[ичу]; но это — за ширмы, а не за «Эриклик»; наконец, деньги 200 рублей, взятые в счет, не могут приводиться великим князем потому, *что приводить цифру 200 против 2000 или 1500 рублей смешно, бессмысленно!* Если, наконец, они хотят вычесть задаток за один заказ из другого, то я им это не мешаю сделать. Но дело в том, что я боюсь, что затрачу время, а следовательно, и деньги, которые дорого мне достаются, на исполнение ширм и не получу за это ни гроша, да еще и неприятности в придачу. Обо всем этом я немедленно напишу Григоровичу. Ведь мое положение отвратительно с денежной, да и со всякой другой стороны. У меня сроки долгов в Ялте многие уже прошли, а самые поздние, 12 февраля, подвинутся. Что я буду делать, когда у меня единственная получка была эта, и без нее нет средств уплатить, тем более, что я должен работать ширмы, проклятые ширмы? То, что Вы советуете мне относительно этого предмета, то я иначе, как декоративно, их и написать не могу, потому что на четыре штуки остается два месяца, следовательно, по две недели на картинку. Все, что я потерял с этими треклятыми заказами, непоправимо и невозвратимо, а цифра потери, как нравственной, так и материальной, очень высока.

Ну, будет об этом — голова кругом идет! Картину на конкурс продолжаю писать [3], а следовательно, и мучиться; да еще волы забрались — чорт знает, что такое! Эта картина или очень хорошая будет, или замазанная, замученная до последней степени вещь. У меня до безобразия развивается чувство каждого отдельного тона, чего я страшно иногда пугаюсь. Это и понятно: где я ясно вижу тон, другие ничего могут не увидеть, или увидят серое или черное место. То же бывает и в музыке: и иногда музыкант до такой степени имеет развитое ухо, что его мотивы кажутся другим однообразными. Вообще, колорист должен писать не по-своему, а рассчитывая на массу, на ее более грубое развитие. Картина, верная с природой, не должна ослеплять каким-нибудь местом, не должна резкими чертами разделяться на цветные лоскутки. Вот пример — Орловский [4]: его колорит считают все у нас за колорит настоящий, и именно в тех картинах, которые более грубы (его золотая медаль). Посмотрите: там нет ни одного живого, натурального тона, там все — ковровые краски, а между тем

публика в восторге, и какой-нибудь Тройон[5], рядом с этой картиной Орловского, покажется серым или черным (его «Отправление на ярмарку», в Кушелевской галлерее[6]). Да и Мейссонье[7], и Кнаус черны перед каким-нибудь Орловским. Господи, да зачем же я все это пишу? Кому говорю, зачем? Ну, простите, Христа ради! Я как будто косвенным путем стараюсь доказать, что мои картины — чудо, а если их не понимают, то это по невежественности, особенно «Эриклик». Еще раз простите, голубчик Вы мой! Не буду, ей-богу, не буду! Изволите видеть, я думаю, что такое добросовестное изучение природы во всех ее проявлениях, которому я всегда предаюсь, приведет меня к тому, к чему я стремлюсь. Этому можно бы и не поверить — тому, что я так думаю. Ведь человек ошибаться может гораздо удобнее, чем говорить правду; но не поверить, что это сбудется, потому что я это *чувствую,* — невозможно, а я чувствую или, вернее сказать, предчувствую, что добьюсь до желаемого. Теперь, действительно, у меня многое мазано, мазано, да и замазано, наконец, совсем; но будет же время, когда известная сумма практики даст мне возможность выполнять лучше, чем в настоящее время. Притом, друг мой, меня крайне связывает самое производство дела: жухлость, порча красок страшно изменяют мои картины, которые обыкновенно частями чернеют, частями улетучивается их цветистость, вследствие «богопротивного шкипидару». Я до такой степени несистематично пишу картины, что они буквально, видимо портятся. Уж какими-то способами не пробовал — одно хуже другого!

Вдруг, в один прекрасный день, я вижу чудное видение: Иван Николаевич входит ко мне в мастерскую!!! Нет, хорошо, что этого случиться не может, а то помру от радости, хотя и говорят, что это — неправда, и помирают только от горя; да ведь находятся такие, что и этому не верят. Вот Нецветаев, например, наверно не поверит этому. Бёрне положительно преувеличивал силу фарфоровых чашек; насколько мне помнится, он даже сам не был положительно уверен в их неотразимой силе. Да потом, бог знает, буду ли я так дрожать за них, когда я не дрожу за все их заводы. Я положительно думаю, что я всегда или, по крайней мере, очень долго не в состоянии буду хладнокровно относиться ко всему дурному, а потому, если у меня и заведутся когда-нибудь фарфоровые чашки, то, увлекшись чем-нибудь, я забуду, что они — моя *собственность* и стоят под рукою; развернусь, и останутся от прекрасных чашек осколки. Наша встреча в жизни — встреча счастливая, и оба мы невольно извлечем из нее пользу, пользу великую; да и для других это хорошо, помимо их воли, и хоть

бы они нас терпеть не могли. Замечательно то, что у нас с Вами и враги одни и те же! Друзей зато, наверное, нет, да и не нужно — обойдемся.

Вот хорошая была бы штука, дорогой мой, как нам вместе бы попутешествовать! Ах ты, боже мой, я не вспомнюсь от такой мысли! Ведь Вы пишете же, что нужно ехать, а нужно ехать — значит к Иерусалиму, а в Иерусалиме у меня тетка с дядей и, значит, всякие подспорья и указания: как и что получить, и проч.; дадут даже, пожалуй, телохранителей. Послушайте, ради бога, напишите, когда поехать вздумаете. Ведь это невообразимо хорошо! Бежит мимо глаз этакая, сударь мой, Италия, Гишпания, или и еще хуже что-нибудь; а то Египет с разными, знаете, арабами этакими, и проч. Это, можно сказать, — одолжайтесь! А мы, знаете, дивуемся этак, чортом сидим, одначе; я так на самой еще границе рот открою, да уже так и оставлю до обратного. А? Махнем?! Будем жить хоть на том свете, если Вам и туда нужно будет для картин заглянуть. Я готов сейчас телеграфировать Вам об этом вопросе. Вот пожили бы во славу божию! Слушайте: это надо постараться, и я, если нужно, брошу все на свете и соберусь в одну минуту, даже и сапоги охотничьи надену — все сразу. О Вашей картине мне уже давным-давно пишут все положительно. Я приведу целиком фразы. Григорович два или три раза писал, всегда в одном духе, а именно: «Крамской написал истинно замечательную вещь — «Христа» [8]; в Европе ее лучше бы оценили». Сестра пишет тоже уже второй раз. Может быть, Вы не придаете цены ее личному воззрению, но тут ее мнение и не главное. «Иван Николаевич окончил своего спасителя; ты себе представить не можешь, что это такое! Я решительно не могу тебе его описать, потому что описать эту картину нельзя». (Воображаю, как все удивились, когда *Вы,* дорогой мой, его выставили). Нецветаев пишет: «Вы уже, конечно, слышали, что Крамской написал замечательную картину — «Христа». Картина такая-то... (следует описание). Да! Иван Николаевич, вероятно, еще и не такую напишет!» Писал даже, кажется, Третьяков (не найду его письма, чтобы буквально перевести выражения); но все это до такой степени чисто один гимн — от сердца или нет, судите сами, что я не считаю нужным приводить дальше. Жаль, что ни у кого не прорывается и намека на критику.

Писал о конкурсе мне Григоров[ич], и я почти целые две недели работаю, и об этом уже сообщал Вам. Григор[ович] пишет, что последний срок — 1 марта. Может быть, позже? Я с *завистью* прочитал о том, что и Шишкин, и Боголюбов написали превосходные картины... Во мне положительно про-

снулась дремавшая, значит, зависть, но она законна: я ведь сам не хуже написал бы в их положении. Господи боже мой! Зачем же это другие пишут, *могут* писать хорошие картины, производить впечатление, а я тут сиди и утопай в грязи, да читай: «Подумай, брат, дескать, ведь уж *погибать начинаешь*!» Если эта картина, которую пишу на конкурс, выйдет неудачна, поездка за границу может лопнуть, как моя репутация, только что испеченная. Это, однако, невыносимая мука! Неужели, родной мой, Вам еще много разных заказов делать? Ведь это ужасно! Что же это такое? Ведь это жизнь тратить, кровью писать вещи, никого не обновляющие! Долго ли Вы думаете писать для храма спасителя? Вещи ведь, кажется, большие, и где будете писать и как, на холсте ли, на месте ли? Ради господа, не забывайте Вашей картины [9]! Ради бога, напишите ее, не допускайте мысли откладывать это на неопределенное время! Знаете, что эта картина стала частью моих желаний, и я не могу допустить мысли, что она не будет написана: я должен ее видеть. Я даже представляю себе, что она уже пишется, уже написана, уже стоит, и молчит перед нею злобная, шипящая толпа... Колоссальная картина! Послушайте, нам с Вами долго не прожить: ради долга, не опоздайте, ради Вашей веры! О жизнь, жизнь! Сколько в тебе темных, глухих путей, сколько черных пропастей и сколько трупов, иногда дорогих, лежит в твоих равнодушных пучинах... Шли вы, люди, по темным путям, не освещенным божественным светом любви друг к другу, и ничего, кроме ужаса и отчаяния, не застыло на ваших обезображенных лицах... Прошу Вас на будущее время не писать таких фраз: «рука не поднималась написать о картине». Это я, положим, вижу, *что рука-то не поднималась* из того, что картину эту Вы чуть по головке не погладили; но, пожалуйста, в другой раз ни минуты не задумывайтесь, и помните, что я и такое вынесу, что даже сам не знал, а недостаток этот, эту т. е. картину, я ни за что другое и не принимал. И потом еще, если уж человек просит, чтобы ему всю правду без оберток выложили, — значит, человек этот знает свои силы и не боится, что его испугают. Со мной не бойтесь, мой дорогой; родимец ни от чего такого не сделается. А что, шибко ее ругают? Это — наверное; ведь не пропустить же случай! Скажите, пожалуйста, какими Вы глазами смотрели на картину, когда писали следующее: «За исключением середины и части гор, то это, несмотря на остальное, так хорошо, что я все-таки узнаю Вас». В самом ли деле это хорошо или хорошо *сравнительно с остальною, крайнею мерзостью*? Это для меня важно узнать. Теперь, впрочем, уже поздно, потому что картина унесена;

рассчитывать же на память нельзя по той простой причине, что такие *произведения* в ней не смеют оставаться.

Как мне жаль, что Софья Николаевна все прихварывает! Она очень впечатлительна — вот что худо. На нее это действует очень нехорошо, как на всех, впрочем. Передайте ей поклон матушки и ее горячее желание поскорее увидеть ее. Желание наше видеть вас всех переходит, в самом деле, границы обыкновенных знакомых. Роман на днях, за чаем, вдруг говорит: «Отчего это Крамские — точно наши родные?» Я, конечно, не затруднился ответом и невольно улыбнулся. Что касается до меня, то я даже и не удивляюсь нисколько, что Роману в голову приходят такие вопросы. Кстати, посылает он своим приятелям свои послания; что-то уж очинно близко буквы стоят, точно узор какой черным гарусом. Обыкновенно я Ваши письма откладываю до удобного времени, как я уж и писал Вам; но теперь уж не могу так долго терпеть, и сегодня за мольбертом застало письмо, потому что пришло в 11 часов; но уж как я ни крепился, не утерпел-таки: бросил кисти и пошел валять. И на будущее время, вероятно, так же пойдет. Не пишу Вам ничего о Ваших советах немедленно ехать за границу, сиречь летом, потому, во-первых, что подробно писал Вам об этом в письме, которое Вы, вероятно, уж получили, а во-вторых, потому, что нового ничего еще по этому предмету не выдумал, за очень большою головоломностью разрешения этой задачи. Этот отъезд из Ялты так серьезен для меня, что сразу не сделаешь. Вы не подумайте, что это трусость меня одолела, как одолевает она человека трусливого перед *делом*, — нет, Вы знаете, что я не из таких, и если в час убедился в чем, то в два привожу в исполнение. Но все-таки главной задержкой остается болезнь. Доктор, наверное, и руками, и ногами упрется от моей поездки в Питер; а ехать за границу прямо отсюда, как я уже писал, я не имею никакой силы, никакого желания. Я просто боюсь и заговорить об этом с доктором, хотя каждый его визит и собираюсь это сделать. Да и смешно делать такие вопросы в то время, когда жалуешься ему, что все болит и колет и проч.; он грудь слушает, а тут вдруг ему — бац: «нельзя ли в Питер, доктор?» Я писал уже, кажется, что здоровье, в самом деле, опять захромало. Все, что прописывает Олехнович, очень приятного вкуса, не очень горькое, а главное — никогда сладкого; но теперь он прописал вещь до крайности гнусную: рыбий жир, да еще по четыре ложки в день. У меня, впрочем, воля есть, и я даже с некоторым удовольствием занимаюсь подавлением в себе вкусовых отвращений, в чем достигаю блестящих результатов (это, небось, не «Эриклик»). Ну, однако, до-

Страница письма Ф. А. Васильева И. Н. Крамскому
от 4—5 января 1873 г.

вольно! Извещайте о том, что будет для меня интересного, — если не тяжело будет писать. Григорович ничего еще не написал мне о несчастной картине. Что же касается до моей физиономии, то она сильно изменилась и постарела, и хотя седых волос и не замечается, а все-таки видимо постарел. Будьте здоровы и не забывайте Вашего

Ф. Васильева

P. S. Голубчик, забыл: ради господа, прикажите Григоровичу, не медля ни одной секунды, выслать мне 6 аршин холста, самого лучшего, дрезденского, шириною в 1 арш., но не ýже. Пожалуйста, а то на ширмы нет холста, а время начинать их.

Весь Ваш *Ф. Васильев*

37. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

14 января 1873 г.[1]

Голубчик мой, Федор Александрович!

Видите, какой я исправный — обещался немедленно, а вот сколько времени прошло. Форма прошения в Совет следующая: В Совет имп[ераторской] Акад[емии] художника Федора Александрова Васильева прошение. Удостоенный на годичном экзамене, в мае месяце прошлого 1872 года, звания классного художника 1-й степени, за представленные мною пейзажи, с обязательством выдержания словесного экзамена из наук, я поставлен в необходимость покорнейше просить Совет Академии уволить меня от него, в уважение моего расстроенного здоровья, требующего продолжительного пребывания моего в Ялте, и выдать мне диплом, не подвергая словесному испытанию. Ученик такой-то; внизу, слева, год и число, и только, ни больше и ни меньше. Не над чем было и голову ломать. Все это так просто. Удивляйтесь моему бессердечию и невниманию к Вам — ничего больше не прибавлю. Некогда. Скоро напишу побольше.

Искренне и глубоко Вас любящий, но негодный

И. Крамской

38. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

27 января 1873 г.
С.-Петербург

Дорогой мой Федор Александрович!

Вы опять начинаете хворать, как видно, что это значит? Или Вы не особенно благоразумно себя ведете вообще, или

внутренняя жизнь слишком жарко и разрушительно горит. Подведите итоги всему, что у Вас происходит внутри, переберите все свои страсти, все влечения своей натуры, которые мешают Вам, и безжалостно (легко сказать) вытолкайте их в шею. Что это такое с Вами делается? Нет, я, пожалуй, буду прав, говоря, что слишком ранний возраст, в котором Вы обретаетесь, мешает Вам управлять всем своим нравственным капиталом, данным от природы. Вы уже знаете, что я об этих вещах думаю; я, кажется, Вам говорил уже, что, чтобы быть художником — мало таланта, мало ума, мало обстоятельств благоприятных, мало, наконец, всего, чем обыкновенно наделяется человек и приобретает, — надо иметь счастье обладать темпераментом такого рода, для которого, кроме занятия искусством, не существовало бы высшего наслаждения; темпераментом, который легко отказывается от всякого другого человеческого наслаждения и не сожалеет, например, что он не так вкусно питается, как люди, рвущие куски жизненного пирога. Наконец, художник, кроме ответственности вообще, лежащей на каждом человеке, ответственен, главным образом, в зарытии талантов. Что это я пишу, боже! Но будем продолжать, пока продолжается. Талант — штука страшная, и чорт его знает, до чего требования его неумолимы. У него только одна дилемма: или *будь,* ступай вперед, совершенствуйся, за ним только и ухаживай, для него только и работай, или умри и отвечай перед совестью. Невеселая штука. Что-нибудь одно: или он, талант Ваш, или Вы, человек. Убейте в себе человека, получится Васильев художник; погонитесь за человеком, полагая, что талант не уйдет, и он уйдет наверное. Отмеченный печатью, никогда ее не смоет. Знаете ли, впрочем, что я только сей момент догадался, что писать Вам такие вещи — значит оскорблять Вас; ей-богу, только сию минуту. И к чему это — зачем это сорвалось, и какой, наконец, повод Вы дали, чтобы обращаться к Вам с проповедями такого рода? Хорошо еще, что это не суть проповедь, а просто рассуждение, которое во мне совершается вслух. Но нельзя же замазать все до такой степени, чтобы не было трещины, и трещина есть, пожалуй. Таковою оказывается все, что я узнал о Вашей денежной стороне. Знаете ли, что я просто пришел в ужас от Ваших дел внешних вообще. У Вас огромные долги в Ялте. Положим, в Ялте дорого страшно, я имею некоторое понятие об этом, но все-таки! Голубчик мой, дорогой, Вы запретили мне говорить о подарке, сделанном моей жене, положим так, но, ради бога, ведь это, вероятно, крупица, и довольно микроскопическая, которая известна мне, сравнительно с тем, что мне еще неизвестно. Неужели же

нельзя всего этого вытолкать в шею? Должно быть, нельзя, когда Вы делаете, а жаль. Это, все вместе взятое, вероятно, доставляет Вам такую жгучую муку, какой и здоровый гуляка не выдержал бы, если бы гуляки вообще были способны к ощущениям подобного рода. Однакож я, должно быть, несколько простоват кажусь Вам с криками: «Ради бога, не сделайте пожара!» в то время, когда весь дом в огне, а я не замечаю. Да я просто ума не приложу, что делать, что Вам писать и куда ступить, чтобы не оскорблять Вас нотациями. Довольно, вероятно, Вы их получаете и без меня. Скажите просто, не могу ли я что сделать тут? Пошлите меня, куда хотите, но не оставляйте этого дела в том виде, в каком оно уже находится. Мне известен факт — глыба снега не увеличивается, коль скоро перестали ее катить; напротив, уменьшается и даже тает, в оттепели, правда, но ведь в Ялте нет таких морозов. Какой глупый каламбур, однакож. Я всегда осуждал, когда человек не придерживает языка во-время, а вот и сам сказал пошлость. Итак, оставьте глыбу, не увеличивайте, посмотрите, лучше будет. Нет, не могу, дорогой мой, чувствую, что начинаю говорить такие плоские вещи, на которые хватает всякого благоразумного человека. Хорошо говорить благоразумные слова, когда сердце остается холодно ко всяким страданиям, увольте меня. Выругайте, если хотите, но я не скажу больше ни слова об этом до тех пор, пока Вы не разъясните этого, если найдете нужным это сделать.

Что касается моей поездки [1] ради картины, то она еще только в проекте. Она, конечно, осуществится, если буду жив; картина будет наверное, но не ближе двух лет. В предстоящее лето я поеду в Воронежскую губернию, буду там кое-что писать: «Божьего человека» [2], «Осмотр старого дома» [3], а «Хохот» [4] — потом. Я теперь читаю кое-что нужное, готовлюсь, обдумываю, но не приступлю к поездке раньше, пока не начну, так сказать, самой картины, т. е. пока она не будет готова совсем в голове. Хотя она уже и готова, но не настолько, чтобы сесть и ехать за нею. И потому поездка совершится не ближе будущего 74 года. У Вас произошло такое горение по этому обстоятельству, что уже скомпоновалось, как и что, куда надо ехать, где остановиться. Рано еще. Если же поездка состоится, то она состоится прежде всего в Италию, чтобы видеть развалины Помпеи, словом, прежде римлян надо посмотреть, а там потом и в Сирию и Палестину. Это верно, т. е. я так думаю.

Кстати, Репин все еще пишет своих «Бурлаков» [5]: немножко долго — сегодня напишет одно, завтра другое, а когда-нибудь еще — третье. Савицкий конкурирует на Большую золотую

медаль[6]. Шишкин... Шишкин ногти кусает, хотя намерен писать на конкурс, но еще не начинал. Увижу — напишу. Затем — все по-старому, и все так же, как Вы оставили, ничего не передвинулось, все на своих местах. Панов сокрушается, что ему нет никаких вестей от Вас, а говорит, писал. Он теперь частенько у нас бывает. Малый ничего — только рыжий, жаль.

Холст Вам выслан, но так как Вы не написали, какого рода, то я взял уже на свою ответственность решить, какой послать. Григоровича нигде не вижу давно, не знаю, как он распорядился с деньгами Вашими, о которых Вы писали ему получить у великого князя. Я, признаюсь, крепко призадумался, когда он сообщил, что великий князь выдает 800 р. за картину. Что это вышло, не знаю — знаю только, что 2000 р. — вещь немыслимая за картину, которую Вы прислали[7]. Вы говорите: я деликатничаю по поводу ее. Нет, не деликатничаю, а я в самом деле узнал Вас в ней *положительно,* в средине — где горы и море. Это хотя и не лучшее, что вообще Вы можете, но все-таки это хорошо, а остальное: деревья, земля и небо — вверху — слабо, даже плохо, одолжайтесь. Но ведь я все-таки знаю, что это мучительный заказ. Подожду, пока не увижу чего-нибудь другого, которое надеюсь увидеть на конкурсе. Я не хочу думать, чтобы Вы не написали ничего. Что же касается Вашей поездки за границу, то я и теперь остаюсь при том же мнении, которое уже высказал Вам, и нахожу возможным, несмотря на все, что я узнал о Ваших долгах и о прочем. Это не изменяет дела, одной хорошей картины довольно, чтобы решить в Вашу пользу.

И. Крамской

Прилагаются сочинения молодых хлопцев. Софья Николаевна и я низко кланяемся Вашей мамаше.

39. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

28 января 1873 г.
Ялта

Получил сегодня от Вас, дорогой друг, письмо и форму прошения. Если успею, то отправлю это прошение завтра же на имя Совета император[ской] Акад[емии] х[удожеств][1]. Как Вы там поживаете? Что творится кругом Вас? Я разумею при этом атмосферы нравственную и физическую. Физическая атмосфера Ялты в последнее время отвратительная: дожди, туман и кромешная тьма, так что условия работы почти оди-

наковы с петербургскими. Тем не менее, я желаю окончить для конкурса, что, впрочем, глупо. Все ли письма получаете? Я уже много что-то послал. Получил от Григоровича известие о картине [2]. Вы их, наверное, знаете, а потому и не описываю, достигаю этим двух целей: избежания новых взрывов неудовольствия на крайнюю небрежность, с какою обращаются с художниками, и сбережения бумаги, могущей пригодиться на что-либо более полезное (Григорович известил меня об окончательной судьбе картины позже Вашего). Подло — и ничего больше! Однако пишу, понимаете ли, слова. Такие иероглифы! Хоть на пирамиду! Заметьте, нет никаких извинений и обещаний писать *чище*. Странное дело: прошу сообщить, что там в Питере делается, не имея совсем необходимости знать это. Уж не привычка ли, ужасная привычка к *положению*? Не может же быть, чтобы меня не интересовало, что происходит. Да, действительно, не интересует, — убежден в этом. Это — потому, что я уверен в невозможности какого-либо нового, незнакомого мне движения в столь знакомом мне Петербурге. Если же такое явление и последует, то я опять-таки к нему буду равнодушен, не видя средств собственными глазами рассмотреть его. Это — непременное условие, чтобы предмет заинтересовал меня. Что я пишу, кому это нужно? Неужели Вам и это интересно? Я с необыкновенной быстротой лечу в какую-то холодную, глубокую бездну и не знаю, что найду на дне ее...

Я испытываю такое впечатление, хотя не могу определить причин, обусловливающих его. За одной ненужной фразой следует другая, за этой — третья и т. д. Вы, еще не распечатывая письма, наверно узнаете, и притом безошибочно, количество их по общему объему письма. Совершенно это понимаю — пора уже навостриться! Музыка разделяется на тоны: мажорный, минорный, ф-дурный, д-дурный, и т. д., и т. д. И письма должны разделяться на тоны — это ясно. Мои письма обыкновенно имеют тон постепенно убийственный, в редких случаях томительно предвещательный и в обоих случаях невыносимый, а потому моя дружба к Вам, мое горячее желание продолжать самые приятельские отношения могут быть рассматриваемы не иначе, как результаты Вашей снисходительности к моим посланиям, которые может читать без расстройства желудка единственный человек в подлунном мире. Будьте уверены, дорогой мой, что я из Ялты не выезжаю, только не желая лишить себя удовольствия писать письма, которые один человек *читает*.

А томительно предвещательный тон все-таки придется вести. Советовался я с Олехновичем о моей поездке в Питер

(преодолел-таки справедливую, впрочем, стыдливость относительно этого вопроса). Лучше бы было не спрашивать, во всех отношениях было бы хорошо! При первом моем слове он рот разинул и очень медленно протянул: «Как же это можно, когда болезнь Ваша еще так серьезна? Да разве Вам так необходимо съездить в Петербург?» — «Еще бы, доктор, совершенно! Ведь у меня дела до крайности запутаны!» — «Ну, в таком случае, летом съездите на короткое время. Теперь даже и это невозможно решить до начала лета, ибо болезнь Ваша усиливается, и в самую серьезную сторону». Я, конечно, постепенно привык к некоторым лишениям; но привыкнуть ко всем невозможно, а то, к чему я не привык и привыкнуть не могу, постепенно увеличивается, и пропорционально увеличению этих нравственных лишений растет расстройство организма, нервы которого постоянно в раздражении. До какой степени доходит у меня эта нервная деятельность и до какой степени непосредственно вредит организму, можете судить из следующего: достаточно получить дурное впечатление, для того чтобы немедленно пропал аппетит, заболела голова, явилось неутолимое чувство жажды и проч., и проч. Все это непосредственно следует за впечатлением и иногда продолжается подолгу. Это, по моему мнению, главная причина болезни, что разделяет и доктор. Чего я никогда себе не прощу, так это того дня, в который я согласился принять заказ и тем согласился расстроить здоровье. Я начал болеть с того самого дня, и вот дошел-таки до цели. Это — хороший урок, если он вовремя, и теперь всякие заказы для меня — вещь немыслимая. Но ведь надо же, точно на смех, заболеть тогда, когда именно это-то и не нужно; вот и эту картину [3] оканчиваю под теми же условиями, как и прошлогоднюю конкурсную. Однако — нет: условия нынешние, со стороны, например, обстановки, совсем другие: нет маленького вулкана в виде чугунной печи, извергавшей копоть, растопленную смолу и, буквально, *тучи* пепла; нет семидесяти семи совершенно различных рефлексов, ползущих из семидесяти семи различных дыр и пр. Совершенно наоборот: комната высока, весьма чиста и *хорошо* обставлена, даже с затеями. Свет исходит из одного окна, другое закрыто шторой — но увы! — это его единственное достоинство... Словом, обстановка — совершенно другая. Но какое же место обстановка занимает во всем необъятном пространстве других неизбежных, неотразимых ужасов? Это — капля воды! Оба мы с Вами повторяем: что же это такое, когда же кончится эта никому не нужная переписка? Когда же мы узнаем последнее слово, когда же встретимся на одной точке земного пространства!!?!??? Я на это могу ответить только следующей

гипотезою: если прошлый год болезнь дала обманчивые результаты, то настоящий год мы стоим накануне открытия, которое даст ответы на все вопросы. Одно не подлежит сомнению: это — наша встреча на одной точке земной поверхности. Но и она зависит от открытия, своим, по крайней мере, временем. Посему пождем до начала лета. Позволяете ли Вы послать картину конкурсную на Ваше имя? Почему я предпочитаю послать ее Вам... ах, совсем не то, а не играют ли в этом роль чисто материальные условия, т. е. не потому ли я предпочитаю послать картину Вам, что вижу Вашу удивительную силу убедительности на покупателей? Постойте, что это за сумбур? (Вот как необходимо писать черновые, а я катаю *всем* без черновых. Вам писать так должно, а ведь другие могут из этого сделать дурное употребление. Зато я и осторожно пишу *таким* гусям. Тоже — осторожно! Ну, кто поверит?) Ну, это, в самом деле, сумбур. Что за мысль у меня бродила?.. Как это странно!.. Ну, вот теперь понимаю, но это так длинно и сложно, что объяснять не стану. Одна причина, это — та, что хочу окончить на этом листе, а то «дальше в лес, больше дров», которые не в состоянии буду оставить там, а потому воз увеличится до размеров, которые помешают его тронуть с места. Глубоко Вас любящий

Друг Ваш *Ф. Васильев*

Пусть София Николаевна будет здорова. Деток целую. Что я болен — это доказывает мое постоянное желание поехать то на Мадеру, то в Каир, то уж и не знаю куда. Вот глупое состояние! Точно какой-нибудь обожравшийся помещик, приезжая на одни воды, уже заботится о посещении и других... легче, мол, будет. Да ведь эти все переезды — чепуха сущая и, обыкновенно, чепуха поздняя. Это последнее, конечно, думаю, не для меня писано.

40. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

2 февраля 1873 г.
Ялта

Получил я, мой милый Иван Николаевич, письмо, но не от Вас, а от Нецветаева. Это происшествие случилось дней десять, пятнадцать тому назад. Признаюсь, не ожидал! Глуп до генерал-майора! Я всегда видел в Нецветаеве человека до крайности эгоистичного, рутинного, пошлого, циника и пр., но все-таки не подозревал в нем совершенного отсутствия логики, или — лучше — некоторой последовательности. О, это

письмо — приобретение! Сейчас был отвлечен звуками какого-то марша, который вытягивали из скрипок и еще каких-то инструментов музыканты, возвращающиеся со свадьбы по колени в грязи и музыкою услаждавшие это неприятное обстоятельство. Половина двенадцатого *ночи.* Достаю это письмо-приобретение. Как ни велик труд процитировать хотя ничтожную часть бессмыслицы простой и бессмыслицы с целью как-нибудь подъехать, я все-таки принимаюсь за него, побуждаемый тем, что тут идет речь и о Вашей несостоятельности. Письмо начинается: «Милейший Федор Александрович! *Сначала* примите поздравление с Новым годом и желание *успеха в жизни, удачи в предприятиях и доброго здравия столько, сколько нужно*» (?!). Это буквально выписанное начало; затем следуют пожелания матушке моей еще больших благ и благополучий; затем идут сердечные признания о том, как они, т. е. он и жена, *скорбели,* что проводили великие праздники без меня и без моей матушки, кои оба *поддерживали* и *оживляли всякое предприятие для развеселения общества.* «Мы скучали о вас, потому что вас нам недоставало»; но тут, увидя, что забрал чрез меру и что сквозь соловьиные нотки сильно прорывается бас кота-мурлыки, которого соловьи сейчас поймут, начинает замазывать эти излишества никуда не годным, по несостоятельности своей, способом, «как действующей и возбуждающей силы». Но, увы! фраза эта так и погибла, нисколько не укрывши безобразия другой: «вас нам недоставало». Таким излияниям посвящено пол-листа колоссального формата. Но я все это пропускаю без внимания, заинтересованный началом письма, которое ознаменовано многообещающим словом: «сначала». А ну вот, наконец, я вижу продолжение к этому «сначала»: «*теперь поговорим* о предыдущем Вашем письме ко мне, крайне меня *озадачившем* и *удивившем*». Правду сказать, удивляться совсем нечему было: что заслужил, то и пожни. За удивлением следует изображение каких-то титанических трудов, кои сей великий муж исполняет, кои разломили ему поясницу, посеяли боль в груди и пр., а вместе с тем и не позволяли ему ответить на мое письмо немедленно. Но почтенный автор забывает о способностях угадывать настоящие причины всех действий, о способностях, коими пользуются многие и, в том числе, я. Эта самая способность и открыла мне, гораздо раньше получения сего письма, причину, по которой кавалерист не бросил мне перчатки в ту же секунду, а, наоборот, стал дожидать, что я сам напишу второе письмо, в котором ясно будет изложено мое извинение, и пр., и пр. Тогда кавалеристу осталось бы только пожурить меня и помириться; но кавалерист ошибся,

Видя, что письма нет, он решил начать сам, не подозревая — нет, скорее подозревая, что его молчание будет еще пущим обвинением. Но кавалеристы XVIII века не то, что кавалеристы нашего времени: сначала заявил, что он до крайности *тоскует* обо мне, а уж потом сказал: «теперь». Итак, после боли в пояснице следует: «озадачило меня то, что Вы не поняли смысла моего письма, не упрекающего Вас в чем бы то ни было, а, напротив, хлопочущего из-за Вашей же выгоды» (!!). Скажите, какую выгоду могут мне принести его хлопоты?! Да кто его просит? Может быть, совершенно достаточно его хлопот, чтобы мне было невыгодно. Пропускаю его объяснения, каким путем он хотел облагодетельствовать меня, потому что это описывается изумительно длинно и подробно, хотя нельзя того же сказать о смысле. Между прочим, попадается фраза, что если он *советовал* мне, то это потому только, что: «*я слышал,* что Вами недовольны», Общество поощрения сиречь... Продолжается так: «потрудитесь еще раз прочесть мое письмо и *возвратите* мне его с комментариями (господи!); тогда я, может быть, при помощи Вашей, отыщу в нем смысл, Вами ему присваиваемый»!!! А?!. Я еще буду в Ялте заниматься комментариями Нецветаева писем! Затем: «к чему Вы мне пишете о том, что Вас преследуют и грызут и в Крыму, и не дают покоя?» Ну, не глупейшая ли наивность? Он этим хотел сказать, что если меня грызут и пр., так ведь он не виноват в этом, а потому какое я имею право писать об этом ему, *как будто намекая,* что и он виноват? Но, во-первых, я совсем не намекал, а довольно ясно обвинял его; во-вторых, как же это он вздумал себя отстранять после слов в предпоследнем письме: «Вами недовольно Общество поощрения и, кажется, *имеет основание*»? И после этого обижаться *намеками*! Бесконечная цепь хитросплетений, которую не выписываю по невозможности, хотя интерес везде одинаков. Останавливаюсь на фразе, в которой автор приходит в какое-то умиление, возникшее вдруг и без всяких видимых причин: «если бы Ваше письмо ко мне было *как сердечное излияние* (?!) накопившейся злобы или неудовольствия, оно носило бы другой характер — *интимности, вызывающей на сочувствие* (!!!); но оно имеет характер *обличающий* (!), *как бы ко мне лично* относящийся. *Это я уже отказываюсь понимать*». Из этого Вы видите, что он открыл новую истину: если письмо носит один характер, то другого никак не выкроишь. Придя к такому открытию — невозможности выкроить излиятельного характера из характера обличительного, — автор положительно восстает против последнего, отказываясь понимать его, и не допускает мысли, что к нему можно писать письма с таким

неподходящим под его убеждения характером. Но чем дальше в лес, тем больше дров; чем дальше подвигается письмо, тем более интересу. После того, как ни за что не хотят понимать характера обличительного, вдруг переходят в игриво-замысловатый тон, где уже всякая нить мысли прервана, где рядом пляшут и сталкиваются оправдания и обвинения, факты и предположения, — словом, начинается трезвон. Тут уж необходимо было бы выписывать целые страницы, но мочи нет. Соедините, пожалуйста, это окончание с этим началом: «...Я уже *отказываюсь понимать. Передавать кому-либо из Ваших знакомых я не намерен, не желая заводить сплетен и возбуждать против Вас неудовольствие. А сам, как энергическое излияние, я его одобряю,* но ненавижу намеков, употребляемых только с виновными и сплетниками. *Письмо было бы недурно,* если бы отличалось большею категоричностью и откровенностью». Позвольте, больше не могу! Что это? Ведь смысл этого — бессмыслица. Что он хотел сказать всей этой ерундой? Не буду передавать знакомым — что? — не желая возбудить — чем? — против Вас? — чье? — неудовольствие. А сам одобряю энергическое излияние — кого, чего? — письма, вероятно; но каким же образом оскорбятся этим письмом другие, когда он, признающий до некоторой степени личность для себя в письме, нисколько не хочет *заводить сплетен и возбуждать*? Потому, вероятно, что он *мой друг,* а ведь другие — о, другие меня не терпят, а потому я их сейчас должен ему выдать. Какая невежа! Какой осел! Какая добродушная свинья!

3 февраля

Выписывать дальше не стану, видя полную того невозможность и убедившись, что не хватает способности сразу выяснить всю чепуху. Перейду к самому концу письма, в коем достается уже и Вам. Описывает разные сезонные удовольствия, открывшиеся в Петербурге, и, между прочим, Передвижную выставку. «Спаситель» Крамского очень хорош, *но и цена ему шесть тысяч руб.,* полученная с Третьякова *в мастерской* еще, *тоже недурна.* При этом произошла следующая *комедия:* Третьякову далеко прежде хотелось купить картину, но Крамскому *почему-то поломаться захотелось,* и вот он пустил в ход *своим эхам,* для распространения, что картину не следует продавать в мастерской, чтобы не надуть покупателя или не обмишуриться самому, а выставить на суд публики, и тогда только, сообразуясь с судом оной, можно назначить настоящую стоимость картины. Мысль — действительно хорошая, *но 6 тысяч* лучше». Скажите, какая связь может быть

между мыслью и 6 т. руб.? О боже мой, боже мой! Эти 6 тысяч, ах, эти 6 т. его иссушат! Но продолжаю без комментария: само письмо ясно, как день. «Говорят, картина Ивана Николаевича продана. Как! А суд публики? Ее уже осудили достаточно хорошо те, которые видели ее в мастерской, так что это еще лучше, компетентнее публики. Ну, и хорошо; к чему же было проповедовать *другое*?» Что это «другое» — никому не известно. Но эта бессмыслица еще не последняя. Вот и еще: «А вот другой случай, как у нас сильные умы и воротилы обходят свои же постановления, когда они им несподручны. При поступлении нового члена в Общество четвергов, распорядитель заявляет присутствующим членам, и члена должны баллотировать. Хорошо. Однажды *я объявляю* о желании быть членом одного из известных *всему* Обществу лиц» (даже самой пустой вещи описать понятно не может!) «и, чтобы обойти ненужную формальность, предлагаю спросить голословно, и потом, вследствие заявления многих из членов, совсем *баллотировку* уничтожить. Ге и Крамской отстояли необходимость баллотировки и заставили по всем правилам пробаллотировать. Значит — уважение к постановлениям и *не отступать от заведенного* порядка. На днях, в первый раз, как существуют четверги (!), является скульптор Забелло[1], братец m-me Ге, и заявляет желание быть членом. Я, по заведенному порядку, *хочу проделать все фокусы, как вдруг Ге* предлагает для сокращения процедуры прямо обратиться к Обществу — *мне и на руку* (?). И выбрал Забелло членом без формальностей, тот самый, который стоял за них. Это — факты, а *не сплетни анонимные* (мои т. е.); я их пишу и *за действительность их отвечаю*». Ну, больше мочи нет! Как Вам все это нравится? О бедный, отринутый Нецветаев! В твоем лице оскорблены честь, истина, соображения умственные и нравственные — все, чем человечество должно гордиться!.. О, плачь, плачь, оскорбленная невинность! Нет больше на свете правды! Крамской получает 6 тысяч!!!! Рекомендация его, его, Нецветаева, не ставится ни в грош, и баллотируют лиц, им рекомендованных; постановления не ставятся выше лиц, вполне достойных исключения, — словом, конец миру! Но — главное — конец мира виден из того, что 6 тысяч получает Крамской, а не Нецветаев. Нет, положительно не могу оставить в покое 6 тысяч! Шесть тысяч Крамской получил, шесть тысяч!!! Господи, да что же это? Тут Общество не уважает лиц, рекомендованных Нецветаевым; тут Ге без труда вводит Забелло в члены; тут... тут... Крамской... получает шесть тысяч!!! Ведь это... это удар в сердце, в пузо, с разрывом удар!!! Шееесть тыысяясячььь!!! Вот кое-что из письма-monstre'а[2]

г. Нецветаева. Можете себе представить, как я хохотал в душе, представляя себе Нецветаева, надежды которого лопаются одна за другою, как мыльные пузыри. Вы получ... Но Вы физиономист, и потому представите себе его отлично. Вот, признаюсь, выражение крайне сложное, произвести которое трудно с помощью только кистей. Представьте только себе его хрюкало, когда он узнал, что Вы... для красок задача трудная до крайности. Ну, чорт его забери! Много ему места отдал [3]. Может, это для Вас в высшей степени неинтересно. Ну, тогда прошу извинения. Нет, извинения просить не стану — с какой стати? Если Вам не интересно, так интересно мне; а так как Вы мой друг, а каждый друг *по уставу* должен разделять все пополам, то и кушайте, хоть и морщится лицо, а все-таки кушайте: на то — друг. Это письмо Нецветаева все-таки дает некоторое понятие о том, как смотрит на положение мое и мои действия большая часть знакомых мне людей; да и относительно Вас тоже это — истина.

Продолжаю писать на конкурс [4] — что-то выйдет! В самом деле, теперь я уже сам до крайности, до последней крайности, стеснил свое положение, свою свободу решением писать на конкурс. Это — решение человека, поставленного в положение, которое заставляет его ставить на карту очень большие куши, в надежде хоть немного отыграться. К концу марта, не позже самых первых чисел апреля, я должен окончить заказ — последний — Владим[иру] Александр[овичу], а именно ширмы, т. е. четыре панно для них. Они еще не начаты, даже подрамков и холста нет (кстати, передали ли Вы Григоровичу мою просьбу о высылке холста?), а время идет. В два месяца и четыре картины написать очень трудно; хотя это не картины, положим, но я хочу написать пять. Одна конкурсная картина займет много времени. Ох, не буду лучше и дотрагиваться до этой, в самом деле больной раны!

Погоды почти весь январь стоят, как на смех, отвратительные, в том отношении, что тьма чертовская и приходится иногда не брать кистей в руки по два дня. Этого еще не доставало! Вчера было вышло солнышко, попекло немножко, а сегодня — опять тьма и туман. Картина моя — странное дело — то кажется мне очень хорошей местами, то вся с угла до угла отвратительнее всего на свете. Но первое бывает уже очень редко. Мнение, какое у меня о ней составилось, есть следующее: есть места положительно недурные, которые ни при каких условиях не изменятся; но есть и такие, и притом большинство, которые до крайности вялы, безжизненны, глупы. Особенно сильно меняются для меня ее тоны: что день, то и перемена — то в желтый, то в синеватый, *мертвецкий* (!),

то в мучнисто-однообразный. Кажется также, что не отделаюсь от вялости и замученности во многих местах. Избегнуть этого трудно по недостатку времени и по нерациональности письма, которое теперь в некоторых местах уже страдает от невольно большого употребления сиккатива и разложения красок (химического). За последнюю картину[5] князь *назначил* цену сам — 800 рублей. Это, Вы понимаете, не помогает мне и моим расчетам, которые совершенно такими непредвиденными обстоятельствами разрушаются. Это — после того, как я думал, что получу за картину 2000 р. Эта цена 2000 необыкновенно безобразною покажется только тому, кто не знает, чего она мне стоила. Я уже не говорю в нравственном отношении — эту потерю рублями не исчислишь, — но прямо в отношении средств денежных[6]. Если я писал ее месяц, то потерял даром пять, в которые заработал бы, при том направлении, которое я в последнее время установил и которое, благодаря этой неудаче, снова разрушено, не одну тысячу рублей. Я уже не говорю, что чистыми деньгами затратил на нее 350 рублей; следовательно, за картину я получил 450 руб. Очень хорошо!

Здоровье так же плохо, и доктор весьма недоволен этим; но на все мои вопросы ничего решительного сказать не хочет, т. е. не уверяет, что болезнь не очень серьезна, но и не говорит о том, насколько она имеет шансов развиться. Микстуры и всякая дрянь постоянно переменяются, и я равнодушно глотаю и серые, и белые, и розовые, и всякие жидкости. Даже по утрам, точно камер-юнкер, сижу с чашкою какао и бисквитами — и все для лечения! Ну, это хоть не противно; а то вот рыбий жир — это уже совсем другое и на камер-юнкера совсем не походит... Послал в Совет Академии прошение[7]; в тот же день и письмо к Вам было отправлено, но коротенькое. Чем *решат* мою участь? Неужели не кончено еще? Всякое бывает, да и не привыкать стать! Не особенно-то меня Федор Тирон[3] балует. Надо будет, в самом деле пора, — затеять с Григоровичем переписку о посылке за границу. Вот как и это сорвется! Что же мой план относительно *нашей* поездки по святым местам-то, по Египту-то? *Или Вы соберетесь в это плавание годиков через пять*? (Нецветаев меня ест же, отчего же я не могу есть Вас? Пустяки! Никто не запретит!) Нет, в самом деле, об этом стоит подумать. По Египту попутешествовать — это чего-нибудь стоит. Вот бы пожили чудесно! Матушка всем вам от всей души желает всего хорошего. Я бы ее отпустил в Петербург раньше себя, но это положительно вредно для меня и может не так кончиться, как нужно. Препровождаю послания Романа. Однако он того... плохо строчит-то.

Желаю всего, всего самого расчудесного, а Софье Николаевне здоровья неизмеримого. Ну, да она теперь, наверно, поправилась. Письмо это из Ялтинской почтовой конторы поедет в Питер не ранее 6 числа, итого четыре дня лежать будет без нужды здесь. Напишите, пожалуйста, что-нибудь, а главное, что Вы теперь делаете? Все портреты, или уже принялись за спасовские [9]? Пишите, ради создателя! Жду с нетерпением. После *письма* о форме прошения ничего еще не получал от Вас, а такое письмо, согласитесь, ненадолго утешит.

Весь Ваш *Ф. Васильев*

41. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

8 февраля 1873 года
Ялта

Ах, если бы Вы знали, что приносят мне Ваши письма! Я нисколько не преувеличиваю их значения, нисколько не ошибаюсь в их пользе для меня. Не подумайте, что этим я хочу косвенно намекнуть на то, что чем больше Вы мне напишете, тем лучше. Избави бог! Пишется столько, сколько допускает натура, и требовать большего — требовать усиленного, а все усиленное, как ненормальное, может носить в себе некоторую водянистость, которая не будет обладать большим количеством *сути,* а добиваться *количественности самой по себе* — не в моих желаниях. Тайный смысл этого всего, во всяком случае, не уйдет у Вас из глаз, а потому заранее скажу откровенно: если бы мне и приятно было получать побольше писем, то Вы прямо можете сказать мне на это: «довольно и того, что есть, уже потому, что ты сам не знаешь, лучше ли было бы увеличивать». Да, я опять начинаю хворать, но думаю, что это от меня лично зависит. Мне вообще кажется — нет, гораздо больше, чем *кажется,* — что здоровье мое ушло куда-то и никогда не вернется даже настолько, чтобы не мучиться, по крайней мере. Я совершенно забыл ощущение здорового человека. (Может быть, это только и настраивает меня — эта забывчивость — на такие неутешительные мысли). Во всяком случае, я опять так разбит, что в настоящее время не могу верить в восстановление моего прежнего здоровья. Впрочем, об этом говорить не стоит по двум причинам: во-первых, никому не известно, как пойдет болезнь и чем кончится, а во-вторых, если исход болезни определен — хороший или дурной, то говори, не говори, толку будет мало; а потому — молчание. (Теперь все-таки как будто лучше идет).

В Крыму весь январь месяц стоит отвратительный, не по холоду, а по тьме и ветрам. Только в последние дни явилось солнце и, с ним вместе, какое-то оживление, даже во мне. (Недаром говорят, что солнце — большой доктор). То, что Вы говорите про ранний возраст, совершенно неверно, уже потому, что *он* давно прошел; по крайней мере, я его в себе не замечаю. Может быть, под ранним возрастом Вы разумели что-нибудь другое, но и этого не может быть. Значит, вернее всего — Вы ошиблись, думая, что *он* на меня дурно действует или, по крайней мере, мешает мне. Это мнение очень важно потому, что, допуская во мне ранний возраст, Вы многие явления приписываете ему, тогда как эти явления должны быть отнесены к другому деятелю. Деятель этот — натура, которая во всех возрастах остается одна и та же по сущности своей, а потому и явления, ею производимые, не могут *перейти, исчезнуть* или принять другую форму. Это я пишу по обыкновенной моей с Вами, дорогой друг, откровенности; уверенный, что то или другое происходит из такого-то источника, я нахожу нужным сообщить Вам мое убеждение, несмотря на то, выгодно или невыгодно для меня это сообщение. Вывод из всего этого во всяком случае не в мою пользу, ибо вывод этот следующий: вредные для меня, как для художника, порывы *исходят не из возраста,* влияние которого *временное, а из натуры,* природы моей, влияние которой не временно, а постоянно; поэтому и порывы эти будут постоянны до тех пор, пока существует натура. Не стану говорить, что эти порывы полезны, так же, как не стану приписывать им дурного, не зная наверное ни того, ни другого. Есть еще у меня странные поступки и желания, стоящие совершенно независимо от натуры моей. Их я присоединяю к поступкам внешних влияний и обстоятельств, окружающих меня и заставляющих меня действовать так, а не иначе. Следовательно, ставятся два вопроса: первый — *можно ли и нужно ли уничтожить некоторые* действия натуры, вредные мне, как художнику? Я, конечно, могу уничтожить только некоторые стороны натуры; но, уничтожая их, не нарушу ли я общую гармонию, не отниму ли я одного из двигателей ее? Это еще никому не известно и не *может* быть известно.

Второе, — могу ли я сам лично быть главою, строителем, так сказать, окружающих меня влияний и обстоятельств? Ведь можно без риска сказать, что эти влияния — самостоятельная сила, итти против которой так же невозможно, как итти против климата, света, мрака и т. д. Я глубоко уверен в том, что эти влияния *внешние* неотразимы совершенно, и если есть люди, которых не подавила эта сила, то из этого

следует то только, что эти люди были во множество раз крепче других по своему устройству, и потому *на них это влияние не заметно;* но что оно влияет на всех неотразимо, это не может подлежать сомнению. Огонь плавит жир и другие вещества немедленно при своем приближении; платина же поддается ему после несравненно продолжительнейшего сопротивления, но все-таки плавится. Человек — сила, давление нравственной атмосферы — бóльшая. Эти два вопроса, особенно последний, тесно связанный с моими обязанностями к моему семейству, — вопросы слишком сложные для того, чтобы можно было решить их быстро, сразу.

Не надо писать, не хочу писать потому, что чувствую всю бесплодность и ненужность этого. Зачем? К чему? Все будет так, как должно быть. Если я не сойду с ума раньше, чем сделаюсь художником, — хорошо; не успею — не успею, и рассуждать об этом нечего. Будет то, что должно быть. Что такое художник, что такое человек, что такое жизнь? Несут паруса — плывет судно; нет их — встало, и кончено. Чего тут еще? Надо вон отсюда скорей уехать; это — так, не потому, что это — все, а потому, что это стоит прежде всяких других вопросов, потому, что это пошло до крайности и нужно бросить.

Хочу Вас попросить бросить все это навсегда, но не могу поручиться, хорошо ли это, а потому действуйте от себя лично, не обращая внимания на мои просьбы: прежде всего и всегда убеждение должно быть на виду, а всякие соображения с моими замечаниями ни к чему привести не могут, а потому, повторяю, поступайте, как найдете нужным. Я начинаю думать, что много нехорошего придется Вам слушать, если Вы пожелаете продолжать со мной дружбу. Такие люди, как я, — люди невыносимые. Я никогда не написал бы Вам ничего подобного, если бы не был уверен в Вашей глубокой благоразумности и вполне сложившемся характере, т. е. что на Вас не очень дурно может повлиять рассматривание таких сплошных язв. Да, друг мой, жизнь моя и жизнь других людей разрывали на части и мою душу, и мое тело... и ничего другого. Писать такие вещи — подло, тем подлее, чем больше любишь человека, которому пишешь, и чем больше уверен в его сочувствии. Ведь здравый смысл и честь прямо заставляют разорвать это письмо; но что-то удерживает и заставляет высказаться — высказаться, чтобы кто-нибудь из *людей* слышал. Что это, зачем? Неужели затем, чтобы облегчить, *объяснить* себя? Да, ничего другого не найду. Да, это — подлая страсть *поделиться* страданием. Небось, не так охотно делятся счастьем! Ну, что же, когда божий мир так гнусен, жалок, что и примеров взять неоткуда. Но почему же это грустно? Это

может быть и смешно, даже это вероятнее. Однако дружба дает хорошие плоды! Кто-нибудь непременно вкушает от сего плода, далеко не сладкого. Признаюсь, Вам много вкушать приходится. Как же требовать от людей чужих, чтобы они старались друг другу делать только *приятное,* когда два человека, искренне друг другу сочувствующие, угощают подобными мерзостями? Позвольте, тут уж я становлюсь даже бесчестным, написавши: «друг другу». Надо было написать: «*я угощаю*», а не «друг друга». Но это случилось просто от сильного наплыва дребедени в голову, который помешал точности выражений. Но это не единственная, впрочем, в этом письме ошибка. Ну, довольно Вы наглотались всякой мерзости...

Картину конкурсную пишу[1], настолько, впрочем, насколько позволяет здоровье, т. е. не собственно здоровье, а процедура лечения и небольшая энергия. Странно, что картина начинает казаться сносной, и притом это продолжается по нескольку часов. Дай бог, чтобы это была хоть отчасти правда. Скоро кончу — скоро потому, что *надо кончить.* Напишите, позволяете ли Вы посылать ее на Ваше имя. На днях получил от Третьякова очень милое по чувству письмо, в котором он, между прочим, пишет, чтобы я назначил цену этой картины, которую он советовал приобрести своему брату. Я ответил, что оценить то, *о чем не имею ни малейшего понятия,* я не могу. (В самом деле, я в Ялте могу назначать цены только на заказы, ибо последние не нуждаются, чтобы автор понимал их, т. е. видел их достоинства и недостатки, потому что и те и другие в заказе не существуют). При этом я написал, что это устроить, оценить т. е., можно только при посредстве нейтрального лица. Это лицо, *конечно, Вы.* Друг мой, неужели Вы еще не посылаете меня ко всем чертям со всеми моими атрибутами? *Я совершенно серьезно начинаю подумывать* о том, что перешел границу всяческих дружеских отношений, хотя бы самых глубоких. Ради бога, напишите, если я уж становлюсь Вам невыносим своими просьбами, которые могут ставить Вас в не совсем ловкое положение. Можно требовать услуг, но требовать того, что я требую, — это выходит из всяких рамок. Ведь прося Вас вести оценку моих картин, я ставлю Вас в весьма неловкое отношение к Третьякову. Подумайте об этом! Во всяком случае, я жду от Вас известия о том, могу ли я послать мою картину на Ваше имя, прося оценить ее, и пр. Не знаю, поймет ли Третьяков, что я отказываюсь оценить картину потому, что не имею на это положительно никаких средств, и не подумает ли, что это какая-то уловка не вести дела прямо с ним. Я все-таки очень обстоятельно объяснил ему, *почему* я не могу оценить картину[2].

Мне оценить! Да я не могу сказать даже приблизительно, что такое моя картина. Может, это хорошо, может, это отвратительно. Чем я буду руководствоваться? Вечная история, если я еще здесь останусь. Не отложат ли срок конкурса, а то я буду торопиться к 1 марта, а там, смотришь, до 1 апреля отложат?

Однако Репин превосходит *даже мои* ожидания. Я еще понимаю такой продолжительный труд над чем-нибудь *серьезным;* но трудиться так над чурбаном, в который художник не сумел вложить даже *какого-нибудь интереса,* — признаюсь, совершенно непостижимая охота [3]. Ведь это совсем *не бурлаки, даже не мужики.* Исказить до такой степени огромный сюжет могут только несчастные птенцы Академии. Впрочем, Вам давно известен мой взгляд и на Репина, и на Академию [4]. Савицкий... не знаю наверное, хотя он подавал мне нередко надежду на нечто более здоровое. Бедный, *он болен*! Я с глубоким сочувствием его обнимаю; передайте это ему *буквально,* если можно. В нем есть то, чего в большинстве не находится, — душа. Положительно его подавляет болезнь, хотя о ней немногие знают и догадываются. У него, например, легкие никуда не годятся, да и вообще грудь плоха. У Репина есть идиотизм. Отчего он происходит? Бог знает, но он положительно есть и постоянно останавливает его; а жаль — он чувствует форму (что это за глупые суждения). Слышал о Макарове [5] из Иерусалима, от тетки, у которой он был с великим князем Николаем Николаевичем. Вот Макарову счастье привалило! Он, я думаю, на седьмом небе. Завел себе духов целый магазин, накупил самых глупых фасонов рубашек, цилиндров и проч., и ничего в Египте, кроме себя, не видит. Воображаю, какую пользу принесет ему это путешествие... ха, ха, ха!! Впрочем, не желал бы быть на его месте. Ну, да ведь это я не желаю, а Макаров... это дело другого рода. Он, бедный, получивши золотую медаль, я думаю, недели две одержим был головокружением, а тут еще с великим князем едет в Египет!!! Он *заберется* в угол, когда остается один, и, зажмурив глаза, улыбается во весь рот, даже немного визжит от крайне счастливого своего карьера. Я ведь его знаю! Чудной человек, до последней степени чудной. Ну, о птенцах довольно. Иван Иванович полное право имеет покусать некоторое время ногти: так много работал последнее время. Как я все последнее время тревожусь за него, так это просто бог знает! Как бы он опять не заснул. Ведь в последнее время он совершенно *особенно* работает, как бы усиленно. Дай боже ему продолжать *так, как начал,* и хорошо было бы, если бы и последняя его песня была лебединая. У нас с Ива-

ном Ивановичем еще до отъезда странные какие-то отношения завелись... Бог его знает! Нехорошо будет, если он соберется писать на конкурс очень поздно. Ему теперь необходимо, во-первых, немного отдохнуть (я его знаю), а во-вторых, не провалиться на конкурсе, если будет писать. Это последнее, т. е. неудача, на него всегда действует как-то странно. Обыкновенно человек провалившийся или старается сделать лучше, или уже не ставит ни на какие соревнования (Клодт[6]), но Шишкин от этого только теряется и начинает делать хуже и хуже, — я это положительно заметил. Об этом говорить — значит, строить только предположения, как и что будет; — бросим!.. Панов, правда, писал мне раз, но я не отвечал только потому, что страшно боюсь увеличивать переписку, которая и так меня сокрушает своею громадностью. Переписываюсь не со многими, а писать приходится бездну (в Ялте я истратил *три стопы* почтовой бумаги!!). Можно будет — отвечу. Он, правда, малый хороший; правда и то, что рыжий. Григорович выслал мне половину 800 рубл., из коих 400 в счет долга Общества, согласно нашему обоюдному желанию. Цена 2000, как Вы пишете, немыслимая за такую *картину*. Согласен, но *за заказ* — стало быть, совершенно возможная. Я ведь раньше еще писал Вам, что цену хочу взять безобразную, но также писал, кажется, и почему хочу или, скорее, имею право взять оную. Но справедливо и то, что в это входить не станут. Тем не менее, я с заказами потерял 4000, или и еще того больше. Это — верно. Все финансовые соображения, удерживающие меня здесь, совершили кувырк-коллегию. А ширмы все-таки надо написать к концу марта; они еще не начаты *совсем*, т. е. даже и сюжеты неизвестны, а между тем Монигетти[7], которому заказаны самые ширмы, бомбардирует меня просьбами через Лазаревского о высылке татарских надписей под картины, кои должны быть вырезаны на дереве ширм. Положение!

От души спасибо за то, что холст уже выслан, — значит, скоро получу. Почта идет, как черепаха, так что ждешь, ждешь... Боже мой, от просьб не отделаешься! Просил я Вас послать самоучитель *французского языка* и для Романа *программу гимназии*. Простите, родной мой! Но что мне делать? Надо, а я так много потерял времени, в которое мог бы сделать большие успехи в языке, столь мне теперь необходимом. Целые два года даром прошли. Дурак я, что давно не позаботился об этом. Как придется мучиться во время поездки — вспомню, да поздно. (Еще состоится ли?) В Питер буду в июне, или в июле *непременно*, несмотря ни на что. Доктор говорит, что ехать позже положительно невозможно,

и сверх того, советует быть не более *двух недель* (!!!). Это уже там увидим, но в Питере буду; заложу жен, детей, но буду. Но ранее конца июня или июля — немыслимо: не будет ровно никаких средств и без расплаты долгов. Но что *еще* может осадить меня — это конкурсная картина. Если она будет вроде «Эриклика», многое пропало... Поездка все-таки не задержится, поездка в Питер, конечно; поездка же за границу может блистательно лопнуть... и... и винить некого. Во всяком случае, гоньбу за двумя зайцами не брошу до последних сил. (Вы понимаете, что́ у меня играет роль другого зайца? — Семейство! Что ни толкуй, а без содрогания *совести* этого не сделаешь, и я уверен даже, что мне не придется испытать этого содрогания, потому что такое содрогание может меня совершенно разрушить. Не будет же судьба преследовать меня до такой степени). Что касается до того, что Вы советуете как-нибудь выйти из моего критического положения, которое не должно продолжаться, то на это есть только одно средство, которое я Вам уже описывал, это — сидеть в Ялте до июля. Других средств нет; ну, значит, и кончено. Большинство моих поступков считают глупыми, по крайней мере ненужными; согласен, если мне явят пример безупречности даже в этом отношении, в отношении поступков внешних, неважных. Да и хватает же, даже у Вас, дорогой мой, духу обвинять меня в некоторых *шалостях*! Это Вы чувствуете, насчет чего? Хорошо, я делаю неблагоразумные вещи, трачу иногда деньги *чорт знает на что;* но что же из всего этого? А? Человек работает, борется, приносит пользу — молодец. Тот же самый человек в минуту свободы — весьма редкий случай — сделал себе что-нибудь для собственного удовольствия, — урод! Что он делает? Я сам сознаю, что делаю глупости, сознаю это в совершенстве; но это — вещь совершенно посторонняя, не имеющая значения. Я, во всяком случае, Вам объясню свои поступки, объясню их, конечно, не письменно — где тут — а при встрече. На меня и на мою жизнь смотрят до крайности несправедливо. Это уж вид у меня такой, должно быть. Если бы я кому-нибудь рассказал свое существование с тех пор, как я себя помню, никто не заметил бы во мне подобных недостатков. Друг мой! Это не упрек Вашим замечаниям, Вы это знаете, а желание, чтобы хоть один человек знал меня всего, всего, как я есть, всего без утайки. Вы это узнаете, если захотите слушать. Во всяком случае, в тысячный, кажется, и *последний* раз напоминаю Вам то, *что никакие мои соображения не должны мешать Вам высказывать то, что Вы чувствуете, в чем убеждены: это — наша связь, цель нашей дружбы.*

9 февраля

Да, ради бога, известите, заказана ли рама на конкурсную картину [8]. Не опоздала бы. Чем шире будет рама, тем лучше. На всякий случай повторяю размер:

Ширина просвета: вверх	1	арш.	$11^1/_8$	вер.
или ровно	1	»	11	»
Ширина просвета поперек	1	»	4	»

Беру просвет потому, что по подрамку заказывать раму нерационально, ибо подрамок расколачивается, а потому увеличивается и часто не входит в раму.

Как бы я хотел посмотреть теперь что-нибудь из Ваших работ! Посмотреть эту необыкновенную логичность работы, которая пропитывает насквозь Ваши вещи, крайне для меня было бы полезно, а главное — приятно. С тех пор, как я с Вами познакомился, особенно с тех пор, как начал всматриваться *толково* в Вашу методу работы, я ясно увидел огромную разницу между нею и другими методами, т. е. отсутствие последних у других. Я все время, с тех пор как работали, помните, вместе в Вашей мастерской, стараюсь всеми силами уловить эту логичность исполнения и взгляда на природу. Только эта логичность дает картине ту компактность теней и тонов, которая дает силу картине, силу, так сказать, физическую, а главное — помогает выразить то, что нужно, понятнее. Что, Вы не снимали фотографии с «Христа»? Если сняли, то *должны* выслать — без отговорок. Я Вашего «Христа» увижу раньше, чем Вас, потому что *придется остановиться* в Москве на некоторое время [9]. Каждый месяц, ушедший в вечность и приближающий тем самым мой отъезд отсюда, будет в то же время развивать во мне необычайный электронервный ток, который в последние дни перед отъездом перейдет, вероятно, в слышный треск с искрами, и в настоящий гром, когда сяду на пароход. Впрочем, на пароход не придется сесть по весьма простой причине: к тому времени будет готова ветвь железной дороги от Симферополя до Харькова. Каково? Так давно живу здесь, что уже построили железную дорогу! Я думаю, что только тогда обойму пространство времени, проведенного мною здесь, когда буду ехать по Петербургу. *Теперь еще не могу себе ясно представить, давно ли я в изгнании, много ли воды утекло...* Да, воды много утекло. Вот и борода так вытянулась, что уж без всякого труда можно в кулак ухватить, да и усы уже начинают раньше зубов пробовать все, что ни поднесешь ко рту, а Роман часто замечает: «Федя, у тебе пепел на бороде». И ведь не удивляешься... Еще вчера только не было

ничего дороже широкого луга, речки с купающимися ребятишками, ружья самодельного, даже бабки; а теперь?.. Далеко-далеко укатилось детство, и никогда не вернется с своим радостным, свежим утром, с криками и смехом, с хрустальными чудными дворцами и со всем, со всем своим таинственным очарованием... Как перейдешь к таким воспоминаниям, чудятся серые ивы над ровным с камышами прудом, чудятся живыми, думающими существами. Чорт знает, какое хорошее было время! Если бы мне сию минуту перенестись в такое родное место, поцеловал бы землю и заплакал. Ей-богу, так! Глубок, глубок смысл природы, если его кто понять может! Если Вы, в самом деле, переедете на лето в Воронежскую, то, *может быть,* и мне удастся туда же переселиться. Я об этом подумаю. Но Вы не пишете, одни Вы или с семейством туда переселитесь? Какие все заманчивые вещи для меня случаются последнее время! В самом деле, это, может быть, возможно?.. Ну, не буду об этом думать, пока, во-первых, Вы не напишете, как Вы хотите устроить свое житье, а во-вторых, пока не узнаю хорошенько хода болезни, или, скорее, ее смысла. Я думаю теперь, что надежды на это не много. А почем знать? Вдруг здоровье начнет гигантскими шагами преследовать всякие пакости? Всяко бывает, — значит, и так быть может. (Если бы Вы знали, как я привык писать! для меня теперь откачать десть бумаги сразу — сущий вздор. Больше всех пишу, конечно, Вам, но больше только в частности; в общем же письма к Вам есть одна треть *исходящих бумаг.* Просто канцелярия!)

Как проводит время глубокоуважаемая и язвительная Софья Николаевна? Все ли обстоит благополучно и есть ли новые субъекты с немытыми костями? Ах, если бы сюда ее Вы привезли! Вот, скажу Вам, дела была бы куча! Что ни шаг — то и тип, что ни плюнь — то и редкость! Уж как бы мы, доложу Вам, навострились!! Есть тут, напротив нас, грек один, Савопуло прозывается; так ведь это что? Ведь это — просто «одолжайтесь», просто светопреставление, уж и не знаю еще что. Я уже не говорю об его особе — зачем? — Вы только на штаны взгляните. Выше *штанов* я сам поднимался редко, ибо, уже пройдя одно это расстояние, надо отойти от окна, не то непременно лопнешь со смеху. Этот Савопуло *адвокат,* только по своим, впрочем, делам (другие призывают его редко, хотя я никак этого не оправдываю). Этот адвокат начал в нынешнем году в Ялте двадцать семь дел и все проиграл, но начинает двадцать восьмое, уверяя всех, что непременно выиграет. Плодовит необыкновенно!

Настрочил Панову — что же в самом деле за труд! Вот,

кажется, и немного времени прошло с тех пор, как начал это письмо, а уж нечто изменилось и выяснилось. Например, картину конкурсную дней через девять надо посылать из-за боязни, что она застрянет на почте. А как я ее пошлю, не получивши от Вас ни слова *о позволении*? Во всяком случае, придется послать на Ваше имя, потому что ничего другого сделать нельзя. Я не понимаю, как я рассчитывал держать ее еще?! Сегодня вдруг узнаю, что и дней-то в этом месяце всего двадцать восемь!!! Двумя днями меньше — это для меня много! Ах, готова ли рама? Что-то будет? С картиной распорядитесь, как заблагорассудится: покажется годной — ставьте на конкурс, покажется плохой — делайте, что хотите, не забывая, однако, что все, что Вы сделаете, будет гораздо больше, чем я могу желать, не только просить. Относительно цены — то же самое: сто руб., тысяча рубл., рубль — все будет принято за самую настоящую цену. Да, чуть не забыл! Третьякову я писал, что *до тех пор, пока он ее не увидит, картина не может быть продана*[10]. Дорогой мой, сохраните это условие! Ну, довольно писать! Кажется, ничего не забыл особенно необходимого. Да! Если картину можно поставить на конкурс, то нельзя ли устроить свет с левой стороны? Это очень важно. Меня берет ужас!! *По моему расчету, картина поспеет не ранее 2 или 3 марта!!* Ну, что же делать? Опоздает, так опоздает. Ну, я вижу, что опять впаду в гнуснейший из тонов, а потому и кончу.

Ваш *Ф. Васильев*

42. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

13 февраля 1873 г.
СПБ

Хамелеон [1]

Дорогой мой Федор Александрович!

Вчера получил от Вас одно письмо, а сегодня другое. Вестей куча, особенно второе изобилует ими, — и хотя нового или неожиданного относительно петербургских приятелей в нем не заключается, но известные мне факты освещаются с новой точки для меня, и потому имеют интерес. Будемте беседовать по порядку. Сначала я расскажу все, что до меня касается, на правах дружбы: Вы обязаны также благосклонно (а хотя бы и неблагосклонно) принять от меня то, что лично касается меня, т. е. собственно картины моей [2]. Ох, боюсь я, что когда Вы увидите ее, то Вы будете, пожалуй, удивлены, каким

образом она могла поднять всю ту бурю в стакане воды, которую она подняла. И особенно эти комические 6000 рублей. Да-с, веселое время. Разумеется, не преподнеси я всего этого моим приятелям, ничего бы не было. Но я имел дерзость написать не хуже их, и вот тебе за то. Но будем рассказывать. Не помню, писал ли я Вам, как у нас с Третьяковым происходило дело. Кажется, нет, но чтобы все было для Вас ясно, я повторю. При приезде Третьякова из-за границы в октябре, кажется 12 числа, он у меня спрашивал, что стоит моя картина. (Раньше того Солдатенков был у меня и тоже хотел купить, но я ему ответил, что П. М. Третьяков заявил раньше желание, и он откланялся). При этом я сказал, что объявлю цену, когда она будет выставлена, что я теперь еще и сам не знаю, что я сделал такое, так как это моя первая вещь, которую я работал серьезно. И действительно, я был в таком состоянии, что хотя я о ней и думал серьезно, но сказать определенно не мог. Потом, когда стали ко мне являться люди, мне незнакомые, и пошел говор, я увидал, что я не совсем ошибался. Но вот является Боголюбов и объявляет: «Академия желает купить Вашу вещь, сколько стоит?» Я говорю, что я теперь не продаю, что цену назначить не могу и, кроме того, я обещал Третьякову первому объявить цену, а затем уже, если он не возьмет, Академия может купить. Проходит еще три недели, Боголюбов опять объявляет мне, что Исеев от имени Академии явится к Вам, чтобы узнать, продаете ли Вы картину, что в Совете была речь об этом и что он, Боголюбов, высказал предположение свое личное, что картину мою, как он думает, меньше 5 тысяч нечего и думать получить, и чтобы я ответил Академии. «Ну, словом, к Вам приедет Исеев, с тем, чтобы окончить дело, или узнать наверное». Ввиду такого настойчивого требования, я написал Третьякову, рассказал, что Академия уже во второй раз обращается ко мне и что так как я ему дал слово первому сообщить цену, то и объявляю ее. На это он телеграфировал, чтобы я подождал его приезда несколько дней. Я ответил, что жду, сколько ему будет угодно. А Академии сказал, что я ее уже продал. На другой день меня поздравляют с продажею, которая еще и не состоялась. Через неделю является Третьяков и говорит: «Не будет ли уступочки?» Я ему отвечал: «Не будет, Павел Михайлович», рассказал, что «меня уже поздравляют с продажею и что если Вы находите цену мою невозможной, то, ради бога, не беспокойтесь и не думайте обо мне. Я способен повернуть ее к стене и оставить своей семье после смерти, но что меньше 6 тысяч я не отдаю»; что я цену, объявленную ему теперь, мысленно уже давно назначил, но

если не сказал ему ее раньше, то потому, что в самом деле хотел убедиться, не ошибаюсь ли я, и что только настойчивое заявление со стороны Академии вынудило меня раньше времени назначить цену, и что хотя я понимаю весь риск моего поступка, но уж так и быть, принимаю все на свою ответственность. Затем он просил никому не сообщать, что́ между нами было, и картину оставить за ним. Я в наивности своей полагал, что в моем поступке нет ничего особенного, но, как оказывается, ошибался: потому что иллюстрация и комментарии до такой степени интересны, что я не знаю, как уж мне и нужно поступать. Что ж они сказали бы, если бы они все знали, что еще было? Например, во время выставки Совет в полном своем составе явился покупать картину Шишкина, и тут же поднялась речь о признании Шишкина и меня профессорами [3]. Когда я узнал об этом, я написал письмо к Исееву, в котором просил его передать гг. членам Совета, внесшим это предложение, чтобы они взяли его обратно; в противном случае я принужден буду отказаться. Говорят, что была буря в Совете, так как предложение внес Иордан, письмо же мое Исеев показал великому князю. Верещагин [4], Вениг [5], Шамшин [6] и прочая братия очень укушены этим обстоятельством,— словом, Крамской, 6 000, профессор сделались притчей во языцех. Пища для сплетен обильная... Но это еще не все. Министр внутренних дел, будучи на выставке нашей, был в залах Академии, и Исеев его начал допрашивать, как ему понравилась моя картина (весь этот разговор слышал Мясоедов [7], так как он ходил с Тимашевым [8]). Министр говорит, что в его голове не вмещается идея о таком убитом Христе, как он у меня представлен. Тогда Исеев начал петь, что ведь эта картина поедет по России и ведь она будет рассеивать семена ереси и т. д. в этом роде. Тимашев ничего не сказал, говорят. Кроме этих фактов, есть множество других не менее поучительных, но бог с ними.

Теперь я поведу речь собственно о себе, т. е. о картине (а прежде о чем я говорил?). В настоящее время я уже совершенно успокоился, я увидал ясно все обстоятельства дела и могу говорить почти как о постороннем предмете. Картина моя расколола зрителей на огромное число разноречивых мнений. По правде сказать, нет трех человек, согласных между собой. И странно, только теперь как будто даже сами зрители начинают отдавать отчет себе, что это такое. С начала выставки зрители как будто не замечали ее, она такая серенькая, но чем дальше, тем больше, и только к концу выставки у картины толпа горячится, разговаривает, жестикулирует; есть приятели, которые озлились решительно, и, знаете, —

даже до помешательства. Ей-богу, не преувеличиваю. Что их так тревожит — не знаю, но думаю, что лично я для них предмет особенно ненавистный. Но зато, с другой стороны, я был свидетелем такого впечатления, которое может удовлетворить самого гордого и самолюбивого человека, — одним словом, результат сверх моего ожидания. Вперед!..

Простите, голубчик мой, что так много занял места таким предметом. Видите ли, какое пестрое письмо: одна бумажка одного цвета, другая — другого, и что ни лист, то новый цвет, точно хамелеон — эмблема моей личности для других. Но произошло это очень просто. У меня вся бумага почтовая вышла, а у Софьи Николаевны в ящике была эта, подарок Е[вгении] И[вановны] Иконниковой моей жене на память: целый ящик с письменными принадлежностями, где есть и бумага, но все разноцветная. И вот я, волею или неволею, а должен показаться и Вам хамелеоном. Ну, что ж, пусть так и будет.

Теперь еще новость: Савицкому отказывают от конкурса [9], но на каком основании, как бы Вы думали? На том, что он женат. Вот как! Узнавши об этом, он пошел объясниться к Исееву, и тот ему сказал, что это правда; кроме того, еще и за то, что он не исполнял будто бы всех постановлений Академии — не подавал эскизов в третные экзамены, что он не сдавал словесных экзаменов и что он не рисовал в рисовальном классе и не писал этюдов. Как Вам это понравится? Когда Савицкий опроверг все взводимые на него обвинения, сказав, что женат он раньше, чем Академии пришла идея сделать это постановление, что рисовать и писать он не обязан как конкурент, и что никогда этого не было, и что экзамены он и не сдал хотя, но как он в 4-м курсе, то допустить его до конкурса должны все-таки, если допустили Репина, который в 1-м курсе по наукам, то Исеев в заключение сказал: *«Кроме того, Вы принадлежите к такому кружку, который критикует все действия Академии»*. Вот оно куда пошло, не смей быть знаком с нами. Боже, какие мы отверженные люди! Однакоже, несмотря на это, Шишкина признали профессором, и я очень рад, что моя выходка не помешала ему, а он, кажется, очень недоволен был, полагая, что если устранили рассуждение обо мне, то, пожалуй, устранят и о нем. Я очень рад за него.

В настоящее время собирается в Академии Венская выставка [10], приехала Ваша картина «Болото» [11], которая у Третьякова, прошлогодняя конкурсная, и я должен сказать, что она опять на меня произвела впечатление охватывающее — так много в ней какой-то тоскующей поэзии... не думаете ли Вы, что я Вам замазываю? Это будет дурно. Кроме того,

много старых вещей хороших и знакомых уже, а новых, новых нет. Какую гадость прислали поляки [12]. Зато финляндцы просто молодцы! Один из них, кажется, Томас — «Игру в карты матросов» [13] — обворожительно; другой, Линдгольм [14], пейзажист — вроде Шишкина, хуже рисующий, но превосходящий зато поэзиею. Однакож, зачем я завел эту песню? Ведь *Вы не увидите этих картин, а слова...* ну их к чорту.

Вот что, дорогой мой, у Вас в письмах стали опять попадаться вещи совсем ни с чем не сообразные, например: *«Я с необыкновенной быстротой лечу в какую-то холодную бездну и не знаю, что найду на дне ее»*. Постойте, не думайте, чтобы я желал от Вас слышать только веселые и здоровые звуки, в то время, когда Вы растерзаны и почти разбиты (последними обстоятельствами по поводу заказа), но, боже мой, зачем это вообще — вот в чем штука? Ей-богу, я вместе с Вами говорю каждый раз то же самое, и Вы, вероятно, увидали из моих последних писем, что я заметался и все ходил вокруг да около, и все-таки я думал, что здоровье Ваше только лучше и лучше, и вот... т. е. не то чтобы я полагал, что когда Вам нехорошо, то здоровье поправляется, а вообще, что здоровье Ваше, наконец, за чертой тревоги и что хоть с этой стороны можно успокоиться. Нет, воля Ваша, а Вы должны сделать три вещи немедленно: во-первых, отказаться от заказа — что бы там ни было (холст Вам послан), во-вторых, *сделать усилие* и (как говорят в одном романе Диккенса его герои, не помню только, в котором) чтобы не раздражаться, хотя этот совет самый глупый, какой только я Вам давал, и, в-третьих, немедленно заняться устройством своей поездки в Италию, но не так, как Вы думаете, а просто, не говоря Григоровичу ни слова, известить его о перемене квартиры и чтобы деньги Вам были высылаемы по новому адресу. По-моему, это необходимо. Как в самом деле удобно давать советы: взял да и посоветовал. Сидишь да выдумываешь!! Хочется мне заразиться Вашим примером относительно восклицательных знаков, но я понимаю, что и весь тон письма при этом должен быть восклицательный, а так как у меня *слог* несколько крючковатый, то запятые — самые приличные остановки.

Итак, мы друг другу не уступаем: Вы не выезжаете из Ялты единственно для моего удовольствия — чтобы не лишить меня чтения, я же не еду в Ялту опять-таки по той самой причине. Знаете ли, что я в Петербурге почти как в деревне, ни у кого не бываю, ни у меня никто не бывает. Следовательно, можете успокоиться относительно писем, я их читаю охотно, мне в этом занятии так же мало мешают, как и Вам. Кроме того, *«невыносимый»* тон Ваших писем, с течением времени

и вследствие практики, получает все лучшую и лучшую литературную форму. Право, так. Идея прислать на мое имя картину, на конкурс, мне нравится, тем более, что я никаких покупателей в виду не имею, а наслаждение видеть Ваши картины не приелось еще, так как их немного (не все же Вы будете писать скверные и заказные), и потому — смелей, не робея, присылайте ко мне. Я, обнюхавши ее всю сверху донизу, по крайней мере получу от того самое полное понятие, что Вы такое теперь, потому что я чувствую, как Вы растете и развиваетесь, как крепнет Ваша мысль, как, наконец, окончательно формируется характер и как зреет в Вас человек. Ведь все-таки два года уж скоро, как мы только пишем письма, — время для Вас большое и перемен много должно произойти, а я такой же, потому что в моем возрасте перемена, подобная Вашей, может произойти только в десятилетие. Вы не знаете, с каким я интересом и сердечным трепетом ожидаю Ваших картин (вот проболтался-таки). Но не думайте, ради бога, чтобы я Вас наблюдал, как зоолог какое-либо интересное явление, с научными целями; нет, у меня другое в голове. Вы — точно часть меня самого, и часть очень дорогая. Ваше развитие — мое развитие, Ваша жизнь — отзывается в моей; Вы болеете, и я не знаю, что мне делать, и хотя я старше Вас, но это не мешает мне уповать, что я, несмотря на то, могу быть Вашим товарищем. Итак, дайте мне Вашу картину. Не знаю, но мне кажется, что никто так не ждет Ваших картин, как я... Вот пошла зелененькая бумажка. Течение и цвет мыслей тоже должны перемениться. В глазах так спокойно, *но* неспокойно там...

Вчера сидел у меня Иконников, это добродушная простота, вспоминали и рассказывали, и так все далеко как-то стало: вот Васильев на портрете, смотрит как загадочно, и хотя он «открытый инструмент», но все-таки много воды утекло с тех пор, как я его видел в последнее время. Тысячи верст разделяют нас, мы попрежнему говорим все, что придет в голову, а между тем я чувствую рост этого мальчика, что-то он теперь? Дайте мне посмотреть Вашу картину. Что-нибудь — только пришлите. Я как будто уверен, что я должен что-то увидеть новое, мне еще незнакомое, что выросло в мое отсутствие, признаки чего я ощущаю в письмах, но не вижу глазами. Я как будто должен Вас найти взрослым человеком... Не обижайтесь, что я Вас считаю молодым — молодость не есть порок. Я точно заглядываю в свою собственную молодость... Это эгоизм, я знаю, но и эгоизм — человеческое чувство, — и когда он правильно в человеке развит, он никому не вреден, а напротив — в этом эгоизме лежат семена гуман-

ности... Куда только может завести человека откровенность? Ведь, в сущности, что я написал? Потребуйте отчета, я и сам не в состоянии объяснить. А все оттого, что слово, хотя оно и всесильно, как говорят, но оно не образ, только живопись дает реальность мысли. Если бы этого не было, живопись не имела бы смысла. Впрочем, надо же, наконец, изменить теченье мыслей сообразно цвету бумаги. Большая ошибка будет — принявши роль хамелеона, не выдержать ее до конца.

Послезавтра, в четверг 15-го, наша выставка закрывается и едет в Ригу [15]. Да-с, к немцам. Вы как о нас понимаете? — нас просили. Позвольте, писал ли я Вам, что Антокольский вылепил Петра I [16], и писал ли еще, что статуя, несмотря на огромный талант, не совсем удалась и про Петра его можно сказать словами какого-то поэта: *«Какое хочешь имя дай своей поэме полудикой, Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великий ее не называй»* [17]. Если не писал, то пусть оно этим и ограничится. Но если что невозможно оставить так, не сказавши, так это появление картины... Микешина [18]?!!! Ась? Вон оно куда пошло! Да еще какой, в натуральную величину! То есть вот что... Уж если Микешин выступает со своими произведениями, тогда остается признать, что наше время — перед концом мира. Вообразите: малороссийская девушка с ребенком на руках и с лопатой бежит в сумерки куда-то. Сюжет из Шевченко — словом, *«Под вечер осени ненастной»*. И все это изображено в натуральную величину. Ну, не прав ли я, поставляя таким образом вопрос?

Теперь, когда с новостями покончено, я желал бы знать, все ли получаете письма? Я Вам писал письмо вслед за формою прошения, а между тем не видно, чтобы Вы его получили, потому что Вы спрашиваете о Вашем плане поездки вместе на Восток и в Египет. Я Вам писал уже об этом. Поездка моя так скоро быть не может, тем более, что мне нужно перечитать массу сведений, прежде чем ехать, искать и работать. Одно ясно, что поехать сперва нужно в Италию, к развалинам Помпеи, так как самый сюжет, т. е. сцена, происходит во дворце римского правителя Иудеи. Предстоящее же лето я проведу в Воронежской губернии, в мае уеду и пробуду до половины сентября, а может быть, и дальше. В настоящее время я принялся за спасовские работы [19]; кроме того, пишу портрет Валуева [20] и начал портрет наследника цесаревича [21], с натуры во весь рост. Это потому, что я написал портрет графа Бобринского [22], говорят — хороший. Все это или, по крайней мере, большую часть работ нужно кончить до мая. Но кончить ли?

Послания Романовы доставляют младшему поколению великое удовольствие. Матушке Вашей низко кланяюсь. Искренне и глубоко Вас любящий

И. Крамской

Постойте, надо маленькую приписочку сделать: не помните ли, где тот альбом Ваш, в котором есть Ваш рисунок пером, помните, тот, который Вы мне подарили? Лес, в гору идущий, и еще тут бабы, все освещено солнцем и тени наносные? У Нецветаева его нет. Я помню, однажды пересматривал, но не видал. Кстати о нем: знает кошка, чье мясо съела, то-то он со мной утонченно (Нецветаев утонченно!) вежлив с некоторых пор, и какой-то заискивающий минорный тон. Я все думал: что бы это значило. Теперь понимаю: напакостил, и как будто не он [23]. Вы полагали, что у него должна быть логика — да ведь она у него и осталась, — право. А впрочем, какое же право он имеет меня щадить, когда я его всегда с первых шагов знакомства игнорировал? Знакомство было недобровольное. Что мудреного, что он, наконец, начинает сердиться, так как видит, что от меня он не поживится портретиком.

Ну, будет — гнусно.

И. Крамской

43. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

19 февраля 1873 г.
Ялта

Дорогой друг! Посылаю картину [1]...

Получил от Григоровича третьего дня письмо от 2 февраля (каково идут почты?), которое совершенно сбило меня с толку. Дело в том, что Григорович пишет: «Пожалуйста, высылайте картину, чтобы я мог ее выставить во-время, а именно к 20-му». Которого месяца, марта или февраля, — ничего не написано, а потому я поставлен этою невинною недосказанностью в самое гнусное положение. Не знаю, посылать ли картину на конкурс, оставить ли здесь. Ведь если 20 февраля — последний срок, а не 1 марта, как он меня уведомил, то зачем же я трудился, лез вон из кожи, откладывал другие работы? Не думая, что Григорович определил срок 1 марта без основания, я решаюсь послать картину. В день получения этого письма я немедленно ответил Григоровичу телеграммой: «Картину высылаю 20 февраля, ибо раньше нет почты». Ответа не получил, т. е. он не известил меня, поздно или не

поздно посылать картину на конкурс. Ах, как все это меня измучило! Дня нет без какого-нибудь казуса, который всею тяжестью ложится на мои плечи. Прошу Вас еще раз, не забудьте, что картину эту продать нельзя раньше, чем ее увидит Третьяков. Неужели она опоздала на конкурс? Кончить картину, как видите, вовсе не успел. Ну, я об ней говорить не могу. Вы и без того знаете, что я переношу, посылая ее. Выслать раньше было нельзя, потому что нет парохода, который выйдет из Ялты только 20-го, т. е. завтра. Хотя почта и ходит кроме дня пароходного, но она идет восемь и девять дней больше, а потому и нужно было ждать парохода (фу, как нескладно пишу). Здоровье опять хуже немного. Погоды — прекрасные и тепла 14 и 15 градусов; трава и цветы — просто чудо, только гулять некогда. Григорович пишет о поездке за границу, а именно: я, по его совету, должен ехать сначала на *свои* деньги, т. е. на те, которые я получу за ширмы — 2000 руб. Я, конечно, на это согласиться не могу ни в каком случае и поеду только тогда, как буду наверное знать сумму, определенную мне Обществом, и продолжительность ссуды. Григорович забывает и то, что при 2000 руб. мне нужны для уплаты долгов и здесь, и тому же Обществу поощр[ения], которое (полное основание имею подозревать это) не даст мне денег на поездку раньше, как по уплате всего долга. Григорович оправдывает такой способ действий тем, что ни его, ни членов Комитета не будет все лето в Петербурге. Точно нельзя до разъезда членов определить мне сумму на поездку, точно я еду сию минуту. Члены разъедутся не ранее апреля или мая, а до тех пор сто раз можно решить это дело. Сегодня же начну об этом переписку. Меня ужасно бесит Григорович своею неоткровенностью! Точно нельзя написать прямо, что и как; нет, надо подниматься на разные ухищрения, надо мутить и затемнять дело и для себя и для других. Я положительно не понимаю его образа действий; тянет ли он на мою руку, или на руку Общества — понять невозможно, хотя и ни минуты не сомневаюсь в его искреннем желании мне всего хорошего.

В самом деле, бьется человек за меня сколько времени, может быть, ставит себя в неловкое положение, и из-за чего? Писать на этот раз больше не стану. Писем от Вас еще не получал после письма о выталкивании в шею некоторых приятелей, на которое тогда же отвечал. Пишите, если есть время! Свет на картину *должен падать с левой стороны.*

Весь Ваш Ф. *Васильев*

44. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

25 февраля 1873 г.
С.-Петербург

А что, пожалуй, завтрашний день или послезавтра я получу от Вас картину[1]? Почти пора. Письмо сие, как видите, «при всей верной оказии» посылается. Юноша[2] едет в Крым, пейзажист, лечиться, ну, самый подходящий человек, чтобы поскорей доставить самоучитель французского языка, а то, пожалуй, не успею к сроку. Понимаете ли Вы всю соль сего последнего моего самобичевания? Не понимаете? Ну, тогда после объясню, когда-нибудь, при еще более верной оказии. Вчера получили Ваше письмо и долго над ним хохотали; рядом с этим я удостоился письма и от Антокольского, и так как письма эти получены рядом, то как-то возможно было сравнение... впрочем, это после... Панов превращается в совершенного кота, — так же лапки расправляет, так же жмурит и... мурлычет, ей-богу, правда. Знали ли Вы за ним эти стороны прежде? или это уже после у него завелось! Я его не знал собственно прежде, т. е. не наблюдал, ну, а теперь он ходит частенько, то... невольно замечаешь. Объяснение такого разительного сходства лежит в его влюбчивости и теперь он находится под этим влиянием, но все-таки, стало быть, было же расположение к этому в его натуре? Он находится, кроме того, в отличном расположении духа, так как получил от Вас письмо... наконец, и потому все было бы хорошо, если бы он не зажмуривал глаза и не вскидывал головою.

Вот приближается весна (что я напорол!); у Вас там, вероятно, уже лето? (вот это верно, пожалуй) и, следовательно, пора думать, что, как и когда. Думаю, что в начале мая я с семьей уеду из Петербурга в Воронежскую губернию, даже в Воронеж самый, в семи верстах от города; мы устроимся опять колониею. Вот бы хорошо было, если бы кто-нибудь приехал из Крыма, в том случае, конечно, если это не помешает здоровью. Я, собственно, не знаю, зачем Вы поедете летом в Петербург: там в это время никого не будет, ни Григоровича, ни из Ваших знакомых в Академии: Репин уезжает за границу, Савицкий... не знаю куда, только он уже не конкурент[3], об этом я писал, да и мы не будем. Полагаю, что лето проживем опять с Шишкиным. Впрочем, наверное, с ними ничего нельзя сказать вперед.

Замечаете ли, какое письмо невозможное? Что я ни начну писать, все ставлю точку, начинаю другое. Хотелось бы при верной оказии сообщить побольше, хотя я и не думал писать письма собственно как следует, а только поскорее написать

хотя что-либо, так как юноша едет; вчера я об этом узнал и только сегодня утром рано пишу письмо. Писали ли Вы письма в 7 часов утра? И не то что не спавши всю ночь, а утром вставши, но не выспавшись основательно? Вот я и пишу теперь так. Холодно утром в комнатах (это к лету-то), еще не топили, рука скачет, икры озябли, в голове разный хлам, мальчишки просыпаются и болтают, прислуга метет полы, и я оставляю письмо, — ибо нельзя. Напишу после — как хотел, Жалко бумаги, отдеру, ей-богу, отдеру, не для того, чтобы сделать из нее употребление, а чтобы не было чистой бумаги: как-то думается, что бы еще можно было сообщить хорошее? Больше, ей-богу, ничего не могу писать — озяб.

И. Крамской

Нет, возьмите себе.

45. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

25 февраля 1873 г.
Ялта

О счастливый день! О боги! Сегодня я получил от своего друга письмо, письмо в четыре с половиною листа! Где взять слов и красок, дабы достойно воспеть сей высокоторжественный день! Да-с, милый друг, сперва выслушайте нравоучение за Ваш подарок, и уж потом воспримите должную хвалу. Я целый день сегодня читаю это письмо. (Не подумайте, что оно так велико, что его в скорейшее время нельзя прочесть. Ошибетесь. Это случилось только потому, что я *устраивал себе продолжительное чтение,* прибегая к паузам и прочим вспомогательным средствам). Ну, словом, я получил сегодня письмо в четыре с половиною листа — других слов не нужно, потому что слова «четыре с половиною листа» гораздо резче и ярче обрисовывают сегодняшний день, день 25 февраля 1873 года. (Ай, ай! В 1871 году я прибыл в Ялту, и вот, не выезжая, приходится писать: «Ялта, 1873 г.»; это — ужасно). Ну, спасибо, большое спасибо! Не ожидал!.. Ну, с чего бы это начать? Вечер, девять часов и три четверти. Лампа изображает солнце своим шаром и постоянно — ровным светом. Мама сидит напротив меня, по ту сторону круглого стола, покрытого очень красивою, черною, с разными разводами, салфеткою. А вот и пилюли с длинным, как хвост, ярлычком. Куча альбомов, страницы которых усеяны эскизами, большею частью совершенно глупыми. В настоящую минуту некоторые страницы этих альбомов усеяны эскизами *ширм.* (Ваши советы бросить

этот заказ опоздали!) Длинные такие и неуклюжие эскизы, точно солдаты, готовящиеся к смотру и из кожи вон вылезающие от старания принять *видный* вид. Но именно поэтому-то отдуваются только щеки у этих солдат-эскизов, оттопыривается брюхо и выступает пот. Вот мраморное блюдо; на нем лежит боком печать, изображающая герб известного Вам неизвестного художника. Вот записная книжка, полная графами: «расход»; «приход» чувствует себя до такой степени маленьким человеком, что не осмеливается занять более полулистика, и то, кажется, повесив голову, плачет о своей судьбе, которой заправляют великие князья, обходя даже ближайшее начальство. Вот портфель, давно разучившийся закрывать свой рот — так немилосердно хозяин напихал туда всяких писем, записок и вечных эскизов. Вот и хамелеон, виновник сегодняшнего праздника [1]. Какой красивый, словно радуга. Вот, против стола, у стены, пианино; вот, около на стуле, скрипка — артист живет, так и видно. Но ни пианино — увы! ни скрипка — увы тоже, не могут пожаловаться на частую работу: артисту не до них! Артист целые дни, покрытый потом, разбирает солдат-эскизы, творит новых солдат, соображает, выгадывает, и проч. и проч. В такие минуты от него не только пианино и скрипка — люди нежные и боязливые, — сторонятся и более сильные создания, не находя приятным получить в бок довольно значительный толчок. А было бы время, занялся бы серьезно этими господами. Скрипка — вещь крайне соблазнительная, и могу поручиться, что был бы *хорошим* скрипачом, но (проклятый звук это «но», в нем вся *суть подлости*)... но время возьмет очень много, да и мозоли украшают все четыре пальца левой руки; может, я уже очень усердно нажимаю струны. Хотел вечерами заняться пианино, и опять проклятое «но» все портит. Значит, до будущего, когда свободы маленько достану. Поверите, как только принялся я за пианино, только ткнул пальцами, как в голове возникают целые хоры — колоссальные хоры и до такой степени хорошие и сильные мотивы, что я до головной боли доходил, стараясь, не зная нот, передать эти созвучия, что, конечно, не выходило и выйти не могло. Этак всякий музыкант прямо сел бы, да и заиграл, не надрываясь над генерал-басом и полковником-контрапунктом. (Знаете Вы анекдот этот про полковника Контрапункта?) Другой раз, ночью, так ясно льется какой-нибудь мотив, притом не один голос, а целые комбинации и переходы в тоны, так ясно, что сядешь, и слушаешь, и рвешься к инструменту, да совестно перебудить весь дом, набитый убогими всякого рода: тот без голосу, с кашлем, похожим на голос скворца; тот с катаром желудка, который

пополам разрывает одержимого субъекта; тот отчего-то перекосился весь, и так далее. Вот почему я поеду только в то место Италии, где нет этих убогих, производящих на меня очень неприятное впечатление. Кто не жил в такой среде больных, тот не имеет никакого понятия об этой всеуничтожающей атмосфере, и нравственной и физической. Этот ряд жалких существ, жизнь которых сводится на ничтожное существование, на отсутствие всякой живой силы, — этот ряд представляет что-то до того исключительное, ненужное... Успокойтесь насчет моего здоровья: оно лучше настолько, что не мучит нисколько. Что же касается до того, как оно пойдет вообще и когда минет *черту тревоги,* то можно сказать только, что оно минет ее тогда... когда минет. Скоро ли это произойдет — сказать трудно, но доктор, *как кажется,* уверен, что пройдет. Это я заключаю потому, что на днях сказал следующее: «Горло идет хорошо; вообще оно гораздо лучше, чем в прошлом году, гортань особенно. Продолжайте старательно то средство, которое я дал. Надо уменьшить это воспаление до того, чтобы вы были *обеспечены*». Из этого видно, во-первых, что опасность еще есть, но он надеется ее уничтожить. Грудь же — более темное дело, а потому ни он, ни я не можем наверное сказать что-либо. Я чувствую только, что грудь очень в беспорядке: неловко, когда хочешь совсем прямо встать, некоторые части немного болят, дыхание после кашля несвободно, иногда неприятный звук отдается при кашле, охотнее сидишь несколько наклонившись — вот и все. Это может показаться чем-то большим, а на деле, может быть, это совершенные пустяки; по крайней мере, доктор, когда ему об этом говоришь, не придает этому значения, или, правильнее сказать, ничем не выказывает, придает ли он этому значение или нет. Как скверно, друг мой, когда нет доктора *авторитета*! Очень часто сомневаешься в том, видит ли твой эскулап, что делается и что делать, или он ровно ничего не видит. Это для больного — пытка. А здесь всего три доктора; из них два такие, которым я положительно лошади не поверил бы. Третий — тот, который лечит, Олехнович, и можете себе представить, когда слышишь, что и его ругают некоторые, у него лечившиеся. Этакое положение хуже всего. Очень мне хочется написать статью об Ялте, как о городе южн[ого] берега Крыма, так в особенности о назначении его, как места лечения. Но не пропустят, подлецы, потому что суть статьи будет совершенно вразрез желаниям и видам правительства, которое в настоящее время принимает все меры для большего заселения Ялты и Крыма вообще. А статья эта, неурезанная, конечно, цензурою, принесла бы многим приезжающим сюда больным пользу

существенную, а совершенно полная — даже спасение. Впрочем, мало ли гибнет на земле русской даже и здоровых людей, не только бедных больных, у которых, по их беспомощности, могут отнять все. Я думал, что можно составлять себе понятие о разных неизвестных мерзостях по известным, но я крайне ошибался и никогда не в состоянии был бы представить себе Ялту, например. До какой низкой степени упала здесь нравственность, понятие о чести и совести, так это себе нельзя представить!! Если рассказать часть того, что я о ней знаю, этого будет достаточно, чтобы ни один больной не ступил ногой на эту гадкую землю. Но — увы! — есть даже больные, которые не видят, что с ними делают. Это для них лично, бесспорно, — великое счастье; но представьте себе больных дальновидных, и Вам будет страшно, как страшно бывает свидетелю убийства. У меня бывают минуты, в которые я хочу броситься вон из этого вертепа, очертя голову, бросив все на свете и ни о чем не рассуждая, и если это не приведено в исполнение, то только благодаря тому, что я глотаю теперь только половину всего ялтинского яда, ибо другую половину принимают на себя мама с Романом; т. е. я все работаю и никого не знаю. Но как же велика порция этого яда, когда он достает меня даже в таком изолированном, так сказать, положении!! Ну, до конца июня недалеко — дотянем, а там — в Питер! О невыразимое блаженство! О счастье! В оном трисвятом граде пробуду недели две, три... Постойте, если Вы будете в *Воронежской,* то я в Питер поеду на несколько только дней, чтобы устроить дела по заграничной поездке. Вы совершенно справедливо изволите сомневаться в пользе даже своих советов. В том-то вся и беда, *что пути все закрыты,* в том-то и горе, что нельзя сделать, что хочешь, а нужно делать, что заставляют обстоятельства, или, другими словами, выбирать меньшее зло. Способов-то можно много придумать, да выполнить-то их нельзя — вот в чем штука. Категорически *разрушу* Ваши советы. Первое: отказаться от ширм я не имею *права* (смелости-то не занимать стать) потому уже, что мне прямо скажут: «не берись за заказы, когда не способен, и не отказывайся от них в то время, когда твои работы нечем заменить, когда уже прошло много времени, когда заказчик по твоей вине может стать свиньей перед другими». Что я на это скажу? Ведь не скажешь: мне все равно; ну, свинья, так свинья! На это надо быть... даже знакомого такого нету, чтобы сравнить. Право, никто не согласится сказать так. Второе: *сделать усилие...* это... это, я Вам скажу, разрушается само собою, без посторонней помощи. Приведу пример, нескладный, но *совершенно точно* рисующий мою мысль, которая и есть

уже опровержение. Человека заперли в комнату, которую постепенно наполняют дымом до того, что человек этот закричал: «Я задыхаюсь, выпустите дым!» Ему отвечают люди с чистого воздуха: «Скорей сделайте усилие и не задыхайтесь! Не задыхайтесь только — вот уж и хорошо!» Ей-богу, этот пример идет к делу. Но Вы сами, друг мой, знаете несостоятельность этого совета, даже пишете об этом. Этакий совет хотя сам по себе ничего не стоит, но я за него готов обнять и расцеловать Вас, ибо он доказывает Вашу ко мне привязанность — неоцененное для меня сокровище, во сто миллионов раз более дороже всяких советов, хотя бы гениальнейших. Ну и шабаш!.. Третье: переехать сразу за границу так же для меня возможно, как дернуть завтра на луну с луковицей в кармане и целым чемоданом надежд в голове. Поехать за границу я могу только тогда, когда буду знать *точно* сумму, ассигнованную Обществом, буду иметь диплом Академии и обеспеченное семейство в России. Ехать сразу теперь я не могу, потому что *нет денег, нет ровно никакого вида, нет уверенности, даже просто веры в ссуду Общества и величину ее в год.* Ехать *без денег да без языка* нельзя. Так ли? Ехать *без паспорта нельзя...* Так ли? Ехать на авось я положительно не могу, потому что это будет му́ка — му́ка гораздо худшая житья в Ялте, потому что это не только не принесет пользы, принесет положительный вред. Да, наконец, просто невозможно — невозможно, как воскресение из мертвых. Ясно ли, все ли доказано? Из этого можно видеть то, чем нужно все это теперь заменить, а именно (пожалуйста, читайте и не забудьте, ибо я изложу в сжатом виде свой план, план единственно возможный): *я должен, из боязни потерять ссуду Общества, уплатить по крайней мере две трети долга ему, что составит около 700—800 руб.; я должен написать ширмы, из боязни потерять диплом, который для меня теперь есть единственное средство выпутаться из скверного положения человека, живущего без вида.* (Дела моих документов в такой мере запутались, что, не получи я диплома, я не знаю, какая беда может быть. Может случиться хуже того, что я себе представляю, а я себе представляю вещь крайне дурную!!) Для того, чтобы уплатить долг Обществу, нужны деньги. Эти деньги я могу получить за ширмы, за картину, которую послал (если она не отвратительна только), за картину Солдатенкову; за нее получен задаток 400 руб. уж год почти назад. Для того, чтобы написать эти вещи, конечно, нужно время, по крайней мере до конца июня, при отчаянно усиленных занятиях. (Может показаться, что этих денег слишком много на уплату долга Обществу; да, но на уплату долгов здесь и Иванову[2]

в Петербурге только-только хватит. А переезд отсюда, а жить в Питере или в Воронежской губ. чем? Все эти же деньги!)

Видите, как тесно все сжато, слилось, и можно двигать только всю массу, оторвать ничего нельзя! Кажется, ясно, что меньшее зло — прожить здесь до июня или июля. *Пожалуйста,* напишите: убедительно ли это и верно? Пожалуйста! Я глубоко убежден, что это неопровержимо, но все-таки лучше, когда и другие подтвердят это, а может, еще найдут и прореху, — еще лучше.

Ах, как мне грустно, что то, что Вы ждете, та картина, в которой Вы хотите видеть мой рост, — вещь совсем не такая! Я уверен, что она гнусна и проч.!!! О боги, сжальтесь! Если бы Вы знали, до какой степени она мне кажется отвратительною, особенно теперь, когда ее нет на глазах! С каждым днем я все более и более страдаю за то, какое она произведет впечатление! Что если она нисколько не лучше будет казаться другим, как она кажется страдающему автору? Что как я в полной мере угадал всю ее мерзость? Ах, я сам себе враг! Подумайте — это справедливо. Нет, я никогда не в состоянии буду видеть верно своих картин, т. е. всегда буду хуже видеть настолько, насколько выше и выше будет подниматься мой идеал. Ни одна черта, ни один тон, ни одна комбинация не похожи на то, что я хочу выразить; все так далеко от идеала моего! Вот пытки духа, вот кровь и борьба души с телом — с телом, ничтожным смыслом, но сильным своим скотским элементом физической силы! (Об этих страданиях можно писать, не называя себя подлым, потому что такая борьба и пытка — вещь хорошая, производящая всегда здоровое, хорошее впечатление на читающего, хотя бы эта пытка кончилась смертью. Смерти, впрочем, в этом случае нет, ибо умирает только тело — ничтожная, никому не нужная масса, когда в ней нет души). Есть тут маленькая чепуха от нежности, но это — пустяки. Я Вам, друг, писал уже, что гораздо лучше могу сделать, чем делаю... Вот новость сказал! Да я Вам об этом тростил еще до отъезда. Тем не менее, и тогда, и теперь это была и есть правда. Что я *вырос, как Вы это понимаете,* то это — истина, известная и мне. Не знаю, когда этот рост отразится в картинах; знаю только, что скоро я займусь только им одним, этим ростом, и постараюсь обобрать во-время выросшие плоды и постараюсь как можно скорее позаботиться об усовершенствовании будущих. Но картины, сидящие в голове, начинают рисовать мне более близкую перспективу удачи, и более определенно представляется мне мой будущий путь и типы картин. Так как я могу делать гораздо лучше, чем делаю под гнетом обстоятельств, то при их значительном

улучшении я сразу напишу картину *так, как могу*. Такую картину Вы узнаете сразу, если бы и ничего о моих обстоятельствах не знали, потому что эта картина сразу поднимется гораздо выше прежних картин и будет носить платье, совершенно непохожее на прежние. Если эта гипотеза оправдается, я буду торжествовать! Значит, я угадывал себя, значит, верно и точно понимал себя. Она должна оправдаться. А если нет?.. Пустяки — должна!

До какой степени Ваша картина всех обожгла [3]. Ха, ха, ха! Как это выражение верно: «Озлились до помешательства». Это так верно, что я не могу без смеха прочесть этой фразы! До безобразия верно! Я сам иначе не могу назвать такой злости — именно до «помешательства». Очень хорошо, потому что до рельефа, до ощутительности верно! Я часто наблюдал такую злость. Вы пишете, что «боитесь, когда я увижу Вашу картину». Напрасно! Я ее и теперь знаю, и *теперь она мне крайне нравится,* а когда увижу, я ее полюблю, потому что она *должна* заключать и *заключает* такие стороны, которых предвидеть нельзя, а потому только лучше будет, когда увидишь. Знаете что, вдруг мысль какая в голову пришла? Вот неожиданно! Нам очень нужно было бы поработать некоторое время вместе... Фу, никак не выговорить!.. Вот дурак, не выговорит, точно оскорбление какое. Говорю: *Вы свою манеру письма мало, очень мало разрабатывали.* Другими словами, Вы работали постоянно вещи срочные, так сказать, которые требуют известной манеры. В этих вещах *Ваша манера* не разрабатывалась, чего и не могло быть, а только поддерживалась в зачаточном состоянии. Разработайте эту манеру, ибо эта манера — та, которая нужна. (Тут очень трудно выбрать слово, т. е. манера или взгляд на натуру; но не в слове дело, дело только в том, чтобы развить эту манеру или этот взгляд до большей силы выражения). Вот почему... Ничего не сказал, а уж «вот *почему*». Поправлюсь: мне кажется, что если бы мы могли поработать, то я мог бы быть Вам полезен на практике и примерами, высказав свою мысль так, чтобы было понятно. Так не опишешь, потому что это тесно связано с техникой. Ну, теперь можно, — вот почему мне хотелось бы поработать с Вами. Ужасно трудно выразить мысль: никогда, кажется, и не выучишься. Вот философы на этом зубы проели, а все-таки хромают. Постойте, может, бог даст в Воронежской...

Кстати — об иллюстрациях и комментариях на Ваш поступок с картиною, сообщенных мне Нецветаевым [4]. Ему я написал об этом так (позвольте, получили ли Вы письмо, в котором я переписывал из monstre'a-письма Нецветаева,

в котором он пишет о Вас и *о воротилах* (!), пренебрегающих своими же постановлениями? По смыслу как будто получили). Так я ему написал: «Ваши рассуждения, Алекс[андр] Сергеев[ич], о поступках четверговых *воротил* и о Крамском доказывают, что Вы можете судить не так, как надо, и видите в деле то, чего там нет и не было, и вообще нелогично очень, особенно о Крамском: это так нелогично, что я даже и опровергать не стану; что же касается четвергов, то, пожалуй, я докажу Вам Вашу несправедливость». И, действительно, доказал (и очень больно), что не только некоторые члены — *ядро и инициатива, живая нравственная сила этих собраний* — могут отменять постановления, *но и имеют на это полное право,* дабы не засорить четверги людьми ненужными, и прочее, совершенно основательное. Воображаю, как его покоробило! Ведь он так обозлился на четверговых членов за то, что предложенный им, Нецветаевым, член подвергся баллотировке, тогда как Забелло через несколько дней вошел прямо. Ведь этот болван А[лександр] С[ергеевич] смеет думать, что он — то же, что и Крамской, и Ге, и Шишкин, и другие, что имеет такие же права и такой же голос! Осел, да еще и обидчивый!..

26 февраля

Ай, ай, сегодня почта; надо кончить. Еще и наполовину не написал письма, но делать нечего. Теперь отвечу на Ваше письмо собственно. Все сведения о картине Вашей и все последствия ее появления, со всею их неожиданностью, со всеми происшествиями, крайне для меня интересны и прочел их с большим интересом. Пища для сплетен, действительно, обильная. Относительно участи Савицкого, хотя и не ожидал этого именно, но нисколько не удивляюсь.

Я ему давно уже говорил, что он чепухою занимается, надеясь получить от этого пользу через Академию. Я ему давно в присутствии одного господина молодого — Брош[5], что ли, не помню, — и при жене его доказывал всю нелепость и бесполезность Академии и даже прямо говорил, что она может делать и такое, чего никто не ожидает. Он еще тогда и жена его обозлились на меня и вечер чуть не кончился ссорой. Вот теперь на деле оправдывается. Но во всяком случае отказывать в конкурсе за женитьбу — не ожидал! Ведь Репин женат тоже, правда, он не принадлежит к кружку. Это самый полновесный аргумент Исеева и ясно обрисовывает отношение Академии к членам такого кружка. Это, однако, значительно... Ну, Шишкина признали профессором! Слава богу! Он хоть и прикидывается, а все-таки крепко желал этого. Ну да это

ничего — он не из Исеевских, хотя, между нами будь сказано, и не вполне из наших. Ради бога, напишите: не выставит ли Владимир Александрович мою картину «Горы с морем», которую я ему написал? Мне очень бы хотелось знать Ваше о ней мнение. Вы пишете, что на Венскую выставку поставлено мое «Болотце» [6], а Григорович пишет, что великий князь хочет поставить и «Море» [7]. Может быть, уже поставлено? Пожалуйста, напишите! (Когда получите это письмо, посланная конкурсная картина, вероятно, уже будет у Вас. Конечно! Что-то будет? Что Вы скажете?..) Вы напрасно раскаиваетесь, что описали выставку: я хотя и не увижу картин, однако очень, очень интересно узнать. Кстати — когда же *академическая* выставка? Теперь в Питере так их много, что я, ей-богу, никакого понятия не имею о том, какая открылась, какая закрылась. (Кстати, *еще раз* передайте Иконникову, что я не пишу к нему только потому, что не знал о его пребывании в Питере, а чаял, что он в Архангельске, по его же последнему письму. Только поэтому не успел еще поблагодарить его за передачу сестре посылки). Так вот как — в Ригу [8]! Да здравствует Передвижная! Я должен Вам сказать, что положительно не ожидал такого успеха: недальновидность — что прикажете делать! Не потому, что в Ригу зовут, а вообще *этот весь* успех меня озадачивает. До сих пор я не могу его объяснить себе. Об Антокольском Вы *раньше* не писали, но того, что написали теперь, совершенно достаточно и совершенно обрисовало новую статую. Микешин картину эту, должно быть, на спор с кем-нибудь написал: покутили на клубской пятнице, Микешин и пошел на спор, что он картину напишет, да в рост, а не как-нибудь. Поставили дюжину шампанского, которое он и выиграл... Относительно того, получаю ли я Ваши письма, могу ответить только вопросом же: получаете ли Вы мои? Ваши я получил, и ответил на все. Вероятно, Вы еще не получили письма, в котором я отвечал на Вашу поездку в Италию. Очень рад, что Вы кончите, если не все, то часть работ к маю: это поможет (может быть) встретиться в Воронежской губернии летом.

Относительно альбома и рисунка, о которых Вы спрашиваете, я ничего не могу сказать, так как положительно не знаю, что уцелело, что пропало и где найти пропавшее; а такового, вероятно, много. Не забыл ли еще чего?.. Да, скажите, пожалуйста, Григоровичу, когда его увидите, что ширмы я пошлю на его имя в первых числах апреля и прошу его, раскупорив их, передать Монигетти на дом, или от Монигетти взять самые ширмы на выставку Общества, и там, вставивши панно эти, переслать великому князю Владимиру Александровичу,

потому что отдать ширмы сами по себе, а картины сами по себе — ни мне, ни Монигетти не выгодно, ибо, отдельно взятые, эти вещи потеряют очень много [9]. Это — выгода моя и выгода Монигетти. Пусть не забудет, так и передаст ему. Очень трудно укомпоновать в этот гнусный размер мотивы, которые приблизительно указаны, хотя я, волей-неволей, должен уклониться от определенной рамки. Один аршин шесть вершков вверх и только тринадцать вершков ширины — хорош формат! А в этом формате надо поместить более или менее разнообразные мотивы. Одно панно почти уже окончил в семь дней всего. Вот как навострился! Это панно вышло в некоторых местах *очень хорошо* для такого рода картин. Ну, другие будут похуже, потому что более портреты. Ну, ни минуты нет времени — сейчас отправить надо. Будьте здоровы!

Весь Ваш *Ф. Васильев*

Искреннее желание всего хорошего от всех нас Софье Николаевне. Жду писем. А что же самоучитель французского языка? Жду писем.

Васильев

46. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

28 февраля [1] 1873 г.
С.-Петербург

Мой дорогой Федор Александрович!

Пускай это письмо будет на бланке Товарищества: бумага такая тонкая, вложить в конверт удобно, купил бумаги, но лубок. Наконец, картина приехала, сегодня получил повестку, и сегодня же успел сделать все, что нужно, а что сделал, увидите ниже. Но прежде всего, надо поворчать: скажите, что у Вас за страсть так запаковывать картины, что пока откупоришь, то просто десять раз выругаешься. Этих гвоздиков столько, что теряешься, зачем они попадаются даже на такие места, где они никакой пользы не могут принести. Так и кажется, что Вы сидите и заколачиваете их с каким-то наслаждением сделать скромному человеку приятность ожидания не столь приятною, чтобы всякий помнил бы и не забывал, что во всяком хорошем чувстве есть доля яду. Вот Вам вместо вступления.

Прежде всего о картине. Писать нужно много, долго, тронуть вопросы серьезные, быть может более серьезные, чем картина, но о ней все-таки прежде всего. Вы уже знаете, как

я ждал Вашей картины, знаете и почему я писал об этом: что я встречу новое, как будто мне незнакомое, но что-то важное, что бы мне все объяснило. Я это предсказывал — и не ошибся. Я очень рад, что не ошибся, т. е. собственно за себя рад. Я, стало быть, как будто и в самом деле понимаю явления, угадываю их гораздо раньше, чем они обнаружатся. Я прав, и это, наконец, сообщает моим предположениям силу положительного убеждения, которое в свою очередь дает основание для дела и поступков.

Картина Ваша теперешняя и картина «Оттепель» [2], написанная Вами здесь еще, разделены такой страшилищной пропастью одна от другой, что я изумляюсь их расстоянию. Как в той, так и в другой есть и достоинства и недостатки, но эти достоинства и эти недостатки так различны, что мне большого труда будет стоить рассказать их так, чтобы Вы ясно поняли все, что я хочу сказать. Однакож попытаюсь. От прежнего Васильева ничего не осталось, а между тем это все тот же. Я его узнаю, всматриваюсь и убеждаюсь, что передо мной все тот же человек, только до такой степени новый, изменившийся, что мне как будто страшно, что нужно вновь знакомиться, а знакомиться и сближаться в моем возрасте делается все труднее и труднее. Картина «Оттепель» такая горячая, сильная, дерзкая, с большим поэтическим содержанием и в то же время юная (не в смысле детства) и молодая, пробудившаяся к жизни, требующая себе право гражданства между другими, и хотя решительно новая, но имеющая корни где-то далеко, на что-то похожая и, я готов был бы сказать, — заимствованная, если бы это была правда, но все-таки картина, которая в русском искусстве имеет вид задатка. Настоящая картина — ни на что уже не похожа, никому не подражает, не имеющая ни малейшего, даже отдаленного сходства ни с одним художником, ни с какой школой, это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких влияний, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно: это еще не хорошо, т. е. не вполне хорошо, даже местами плохо, но это — гениально. Постойте, дайте мне все сказать, выслушайте спокойно, не смейтесь над этим словом. Я знаю, что я говорю. Подумайте только, что я говорю под страшной ответственностью и своей и Вашей совести. Я могу увлекаться (мне скажут). Нет, я уже вырос, я уж могу себе отдавать отчет во всем, что я говорю, и если я что-либо решаюсь говорить серьезно, то я имею причины к тому. Бог знает, кто из нас ошибается — это покажет время. Итак, продолжаю. Картина теперешняя есть дальнейшее развитие тех инстинктов, которые зашевелились в прошлом году

в картине, тоже присланной на мое имя и тоже на конкурс, но и недостатки остались те же. Если Вы помните, что я Вам тогда писал, то, стало быть, мне об этих недостатках придется сказать немного, кроме того, что они немножко усилились. Теперь слушайте, что я скажу: я был за границей, видел немного, правда, но все-таки кое-что уж видел и могу судить. Потом. Я помню один разговор, не помню лиц, кто тут был, но Ваши слова мне памятны: говорили, разбирали и спорили о пейзажистах. Вы, со свойственной Вам дерзостью, всех русских пейзажистов услали на каторгу, а об Ахенбахе[3] сказали, что только он один еще как будто чего-то стоит, да и то, впрочем, ни он, ни кто другой из пейзажистов перед натурою ни к чорту не годятся. Умри Вы на другой же день после того, что Вы сказали, и никому бы не пришло в голову, что Вы правы. Сказали бы только: какой он был хвастун. О себе я не говорю, и вот почему: я слишком давно Вас наблюдаю. Когда-нибудь я расскажу, что я думал, когда с Вами познакомился, и даже кое-кому ронял слова из своих мыслей, которые и были принимаемы с худо скрываемой иронией. Вы должны знать всю правду, чтобы отдать себе отчет, где Вы стоите, куда зашли и, в силу этого, что сделать обязаны. Картина Ваша производит первое впечатление неудовлетворительное на меня, да, вероятно, будет его производить и на других (почему — о том следует ниже), но чем дальше, тем больше и больше зритель невольно не знает, что ему с собой делать. Ему слишком непривычно то, что ему показывают, он не хочет итти за Вами, он упирается, но какая-то сила его тянет все дальше и дальше, и, наконец, он, точно очарованный, теряет волю сопротивляться и совершенно покорно стоит под соснами, слушает какой-то шум в вышине над головою, потом спускается, как лунатик, за пригорок, ему кажется — недалеко уже лес, который вот-вот перед ним; приходит и туда, но как хорошо там, на этой горе, плоской, суровой, молчаливой, так просторно; эти тени, едва обозначенные солнцем сквозь облака, так мистически действуют на душу, уж он устал, ноги едва двигаются, а он все дальше и дальше уходит и, наконец, вступает в область облаков, сырых, может быть, холодных; тут он теряется, не видит дороги, и ему остается взбираться на небо, но это уж когда-нибудь после, и от всего верха картины ему остается только ахнуть. Вероятно, не я один это и сделаю. И все-таки картина не удовлетворяет, т. е. не то что не удовлетворяет, а... я не знаю что. Видите, она точно чем-то завешена. Первый план, самый первый, ближе дороги, опять, пожалуй, хорош (нет, только недурен), но в нем немного требуется: больше грубости, силы и не так гладко. До-

рога в свету не удалась, в тени она не кончена, а быки с телегой — зачем они. Право, их не нужно, эти быки меня преследуют. И зачем они светлые? Решительно необходимо, чтобы были или рыжие быки, или даже черные, или же выдвинуть их на свет вперед по дороге, чтобы от них были тени. Все же остальное это я уже сказал. Я понимаю, что вся картина должна быть подернута *чем-то,* чрез что проходят еще неясные лучи солнца (задача, перед которой придет в трепет самый серьезный художник). Я понимаю, что расстояние от ближайшего придорожного обрыва до зрителя — огромное, и, стало быть, предметы не могут и не должны быть написаны ярко и сильно, и совсем грубо, но... все-таки немножко грубости *необходимо.* Весь первый пригорок, за дорогой налево, в картине опять хорош; немного некончено кажет на нем кустарник, налево к раме, но сосны и затем все остальное — это что-то из ряду вон. Проживите Вы еще сто лет, работайте неослабно, не падая, а все идя вперед, и тогда такое место в картине, как верхняя половина, будет достойна самого большого мастера. Внизу есть какая-то *миниатюра,* что-то *опасное.* Я указываю на это, подчеркивая, потому что тут скрывается Ваш новый враг. Старых врагов у Вас нет, помните наши беседы. Но новые — очень опасны. Мне очень не понравилось, когда Вам нужно было послать папье-пеле. Я почему-то смолчал тогда, но теперь больше не могу. Я понимаю еще и то, что главная причина Ваших теперешних недостатков заключается в страшном для Вас одиночестве, но... кроме того, есть *что-то,* что связано органически с Вашим теперешним процессом работы. Я все сказал о картине, кажется, прибавлю только, что после Вашей картины все картины — мазня и ничего больше. Вот Вы куда хватили. Понимаете ли Вы теперь, как важно для Вас самих, какая страшная ответственность Вам предстоит только оттого, что Вы поднялись почти до невозможной, гадательной высоты. Кроме того, Ваша теперешняя картина меня лично раздавила окончательно. Я увидел, как надо писать. Как писать не надо — я давно знал, но еще, собственно, серьезно не работал до сих пор, но как писать *надо* — Вы мне открыли. Эта такая страшная и изумительная техника, на горах, в небе, на соснах и кое-где ближе, что я стыжусь, что мне иногда нравилось. Да-с, я теперь иначе примусь. И полагаю, что я Вас понял. Замечаете ли Вы, что я ни слова не говорю о Ваших красках. Это потому, что их нет в картине совсем, понимаете ли, совсем. Передо мной величественный вид природы, я вижу леса, деревья, вижу облака, вижу камни, да еще не просто, а по ним ходит поэзия света, какая-то торжественная тишина, что-то глубоко задум-

чивое, таинственное, — ну, кто же из смертных может видеть какую-либо краску, какой-либо тон? При этих условиях?

Картину берет Третьяков. Он признает, что она лучше прошлогодней. Еще бы! Я должен сознаться, что это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем. Ваша картина будет для меня теперь меркой людей. Вы, разумеется, понимаете, что это не фраза. Есть вещи такого сорта, что если человек замечает их, значит имеет право на название человека, в противном случае — животное и ничего больше.

1 марта

Был перерыв. Сегодня четверг [4], воротился с него. Если бы Вы были теперь на четверге, то Вы были бы поражены теми переменами, которые и туда проникли, и... не к лучшему. Судьба всех (более или менее) кружков и групп, остающихся долго без обновления. Ну, да это в сторону, а дело в том, что Вашу картину уже видели и перетолковали во все стороны [5]. Я молчу, или почти молчу. Как будто до меня не касается. Один говорит: «Замучена», другой иронизирует: «Видели? Васильев-то! гм... Да-с, это — регресс...» — Третий: «А знаете ли, там есть что-то хорошее, право, право, на горах...» — Четвертый: «Облака хороши, очень хороши...» — Пятый: «Верх мне нравится, а низ антипатичен!..» — Шестой: «Это олеография...» — Седьмой: «Мне не нравится тон, точно шоколад...» — Восьмой: «Картина рутинно сочинена...» — Девятый: «Да, Васильев болен, это и в картине видно...» и т. д. и т. д., — словом, отзывы самые разнообразные. Но все-таки, если их свести к одному знаменателю, то получится почти то, что я сказал выше, без тех, лично мне принадлежащих взглядов, которые Вы тоже уже знаете.

Не знаю, что Вам напишет Григорович, но — он ненадежен, ах, как ненадежен! И все-таки придется еще иметь с ним дело. Уж сколько я говорил о нем, помните? А нет, оказывается, что он хуже, чем я думал. Был он у меня третьего дня. Картины Вашей еще не было, повестки не получал. Читал мне Ваше письмо, в котором Вы подняли просто и прямо вопрос о Вашей поездке [6]. Разумеется, в ужасе... т. е. так по наружности, все толковал о Вашем долге. Мне, наконец, надоело, я и говорю: «Да что ж тут, Дмитрий Васильевич, не понимать? Васильев спрашивает только, пошлет ли Общество его за границу, как оно обещало? Прежде ему не нужно было, а теперь он только напоминает: «Вы хотели меня послать за границу — теперь мне это необходимо, и я хочу воспользоваться великодушным предложением Общества», — что ж в этом особенного?» Он говорит: «Да ведь, Иван Николаевич, сколько дол-

гу-то, ведь куда ж еще больше?» — «Позвольте, говорю, тут я вижу недоразумение: я помню, что я был в числе того жюри Общества, которое решило, что это нужно, т. е. лучше сказать, Комитет Общества в лице Вашем сказал нам всем, что Общество намерено послать Васильева за границу. Что же касается долга, то вот будет картина, которая, может быть, получит премию, удержите ее в уплату. Потом он еще кончит ширмы и пришлет или привезет сам что-нибудь и все уплатит. Весь вопрос в том, намерено ли Общество сдержать свое слово, и притом не в виде ссуды, а послать так, как оно посылало когда-то Брюллова [7], а в новейшее время — Келлера [8]». — «У нас, говорит, нет этого положения, было прежде, а теперь нельзя» [9]. — «Ну и чудесно — вот это-то, говорю, и нужно знать Васильеву; вот и напишите ему, что Общество не пошлет его за границу. Что ему ехать за границу необходимо — это очевидно, и я думаю, что если Общество не сдержит слова ввиду того, что быть или не быть Васильеву, то это дурно. О долге беспокоиться нечего. Он его заплатит». — «Ну, разумеется, тогда другое дело, говорит, тогда можно будет...» Фу, какая гадость — вот пишу-то! На другой день получил картину, приходит Третьяков, и мы решили, что картина за ним за 1 000 рублей. Когда я привез картину Григоровичу и объявил об этом, как он встревожился! «Ах, Иван Николаевич, что же это такое? Третьяков пусть в таком случае уплатит деньги за нее в Общество». Я говорю: «Потребуйте у него, разумеется, уж это Ваше дело. Вы знаете, что у Васильева с Третьяковым обязательство [10], что всякую картину прежде должен видеть Третьяков. Он об этом писал Вам — Вы это знаете, писал он и мне: как же я мог иначе сделать?» Как странно, что о деле я пишу самым безобразным образом, замечаете ли? Поняли ли что-нибудь из всего, что я настрочил? Да все равно, будем продолжать. Теперь, когда я знаю, что надо делать с спокойным духом и без колебаний, я Вам доложу следующее по пунктам. Первое. Если можете, успокойтесь, сядьте и работайте, сначала ширмы там или что другое, потом высылайте сюда — к Григоровичу. Это важно. Второе. За границу Вы поедете на счет Общества. Если к началу мая Вы пришлете что-нибудь, кроме ширм, то уж одного этого будет довольно. Третье. В Петербург Вам ехать летом в такое время, как Вы назначаете, незачем — бесполезно. Четвертое. Если возможно — хорошо бы провести хоть часть лета вместе. Где? я Вам напишу обстоятельно в свое время об этом, это уже лично мне было бы приятно. У меня есть один план, — если Вам будет знать необходимо — я сообщу, пожалуй, его; теперь же пока будем так говорить. Не смущайтесь, что

я сказал, что Вы за границу поедете на счет Общества. Это может быть так же верно, как и то, что всякая ночь сменяется утром. Если через месяц нужно будет устранить Григоровича от этого дела — я устраню. Посмотрю, что он будет петь завтра, послезавтра, через неделю, через две, а потом устраню. Не беспокойтесь, мой дорогой, я не сделаю ничего без Вашего ведома, в ущерб Вашим отношениям к кому бы то ни было. Вы все будете знать. Извините за загадки, это не следовало бы, да дело в том, что тут и загадок-то почти нет еще. Я просто пока сообщаю Вам мое глубокое убеждение, основанное на различных фактах и наблюдениях, что Вы за границу поедете, когда сочтете это нужным, — раньше ли августа или в августе — все равно; я даже скажу, если Вам можно будет устроиться ехать в мае или июне, то напишите, и я Вам отвечаю, что поедете. Ради самого бога, Вы только не мучьтесь сомнениями по поводу этого предмета. Вы пишете, что поездка за границу может блистательно лопнуть. На чем основано Ваше мнение — я не знаю, т. е. я знаю, но для меня это неубедительно. Конечно, мои основания для Вас еще менее убедительны, но я сижу здесь и вижу все, осязаю, так сказать, а Вы — там, за 2 500 верст, и притом находитесь в положении, которое исключает необходимое спокойствие при обсуждении переплетающихся обстоятельств. Я по тому же самому, как посторонний человек, могу хладнокровнее обсуждать и делать выводы. И, наконец, раз допустивши меня к участию в Ваших интересах, теперь уже невозможно меня выбросить или устранить от вмешательства, не запутавши дела еще больше, а потому надо дело вести таким образом, как оно началось. Вы его начали хорошо, так и продолжайте, т. е. переписку с Григоровичем. Григоровича что́ колет, Вы знаете, — это Третьяков. Но так как с Третьяковым можно считать дело конченным, т. е. почти конченным: я говорю это по поводу долга, Вы ему должны около 1 200 рублей, остается безделица, — следовательно, одного уже нет, хотя этого человека я никогда не принимал серьезно за помеху перед Обществом. Это все Григорович раздул. Остается, стало быть, долг Обществу, но... право же, это мне кажется даже забавным. Ведь, в сущности, долг этот не так велик... Однакож знаете, что я, точно Нецветаев, считаю деньги в чужом кармане. Становится неприличным. Но, чтобы кончить с этим, говорю в последний раз: *Вы поедете за границу на счет Общества.* Одно, в чем я не уверен, это в том, чтобы дали все то, что Вы просите; по всей вероятности, предложат меньше; ну, уж с этим я не знаю, как быть. Тут я ничего не могу сделать. Что же касается остального, то повторяю в сотый раз: *это будет.* Я убежден —

и кончено. Мне бы хотелось сообщить Вам ту же силу убеждения, следствием чего была бы та доля необходимого спокойствия, в котором Вы так нуждаетесь и которое Вам так настойчиво рекомендуется и докторами, и мною, и всеми благоприятелями и даже врагами. Неужели же ввиду такого единодушия Вы останетесь непреклонны и не успокоитесь? Это с Вашей стороны будет равно неблагодарности и жестокости сердечной, так Вам не свойственной, и пр. и пр. Вы имеете следующих конкурентов: Шишкин [11] — штука больше, чем неважная, такая, каких у него было много во время оно; Орловский [12] — итальянский пейзаж, Средиземное море, недурно, даже хорошо, но грубо, дерзко и малевано. Софья Николаевна говорит, что сюжет картины Орловского — на море овин горит. Клевер [13] — «Сжатое поле», вечер, — подает надежды, краски хорошие, Григорович одобряет. Волков [14] — «Утро в окрестностях Петербурга», — понемногу выправляется, и теперешний пейзаж — лучший из его работ. Куинджи [15] — не знаю что; Экгорст [16] — Вы знаете; Маковский Николай [17] — и знать не нужно; Саврасов — будто бы «Зима» [18], но недурно. Резанов [19]... Ну, уж это, батюшка, увольте... Вот, кажется, и все. Нет, еще какой-то москвич безнадежный. Если взять все в совокупности, то конкурс даже людный, кому дадут премию и какую — сказать нельзя, т. е. я не берусь, хотя знаю, которая лучше всех. В числе присуждающих я не буду; кто им больше понравится, предсказать трудно. Обо всем подробно, разумеется, дам обстоятельный отчет. Из жанристов никто особенно не выделяется, хотя есть и Перов [20]. Он становится очень грубым и слишком развязным.

Савицкому совсем отказали от конкурса, по причинам, уже изложенным мною в прежнем письме; причины такого сорта, которые скорее можно поставить в вину Академии, чем кому другому. Но... Академия! Тут не нужно никаких, никаких объяснений. Послал я Вам с юношей одним [21] книжку *«Самоучитель»*. Конечно, Вы ее уже получили. Так как сей птенец мне неизвестен, а Вы его узнаете и, может быть, будете видаться, сообщите, что он такое, если найдете что-либо в нем другое, кроме толстых губ и очков. В начале лета (крымского лета) приедет в Ялту г-жа *Кочетова* [22], художник, знаете ли ее? Птица глупая несколько, много о себе думающая, больше по инстинктам земная, чем небесная; вероятно, она к Вам явится и даже, может быть, привезет от меня письмо, хотя я от этого постараюсь уклониться. А впрочем, зачем же? Да это еще увидим.

По поводу Третьякова: прошлый год за Вашу картину я назначил ему 1000 рублей, ссылаясь, как Вы знаете, на то,

что цена эта будто бы назначена Вами. Он не знал, что я сам должен был назначить цену. Затем, он, кажется, писал Вам еще, что ему кажется цена эта выше нормальной. В этот раз в разговоре он это припомнил и говорит мне, что так как в прошлом году та картина была им заплачена дороже, то сколько эта будет стоить. Я ему говорю: «Если в прошлом году 100, может быть, даже 200 рублей и можно было бы уступить, но ввиду исключительного положения Васильева это было бы несправедливо. Что же касается этой, то мое мнение — нормальная цена ей около 900 рублей, и то только потому, что в ней есть такие недостатки, не будь этого, цена ей дороже (т. е. я этого не сказал, а сказал просто, что гораздо дороже). Но я, как доверенное лицо Васильева, нахожу естественным продать ее дороже и назначаю 1000 рублей, что, по-моему, будет и справедливо». Хорошо. Он согласился. Об этом он и просил меня написать Вам, т. е. что он все-таки считает, что какую-то сотню, другую он Вам переплатил. Я обещался, что и исполняю. Вот какой у Вас адвокат. Что касается денег — плох, как видите. Но, в свою очередь, и я припомнил, что «Зиму»[23] он купил ниже нормальной цены. На том и разошлись. Ох, ей-богу, дело как будто не совсем чистое. Чорт его знает, не вздумает ли он на это опираться впоследствии. Что ж, пусть опирается, а я назначил как в прошлом году, так и теперь по 1000 рублей за картину. Он ее купил, стало быть, о чем тут еще толковать. Вы — как знаете, а мое мнение: ему и виду подавать не следует, что дело продажи может быть перерешаемо. По крайней мере, я, со своей стороны, так буду действовать, если бы обстоятельства того потребовали. Несмотря на то, что Третьяков в существе своем купец, он все-таки человек ничего — дело с ним иметь можно.

Прибавить Вам разве несколько сплетен? Впрочем, ну их к чорту! Ведь вот, когда письмо нужно кончить, оказывается, что я как будто что-то не написал. Какой-то существенный вопрос остался нетронутым. Который? Ей-богу, не знаю, а чувствую, что уползло что-то. Что-то о картине, что-то о будущности, о моих и Ваших чувствах, и... какая-то тоска, чорт знает, что такое. И что еще нужно? Ведь картину я видел, ведь мне теперь все ясно. А между тем недостает чего-то. Должно быть, как там ни толкуй, а письмо все-таки не слово. Решительно объяснить не могу себе, что еще нужно. Точно жаль отправлять письмо, точно я увиделся с Вами на железной дороге, нечаянно, и нужно опять сесть в вагон и — в разные стороны! И в какое же время? Когда я ехал к Вам в Крым, или нет — не в Крым, а в Хотень, а Вы выехали от-

туда по каким-то своим делам в Петербург. Ведь это странно? Не правда ли? Вот теперь точь-в-точь такое же чувство, как на станции Новоселках [24]. А я хотел много писать, очень много. Картина Ваша теперь опять для меня как будто сфинкс — смотрю долго-долго и как будто понимаю и как будто нет. Сначала опять, как и в первый раз, что-то туманное, почти мистическое, чарующее, точно не картина, а во сне какая-то симфония доходит до слуха оттуда, сверху, а внизу, на земле, где предметы должны быть реальны, — какой-то страдающий и больной человек. Решительно никогда не мог представить себе, чтобы пейзаж мог вызывать такие сильные ощущения. Да, дай бог нам и увидаться и работать вместе, т. е. рядом, в смысле и простом и переносном. А теперь, господь с Вами. Успокойтесь и спите спокойно. Все-таки спасибо за картину.

И. Крамской

47. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

3 марта 1873 г.
Ялта

Получил сегодня письмо от Панова. Пишет он о многом, для меня совершенно новом и интересном, потому что это бросает свет на вещи с той стороны, с которой они были для меня не совсем освещены. Так, например, пишет, что у него есть мой альбом и этюд. Откуда они ему достались? (Хорошо, что эти вещи попались ему в руки, и я уверен, что они не пропадут). Я могу думать — и совершенно основательно, — что многие из вещей моих совершенно растрачены неизвестно кем и как. Это мне очень досадно — досадно не потому, что пропадают *ценные вещи,* а жаль очень потерять то, что для меня дорого по совершенно особенным обстоятельствам — дорого и потому еще, что этого вновь не приобретешь. Я думаю, Вы сами очень желали бы иметь некоторые вещи, обрисовывающие и Ваш прежний взгляд на искусство, и Ваше постепенное развитие. Ну, да об этом рассуждать не стоит: слишком личное дело!

Пишу панно для великого князя: уже два почти окончены. Жду с трепетом сердечным *суда* над моей последней картиной. О!.. Панов пишет: в «Обществе поощрения теперь конкурс. Васнецов выставил «Нищих» [1] и проч.». Когда «теперь» (письмо от 19 февраля) и что такое «конкурс»? Присуждение ли уже или только еще картины собирают? Вообще всякие

недоговорки, совершенно простительные, конечно, ставят меня в самое неприятное положение. Я все более и более думаю, что картина опоздала, хотя заботиться об этом весьма... непонятно. В самом деле, странно заботиться о том, чтобы картина не опоздала, тогда как совершенно уверен в полной несостоятельности посылаемого, даже хуже, чем в *несостоятельности.* Ну, придет время, и узнаю же все, что нужно, а потому — о чем либо другом. О чем же, как не о погодах?! По... пог... погода хорошая стоит. Что же Вы так ругаетесь? Ей-богу, хорошая! Неужели погода уж такой несчастный предмет для разговора, что не успеешь еще и рот открыть, как уж ругают? Нет, я так того... т. е. насчет пого... погоды снисходителен и думаю, что она, погод... погода вещь хорошая. А что гораздо лучше погоды — это фиалки, которые у нас в воде, в тарелке лежат и часто переменяются. Запах, я Вам доложу, такой, что хоть святых вон выноси: мед, ладан, уж не могу больше придумать!

Помните Вы фотографа Рыльского, у которого мы фотографии в альбомах смотрели? Ну вот, я Вам скажу, разодолжил: купил половину Ялты!!! Ходит и смотрит — увидит и купит. Да как, какими кусками покупает — страсть! Словом, так: «вот это, что я вижу, — покупаю, а вот то, что не видно, — и то покупаю, и шабаш, без рассуждений!» Вот оно как. Многие говорят, и сам Рыльский, что наследство в 1 000 000 получил; а я так полагаю, он получил воспаление мозга, со всеми добавлениями. Приходит в магазин Фарбштейна (лучший и очень дорогой магазин иностранных произведений) и покупает вещи не парами, не дюжинами, а целую полку сразу. Так: только мотнет этак в воздухе пальцем на какую-нибудь часть магазина и скомандует: «вот это заворотите-ка в бумагу, да и ко мне». На такой полке стоят и вазы всякие и часы, и подсвечники, и кальян какой-нибудь; серебро и золото, и драгоценные камни, — все равно: заворачивают все и со шкафом, да к Рыльскому, к Рыльскому ее, туда ее, к чорту в шайку, в подкладку!!! Вот оно. И в Ялте не без рыцарей. Из-за границы идут целые флоты с мебелью и всяким добром: Рыльский новые дома меблирует. Фотографию сломал и строит другую, трехэтажную, каменную, с газом, с какими-то подъемными машинами, с артиллерией, кажется. Открывает заводы и мастерские, в которых будет производиться то, чему еще и имени пока нет и о чем Рыльский еще только догадывается. Да нет, брошу; нужно сто писарей для описания одной только половины предприятий Рыльского. Вообще Ялта в этот год разрушила все авторитеты, и Америка перед ней — ничто, нуль. Вся изрыта, вся завалена камнями, лесом, известью;

дома растут в неделю, да какие дома! Меньше трех этажей и дешевле пятидесяти тысяч — ни одного; гостиниц строится столько, что все жители Ялты и все приезжие пойдут только для прислуги, да и то, говорят, мало будет. Нет, не могу! Подавляет эта кипучая деятельность, страшит этот новый, невиданный даже в Америке город. (Тут очень много правды, т. е. относительно Рыльского — все, а относительно построек — третья часть... не много ли хватил?)

Не написал бы вот сего, да нельзя: Вы не через транспортную ли контору или через какую другую послали холст? Если так, то я его не получу раньше трех-двух месяцев со дня отправки, а потому прошу Вас, пошлите *еще по почте* (посылать не *по почте* — это все равно, что не посылать: через контору «Двигатель» и другие посылки я не получал раньше *трех месяцев,* почему всегда полученное пропадало даром, ибо было уже заменено другим). Холста мне нужно не больше четырех аршин в длину и не ýже четырнадцати с половиной вершков в ширину, притом холста, по возможности, грубого, который обыкновенно в магазинах называется *Тесю* или *Тик* (заграничный, конечно). Если холст будет двухаршинный, то это будет не совсем удобно для почты, а потому лучше возьмите аршинный. (Если послали по почте, то я получу, конечно, не сегодня-завтра).

Извиняться за все вышеписанное не стану: места мало, а прибавлять листик некогда. Кланяются Софье Николаевне и Вам мама и Роман. Здоровье мое поправляется не очень шибко, с задержками от новых простуд, которые берутся неизвестно как и откуда, а все-таки идет к лучшему: в особенности хайло очень похорошело. Пишет мне Панов о Корзухине [2] и Журавлеве [3], кои готовы съесть Вас живым и сделать всякую пакость [4]! Мало, что зубы-то у них реповые, да сила крысиная, а то я посмотрел бы, как они Вас есть стали. Этакая... свол!.. Особенно омерзительны бывают бессильные паскуды, готовые... кому угодно на голову, паскуды, прогнившие насквозь от собственной же пакостности!.. Фу, омерзительно! Да будут они прокляты с головы до ног. Я написал письмо на днях Нецветаеву, в котором ясно высказывается моя к нему антипатия и так прямо порицаются его рассуждения, что если он не совсем еще *один расчет,* он должен или еще пуще обидеться, или уж совсем бросить свои советы и рассуждения в письмах, ко мне адресуемых, а последнюю пилюлю проглотить, *не заметивши...* Листика не хотел прибавить, а пришлось. Во всяком случае, *не извиняюсь.* Бесконечно благодарен Панову за его письма, в которых (только два еще) он описывает и вечера, которые у Вас проводит: все больше

буду знать. Ведь Ивану Николаевичу в голову не придет написать кое-что интересное, чисто семейное. Куда тебе! Иван Николаевич *так занят,* что *о пустяках* писать не будет. Ну, вот Вам, нате, одолжайтесь. Нецветаев уже к Верещагиным переселился. Ну, да там ведь урвать нечего — шаром покати. Я с большим бы удовольствием свел их всех, *друзей-то*, в кучу, да и науськал бы на драку: вот любо было бы посмотреть! А до *артельщиков*[5] я когда-нибудь доберусь; очень хочется мне их почистить немножко. Ух, подлый народ какой ныне стал! О чем хлопочут? Сидели бы себе в своих корчмах, да разбавляли бы водку из ближайшего колодца; нет, они во всю свою собачью натуру лают на людей проходящих, на людей совершенно посторонних, до которых им и дела-то никакого не может быть, а все для того:

Пускай же говорят собаки:
Ай, Моська! Знать, она сильна,
Коль лает на слона[6]!

Получили ли ответ на «Хамелеона»? Клеопин всегда Вам кланяется и вообще чрезвычайно интересуется Вами. У меня он бывает часто, что для меня сделалось необходимостью: картину писать без Клеопина не могу, без его одобрения не обойдусь никак. Вот оно *што!* Ей-ей, как будто легче станет... Посмотрит, похвалит, поругает — все лучше. А я, Вы знаете, человек такой, что мне всякий прохожий без всякого опасения может обругать мою картину как хочет, сколько душе угодно: я еще сам помогать начну, от всей души. Подите-ко к Филиппову, да скажите ему, что у этой вот фигуры один глаз смотрит на вас, а другой на Арзамас, или, что волы в лапти обуты: убьет трубкой, и не дыхнешь! Кстати, врагов у меня теперь полна Ялта — уже! И евреи, и греки, и русские, и поляки, — всякой твари по три хари; есть, одначе, и друзья, до отъезда, может быть. А занимательнее всего то, что враги-то, самые заклятые, — те, которым больше добра сделал. Вот оно тут и рассуждай, поди, о врожденных чувствах, чести и прочих знаках! Мне кажется, что врожденного-то в человеке только и есть — «жрать», и что на основании этого чувства прирастают к человеку и другие: «урви», «не щадя облупи», «ешь чужое — свое успеешь» и проч. и проч... Занимает меня очень работа ширм. Какой я секрет узнал относительно их композиции! Нужно только этакую дыру округлить, а в самую-то эту дыру — лупи что хочешь; так что я эскиз каждый начинаю так: дыра есть — кончено, все обстоит благополучно. Там в середке мазнешь голубенькой, беленькой, желтенькой, — начинай другую. Так что работа идет скоро. А лесу в картин-

ках будет... на десятину не усадишь, да все необыкновенные: должно быть, все розовые дерева, потому — все колеру одинакового. То-то будет радость! То-то веселье! И под каждым изображением будет подпись: вот это, дескать, «Ялта», а вот это — «гора Ай-Петри» и проч. Все по черному дереву вырезано, на татарском наречии. Вот хоть это сходство даст.

По уши Ваш *Федька Васильев*

Чемоданчик поклонов.

48. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

11 марта 1873 года
Ялта

Получил сегодня от Вас, дорогой мой, письмо... Какое сильное и вместе странное впечатление оно произвело на меня. Я получил его еще лежа в постели. В этой же комнате сидел Клеопин. Когда я взглянул на адрес и узнал знакомую руку, то немедленно приподнялся с подушки и немедленно же его распечатал... но остановился, и не читал, вспомнивши, что есть люди посторонние. (Я положительно не могу читать Ваших писем при ком бы то ни было: сейчас начнут смотреть в физиономию и в рот; а у меня и то и другое сильно меняются при чтении Ваших писем, и по физиономии можно догадываться о содержании, что меня ужасно укалывает. Даже при домашних не могу читать и выбираю минуту, когда никого близко нет. Эта скрытность — как будто это скрытность! — заставляет даже маму мою посмотреть иногда на мое лицо во время чтения). Клеопин необыкновенно удивился тому, что я не читаю письма, присланного мне очень *хорошим знакомым,* — письма, в котором могут заключаться самые интересные для меня известия (совершенно его понимаю)! Просил начать чтение и передать ему то, что можно. Я, конечно, нашел множество предметов, и письма не читал, даже когда встал, умылся и оделся и когда вышли в зал. Между всем этим прошло часа два; воображаю, как он удивляется. Но мне нисколько не тяжело было ждать, когда Клеопин уйдет. Я всегда стараюсь найти какой-нибудь случай, чтобы еще на некоторое время оттянуть чтение письма: жаль скоро истребить запах необыкновенно дорогого для меня продукта, Ваших строк. Нужно ли говорить, что это — не фраза? Ведь не нужно, совсем не нужно, а между тем мы оба очень усердно уверяем иногда друг друга в истинности и честности наших выражений. Бросим это!..

Я, во всяком случае, не горжусь тем, что читаю Ваши письма с каким-то болезненным напряжением (то ощущение, которое я испытываю, нельзя назвать другим именем). Если бы я вздумал гордиться этим, как мягкостью сердечной, это было бы глупо, ибо мягкость не так выражается, да и такая мягкость есть *мягкость мозга*, или, скорее, его *размягчение*, что Вам бы не понравилось. Фу, какая галиматья! Всегда забываю, что имею дело с бумагой, а не с Вами лично. Брошу сразу — лучше! Дело все в том, что мне самому это не нравится, ощущение, производимое Вашими письмами, не нравится потому, что показывает очень неудовлетворительное состояние моих нервов. Здоровый человек *просто будет рад* получить письмо от самого дорогого человека, но не станет... чорт знает! Я боюсь, что мои нервы... (отчего это хочется опошлить всю мысль, написавши не нервы, а невры?). Пошлая сторона... брошу, брошу! Постойте, ах, да, — нервы мои, чего доброго, сильно уж очень тут утончатся, что, положительно... опасно. Вот Вы и думайте, что я все поправляюсь! Не одно, так другое, не другое — так все вместе... К чему эти точки?.. Брошу, брошу! Будем рассуждать, как люди взрослые и *положительные* (ха, ха! положительные — самые скверные люди!). Итак — за письмо. Однако мое предисловие длиннее Вашего, хотя Вы и не забиваете Ваших писем гвоздями. Кстати — о гвоздях. Эту картину забивал не я (я ее только замучивал!), а плотник, почему и очутились ненужные гвозди. Что касается до того, порок ли или достоинство так забивать посылки, об этом каждый судит по-своему: отправляющий заботится только о том, чтобы посылка не развалилась или замокла; получающий — только о том, как бы скорее вынуть посылаемое. Следовательно, *с чьей точки зрения посмотришь.* Притом откупоривать мою посылку *необыкновенно легко*, а если Вы так мучитесь за нее, так это только по непрактичности. (Вы думаете, я Вам спасибо скажу за все Ваши бедствия, от меня проистекающие? Держите карман шире! Я еще Вас же обругаю, да еще ка́к! Это — только так, игрушка, к терпению приучаю; постойте еще немного, я и за ягодки примусь!)

А ведь все — только предисловие... Как тут за этакое письмо возьмешься? Жаром от него так и пышет, так и бьет оттуда гейзер, да самый горячий; а тут — отвечай! Нешто так: разбежаться, да хвать! А там из руки в руку, только почаще перебрасывай... Говорить-то легко. Постойте, похожу, да, кстати, тут мама на столе разложила фрукты глазированные *заграничные!* так оно и того... с предлогом. Вы думали, мы тут редьку едим или котлеты одни? Тоже! Вот я и ем! Выта-

щил, знаете, этакую грушу за ухо — вкусно; и запах фруктов сохранился, и кислоты нет — ничего, ладно. Не хотите ли *кусочек*? Вы не верите, что хорошо? Что Вы? Попробуйте! Может быть, Вам яблочка арабского? Да пожалуйста! Да кланяйся, жена!.. Ну, грушу съел, а писать все-таки не могу. Эх ты, пропасть! Нешто еще грушу съесть? Постойте, еще грушу съем... Съел... Как Вы думаете... т. е... того... отчего это перепела на дудку нейдут? Право, не знаю, отчего они нейдут. Сидел у нас приезжий питомец [1], кашлял, а я ему помогал. Тоже насчет болезней разных потолковали: отчего это они так вот вопьются в тебя, и шабаш, таскаешь их, как жучка клеща лесного? Тоже насчет эскулапов речь была, и все очень умно было разжевано. Посидели, чайку попили, еще о болезнях потолковали... Постойте... нет... Да, да, — об одеяле говорили: он одеялом *хозяйским* недоволен (видите, какой? недоволен одеялом!), так рассуждали, как лучше: здесь ли купить или из Петербурга свое старое выписать? Нашли, что выписать по почте дешевле. Он, видите ли, денег с собой два рубля сорок копеек привез, из коих ведь и на дорогу же истратился, а потому его, а особенно меня, очень занимает вопрос: как распределить два рубля сорок копеек, чтобы их хватило до сентября? Он не теряет надежды, потому что господин Репин, его учитель, человек солидный и с весом, сказал ему, что в Крыму даже совсем денег не надо, что эти два рубля сорок копеек он берет на удовольствия и комфорт. Конечно, нельзя было не поверить ему, ему, Репину, тем более, что ведь и все компаньоны его подтверждали это. Не предвидели только одеяла; ну, да это пустое. Мы в настоящее время уверены только в том, что он будет иметь одеяло. Впрочем, если одеяло большое, так можно будет подостлать его под себя, покрыться им, в уголок его сложить вещи, а оставшееся количество ткани можно продавать частями, чтобы комфорт не уменьшался. Я думаю, это — хорошее средство, и даром обругал Репина: он это раньше меня знал, т. е. что в Крыму одного одеяла достаточно. Винюсь! Вы, пожалуйста, узнайте, кого еще Репин посылает в Крым. Может, он всем отправляющимся даст рекомендательные письма ко мне. (Кстати, голубчик, ангел, не давайте письма ко мне г-же Кочетовой!!! Если уж это неизбежно, тогда... я уж лучше прямо завтра за границу поеду!) А ей самой скажите, что я с ума сошел и во всех из пистолета стреляю: так вот, увижу — и бац! (Кстати, в питомце еще ничего не замечаю, кроме огромного рта и таких же зубов, которым есть-то нечего). Я никогда не смеюсь над недостатками человека серьезно. *Это — серьезно.* В глазах у него как будто что-то есть. Думаю, что он

совсем ординарный — это во всяком случае. (О, дай боже ошибиться!) Приехал он сюда дня четыре уже. Привез письма от Репина, Васнецова и... и... Максимова [2] — и не ожидал, и не благодарю! Скажите, пожалуйста, в Петербурге нет эпидемии умопомешательства на всех сплошь? Ведь Максимов... тоже сюда... того... едет... Правда ли, спрашивает он меня, что два рубля сорок копеек не слишком ли большая сумма, и даже просит уведомить, можно ли приехать с одной луковицей (буквально). Ему я отвечу, что это — смотря по характеру, и что я лично знаю людей, которые добрались даже до Иерусалима... с березовым поленом (в самом деле, знаю и таких). Шутки в сторону, хвост набок, а меня тут растерзают! Нет, уж мы лучше с Вами в Воронежской... Только вот вопрос: если я не успею устроить здесь питомца, то можно ли будет протянуть его в Воронеж? В самом деле, малый пропадет за два рубля сорок копеек; это ведь уже того!..

Целую Вас в обе щеки, в бороду и уже не знаю куда еще за самоучителя! Это, я Вам доложу, расчудесно! И совсем не поздно приехал: оказалось, что это совсем и нетрудно, времени возьмет немного; словом, и разговоров говорить не стоило. В год буду хуже француза. Уж тогда буду все делать по-французски: есть, спать, смотреть, книги читать и видеть сны — все на французском языке. А знаете что?.. Даже совестно... я и теперь от проклятого самоучителя во сне отделаться не могу. Уж очень я им прилежно занялся и 54 страницы уже съел совсем. Худо то, что заболел еще хуже (от усердия). Вот тут поди... даже учиться худо... Ничего, не все же болен буду, *а язык пригодится.* Там пойду по-английски, по-чухонски, по-санскритски, по-арабски — благо легко. Да притом... тоже пригодится: сидит, например, араб; другой неуч мимо пройдет — и ничего, а я: «здравствуй, арапия, как поживаешь?» Или чухонец сливки продает: «хорошая у тебя, земляк, трубка». Вот оно што!.. Постойте, и холст получил! Еще раз в бороду и щеки... фу ты, точно драться собираешься!.. Нет, это уже никак не можно, потому — я теперича и мухи обидеть не могу. Ведь я добр, дядя, очинно, да и пилюли много жиру берут — в ногах тонок стал, не до драки; так, какого смирненького оттрепать...

А знаете что — кончу я письмо: пусть останется предисловием! Да и почта сегодня кстати идет. Пошлю! На днях начну и ответ, да длинный, длинный. А предисловие-то вышло такого рода, смысл которого определяет смысл впечатления Вашего письма; т. е. письмо впечатление оставило самое благотворное. Еще бы! Еще бы!! Человек возносит меня до небес, еще

хуже!.. а все-таки — мазня. Право, совестно, что не ответил на Ваше письмо, а только предисловие написал. Ну, да напишу ответ, и притом не замедлю.

Весь Ваш, и с сюртуком, *Ф. Васильев*

49. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

14 марта 1873 г.
Ялта

Дорогой друг мой! Чем я заплачу за всю Вашу заботливость, доброту и внимание ко мне? Получил телеграмму !!! Этого еще не доставало! Дойти до такой предупредительности и *тонкого обхождения*!!! Ну, голубчик мой, спасибо — и больше ничего не могу сказать. *Прежде всего:* в Воронежскую губернию если мне и можно будет ехать, *то не забывайте, ради бога, что Вы этим очень будете стеснены.* Подумайте сначала, выносимо ли будет мое присутствие, присутствие человека больного, а следовательно, и всех его атрибутов: кашля, раздражительности, недовольства всем и каждым... да где тут все изобразить!! Ведь этих атрибутов — миллионы! Потом не менее важно и то, что я не могу жить в городе и без зелени, не могу жить в сыром доме, не могу жить там, где воздух очень сух, и проч., и проч., и проч. Из всего этого — вывод следующий: не доставляя удовольствия, я доставлю только тягостные условия и в отыскании помещения, и в отыскании места. Словом, мне понадобится то, что Вам совсем не нужно, или даже неприятно, даже вредно, и Вы булете припуждены отказывать себе в том, что Вам может нравиться. Например: Вы нашли прекрасный дом, место Вам нравится, Вам удобно, приятно или даже просто такое место *соответствует вашим целям,* а тут — я. Подумайте об этом *серьезно,* отбросив в сторону всякие рассуждения о дружбе и прочих прекрасных чувствах, которые тут совсем не у места! Вы на это можете сказать, что ничто не мешает нанять два дома — один для вас, другой для нас; но это, во-первых, очень трудно, во-вторых, кому-нибудь все-таки придется худо, так как два дома (по нашим вкусам) рядом — редкость; в-третьих, если дом далеко, то *цель житья* вместе не достигается, ибо мне ездить или выходить вечером, утром рано или в пасмурную погоду запрещено. Это влечет за собой еще новые условия, т. е. жизнь врозь, в двух домах, будет крайне неудобна, как для работ, которые я привезу оканчивать, так и лично для меня, ибо я этими неудобствами буду постоянно раздражаться;

словом, уеду из Ялты, променяю климат Крыма на Воронежскую губернию с неудобствами. Значит, вдвое хуже. Ради бога, серьезно подумайте о таком сожителе. *Что говорит доктор* (это для того, чтобы Вы могли судить, насколько мне улыбается надежда быть в Воронежской губернии): «Грудь у Вас — *ничего,* и та необыкновенная тяжесть, которую Вы в ней чувствуете, *есть только следствие сильного кашля, изнурившего Вас и истомившего грудь Вашу.* Горло Ваше положительно идет к излечению, т. е. опасность возобновления этой болезни скоро будет уничтожена. Сказать Вам что-нибудь положительное о том, поправитесь ли Вы к концу мая настолько, чтобы ехать в Россию, в Воронежскую губернию, ничего не могу». Хотя мне и показалось, что в его голосе звучит нота надежды, но ведь доктора — сфинксы. Доктору врать *всегда* выгодно. Я крайне боюсь одного: доктор мой употребит все свои доказательства (а разве их у докторов мало?) для того, *чтобы удерживать меня в Ялте до последней возможности.* Для этого он может употребить и ложь и правду; и то и другое принесет мне только вред (разве мало меня терзают сомнения, хоть об одних картинах!!!). Хотя я и принимаю меры против этого, т. е. как дважды два четыре доказываю ему всю невозможность моего здесь пребывания, стараюсь убедить его в том, что здесь *не поправлюсь,* что условия здешней жизни, ее дороговизна, неудобства и проч., только вредят мне, что я никогда не привыкну к этому, и проч. — он свое толкует: «Больному везде плохо, простудиться везде можно, жить везде дорого, людей везде мало; Вы устройтесь хорошенько, подыщите», и проч. в этом роде. Но все-таки сегодня я, кажется, убедил его несколько. Немедленно извещу обо всем, что будет изменено и что будет узнано наверное.

Смотрите, с кем Вы имеете дело!! (Телеграмму получил в тот день, как отправил письмо). Ну, предисловие Вы получили уже, вероятно: примусь же ответ держать на письмо. Впрочем, сначала — о премии, как о необыкновенно интересном для меня *происшествии.* Если я Вам скажу, что я этого не ожидал, то Вы, конечно, не удивитесь; но если я Вам скажу, что *я необыкновенно рад,* что получил ее, это, надеюсь, хоть сколько-нибудь покажется Вам удивительным, и совершенно удивительным покажется тогда, когда я скажу причину такой радости. Слушайте: я рад премии, *потому что я ее получил,* что значит — не получил Орловский?! Удивляетесь? С богом! Написал бы, почему я рад за то, что Орловский провалился, да некогда, во-первых, а во-вторых, Вы и сами догадаетесь, *вероятно* (только). Затем, премия для меня остается нулем, который для меня значил что-нибудь только

лет пять назад. Финансы от этого несколько поддержались, конечно; но все-таки это *ничтожная* для меня поддержка. Ну, да это уже известно. За продажу картины просто и благодарить не умею моего *адвоката* [2]. Григорович ненадежен, правда, знаю: это — его девиз. Впрочем, буду отвечать по пунктам, короче. О картине: Васильев, правда, *тот же,* и притом во всех отношениях. Нет, это не буквально верно, вот так вернее: Васильев становится таким, каким он должен быть по сложению, становится таким, каким ему назначила быть природа (это, конечно, в нравственном значении, — становится таким, каким он обещал быть). Я не говорю, хорошо ли это или дурно; я говорю только: это должно быть, — и кончено. Картина для меня, несмотря даже на Ваши похвалы некоторым частям, все-таки мазня перед тем, что нужно сделать, — мазня, и только. (Постороннее: погода выкинула необыкновенную штуку; 11 часов вечера, и... только шесть градусов тепла, когда днем было шестнадцать с половиной градусов, и даже *я* (!) гулял. Выкрутас необыкновенный!) Что картина эта не похожа на другие — правда сущая; но в ней есть еще сходство с *русской школой* по одежде и по неглиже. Это меня смущает больше всего, но не потому, что я предпочитаю школу иностранную, а потому, что *я не хочу ни той, ни другой,* и меня терзает мысль, что я еще не скоро вполне этого добьюсь. (Что я добьюсь — я верю, — но даст ли мне здоровье столько дней и годов, сколько для этого нужно, — единому богу известно; а в сущности, и время надо очень немного). Я страшно боюсь, не ошибаетесь ли Вы, говоря, что картина сначала не нравится, а после притягивает к себе и что это происходит *не с Вами одними, но и с другими.* Боюсь, что Вы единственный человек, который *переждал первое впечатление.* Я потому страшусь такой ошибки, что она заставит меня думать, будто будут всегда люди, сочувствующие моему жанру. Если человек знает, что его некоторые понимают, ему *легко* работать; горе в противном случае! Впрочем, Вы не можете в этом ошибаться так же, как и во многом другом. Что касается до того, что картина не удовлетворяет, то об этом рассуждать теперь невозможно: слишком длинно и тяжело на бумаге. Зачем быки и телега — это относится к тому же вопросу почти. Грубости — больше — необходимо совершенно: если заменим это слово словом «техника», то это будет определительнее. То, что Вы видите внизу картины, миниатюру, это опять можно заменить техникой, и опасного *положительно* ничего нет. (Это, впрочем, для меня может быть обманчивым, т. е. я могу ошибаться относительно этого вопроса). Что же касается papier pellé, то это — положительно пустяки, на которые не обращайте

внимания. Что касается до тонов, то это — громадный вопрос, *который только на практике разрешим.* Объяснюсь: я знаю, что мои картины, особенно последние, третья, четвертая, *совершенно лишены тонов, т. е. колорита.* Но это не потому, что я не могу написать колоритно. Я просто думаю, что *мой жанр сам, без моего желания, исключает колорит* в том смысле, как его все понимают. Но это я *только думаю еще;* узнать же это верно можно только посредством практики, т. е. пробовать делать так, чтобы и *жанр не пострадал, и колорит явился.* Если колорит будет вредить смыслу жанра, жанр этот не вынесет колорита; если жанр не пострадает, мои картины, значит, еще очень-очень молоды, и отсутствие в них колорита есть не необходимость, а недостаток. (Как бы мне хотелось самому откуда-нибудь из-за угла слышать мнение о моих картинах!!! Вы себе представить не можете... Дурак! болван! Иван Николаевич точно так же желал бы слышать то же самое, а потому и представить себе *может*). Вот как пунктуально отвечаю на письмо (это относится, конечно, не к болвану, а к тому, что писано выше). Теперь — о Григоров[иче] и поездке за гран[ицу]. (А бок болит! подлец этакий! Ведь и без всякой причины). Видите, я знал, что Общество или Григоров[ич] (это — все одно) до тех пор не дадут мне средств уехать, пока не уплачу долга; а что они дадут? Ведь урезывать то, что я назначил, бессовестно, ибо и посылают-то не на пять лет, а на год, на два. Срам! Ну, да уж тут что же? Я бы не разговаривал много, да ведь за границей хотелось бы не работать, а отдохнуть от всего, что пережил; а отдыхать с 1200 руб. (и этих не дадут, наверное) плохо, в особенности с переездами. Но переезды мне нужны: в них смысл и цель моей первой поездки. Я знаю, что Григорович — чепуха, но никогда не думал, что он так не доверял мне. Эти вечные *деньги,* это вечное сомнение в уплате долгов, — это неизобразимо пошло, гнусно, бессмысленно! Я не уплачу? Да кто же им уплатит? Кто вернее меня? Ведь тут есть еще и более подлое, бесчеловечное соображение: а как умрет?! Не давать денег, не помогать умирающему — это... это... я не могу найти слова, которое бы выражало тот ужас, то омерзение! А ведь, друг мой, это — принцип *всех,* и исключения редки. (Невольно перейдешь к миросозерцанию, которое всегда у меня кончается восклицательными знаками). Описывая Ваше прение обо мне с Григор[овичем], Вы говорите, что пишете о деле безобразным образом, и спрашиваете, понял ли я что-нибудь? — Все без исключения, ибо все письмо, от начала до конца, ясно, как божий день. *К началу* мая я, вероятно, ничего не успею написать для Общества, ибо окончить картину

Солдатенкову необходимо [3]: давно ждет, да и получка с него будет 800 руб. (четыреста уже взято задатком), тогда как в Общество ничего выше трехсот руб. нет, да и картины в мае не продадутся. Притом, если Общество возьмет себе премию 1000 руб., то долгу останется около пятисот руб., или еще менее; их уплачу из суммы за ширмы, так что к концу апреля я в Общество не должен. (Теперь деньги дозарезу нужны; долг в Ялте в тысячу рублей ведь не убавился, а напротив. Хочу просить Третьякова выслать всю тысячу руб., а долг останется еще на некоторое время. Ах, если бы согласился!) Вы пишете, что у Вас есть один план, вероятно, относительно лета в Воронежской [губернии], но не изложили его, и я теперь мучусь, угадывая, что бы это такое было. Пожалуйста, не мучьте и напишите скорее!

Вы совершенно основательно предполагаете, что Ваше участие в моих дрязгах сделалось органическим и что устранить Вас от них теперь уже поздно, и — главное — *для меня* вредно. (Друг мой! Видит бог, я невольно эксплоатирую Вашу дружбу!) Я Вам скажу одно: все, что Вы вздумаете сделать, все будет хорошо, потому что нехорошо не может быть; все будет для меня благодеянием (буквально), и, ради бога, прошу Вас, действуйте, не спрашивая меня, ибо мы друг друга *знаем*, а потому недоразумений *с этой стороны* никогда не может быть. (Каждая строка бросает меня в краску! Вечные просьбы, бесконечная эксплоатация!) Да, позвольте, — о Третьякове: тысячу рублей, которую мне нужно не сегодня-завтра раздать в Ялте, я предпочитаю попросить у Третьякова потому, во-первых, что это поможет скорее окончить дело о поездке с Обществом, и, во-вторых, он писал мне, что брат его желает купить две картины: конкурсную и ту, которая у меня есть в пандан [4]. Следовательно, окончивши ее, я уплачу если не весь ему долг, то большую часть. Окончить ее я могу к июню. Уменьшать цену конкурсной картины не стану ни в каком случае. Я сам никогда не принимал Третьякова за помеху перед Обществом. (Сколько-то Общество мне отвалит, и на каких условиях, и на сколько времени? Очень интересно!) Ай, четверть второго ночи!!! Покойной ночи, дорогой мой! Пусть Вам приснится тот мотив, который мы слушали вечером на бульваре в Ялте, — помните, плохо играли?

15 марта

Сегодня получил от Нецветаева два письма сразу: одно — очень развеселое, с разными коленцами, с отчетом о деле по дому и проч.; второе, писанное в тот же день, только вечером, — совсем иная музыка. В промежутке, когда он послал

первое письмо, он получил *от меня* — и ужаснулся[5]! Хотел бы вернуть первое — нельзя, ящика почтового не разломаешь. Ну, и написал это второе, исполненное оскорбленного достоинства, холодной вежливости, рассудительности и прочих похвальных качеств. Я просто не знаю, наконец, что мне с ним делать?.. Вести переписку в этом роде — чорт знает что такое! Обругать его сразу — у него много моих этюдов, альбомов, дом и прочее добро. Ведь от людей, благородно оскорбившихся, можно всего ждать! Ну, чорт с ним. На что еще нужно ответить? (Точно в самом деле *нужно*?)

Вы с Григоровичем ведете дело так хорошо, что я, кроме благодар... (бросим!..). Я лучшего способа с ним не придумал бы. Все-таки мне кажется, что без брани у нас с ним не обойдется, потому — оченно он чепухи много несет, чепухи непростительной, даже человеку вполне несостоятельному. Ну, скажите, какое он имеет право постоянно во мне сомневаться? Какой я подал повод? Разве я не развиваюсь, разве я не платил кому-нибудь долгов? Нет, это просто какая-то пакостная черта, существующая без всякого повода и оснований и, кроме мерзости, всю свою жизнь ничего не производящая. Притом он, если бы у него была голова с мозгами, не должен забывать, что я, даже *опасно больной,* не складывал рук, не отговаривался этим от всяких обязательств. А ведь он искренне мне сочувствует (конечно, когда это ему не дорого стоит, — это-то я знаю), желает мне от души успеха... Неужели и тут *единственно — личная выгода*? Ведь это час от часу хуже!

Пожалуйста, напишите, кто получил вторую премию: неужели Орловский? Вообще я мало пишу об этом предмете, хотя никак не могу сказать, что он для меня неинтересен; совсем напротив, нынешняя премия для меня будет очень памятна. Если я мало о ней пишу, так это по обстоятельству, от которого Вы сейчас рот разинете: жду Воронежской губернии... Что, неужели не удивил, неужели Вы и это знаете?! Ах, эта Воронежская губерния! Сколько сомнений, надежд, — и вдруг ехать нельзя. Нет, ведь все равно здесь быть больше не могу. Жду ответа на мое *предпослание* о нашем сожительстве, жду с трепетом. Что еще? Дело Савицкого глубоко меня опечалило не потому, что он не поедет за границу, а потому, что он потерял пять-шесть тысяч пенсионерских. Сверх того, это дело повергло и меня в новые опасения и ужасы за мое *производство в художники.* Ведь они могут сказать больше, чем сказали Савицкому. О боже, помоги! Прошение послал уже давным-давно, но никаких известий не получал. Ну, [от] неизбежного не уйдешь! Думал ли я когда-нибудь до-

биваться от Академии, чтобы меня признали художником[6]. А вот пришлось! Вы, конечно, помните, что для меня значит диплом...

В питомце приезжем[7] ничего не нахожу, кроме какого-то равнодушия ко всему, кроме пустяков. Вообще мне кажется, что он в нравственном отношении есть неразвившийся Макаров. Бывает у нас каждый день, и целый день до вечера, когда спать идет, сидит и молчит, разве изредка ухо закручивает; кругом — книги, альбомы и проч. добро, которое всегда интересует художника — ничуть не бывало! Солнце на горах такие тени и света бросает, что я едва удерживаюсь и чуть не кричу караул, — он... ухо покрутит — и ничего, да и то показать надо, сам никогда не заметит. Этого уж я не выношу, *хотя выношу*. Ну, если бы он обо всем так думал, т. е. ни о чем не думал, тогда ничего: хавронья и шабаш; нет, он считает необходимым замечать все мерзости своего хозяина и неудобства квартиры, и каждый день буквально передает, как его сегодня и чем накормили. Хочет выехать из Крыма вместе со мною, потому — говорит — скучно будет, никаких знакомых, никаких развлечений, квартира — мерзкая. Он, изволите видеть, хочет жить в Крыму так, *как я живу*, т. е. весьма комфортабельно для Ялты. Я ему, конечно, порассказал, как я жил в Крыму прежде, и чем пользовался, и что тому, кто живет *два года* и оба года постоянно болеет, можно позволить себе это. Да ведь притом, говорю, для этого надо деньги иметь, и деньги большие, а ведь у Вас сто двадцать пять руб. в кармане, а заработать Вы не можете очень многого. «Вот потому и поеду». — «Куда же Вы поедете?» — «В Финляндию» (?!) А?! «А здоровье?» — «Там климат очень хороший и теплый, не русский, а молока, масла чухонского, да все свежее, сколько хочешь». — «Но ведь надо же осенью куда-нибудь деваться?» — Молчит, и знает почему. Уверен, что молоко и Фридрихсгам его так вылечат, что страсть! Вообще очень недалек, судя по всему этому. Сверх сего, не принимает ни одного совета, т. е. он глядит и слушает, а нравится ли ему или нет, сам дьявол не разберет. Словом, убоясь скуки, отсутствия общества (до сентября-то!), хочет ехать в Фридрихсгам, хотя я и говорил, что употреблю все средства устроить его здесь *даром*, у Воронцовых, например, где жил Орловский. Но он, наверное, удерет! Удрать отсюда в Фридрихсгам, когда он в несколько дней переменил голубой цвет лица и губ на несколько благообразный, — это я отказываюсь понять! Я еще не уверен, но думаю, что мне с ним придется добре похлопотать. Ну, много места ему уделил. Что бы еще не забыть? Или забыть можно до... Ворон[ежской]. Фу ты,

пропасть! Голубчик мой, не забывайте, ради бога, того, что *теперь* такое время, которое требует *безотлагательных ответов и вопросов*. Все равно, если ответ или вопрос будет в двух словах, цель достигается, особенно относительно Ворон[еж-ской]... Ну, уж Вы знаете...

Здоровье эти дни идет лучше. Вчера начал работать проклятое панно. Боже мой! Я пропустил по болезни столько времени, что — *уверен* — к сроку не успею: два панно еще совсем не начаты, а два начатые возьмут еще день-другой; следовательно, на два панно остается четырнадцать дней. Ну и чорт их побери! (Это только ведь на бумаге так!) Так усердно занялся языком, что надо на время бросить: совсем уж истреплюсь. Да притом, этот самоучитель хотя мне и очень нравится по системе, но уже головоломно несколько, ибо приходится самому еще работать, а не изучать: много сокращений и слов «и *так далее*», а *как* «далее» — нужно узнать самому. Вот я и наузнавал кучу, да и бросить приходится. Уж доктор мне перестал советовать не работать, не раздражаться и проч.; видит, что я со своим царем обо всем решаю. Сказал раз я ему: «Ах, доктор! Да ведь это все совершенно необходимо». А он: «Необходимо больше всего здоровье». Да ведь как сказал? — Холодно, спокойно, точно оракул! Ведь тут смысла куча! Да смыслом-то этим только полюбоваться можно, а дальше... дальше надо работать. Ведь до Воронежской не утерпел и еще листик накинул. Только Вы этим не утешайтесь — сейчас кончу. Вот сейчас... не верите?

Ф. Васильев

Вот даже и отодрал; соблазну меньше.

50. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

25 марта 1873 года
Ялта

Получил третьего дня, дорогой мой, письмо от Григоровича. Дело моей поездки кончено. Вот оно: я могу ехать в августе, куда хочу и без срока, получая от Общества сто пятьдесят рублей в месяц, но *не безвозмездно*, а с уплатою, которая будет производиться из моих картин, которые я буду посылать на выставку Общества *когда хочу*, т. е. *когда мне это будет удобно*. Вот и все! Меньше, чем ждал, даже совсем мало, но... но ведь и за это спасибо. Придется только еще найти тысячу руб. в год на воспитание Романа и существование матушки.

Отвечаю Григоровичу и ставлю ему вопросы. Первое: что значит *без срока*? Значит ли это, что *сроком поездки располагаю я*? Второе: могу ли ожидать, что Общество, в случае если *я весь первый год* ничего не пришлю на выставку, прекратит высылку денег? Третье: буду ли я терять из ста пятидесяти по курсу? Если буду, то это ведь очень много. Вот главные вопросы, поставленные мною Григоровичу. (Как я мало назначил на поездку за границу! Тысячу двести руб.! Хорошо, что Общество довело эту цифру до тысячи восьмисот. Я только теперь понял, что даже ста пятидесяти руб. едва-едва хватит на мое житье за границей; на первое же время, т. е. пока доеду, мне нужно еще прибавить рублей триста). Хотя Общество и сделало из 1200 — 1800 руб., но, тем не менее, оно дало мне до такой степени ничтожную подмогу, что, в сущности, и благодарить почти не за что! Оно просто ссудило меня деньгами без уплаты процентов, но проценты эти я должен уплатить, если не Обществу, то курсу. *Для меня не выгодно и для Общества тоже.* Вот она, нерациональность-то где! Кто кому обязан? Ни я Обществу, ни Общество мне. Если Общество скажет, что я ему обязан, это не совсем верно; если я скажу, что я Обществу не обязан, это опять неверно. Чорт знает, до какой степени портят всякое дело глупость, а потому и темнота целей! В журнале Общества существует оговорка, что я тогда только могу получить ссуду на заграничное путешествие, *когда совершенно уплачу долг.* Я это угадывал давно, такую оговорку.

Я переехал на другое место. Вот мой новый адрес: Художнику Федору Александровичу Васильеву, на дачу Цабеля, в Ялту.

Это сделано по приказу доктора. Он сказал, что я в прежней квартире не мог поправиться. Эта дача стоит в месяц сто рублей за одни стены и мебель!!

Отложил окончание ширм до конца мая, потому, во-первых, что работать не могу, а во-вторых, великий князь в Сорренто. Мне необходимо окончить здесь картину Солдатенкова [1] к концу мая — денег совсем не родится!

Здоровье весьма плохо, т. е. настолько, что работать буду не ранее половины апреля, а может, и еще позже. Грудь очень болит: тяжесть, слабость и проч. Я даже мнительным скоро сделаюсь. Доктор говорит, опасности нет (?), но катар очень силен. Вот тут и пойми что-нибудь! На Мадеру советовал както ехать!!! Вот, признаюсь, не доставало! Да я теперь все места этакие, целебные! просто ненавижу заранее! Ни в одно не верю: все они, и вместе с докторами, яйца выеденного не стоят, еще хуже! Во всяком случае за границей буду выбирать

не те места, в которые докторов и больных сажают. Чорт с ними совсем! На Мадеру!! А?! Да ведь это уж лучше удавиться, чем сдохнуть там от скуки...

Погоды стоят все время отвратительные: дождь, туман, грязь. Только вчера и удалось выйти на часок. Но что это за штука — юг? Только что шел дождь, туман без милосердия заворачивал все, что можно, в свое поганое одеяло, и вдруг — рай земной, буквально. Цветы покрывают и землю, и деревья, и стены домов, и уж не знаю, что еще. Да какие цветы? О боже мой! Если бы здоровье! Градусник ниже 10 градусов уж не падает более месяца, но поднимается в солнечные дни до 19 и 20 градусов; в затишных местах эти градусы девятнадцать и двадцать очень часты. Но эта зелень молодых кустов и деревьев, эти строгие мантии кипарисов и лавров — очаровательны. Я все хотел написать этюд и послать Вам немедленно для того, чтобы Вы видели, до какой степени мои описания бледны, сравнительно с тем, что есть!

Написал Третьякову, прося его выслать мне тысячу за последнюю картину[2]. Что ответит? С ним же придется вести дело о тысяче рубл., которые мне больше не у кого достать, как у него. (Эта тысяча в год — матушке с Романом). Если откажет? Это меня, признаюсь, ошеломляет. А, вероятно, откажет. Ну, прочь, прочь!

Питомец[3] с восьмого апреля будет жить с нами, и хотя не даром, но все-таки несколько денег у него хоть на обратный путь в Финляндию останется (он все еще эту мысль лелеет). До сих пор ничего не сделал, ни так, от себя, ни с натуры; то же, что я видел в его альбоме, — эскизы финляндские, а по этому ничего не узнаешь. Так же молчит, и если раскроет рот, непременно о своей квартире и хозяине. Скучно! Теперь у меня новое горе: боюсь, что не успею к августу месяцу покончить моего самоучителя. Заниматься совсем трудно. А ведь, в сущности, я все равно непрерывно занимаюсь: если не картины и не самоучитель, мало ли чего другого? Без дела все-таки минуты не остаешься. Я ведь очень глуп бываю, когда думаю о том, скоро ли я поправлюсь? Ведь это вопрос глупый! Ну, разве я когда-нибудь буду здоров? Глупо — и только! Я уже рад-радехонек, что Роман и мама не болеют. Особенно я боюсь за Романа. Ведь у нас у всех наследственная слабость грудных органов. Я не приневоливаю Романа учиться только потому, что желаю, чтобы он был пока здоров, насколько возможно, чтобы окреп. Ученье не уйдет.

Господи, сколько писем накатал! Я ведь теперь так скоро пишу, что на удивление! (Воображаю, как хорошо разбирается моя рука). Что написать еще? Что если великому

князю придет в голову и у ширм урезать этак рубликов 800? Брр!

Мастерская на даче очень плоха от рефлексов. Вот и окно *громадное,* а толку мало. Окно это величиною, пожалуй, более сажени в длину и саженка вверх. Ну, какую чепуху еще прибавлю? А все оттого, что не хочешь чистой бумаги оставлять. Ненужное соображение! Довольно!

Весь Ваш *Ф. Васильев*

51. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

27 марта 1873 г.
С.-Петербург

Мой дорогой друг! Вот я какой хваленый, до сих пор не написал, а известий куча, т. е. не то чтобы уж очень большая, а все-таки есть кое-что. О премии я писать не буду, ибо уже это Вам известно, но кое-что сообщу. Первую Вам дали [1], но я узнал, что было много голосов за то, чтобы дать первую Орловскому. Ну, да чорт их побери — хорошо, что не выгорело. Уморительнее всего то, что в «Петербургских ведомостях», в одном из фельетонов, было помещено анонимное письмо очень дурного тона о премиях [2] в Обществе поощрения художников и их присуждении, и хотя была крупица истины, но так подло и пошло написано, что все узнали ее автора тотчас же; вдобавок он сам себя выдал: приходит на постоянную выставку и говорит Барткову: «Скажите, кто у вас получил премию? Небось дали обе премии Васильеву?» — «Да разве это можно?» — «У вас ведь все можно». — «Нет, Вы получили вторую» [3]. Случился тут же Шишкин. Орловский ему и говорит: «Вы, Иван Иванович, не подумайте, что это я написал статью в газетах. Это не я, потому что написана очень глупо. Если бы я захотел, я написал бы лучше, а это писал человек, который никаких делов не знает». — «Ну, а я, признаться, — говорит Иван Иванович, — подумал на Вас, потому Вы любите писать анонимные письма», — словом, с появлением этого человека начинаются разные штуки.

Затем другое дело, это уже посерьезнее. Вы его уже знаете, потому что Григорович Вам уже писал, вероятно. Вы помните, что я Вам писал о Вашей поездке за границу. Говорил с Григоровичем и писал Вам, что я *его устраню, если окажется надобность,* и, кроме того, писал, что имею некий план относительно этого. Тогда, собственно, было Вам писать о нем глупостью с моей стороны, потому что Вы встревожились

и начали ломать голову, что бы это было такое, и до такой степени занялись этим вопросом, что я даже удивился. Теперь, так как дело кончено уже (Григорович поторопился), то я обязан Вам сказать, чтобы не мучить Вас, хотя это дело выеденного яйца не стоит, это просто одно из тех добрых намерений, которыми, говорят, вымощен ад. Я Вам писал в утвердительном тоне, что Вы поедете за границу, потому что вся задача состояла в уплате долга, и я хотел в решительную минуту взнести его просто, так как ведь все равно. Тут время дорого, а они бы начали разводить бобы. К счастью, все сделалось, как я думал, хотя так скоро, что я даже приготовиться не мог. Например, сегодня я говорил с Григоровичем, а через два дня был Комитет, и Григорович поставил этот вопрос, и он решен в том смысле, что выдавать Вам от сего месяца по 150 рублей впредь на неопределенное время, сколько нужно и сколько Вы потребуете, только не безвозвратно, как я думал, а в виде бессрочной ссуды, с одной стороны, потому, чтобы не отступать от принципа [4], а с другой, — как сказал Григорович, чтобы не оскорбить и Вас; и, наконец, эта ссуда Вас ни к чему не обязывает, не то что на год, а на два, на три, на четыре, сколько Вы найдете нужным воспользоваться, и затем уплатите, когда Вы захотите. Это тем более им казалось так нужно было сделать, чтобы и художники не опрокинулись бы на Общество и чтобы их можно было заставить замолчать, сказав, что ведь Васильеву отпускается в долг. Все это мне Григорович говорит в первый же четверг, после моего с ним разговора о Вашей поездке. Не знаю, как Вам это покажется, но моего вмешательства здесь не было, и я нахожу, что они мало назначили, сравнительно с тем, что Вы просили. Дорогой мой, я не знаю, как теперь с этим быть, дело кончено и подписано, — и я постараюсь узнать и прочесть подлинный протокол, и что узнаю, Вам сообщу. Когда я говорил с Григоровичем, я не знал, что Вы хотите придать этому делу вид ссуды: я говорил о безвозвратной выдаче пансиона; потом, когда я получил Ваше письмо, я уже об этом не настаивал, и теперь играю роль, собственно, только вестника. Мне бы хотелось, чтобы это не так было, но, может быть, Вы найдете возможным, хотя это и трудно, я понимаю, ограничиться 150 рублями: 100 — Вам и 50 — мамаше. Извините, дорогой мой, что я считаю Ваши деньги, но я не знаю, я как-то сконфужен. И потому если Вы напишете мне какие-либо инструкции, то я буду знать, что мне делать. Сегодня я видел Григоровича, он мне говорил, что Штейнбок [5] был в Ялте, виделся с Вами и была речь о ширмах [6]. Дорогой мой, бросьте это все, ради бога. Чорта ли возиться с этим, когда на очереди

есть более важное дело. Откажитесь, и шабаш. Григорович говорит, что вел. князя нет и будет когда, неизвестно, и, может быть, еще их и не нужно к этому сроку; да если бы и нужно было, то пускай они проваливаются, лучше работайте то, что нужно и что Вам прилично. Что же касается задатка, то ведь это Вы всегда успеете загладить, выславши картину вел. князю. Право, так. Я просто полагал бы так: взять все в охапку, просто сесть на пароход, да во Флоренцию, в Рим, Неаполь, Палермо, Ниццу, Париж, Бразилию или еще куда-нибудь, ехать, ехать, ехать, бросить работу так на полгода, посмотреть, развлечься. Ничто так не укрепляет нервы, как прогулки. Вы так засиделись, что я боюсь, не много ли уж Вы комбинируете, как и что нужно сделать.

Относительно Воронежа я Вам опишу, как стоит дело. Одна дача в семи верстах от Воронежа уже совсем было была нанята, но пришла телеграмма, чтобы задаток не высылать. В настоящее время другая там же, рядом с прежнею, в селении Репном отдается, и я послал задаток 50 рублей. Не знаю еще, какая судьба постигнет мой задаток, но, кажется, это верно. Через неделю буду знать. Дом, в котором десять комнат, мы будем жить втроем: я, Шишкин и Савицкий; недалеко от нас, в двух верстах или полутора верстах — Сталь [7]. Теперь, можно ли и будет ли дом где-нибудь поблизости, не знаю, это надо быть там лично, на месте.

Что же касается Вашей раздражительности и каких-то особенных условий, то меня это нисколько не пугает, так как мы так долго угощаем комплиментами друг друга, что разок-другой хорошей потасовки, я думаю, было бы недурно, это, говорят, укрепляет узы дружбы. — Словом, как Вы захотите, как вздумаете, куда направитесь и, наконец, что для Вас полезнее, так пусть и будет. Я рассчитываю в первых числах мая перевезти семью в Воронеж, и если до того времени Вы надумаетесь, я буду готов. Наконец, время есть. Что же касается заграницы, то это опять-таки когда хотите. Я потому так все пишу, что ведь, в сущности, Вы сами должны решить это дело сообразно личному вкусу и необходимости. Григорович мне сообщил, что если мне угодно, то он рекомендует мне обратиться к казначею Чупину [8] и сказать, куда он должен высылать деньги, так как он, Григорович, скоро уезжает за границу. Итак, пишите, что и как, и куда, и когда, и с кем, и к кому и т. д. — все в этом роде. Дурно ли, хорошо ли, браните, или погладите по головке, но дело, как видите, поставлено просто и ясно, хотя и не блистательно. Повторяю, я самолично убеждусь, что и как оно там написано в протоколе.

Теперь об Академии. С неделю тому назад узнаю —

в Совете рассматривалось Ваше прошение. Иду справиться, говорят, дали почетного вольного общника [9]. «Хорошо. Зачем же это, говорю, а художника? Ведь он держать экзамен не может, Академии известно, что он лечится, ему нужен паспорт, а не профессорский мундир». Иду к Исееву: так и так, говорю. — «Да, говорит, правда...» Я спрашиваю: «А паспорт ему будет?» — «Будет», говорит. — Я подумал, подумал, что с ним поделаешь? и говорю: «Помните Петр Федорович, что ведь это очень важно, я Вам говорил, почему и как». — «Как же, говорит, отлично помню. Можете написать Васильеву, что все, что нужно, будет выслано: он может быть спокоен». Однакож тут что-то неладно мне показалось. Навожу справки, говорят: закон. Чорт знает что такое. Но оказывается, что протокол еще не подписан и что это не кончено, что рассуждения еще будут об этом. Хорошо. Я сказал дело кое-кому из членов Совета, и что будет решено дело по сущей справедливости, а главное, сообразно с здравым смыслом, я, по крайней мере, не теряю надежды; не знаю, какую силу убедительности это имеет для Вас, но я пока спокоен. Что будет дальше, не замедлю (да поверят мне!) известить.

Что касается Ваших картин... (постойте, о ширмах можно так: выслать только то, что готово — одну, две или три, а остальное Монигетти [10] ухитрится заказать кому-нибудь, ей-богу! Идея! Подумайте, может, найдете пригодным), то все, что Вы пишете, я совершенно уверен был, что это так. Что жанр (быть может) исключает колорит — это я видел у многих художников, т. е. у художников настоящих: по мере того, как они подымаются все выше и выше, они как будто бы утрачивают колоритность, но это неизбежно — чем ближе к правде, к природе, тем незаметнее краски. Да ведь это так и в натуре, и если я сказал о красках Ваших в последней картине, то Вы, вероятно, пропустили смысл моих замечаний. Я именно говорил об этом, как об одном из самых солидных Ваших новых качеств.

Репин картину [11] свою кончил, и я Вам должен сказать, что картина хорошая вполне. Право, невзирая на то нечто, о котором мы с Вами говорили. Этого почти незаметно. Семирадский привез картину *«Грешница»* [12] (из поэмы Толстого). Таланту тьма. Картина в 9 арш. производит впечатление ошеломляющее, долго не можешь владеть рассудком, хотя Христос с апостолами несколько мизерен. Из этого Вы можете заключить, что это такое. Крупные новости художественные все исчерпаны.

Как я хохотал, если бы Вы только знали, получив Ваше письмо-предисловие: «этот птенец, недовольный одеялом, имею-

щий 2 рубля 40 копеек на комфорт в Ялте, на целые полгода; этот Максимов, находящий и такой капитал роскошью; этот путешественник иерусалимский, совершающий свои поездки с березовым поленом», — это, я Вам доложу, чудесно. То есть вот как: читал его Софье Николаевне и покатывались — как, я не знаю как, давно уже не смеялись так. Даже теперь вспоминаю — так меня и разбирает. Кочетовой ни за что не дам письма, успокойтесь. Она едет с Келлером, который тоже пробирается в Ялту, вот Вам. Если бы и не это, то и в таком случае не сделал бы оплошности. Что же касается птенца, то ведь это потому, что он оказался едущим, и я сам его просил передать посылку, это просто была оказия. Программу гимназии, которую Вы у меня просили, мне все обещается принести учитель моих детей (вот как! Уж и подрастающее поколение с будущего года, пожалуй, пойдет в гимназию, время летит). Недавно, т. е. месяца два, как у меня занимается уже учитель. Сам не могу больше — некогда, т. е. какой чорт некогда, а лень, да и не знаю так, как для того требуется, дело простое. Оканчиваю Валуева [13], работаю наследника [14], приготовляю картины. Валуев выходит ничего себе, начинаю смекать живопись. В одном из писем Вы как-то ходили вокруг да около о моей живописи. Дело просто: мне было бы чрезвычайно важно поработать вместе с Вами, это можно сказать без обиняков. Чем дальше, тем больше я вижу, что собственно о колорите я не имел ни малейшего понятия. Изо всех здесь живописцев, собственно, Репин дело смекает настоящим образом, право, так: я говорю о красках. Вы не морщитесь, это верно. Репина, пожалуй, Вы и не узнаете [15]. Не знаю, что он сделает после «Бурлаков», назад итти нельзя, а вперед — сомнительно. Опять-таки относительно живописи. Нет, решительно русская школа становится серьезною, ни больше, ни меньше. Ну, господь Вас храни. Будьте здоровы. Пишите, что и как о загранице. На ширмы плюньте.

Ваш *И. Крамской*

52. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

3 апреля 1873 г.
Ялта

До сих пор (!!!) не получал от Вас, дорогой из дорогих, ни одного письма. Получил вчера письма от Шишкиной [1], в котором она пишет, что дача, на которую рассчитывали, сдана. В душу мою заронилось подозрение: неужели то, что

я подозреваю, есть истина? Неужели уже начинается? Ах, дорогой мой, я боюсь, что когда Вы мне пишете эти же два слова, то Вы их берете в другом смысле, т. е. что я дорогой только по цене, какую Вы платите. Ну, да рассчитает нас бог! Кажется, извещал о том, что писал Григорович о моей поездке за границу, т. е. как она решена.

Скучаю, хочу Вас видеть, и не могу; словом — то же. Здоровье лучше, но еще не работаю, а только думаю, думаю, обдумываю, передумываю и проч. (думаю, конечно, не о работе).

Как скучны, как однообразны дни! Хотя они совсем разнообразны, но не для меня. Для меня существует только однообразие: сегодня доктор, завтра без доктора, на третий без доктора, и т. д. Кстати, знаете ли, как меня доктор ошеломил, когда сказал, что бедному *питомцу* нет никакой надежды поправиться? Я решительно думал, что здоровье его не столь дурно! А я еще смеялся над его бездеятельностью, над его апатией! Ах я, негодяй! Он каждый день бывает у нас и скоро переедет совсем. Доктор его у нас же пользует, тот же Олехнович. Олехнович не мне сказал это, а маме, *когда выходил.* Это я узнал так: когда ушел доктор от меня, входит мама с красными заплаканными глазами. Меня этак, знаете, кольнуло где-то. Спрашиваю: «Ага! это с доктором пошушукали? Ну что же он такого сказал Вам?» Она говорит: «Вот, мол, что про Гоголева говорит». — А я говорю ей (сразу не поверил): «Уж полноте на Гоголева-то сваливать! Скажите прямо, что он Вам сказал о моем здоровье! Ведь должен же я от кого-нибудь узнать истину. Ведь это мне знать нелишнее». Ну, уже потом убедила. А почему знать, может, он, доктор, и обо мне кому-нибудь *постороннему* истину сказал?.. Какая она?.. Я ведь мнителен стал. Я писал прежде, что, кажется, стану, а теперь уже и стал. А почему? Здоровье было и хуже, да ничего дурного не думал, а теперь чорт знает, какие соображения в голову лезут. Ну это — к чорту, так как всякая сомнительность есть потеря здравого смысла, а глупости говорить и писать совсем не удовольствие!..

Считаю часы и минуты до получения от Вас письма (фу, какая я свинья в сущности!). Голубчик, ради бога, пишите, когда захотите, и не обращайте на мою пакостность внимания. Ведь я глуп; я сразу понять не могу, что *дурно писать, когда некогда и даже когда лень.* (Сколько раз я принужден был писать о своей глупости. О, неисправим, хоть брось!) Ах, бедный Гоголев! Вот не ожидал. А я-то его! Вот тебе и проницательность! Не видал самого главного! Не доставало бы еще, чтобы я ему в глаза нравоучение какое прочел! Это уж как-то

бог спас. Так кашляет, что даже что-то в груди у него гудит. Эх-ма, молодость!

От Третьякова получил письмо — ответ на мое, посланное еще в феврале месяце. Весьма, весьма милый тон этого послания обнадеживает меня, что он и на другое послание (от 24 марта) ответит благосклонно, т. е. вышлет тысячу рублей за картину, оставляя долг до другого времени (фу, как понятно!!). А если нет?!! Бррр... брр, брр, брр, бры, бры. Это — песня татарская, не удивляйтесь, что не понимаете. Ну-с, отец мой, вот уж я и не знаю, что еще написать Вам? Можете себе представить, все вышло! Ну, вот, ей-богу! нечего. Разве, что подарок получил? Ну, и это — после. Вот погода сегодня — самая замысловатая, т. е., собственно, не погода, а день замысловатый. Было утром (у меня оно продолжается до часу) оченно прекрасно, и даже я своей персоной пошел в Ялту (около версты), в магазею. Вернулся в сильнейший южный ветер (этот ветер очень хорош здесь). Чайку попили, поговорили — глядь, на горах пожарище лесное, величины необъятной; и Ялту, и нас, и горы стало покрывать дымом, а солнце преобразило свой свет в красножелтый. Дым поднимался громадными тучами с места пожарища и застилал даже небо и солнце. Вероятно горит сразу на двух, нет, гораздо, гораздо больше, трехстах десятинах. Наставать начал вечер. Вдруг через горы подул такой страшный северный ураган, что захлопали двери, зазвенели стекла и поклонились кипарисы и тополи до земли. Пожар разом вырос и высоко кидает пламя, а Ялта вся освещена. Место этого несчастия для Крыма от Ялты отстоит верст на двадцать. Если проклятых татар и таких же проклятых за неосмотрительность охотников не истребят, то Крыму грозит страшная будущность. Вот уже третий лесной пожар в горах около Ялты, который я вижу в одну весну. А еще сколько погорит летом! Ведь лес в России пропал совсем! Ведь мы — азиаты; что нам лес стоит! Сгорел — сгорел: какому чорту он нужен, какая от него прибыль? Подлецы! Ну-с, кого еще обругать? Теперь себя. Замечаете ли Вы, что я это письмо особенно неправильно написал? Сие потому — серьезно занялся французским языком, а так как там склад фраз и грамматика другие, то вот и выходит чорт знает что. Ах, батюшка, этот французский язык! То есть чорт знает что такое! Этакая ерунда, что сам чорт голову сломит, если вздумает пойти прямо. Тут все надо закоулками, загогулинами. Ну, ладно! Загогулины-то я понять могу, да ведь время-то где? Ехать на неделю, на две можно и так, а ведь мне придется сразу на место сесть, да на место удобное, да устроиться;

а я — парле-франсе, ни взад, ни вперед. Да еще с раздражительностью! А к доктору пойти понадобится? Вот где страсть-то! Что ни толкую, а это тоже, в своем роде, хомут. Ну, вот даже и о хомуте! Все ли у Вас здорово? Зачем я эту фразу написал? Ведь я уверен, что здорово, иначе бы я беспокоился. Ах, как долго в человеке сидят табунные привычки!

Из Академии о дипломе ничего не слышу. Ширмы отложил до конца мая, ибо князь (говорят) в Сорренто. (Это значит, что и получку денег отложил). А вот теперь и письмо откладываю, потому — время, да о пустячках и извещать нечего.

Крепко, крепко Вас любящий *Федька Васильев*

Будьте здоровы, дорогой мой! Дай Вам боже!

53. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

8 апреля 1873 г.
Ялта

Получил от Вас сегодня, дорогой мой, в день первый пасхи, письмо. Отвечу на все сжато и возможно ясно. Прежде всего — *о советах*. Голубчик Вы мой! Советы для меня так же полезны, как советы с берега человеку, брошенному среди моря с голыми руками. Поймите, что ширмы теперь для меня нужнее, чем для вел. князя! Если я не кончу ширм, я не могу выехать из Ялты — не на что. Если я, по Вашему совету, брошу все, то мне самому придется броситься куда-нибудь. Это — недурные обстоятельства, *это судьба,* обойти которую нужно стараться, но нельзя без больших жертв. Словом, что тут писать, когда лучше передать факты? У меня в Ялте долгу 1373 руб. Для того, чтобы прожить до конца мая, нужно 415 руб. Поездка до Воронежа — 300 руб. Доктору — 200 руб. Итого, как видите, — 2 288 руб., которые я должен здесь заработать до конца мая. Это, кажется, ясно, как день, и советы тут не принесут никакой пользы. Если я брошу ширмы, то не буду в состоянии выехать из Ялты, а если я не выеду в конце мая или в первых числах июня, я *здесь умру*. Я вижу, что Вы или не получаете моих писем, или я очень плохо описывал мое положение, ибо я его уже описывал не один раз. Итак, *я должен* заработать 2 288 р. Вот как этого надеюсь достигнуть: кончаю ширмы к концу апреля и посылаю; жду денег. В это время необходимо окончить картину Солдатенкову к концу мая. Опять жду денег. Если мне деньги вышлют к началу июня, еду в Воронеж. Проще сказать, от высылки денег

зависит мой отъезд отсюда. За ширмы я должен получить 1 800 руб.; наверное, и из этой вычтут задаток в другой раз, т. е. не выдадут 2000 руб., с Солдатенкова — 800 р., итого 2600 р. Сверх этой суммы, я писал Третьякову, прося его выслать 1000 руб., за картину последнюю, а долг отложить на некоторое время (эта сумма будет вспомогательной, если я не получу от великого князя или от Солдатенкова своевременно). Ну, невольно, кажется, ясно?

Теперь о том, какие я имею средства заработать это? Вот они: слабость, отсутствие всякой энергии, беспредельная мнительность и проч. в этом роде. Словом, я так болен, что уже три недели не работаю и боюсь думать, что еще очень нескоро буду в состоянии приняться. Это может подорвать мои расчеты и заставить отложить поездку до конца июня... но ручаться нельзя и за этот срок: все зависит от того, как пойдет болезнь, а в последние дни она идет чуть ли не хуже с каждым днем. Нервы доведены до полного безобразия. Доктор говорил неделю назад, что опасности нет; но я в эту неделю еще не повторял вопроса. (Впрочем, я уже перестал ему верить). Что касается до суммы, отпущенной мне на поездку за границу, то и об этом я уже писал, даже было письмо и после этого. Словом, я написал Вам уже три письма, считая с предисловием. Вероятнее всего, что почты слишком неаккуратны *постоянно,* а потому даже приблизительно не могу определить, в какое время мое письмо доходит до Вас. Иногда это бывает на восьмой день, а иногда на двадцать четвертый, как со мною, например, случалось, притом довольно часто.

Если Академия не выдаст мне паспорта, она отнимет у меня возможность спасти свою жизнь — и только. Притом паспорт мне нужен к отъезду, т. е. к концу мая; иначе меня не пустят на пароход, так как у меня нет *никакого вида.* Расскажу подробно: мой мещанский паспорт затерян Григоровичем, — кажется, также и метрика. Паспорт, или свидетельство от Академии просрочено уже год. Следовательно, у меня нет вида, и достать *я ниоткуда не могу.* Если я вздумаю обратиться в мещанскую управу, то с меня возьмут *колоссальный штраф,* а может быть, и хуже. Притом, никаких концов не найдешь. Словом: не из Академии — то и неоткуда. Нельзя ли хоть так: пусть там запишут, что ли, где, что я через четыре года обязан сдать экзамен из наук? Это будет не против правил, а будет только смягчение, которое больным все учреждения оказывают. Может, можно? Тогда я в таком духе напишу письмо к Исееву или в Совет. Ради бога, об этом дайте немедленно свое мнение, просто в двух словах — пишите, нет. Вот и довольно, без объяснений, почему и проч. Много надо

написать, но положительно тяжело, и простите, Христа ради, по сему уважительному случаю. Эврика! Почта завтра в 4 часа: утром кое-что прибавлю.

9 апреля

Что я прибавлю? Я думал, что Орловский в Италии еще, а он уже выступил на петерб[ургской] сцене. Вероятно, будет также прилежно играть. Дело заграничной поездки я считаю. *оконченным. Я никогда не желал придавать этому делу род ссуды,* как Вы пишете, вероятно, по словам Григоровича; я, совсем наоборот, просил именно о безвозмездной посылке.

Я просто не могу удержаться от улыбки, видя, как Вы потерялись на мой счет! Совершенно понимаю такое состояние. Я сам едва-едва могу удерживать в голове все нити этой дьявольской ткани, *постороннему* же человеку невозможно знать и одной тысячной доли (постороннему, в смысле невозможности знать чужое дело так хорошо, как свое). Вот особенно над чем я смеялся: «Бросьте все, да во Флоренцию, в Рим, в Неаполь, Ниццу, Париж, Бразилию или и еще куда-нибудь!!» — на сто-то рублей?! Да ведь я на сто рубл. только до Вены разве доеду! А на что же в Бразилию-то? Да ведь и не сто руб., а еще меньше, ибо надо будет потерять на курсе. Чтобы так ездить, нужно триста, четыреста руб. в месяц, а не сто. Так как я прекрасно знаю, что ехать за границу с сотнею руб. невозможно, по крайней мере мне, то и возьму все сто пятьдесят, к которым буду зарабатывать то, чего не хватит; деньги же для матушки надо еще достать, и тоже пятьдесят руб. никак нельзя, ибо Роману нужно учителя, который приготовил бы его в гимназию. Словом, еще сто руб. или, по крайней мере, восемьдесят в месяц необходимо.

О Воронеже писать ничего не могу, ибо Вы еще и сами не знаете, есть ли рядом, т. е. недалеко с Вашим домом, другой, которым бы я мог воспользоваться. Если же такой дом и есть, но за три, за четыре версты, то мне, конечно, будет одно и то же: жить ли от Вас за четыре версты в Воронеже или жить в Крыму. Я еду в Воронеж не потому, что мне *туда нужно* (совсем нет!), а потому, что я думал жить там с Вами, т. е. скорее — близко к Вам, чтобы можно было скрываться, когда надоем.

Ах, как скучно повторять уже писанное! Я Вам писал, что за границу поеду в конце или в половине августа (если с моим здоровьем не произойдет ничего быстрого, требующего ехать немедленно). Я совершенно не понимаю вот этой фразы: «Я рассчитываю в первых числах мая перевезти семью

в Воронеж, и если до того времени Вы надумаетесь, я буду готов». Ради бога, объясните, что это значит? Я положительно не могу понять; и сообразительность страдает, должно быть! Что касается до того, чтобы я Вам написал, куда я поеду за границу, то это совершенно неизвестно даже мне самому, и знать это я могу только по ходу здоровья. К Чупину я должен буду явиться сам, так как мне, вероятно, все-таки нельзя обойти Петербурга, ибо совет Боткина мне дороже всего, а Боткин в это время, вероятно, будет в Петербурге (в начале августа). Он и решит, куда и на сколько ехать. Если же болезнь будет слишком увеличиваться, тогда придется ехать очертя голову, ибо всем остальным докторам я ни на грош не верю.

Ну, больше решительно не могу. Будьте здоровы и веселы! Да хранит Вас господь бог, дорогой мой!

Весь Ваш *Ф. Васильев*

Всех Ваших домашних крепко обнимаю.

54. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

10 апреля 1873 г.
С.-Петербург

В этом письме не будет ни одного раза употреблен эпитет: дорогой мой Федор Александрович, кроме уже написанного. Что с Вами? Что такое Вам лезет в голову? Как это «дорогой по цене»? Что это значит, я в толк не возьму, и что такое «уже начинается»? Если говорить, так все говорить или уже и начинать не надо. Признаюсь, мне такого рода туманные пятна непонятны. Не разъясните ли? Письма, действительно, не писал к Вам около трех недель, но давно уже как послано — Вы должны были его получить, и если не получили, то... признаюсь! В нем я писал Вам и о Григоровиче, и о Вашей поездке за границу, о Воронеже — словом, дела все текущие были налицо, и как мог — обстоятельно. Вот будет штука, если и в самом деле письмо не дошло. Между тем как Ваше, посланное 3 апреля, я получил, как видите, 10-го, это чрезвычайно исправно, даже удивительно. А между тем там, у Вас в Ялте, кажется, никто такой не живет, для которого ускоряется почта [1]. Прежде бывало не так: хорошо, если на одиннадцатый или двенадцатый день получишь. Ну да это в сторону: хорошая или дурная, а все же почта, спасибо и за эту. Впрочем, не особенно спасибо, если Вы письма не получили, так как писать в другой раз — не знаю как. Вы напишите,

Христа ради, если не получите, я повторю. Григорович уехал уже за границу — чорт этакой, исчез. Надо разыскать Чупина, что за штука такая, не знаю. Воронежская губерния не ушла-таки. Мы едем, когда — об этом напишу. Только, чорт его знает, как все слагается. Полагал, что поедем все вместе, а между тем Шишкин неизвестно когда выберется; говорит, дай бог, в июне, Савицкий тоже не рано, один я, полагаю, выеду раньше других. Дача нанята заглаза, разумеется, и, кажется, не хватает мебели и посуды; нужно будет все это из Воронежа перетащить. Правда, недалеко, в семи верстах, а все-таки. Дача Глаголевой, в Репном (селение), около Воронежа, дом помещичий. Пишите, как и что, доктор пускает ли Вас; тогда я, по приезде туда, уже лично найду, что нужно для нас. Заживем. А птенец, о котором Вы пишете, мне не казался плохим, он даже и не кашлял, когда я его видел у Репина, как же это он так? Что-то уж очень скоро. Не удивляйтесь, мой хороший, если к Вам приедет все-таки Кочетова; в последний раз, на четверге, она объявляет, что едет на фоминой, то чтобы я приготовил письмо к Вам, за которым обещалась явиться.

Теперь надо Вам сообщить о самой свежей новости Петербурга — картине Семирадского *«Грешница»* [2], из поэмы А. Толстого. Помнится, что я уже, кажется, упоминал о ней, и если не особенно распространялся, то, виноват, значит, не предугадал ее значения для нашей публики. Дело в том, что со времени Брюллова, говорят, не было такой картины. Между тем Христос — такая ничтожная личность, что для него ни одна грешница не раскается, да и сама грешница не из тех, которые бросают развеселую жизнь. А между тем от картины сходят с ума. Надо объяснить Вам хотя сколько-нибудь это явление. Картина написана так дерзко и колоритно, в смысле подбора красок (а не органического колорита), так сильно по светотени и так много в ней внешнего движения, эффекта, что публика просто поражена. Из этого видно, что картина недюжинная, и Ваш покорнейший слуга был около двадцати минут под впечатлением картины. Она производит в первый раз импонирующее впечатление, и хотя вся фальшь видна с первого раза, но критика молчит, так велика сила таланта. Талант этот не из тех, которые незаметно входят в интимную жизнь человека, сопровождают ее всегда, и чем дальше, тем делаются все необходимее; нет, этот налетит, схватит, заставит рассудок молчать, и потом вы только удивляетесь, как это все могло случиться. Нет, мы все еще варвары. Нам нравится блестящая и шумная игрушка больше, чем настоящее человеческое наслаждение.

11 апреля

Виделся с Бартковым и узнал о Чупине следующее: что он кассир и что Общество положило выдавать с 15 августа, или когда Вы потребуете, по 150 рублей, и за первые три месяца можете получить вперед, а так же, впрочем, и всегда будет происходить, за каждые три месяца Вы будете получать по 450 рублей. Лучше это или хуже, не знаю, но иначе, пожалуй, нельзя, так как перевод за границу каждый месяц делать неудобно, пожалуй. Сроком поездки располагает не Общество, а Вы всецело, и если бы не только в течение первого года не прислали ничего на выставку, но и другой год, то тоже ничего. Словом, с этой стороны это хорошо совсем, по-моему. Общество, говорят, не хотело отступить от принципа и не выдавать безвозвратно [3]. Но ведь чорт его знает, этот принцип, хорошо это или худо? Со стороны респектабельности джентльменов, заседающих в Обществе, хорошо бесспорно, но... мне-то оно почему-то не нравится, и я было так и дело тронул, когда заговорил с Григоровичем, а тут получаю от Вас письмо, в котором Вы просите Общество (т. е. думаете просить) ссудить Вам на поездку за границу. Я и не знал, собственно, как быть, и не настаивал уже о безвозвратной посылке, а представил дело рассмотрению просто. Но, как писал Вам уже, никак не ожидал, чтобы все это сделалось в каких-нибудь два-три дня. Оказалось, что в Обществе было общее собрание. Больше писать об этой материи не знаю что, так как не знаю Ваших мыслей.

Относительно Вашего звания почетного вольного общника я советую сделать опять запрос в Академию и просить выдать Вам звание какое бы то ни было, а в почетном звании Вам нет никакой надобности (да оно и не дает ничего, как я узнал), и потом, как это ни неприятно для Вас, может быть, я все-таки советовал бы Вам написать великому князю Владимиру Александровичу, в форме письма, с просьбой войти в Ваше положение и дать Вам паспорт, потому что этот Исеев рад всякому случаю сделать неприятность Григоровичу и Обществу поощр[ения худож[ников]. Вы, может быть, знаете, что он во сне только и видит, как бы уничтожить Общество и ему напакостить. Великий князь приехал к приезду Вильгельма [4], и ему уже доложили о том, что Вы нездоровы и не можете кончить ширмы, и он ничего, благосклонно выслушал и, говорят, выразил сожаление о Вашем здоровье, а за ширмы ничего.

Кроме того, я говорил с Н[иколаем] Н[иколаевичем] Ге, чтобы он поднял опять вопрос о Вашем звании [5], так как,

оказывается, журнал еще не подписан, а следовательно, можно еще и перерешить. Несмотря на то, я думаю, что все-таки нелишнее будет написать вел. князю. Как глубоко должна быть для Вас неприятна вся эта история! Вы не поверите, как возмущает Академия своими законными стремлениями, после пятнадцатилетнего беззаконного поведения, да что я говорю — пятнадцатилетними; всю жизнь свою она была великой грешницей и вдруг желает исправиться. Послушайтесь меня, голубчик мой, напишите письмо вел. князю, я убежден, что будет сделано все, как Вы желаете. Вы не покачивайте головой, тут есть доля правды. Ведь в самом деле, нельзя же так поступать наперекор всякому здравому смыслу.

У нас все пока слава богу: мальчишки учатся и не слушаются, Софья Николаевна хворает, как всегда, я ничего путного не делаю и бью баклуши, да и чорт его знает, что со мной сделалось: как-то, не сегодня — завтра, не завтра, так послезавтра что-нибудь сделаю, и так дальше, все думаю, думаю и ни за что не принимаюсь. И откуда я получил репутацию человека работящего? Я думаю, только оттого, что у нас нет людей действительно работающих.

А как Вы полагаете, будем ли мы что-нибудь значить в Вене [6]? Я думаю — немного, а если будем, то значит, уровень искусства за границей хуже нашего, потому что они уже работают целые столетия, тогда как мы едва в колыбели. Увидим. Путешествие на Восток, право, состоится, и знаете когда? Вероятно, около будущей осени 1874 года [7], право. Едут еще Гун и Громме [8]. Этого господина Вы не знаете, разумеется, а это художник, и хороший, и считается русским. Ну, да хранит Вас господь бог, поправляйтесь и пишите, что и как относительно Воронежа. Приблизительно мы выедем около 15 мая. Вот я так подло пишу, едва ли разбираете.

Ваш *И. Крамской*

55. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

13 апреля 1873 г.
С.-Петербург

Дорогой мой Федор Александрович! Ольга Акимовна Кочетова, подательница этого послания, Вам уже, вероятно, известна, если не знакома. Завидую очень, что она Вас увидит в Крыму, куда едет на лето жить и работать, что главное — не знаю, думаю, что то и другое одинаково для нее важно. Полагаю, что ее приезд предупредит мое письмо, которое я

послал вчера и из которого Вы уже после узнаете, как все это случилось. Впрочем, если и не узнаете, не все ли это равно. Много людей и художников направляется ежегодно в Крым для наслаждений и отдыха, а потому ничего нет удивительного, если Вы встретите там еще много, много лиц знакомых, если не лично, то по слухам. Извините, что оканчиваю послание, так как Ольга Акимовна торопится, или, лучше, ждет этой записочки, которую я обязан был бы, в сущности, приготовить давно.

Ваш весь *И. Крамской*

56. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

19 апреля 1873 г.
С.-Петербург

Мой родной Федор Александрович! Простите мое недостоинство вообще и относительно советов в частности. Ведь, ей-богу, когда получишь этакую цыдулочку, в которой повествуется, что и бок болит, и грудь болит, и силенки-то нет, то волей-неволей начинаешь советовать; так уж человек устроен: посоветовал — ну, как будто и долг свой исполнил, да и как удержаться? Дело доброе, а ничего не стоит, соблазнительно! Я, впрочем, не так уж недостоин со своими советами, — Вы пишете, что нездоровы, а между тем ширмы у Вас на совести, вот я и думаю: к чорту их, за это время можно что-нибудь сделать другое, более симпатичное, и получить то же самое, может быть. Вы говорите: *нельзя Вам без ширм.* Что Вам они нужнее, чем вел. князю, вижу, ясно вижу, да ведь обидно же! В самом деле, как не выругаться, и потом вот что, мой дорогой: принимайте все-таки мои советы и замечания зауряд с прочими, потому что и мои столько же, в сущности, стоят, как замечания и советы других. Потому, разговоры одни, делом никто Вам не поможет. Ну, скажите, разве есть какой-нибудь прок из того, что кто-то Вас любит, жалеет, думает о Вас и мучится? Чем такой человек Вам будет полезен, если он не может дать всего, что нужно Вам?

Перейдем ко мне. Ну что, в сущности, я в состоянии для Вас сделать? Я не мог сделать никакого улучшения в ассигновке на заграничную поездку, я не могу в Академии заставить двадцать ослов принять в соображение здравый рассудок; я, наконец, не доктор, чтобы вылечить Вас. Я могу только микроскопически помочь Вам, и на это я согласен с радостью, стремительно готов, я могу поделиться с Вами деньгами,

и если нужно, обратитесь ко мне, и в размере не более, впрочем, 1 000 рублей. Я готов, как уже готов был употребить деньги на погашение долга в Обществе, если бы они отказали, поэтому — вот что я могу, на это рассчитывайте, если нужно — располагайте. Не думайте, ради бога, чтобы Вы очень плохо и непонятно описывали Ваше положение и что я не отдаю отчета во всем, что с Вами происходит и каковы Ваши обстоятельства. Нет, писали Вы уже несколько раз и довольно обстоятельно, а если же чего и не досказывали, то, верьте, я все-таки несколько Вас знаю и кое-что могу догадаться. Наконец, я могу читать, и действительно читаю, между строк, так что я отлично понимаю, как и что, и если начинаю болтать вздор, то это бывает, когда на меня находит паника: человеку нужно лечиться, и, сколько помню, еще когда я Вас оставлял лично, то доктор Вам говорил, чтобы Вы не работали, т. е. если бы и работали, то уж никак не больше трех часов в сутки, а тут ширмы к сроку, да еще и заболел опять, ну, и понес человек вздор. Не взыскивайте строго. Помните, что все-таки я не хотел бы умышленно или легкомысленно наносить Вам хотя тень неприятности, или бы я не принимал всего, что Вы мне пишете, за серьезное дело. Успокойтесь, если можете, я все Ваши письма получал (кажется, все), и обо всем Вы мне писали. С паспортом из Академии я не знаю, как быть. Должно, по моему мнению, Вам написать опять в Академию прошение еще раз о том же, и великому князю изложите в форме письма [1], да уж, пожалуй, заодно и Исееву. Если на последнее хватит решимости преодолеть натуральное отвращение. К сожалению, я должен сказать, что Н[иколай] Николаевич Ге, как член Совета, не имеет такого успеха по весьма понятной причине — он слишком красный, и потому все, что он предложит или защищает, тому считают обязанностью ослы сопротивляться [2]. Я был у Исеева и говорил последнее, что Вы пишете, т. е. не то, что *Вы* пишете именно, а просто говорил о письме от 8 и 9 апреля, и он, я думаю, сделает, если *Вы* ему еще напишете. К сожалению, и Ваш покорнейший слуга не пользуется симпатиями Академии. Вам это известно. Искал письмо Ваше, в котором Вы писали мне, что Вы хотите просить Общество *ссудить* Вам деньги на поездку за границу; там так и стоит в письме, писанном в феврале 24, 25 и 26: «*Ехать за границу сразу не могу, потому что нет денег, нет ровно никакого вида, нет веры в ссуду Общества и величину ее в год*», а в другом месте, пониже, в том же письме, речь идет все о той же поездке: «*Я должен, из боязни потерять будущую* (прибавлено для ясности — старую) ссуду Общества, уплатить» и т. д. И потом в том письме, в котором

Вы назначаете сумму 2200 рублей серебром, речь идет тоже о ссуде. Я же все время в разговоре с Григоровичем напирал на то, что нужно сделать это, как было сделано Брюллову [3] и Келлеру [4], а Григорович свое: принцип, нельзя до уплаты, и тому подобное. И как я уже писал Вам, дня через три после разговора был Комитет, о котором я не знал, а в следующий за сим четверг он, Григорович, мне сообщает, что поездка Ваша Комитетом решена и выдано, т. е. ассигновано *уже* (чему я крайне удивился, т. е. этой скорости), на 150 рублей серебром. И даже он сообщил уже об этом Вам. Григорович, очевидно, хотел меня обрадовать, а между тем я так был, собственно, сконфужен, что даже не вдруг Вам написал об этом, и Вы узнали об этом не от меня. Это объяснение я делаю чуть ли не в третий раз, на этот раз уже по поводу последнего письма, в котором Вы пишете: «*я никогда не желал придавать этому делу род ссуды, как Вы пишете, вероятно, по словам Григоровича; а совсем наоборот, просил именно о безвозвратной посылке*». Дорогой мой, ей-богу же, Вы писали так, как я Вам докладываю. Но так или иначе, а дело сделалось так, как оно сделалось, не потому что Вы писали или я говорил, а потому что Григорович, несмотря на мои настояния (заметьте, я тогда еще не знал из Ваших писем того, что привел выше) в Комитете, не пожелал, а может быть, и не мог, поставить вопрос иначе. Ведь я думал, да и Вы также, что поездка не будет решена раньше уплаты старого долга. Теперь объясню последнее недоразумение. Вы спрашиваете у меня смысл фразы в моем письме: «Я рассчитываю в первых числах мая перевезти семью в Воронеж, и если Вы до того времени надумаетесь, я буду готов». Фраза действительно дурацкая, но я ее понимаю совершенно (еще бы!). Дело, видите, в чем. Она связана в письме (вероятно, связана) с решением о Вашей поездке за границу и о месте, наиболее благоприятном для Вашего здоровья. А так как поездка за границу решена, так что если Вы пожелаете ехать немедленно, не дожидаясь августа (так сказал перед отъездом Григорович и так сказал Бартков: требуйте, когда захотите, этой поездки), то Вы можете, а потому, может быть, предпочтете, или нужнее, наконец, за границу на лето, то и надумайтесь, но знайте, что я буду в Воронеже в мае, и если Вы приедете ко мне, то известите, *я буду готов* искать помещение и найду его или извещу подробно, что и как. Вот что я хотел сказать. Оказывается, что скверно-то пишу я, а не Вы, и... [слово неразборчиво] хорошенько надо меня, а не Вас, а еще Вы несколько раз беспокоились, понимаю ли я Ваши письма! Теперь я,

собственно, так напуган, что мне все кажется: все еще недостаточно ясно, надо бы еще добавить.

Едва ли Боткин будет в начале августа в Петербурге. Он никогда не бывает здесь в это время, всегда в последних числах сентября или в октябре; скорее его можно отыскать за границей в это время (опять глупость написал). Ну, да уж так и быть. Простите за Кочетову, не мог отказать, но искренне желал; впрочем, выстрелите в нее, я ей говорил об этом. Спите с богом, и я пойду спать.

Ваш *И. Крамской*

57. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

15 мая 1873 г.
С.-Петербург

Мой родной Федор Александрович! Что это значит, что я не имею от Вас весточки? Уж не обидел ли я Вас чем-нибудь? Ради самого бога, простите меня великодушно и откликнитесь. Вы не знаете, что я передумал за это время, мне такое лезет в голову, что я не знаю, как Вам и рассказать. Но больше всего я виню, разумеется, самого себя; быть может, Ваша гордость была чем-нибудь с моей стороны уязвлена. Если так, то не молчите больше — ведь это ужас, скажите мне все, и скажите прямо все, чего я заслуживаю, по Вашему мнению; верьте, что что́ бы Вы ни сказали, я в состоянии хотя понять, если уже нельзя исправить. Мне уж нет сил молчать, этак нельзя больше. Хоть одно слово, но такое, чтобы я понял, в чем дело. Ради бога, пишите, неужели уже Вам нечего мне сообщать, не о чем писать, и так-таки просто надо оставить меня в таком положении? Я чувствую что-то недоброе, но что бы это ни было — пишите. Я потерял голову — что с Вами? И нигде, ни от кого ничего не слышно, точно Вы в Америке, но и оттуда письма доходят. Мой дорогой Федор Александрович, будьте же так добры, напишите мне, что случилось между нами, если случилось? Вы не можете обо мне худо думать, я этого не заслуживаю; Вы не знаете, как Ваша дружба для меня дорога, и Вы не знаете, что я готов для Вас сделать. Но, ради создателя, напишите мне, нельзя молчать, и еще молчать на такое письмо мое, которое, я знаю, могло, пожалуй, Вас огорчить, но что же из этого следует? Неужели мне нельзя ничего ответить ни на мое предложение, ни на мое бессилие что-нибудь для Вас сделать? Нет, добрый мой Федор Александрович, я не хочу думать, чтобы Вы на меня серьезно рассердились, хотя я знаю, что с Вами

ничего нельзя делать шутя и вполовину. Но ведь я и не шутил, ведь я в самом деле был поставлен в такое положение, что должен был Вам предложить то, что я предлагал. Я бы себе, ей-богу, не позволил сделать наобум. Дело в том, что я имел от Павла Михайловича Третьякова письмо, в котором он меня уведомляет, что Вы просите у него 1000 рублей и что он, к сожалению, исполнить Вашу просьбу не может. Судите, что я должен был почувствовать? Я знаю, как Вам необходимы деньги, знаю также, что деньги Вы ниоткуда не получите, если Вам не вышлет Третьяков, — словом, я, может быть, и не так виноват, как показалось. Пишите, ради бога, пишите.

Послезавтра я выезжаю из Петербурга в Воронеж. На даче я буду около 25 мая. Нужно остановиться на два дня в Москве. Пишите мне уже в *Воронеж, в селе Репном,* дача *Глаголевой.* Шишкин здесь еще остается неопределенное время, так как Е[вгения] А[лександровна] со дня на день должна родить и потом поправиться — стало быть, время протянется. Говорю Вам серьезно — я в тревоге, не знаю, что думать, и жду, жду без конца. Или письма пропадают? Ведь уж больше месяца, как я Вам послал свое последнее письмо, и, должно быть, несчастное письмо. Кроме того, повезла еще Кочетова глупое письмо, но ведь с нею и нельзя было послать умного. Вы это, я думаю, поняли отлично, да и вообще, положим, умные письма редко попадаются, по крайней мере мои письма — часть меня самого, как и Ваши, ну, а Кочетовой я не мог бы доверить хотя и часть. Просветите меня, не оставляйте в потемках. Это очень тяжелое состояние. Я бы не беспокоился так, если бы не нужно было мне знать Вашего взгляда на мое последнее письмо. Ведь мне нужно же было знать, согласитесь, что Вы мне напишете? Я Вам писал от всего моего сокрушенного сердца. Положим, Вы подкладки знать не могли, но теперь я Вам пишу о ней. Но все-таки странно. Что бы ни было, как бы Вы ни взглянули на мое письмо, что бы Вы ни подумали, а не написать, рассердиться Вы не могли и не должны были, ведь Вы знаете же меня. Что-нибудь другое тут есть, что Вы не пишете. Я Вам говорю, что мне очень тяжело. Что это значит? Что мне думать? Боюсь делать ответы на эти вопросы. И, до получения от Вас ответа, буду думать, что Вы, мой дорогой, не изменились, наши отношения не пошатнулись, доверие не пострадало ни с которой стороны. Да и неприлично это. Говорю в смысле приличий нравственных. Итак, голубчик мой, ничего не прибавляю, ничего, кроме просьбы писать, и, если возможно, обстоятельно.

Ваш *И. Крамской*

И Софья Николаевна беспокоится. Если Вам что нужно будет в Петерб[урге], то пишите Ник[олаю] Ник[олаевичу] Ге в 7 линии, дому 36, кварт[ира] № 8. Он здесь пробудет до 15 июня.

58. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

29 мая 1873 г.
Ялта

Дорогой мой, милый мой Иван Николаевич! Наконец вчера получил письмо Ваше, которое с великим нетерпением ждал. Писать Вам я не мог, во-первых, потому, что не знал, где Вы (Вы совершенно различно определяли срок своего пребывания в Воронежской), а во-вторых, писать было так трудно и даже невозможно, потому что болезнь очень-очень серьезна и заметить улучшение здоровья можно только через весьма длинные промежутки. Да-с, дорогой Вы мой, если я не писал к Вам, так в этом виноват не я. Сердиться же на Вас я, действительно, сердился, а именно за то, что Вы поставили меня в самое тяжелое положение, не извещая о том, где Вы, я уже как-нибудь нацарапал бы несколько строк, но положительно не знал куда. Следовательно, письмо могло пропасть даром, а письма, которые так дорого мне теперь стоят, должны доходить, а не пропадать. Успокойтесь, родной мой! Я так же, как и прежде, весь Ваш, и ничего между нами не произошло. (Замечаете, какой тяжелый, скорее, мутный тон письма?) У меня теперь в голове так странно, так скверно, как и на душе...

Я совершенно не понимаю, отчего Вам не пришло в голову, вместо всех Ваших соображений относительно того, что я не отвечаю, — отчего Вам не пришло в голову, что я болен и что это причина? Отчего? Все, кто только знает меня, все думают, что я живу здесь потому только, что мне тут нравится, да и шабаш; никому и в голову не приходит, что я *не могу, не могу до сих пор вырваться отсюда.*

Теперь узнайте главное, т. е. что наш возлелеянный план житья летом вместе не может состояться, значит, и поработать, и поговорить, и увидаться не придется. Вот все в двух словах. Я Вам ведь писал, что доктор позволил-таки поехать в конце мая на лето в Воронеж. Я только и жил этим. Третьего дня, когда я сказал: «Когда же, доктор, я могу выехать?» — «Вы раньше августа не будете настолько крепки, чтобы выехать куда бы то ни было Хотя мне и неприятно

разочаровывать Вас, но ведь это надо же было бы сделать не сегодня, так завтра».

Вот что я узнал третьего дня и что меня, как громом, поразило; я даже чувствую себя гораздо хуже эти три дня... Ну, чему быть, того не миновать, а только у меня на душе скверные предчувствия. Кроме мерзостей, бед и болезни, на меня в Крыму не упало ни одного светлого луча! Разве только иногда забываешься перед натурой, только ее грандиозность и красота доставляли мне действительно счастливые минуты. В настоящий момент я нахожусь и еще раз в отчаянном положении. Представьте себе, завтра нужно съезжать с квартиры Цабеля, а другой квартиры, хоть разорвись, нет. Я, больной до крайности, изъездил все дачи, и дешевле 800 руб. в пять месяцев нет. Боже ты мой! Да что же мне делать?! Откуда же, наконец, я стану доставать деньги, больной?! Положительно до настоящей минуты я ни одной квартиры, ни одной дачи не знаю, и что будет — не понимаю... вероятно, придется заплатить восемьсот рублей за три паршивые комнаты — правда, сад есть. Что мне делать с деньгами? У меня долгу в Ялте до сегодняшнего дня тысяча восемьсот восемьдесят два рубля; да ведь и до августа жить надо, да за дачу заплатить. Что же это такое, наконец?! Я просто скоро, кажется, с ума сверну: жутко больно, да и давно уж очень это терпеть приходится и голову с собой вместе ломать. Что касается до Вашего, дорогой мой, предложения относительно денег, то, голубчик Вы мой, это меня нисколько не обидело в моем положении, даже, напротив, доказало только, что Вы готовы помочь мне всегда, чем можете. Я долго думал об этом и, наконец, на последних днях решился принять его только на следующих условиях: если эта тысяча рублей у Вас *совершенно свободная на долгое время;* если Вы не берете ее из суммы домашней, т. е. уже назначенной в обиход, и — последнее — если Вы не предвидите никаких случаев, при которых эта тысяча сделается Вам необходимою. Понимаете?.. Я не могу ручаться, что отдам ее через месяц, через пять и так далее; следовательно, Вы должны все предвидеть и откровенно ответить.

Мама и Роман здоровы, усердно Вам кланяются и желают, желают, желают. Новый мой адрес — не знаю какой; пишите по этому же: на почте знают, куда перееду. Вот сколько написал, благо судорог в руке не было! Погоды у нас отвратительные. Поклон Софье Николаевне (как скудны и пошлы все такие приписки). Ох! Дорогой мой, худо мне, и не знаю, выдержит ли моя нравственная сторона этот новый чудовищный искус. Думаю, что будет худо, ибо я буквально тоскую

по России и не верю Крыму, сомневаюсь, наконец, в докторе, хотя, очевидно, он помогает; но я уже требую большего, чем прежде, ибо здоровье мое все, кажется, хуже и хуже с каждым годом...

Может случиться, что я не выдержу и приеду к Вам в конце июня или в начале июля, даже несмотря на слабость. Опишите только подробно погоды, т. е. узнайте вернее и точнее: какие погоды стояли до Вас и какие при Вас; будет очень жаль, если у Вас нет термометра, и нельзя будет знать градусов...

За что я действительно сержусь на Вас, так это за то, что Вы (сообщая *хороший план,* которым еще сначала поддразнили), предлагая мне заманчивую вещь — пожить и поработать вместе, — совсем забыли, что для этого надо и жить вместе, а на деле оказывается, что жить-то Вы хотели не со мной, ибо мне с семьей и места-то у Вас не нашлось, а с Шишкиными и Савицкими. Если бы Вы хотели жить со мной, то для меня и место оставили бы. А туда же планы сообщает за год. Положим, вот я и не могу *теперь* воспользоваться, но ведь мог бы; ан, глядь, дом надо еще искать.

Напишите также, можно ли будет иметь из Воронежа доктора через каждые два дня. Это — самое важное условие. Да пишите откровенно, ибо здоровье мое серьезно плохо, и помчаться, очертя голову, глупо, а еще глупее приехать, да уехать через неделю назад, в Крым. Словом, Ваше письмо я буду ждать с замиранием сердца. Теперь Вы можете все видеть на месте своими глазами, а потому всякие недоразумения быть не могут. Я все-таки надеюсь как-нибудь, хоть в половине июля, удрать к Вам, хотя бы больным даже — мочи моей не стает!..

Господи, сколько написал! Сейчас я Вас поражу, ей-богу! Гоголев приказал долго жить еще 17 мая. Не удивляйтесь: иначе и быть не могло.

Похудел я жестоко, зато глаза постоянно так чисты и блестящи, как у меня, у здорового, никогда не бывало. Однако надо оставить: сегодня и судороги есть, да и почта завтра в 8 часов; надо сдать сегодня, а теперь уже 6 часов вечера. Дальше не могу. Ради бога, пишите подробно о климате.

Весь Ваш *Ф. Васильев*

59. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

2 июля 1873 г.
Козловка-Засека

Мой дорогой, мой благородный друг. Что это у нас случилось, какой огромный, страшный перерыв. Я ничего о Вас не знаю, не знаю даже, где Вы, все ли еще в Ялте или уже за границей. Со мной же в это время случилось столько пертурбаций, что когда Вы все узнаете, Вам будет ясно. Начну сначала. В первых числах мая и последних апреля я писал Вам два письма, на которые я не получил ответа вплоть до 25 мая, день моего выезда из Петербурга на дачу в Воронеж. Вот эта-то Воронежская губерния все и наделала. Я Вас извещал, наконец, об адресе, где мы будем жить летом. Теперь слушайте, что случилось: 25 мая мы выехали, т. е. я с семьей. За дачу дан был задаток еще на святой или фоминой — не помню; приезжаем в Воронеж, — дорогой заболел Толя [1] (он был уже нехорош в Петербурге), весь разгорелся, захрипело горло и выступила сыпь. Прежде всего, разумеется, за доктором, как только кое-как дотащились до Воронежа и гостиницы. Доктор, осмотревши, говорит — оспа! (заметьте, оспа была привита). Велел отделить немедленно других детей, и вот я, устроившись в другом номере гостиницы с остальными, поехал осматривать дачу. Приезжаю, о ужас, я уж и не знаю, как бы Вам рассказать, что это такое. Вместо десяти комнат — только семь, да и те — клеточки, полы прогнили, с дырьями, ни одно окно и ни одна дверь не запираются, и даже притворить нельзя; щели в два пальца, стены покосились, балконы гнилые, потолки текут, дом на низком и топком месте, в один этаж, тени нет — садик только фруктовый, запущен до смерти, и кругом ни кола, ни двора, нет ни ворот, ни ограды, и кругом голое, лысое место, песчаное. Очевидно, жить нельзя. Я начинаю искать в окрестностях, нет ли чего, исколесил тьму — и на извозчике и по железной дороге, пропала неделя, а ничего не находилось — и не нашлось. Больной мальчик едва-едва очнулся и, слава богу, стал поправляться. Убедившись, что нет нигде и ничего, мы через неделю выехали обратно в Москву, с тем, чтобы там поискать. Изъездивши в три дня около Москвы, я поник духом: другой мальчик заболел — Коля [2], потом Соня [3], потом Марк [4], а я все ничего не найду. Наконец, оставивши семью в Москве, я поехал по железной дороге до Харькова, не найду ли чего, пересмотрел множество, но подходящего нет. Не забывайте, что я уехал впереди всех, с тем, что числа 5 июня выедет из Петербурга студент горного института Ник[олай] Павл[ович] Константинов (туда,

в Воронеж) — учитель моих детей. При выезде из Воронежа 1 июня я телеграфировал в Петербург Шишкину, чтобы он остановил Константинова, но он уже уехал. Приезжает в Воронеж — меня, разумеется, нет, и он десять дней сидел без денег и без всякой вести обо мне. Наконец, 17 июня мне удалось найти наконец настоящее помещение, по Московско-Курской железной дороге, на станции Козловка-Засека (между Тулой и Ясенками), полустанция в десяти верстах от Тулы, усадьба Ваныкина. Теперь Савицкие, вслед за мною, выехали из Петербурга, сначала в Динабург, к родным, а багаж отправляют в Воронеж, но от Шишкина узнают через телеграмму о случившемся. Я, порешив наконец с дачей, возвращаюсь в Москву, — где, слава богу, все были живы, но больны. И, наконец, 20-го мы уже были на даче. Через несколько дней приезжают Савицкие, но без багажа, разумеется, которого и по сей день нет. И, наконец, вчера приехали Шишкины. И вот только когда мы собрались все, испытав столько передряг и истратив чортову тьму денег. Хорошо! Вот как мы ездим на дачу. Я думаю, что если бы мы вздумали поехать в Хиву, то и тогда было бы и лучше и дешевле. Впрочем, за все мытарства мы награждены, по крайней мере, и хорошим помещением и прекрасной местностью, прекрасною относительно, разумеется. Дом каменный, четырнадцать комнат, в три этажа. Кругом лес казенный, столетние дубы и прочее; воды немного, но есть; имение от станции железной дороги в полутора верстах, возле самого полотна; по другую сторону усадьбы в полверсте — шоссе, сообщение с городом возможное. Мельница водяная, прудик и все такое; одно скверно — деревня ближайшая в полутора верстах, ближе нет жилья, хотя усадьба большая, и кроме нас здесь еще живут дачники. Комнат свободных еще много. Весь низ свободен, там у нас столовая (для жилья не совсем удобно, так как немножко пахнет сыростью), но наверху есть еще две комнаты превосходные, так что всякому, пожелавшему к нам забраться, будет место. Работать мы еще ничего не начали. Вот Вам отчет, почему я пропал; думаю я, что имею смягчающие обстоятельства, в качестве подсудимого перед Вами. Но что же это такое, мой дорогой, что о Вас никто ничего не знает, даже Шишкины не привезли мне никакого известия? Что с Вами, голубчик мой, откликнитесь, напишите мне строчку; ведь у нас с Вами есть текущие дела; я у Вас кое-что спрашивал, кое-что предлагал, и не знаю, что мне думать. Больнее всего, что я ничего не знаю, ничего не слышу, и даже не уверен, дойдет ли это письмо, так как я пишу на дачу Цабеля, где Вы помещались временно до лета. Наконец, не в Петербурге ли

Вы уж, чего доброго, — все передумаешь. Ради создателя, разрешите мои недоумения, написавши мне, где Вы и что с Вами было, если было, а затем, как и что, не будете ли Вы как-нибудь сюда — вот бы было хорошо; ведь готовы же Вы были в Воронежскую губернию приехать. Право. Мой дорогой, пишите, ради бога, пишите. Ведь что ж это такое: скоро три месяца, как я не имею от Вас ни строчки. Глубокий поклон Ольге Емельяновне и голубчику Роману.

Ваш *И. Крамской*

60. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ — И. Н. КРАМСКОМУ

25 июля 1873 г.
Ялта

Если бы Вы знали, мой дорогой, как худо Вашему другу, то не стали бы делать предположений вроде того, что я, может быть, уже и в Петербурге, и еще бог знает, что такое, а — главное — получили бы мое письмо в Воронеже, в котором (письме) я все, все подробно описал, на все ответил, чего теперь сделать не могу по необыкновенной слабости и судорогам в руках, если долго пишешь. Здоровье, в самом деле, — не знаю, кого и что благодарить, — уже не плохо, а моя жизнь в опасности, если я не отделаюсь от всего меня грызущего и сосущего и если не уеду за границу. Я жду Боткина, который, кажется, с императрицей. Он решит мою участь окончательно. Вот Вам и *Петербург,* вот Вам и умение Ваше читать между строчек! В долгу кругом, неприятности постоянные, жизнь дорога до невообразимого: двести пятьдесят рублей я должен приготовить в месяц. Не работаю я уже шесть месяцев. Да что тут писать? Все можно сказать одним словом: денег нет и неоткуда взять, и нет никакого вида, чтобы ехать за границу, если бы даже и упали с неба мешки золота. Мне нужно, по крайней мере, четыре тысячи рублей одновременно, чтобы уплатить все долги и оставить себе на прожиток в Ялте и на отправку осенью семьи домой, если у меня будет какой-нибудь вид, чтобы ехать за границу.

Если у меня не будет денег и вида, у меня зимой непременно разовьется чахотка в самой сильной степени, ибо для этого все готово. Предлагали Вы мне тысячу рубл. будто свободных. Хорошо. Вспомните только, читая это письмо, что это для меня, конечно, выгодно, но не забывайте, что эту тысячу рубл. Вы рискуете никогда не получить; вспомните, что свободных денег на пять, на шесть лет Вы иметь не можете, а раньше я не могу думать отдать их (я все-таки

думаю, что судьба не убьет меня ранее, чем я достигну цели. Может, она сделает наоборот. Ну, что ж делать. — Рано родился). Во всяком случае, я думаю, что помоги мне человек, имеющий возможность помочь мне (а такой человек есть), я наверно выздоровлю. О боже! Я на новой даче, которая гораздо лучше, но... но здоровье все то же, если не хуже! Вот адрес: Дача Задонского, по почтовой дороге, Ф. А. Васильеву, в Ялту.

До какой степени безобразно непонятно письмо! Впрочем, это понятно. Поймете ли что-нибудь? Да, в Академии все кончено, т. е. несмотря на мои две просьбы, несмотря на письмо великому князю, я — почетный вольный общник, и кончено [1]! Что я буду делать?! Вид достать я не могу ниоткуда, как из Академии, ибо брать свое мещанское свидетельство, это — снова начинать старую историю, снова быть пешкой. Да и невозможно достать такого вида, ибо на это понадобится и адвокат, и, бог знает, сколько денег, так как это страшно перепутано, благодаря Григоровичу и скоту Волковскому, который ничего не сделал с доверенностью. Со всеми этими дрязгами я просто боюсь помешаться; у меня даже уж являются такие странности, которые ни к чему другому, как некоторому расстройству умственных способностей, приписать нельзя. Ну, кончу письмо: уже слишком много написал! Если, после всего мною сказанного относительно тысячи рубл., Вы все-таки вздумаете рисковать ими против здравого смысла, то вышлите их не на мое имя, а на имя Платона Александровича Клеопина, в Мордвиновской экономии, в Ялте; даже не надписывайте: «с передачею». Этого не нужно, так как он догадается, кому. Ну, будьте здоровы, дорогой мой друг, и сохранит бог Вас от всякого горя и всех Ваших домашних! Пишите, ради бога! У меня это — единственная отрада; но я не могу обещать писать, как писал прежде: я даже удивляюсь, как я мог написать столько, сколько Вы видите. Погоды у нас стоят мерзейшие, и я даже воздухом пользуюсь редко сравнительно. Будьте здоровы!.. Жду письма...

Ваш *Васильев*

61. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

1 августа 1873 г.
Козловка-Засека

Мой дорогой Федор Александрович, получил я одновременно два Ваших письма [1]: одно из Петербурга, адресованное в Воронеж, а другое уже сюда, стало быть, Вы получили тоже и мое, где я описывал свои приключения с отысканием

летнего помещения. Вы говорите, что я понес жестокое поражение своей проницательности и строил разные невозможные предположения относительно Вас, что Вы и в Петербурге-то и за границей. Что делать, каюсь, я желал это предполагать; мне хотелось бы, чтобы Вы были уже и в Петербурге и за границей, но, признаюсь, я сам плохо верил в то, что писал. Больше всего я боялся, что Вы опять заболели; эту мысль я отгонял от себя, как только мог, но отогнать ее не мог никаким образом. И вот она подтвердилась собственным Вашим сознанием. Вы больны, и хотя пишете, что здоровье лучше, однакож ждете Боткина, и многие другие неутешительные вещи. Это так нехорошо, так нехорошо, что я и рассказать Вам не в силах. Хуже всего, что Вы не работаете: вот это действительно потеря. Это было бы отлично, если бы не работали, потому что желали отдыха, но по всему видно, что Вы не работаете от болезни. Голубчик Вы мой, дорогой мой, что я Вам могу тут сделать? К сожалению, я не больше, как только любящий Вас и глубоко уважающий человек, а ведь Вам нужно и кроме этого кое-что еще другое. Тысячу рублей Вы получите, т. е. получит Клеопин, как Вы написали. Деньги будут высланы на его имя от Третьякова, которому я уже и написал об этом [2]. Он мне должен 2000 рублей, и я просил, чтобы он выслал к Вам половину. Вы не поверите, как бы я желал теперь выиграть 200 000 рублей, я бы знал, как с ними распорядиться, но Вы видите, что и я могу заговариваться. Разве это не значит заговариваться, толковать о выигрыше в то время, когда ничего не имеешь? Впрочем, я лично для себя теперь ничего не желаю, я почти счастлив, только... вот опять бы выиграть.

Чорт знает, что такое, что́ лезет в голову. Не знаю, что делать. Вы пишете, что несвязно излагаете свои мысли. Не знаю, кто из нас в этом больше повинен; для Вас есть оправдание, а уж мне никакого. Пишешь, пишешь, как будто что-то выходит нужное, а прочтешь — изорвал, ну, что Вы поймете из этого всего? Нет, плохо пишется и плохо говорится, когда нарушена гармония. Кем она нарушена, для чего нарушена, кому от этого польза, ничего не знаю, знаю только, что нехорошо так — вот и все. Да, дорогой мой, и люди и свет, «как посмотришь с холодным вниманием вокруг, — такая плохая и скверная шутка» [3], что надо оглядываться подозрительно, как только получишь пять минут спокойствия, потому что спокойствие и счастье человека не в порядке вещей. Но больше всего достается, как оказывается, Вам от судьбы-мачехи, и для Вас она — злая мачеха. Всего обиднее за Совет Академии, ведь это подло. Я уж и не знаю, что тут делать. Я говорил с Исеевым,

говорил с Иорданом и Резановым, с ректорами, но уж лучше и не рассказывать, желчь разливается, и больше ничего. Законность, вишь, прежде всего; за ним, говорят, потянутся все. Да кто потянется? И неужели же глаз нет, что шваль всякая захочет равняться. Нет, мой дорогой, тут не то, тут гораздо хуже: законность — только глупо, а тут есть другое, как мне кажется. Разумеется, я уловить этого не могу и доказать также, но здесь ненависть Исеева к Григоровичу и Обществу, насолить третьему, ни в чем неповинному, это по-человечески гадко, подло, но так делают, а законность — не понимаю, это слишком глупо, чтобы я стал этому верить. Но от этого не легче, и вида у Вас все-таки нет. Конечно, я еще раз попробую попросить, еще раз подниму все доказательства, наконец, очевидные заслуги человека поставлю на вид. Но ведь я голос посторонний, ни для кого не обязательно даже меня выслушивать, и потому, если сделают — благодари, не сделают — показывай вид, что тебе обидно. И чорт его знает, где этот Григорович, таранта и шелопай, с Вашего позволения? Ейбогу, ведь это решето: что ему ни говори, ничего не помнит, все перепутает, хотя всего наобещает. Нет, воля Ваша, а такие люди — плохие люди. От них иногда хуже, чем от злых: злого уж так и знаешь, его бережешься, а такие — и не увидишь, как напакостят.

Попробовал бы Вам описать все прелести нашей Козловки-Засеки, но как-то не до того; и потом, ведь это все будет ни на что не похоже, так как описания только помогают воскресать в памяти виденному. А Вы хотя и проезжали это место (мы живем на самой железной дороге), но, во-первых, давно, а во-вторых, вероятно, и не заметили, и поэтому это надо побоку. И[ван] Иванович пишет этюды [4], Савицкий начинает писать землекопов [5] и страдать сильнейшей одышкой, а я... седею и становлюсь пейзажистом, право, так; ничего не делаю, кроме этюдов пейзажей, и если я когда жалею, что не пейзажист, так это теперь. Я бы написал кое-что, тут есть один лес, он в сумерках производит неотразимо страшное впечатление. Лес липовый и дубовый, лежит по обеим сторонам дороги, подбиваю И[вана] Ив[ановича], да он как-то все уклоняется, а жаль. Не написать ли? Право, для себя, конечно. Письмо кончаю, поздно, да и нужно написать еще пять; два написано. А Вы, мой дорогой, пишите только по две строчки; я позволяю, и читать буду как самую длинную и понятную мне повесть. Боялся я, что Вы опять захвораете, так и случилось — господь да хранит Вас, берегитесь, Вы еще нужны России. Жена больна, но она очень, очень Вам кланяется.

Ваш *И. Крамской* [6]

62. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

18 августа 1873 г.
Козловка-Засека

Мой дорогой друг Федор Александрович, пишу к Вам коротенькую записочку и деловую. Сейчас получил от Третьякова письмо о том, что он деньги послал к Вам [1]. По получении Вашего последнего письма, где Вы с разными предосторожностями согласны, чтобы я выслал Вам 1000 рублей, я написал Третьякову, чтобы он послал их из следующих мне денег. Через неделю получаю известие, что он послал только 300 рублей, и спрашивает, как нужно послать: все ли немедленно или по частям? Я тотчас же послал еще письмо с разъяснением и подтвердил, чтобы все было исполнено, как Вы желали, т. е. деньги высланы на имя Плат[она] Алекс[андровича] Клеопина, и вот теперь получаю уведомление, что остальные 700 рублей уже посланы. Я глубоко печален, что не могу Вам доставить все, что нужно, а нужно Вам и много и мало, смотря по тому, от кого и для кого.

Мой дорогой, вот уже нет от Вас давно известия, хотя я, собственно, и не жду, так как Вы писать можете только с трудом, да, по правде сказать, и не желаю, чтобы Вы, ради моего удовольствия, подвергались каким-нибудь неприятным ощущениям. Но что делать — так хорошо, когда получаешь от Вас письма, что думаешь: вот он уже получил мое письмо, и, вероятно, скоро будет ответ. Но печальная действительность заставляет перестать напрасно волноваться. Третьяков у меня спрашивает, почему деньги нужно послать не на Ваше имя, а на имя Клеопина. Но так как я и сам, собственно, не знал хорошенько, то наплел что-то в том роде, что адрес Ваш около этого времени, вероятно, будет изменен, а где — неизвестно, то, чтобы не прошло много времени напрасно с отыскиванием по почтамту, Вы и назначили человека, который всегда будет знать, где Вы. Так ли это? Да это и неважно, впрочем. Важно то, получили ли Вы их? Поручите написать об этом хотя Роману, который, я надеюсь, на это время может получить должность Вашего секретаря.

Начал я новую картину [2], о которой, кажется, Вам писал уж. Сюжет заключается в том, что старый породистый барин, холостяк, приезжает в свое родовое имение, после долгого, очень долгого времени, и находит усадьбу в развалинах: потолок обрушился в одном месте, везде паутина и плесень, по стенам ряд портретов предков. Ведут его под руки две личности женского пола — иностранки сомнительного вида. За

ним покупатель — толстый купец, которому развалина-дворецкий сообщает, что вот, мол, это дедушка его сиятельства, вот это бабушка, а это такой-то и т. д., а тот его и не слушает и занят, напротив, рассматриванием потолка, зрелища, гораздо более интересного. Вся процессия остановилась, потому что сельский староста никак не может отпереть следующую комнату [3]. Приближенные доброжелатели говорят, что это интересно. Что выйдет — еще не знаю, хотя и знаю, какая картина должна быть.

И. Крамской

63. И. Н. КРАМСКОЙ — Ф. А. ВАСИЛЬЕВУ

10 сентября 1873 г.

Козловка-Засека

Голубчик мой Федор Александрович, простите меня многогрешного, что я так давно не писал Вам, но у меня случилось следующее: с 14 августа Софья Николаевна слегла в постель — родился на свет божий новый человек — Сергий [1]. Раз. А потом вскоре захворала и очень серьезно мать Софьи Николаевны, если помните, Федора Романовна [2], и была вот уже десять дней между жизнью и смертью — немудрено, ей 76 лет; но, слава богу, отошла и теперь поправляется. Думали, что придется оставить ее тут; несколько ночей я дежурил и устал страшно. Два. А третье — поджидал от Вас строчечку. Знаю, мой дорогой, что ожидание с моей стороны — есть преступление, но все думалось — авось. Вот оно русское — авось. Шишкины уехали 2 сентября в Петербург. Евгения Александровна не совсем здорова, и я, осиротелый, — в лазарете, немножко потерял голову. Грустно, что приходится наполнять письма перечнем человеческих страданий и болезни. Дурно прошло лето, так дурно, что и рассказать не умею, да вдобавок была все время погода отвратительная.

Как Вы полагаете, о чем я теперь поведу речь? Видите, Вам известно, что все поддерживается питанием, даже содержание письма от этого зависит. Какова истина! Мы говорили — и для каждого письма была масса материалов, все было так дорого, так интересно, так живо трогало, и все так было нужно, что всякий раз чувствовал, что еще чего-то сказать не успел или забыл. Теперь же я нахожусь в положении человека, который никак не может собрать свои непослушные мысли. Что я скажу, когда сердце болезненно сжимается, о чем я буду сообщать, когда все события потеряли свой инте-

рес? И, наконец, говорю, говорю, и нет ответа. Что же это такое? Или Вы в самом деле заболели, и это правда, и хоть бы от кого-нибудь узнать что-нибудь об этой правде. Вы писали, что ждете Боткина — теперь Боткин должен быть там, что он сказал? И кто мне скажет? А между тем спокойствие духа от этого зависит! Надеюсь, мой дорогой, мой благородный друг, Вы меня совершенно понимаете, и письмо мое не будет в состоянии прибавить ни одной черты, которой бы Вы не чувствовали гораздо раньше, чем я заговорил об этом. Чем больше я думаю о нашем сближении, о странности наших встреч, об их краткосрочности, о силе впечатления, мною испытываемой, и, наконец, о глубокой черте, которую Вы успели провести в моей жизни, тем больше я удивляюсь и тем меньше я могу говорить об этом. Прошу Вас, добрый мой, дорогой, это письмо, по его прочтении, — уничтожить, сжечь. Странное желание и странная просьба, но мне кажется, Вы угадаете истинную причину и смысл. Беда не большая, если бы и не догадались, но есть вещи, есть чувства, есть состояния, которые могут быть и должны быть известны и понятны только тем, кому они дороги, и потому сожгите. Вам я все могу сказать, не унижая ни себя, ни Вас. Мы недаром встретились с Вами... и что́ это я говорю — я, седой и взрослый человек, отец семейства и счастливый в семье, предаюсь такой чувствительности. Но все равно. Вы живое доказательство моей мысли, что за личной жизнью человека, как бы она ни была счастлива, начинается необозримое, безбрежное пространство жизни общечеловеческой в ее идее, и что там есть интересы, способные волновать сердце, кроме семейных радостей и печалей, печалями и радостями, гораздо более глубокими, нежели обыкновенно думают. Вы, вероятно, легко допустите, что я, несмотря на мое личное счастье, какого дай бог всякому, остаюсь в то же время как будто чем-то подавлен, чем-то озабочен и как будто несчастлив. Вы представляете для меня частичку этого необозримого пространства, на Вас отдыхал мой мозг, когда я мысленно вырывался за черту личной жизни; в Вашем уме, в Вашем сердце, в Вашем таланте я видел присутствие пафоса высокого поэта и, несмотря на молодость, встречался с зачатками правильного решения всех или, по крайней мере, многих вопросов общечеловеческого интереса. Как мне выразить печаль свою о судьбе наших жизней, и чего бы я не дал, чтобы быть всемогущим? Какое глупое слово, и как часто человек принужден его употреблять!

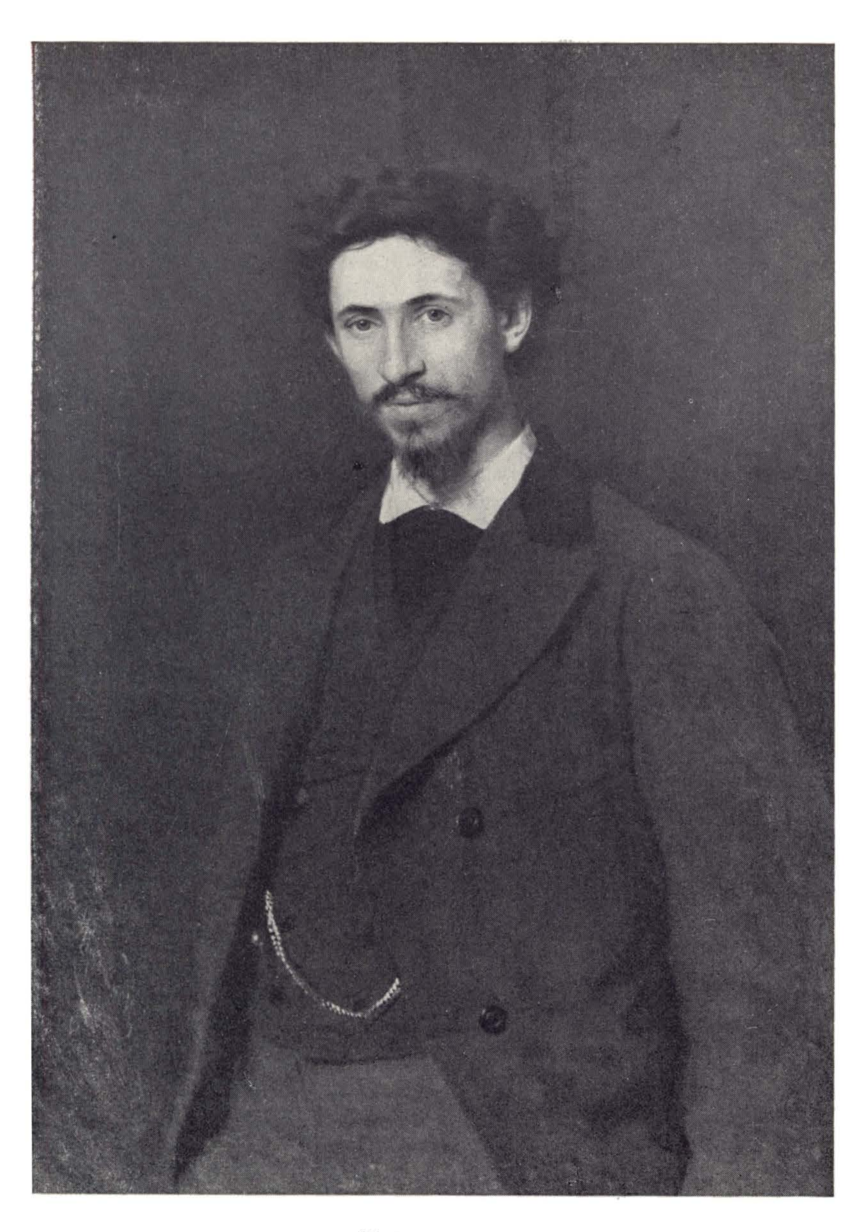
Добрый мой Федор Александрович, Вы видите, Вы знаете, я не могу писать так, как Вы хотите и как хочу я. Никаких других слов, кроме боли и стонов, я не могу издавать

в настоящую минуту, а минута продолжительна, я не могу написать, не могу коснуться ни одного события, ни одной мысли посторонней, не имеющей связи с Вашим состоянием, и до тех пор, пока я не узнаю достоверно, что с Вами, в каком положении Ваше здоровье, до тех пор не ждите от меня других писем. Их нет у меня, как нет их и у Вас; мы оба страдаем, не одинаково, конечно, но результаты одинаковы, я глубоко несчастлив. Скажите хоть Клеопину что-нибудь, пусть он напишет, а то он извещает только, что деньги получил, или продиктуйте Роману. И то продиктуйте, если можете, если хотите, если считаете нужным меня известить. До конца сентября я остаюсь в Козловке-Засеке, а может быть захвачу и октября, что очень вероятно.

Ваш *И. Крамской*

ПЕРЕПИСКА
С
И. Е. РЕПИНЫМ

1873—1885



И. Е. Репин
1844—1930

Портрет работы И. Н. Крамского ГТГ

1873

64. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

3 августа 1873
Козловка-Засека

Большое спасибо, добрейший мой Илья Ефимыч, что Вы и под благословенным небом Италии вспомнили обо мне. Письмо Ваше [1] доставило мне большое удовольствие, во-первых, потому, что оно от Вас, а во-вторых, что в нем непосредственные, так сказать, горячие впечатления Ваши, а в-третьих, что суждения, которые Вы мимоходом делаете, подтверждают и мои мнения. Суждение, что Рим есть пошлый барок[ко], я встречаю в первый раз, тем не менее я очень охотно согласился с Вами. Смотря на фотографии с архитектуры римской, мне как что-то смутное приходило тоже в голову, но я никогда не давал себе времени, достаточного для того, чтобы смутное чувство созрело в убеждение; что касается Рафаэля вообще, то, пожалуй, Вы и тут правы, и та громадная популярность, которую имеет этот художник, со временем послужит для уяснения скорее эпохи, людей, вкусов и того извращения, до которого дошло общество, превознесшее такого художника, чем для уяснения деятельности самого художника[2]. Вот так период! Не знаю, встречалось ли у Цыцерона [3] что-либо подобное по ясности. Постойте, поправлю, Вы прочтете и так и этак, и выйдет понятно. Лучше всего, впрочем, описан Неаполь, по-моему, это очень верно, — именно пейзаж, рисованный гуашью. О французах судить подождите. Они, во всяком случае, лучше других — правда, но... мы, должно быть, или очень грубый, невежественный народ, или глубоко художественный. Вопрос этот так и останется, должно быть, еще долго открытым. Да не мне его и решать, я начинаю седеть. Что я думаю, Вам известно, но это и ни для кого не обязательно, слава богу. Итак, с богом, в Париж, думаю, что Вы к нему прилипнете. Неужели ошибусь? Нам ведь подавай гения! а то, что у французов, решительно не годится (я говорю, разумеется, про содержание), мы слишком молоды, а все

молодое скорее предпочтет, в силу законов развития, Александра Македонского, нежели... нежели, да пожалуй, Месонье и Фортуни [4]. О Морели [5] и Усси [6] слишком мало знаю, чтобы судить. Коли Вы не застрянете в Италии в самом деле, это, по моему мнению, хороший признак. Однакож, что это я, по старой привычке, говорю, точно поучаю, — дурная примета, все люди, идущие под гору, любят предаваться такому непроизводительному занятию. Хотел писать, как путный человек, а между тем... лучше бросить... Позвольте, а что же это в Вашем письме нет ни слова о Вене, о Вене, положим, еще ничего, а о выставке [7] все-таки стоило бы хотя упомянуть, или уж там ничего не было? Кстати, не знаете ли, как о Вас один немец рассуждал, т. е. о «Бурлаках» Ваших? Не знаете, ну, так я Вам сообщу, и я рад Вам сообщить хоть что-нибудь в свою очередь. Идею Вашей картины он, немец, изволите видеть, понял очень глубокомысленно, что вот, дескать, кучка людей вымирающего племени, довольно дикого, близкого к горилле, перед приближением цивилизации (пароход). Каково! а ведь верно. Что Вы на это скажете? По-моему, и хорошо, и по-немецки. Оно тем хорошо, что неожиданно [8]. Странное дело, или мы умнее других, или еще не доросли. Отчего, скажите, иностранцы так нас мало знают, т. е. мало понимают? Вот, между прочим, Вам недурно было бы сделать эти наблюдения на месте. Я думаю, случаи будут. Постойте, я опять сбился. Надо Вам рассказать лучше (уж будто лучше?), как я попал в Тулу, когда мне это и во сне не снилось. Дело происходило так. 25 мая я приезжаю в Воронеж, дорогою захворал мой второй сын оспою, едва довезли до Воронежа, скорей доктора, разумеется, а потом и на дачу отправился, чтобы осмотреть, и о ужас! дача невозможная: мала, без мебели, потолки текут, полы гнилые, ни окна, ни двери не затворяются и не запираются, кругом ни кола ни двора в буквальном смысле, одна голая песчаная лысина. Каково! Что тут делать? Искать, разумеется, но, прожив больше недели и ничего не найдя, выехал из Воронежа (мальчик стал поправляться) в Москву, оставил семью и поехал искать на севере, и западе, и юге, и востоке чада твоя, как поют, и вот теперь — в десяти верстах от Тулы; рассказывать все перипетии и длинно и неинтересно. Адрес мой: по Московско-Курской железной дороге, близ Тулы, полустанция Козловка-Засека, усадьба Ваныкина, мне. Шишкин и Савицкий тут. Местность лесистая: дуб, липа, береза, осина и прочая благодать, но лето дождливое, до сих пор по крайней мере; я пока еще ничего не начал, а все больше занимаюсь пейзажем; боюсь, как бы не сделаться пейзажистом

совсем, так и тянет. Есть тут один лес, и лежит он у самого полотна железной дороги, что это такое, я Вам доложу, так просто ужас (я, впрочем, всюду склонен видеть ужасы). Подбиваю Шишкина изобразить его. Вообразите себе, что Вы стоите в лощине, направо полотно дороги, налево болото лесное, а прямо перед Вами поднимается вверх лесная дорога, вроде столбовой, старой, на ней рытвина от дождя черная, точно пропасть, а налево лес вековой, стоит стеной, и тоже поднимается в гору, но не прямо, а делает углы, и, наконец, на горе спускается по другую сторону склона, и он-то занимает всю картину. Что за партии, что за сила, и притом какое благородство контуров и грация; когда солнце сядет и начнут наступать сумерки, то этот лес становится таким чудовищем, что видишь перед собою те сказочные леса, по которым гуляли когда-то удалые добры молодцы. И если Шишкин, у которого, впрочем, нет струнки, решится сделать его, да еще именно вечером, к сумеркам, когда только высоко над лесом горит облачко, то он прибавит кое-что и к своей известности и к русскому пейзажу. Заговорив о пейзаже и именно о пейзаже подобного рода, невольно вспомнишь Васильева, и сердце так больно, так шибко забьется. Он, мой голубчик, уже не будет больше писать, он хотя еще не умер, но умирает. В этот перерыв нашей с ним переписки, пока я искал дачу, болезнь его вступила в свой третий период, и вести плохие. Дней пять тому назад я получил от него письмо и не узнал почерка, только благодаря подписи не сомневаюсь, что письмо от него[9], а сегодня получено письмо от матери к Шишкиным, где она сообщает, что нет надежды, и доктор сказал, что едва ли он протянет до сентября. Вот Вам и Васильев. Не знаю, как Вы думаете, а я полагаю, что русская школа теряет в нем гениального мальчика, — такое чутье натуры, такое нежное поэтическое чувство без сентиментальности, такое всеобъемлющее понимание редко встречается. Разумеется, я к нему чувствую особого рода слабость, и это заставляет относиться к моим ему похвалам с особой осторожностью, но все ж таки у него было нечто, чего не было и нет ни у одного из наших пейзажистов. То есть вот как жалко. Да, кстати, Гоголев тоже не поправился и умер 17 мая в Ялте. Вот оно как. Об этом Вы уже, может быть, и знали, а если не знаете, то можно считать, что в моем письме два некролога. После наплыва такого рода чувств нужно несколько оправиться, чтобы продолжать письмо. Приложенное при сем письмо попрошу я Вас переслать Антокольскому[10]. Думаю и чувствую, что он на меня, быть может, подозрительно смотрит, так как не получал, вероятно, от

меня письма; по крайней мере, Стасов у меня спрашивал от его имени, не изменился ли я, как и многие в Петербурге. Уверьте его, что я его попрежнему и люблю и уважаю и что я писал ему на его доброе письмо в Рим, кафе Греко. Но что случилось, не знаю, или я так изобразил адрес, что оно к нему не попало. Надеюсь, что теперь хоть это письмо найдет его и докажет, что дурно с его стороны так скоро делать заключения, не особенно для меня лестные. Впрочем, это в порядке вещей, и, пожалуй, я и сам на его месте так же думал. Что-то он поделывает? и долго ли полагает оставаться в Италии? Новостей петербургских никаких сообщить не могу, потому что нахожусь точно на дне морском, ни с кем не переписываюсь, да и Вам, вероятно, знать их не особенно весело; а Васнецов [11], пожалуй, не сделал ошибки, что не поехал с нами, т. е. не ошибся в смысле потери времени, пришлось бы и беспокоиться и дожидаться, а все-таки было бы недурно, как бы нас было побольше; оно и теперь хорошо, а тогда еще лучше. Савицкий начинает писать «Землекопов», нашел сюжет тут же на железной дороге и возгорелся [12], только хворает он, бедняга, — одышка, но, впрочем, ничего, не особенно, скоро поправляется.

Думаю, Илья Ефимович, что Вы не будете оставлять меня своими письмами время от времени, материалов для Вас — тьма, оно писать не особенно приятно, положим, но, может быть, и будете; черкните, между прочим, что Поленов, этот барин, меня интересует, что он делает и вообще, как он успевает, а также и прочие наши художнички, как говорит Чистяков. Ведь все-таки как-то невольно думаешь, что раз человек поехал за границу, то так вот сейчас и переменился. Я понимаю, разумеется, что это происходит главным образом от свойственной русским привычки считать себя великими провинциалами (да оно и справедливо), и хотя знаешь, что человек, вообще говоря, не меняется за границей до такой степени, чтобы в нем нельзя было узнать тамбовца поскобливши, а все-таки любопытно узнать, что он такое: не изменился ли, не выросло ли по обеим сторонам головы новых украшений и подвесок? Вы, небось, подумаете: ого! вот он какой, он, пожалуй, и про меня то же думает, да еще и дает, пожалуй, кому-нибудь поручение и меня рассмотреть. Что ж, мой хороший, и про Вас тоже буду думать годика этак чрез три... а Вы про меня, небось, не думаете? Думайте с богом, это ничего, лишь бы в этом не было дурного. А поручений я никому про Вас не дам, — впрочем, дам, каюсь, если, если, например, не будет от Вас ни строчки долго без уважительных причин. Каков гусь? уж и контракты подсовывает? Право,

шутки в сторону, пишите, я, по крайней мере, со своей стороны охотно готов и отвечать и писать сколько хотите. Разумеется, писать только тогда и можно, когда есть о чем писать, кроме еды и пития; и мне кажется, что мы оба находимся в благоприятных для того условиях — Вы, потому что видите много глубоко интересного и поучительного в области дорогого искусства, я — по той же причине, только с другой стороны, проверяю себя и как будто тоже путешествую. Ведь Вы не знаете, может быть, до какой степени я люблю путешествовать, хотя и сижу все больше на одном месте, а кажется, так бы вот и поехал и вокруг света, и на аэростате, и уж я не знаю еще на чем. Но, верно, бодливой корове бог и рог не дает по этому случаю. Забыл ведь своевременно поместить, что Воронежа я не узнал через двенадцать лет, — это мерзость, что с ним сталось. Леса, какие я помнил, все вырублены, с проведением железной дороги и самый город опустился. Ведь он был лучше при крепостном праве, когда жили все помещики, а теперь лучше уж и не говорить. Кланяюсь я и Софья Николаевна, которая больна, Вашей жене и желаю всего лучшего. А засим последует подпись

И. Крамской

65. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

2 сентября н. с. 1873
Альбано

Письмо Ваше, добрый Иван Николаевич, захватило меня перед отъездом сюда, в Альбано [1], это и есть причина замедления ответа. Это ужасно невыгодно, ибо в уме своем я написал Вам очень много писем, много описаний, много мыслей, которые щедро обсыпают нас в дороге. А теперь вот уже пять дней, как мы тут: новые прогулки, новые места (чудесные, похожие на наши, но живописней). Новые хлопоты, и я едва собрался ответить Вам.

Во-первых, благодарю Вас! Я не ожидал такого внимания ко мне (два больших листа). Вы, конечно, не оцените этого и даже склонны заподозрить меня в иронии, но надобно прожить почти три первых месяца в Италии, не видав в глаза людей, с которыми преследуешь одни интересы, живешь, так сказать, одной жизнью, чтобы оценить Ваше радушие, Вашу открытую улыбку, Ваше письменное объятие. Жму Вам крепко руку.

Во-вторых, постараюсь ответить Вам на все Ваши вопросы.

О Вене буду краток — это уже Европа; но, вглядевшись, Вы увидите, что это, собственно, европейский постоялый двор [2]. Все рассчитано на короткий проезд, на беглый взгляд иностранца. Даже художественные музеи (Бельведер) полны плохими копиями, которые, однако, бессовестно выдают за оригиналы (не рассмотрят, мол, торопятся).

О Венской выставке (не будет ли «спустя лето по малину»? — Вы давно больше слышали). Сильное впечатление, потрясающее вынес я от картин *Матейко* [3]. Особенно две, да еще третья висит в Бельведере: такая драма! такая сила! Вещи его висят высоко, но бьют все, и ни на что после не хочется смотреть. (Картин описывать не буду — читать скучно). Выдерживает еще Ренье [4], француз (фигура на коне), лучше по живописи — нет.

Теперь у меня часто всплывают многие картины, авторов не помню (я был недолго и был нездоров, едва мог смотреть). Много есть свежего, живого и непосредственного, много отваги, много энтузиазма и энергии, схватить воображение, схватить природу, как есть, отрешившись от ярма рутины, которая, не думайте, чтобы совсем исчезла, нет, она еще царит в зале d'honneur [5] и везде важно расправляет складки засаленных драпировок, как итальянские попы. — Что значит ленивый человек, — я все иду по верхам, ни одного факта, утешаюсь, что у Вас нет недостатка в них. — «Убиение Юлия Цезаря» [6] (почти копия с Камучини [7]), плафоны Кабанеля [8]! Боже мой! да где же справедливость, хоть в искусстве?! За что же эти вещи повешены в зале почести? А впрочем, это верно, и даже громадная картина Пилоти [9] этого стоит. Удивительно, как он после такой глубокой жизненной правды, как *«Смерть Валленштейна»* [10], спустился до такой рутины! до слабости подражания Макарту [11]? А есть удивительные вещи, по разным высотам и углам, картины жизни как есть, без примеси глубоких знаний искусства, автора. Хоть бы вот эта! на рассвете, узкая улица готического города занесена снегом мокрым; снег беспристрастно засыпал мостовую, подъезд, все выступы и труп графа, убитого ночью у дверей монастыря. Проснувшись рано, монахи отворили дверь и — ахнули — перед самым порогом человек убитый. Все так живо, как натура, и теперь даже мне кажется, что я это видел не вверху громадной залы в раме, а проезжая зимой германским городом; так и мерещится вся эта улица, засыпанная мокрым снегом, и убитый человек, также припорошенный [12]. Картинки *Дефрегера* [13] и Кнауса [14] возбуждали общий интерес.

Да, работают они во всю мочь, развертываются до само-

забвения, до экстаза. Одно, забывают думать часто, и тогда вывозит их только практика, любовь к образам и смелость. Много, конечно, сюжетцев, композиций, но это не особенно трогает.

И несмотря на многие выдающиеся вещи, на вообще сильные средства, которыми они завладели уже, все-таки приходишь к заключению, что пластическое искусство отстало значительно от других, идущих не только наравне с развившимися интеллектуально людьми, но даже опережающих и ведущих за собою этих людей (литература). Я забыл сказать о скульптуре: Монтеверде [15] (итальянец, я был у него в студии в Риме) замечателен, его *«Оспопрививатель»*, *«Юноша Колумб»*, *«Гений Франклина»* (фантазия) и *«Детишки с кошкой»* — удивительные вещи!

Но все это не то. Искусство точно отреклось от жизни, не видит среды, в которой живет. Дуется, мучится, выдумывает всякие сюжетцы, небылицы, побасенки, забирается в отдаленные времена, прибегает даже к соблазнительным сюжетцам, — ну, думает, угадало... Нет, и тут публика испытывает только неловкость и недоумение...

А немец-то как выразился! Удивительно верно, везде немец, гуманные идеи для него мелочь, ему абсолют подавай, его интересуют только органические да геологические идеи — «философ чистой воды!» Случаев узнать немцев у нас еще не было. Австрийцы недалеко ушли от итальянцев. В Вене мы не встретили ни одной интеллигентной физиономии, на вид все лучшие субъекты кажутся торгашами табаком (в Италии — парикмахерами). Впрочем, эти заключения очень общи и мимолетны. Факты бывали в таком роде: мы наняли комнату на месяц у какой-то фрау, живущей с дочерью. Иногда она приходила к нам играть на рояле, который стоял в нашей комнате. Раз мы попросили ее сыграть из Бетховена. «Ведь это мой дядя, — сказала она, — я сама Бетховен», а тут же на стене висит современный портрет его, мы едва признали. Немка воодушевилась и играла этот раз с большим усердием, но, конечно, тупо. Встают они (немцы) рано, и газет у них тьма-тьмущая. Но Вена — это еще не немцы, тут много славян. А знать им нас нет никакой надобности: мы не настолько дики, чтобы на нас гикать и указывать пальцами, и не настолько просвещенны, чтобы у нас можно было чему-нибудь поучиться. Страна наша также не обладает никакими заморскими чудесами, на которые стоило бы посмотреть.

Нет у нас ни кратера Везувия, ни голубого грота, ни устарелых папских затей.

Что написать Вам про Поленова? Малый он чудесный, в Италии я с ним гораздо более сошелся. Мне было особенно приятно найти товарища ругать Италию и ругать любителей Италии, и мы, что называется, душу отводили. Когда я приехал, он уже уложил вещи, чтобы ехать. Работ его здесь я не видал; только под Неаполем (шутя) кое-что баловал. Товарищ он хороший. Мы мечтали о будущей деятельности на родной почве. Впрочем, Прахов [16] и Антокольский о нем незавидного мнения — «полено», гворят. А я думаю, что он и талантлив и со вкусом. Однако разве в нем самодеятельности мало.

Поленов в письме из Вены восхищался более всего пейзажем Шишкина, говорит, что и на Венской выставке это лучшая вещь в пейзаже [17].

Бедный Федор Александрович [18], лучше не вспоминать.. А Гоголев-то голубчик... В то время как я читал Ваше письмо, мне сообщили еще один некролог: будто бы умер архитектор Гартман [19]? Не верю до сих пор, пока не узнаю наверно. Боже мой! Какая сирота эта Россия! Все лучшее или умирает или передается Западу (впрочем, последнее лучшее — сомнительного качества).

На правах больного я ничего не делаю и даже не скучаю этим. Это плохо. Наблюдаю Италию. Много бы кое-чего можно было написать, да надоело, устал. В другой раз напишу побольше.

Прошу Вас отвечать скорей. Если успеете ответить через неделю по получении, то пишите: Roma, *Albano,* Albergo di Roma, а если запоздаете, то: *Roma, post-restante* [20].

Жена и Вам и Софье Николаевне очень кланяется вместе со мною. Дай ей бог здоровья.

Кланяйтесь всей Вашей компании, посылаю им рукопожатия. Желаю блистательного окончания Аполлонычу [21], идея славная. А что же Иван Иваныч [22]?

Чижов [23] здесь, в Альбано, мало интересный субъект, это, кажется, будет Верещагин В. П. в скульптуре. Вообще общество художников в Риме наводит тошноту и уныние.

Мы все учимся ездить верхом и уже оказываем успехи. В Альбано очень хорошо, много разнообразия и свободы.

Антокольский теперь в Вене. Жена его [24] с маленьким Иудой Галеви здесь (впечатлительный ребенок). Он скоро приедет, и тогда я отдам ему Ваше письмо.

66. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

8 октября н. с. [1873]
Рим

Признаюсь, Иван Николаевич, я человек из ленивых; оправданий и разъяснений писать не стану, об этом после поговорим, теперь, насколько хватит терпения и времени, я постараюсь описать Вам некоторые римские сюжеты.

Во-первых, с тех пор как я за границей, мысли мои настроены иначе вообще, а потом, даже в каждой местности думалось опять иначе. Мы привыкли думать, что итальянцы ничего не делают, воспевая dolce far niente[1]; об угнетении народа в этих странах якобы и помину нет. Действительно, здесь все это ничтожно, не стоит внимания; экая важность, что иностранец, мчась во весь карьер на осле, сбил с ног старика! Старик коленом упал в помидоры, стоявшие тут же, на узкой улице, подавил кучу слив. Это пустяки; никто не обращает внимания. Извозчики даже не кричат, а преспокойно задевают неосторожных — улицы узки. Четыре человека несут громадную бочку вина, перетянув ее какими-то отрепками; жара, на гору, пот в три ручья; нам страшно глядеть на этих подобий человека, однакоже все равнодушны, проходят, не обратив ни малейшего внимания. Погонщики ослов в Кастелямаре, это уже по увлечению (вообще итальянцы все почти делают по увлечению, с невероятной энергией), поспевают бегать, наравне с лошадьми, целые десятки верст (персидские скороходы теперь уже не сказка для меня), сопровождая господ, пожелавших сделать прогулку верхами; будете ли вы жалеть его, когда он, уцепившись за хвост вашей лошади, в гору подстегивает еще ее на сильном галопе; и так до конца прогулки; а вечером вы уже увидите его держащим вожжи осла, запряженного в маленькую тележку; осел вскачь, а он поспевает угодить не умеющим ездить верхом на ослах толстым англичанам (сколько комизму!). Впрочем, это не римские сюжеты, это все еще Неаполитанский край. Тут тише: осла только страшными ударами палки можно заставить подпрыгивать рысцой. И народ ленивый. Итак, все это и т[ому] п[одобные] сюжеты, не стоящие внимания; туземцу они надоели, а просвещенный путешественник смотрит на блеск солнца, на голубые горы вдали и на все замечательности, которыми так богат этот край.

Пока не станешь на точку зрения туземца или не станешь записным туристом, беда как кипятишься и портишь кровь; в самом деле, мы едем сюда искать идеального порядка жизни, свободы, гражданства, и вдруг — в Вене, например, один

тщедушный человек везет на тачке пудов тридцать багажу, везет через весь город (знаете венские концы!), он уже снял сюртук, хотя довольно холодно, руки его дрожат, и вся рубашка мокра, волосы мокры, он и шапку снял... лошади дороги. Но, повторяю, что все это нисколько не интересные сюжеты для художников, надо быть богатым Байроном [2], чтобы громить ими нерациональное общество. А какое от этого удовольствие, кроме общей ненависти! Нет, здесь художники не избалованный народ, они знают силу денег; они из кожи лезут, чтобы угодить богатым людям. Верх счастья для художн[ика] Италии — взять заказ; что бы там ни пришлось делать, только бы заказ. Альтамур [3] — очень даровитый неаполитанский художник — сошел с ума оттого, что у него перебили заказ. Знаменитый Морели пишет занавес для Салернского театра, пишет мадонн — лишь бы заказ. Да, тут совершается воочию и на первый взгляд неприятно поражает — эта изнанка жизни: лишь бы у вас были деньги, все делается для вас. В театре вы самое значительное лицо; актер, певец знаменитость — из кожи лезет, чтобы угодить вам. В нем нет и помину о своем знаменитом имени, о благородной гордости артиста, о гражданском сознании своего значения. В самом страшном увлечении, как напр., вчера Мефистофелем в опере «Фауст», он имел силу одной арией увлечь за собою весь театр, куда хотел, — он просиял и растаял от аплодисмента, и даже до того, что скорчил какую-то глупую гримасу для удовольствия публики!

А может быть, это необъятная скромность?

Нет, люди слабы и очень податливы на разврат во всех видах. Только человек с сильной волей, безукоризненный человек, может быть доволен разумными наслаждениями. Один шаг через край уже влечет его на целую версту порока, чтобы забыться, чтобы не даром марать руки. И, боже мой, до чего дошли бы слабые люди, если бы их не образумевали пророки.

«Вперед! — говорите Вы, — что бы нас ни ожидало, нет возврата». Я с этим не согласен. Путь к центру, к цели можно выразить графически:



Часто забывается цель, и нетрудно, сбиваются с прямого пути.

Нет, теперь я вижу громадное будущее в нашем сером, грязном, грубом начинании удовлетворять чистым стремлениям

человеческой души. А этот блеск, лоск, тон — он уже сделал свое дело, он принес пользу индустрии, он заставляет глаз избегать шероховатостей, искать гармонии в окружающей обстановке, он способствовал выработке изящных манер, за которые теперь разве плачутся еще только уездные барышни — «пусть их поплачут» и т. д.

Виноват, я увлекся. Хотел описать русских художников в Риме и других, да устал. Напишу после.

Пишите: Paris, poste-restante, monsieur E. Repin.

Антокольский работает Христа [4] (хорошо идет) и мечтает скоро вернуться в Россию. Чижов делает маленького Ломоносова, его «Крестьянин в беде» очень хорошая вещь [5]. Семирадский делает *сепией* свою «Грешницу» в маленьком виде, за 2000 р. для его высочества [6]. Ковалевский — черкесов с лошадьми в разных позах.

Боткин делает двор *монастыря* капуцинов (идиллия с маленькими фигурками).

Постников — дворик с садиком женского монастыря. (Одна монахиня благоговейно наклонилась перед цветущим цветком, а две другие стоят благоговейно, чтобы окончательно не развалиться от несовершенства).

Фортуни-испанец — профессора, ветошь, старики С[ан]-Лукской Академии осматривают натурщицу, для классов [7]. Превосходная вещь, столько юмору, комизму, а *исполнение* изумительно, это, впрочем, не особенно интересует художника; другая — «Репетиция ролей» в саду [8] — восхитительно, оригинально.

Интереснее всего в разговоре то, что Гупиль [9] за эти маленькие картинки платит Фортуни по 50 000 фр[анков]. Вот что всех сводит с ума.

Письмо Ваше очень запоздало [10], оно нашло меня уже в Риме на четвертой неделе моего здесь пребывания. Сегодня же я начинаю укладывать вещи, послезавтра едем. Нет, к Риму я привыкнуть не мог; надоел он мне своею ограниченностью, ужасно надоел. Должно быть, надо год прожить, чтобы он понравился; а впрочем, Ковалевскому он сразу понравился: «патриархальности много», говорит. Вообще Вы тут не узнали бы даже таких франтов, как Семирадский; все они ходят в засаленных, запятнанных сюртуках (черных, без пальто, чтобы походить на туземца, — дешевле берут мошенники итальяшки) и отрепанных и прорванных на некоторых местах брюках. Запустили бороды, волосы, одичали совсем.

Зато удобно изучать чистое искусство: на via Felice (Счастливая ул[ица]) сидит куча людей — чучарки, чучары [11], женщины, девушки, мальчики (целое сословие, ночующие почти

в сарае), между ними особенно выдается голова для спасителя, отрастил волосы ниже конца лопаток и только костыль (хромой он) да шляпа делают его соврем[енным] человеком. Цвет лица смугл — он никогда не моется. Старик — для бога-отца модель: волосы длинные и жесткие, как дроты торчат из-под шапки, борода совсем желтогрязная; вообще делает вид с волосами — невылазной грязи. Напротив лавка (множество их) с целым фронтом манекенов и живописных принадлежностей. Скульпторы в бумажных колпаках, самодельковых, поминутно шныряют из одной студии в другую, работают почти на улице — все видно, и какая масса; можно смело, без преувеличения сказать, что весь нижний этаж Рима есть Studia di skultura [12], с подписями имен художников.

Но погода здесь стоит удивительная: один день, как другой, на голубом небе ни облачка, солнце светит... до скуки. Деревья оделись новой зеленью, новая зеленая трава... А скучно, точно забытая богом, отсталая земля.

Мне бы хотелось видеть осень с желтыми листьями, стать под осенний свежий ветер, пройтись под осенним дождиком.

Ах, везде, видно, хорошо, где нас нет! — В Париж еще! Софье Николаевне наше глубочайшее (с супругою) почтение, сожителям [13] тоже поклонитесь.

67. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

8 октября 1873 г.
Козловка-Засека

Вы пишете ко мне письмо 8 октября, добрый мой Илья Ефимыч, и я пишу Вам 8 октября же — разница в стилях. Каламбур. Вы человек ленивый, и я тоже, и потому будем писать, пока пишется и когда напишется. Письма тогда и интересны, когда они не вынуждены; вот какую я Вам классическую истину сообщаю, и льщу себя надеждою, что Вы узнаéте от меня первого такую драгоценность; итак, беды большой не будет, если... если, например, Вы не напишете ничего больше, как: будьте здоровы! Вы меня этим не сконфузите, а есть ли в нем (в письме) какие-либо объяснения, а еще (чего боже сохрани) и оправдания, то это, право, не прибавит к Вашему письму ни капельки, только разве убудет несколько содержимого в письме, потому что, как хотите, а для того и другого все-таки нужно место, и потому лучше совсем не нужно объяснений, а уж от оправданий да удержит Вас аллах!

Вероятно, я что-нибудь неладное изобразил в своем письме последнем, что Вы упоминаете об этом. Со мной всегда так. А ведь я был только просто откровенен, ничего больше, и меньше всего я желал от Вас объяснений в том смысле, как Вы полагаете. Бросим — целая страница пропала задаром.

Федор Алекс[андрович] Васильев умер 24 сентября. Мир его праху, и да будет память его светла, как он того и заслуживает. Милый мальчик, хороший, мы не вполне узнали, что он носил в себе, и некоторые хорошие песни он унес с собой — вероятно.

Вы как будто стосковались по русской осени, по ветерку и по дождику, а я вот тем и другим наслаждаюсь, — получаю кашли и насморки, и с завистью думаю — какой счастливый Илья Ефимыч, ему светит солнце до скуки, над ним голубое небо без облачка, да, Вы правы: везде хорошо, где нас нет!

Как устроить свою жизнь так, чтобы впечатления не отзывались болезненно? Судите сами. Я получаю Ваше письмо рано, еще в постели — 7 часов утра, небо хмурое, день обещает скучный, ветер и дождь чувствуется в воздухе, и вчера было то же, да и завтра перемены ждать нечего; день за день — неделя, другая, месяц, год. Господи, все-то я вперед знаю, кто что скажет и что сделает, впечатления бледные, приевшиеся до тошноты, и вдруг письмо из прекрасного далёка; читаю: на каждой странице, в каждой строке бьет новость, интерес, интересная жизнь, интересные впечатления, и потому любопытные мысли, сближения, параллели; время богато наполнено, сердце сильнее бьется, голова занята небывалыми вопросами, а он, этот счастливец, скучает, вишь, осени жалко, дождика захотел. А мне он надоел по горло, рад с Вами поделиться. Возьмите! В этом письме много будет дождя, дождя осеннего, мелкого, холодного, несущего с собою хандру и болезни! И вот практическая польза нашей возникающей переписки, я Вам буду посылать серые, туманные и дождливые до нищенской бедности по содержанию письма, а Вы мне давайте то, чего у Вас в избытке: солнца, света, разнообразия и, как подкладку, — Вашу социальную жилку, которая, я чувствую, просвечивает во всех сюжетах, о которых Вы упоминаете. Не хочу быть пророком, но полагаю, что Вы, поживя за границей, несколько утратите эту чувствительность, в Париже особенно легко ее утратить, это уж город такой. Впрочем, я и в Париже кое на что наталкивался в том же роде, но там всегда такая ярмарка, такой праздничный пир, что впечатления мрачные, гнетущие скоро изглаживаются;

если же Вы и за тем останетесь все тем же, чем до сих пор, то признаюсь... Вы гораздо упорнее, чем даже я полагал. Хотел было написать нечто другое, то есть то же самое, если хотите, только другими словами, да раздумал, мистицизмом запахло бы, а это, согласитесь, и для осеннего письма было бы слишком. Я о Париже невысокого мнения (впрочем, о чем же я высокого мнения?), но все-таки приветствую Вас в Париже, это город самый живой из художественных центров. Буду ждать письма от Вас из Парижа с особым интересом и нетерпением, и я думаю, что чем дальше и больше Вы будете в нем находиться, тем письма Ваши для меня все будут интереснее и интереснее, если, впрочем, только они будут. Простите, ради бога, эту дьявольскую осторожность — я не знаю, как она под перо попала.

И в Париже, как везде за границей, художник прежде всего смотрит, где торчит рубль и на какую удочку его можно поймать, и там та же погоня за богатыми развратниками и наглая потачка и поддакивание их наклонностям, соревнование между художниками самое откровенное на этот счет, но там есть нечто такое, что нам нужно намотать на ус самым усердным образом — это дрожание, неопределенность, что-то нематериальное в технике, эта неуловимая подвижность натуры, которая, когда смотришь пристально на нее, — материальна, грубо определена и резко ограничена; а когда не думаешь об этом и перестаешь хоть на минуту чувствовать себя специалистом, видишь и чувствуешь все переливающимся и шевелящимся и живущим. Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка. То воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье, только человеческой головы с ее ледяным страданием, с вопросительною миною или глубоким и загадочным спокойствием французы сделать не могли и, кажется, не могут, по крайней мере я не видал. Проверьте меня, и скажите Ваше мнение. До следующего письма. Чрез неделю буду в Петербурге.

Кланяюсь усердно Вашей жене.

Ваш *И. Крамской*

68. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

8/20 ноября [1873]
Paris, 13, Rue Véron

Стоит только отложить письмо на неделю, чтобы оно пролежало более месяца. Впечатления первые, свежие заваляли́сь в душе, истерлись; письмо выйдет уже сухое, головное, —

чувствую все это, да уже делать нечего — читайте, если не жаль времени. Вы напрасно боитесь прекращения переписки; с моей стороны его не будет, ибо я очень дорожу теперь не только Вашими, но вообще всеми письмами из России; я рад бы был получать каждый день по письму, а то ведь совсем заглохнешь, отстанешь от своих; французов же не догнать нам, да и гнаться-то не следует: искалечимся только, сломаем ноги, расшибем головы, без всякой пользы, впрочем, и тут польза будет отрицательная (для потомков). Да, много они сделали и хорошего и дурного, тут уж климат такой, что заставляет делать, делать и делать; думать некогда; выбирать лучшее, мудрено работать для искусства, надобно долго учиться (бездельничать, по мнению французов), да и не оценит никто, бездарностью прозовут. — Нет, им дело подавай сейчас же: талант, эссенцию, выдержку, зародыш; остальное докончат воображением. Да, у них нет лежачего капитала — все в оборот, всякая копейка ребром. Они не хныкали в «кладбищенстве», как мы, например, способны хныкать двести лет кряду; у них мысль с быстротой электричества вырождается в действие. Давно уже течет этот громадный поток жизни и увлекает и до сих пор еще всю Европу. Но у меня явилось желание унестись за много веков вперед, когда Франция кончит свое существование — от нее не много останется, т. е. очень много, но все это дешевое, молодое, недоношенное, какие-то намеки, которые никто не поймет. Не будет тут божественного гения Греции, который и до сих пор высоко подымает нас, если мы подольше остановимся перед ним; не будет прекрасного гения Италии, развертывающего так красиво, так широко-широко человеческую жизнь (Веронез[1], Тициан[2]), представляющего ее в таких обворожительных красках, в таких увлекающих образах. Ничего равносильного пока еще нет здесь, да и вряд ли будет что-нибудь подобное в этом омуте жизни, бьющей на эффект, на момент. Страшное, но очень верное у меня было первое впечатление от Парижа, я испугался при виде всего этого. Бедные они, подумалось мне, должно быть, каждый экспонент сидит без куска хлеба, в нетопленной комнате, его выгоняют из мастерской, и вот он с лихорадочной дрожью берет холстик, и, доведенный до неестественного экстаза голодом и прочими невзгодами, он чертит что-то неопределенное, бросает самые эффектные тона какой-то грязи, у него и красок нет; он разрезывает старые, завалявшиеся тюбики, выколупывает мастихином, и так как материал этот повинуется только мастихину, то он и изобретает тут же новый очень удобный инструмент. Да, это так;

хорошо; еще, еще и картинка готова; автор заметил, что он уж было начал ее портить; во-время остановился. Несет ее в магазин. У меня сердце болело, если, проходя на другой день, я видел опять его картинку. Боже мой, она еще не куплена! Что ж теперь с автором?!!

И, право, соображая теперь холодно, вижу, что я угадал. Кто побогаче, тот [неразборчиво] (Месонье, Бонна [3]). Жутко делается в таком городе, является желание удрать поскорее: но совестно удрать из Парижа на другой день. Сделаешься посмешищем в родной стране, которая очень непрочь похохотать после сытного обеда над ближним. (До обеда хнычут, на судьбу жалуются).

Итак, я, преодолев трусость, остался в Париже на целый год, взял мастерскую на Rue Véron, 13 квартира, а 31 мастерская, — и хорошо сделал, что остался: много хорошего вижу каждый день. Климат мне полезен; я совсем здоров и есть много охоты работать и работать, что бы то ни было. Но, несмотря на большую охоту, работаю я всего третий день, в мастерской; мешали жизненные дела: квартира, меблировка, кухня и прочий вздор, который, слава богу, кончен на дешевый манер (бросить придется).

Скучновато немножко; кроме жены, общества нет. Познакомились с Харламовым [4], с Леманом [5], с Пожалостиным (гравер) [6], но все это народ неинтересный, скучный; а странно, первые два ужасно любят Париж и желают остаться навсегда в нем (притворяются, я думаю?). Харламов пишет уже почти как истый француз, даже рисует плохо (умышленно). Леман, дружно с французами, преследует великую задачу искусства писать, выходя из черного «совсем без красок» [7]. С легкой руки Бонна они (все и парижане) пишут теперь итальянок и итальянцев, которых выписали нарочно из Неаполя (платят по 10 фр[анков] в день). Должно быть, доходная статья для обломков Возрождения, их живописный костюм очень часто украшает улицы Парижа в художественных краях до сеансов и после сеансов.

Вы, конечно, уж давно в Петербурге, не пострадали ль от наводнения? Пишите побольше обо всех знакомых. В последнем письме Вашем было много поэзии осенней, русской, я с наслаждением перечитал его несколько раз, и оно навело меня даже на многие соображения.

Ах, бедный Федор Александрович [8]! Просто плакать хочется... Что Вы привезли из деревни? Не будете ли снимать фотографии? Мне бы экземплярчик. Что Шишкин привез? Или не работал? Здорова ли его жена [9]? О Савицком напишите.

Как дела вашей Передвижной выставки? Где она теперь и скоро ли будет новая, в Питере [10]? Пожалуйста, напишите. Что поделывают Ге, Мясоедов, Перов?

Как академические жрецы, юные и ветхие деньми, подвизаются? Каковы программы?

Брат [11] писал недавно, что у Вас теперь уже зима: снег и мороз. А мы здесь все еще не привыкли к ихнему бесснежию; холодаем в комнатах. Ужасно ложиться в постель, вставать еще хуже. В мастерской работаешь в пальто и в шляпе, поминутно подсыпаешь каменный уголь в железную печку, а толку мало; руки стынут; а, странное дело, все-таки работаешь; у нас я бы сидел, как пень, при такой невзгоде.

До Вашего ответа. Добрейший Иван Николаевич, кланяйтесь Софье Николаевне. Жена моя также усердно кланяется вам обоим.

Ваш *И. Репин*

Адрес: Paris, 13, Rue Véron (Montmarte).

69. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

15/27 ноября 1873 г.
С.-Петербург

Сомневался я порядочно, получили ли Вы мое последнее письмо от 8 октября, добрейший Илья Ефимыч, и не застряло ли оно где-нибудь; меня уже пугали тем, что франкированные письма пропадают, будто бы потому, что они франкированные, и что этого делать никогда не следует; но я успокоился, получивши от Вас известие, Вы как будто бы получили его; итак, Вы в Париже. Вон оно что! На другой день уж и бежать оттуда, это хотя Вам и свойственно, пожалуй, но все-таки как будто хвачено чрез край. Ведь там что-нибудь да есть же, что увлекает за собою всю Европу, как Вы говорите, и говорите совершенно справедливо, т. е. пока справедливо. Но в то же время мне очень понравилось Ваше желание унестись за много веков вперед, когда Франция кончит свое существование. Это так хорошо, метко и, главное, нужно даже это сделать, что я готов следовать за Вами. Только вот что, так ли это все будет сказано о Франции в истории — другой вопрос. Одно несомненно — громадный поток жизни в Париже не все уносит и не всех, по крайней мере являются желающие сопротивляться; число таковых ежедневно увеличивается. Это очень важно помнить. Все, что Вы говорите

о первых впечатлениях Ваших в Париже, точь-в-точь совпадает с моими личными впечатлениями, но полагаю, что, кроме голода, который в Париже не подлежит сомнению, есть еще другой фактор — это национальный темперамент. Французу подавай успех, во что бы то ни стало и чем бы он ни был оплачен. Впрочем, это все похоже на общие места с моей стороны. Мне бы специально хотелось, например, услышать от Вас кое-что о Венере Милосской (она до Коммуны стояла в Лувре, внизу); ведь вот как странно выходит: тут щемит сердце от разных проклятых современных вопросов, от самых свежих жизненных волнений сегодняшнего дня, а он — о Венере Милосской. Но так как Вы ее видели уже, вероятно, и, стало быть, имеете определившийся взгляд, то, говоря о ней, я не рискую забегать вперед. Дело в том, что мне сдается, будто особа эта есть нечто такое, чему равного я указать не могу ни на что. Ей все позволено, и она все себе позволяет, но в то же время она ничего не сделает такого, что было бы недостойно существа высшего порядка. Словом, это богиня, настоящая, и в то же время реальнейшая женщина. Не знаю, что Вы скажете и так ли это, но впечатление этой статуи лежит у меня так глубоко, так покойно, так успокоительно светит, чрез все томительные и безотрадные наслоения моей жизни, что всякий раз, как образ ее встанет предо мною, я начинаю опять юношески верить в счастливый исход судьбы человечества. Вот какой высокий слог! а ведь я, право, старался сказать, что думаю и чувствую. Не шутя, ни одно произведение так высоко на меня не действовало, а оно, как Вам известно, только *красота,* и ничего больше, да еще женская красота, а ведь у меня относительно этого кровь рыбья. Чорт знает что такое. Что там сидит, да еще и сидит ли; полно, быть может, это все критики напели, это все когда-то кому-то показалось, и все пошли, как бараны за вожаком, твердить и восхищаться; но нет, что бы там ни было, как бы Вы ни думали, как бы ее новое и грядущее время ни развенчало, а я не могу отделаться от этого образа. Я многое почти забыл уже, что видел, а эта — как теперь стоит передо мною живая, и я смотрю на нее, вижу всю до мельчайших подробностей, вижу даже, как она дышит. Впечатление не потускло и не ослабело. Любопытно [1]. Был тут у меня Поленов, он, вероятно, теперь уже в Париже. Как он изменился во всех отношениях к лучшему, начиная с головы! Я им немало любовался [2]. Вот Вам и общество. Вы говорите — скучновато. Это точно, особенно Пожалостин. Леман — это, собственно, один сплошной живот, но ничего, не злобный, если не дразнить. Ну, а Харламов и того пуще, ему дорожка расчищена авторите-

тами, самому думать незачем, все в жизни пойдет хорошо, пишет прекрасно, лепит не особенно твердо, да это и неважно по-ихнему, а мысль... мысль... зачем она в искусстве? Ведь обходятся же без нее, и даже еще лучше так. А малый он был смирный, приятный гортанный голос, чуть-чуть картавит, что к нему идет, а лицо имеет (т. е. имел) меланхолическое — ну, скажите, чего ж еще Вам нужно. Я даже нахожу ту маленькую скуку, которую Вы чувствуете, очень выгодным условием. Ничто не помешает смотреть и наблюдать, не вмешиваясь в тот омут жизни, т. е. скорее лихорадки жизни, которою так богат Париж. В этом отношении, я полагаю, Лондон не лучший город. Там есть что-то строгое и холодное (не знаю, не бывал, но так кажется). Решительно продолжаю Вас приветствовать в Париже. А ведь не правда ли, что там как-то работается, несмотря на шум, гвалт, праздношатание и другие французские качества. Это уж город такой, побывать в нем современному человеку надлежит и пожить, пока сможется, не мешает. Почему, не знаю, объяснять не берусь, а нужно, да и кончено.

Скоро, быть может, еще сотоварищ к Вам прибудет — Аполлоныч Савицкий. Кажись, на то идет дело. Слаб он здоровьем, а ведь он не боец, как Вам известно, ему на рынке трудно найти работу, слишком много и посильнее его, да и те не особенно успевают, так что ему нужно до поры до времени еще пополнить спокойно свой арсенал. Мне очень жаль с ним расстаться — сердце у него честное, и талант есть, но... пусть едет, так лучше, я его уговариваю.

Приехала мать Васильева, привезены вещи, сколько он работал — страх! какие рисунки, сепии, акварели, какие альбомы, и что за мотивы! Решительно, мы лишились музыканта. Если бы Вы видели, как он стал созревать. Что было в руках этого человека, что он делал с карандашом, это удивительно; и странно, с одной стороны — одиночество, болезнь, и работа за деньги ему вредила, к нему прилипли некоторые новые недостатки, а с другой — полет фантазии, ум и самая техника принимала такой оригинальный характер, такое благородство, такую уверенность, что просто из ряду вон, да и только. Когда еще не было матери и братишки, он умер, я это знал, был готов к этому давно, но когда меня коснулось впечатление непосредственно, когда я, так сказать, сам присутствую на факте, я просто помириться не могу. Уж очень он мне нравился. Хотя я не был слеп и к его недостаткам.

Что Вам сказать из петербургских новостей? Ведь Вам легко там сидеть да думать, что-то поделывает вот тот-то, как идут дела такого-то, и это совершенно естественно, и я бы

так рассуждал, но ведь примите же во внимание, что у нас в России ничего не меняется, что мы тихонечко колышемся, каждый в своей раковине. Вы, вероятно, видели разные водоросли в стоячей, т. е. едва проточной воде: они своими верхушками, как улитка усиками, едва поводят то вправо, то влево, и так долго-долго, и сколько ни смотрите — ни одного энергичного движения, изредка только раздастся плеск хищной щуки при преследовании простоватого карася (скандал) — это летом в полдень, ну, а к вечеру скандалы чаще и водоросли своими махрами тоже начинают двигать как будто быстрее, но ведь это мираж, ведь это не самостоятельные животные, это водоросли, крепко приуроченные корнями к одному месту, но что они растут — это несомненно. Так и мы, и потому я, например, крепко пустивший корни, решительно недоумеваю, что Вам сообщить, и как будто Вы не знаете сами, что случиться ничего не могло. Ваше беспокойство относительно этого мне понятно и происходит только от той качки, которая бывает при путешествии: пролетишь пять тысяч верст в три дня, а покажется годом; ну, думаешь, вот-то новостей и перемен, ничуть не бывало, ведь Вы в путешествии всего третий день, а у нас еще не успела перевариться пища вчерашнего обеда, еще мы только второму другу и приятелю принялись помыть косточки, а Вы полагаете, что уж тут и бог весть что случилось. Но, чтобы не нести упрека в лени, я Вам сообщаю, что И. И. Шишкин три месяца уже кусает ногти и только. Жена его хворает по-старому. Ге продолжает писать картину, которой я не видал, не показывает никому [3]; Мясоедов пишет (и, пожалуй, хорошо) чтение положения в риге мужичкам про волю [4]. Про Перова ничего не знаю, проездом чрез Москву его не видал, он был за границей, но говорят, что пишет: «Расправа Пугачева». Ездил на Урал за этюдами [5]. А жрецы Академии, юные и ветхие, все в том же недоумевающем положении с обеих сторон, как им и быть надлежит; впрочем, приятная новость: учеников в Академии становится очень много. А программы... я думаю, что Вы их без труда можете во сне увидать, если... если знаете Плюснина [6]. Прекрасно! Впрочем, Зязин [7], как бы это Вам выразить, сотворил такое неприличие с программой, что все старцы пришли в ужас, — написал без рисунка, без драпировок каких-то двух дикарей (Саул и Давид с гуслями) в пустом чулане, не домазал холста, об опрятности и помину нет, а между тем — даже драма, ну, разумеется, его в шею, как смеешь грубить. Все старая история.

Передвижная выставка в Киеве, новая — готовится... готовится... гм, т. е. около, вот, видите ли, мы полагаем, что быть может; по крайней мере, мы желали бы, но это будет зависеть, впрочем, никак не позже того срока, который назначен. Шлю свой и Соф[ии] Никол[аевны] привет Вашей жене.

И. Крамской

70. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

8 дек[абря] н. с. 1873
13, Rue Véron

Я Вам, Иван Николаевич, сообщу одно поручение гравера Пожалостина, чтобы не забыть: он желал бы участвовать на вашей Передвижной выставке своими гравюрами «Портрет Брюллова», «Христос» Анибала Карачи и еще что-то [1]. Мне кажется, это не помешало бы вашей выставке, напротив, универсальности больше. И еще примите в соображение, что гр[авер] Пожалостин намерен, по приезде в Россию, сделать гравюры из лучших вещей русской школы («Неравный брак» Пукер[ева] [2] и др.), серьезные и легкие гравюры. Если он Вам годится, то ответьте, он Вам пришлет.

Поленов приехал к нам за пять минут до Вашего письма; отыскали ему мастерскую. Намерены приняться за самые строгие этюды с натуры и рисовать. Так хочется писать с натуры, без всяких идей и сюжетов.

Венеру Милосскую я видел в Лувре, но день был холодный, пасмурный, и я ничего особенного не увидал в оригинале (я знал ее хорошо по слепку), такая же она превосходная статуя греков, один из лучших обломков цвета скульптуры. Впрочем, некоторые новейшие эстетики археологии докопались, что она будто бы сделана не в лучшую пору греч[еской] скульптуры, и потому разжаловали ее и поставили рангом ниже [3]. Я заметил, что ученые необыкновенно решительный народ, упрямый и с характером: порешив что-нибудь, даже без неопровержимых фактов, они становятся фанатиками своей доктрины — никому пощады. Эх, право, хорошо иметь некоторую долю ограниченности — больше уверенности в себе и, следовательно, больше завоевано последователей. Французы также успели во мнении света.

Каждая бездарность их школы пользуется авторитетом. *«А об нас кто скажет?»* — сказал однажды Шамшин, он прав — он равен Энгру [4].

Странное дело, после Неаполя я не нахожу удовольствия

смотреть на их голые статуи, и чем севернее, тем неприятнее; а в Неаполе видеть голую статую — величайшее наслаждение! Точно так же у меня сердце сжалось, когда я увидел Веронеза и Тициана в Лувре, им тут неловко, темно и холодно. Но какие они скромные, благородные, глубокие. После Италии французская живопись ужасно груба и черна, эффекты тривиальны, выдержки никакой... Ах, боже мой! я опять браню французов! Прошлый раз, садясь за письмо к Вам, я думал, что моему панегирику конца не будет, что я напишу нечто вроде оды французам; но как я удивился, когда кончил и вспомнил. Думал поправить дело теперь, но опять только брань пишу; уж не подобен ли я свинье, роющейся на заднем дворе в навозной куче? Нет, мы ужасно озлоблены и переживаем реакцию вкусов. *«Так мозг устроен и баста»,* — говорит Базаров [5].

Французы — бесподобный народ, почти идеал: гармонический язык, непринужденная, деликатная любезность, быстрота, легкость, моментальная сообразительность, евангельская снисходительность к недостаткам ближнего, безукоризненная честность. Да, они могут быть республиканцами.

У нас хлопочут, чтобы пороки людей возводить в перлы создания, — французы этого не вынесли бы. Их идеал — красота во всяком роде. Они выработали прекрасный язык, они вырабатывают прекрасную технику в искусстве; они выработали красоту даже в обыденных отношениях (определенность, легкость). Можно ли судить их с нашей точки зрения? У нас считают французов за развратный народ, — сколько я ни вглядывался, и помину нет об этом разврате. Напротив, я теперь с ужасом думаю о нашем Питере и других городах.

С большим интересом жду я их годичной выставки. Нельзя судить об их искусстве по рыночным вещам, в магазинах, туда выставляют все больше аферисты, вроде Коро [6].

До следующего.

Ваш *И. Репин*

Французы очень полюбили время Первой республики (1792), и теперь часто можно видеть превосходные картинки и этюды из этого времени.

Замечательно хорошо сделана панорама осады Парижа, только фигуры местами плоховаты, но все-таки поразительно [7]!

Теперь, вероятно, выставлены работы Федора Александровича [8] и раскупаются? Как бы я хотел повидать их.

Сообщите Савицкому мой адрес, если ему пожелается повидаться с нами. Он как-то удалялся от меня в последнее время.

71. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

6 декабря ст. с. 1873
С.-Петербург

Прежде всего я отвечаю, разумеется, о Пожалостине. Помимо тех сторон этого вопроса, которые Вы знаете, но не высказываете, и которых не коснусь и я по той же самой причине, добрый мой Илья Ефимыч, есть не подразумеваемые только, а действительные причины, почему Пожалостин к нам подойти не может [1]. Вопрос в том, как считать гравюру при выдаче дивиденда? что она такое? самостоятельное ли художественное произведение? и, как таковое, имеет ли оно цену и интерес единственного произведения? Ведь медная или стальная доска может стоить тысячи рубл., ну, а экземпляр оттиска с нее что стоит? Положим, портрет Брюллова в продаже стоит 5 р. (я не знаю, сколько действительно), дивиденд с нее следует ли выдавать с 1000 р. или с 5 р.? Если с тысячи р., то Пожалостин в таком случае должен дать нам новую гравюру, никому не известную, и нигде, кроме того единственного экземпляра, который он даст нам, не выставлять и не продавать, если же дивиденд должен быть выдаваем с 5 р., то это противоречит принципу Товарищества и не приносит никакой выгоды автору, и едва ли Пожалостин сочтет для себя удобным вступить в Товарищество на последнем условии, да и на первом, надо полагать, тоже. Ведь мы уже имели опыты подобного рода со скульпторами. Если скульптор даст нам вещь, например, в мраморе или глине, и притом единственный экземпляр, то, разумеется, и дивиденд ему будет следовать как с художественного произведения, но если, как Каменский [2], — оттиск из гипса, и рядом будет продавать десятками одинаковые слепки за 15 р., то, естественно, возникнет вопрос о процентном вознаграждении; и не будет ничего удивительного, если встретится толкование в пользу выдачи дивиденда только с 15 р. Так и с Пожалостиным. Если же ему угодно продавать просто свои гравюры при выставке, то это другое дело, это он может сделать всегда, и мы с удовольствием примем на продажу, с условием взимания пяти процентов с каждого проданного экземпляра, и затем все счеты кончаются *. А что касается до универсальности, то она сохраняется и при последнем моем предложении, как раз настолько, насколько Вы сами придаете этому значение.

Я Вам собираюсь послать упрек по поводу Антокольского, у него готова новая статуя, а Вы, зная об этом и видя ее, ни

---

* Шишкин за офорт получил как за экземпляр.

одним словом не обмолвились; я говорю о «Христе»[3]; быть может, она не была тогда кончена, но все-таки Антокольский не такого рода человек, чтобы у него не вышло чего-нибудь вполне оригинального. Ну, да уж бог Вам судья, на первый раз я Вас прощаю, и знайте, что слухи о ней очень хорошие.

Сегодня я пишу, воротившись с четверга, которые еще влачат свое существование[4], где был Прахов, младший, он читал нам выдержки из своей статьи о Венской выставке[5], есть много любопытных сближений и метких замечаний, но так ли это действительно, я судить, разумеется, не могу, не видавши вещей, о которых идет речь. Между прочим, у него я встретил мнение, встреченное мною в первый раз и, вероятно, ему лично принадлежащее, что будто бы у французов многие идеи и отражения умственной жизни общества были сначала тронуты пластическими искусствами, прежде чем появиться в поэзии и в литературе. Я сказал, что это чрезвычайно ново и интересно, если бы только это было доказано, и он говорит, что на это он употребит все внимание в своем новом ученом труде и постарается доказать фактами такое заключение. Любопытно. С французами, стало быть, происходит как раз обратное тому, что мы замечаем в расах германской и славянской.

У меня был чрезвычайно интересный сосед — Куинджи. Он жил визави против моей квартиры, и мы с ним несколько раз подолгу беседовали. К сожалению, он как-то внезапно исчез с квартиры; еще накануне мы мирно толковали о разных материях, и ничего не было такого, что бы указывало на его переезд, тем более что он не больше трех недель как стал моим соседом, и вдруг на другой день, т. е. вчера, — его уже нет, выехал — куда, еще не знаю. Вы знаете, что он успел побывать за границей и много объехал, много видел и много любопытного рассказывал, но всего любопытнее — он сам. Вы, разумеется, помните, что я о нем когда-то говорил, я его не знал, но, и узнавши, не думаю, чтобы я очень был ошибочного о нем мнения, по крайней мере до сих пор он все еще около чего-то ходит, что-то такое в нем сидит, но все это еще не определилось, но одна сторона в нем мне открылась и... поразила: он политик, и политические способности у него недюжинные, но он политик не в том смысле, как вообще это принято разуметь, а в другом роде. Речь шла об Академии, о нашей роли относительно ее, о будущем Академии, о будущем того кружка, который сторонится от Академии, и о имеющем совершиться, в ближайшем будущем, распределении групп и партий (беру эту кличку напрокат из другой области), их

борьбе, вероятных победах и не менее вероятных поражениях; я слушал с величайшим вниманием, интересом и... изумлением, не потому, чтобы то, что он мне говорил, было для меня ново или неизвестно, а главным образом потому, что, во-первых, это говорит Куинджи, а во-вторых, предмет такого рода, что о нем хотя некоторые и догадываются, но никогда, никогда еще не говорят, и вдруг вопрос! да какой? прямо в упор, за ним другой, там третий, без конца, и, очевидно, он стоит твердо на ногах. Я должен был признать, что прозорливость у него большая, если только она его; когда он кончил, для меня стало ясно кое-что в молодом поколении, и я тут убедился, что нам, собственно говоря, приговор уже произнесен (я говорю: нам, т. е. людям зрелого возраста). Разумеется, он может еще измениться, но уж это будет зависеть от личных сил каждого, и облегчение будет допущено только в силу каких-либо новых, еще не явившихся подвигов, но в общем он прав. То, что он говорил, я лет пять тому назад переворачивал в мозгах и решил, пойти по той дорожке, по которой пошел, не закрывая глаз, не обманывая себя насчет исхода [6]. Ну что ж — борьба так борьба, я это знаю, я жду ее наконец, вперед! Опять-таки повторяю, сворачивать в сторону, помоему, нельзя, по крайней мере я не могу свернуть, потому что не умею, для меня лично было бы хуже, да и для дела искусства этого не нужно. Для дела искусства! — какие громкие слова, подумаешь! Но если мы возьмем наше любезное отечество и наше не всеми любимое и не всеми признаваемое искусство, то слова мои простительны. И я думаю, что не все же молодое поколение осудит нас и пошлет одни упреки за то, что мы, имея возможность захватить в свои руки власть для торжества иных порядков, не захватили ее и... устранились. Впрочем, желающих много, но... Вы знаете, что это значит. Он пугает Семирадским, и это точно, что правда, — удары, которые они будут наносить, будут чувствительнее, чем удары Шамшина, Маркова [7] и даже Бруни [8], но будто уж в том же молодом поколении не появится ни одного на нашей стороне? Вопрос, несмотря на свою серьезность, еще не решен в чью-либо сторону решительно. Поживем, увидим. Жаль, что я Вам так изложил этот разговор, что Вы, собственно говоря, едва ли и поймете, в чем тут был самый интерес, но он был такой длинный, такой разнообразный и такой живой, что я мог только ограничиться указанием плана и сущности, но не самого разговора, и то письмо выходит с длинным хвостиком; но мне кажется, что Вам будет достаточно и этого, чтобы понять, в которую сторону он клонился, и, зная обоих, определить,

кто и что именно говорил. Вероятно, Вы неоднократно трогали эту тему. Перейду к французам, и скажу Вам, что, мне кажется, у Вас не совсем вяжется в определении; определяя народ, Вы говорите в заключение: да, они могут быть (как бы имеют право) республиканцами. Этот бесподобный народ, почти идеал, по-Вашему, не имеет, собственно, евангельской снисходительности к недостаткам ближнего; у них терпимость и снисходительность действительно безграничны, но ведь это ж потому, что все, говоря серьезно, подлежат каторжной работе, как Базен [9]. Все перепачканы до такой степени, что высказывать осуждение будет уж очень смешно, ну, а французы больше всего боятся быть смешными, — у них эта боязнь доходит до... преступления. Ну, что они делают со своей республикой? и на что это похоже? Все лгут и притворяются, и, за исключением двух-трех человек, остальным все равно. Кто действительно еще остается относительно здоровым или, по крайней мере, дает надежду к выздоровлению — это масса мелкой буржуазии и рабочих, достаточно грамотных, чтобы иметь неиспорченные инстинкты, и для которых невозможна активная роль законодателей по их многочисленности; эта часть народа могла бы сказать свое мнение, которое следовало бы уважить, но ведь его не спросят, и боятся спросить, и монархисты и республиканцы. Значит, тут что-то неладно. Когда я был в Париже, я, несмотря на то, что Гун каждый день читал и переводил мне газеты, я мало мог составить общее понятие, до тех пор, пока не удалился на приличное расстояние, с которого видно только общее. И это мне кажется натуральным; для того, чтобы я там на месте мог судить, я должен был бы проводить семьдесят два часа в сутки только для того, чтобы успеть прочитать главные органы печати, да прожить по меньшей мере года три во Франции, чтобы основательно, путем самостоятельного мышления прийти к какому-либо прочному выводу. Нет, мой дорогой Илья Ефимыч, не быть французам республиканцами. Я убежден в одном, что для Вас теперь наша серая и флегматичная Русь рисуется с настоящей точки зрения — Вы не видите деталей, Вас не развлекают пестрые явления единиц, Вы можете теперь спокойно суммировать все впечатления Вашего детства, отрочества и юности и, наконец, безошибочно подвести итоги в себе, перед дверьми зрелого возраста, говоря высоким слогом. И Ваши заключения, бесспорно, будут самые близкие к правде, для Вашего времени, и если Вы теперь же на что-нибудь решитесь — ошибок будет сделано самое малое количество. Я так думаю. А что французов нельзя судить с нашей точки зрения, это верно безусловно.

Выставка Васильева будет только еще в генваре месяце, раньше не успеем привести в порядок всю эту массу.

Что Савицкому с Вами повидаться следует и хочется, в этом нет сомнения, я даже думаю, что это его спасение, и именно за границей, почему, я писал уже, а что он как будто удалялся от Вас в последнее время, то я этого не знаю и не знал, но полагаю, что с его стороны намеренного не было ничего, Вы разъясните себе это впоследствии, когда он к Вам приедет. У него были какие-то симпатии с кружком Семирадского, но так как Семирадский только теперь сбрасывает маску, то... а впрочем, кто его знает [10].

Кланяемся с С[офьей] Н[иколаевной] Вам глубоко.

И. Крамской

72. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

16/28 декабря [1873]
Paris, 13, Rue Véron

Добрейший Иван Николаевич!

Еще раз о Пожалостине, — он с радостью соглашается на последнее условие Ваше, т. е. продавать при вашей выставке, платя по пяти процентов с экземпляра проданного. Просит только узнать, куда ему адресовать и сколько выслать экземпляров. В наличности у него две гравюры: «Голова Христа» (с Анибале Кар[аччи]) и «Портрет Брюллова» (с портрета автора работы).

За Антокольского Вы меня напрасно упрекаете. Об его «Христе» я писал Вам еще из Рима, только это было в приписках о новостях, а потому, может быть, Вы не заметили. Вещь эта замечательна; она производит сильное впечатление и выражает, как я теперь думаю, наше, европейское понятие о нем в XIX в[еке] [1]. Сильная вещь, превосходящая его прежние вещи и техникой и выражением.

О личном мнении Адриана Прахова, насчет первых идей французской живописи, утверждать не могу. Ведь Вы были в Люксембургском и в Луврском музее, заметили ли Вы что-нибудь в этом роде? Есть одна картина, изображающая республику на баррикадах в образе женщины, с открытой грудью бежит она по трупам, с красным знаменем в руках [2], и больше я ничего не видал из общественных идей. Может быть, он говорит о лубках и литографиях? Это дело другое, только этим с таким же успехом занимались и занимаются до сих пор, как французы, — и славяне и германцы.

Вообще же я очень далек от того, чтобы французскую школу живописи брать за авторитет — она не рациональна, так же как и наша. С самого начала, да и до сих пор еще они страдают безнадежным преклонением перед гениями Италии, Испании и Голландии. Не говорю о старых, которые внесли в искусство разве только черноту красок и романтизм (это очень заметно, даже бьет в глаза неприятно: черные краски производят грубость, а сентиментальная чувствительность неприятно действует на нервы). [Написано на полях: «2-я зала Лувра».] Но и теперь даже, даже их гениальный Ренье не чужд подражанию Веласкезу [3]. Не знаю, где он найдет факты для доказательства. При королях живопись и идеи слюнявые, конфектные, потом сентиментальный героизм (Жерико [4], Грос [5] и др.) (Давид [6], Энгр, с прибавлением чистых классических воззрений и пр.). Делакруа [7] хотел бороться, да пороху не хватило, был чистый художник, потом идиллии Розы Бонёр [8], потом костюмный класс Месонье и т. д. Только Ренье исключение. А впрочем, есть еще одна картинка в Люксембурге «У закладчика». Закладывают что кому дорого, особенно типично матрац — это самое дорогое достояние француза. Впрочем, судя по приему, это очень недавно и напоминает, по стилю, наши жанры [9]. О Делароше говорить нечего, это исключение, это гений [10]. Но вообще у французов совсем другой принцип в искусстве, ведь они родные братья итальянцам. Красота и впечатление целого — вот их задача, и надо отдать им справедливость, что они выше других в этих частях.

О Куинджи. Он человек глубокий, увлекательный, но восточный. Идеи, которые Вы слышали от него, — *его собственные*. Я им очень дорожу. Обо всем он не остановится на двух-трех определениях; он всегда идет вглубь, до бесконечности. Жаль, образования у него не хватает; а он большой философ и политик большой, это верно. Только я не думаю, чтобы он выражал наше молодое поколение, ибо он восточный грек. Насчет значения Академии я с ним не согласен. Конечно, при нашем восточном порядке вещей она еще долго будет носить шитый золотом мундир и справлять высокоторжественные акты, но это не вечно. Проникнут же, наконец, и к нам идеи гнилого Запада, идеи о свободе, равенстве и братстве [11]. Но, боже мой, я забыл, что у нас ведь еще группы борьбы, партии, и главное — партии: три человека уже составляют три партии, а иногда даже один человек составляет две и более партий, как же тут без борьбы? Борьба ужасная с самим собою, с приятелем, со своей партией и т. д.

А тем временем люди ловкие, «европейцы», ловят рыбу в мутной воде и господствуют над междоусобицей, еще с лег-

кой руки татар. И правы, потому что они борются более всего с делом, а не с самими собой.

Процветание Академии художеств доказывает деспотизм и низкую цивилизацию страны, а главное, ничтожную частную инициативу. Везде, где замечательные художники берут к себе учеников и учат их в мастерских, академии играют ничтожную роль и приходят к забвению. У нас еще не сделано попыток в этом роде. А между тем я видел удивительные результаты (ученики Морелли[12]). Пугает Семирадский. Да, в академиях никогда не научали ничему хорошему, так пусть их попрежнему, не многим хуже. Но я уверен, что действительный талант пойдет всегда к хорошему учителю охотнее, чем в академию: одно беда — учителей нет, способов нет.

Говоря о французах, я именно имел в виду мелкую буржуазию. О судьбе их — предоставим времени.

Подводить итоги впечатлениям не берусь, я плохой математик. Рисуется же мне более всего наше «головотяпство», междоусобица, самая бесплодная и неподвижная. В рассуждениях, в философии мы даже опередили романцев (немцев еще не знаю). Но когда же мы покажем себя на деле?.. На деле они побивают нас, потому что живут с увлечением, с жаром выполняют и дело и безделье; работы не боятся, напротив, жаждут ее во всяком роде; дружно, братски преследуют свои цели; так и закаляются до старости.

Насчет своей персоны я уже давно порешил, еще в Питере; бывали увлечения в ту или в другую сторону, но, в общем, я все же вижу яснее и яснее свое назначение (тоже «говоря высоким слогом»). Но да избавит меня бог от борьбы с партиями! Мне так много предстоит борьбы с делом, т. е. с моим искусством, пока оно будет выражать ясно и верно правде, что я хочу выразить. В исправители Академии никогда не рискну: там уже не партии, а целые придворные интриги — «подальше от грешной земли». Да, признаться, и некогда будет, если мне повезет счастье, если мне удастся осуществить кое-что.

Вера кланяется Вам и Софье Николаевне и от меня Софье Николаевне прошу низко поклониться.

И. Репин

Поклонитесь на вечерах всем, кого увидите из наших общих знакомых.

Хотел бы очень много написать, да некогда теперь, работаем.

73. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

25 декабря 1873
С.-Петербург

Сильно меня поразило Ваше письмо, добрый мой Илья Ефимыч, т. е. произвело впечатление, и отвечать на него нелегко, т. е. надо долго и много писать, оно возбуждает такие вопросы, указывает на некоторые пункты разногласия и вызывает тьму мыслей; не знаю, как справиться. Одно могу сказать, спасибо Вам большое за него. В самом деле, как хотите, а обмен мыслей, настоящий обмен, имеет всегда хороший результат. Долго я был в раздумье, перечитал Ваше письмо еще и еще раз и почувствовал себя как будто выброшенным на берег, мимо течения, или, еще лучше, — выбывшим из строя; несмотря на то, у меня еще что-то протестует. Оголивши вопрос совершенно, ставя его грубо и просто, я невольно говорю сам себе и спрашиваю у Вас: что Вы скажете о смысле моей деятельности? не толку ли я воду, воображая, что занимаюсь делом? Что ни говорите, а в конце концов, говоря о движении, мы разумеем атомы, единицы, личности, и одну и много, всех вместе и каждого порознь. Словом, как только мы подойдем вплотную, нам надо кого-нибудь схватить непременно. Мне кажется, что это так. Вы не думайте, что я хочу свернуть на личности, этого я не желаю, да и Вы тоже, я уверен; но у личности есть общие видовые свойства, совершенно тождественные с таковыми же других личностей. Вот об этих-то видовых свойствах мы и можем рассуждать, переворачивать их на все стороны, нисколько не смущаясь, что личность вносит в общественную деятельность свою собственную манеру, которую также возможно оставить в стороне, а потому и можно говорить вообще. Ваши мысли о партиях верны с формальной стороны; партиям Вы произносите беспощадный приговор тем одним, что просите господа бога избавить Вас от борьбы с ними. Здесь и мой собственный приговор. Я, с тех пор как себя помню, всегда старался найти тех, быть может, немногих, с которыми всякое дело, нам общее, будет легче и прочнее сделано. Часто я оставался одиноким, да и теперь не скажу, чтобы был счастливее, но внутри продолжает всякий раз шевелиться надежда на лучшее будущее. Очень может быть, что Вы более трезво видите действительность, я с этим соглашаюсь так только, доверяя Вашей логике, но собственное мое индивидуальное я с этим помириться не желает, и я не понимаю, как можно желать такой изолированности. Очень возможно пройти всю жизнь, не примкнув ни к какому движению, не идя ни с кем в ногу, но только потому, что или

не встретишь товарища, или нет еще достаточно определившихся целей; но когда цели видны, когда инстинкт развился до сознания, нельзя желать остаться одному, это, как религия, требует адептов, сотрудников. Это, по-моему, закон. Вы скажете, какое красноречие и лиризм из-за идеи, и какой же?.. Передвижной выставки! Если так, я все-таки не смущаясь пойду дальше, и говорю: партии, даже каждый человек партия, несколько партий в одном человеке, все это уже нечто, уже движение, уже пробуждение к жизни. Из чего же, наконец, и выходят какие-нибудь результаты и частная инициатива, и чем же она начинается? Вы говорите, что у нас ее нет, согласен; но, боже мой, что же это за сфинкс, эта частная инициатива, и откуда она возьмется, если не будет сначала всеразлагающего анализа, нытья, потом группировки, а потом ненавистных Вам партий? Человек, как животное, все способен опошлять, а стало быть, и борьбу партий низвести на степень простого грабежа и мошенничества, но разве оттого самый закон подлежит осуждению, и люди, цепко хватающиеся за всякую социальную задачу, суть не больше, как даром тратящие свое время на пустяки? Вы, конечно, чувствуете, что во мне сидит сектант, фанатик? нечто нетерпимое, от чего надо поскорей отделаться? Очень больно мне, если Вы правы, а не я, — это значит — прожить до седин ошибаясь, это значит, что вся жизнь моя не более как ошибка! Но я чувствую, что я неисправим, я не рисуюсь, и если все будущее, молодое, сильное и талантливое осудит меня, я остаюсь калекой, правда, но упорно продолжая отстаивать свои положения. Вы говорите: «да и некогда будет, слишком много дела с своим собственным делом — искусством, его техникой, выражением...» Можете себе представить — не понимаю! как будто Вы что-то сказали на неизвестном мне языке. Звуки знакомые, а содержание непонятно, т. е. сочетание слов такое удивительное, что я готов замолчать. Вероятно, правду говорят, что у всякого поколения, как при новом химическом смешении, появляется новое тело, не похожее ни на одно из предыдущих. Как времени не будет? Да ведь быть убежденным в чем-нибудь раз, не нужно начинать сначала, остается все время именно на проведение его в действительность, куда же еще нужно тратить время? на борьбу с партиями? Да ведь именно моя специальность, мое дело настоящее и есть борьба с партией мне противной, чем же мне еще бороться? чем больше я улучшаю себя и совершенствую, тем больше наношу поражения — это-то и есть борьба партий; но таковой борьбы еще нет, вот что горе, но она скоро будет. Это верно. То есть как, однакож, скоро? Пять дней

тому назад я полагал, что очень скоро, а сегодня я себя хороню и хороню многое мне близкое и дорогое; до нового же узла, до новой вспышки борьбы мне не дожить: она наступит нескоро, приблизительно лет чрез двадцать пять, а может быть, и больше. Мы здесь находимся накануне полной реставрации Академии и торжества, может быть, нашей стороны, Академию починят надолго. Ее мы подопрем собственными телами, как плохой потолок новыми и здоровыми бревнами, но это все-таки не более как отсрочка, непродолжительная для истории, но слишком продолжительная для жизни одного человека. Накануне торжества мне грустно. Немного пришлось пожить на воле, а такая полная жизнь хотела быть. Сбылось многое, что говорил Куинджи. Вот в чем дело: к пейзажисту Клодту, для подписи, приносят бумагу, подписанную почти всеми профессорами, в которой говорится: великий князь выразил, что Передвижная выставка, сосредоточивая художественные силы, отвлекая их от Академии, и даже соблазняет молодежь, чем делает выставки Академии менее интересными, а стало быть, наносит ей ущерб, и прочая, и прочая, и проч. Очень долго и много на эту тему, а потому нижеподписавшиеся полагают полезными следующие меры, чтобы профессора Академии, а тем паче пенсионеры не смели бы выставлять своих новых произведений нигде кроме академических выставок. Клодт не подписал. Это было в четверг 20 числа, а в пятницу должен был быть Совет; к Боголюбову, Гуну и Ге бумаги этой уже не приносили. На другой день в Совете был гвалт, до приезда вел. князя, и четверо эти выразили свое мнение, так что оставалось выйти в отставку. В Совете рассматривались текущие дела и не подымалась речь о бумаге, и только когда заседание кончилось и великий князь готов был уйти, эти четверо сказали ему, правда ли, что есть какая-то бумага, и правда ли в ней выражены мысли вашего высоч.? На это он отвечал, что вопрос этот особенный и требует особых объяснений, а потому он просит их приехать к нему в понедельник (вчера) для личных объяснений, и там объяснилось следующее: говорил больше велик. князь, в том роде, что так как Академия и ее выставка должна представлять отчет в движении русского искусства и так как Передвижная выставка есть учреждение очень хорошее, которому он сочувствует и всегда готов покровительствовать, то не найдет ли Товарищество точек соприкосновения, не нарушая прав, интересов и целей своих собственных? Когда же Боголюбов упомянул об оскорбительной бумаге, то в. к. просил его оставить об этом и никогда не упоминать, потому что он знать не хочет этой бумаги, и сказал Исееву (который был

тут же), чтобы Иордан взял обратно ее и уничтожил, затем решено, что Ге редактирует мысль велик. к. и после уже внесет ее на обсуждение общего собр[ания] Товарищества. Понятно, что Товарищество, сохраняя главный характер своей выставки, войдет, как особая фракция, в академическую выставку, выговаривая только право распоряжения ею самими художниками, с тем чтобы сбор поступил в пользу всех экспонентов, на это согласны будут уже. Затем, ввиду дальнейшего движения Устава, нами составленного, последуют, вероятно, и личные перемены. Благоразумие требует от нас согласиться на это и сделать навстречу те шаги, о которых я говорю, потому что иначе Товарищество едва ли останется живо; все, кому дорог больше комфорт и положение, отпадут от него, да и упускать эту роль из рук было бы ошибкой, когда нам ее сами предлагают и желают договариваться как с равной стороной. Судите, не прав ли я был выше, говоря, что мы собственными телами будем подпирать разрушающееся заведение. Мне это очень больно, я точно присутствую на похоронах Товарищества, а между тем не могу не согласиться, что это не дурно, и в. к. выказал в этом деле большой такт и ум, если мысль Исеев с Иорданом исказили так, что он должен был с негодованием отзываться об этом [1]. Теперь Вы, пожалуй, спросите, что же мне, собственно, мешает примкнуть к общей радости? Очень простое соображение, хотя Академия, переделанная по новому Уставу [2], будет неизмеримо либеральнее того, что теперь есть, но это не будет то, что должно быть, как мы понимаем школу и как ее понимают за границей, это все-таки будет казенное здание с штатом чиновников, на радикальную меру не согласятся, потому что это будет противоречить общим государственным положениям, а между тем искусство ничего не имеет, да и не должно иметь общего с застывшими формами. Оно живое, вечно меняющееся и требующее себе такой свободы, которая не может быть допущена у нас. Было бы лучше, если бы рядом с официальным и законным искусством было бы, так сказать, незаконное, партикулярное, или, нет, демократическое. Разумеется, чрез известный промежуток времени образуются опять осадок и гниль; форма, сегодня либеральная, завтра будет узка и неудобна живому организму искусства, опять появится глухое неудовольствие и гонимое искусство, но до той поры мне не дожить. Грустно.

Люди устали от постоянной тряски и движения, много накопилось элементов, жаждущих покоя и почестей, делать нечего — пропоем похоронную. Итак, что Вы мне скажете, мой добрый Илья Ефимыч? Кстати, уж еще одну подробность:

между текущими делами в Совете были читаны отчеты пенсионеров, и в том числе Ваш, правда ли только то, что и Ваш был тут же? Но дело в том, что Исеев, читая эти отчеты, в которых были будто бы выражены задушевные мысли, намерения, суждения, словом, такого рода интимности, которые можно позволить себе в письме к лицу близкому и, пожалуй, перед многими людьми, у которых не испорчено нравственное чувство и ум, но, говорят, что Исеев, читая один отчет пенсионера, так иронически улыбался, а за ним осклаблялись Верещагины, Шамшины, Бруни и прочая свиная щетина, что было зрелище неприятное: зачем молодые люди бросают на поругание свои чувства. А именно: читая, Исеев говорит: господа, тут вот начинаются рассуждения и разные чувства, слишком личные, скучные и никому не интересные, и не лучше ли, если я пропущу, а просто прочту только одно дело: что он думает делать и чем он занят? Это одобряется улыбками.

Ваша правда, об Антокольском Вы упоминали мне, но так, что не будь того, что я узнал другим путем, я так бы и не обратил внимания: Вы сказали вскользь, не выражая, что это такое.

Что касается Прахова, то, простите меня (он Ваш хороший знакомый), а он, того, распространяет нездоровую атмосферу, уж очень он мне не нравится, да и я ему, кажется, тоже, хотя мы с ним не сказали двух слов, кроме того, о чем я Вам писал, но что ты будешь делать? Я выразил желание услышать доказательства такого оригинального взгляда, но получил в ответ, что это он докажет в своем месте. Ну и чудесно. Я думаю, что и лубкам предшествовали легенды и сказки, словом, живое слово, а уж он пусть доказывает противное — его дело.

Чудесный парень Куинджи. Позвольте, я и не думал считать его выразителем молодого поколения, значит, я неверно выразился; я хотел сказать, что так как он принадлежит по времени и по связям к молодежи, то, стало быть, и на нем есть эта окраска, и даже, может быть, целые серии идей этого поколения. Милейший Васнецов пишет очень хорошую картину [3], очень, Савицкий тоже кончил недурно, даже хорошо [4], но Мясоедов, по-моему, написал, наконец, вещь [5], которая займет очень видное место, право, так. Передайте Пожалостину, чтобы он выслал на имя Ге (7 линия, дом № 36), а сколько, от него зависит. Я думаю, на первый раз довольно по пятьдесят экз[empляров].

Ваш весь *И. Крамской*

Вона какое длинное вышло, не ожидал.

Относительно Иордана и вообще академических передряг Пожалостину не передавайте. Они в постоянной переписке.

1874

74. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

1/13 генваря 1874
13, Rue Véron

С Новым годом, *с новым счастьем* Вас, дорогой Иван Николаевич! Это отлично, я радуюсь Вашему успеху от души. Это гигантский шаг на Академию, на эту гидру кандалов и ярма искусства, это первая геройская попытка (вторая [1]) дать ей настоящее значение, ибо настоящее значение Академии есть нуль (0). Помните, мы не раз говорили с Вами об этом развращающем и ослабляющем начале в искусстве, — теперь, посмотрев несколько академий в Европе, я говорю с полным убеждением, что первый сильный шаг искусства последует с уничтожением академий. Проследите историю искусства: с тех пор как основались академии, искусство пало. (Это так и должно было быть, и я могу доказать это). Цвету академий везде соответствует тупоумная бездарность и антихудожественность. Все здоровые отпрыски искусства идут помимо академий, и оно уже начинает торжествовать и подыматься на ноги там, где над академиями смеются и говорят о них, как о чем-то очень неприличном, не заслуживающем ни кары, ни презрения, как плоские ошибки дедов. Итак, и на нашей улице появляется праздник! Но я льщу себя надеждой, что дело Передвижной выставки не пострадает от этого (чего Вы так боитесь). Если же пострадает, то я готов плакать, ибо Ваше дело, в моих глазах, — дело высокое и неисчислимо полезное, пятидесяти академий я не взял бы за него.

Кстати, Вы спрашиваете моего мнения о Вашей личной деятельности — Вам придется выслушать большой панегирик... Но я вспомнил, что Вы вовсе не охотник до комплиментов, а потому удержусь. Притом же я ведь все же пристрастен к Вам: Вы были моим первым учителем, в Петербурге (в годы обожаний) на моих глазах основалась Артель протестантов [2] вышеупомянутому игу, разыгрывалась лотерея в пользу Пескова [3], делалась первая выставка в Нижнем Новгороде [4], вышло несколько хороших молодых художников из

рисовальной школы, проект, составленный Вами для рис[овальной] школы в губерн[ии][5], общительность Артели, вечера и, наконец, Передвижная выставка.

Да, я убежден, что я еще далеко не все знаю о Вас, чтобы достаточно оценить Вашу деятельность, это дело будущих людей, а мы, живущие в одно время, дышащие одним воздухом, принюхались достаточно к его аромату, чтобы судить безошибочно, — мы его не ценим. Могу сказать только одно, что Ваша деятельность в искусстве до сих пор была более политическая, чем гражданская; Вы более заботились об общественном положении искусства, чем о производительности. И это великая заслуга. Говоря о партиях, Вы совершенно правы; при Вашей деятельности партии неизбежны, и борьба должна быть беспощадна. Меня же Вам совершенно понять нетрудно, если я Вам скажу, что мне сродна более производительная деятельность. Да Вы это знаете сами.

Вы говорите, что, улучшая себя, вызываешь борьбу партий, — не согласен. Сильное увлечение делом изолирует от окружающего, борьбы без противника не может быть. Еще странно мне, что Вы не понимаете, т. е. не признаете трудностей в искусстве, не даете значения искусству. Мне кажется, что Вы говорите это, увлекаясь безотчетным антагонизмом. Я убежден, что кто хотя раз в жизни писал и окончил хотя одну картину, тот не может говорить так; только гении, и то при работах цвета своей деятельности, не знают труда в передаче своих идеалов, и то сидящий в их мозгу был лучше того, который они передали холсту, мрамору, и они всегда бывали недовольны и не могли окончить вещи совершенно как бы хотели. Посмотрите только, до чего дошел Тициан — еще бы, он работал почти сто лет, работая каждый день больше, чем мы иногда во всю неделю. Впрочем, все это вещи старые, известные давно.

О неприятном впечатлении наших отчетов Вы напрасно благородно негодуете, добрейший Иван Николаевич. Действительно, и мой был там, т. е. не отчет, а письмо к П. Ф. Исееву, полное интимностей, как все мои письма[6]. Эту форму я избрал добровольно, имея в виду не ту свиную щетину, о которой Вы писали, а будущего историка искусства, который, я в этом уверен, поблагодарит меня, какая бы бездарность из меня ни вышла, за мои интимные подробности. К Совету же я более чем совершенно равнодушен.

За Васнецова радуюсь, за Савицкого радуюсь. Мясоедова — поздравляю.

Кланяемся Софье Николаевне.

Ваш *И. Репин*

На конверт Вы налепливаете несколько лишних марок; 20 к. совершенно довольно; если же письмо очень тяжело, т. е. 2 лота, то 40 к. (таковых от Вас еще не было).

Когда же Савицкий приедет к нам сюда? Аль раздумал?.. Вот и генварь наш, а мы еще снегу не видели; тепло, но скучновато по белой пороше.

75. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

6 генваря 1874
СПБ

С Новым годом, так с Новым годом, что делать, эти новые года — старая песня, что же касается *нового счастья*, то... где оно, новое счастье? и для кого оно наступит? Оно не для меня, вот что верно. Академия, эта гидра кандалов и ярма, как Вы резко и верно выражаетесь, еще очень крепкое здание. Кандалы слишком крепко закованы, я уже бóльшую половину своей жизни ношу их, чтобы не понять всей их прелести. Ноги, руки, все изранено, главное же — это голова моя, моя бедная голова! Помню я мечты юности об Академии, о художниках, как все это было хорошо! Мальчишка и щенок, я инстинктом чувствовал, как бы следовало учиться и как следует учить... Но действительность, грубая, пошлая, форменная, не дала возможности развиваться правильно, и я, увядая, рос и учился, чему? Вы знаете: делал что-то спросонья, ощупью, и вдруг толчок... проснулся... 63-й год, 9 ноября, когда четырнадцать человек отказались от программы. Единственный хороший день в моей жизни, честно и хорошо прожитый! Это единственный день, о котором я вспоминаю с чистою и искреннею радостью. Проснувшись, надо было взяться за искусство! Ведь и я люблю его, да как еще люблю, если бы знали! больше партий, больше своего прихода, больше братьев и сестер! Что делать. Всякому свое. И вот потянулись долгие годы, трудные, неурожайные; все, что я ни сеял, ничего не уродилось, я ничего не знал и ничего не знаю... Чему я учился? Едва ли уездное училище досталось на мою долю, а с этим далеко не уедешь... всякий сюжет, всякая мысль, всякая картина разлагалась без остатка от беспощадного анализа. Как кислота всерастворяющая, так анализ проснувшегося ума все во мне растворял... и растворил, кажется, совсем... больно трогать груду... Год за год я все готовился, все изучал, все что-то хотел начать, что-то жило во мне, к чему-то стремился. Я себя знаю — хорошо знаю. Вам видна одна внешняя сторона, и Вам кажется, что

я не понимаю и не признаю трудностей искусства... Я не признаю?!! да кто ж после этого признает? Вот где она сидит у меня, эта трудность искусства! Я не даю значения?.. Вы очень метко определили мою деятельность, говоря, что она более политическая, я никогда об этом не думал, т. е. в этой форме не думал, и когда Вы сказали, я просто удивился, до чего это, в сущности, верно. Ну что ж? Та́к, так та́к, это все равно, лишь бы что-нибудь да было. Я не вызывал Вас на то, чтобы Вы мне сказали какое-нибудь утешение лично; Ваше письмо о партиях так расшевелило меня, в нем мне послышался голос истории, и я невольно начал оправдываться и дошел до абсурда: «улучшать себя — значит вызывать борьбу партий...» Теперь мне удивительно, что оно так вышло... я, собственно, что имел в виду? Я хотел сказать: например, картина «Бурлаки»... (не пугайтесь, Вас я не трону, по крайней мере, немного, к слову пришлось, да «Бурлаки» тут только потому, что это единственный случай, я охотно бы взял что-нибудь другое, да нету). Ну, так «Бурлаки» картина недурная, только что же? Бруни говорит, что это есть величайшая профанация искусства! Да, и Вы как полагали? Вы, небось, думаете, что Бруни — это Федор Антоныч, старец? Как бы не так, он из всех щелей вылезает, он превращается в ребенка, в юношу, в Семирадского... ему имя легион! Что нужно делать? Его еще нужно молотом! он опять за свое... еще нужно картину, только еще более глубокой профанации... и так без конца. Борьба! Как хотите, а это так. Вот что я думаю. Другой борьбы я не подозревал и не подозреваю, что же касается какой-то моей деятельности, будто бы не похожей на эту, то это мое личное несчастье, ничего этого нет, это все я сам с собою вожусь и в самом себе вижу противника, оттого и кажется, что я вожусь с партиями. И я бы хотел мед ложкой черпать, я тоже вкус имею, да только не знаю, удастся ли? Вот почему я все кричу: вперед! Вы, небось, думаете, что я кого-то другого к этому приглашаю... ошибка, добрый мой Илья Ефимыч, и ошибка большая. Я сам себя ободряю криком, потому, если бы я не говорил этого себе, то другим у меня духу бы недостало. Я вижу, что другие и без моего приглашения идут куда нужно. И зачем это Вы упоминаете о Тициане? Ведь то был человек свободный и здоровый, главное здоровый, разве они так учились? Вот когда люди доживут до той поры, когда, кроме скромных школ рисования да мастерских художников, больше ничего не будет, тогда другое дело. Тогда и из таких, как я, будут люди и художники. А это долга песня! А все-таки не хочется складывать руки, все еще думается, что будет же когда-нибудь день, когда и я что-нибудь сделаю. По крайней мере, буду биться до последней капли крови. И потом,

Тициан, хорошо, что же он такое, в сущности? Разве позволительно в наше время, разве возможно быть Тицианом? Я тоже смекаю, что он писал как никто, да только теперь одного этого мало. Вот де ла Рош, ведь куда хуже живописец, а посмотрите, как далеко они друг от друга. Трудное время, нам неизмеримо труднее... Ведь, ей-богу же, эти итальянцы были пренаивный народ. Написал итальянского дипломата, тонкого, хитрого, проницательного и сухого эгоиста, таких много в натуре, поставил возле него тип из простого народа, и тоже из продувных, дал ему в руки динарий, превосходно передал тело, необыкновенно тонко кончил и сказал: это «Христос»[1] (в Дрездене). Все и поверили, но это неудивительно, что поверили тогда, — до сих пор верят! вот что странно, до сих пор говорят: только так и надо делать. Не знаю, может быть, и так, может, я и неправ.

Я не признаю трудностей? Да ведь это последнее дело, это должно быть неизбежно; у кого есть талант, способность, тот и напишет, это так естественно, что и удивляться нечему, но чему можно удивляться, так это мысли, концепции, страсти и пафосу, этой струне звучащей ноту, за душу хватающую. Это смеху и слезам, которые вырываются наружу. Нет этого у Тициана. Он спокоен, изящен, богат, но... король и бог! Простые смертные не так живут! Что мне за дело до такого бога, который не проводил ночей, обливаясь слезами, который так счастлив, что вокруг него ореол и сияние. Мой бог — Христос, величайший из атеистов, человек, который уничтожил бога во вселенной и поместил его в самый центр человеческого духа и идет умирать спокойно за это. Я много потратил времени на рисунок, — я лишался аппетита, когда нос оказывался не на своем месте или глаз сидит недостаточно глубоко, это было сущее несчастье, но, наконец, я овладел материалом, я достиг до известной степени согласия между внутренним огнем, который там клокочет, и рукою, хладнокровно и спокойно, как будто нет никакой лихорадки, работающею. Вот это состояние, это самообладание было и должно было быть у великих мастеров, как у Веласкеза, например, когда они работали, только там материал другой, и я вот только теперь догадываюсь, что когда я буду с красками хозяином, как с соусом, когда мне удастся месить их, зачерпнувши во всю мочь, и, схвативши умом, чувством, глазами голову всю за́раз, заставить руку ходить тихо, но решительно и как бы не думая, тогда... легко сказать! Хорошо рассуждать! Но ведь я не рассуждаю, это не логика, это что-то чрезвычайно упругое и натянутое внутри, в самом сердце... и все-таки это возможно и нисколько не удивительно, это природа. Уж так богу угодно! Ведь прежние

художники какую практику имели! Небось, Вы не знаете? И Вы мне говорите, что я не ценю, не понимаю трудностей? Бог Вам судья! Странно, как иногда простынешь, да посмотришь утром, что написалось вечером, так совестно сделается, и потому я уже сегодня кончу и запечатаю. Мне случалось иногда читать свое письмо после, на другой день, так даже неприлично. Хотя, собственно, стыдиться нечему бы, кажется. Всякий человек и горд, и самолюбив, и много о себе думает, стало быть, и Вам тут достается, но ничего, будем писать друг другу, пока пишется.

Хочется мне поведать Вам о своих намерениях и планах, авось-либо, и Вы с своей стороны сообщите. Говорят: когда скажешь вперед — не сделаешь. Оно, пожалуй, и так, да все как-то хочется, чтобы укрепили в мыслях. Ведь я *должен* еще раз вернуться к Христу, прежде чем перейти к более близкому времени, а затем и к современности. Как видите, я разговариваю, точно у меня пятьдесят лет впереди! Это всегда так: больные чахоткой полагают, что вот завтра они будут здоровы. Дело в том, что Антокольский взял почти то же, что и я, т. е. сходный сюжет, хотя, как Вы увидите, содержание другое, совсем другое [2]. Когда я писал свою картину на первом холсте [3], тогда же я имел в виду продолжение, и только теперь надо приниматься, а то не совсем будет понятно, так оставить нельзя. Ночь перед рассветом, двор, т. е. внутренность двора, потухающие костры, римские солдаты, всячески надругавшись над Христом, думают, как бы еще убить время, судьи долго что-то совещаются, как вдруг... гениальная мысль! ведь он называл себя царем, так надо нарядить его шутом гороховым! Чудесно! Сейчас все готово, и господам докладывают, и вот все высыпало на крыльцо, на двор, и все, что есть, покатывается со смеху. На важных лицах благосклонная улыбка, сдержанная, легкая, тихонько хлопают в ладоши, чем дальше от интеллигенции, тем шумнее веселость, и на низменных ступенях развития гомерический хохот. Он бледен, как полотно, прям и спокоен, только кровавая пятерня от пощечины горит на щеке. Не знаю, как Вы, а я вот уж который год слышу всюду этот хохот, куда ни пойду, непременно его услышу. Я должен это сделать, не могу перейти к тому, что стоит на очереди, не развязавшись с этим. А много, много, ох, как много дела! Если бы бог дал лет десяток еще, может, что-нибудь можно еще успеть. Сколько времени потрачено. Но, добрый мой Илья Ефимыч, ведь не мог же я! Я уж очень трудно и медленно развиваюсь. Надо опять бы за границу поехать, да не знаю, удастся ли, думаю, на будущий год посмотреть развалины Помпеи, проехать и на Восток. У меня есть к Вам просьба:

не найдется ли в Париже фотографий пока с древних римских построек. Ведь дело происходило у римского Игемона, так оно как раз кстати. Я кое-что читаю, да оно без языков приходится довольствоваться только русской грамотой.

Ворочусь еще раз к Васильеву: устроена его выставка [4], собрали все, что можно было собрать, и... это невероятно, что он успел сделать! Это в пять-шесть лет! Вчера был там, еще выставка не открыта для публики, а уже все продано, почти на 7000 р. А еще говорят, русская публика равнодушна; нет, пусть кто хочет это говорит, а я не могу. Вот доказательство, что у нее есть нюх; когда появляется талант не фальшивый, когда художник отвечает тому, что уже готово в публике, тогда она безапелляционно произносит свой приговор. Казалось бы, все места заняты, каждая отрасль имеет своего представителя, да иногда и не одного; но искусство беспредельно, приходит новый незнакомец и спокойно занимает свое место, никого не тревожа, ни у кого не отымая значения, и, если ему есть что сказать, он найдет слушателей. Савицкий непременно едет, все еще работал свою картину [5]. Передвижная выставка открывается около 20 генваря [6]; я слышал, что Вы поручили Стасову поставить Ваши вещи к нам, очень рад, да и все будут рады, если, несмотря на то, что хотела сделать Академия, Вы все-таки решитесь [7].

Ваш *И. Крамской*

76. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

30 генв[аря] 1874
13, Rue Véron

Добрейший Иван Николаевич!

Пишу Вам несколько слов пока, так как до сих пор не имел времени отвечать на Ваше последнее письмо, которое произвело на меня большое впечатление. Много в нем серьезного, глубокого. Но особенно я в восторге и поражен несказанно темой Вашей будущей картины. (Страшная, потрясающая драма. Стоит убить на нее несколько лет даже. Только Христос не был атеист; это для него мелковато).

Римскую архитектуру Вам пришлют от Поленовых; Василий привез полную коллекцию домой [1].

Пишу поскорей, чтобы не упустить времени поставить свои четыре вещи к вам на выставку Передвижную [2]. Опасения, по-моему, лишние: бумаги предупреждающей я не получал, да если бы и получил, то нашел бы хороший ответ на нее; если

же Академия лишит меня стипендии, то я не буду жалеть, напротив, это развяжет мне руки и поставит на самостоятельную дорогу; держаться этих не вечных грошей и связывать себе руки — это неразумно, да, признаться, мне более чем когда-нибудь невыносимо принадлежать всецело Академии — я никогда не принадлежал ей и только портил себе кровь.

Нет, я думаю уехать поскорей в Россию, забраться в самую глушь и продавать хоть по грошу свои картины, лишь бы хватило на мое неприхотливое существование.

Я желал бы сделаться членом Передвижной выставки по всем правилам. Поставлять каждый год вещь, как должно; только я желал бы знать одно условие, о котором я еще не знаю: может ли член Передвижн[ой] выставки ставить свои вещи в Академию? (Это мне нужно, пока я еще пенсионер и не отрешен от Академии. У меня найдется чем выполнять инструкцию Академии). Напишите мне об этом и пришлите Устав Общества.

Тороплюсь.

Ваш *И. Репин*

77. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

30 генваря 1874
СПБ

Добрый мой Илья Ефимыч, я хворал и потому не тотчас отвечаю Вам, но теперь — ничего. Наша выставка открыта и... привлекает публику. Вещи Ваши поставлены. Два слова о них: «Монах» — хорош, «Стасов» — очень хорош, «Барыня» масляными красками имеет несколько черные тени, но акварель — бесподобная [1]. Это такая симпатичная штука, что оказывается чуть ли не лучшим портретом на всей выставке. Вы — реалист один из самых неумолимых, почти граничащий с материализмом, и вдруг оказываетесь способным брать ноты такие нежные, что мне, примыкающему по своим свойствам к породе тихоструйных, остается только удивляться. Да я уже и удивлялся, как Вы помните, в Вашей мастерской, когда видел портрет этот в работе. А ведь Христос все-таки атеист, как Вам угодно. Вы говорите: это для него мелковато. Значит, Вы недостаточно цените атеистов, настоящих, высоких. Если принимать атеизм в его ходячей и обыкновенной форме, то, разумеется, — Вы правы, но ведь что такое настоящий атеист? Это человек, черпающий силу только в самом себе. И если у Христа есть ссылки на «пославшего его», то это только во-

сточные цветы красноречия; посмотрите, как он запанибрата обходится с богом — он всюду отождествляет себя с ним. А ведь он не больше как человек — человек! Мало Вам этого? Атеизм, как я понимаю (а может быть, это только мое личное измышление), есть последняя, высшая ступень развития религиозного чувства, и посмотрите — в истории человечества, у величайших умов есть неудержимое стремление сделаться, стать богами, но все как-то выходило как будто не совсем натурально, были отступления, колебания, и только миф о Прометее [2] ярко выделяется на этом фоне, но и тут нет победы и торжества; тогда как для Христа нет сомнения, что он бог. Это огромная разница; Вы скажете — он молился! Еще бы — это и необходимо. Его молитва — стихийное состояние человеческого духа в трагические моменты. Это самоуглубление, беседа бога с самим собою. Недаром хорошие люди говорили, что молитва творит чудеса. Молитвенное состояние — это одна из самых таинственных лабораторий в человеке. Когда горы несправедливостей, эгоизма, тупости и зверства людского опрокидываются на благороднейшие побуждения наши, человеческий дух как бы стихает, не противоречит, и только ищет места, где бы спокойно можно было заплакать, чтобы никто не видал этого, и два-три часа такого состояния достаточно для того, чтобы все, что еще химически не соединилось, приняло ту новую, до страшной упругости, силу, которая способна заставить затрепетать окружающее. До этого момента постороннее, внешнее беспокоит, ранит меня, я еще под влиянием внешних впечатлений, они на меня действуют, после — я творец и активный деятель. И если молитвенное состояние было действительно, причины к нему были уважительны, тогда мое влияние на действительность будет несокрушимо, а последствия необъятны и качественно и количественно.

Мудрено что-то выходит, — немцы на этот счет молодцы, и так как я не немец, то останавливаюсь на полдороге, пока еще есть время.

Уступите мне атеиста! не говорите, что это мелко, впрочем, не говорите только тогда, когда Вы согласитесь со мной, но если не согласны, взгляды мои кажутся ошибочными, разбивайте меня и докажите, что атеизм *недостоин* Христа. Я вам скажу большое спасибо. Постойте, еще одно замечание: ведь атеист — безбожник, так ведь? Хорошо. Ну, а Христос всюду говорил: я сын божий, я одно с отцом, он чувствовал и говорил, что он бог, значит, для него не было бога, кроме него самого. Но дело и не в споре даже. Благо, Вы одобряете идею картины. Это все, что нужно. Разумеется, мне придется повозиться с этим годика два, а то и побольше, если не хватит

средств. Вечная песня про белого бычка! Странно, Вы делаете шаг — вступаете членом на Передвижную выставку (чем это отзовется на Вас в будущем, я не знаю). Я хотя этого всегда желал всем сердцем, но не надеялся видеть Вас рядом, по крайней мере говорить и думать об этом боялся громко; теперь же, когда Вы так поступили, я не удивляюсь, нахожу натуральным и даже мне начинает казаться, что так тому и быть следовало. Постановка Ваших вещей у нас на выставку произвела сенсацию. Исеев вознегодовал, удивился и в конце концов смутился даже как будто. Говорил с ним Мясоедов. Вот сущность происходившего: Исеев, увидя Ваши вещи, начинает выказывать величайшее изумление: как это сюда попало? — *Мясоедов:* Стасов поставил. — *Исеев:* Как Стасов? Я полагаю, что нужно иметь согласие художника? — *Мясоедов:* Не знаю, это до нас не касается. — *Исеев:* Как не касается? Вы можете ему повредить. — *Мясоедов:* Чем же, П[етр] Ф[едорович]? Мы говорили Стасову, что есть бумага... — *Исеев:* Никакой нет бумаги! — *Мясоедов:* Все равно, мы предупреждали Стасова́, что это, может быть, будет для Репина сопряжено с неудобствами, но он нам сказал, что имеет от Репина положительное распоряжение, так что Вы нас упрекать не можете. — *Исеев:* Да я и не упрекаю, я совсем не об этом говорю, а я хотел сказать, что Репин пенсионер, его работы должна видеть Академия, прежде чем разрешить, стоят ли оно того, чтобы ставить на выставку. — *Мясоедов:* О! Товарищество руководствуется в данном случае своими правилами, и нам нет надобности спрашивать других, что сто́ит нам принять и чего не сто́ит. — *Исеев:* Да я не к вам говорю, а говорю, что если работы пенсионера не удовлетворяют ожиданиям Академии, то его можно вызвать обратно из-за границы. — *Мясоедов:* Что же Вы грозите, П[етр] [Федорович], и что же это значит, чего Вы этим достигнете, — того, что Вам совсем и присылать пенсионеры не будут. — *Исеев:* Впрочем, это до Репина не относится, так как еще ему инструкции от Академии послано не было. — Вы знаете: Мясоедов не совсем осторожен, стало быть, он говорил именно так, как я привел выше. Довожу до Вашего сведения. Впрочем, Вы этого и ожидать могли. Что же касается до нашего Устава, то теперь он скоро будет напечатан наново, старый весь вышел. Ставить в Академию член может сколько хочет, только не в то же время, когда открыта выставка Товарищества. Но до экспонентов это не относится, это правило обязательно только для членов. Чтобы сделаться членом «по всем правилам», как Вы выражаетесь, нужно написать вещь

нарочито для Передвижной выставки, и только. Устав я Вам пришлю, как только он будет готов.

Гравюр Пожалостина мы еще не получили, их нет еще, хотя квитанция уже пришла.

Прянишников написал хорошую вещь — «Пленные французы в 12-м году»[3]. Картина, равная его «Чиновнику»[4]. Мясоедова вещь хорошая и лучшая на выставке, Савицкий тоже выделился очень выгодно. Выставка вообще имеет очень милый и интимный характер. Куинджи поставил хорошую картину «Забытая деревня»[5]. К Вам едет на днях Боголюбов и просит меня, чтобы я написал Вам о том, чтобы Вы его хорошо приняли, вот как! — Рекомендую его Вам, точно будто Вы его и не знаете. Я хотел написать его портрет, но он сказал, что Вы желали написать, охотно уступаю. Савицкий, наконец, скоро едет.

Ваш *И. Крамской*

78. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

Четв[ерг], 19 февр[аля] н. с. 1874
13, Rue Véron

Добрейший Иван Николаевич!

Поздравляю Вас с *большим успехом:* на выставке Ваши вещи фигурируют *первыми,* по достоинству[1]. И к нам даже доходят беспристрастные слухи. Так и следует! Пора, а то, право, лучшие русские художники похожи на тех богачей-москвичей, у которых неисчислимый капитал лежит завернутым в кулях из рогожи, в грязной и неприметной лавчонке; а между тем какая-нибудь парижская лавка, имея всего 1/100 000 00 и т. д. его капитала, своей декоративностью и «что есть в печи все» — на тротуар, вон из лавки (так что когда войдешь покупать, то хозяин выходит за дверь лавки и там достает Вам требуемое), запускает такого треску, так ослепляет глаза просвещенной Европе, что о конкуренции их и речи быть не может. Да, пора и Вам показывать товар лицом, этого особенно давно ждут хорошо знающие Вас; особенно хвалят портрет Шишкина во весь рост и Валуева. Как жаль, что не выставлен «Толстой»[2]. (Я в третий раз прочел «Войну и мир» и мнение мое об авторе и о книге возросло до необъятных размеров. Только не за рассуждения в шестом томе. Как бы я желал иметь его карточку фотогр[афическую], нельзя ли через Вас добиться этого блага?) За Савицкого тоже ужасно радуюсь. Поленов видел его картину, еще не оконченную, и много мне говорил, и вижу, что все правда. Жалею, что его

так унизил Незнакомец[3], говоря, что он напоминает «бурлаков». Поленов говорит, что это совершенный вздор; а главное, мне досадно, что это большая неприятность Савицкому; у нас всегда так — очень любят *осадить,* чтобы не зазнавался молодой человек; а, право, Россия очень молода, если она считает людей тридцатилетнего возраста очень молодыми людьми: что-то похоже на Нефа[4] к Клодту, а он уж немолодой человек — противоречие выходит.

А я опять вспомнил, и опять чувство детской радости, еще той, когда отец привозил мне из Харькова новые сапоги, и, просыпаясь на другой день, я смутно чувствовал, что у меня что-то есть хорошее; вспомнив окончательно, я опрометью бросался к ним и тщательно вытирал подошвы, сделавшиеся серыми от вчерашней очень осторожной ходьбы в них.

Теперь это тема Вашей будущей картины. В самом деле, это будет нечто *капитальное* в нашем искусстве. Я никак не могу удержаться, чтобы не посоветовать Вам одной вещи: сделайте ее (особо) в два цвета, а потом с этой... виноват, это я так; впрочем, Вы не из податливых на «людские речи», чтоб не взвалить осла на плечи. А атеиста Вам ни за что не уступаю, *особенно* по случаю картины! Вы можете быть каких Вам угодно убеждений на этот счет, но не навязывайте этого Христу. Евангелие, как всякая великая истина, дает материал самым противоположным партиям, взглядам, но почувствуйте сердцем это время, этих людей, и Вы сейчас увидите, что это натяжка с Вашей стороны; нет, к этим вещам надо относиться объективней, проще. Главное же, мне кажется, что от этого может проиграть Ваша картина. Если атеиста ударит грубая сила в щеку, он ее *непременно* должен или ненавидеть всею злобой мира, если он человек страстный, или презирать дьявольским презрением, если он человек ума; оба момента отталкивающие и как-то жалки. Христа же возвышает здесь глубокое религиозное чувство. Он знает, что на это послал его отец-бог, чтобы сделать добро людям, чтобы направить их на настоящую дорогу в жизни. Он любит этих людей потому, что знает, что они добрые люди и горько восплачутся по нем и будут мучиться совестью; насчет себя он спокоен, потому что он твердо убежден, что он в третий день воскреснет после смерти, для того, чтобы уже царствовать *вечно,* в добре и правде, *по всему миру.*

Я понимаю атеизм иначе: по-моему, атеизм есть отрицание бога полное; человек же, ставящий себя богом (как великие умы, говорите Вы) или объявляющий ему открытую войну, как Прометей, — очень живо его чувствуют, чтобы отрицать.

Настоящий атеист, если он не из детского каприза отри-

цает бога, что бывает со многими даровитыми людьми, — есть холодный, мертвый человек, не видящий никакого смысла в жизни, верящий только в органическую жизнь и презирающий ее. Геологическая формация — вот его будущее, вот его глубокая идея; вместо теплой жизни, он исполняет печальный долг необходимости — жить; не есть ли это уже смерть.

Я не думаю, что молитва есть «самоуглубление, беседа бога с самим собою», нет, это есть непосредственное, восторженное обращение к богу, едва ли не высший момент в челов[еческом] духе. И чем сильнее натура, тем больше призыва, тем полнее экстаз и тем несокрушимее воля, так как она уже есть божья. Отсюда и происходит твердое убеждение в себе, как посланнике бога, как исполнителе его воли. Он чувствует себя в нем необъятном (и любящим, как отце) и его в себе, частицу его, горящую в нем божественным огнем св. духа.

За Ваше письмо я Вам ужасно благодарен; как Вы живо представили Исеева и Мясоедова — чудо! Живые передо мною говорят. Но Вы, конечно, обратили внимание на слова Исеева, относящиеся до пенсионерских работ, пришедших на академическую выставку. Это необыкновенная новость. Ибо прежде не только пенсионерские работы, которые всегда почти были лучшими на их выставках, но *всякая дрянь принималась* вспотелым от радости и хлопот Черкасовым [5]. Теперь не то, и я уже подозреваю, откуда Академия набирается такого аристократизма. Эту мысль занесли ей молодые ученые из Европы, которые, т. е. один из них [6] долго мне доказывал, что Академия должна держать *камертон* над всем искусством; *высоко,* значительно прибавлял он. Предписывать законы, награждать или уничтожать — вот ее назначение. И, главное, никогда не спускать этого камертона до пошлой действительности, именуемой жанром.

Воображаю, как это должно поднять Исеева в его собственных глазах; теперь он только ищет случая применить на практике эту великую идею; он, конечно, считает ее своей, «он и сам всегда так думал», повторяет он с глубоким уважением к себе.

Какой молодец Куинджи, какую штуку откопал, жаль, не вижу картины, но идея бесподобна [7].

Мясоедов, Прянишников! Как бы все это желалось видеть [8]. Хотя здесь мы постоянно много видим хорошего и свежего, во всяких родах, но все более вещи формальные. Французы совсем не интересуются людьми; костюмы, краски, освещение — вот что их привлекает в природе. И что касается до вкуса, такта, легкости, грации — собаку съели. А дела у них плохи, Париж скучен становится: Новый год встречался

вяло, едва заметно, лавчонками на Italien, Madelen и проч. по этой линии бульварах; карнавал прошел еще скромнее, только мальчишки надевали себе дурацкие шапки и надоедали ревом в дурацкие рога. Да, плохи дела! Никакой работы, никаких заказов во всех сферах; художников, и только замечательных, поддерживают еще американцы (заводят музеи) да англичане, поощрители всего света. Многие уезжают из Парижа. Особенно надоел мне с этим натурщик Мавре: «Rien du tout! rien du tout!» [9] — повторяет он; хорошо еще, что Жером [10] подарил ему вчера старые брюки; он ходит всю зиму в нанковом пальтишке, а тоже жена, дети, и он очень деятельный человек, он делает все, что угодно, и позирует, как актер, и еще, на его беду, эта проклятая мода на женщин, все артисты пишут женщин, что же им делать, мужчинам, позирующим чуть ли не со дня рождения своего.

Недавно в Люксембург привезли и поставили вещи Ренье и другие, бывшие на Венской выставке. Галлерея Гупиля (превосходная) тоже обогатилась оттуда же некоторыми чудесными вещами — знает толк, собака, чудные есть вещи!

Поленов очень хорошо пишет свою вещь, начатую еще в Риме [11]; Харламов — *«это наш русский Бона»!* — значительно повторяет наш русский Пожалостин. Недавно его головка в окне магазина Гупиля производила впечатление (все та же, мордовкой прозываемая). «Ведь только написать», повторяет он, и он прав. Он в пятый раз пишет итальяночку, и хорошо выходит в исполнении. И не особенно натурально и не характерно, а как-то хорошо. Здесь это так и надо. У нас — другое.

Правда ли, что картина моя «Бурлаки», эта профанация искусства, истреблена совершенно, как писал сюда Гун одному из своих приятелей? Меня уже разуверяли, но, может быть, успокаивают; а то ведь, пожалуй, сбывается Ваше пророчество о борьбе с партиями, вот она!

Я заметил, что когда я расскажу о своей работе, то непременно ее брошу, так случилось еще недавно. Я увлекся ужасно, разболтал до того, что даже в Совет Академии дошло, *что* я делаю; а я между тем, сделав множество эскизов, *бросил* [12]. Я несколько раз давал себе *зарок* не делать эскизов и не рассказывать про свои дела. Стараюсь в этом.

Надеюсь, Иван Николаевич, что Вы предпочтете лучше увидеть мою работу, чем ограничиться одним несвязным рассказом о ней, а потому простите за непрямой ответ на Ваш вопрос в предыдущем письме. Меня решительно удивляет успех акварельного портрета, а ведь я более всего в душе краснел за него, — я его давно не видал.

79. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

23 февраля 1874 г.
СПБ

Добрый мой и снисходительный Илья Ефимыч, как Вы радуете и ободряете меня своими письмами. Я жду их и считаю время, когда должен получиться ответ. Постойте, Вы говорите, что до Вас доходят слухи, что мои вещи на выставке первые по достоинству; ведь, однакож, мы с Вами понимаем вещи и потому будем говорить так: лучшие, где? У нас в России, что ли? на этой выставке Товарищества? Ну, это еще не бог знает что, потому, во-первых, что, к сожалению, в настоящем году нет вещей выдающихся. Общий уровень поднялся, что ли, или уж я становлюсь все требовательнее, — не знаю, только ходишь по выставке, смотришь на все и думаешь: нет, не то! Давно уж я не увлекаюсь, давно уж я знаю вперед, какая картина на выставке как будет, лучше ли, хуже ли; словом, если я вижу вещь в мастерской, я отлично понимаю, что с нею сделается на выставке. Теперь я, когда пишу или вижу, как другие пишут, я ни на минуту не утрачиваю впечатления натуры и вижу, какая все это бледная копия, какая слюнявая живопись, какое детское состояние искусства! Как далеко еще нам до настоящего дела, когда должны, по образному евангельскому выражению, «камни заговорить». Когда это случится? Мы очень молоды, в самом деле так, и Вы не думайте, пожалуйста, что у нас в тридцать лет пора быть взрослым; это так следовало бы, но это не так еще у нас, и долго, очень долго еще так будет. Не знаю, к чему предназначен русский народ, будет ли и с ним то же, что с нациями более зрелыми, которые, как Вы говорите (и совершенно верно), что для них не человек важен, а краски, эффекты и внешность — то, что именно и есть живопись, и только *живопись,* или он удержит теперешние родовые черты свои. Повторяю, я не знаю, что будет в зрелом возрасте, но очевидно, что так оставаться нельзя: все это только хорошие намерения, а ими, как известно, ад вымощен! Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но... как сделать, чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество художника — сердце? Мудрый Эдип, разреши [1]. Правда, русская мысль, насколько она проявилась в литературе и поэзии, держалась больше содержания, совершенствуя в то же время язык, и дошла, наконец, до той степени, когда и наших писателей переводят французы, немцы, англичане, американцы, все это так, но вот что худо: нового писателя с талантом нет ни одного. Тишина невозмутимая. Язык понизился, мысль

обеднела. Точно я прав в самом деле, что мысль и одна мысль создает технику и возвышает ее; оскудевает содержание, понижается и достоинство исполнения. Однакож, что это значит? Зачем на Западе дело идет как будто навыворот? Видел я недавно картину Харламова «Урок музыки». Ту самую, что была на Венской выставке, и, о ужас! не понравилась. А какое я право имею говорить так, когда она написана превосходно, по-европейски? Странно, мне показалось, что в ней нет ни капли натуры; то же должен сказать и о его «Мордовке». Когда Боголюбов мне с особым шиком указал на нее, то, грешный человек, минут пять я даже любовался, потом, осмотревшись и переходя от одного куска живописи к другому, я должен был сознаться, что все это выдумано, фальшиво, неверно, и в конце концов забраковал... конечно, говоря с точки зрения возвышенной, на которой я, быть может, не имею права находиться, и, тем не менее, забраковал. Говоря по справедливости, Вы меня сильно поддерживаете теперь, как и всегда. Вы удивляетесь? А это верно. С тех пор, как Вы начали писать «Иова» [2], Вы мне много добра сделали. Живопись Ваша до такой степени существенно разнится от моего взгляда на природу, что я только с тех пор понял, куда мне надо итти. Долго объяснять, да и бесполезно, Вы это отлично понимаете. Особенно интересно для меня смотреть и сравнивать Вашу логику с своею и со всеми остальными; надо смотреть вперед, а не назад, к молодому, а не стареющемуся. Ге — погиб, т. е. ему поздно, оказывается, учиться (да он и не учился никогда), Мясоедов неисправим (хотя картина его лучшая на выставке [3]). Оба Клодта так и останутся маленькими, с тою разницею, что жанрист добродушный человек [4], а пейзажист — съеден собственною злостью [5]. Перов, кажется, почувствовал себя великим человеком; удивительное дело эта казенная квартира [6]? Прянишников — московский человек и в качестве такового мешает божий дар с яишницей, Маковский Владимир [7] — то же, Боголюбова и Гуна вычеркиваю... Итак, кто же? на кого обратить надежды? Разумеется, на молодое, свежее, начинающее. Савицкий — это проблема, и большая проблема, то, что до сих пор, не обещает хорошего, хотя недурно, даже хорошо, только пристально рассматривать не нужно... Куинджи — интересен, нов, оригинален, до того оригинален, что пейзажисты не понимают, но публика зато отметила; но... опасно, уж очень мало знает натуру, и, кажется, ему трудненько писать. Остается наше ясное солнышко Виктор Михайлович Васнецов; за него я готов поручиться, если вообще позволительна порука, в нем бьется особая струнка, жаль, что

нежен очень характером, ухода и поливки требует [8]. Вы замечаете, что я о многих не упоминаю, но это потому, что они не примкнули к нашему делу, не участвуют активно, да и никак не участвуют. Какое странное обстоятельство, однакож, — мы остались с Вами беседовать только вдвоем; ну что ж, будем беседовать, хвалить друг друга и упиваться собственными успехами. Какая, подумаешь, сатанинская гордость и самолюбие, но... до тех пор, пока я не потерял сознания, я смело, с спокойною совестью буду анатомировать других, извлекая, как умею, уроки для себя, и дай бог, чтобы это оставалось при мне подольше, и я уверен, что заносчивым не стану и способен буду отдать всякому должное. Откровенность имеет страшные последствия, она может человека изолировать совершенно, но ведь как иначе? Другим путем не придешь к истине. В самом деле — разве Вы мне не говорите вещей очень лестных? О моем сюжете Вы такого мнения, что даже чистое детство встало перед Вами, точно подарок. Ну как же мне не послать Вам самое искреннее, сердечное спасибо? Несомненно одно, что картину свою я буду писать, действительно, слезами и кровью, и если будет не то, что нужно, то уж тут, значит, слезы и кровь будут недоброкачественны. Картина вся готова и давно готова, появление ее — вопрос времени. Менять, переделывать нечего, т. е. не буду; да я и не умею, она давно передо мною стоит готовая. Атеизм и вера два понятия, действительно исключающие друг друга; но разницы между моими и Вашими мыслями по этому поводу не много. Я под атеизмом разумею, действительно, нечто иное, чем, может быть, должно и что вообще разумеют. Картина от образа мыслей моих пострадать не может, потому что в моем атеизме, так сказать, нет и тени отрицания любви. Что же касается до того, чтобы сделать ее прежде одним тоном, то я не понимаю, для чего это мне послужит? Вы, вероятно, заметили во мне неспособность возиться с эскизами? И почему? Не знаю, как Вы, а я не могу делать их, потому что это меня связывает; чтобы что-нибудь сделать, я должен быть свободен во всякую минуту своего труда. Всякая черта, сделанная предварительно, особенно если она удачна, связывает меня по рукам и ногам, и я становлюсь трусом. — Не могу; если я испортил то, что уже было хорошо, и упрека налицо не существует, я способен рассердиться и поправить, но когда рядом будет вечно торчать этот укор, я его уберу, уничтожу. Словом, для меня другого пути, как этот, не существует. Это исключительно и, может быть, странно, но я иначе не могу. Я уже пробовал. Я пишу картину, как портрет, — передо мною, в мозгу, ясно сцена со всеми своими аксессуарами и освещением,

и я должен скопировать. Картина плоха, значит, я не мог ее сделать, и только. Искать ошибки в том, что прежде не было сделано эскиза, мне не послужит ни к чему. Много дела на очереди! Вы говорите, что бросили что-то, над чем работали уже. Жаль, мне Стасов кое-что говорил, только в общих чертах, не говоря, что именно, так как это пока еще не должно быть известно. Кстати о Стасове. Я видел его несколько раз у нас на выставке, чуть не каждый день, так как он устраивал выставку Гартмана, он на меня производил всегда несколько странное впечатление, но теперь объяснилось, благодаря одному разговору. Между прочим, я спрашиваю его, что он думает о картине Мясоедова, он говорит: «Правду Вам сказать?» — «Разумеется». — «Видите ли, эта сцена так представлена, как будто им читают письмо от Антона». — «А, вот что! вот Вы чего захотели?» — «А то как же?» — «Да, но в таком случае я Вам вот что должен сказать: Вы противоречите себе: я помню, что были картины (Корзухина, Лемоха [9], Журавлева), от которых Вы были в таком восторге, так хвалили, что можно было подумать, что они суть вершина художественная. А ведь *эта* вещь неизмеримо, по-моему, лучше тех». — «Ив[ан] Ник[олаевич], нужно поднимать уровень, нужно поднимать, теперь совсем не то, что было тогда». — «Хорошо, так, стало быть, и Ваши взгляды так скоро изменились и Вы теперь думаете иначе, чем тогда?» — «По всей вероятности, разумеется». — «Ну, тогда очень жаль одно, что во всех Ваших статьях нет той нормы, критерия, чтобы читатель, при всех похвалах Ваших кому-нибудь, чувствовал место, занимаемое художником в ряду искусства вообще, как, например, у Белинского, у которого всегда я чувствую, что критик прилагает мерку известного рода, даже часто и не упоминая о ней. У Вас же Корзухин и Мясоедов, Перов и другие по очереди наверху». — Разговор был продолжителен, и из него я убедился, что этот человек в пятьдесят лет сохраняет в то же время темперамент ребенка и потому он производит странное впечатление. Завтра он забудет, что говорил вчера, и таким образом поставит в тупик. Но все-таки он живой человек и чуткий. Теперь о Гартмане [10]. Мне всегда казалось, что Гартман не архитектор собственно, в тесном смысле, а просто художник, да еще и фантастический. Теперь это особенно ярко видно на его выставке. Между тем, Стасов в своей речи, читанной в Архитектурном обществе и после напечатанной, не сделал этого различия достаточно резко, что было бы необходимо, чем и произвел нехорошее впечатление даже на архитекторов, благосклонно расположенных к Гартману. Гартман был человек незаурядный

Он бы так и остался отвергаемый всеми, если бы время не выдвинуло задач грандиозных в архитектуре — всемирные выставки. Когда нужно построить обыкновенные вещи, будничные, Гартман плох, ему нужны постройки сказочные, волшебные замки, ему подавай дворцы, сооружения, для которых нет и не могло быть образцов, тут он создает изумительные вещи. Если бы различие Гартмана, его особенность, и именно в этом смысле, была настойчиво развита Стасовым, он заставил бы молчать, по крайней мере (если не согласиться), педантов и филистеров. У него же вышло оно так, как будто Гартман был величайший архитектор даже в смысле архитекторов-практиков, и это его ошибка. Но пусть он ошибается, его ошибки извинительны и даже симпатичны, потому что он действует по впечатлению; иное дело новый художественный бич — Прахов, хотя он и Ваш бывший хороший приятель, но, извините, я должен сказать, что он распространяет нездоровую атмосферу. Единственное спасение будет в том случае, если он окажется не талантлив, а иначе — беда. Пощады никакой от него ждать нельзя. Это величие Олимпа, эти непререкаемые положения, эти глубокомысленные немецкие мысли... У меня кровь стынет заранее... Завтра буду слушать его лекции, которые он будет читать в Академии о новом искусстве, по поводу Венской выставки. Кусочек я слышал на четвергах, пойду все слушать, так как взял билет и заплатил деньги, и деньги не маленькие за восемь лекций, абонемент — 12, 8, 6 руб. — вот как! До завтра, услышу и Вам сообщу [11].

Перерыв вышел в четыре дня — всегда так бывает. Слушал две лекции в понедельник и сегодня; дело в том, что он, Прахов, что-то такое говорит, как будто хорошее, умное, но только... ничего нового. Нового? Удивительное дело, всякую минуту подавай нам нового! Все его мысли вытекают (видишь ясно), с одной стороны, вот оттуда-то, — и что это есть целая система, целая группа ученых, которые держатся известного толка. Тут он говорит и о политике Наполеона в том же роде, который, наконец, становится уже пошл даже в фельетоне какой-нибудь газетки, тут и искусство греков, опять-таки как пятнадцатилетний гимназист знает, тут и средневековое христианство, и его отражение в искусстве; и все это приводится с целью, разумеется, показать источники различных исторических течений в искусстве (новейший метод). Словом, все обстоит благополучно; и, нужно сказать, слогом хорошим, стильным, университетским... суждения о картинах опять-таки как будто нынешние. Словом, хоть куда, но, странное дело! в двух-трех местах были несколько нот, которые звучали как давно забытое предание: стиль, рисунок, строгость... Короче,

как будто чем-то пахнет очень знакомым, что давно считал уже обессилевшим и умершим, и... вдруг, протираешь глаза, ушам не веришь!.. перед нами молодой человек, профессор, сильный, только что начинающий проповедь... что-то очень осторожное в то же время в речах у него, не спугнуть бы! Не знаю, что дальше будет, а до сих пор все, что я слышал от него, мне уже даже оскомину набило. Итак, давай новое? Да, давай новое. Ведь всякий человек, который любит что-либо, изучает и который готовится других учить, — приобретает (или, по крайней мере, должен приобрести) известный ряд выводов, сделанных самостоятельно, с тем, чтобы быть нужным; в противном случае все, что он может сказать, есть в учебниках или, по крайней мере, в последней книжке журнала, и, стало быть... Впрочем, какое мне дело? Хотя, по совести, мне большое дело, — ведь это передовой тех рыцарей, о которых (Вы помните) я писал Вам и которые, как мне доподлинно известно, беспощадно будут преследовать идею, которой я был ревностным защитником и всегда готов им быть [12]. Но грустно. Очень грустно. Партия будет проиграна. Нет исхода. Работать! работать, работать!.. О да! разумеется так; единственное благонадежное средство и оружие борьбы! Но, добрый мой Илья Ефимыч, обманывать себя не к чему, что я могу сделать? Несмотря ни на что, «камни не заговорят». Это верно. Но пусть будет, что будет, меня всегда найдут на стороне свободы, воздуха и света! Буду работать, как умею, а там, что бог даст, вперед!.. Но знаете ли, мне становится в Петербурге что-то жутко! страшно как-то, оттого ли, что делаешься на виду, или от чего другого, только прежде этого не было. Эх, если бы человечка три, четыре настоящих... веселое бы дело было, жаркое... А ведь будет, не правда ли? Ведь Товарищество склеилось случайно, не все упали по законам тяготения, а есть и гнилушки; ну да ведь нельзя же было. Зная внутренний быт хорошо, т. е. членов лично, я когда-нибудь Вам сообщу, Вам же и нужно знать.

Ваш акварельный портрет, за который Вы в душе краснеете, имеет одно колоссальное достоинство, которое дай Вам бог сохранить навсегда, — это выражение, но не то выражение, которое многие художники умеют давать лицам, которое даже иногда достигает того, что становится главным смыслом картины целой (субъективное), нет, у Вас другое. Передо мною характер женщины, полный, откровенный до последней степени; этот рот, особенно верхняя губа, одна ее сторона еще изгибается, как змея, эти умные (т. е. смышленые) глаза, как будто ласковые, но, в сущности, только страстные, чтобы не сказать что-либо другое, эта вся кокетливая головка, как

будто встряхивающая волосами, чрезвычайно роскошными... Словом, если бы я был на ее месте, я бы таким портретом был убит окончательно, как самым беспощадным обличением. Женщина эта мне кажется самой крайней материалисткой, с самыми порочными наклонностями; из-за таких вешаются, стреляются, воруют, грабят даже и в конце концов не получают ни одной высокой и торжественно счастливой минуты в жизни... Фу, чорт возьми, как я возвышенно выражаюсь! Однакож, позвольте, ведь конец письма скоро, а я дела сказал немного. Прежде всего, чтобы не забыть, сегодня был у меня П. М. Третьяков и просил у меня Ваш адрес, он хочет просить Вас написать ему портрет графа А[лексея] Толстого [13], который теперь живет где-то на юге Франции; я, разумеется, сообщил ему и сказал, что Вы напишете (не знаю, прав ли я был, отвечая за Вас). Как знаете, а то можно было бы стянуть с него 600 или 800 р. Если только дадите на это дело недели полторы. Впрочем, Вы получите от него письмо сами. Савицкий едет завтра в 5 час[ов] вечера за границу. Наконец! Картина Ваша «Бурлаки» цела, успокойтесь. Наш русский Пожалостин прислал гравюры, хорошие гравюры! Ну, мы их и продаем, т. е. поставили продавать, но до сих пор продали только две. Россия такая страна еще, что эти вещи, особенно теперь, не идут шибко. А граф Толстой, которого я писал, интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает [14].

Ваш *И. Крамской*

80. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

Вторник, 31 марта 1874
13, Rue Véron

Как опоздал я отвечать на Ваше письмо, добрейший Иван Николаевич! Особенно если посмотреть кругом себя: ведь здесь уже настоящее лето; яблоня под нашим окном отцвела уже, а как сильно цвела! Везде молодая, тонкая зелень, прозрачно-теплая. Париж оживился еще более. Елисейские поля похожи на мировой раут. Наша Rue Véron полна ребятишек, девчонок, блузников, лавочников, ослов; крику, грохоту — на весь Montmartre. Но пусть об этом пишут поэты, это их дело; наше дело теперь — *специализироваться* («находить свою полочку»). На эту мысль навел меня сосед мой по Atelier; его жанр — Луи XIII, его приятеля — Луи XIV, третьего — Луи

сез, четвертого — время Первой республики, и т. д., словом, каждый специален, как экстракт; да оно и выгодно очень: костюмы нашиты, мастерская убрана в данном стиле, стулья, палки, тряпки все — Луи XIII. Пейзажисты также специальны: Zigm [1] закупил много *жон пинару*, желтой краски такой, и качает ею Константинополь и Венецию, деревья и стены, везде жон пинар, тоже выгодно, продаются, кажется, а он, со своей стороны, красок не жалеет. У Коро другая специальность — от старости его самого, его кистей и красок у него получился жанр вроде того, который в таком изобилии в избах Малороссии, и ведь наши бабы! Обмокнут большую щетку в синюю краску и начинают набрасывать на белый фон — прелесть. Но наших баб презирает дикая публика России; другое дело здесь — Коро!!! «Да ведь это Коро!!!» — кричит одному русскому телепню француз, догоняя его и хватая за полу. В ресторане третьего дня молодой человек, француз, художник, шутивший с моделью и говоривший, между прочим, что он не особенно любит Коро, ужасно извинялся перед Поленовым, когда узнал, что он художник: «он *осмелился в присутствии художника неуважительно отзываться о таком огромном имени!!!*» Знал бы он, как мы отзываемся! Да, мы совершенно другой народ, кроме того, в развитии мы находимся в более раннем фазисе. Французская живопись теперь стоит в своем настоящем *цвету*, она отбросила все подражательные и академические и всякие наносные кандалы, и теперь она — *сама*. Длинные залы обезьянничества итальянцам почернели уже, как заслонка, и подернулись паутиной; немецкий романтизм закончился Деларошем и забыт и выброшен или увезен большею частью в чужие края. Царит, наконец, настоящее французское, увлекает оно весь свет блеском, вкусом, легкостью, грацией; и в искусстве, как во всем прочем, французы верны своим особенностям. Через месяц откроется здесь выставка картин и статуй, и вот отличный случай для меня проверить на опыте, в большом размере, те определения, которые являются сами на отдельные явления здешней школы. В воскресенье эта мысль меня очень занимала, и я решился тогда же написать своим соотечественникам о французском искусстве, в отношении его к русскому и к некоторым другим искусствам. Много отличных мыслей, свежих, всплывало у меня в голове; а между тем в это время я шел по Les Champs-Elysées, глядел всем французам в глаза и в ту же минуту подумал, что мысли мои верны, ибо мне не было совестно.

Говоря о будущности русского искусства, Вы совершенно тактично перешли к литературе, как к искусству более свободному, вследствие независимого существования, и потому же

самому не расходившемуся с симпатиями своего народа (в этом его выгода). «Оно держалось содержания», — говорите Вы, это верно, и оно преследовало художественные идеи нашего миросозерцания, в нем почти нет наносного. В живописи же и скульптуре (бедные!!!) до народа они никогда не доходили, интеллигенция (русская) не богаче его (народа). Этих бедных сестер взяло под свое покровительство барство наше, т. к. они имели средства, — а ведь всем известно наше барство; оно воспиталось в Париже и считало его прихоти законом для себя; и вот, с одной стороны, потребители, с другой — школа, академия и вели до сих пор дело. Но натура берет свое, начинается пробуждаться национальная струя, и будет она разрастаться все шире и шире, в громадную реку Волгу, и тогда уже оно не будет трусить. Вы говорите, что нам надо двинуться к свету, к краскам. Нет. И здесь наша задача — содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы, как мне кажется; краски у нас — орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке. Мы должны хорошо рисовать.

Французы, однако, очень ценят индивидуальность автора; есть много злоупотреблений здесь и ограничений себя авторов; но здесь есть идея для всех стран быть *самой собой* — вот главная задача. Долго надо работать, чтобы выработать до возможного совершенства свою идею, и нам, особенно нам, которые так мало работали (работа подражательная не идет в счет), что не знаем простых вещей, не умеем обращаться с краской и другими материалами. Но и здесь, однако, может много сделать даже один человек, с неуклонной энергией преследующий свою цель. Возьмем хоть Вас, Иван Николаевич, как примерную энергию. Боголюбов говорит, что Ваш портрет Шишкина — лучшая вещь по живописи, и я *этому верю* (он может судить о живописи). Вот что значит энергия и работа в самом себе, этому у Вас надо поучиться. Ах, кстати, насчет эскизов вообще, что Вы пишете, ужасно как верно; я тоже уже в двадцатый раз закаялся их делать. А я Вам писал не об эскизе, я предлагал Вам сделать картину в два тона, но прошу простить, я ведь и не подозревал того громадного прогресса в живописи, который Вы перемахнули в такое короткое время; по словам Боголюбова, Вы сделали гигантский шаг в живописи, и я этому даже не удивляюсь: мне всегда казалось, что стоит Вам, при Ваших громадных знаниях рисунка, однажды

натолкнуться на более легкий для Вас способ писать, и Вы начнете ворочать так, что все рты разинут.

И наконец-то, слава богу, это свершилось, с этим поздравляю Вас более всего!

Как я рад, что Вы узнали поближе Васнецова; да, он чистокровный художник, но владеет ли он способом? Как его картина [2]?

Как это странно, что Прахов бранит французов. Ведь он благоговел перед ними и их произведения женской наготы считал самым великим делом художника, *«воспроизведение организма»,* — говорил он значительно. У наших же он видит одну ужасную беду — *«невоспитанность»,* нас надобно воспитывать до понимания красот в чужих краях, до презрения собственного варваризма нашего; и в природе, и в людях «без этого ничего не будет». Россию он ненавидел. Чорт побери этих лакеев чужих мыслей, чужих стран! Досадно, что ведь он, пожалуй, завоюет к себе три или четыре олуха, а, впрочем, олухам туда и дорога.

Боголюбов — отличный человек, в нем много простоты, откровенности и юношеской горячности, хотя убеждения его совершенно противоположны моим, но не драться же в самом деле из-за убеждений, особенно когда убежден, что драка эта принесла бы только вред и никого не убедила бы, а, напротив, закоренила всякого до упорства. Да, долго еще Париж будет увлекать и порабощать людей.

И хотя заметно, что передовая роль его кончена, что симпатии к внешнему блеску, лоску и аффектации охладевают с возникновением более серьезных задач — все-таки внешность, доведенная до импозантности, будет производить свой эффект и иметь свою цену.

Недавно поставили здесь на place de Rivoli конную статую Иоанны д'Арк [3], французы ею очень недовольны; оттого, что художник позволил себе в пользу типа пожертвовать условной красотой лица, а в пользу исторической верности в посадке на коне (довольно некрасивой, высоко на седле) — условной красивостью целого, — ропот, а у нас признали бы это хорошей вещью, реальной; впрочем, при переходе к нам она потеряла бы свой реализм и показалась бы, может быть, условной эффектацией.

Скоро Вы увидите вещь Харламова — *фигура в рост итальянки,* которая здесь произвела впечатление даже на настоящего Бона и на других знаменитостей Парижа. Харламов оказался отличным учеником, он блистательно выдерживает экзамен перед профессорами, в актовом зале; профессора в восторге, публика просвещенная аплодирует, посмотрим, что скажут

родители? В простоте сердца они не поймут мудрой латыни и будут с благоговением ходить вокруг своего сынка, который, в высокомерном успехе, забыл, как вещи называются на их мужицком наречии, пока «проклятые грабли» не выведут его из себя [4].

Что поделывает Васнецов?

Что Павел Петрович Чистяков «ворочает»?

Странное, однако, дело! В России совсем не ценят талантов. Когда является Гоголь, сначала бранят, а потом говорят: «вот это недурно», «вот как надо писать!» И потом при оценке какой-нибудь дюжинной или бездарной вещи говорят: «Ну что это, право! Ну прочитайте Гоголя, ведь и у него лучше, а ведь мы, кажется, вперед идем!»

Однакож пора кончить.

Ваш *И. Репин*

Боголюбов познакомил нас с некоторыми русскими барами, славные люди, жаль только, что уж очень любят Париж. И как странно: заслуженный русский генерал сидит рядом с парижским блузником, и предоволен!!! В России со статским советником он не сидел бы так.

Бываем в театрах; не могу я привыкнуть к их наемным хлопальщикам, одиноко, сухо звучит их продажный аплодисмент и неприятно поражает. Удивляюсь, как терпит это публика. Все знают, что аплодировать неприлично, примут за наемного. У нас об этом еще не имеют понятия.

Французы как дети наслаждаются в театре и принимают почти родственное участие в представлении; одобрительный возглас при виде кары злодею, невольный и громкий смех при смешном. Последним мерятся достоинства пьесы, и потому в партере есть наемные «щекотальщики» — они заражают смехом скучающую публику.

От П. М. Третьякова я получил письмо, но ехать на юг Франции не решился, так как узнал, что А. К. Толстой болен, да и вообще это дело не подошло бы — разорительно немножко.

Савицкий едет сюда, в Париж, известил Поленова. Антокольский кончил свою статую [5], формует и хочет выставить здесь.

Не может ли Виктор Васнецов приехать сюда к 1 маю, на годичную выставку? Это было бы очень хорошо, если не грызет его наш общий недуг — безденежье.

81. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

7 мая 1874 г.
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч, каково я зарекомендовал себя? Больше месяца не отвечал. Письмо Ваше я получил в первых числах апреля, а теперь — май. Но дело сделалось, не воротишь. Последнее Ваше письмо такое интересное; большое и хорошее, что особенно было непростительно для меня не собраться до сих пор. Одно, что может ослабить Ваши упреки, это то, что когда Вы узнаете, что, кроме Вас, еще три человека претендуют на меня за то же самое, а именно: Антокольский, Савицкий и Мясоедов, то, быть может, Вы окажете... не снисхождение (нет), а поделикатничаете нападать на меня вместе с другими в одно время; быть может, Вы скажете: бог с ним, довольно с него трех и его собственного сознания. Итак, бесстрашно продолжаю. Дело в том, что мне бы хотелось на Ваше последнее письмо отвечать на все Ваши пункты, но... во-первых, Вы могли и сами забыть, о чем писали, т. е. забыть интересные подробности, а во-вторых, случилось с того времени так много интересного, что мне приходится, минуя все, заняться прежде всего новостями Петербурга.

Хотел начать с выставки Верещагина (ташкентского), но она тоже составляет прошлое [1]. К тому же Вам, вероятно, многое известно уже из писем В. В. Стасова. От себя прибавлю, что вещи Верещагина—вещи действительно оригинальные и удивительные во многих отношениях. Вы знаете, что говорить в живописи о таких вещах, которые нам обоим знакомы и мы оба их видели, чрезвычайно интересно и даже бывает поучительно, но когда один из нас не видал, то описания ни к чему не послужат, единственно, что еще возможно, это общий смысл произведений, т. е. та сторона искусства, которая и в науке и в литературе одинакова и которая вследствие этого может быть вызвана в нашем уме как бесформенное представление; но хотя эта сторона в Верещагине чрезвычайно сильна, однакож он такой художник, что его надо видеть непременно. Как доказательство своего мнения приведу пример: год тому назад у Гуна в мастерской я видал фотографии со многих картин, которые теперь были выставлены; указывая на некоторые фотографии, Гун говорил, что вот такая-то картина в натуральную величину, а вот эта в полнатуры, а эти маленькие, и я удивлялся тому, что многие вещи мне казались лишенными содержания, и чем больше картина, тем меньше его (т. е. содержания), между тем когда картины были налицо, многое стало ясно. Например, «Двери Тамерлана» или, еще лучше, «У две-

рей мечети»: в натуральную величину резные деревянные двери в каменной стене и по бокам две фигуры (стража) тоже в натуральную величину, и только, никакого содержания, по крайней мере видимого; но это — историческая картина. Это один из тех рискованных сюжетов, где живопись и только она одна может что-нибудь сделать. Написана она поразительно, в полном смысле слова. И будь она *только на волос* ниже в техническом отношении — и исторической картины не существует. Эти тяжелые, страшно старые двери с удивительной орнаментацией, эти фигуры, сонные, неподвижные, как пуговки к дверям, как мебель какая-нибудь, как тот же орнамент, так переносят в Среднюю Азию, в эту отжившую и неподвижную цивилизацию, что напишите книг сколько хотите, не вызовете такого впечатления, как одна такая картина [2]. Верещагин — явление, высоко поднимающее дух русского человека. Это человек оригинальный и вполне самобытный, несмотря на то, что он много времени провел за границей и усвоил себе все технические приемы западного искусства, только с некоторой поправкой, ему одному принадлежащей; чрез это видеть его — истинное наслаждение, и какая разница с Харламовым! Как Вы верно охарактеризовали и его, и то недоумение, которое должно охватить родителей при виде такой премудрой латыни у их детища с примесью, впрочем, большой доли благоговения (благоговение относится к родителям, а не к детищу); все это теперь воочию совершается, иота в иоту. Очень верно. По-моему, его *«Итальянка», в рост* [3], сделавшая впечатление в Париже, чуть ли не самая невозможная из всех его вещей; и опять, как при появлении Семирадского, я должен молчать, пока не пройдет горячка, говорить что-либо — значит завидовать, по общему мнению. Убедить нельзя, и так как это живопись, то тут слова ни к чему не послужат. Надобно дело! а Харламова предоставить собственной судьбе; по возвращении в Россию, годика чрез три он сам постарается это сделать, как один, подобный ему, уже и постарался. Поживем, увидим. Выставка академическая нечто очень любопытное, это такая невозможная выставка, что не много было таких, даже у нас. Тут все есть, и прошлогодние вещи, и от Беггрова, и от Фельтена [4], и из постоянной выставки, и из частных галлерей, работы иностранных художников, и хотя это не бог весть что, но всё есть хоть что-нибудь, но то, что можно отнести к продуктам новым, невиданным, то все это может быть разделено на две категории. Одна категория — В. П. Верещагин: «Поединок Алеши Поповича с Тугарином Змиевичем» [5] (сказка), другая — Аллиери [6], помните? Промежуточного нет ничего, впрочем, виноват, есть: Чижов! Но так как Вы его, вероятно, видели

в Вене, то и распространяться нечего. Вы знаете, что это такое, а ведь многим нравится! О статуе Антокольского я получил подробный отчет и даже с чертежом от Мясоедова (который теперь за границей). Ему вещь его (Антокольского) очень нравится, — это приятно. Жаль только, что мы ее, пожалуй, не увидим.

12 мая

Опять перерыв. Дело в том, что у меня скопилось громадное количество дел, ничтожных в сущности, но отнимающих время ужасно. На праздниках я ездил в Москву. По возвращении участвовал в разных комиссиях и комитетах (о боже!): по памятнику Пушкина [7], во-вторых, по чтению народных лекций в Соляном городке, потом по составлению отчета нашего Товарищества, потом свои собственные дела, потом кто-нибудь придет, потом наши короткие северные ночи, не успеешь оглянуться, как 12 часов ночи, потом небходимость вставать летом рано, стало быть, надо раньше ложиться, и т. д. и т. д.; словом, не успеешь никак ухватить часа, чтобы отвести душу — побеседовать. Не взыщите, мой добрый Илья Ефимович, что я так долго не писал; ведь вот Вы не пишете же, дожидаетесь на свое письмо ответа — это натурально, и я бы так же поступил. Полагаю, что в будущем стану опять исправным. Вот недельки через полторы переедем на дачу около Петербурга, и если я поеду внутрь России, то в конце июня или в июле на месяц, на полтора, иначе нельзя: дети должны поступить в гимназию в августе... вот как, уже дети в гимназию... Господи, что ж это такое! Прозевал жизнь. Не успеешь оглянуться, как пошел и под гору... Ну, да об этом лучше не думать. Все кажется, что молод, что способен учиться, итти вперед, а бог знает, так ли это? Дорого бы я дал, чтобы хоть неделю сделаться другим человеком и посмотреть на себя со стороны, чтобы иметь возможность судить себя, как другого. Ну, да об этом заговаривать тоже не особенно прилично. Это значит ставить другого в положение неприятное, и продолжать-то в том же тоне разговор нехорошо — тяжело, да и деликатность как-то заставляет сказать что-нибудь приятное человеку. Это-то я понимаю, и только разболтался на эту тему потому только, что Вы, я знаю, и бровью не пошевельнете, не дадите мне заметить, что слышали мое рассуждение.

Получил я письмо от Савицкого второе, на первое я не отвечал, а на это нужно, потому что я сделал перевод к нему денег, чрез контору Винекена. Завтра посылаю к нему вексель.

На этом останавливаюсь, чтобы послать, наконец, письмо к Вам, а то это бог знает что будет. Хотелось бы помыть

кости ближнему — Боголюбову. Ну, да это до другого раза. Кланяется моя жена Вашей — усердно. И я тоже. Письма пишите на городской адрес.

Глубоко уважающий и преданный Вам

И. Крамской

82. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

23 августа 1874
Veuls (Normandia)

Добрейший Иван Николаевич!

Пишу Вам немного, но это гораздо лучше, чем ничего, за такое долгое время. Да, давно уже я никому не пишу и ни от кого не получаю ответов, и совсем не оттого, что интересов нет, что не о чем писать, — напротив, интересного прошло много, очень много и было о чем распространиться, но случилось другое обстоятельство: мы переехали на лето в Вель с живописными кусочками, и я предался писанию масляными красками до глупости, до одури, право, кажется, и говорить забыл, зато, может быть, сделал некоторый успех в живописи, — надо бы, пора бы, ведь 24 июля минуло тридцать лет, а я, как говорит Горшков [1], болван болваном.

Нас здесь собралась веселая компания: Савицкий с женой (хорошие вещи он начал) [2], Поленов, приехал А. П. Боголюбов и привез мне очень хороший заказ от наследника [3], потом Беггров [4] и Добровольский [5]. Пишем, пишем и пишем, а по вечерам гуляем слегка и солидно. Сегодня воскресенье, день солнечный, на небе ни облачка с самого утра; все упрекают меня, что я не работаю в такой чудесный день, и все строчат кто где: кто в поле, кто в огороде, кто на море, кто под мельницей, кто на дороге, к соблазну христиан. — Да что, право, все работать и работать, свету божьего не увидишь, проживешь как каторжный.

Нет, я по воскресеньям не буду работать, буду гулять и хоть немного мечтать о суете мирской.

Не казните меня строго, Иван Николаевич, за мою неаккуратность и отвечайте поскорее, что там у Вас, и о Вас самих и об окружающих Вас наших общих друзьях. Право, я так соскучился по русским отменным людям, живущим внутри России, бьющимся с ней единым пульсом. Пишите, пожалуйста, пишите. Мне что-то уж и В. В. Стасов перестал писать совсем — разлюбил, он любит теперь В. Верещагина ташкентского.

Кланяемся с женой Софье Николаевне.

Удачно ли сошли экзамены у юной силы России, Ваших отпрысков?

Простите, что мало пишу, — день такой чудесный, что нет возможности сидеть в комнате.

Ваш *И. Репин*

83. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

26 августа 1874 г.
С.-Петербург

Дорогой мой Илья Ефимыч, лето у нас в Петербурге было убийственное: вообразите, в конце мая я читал в одном из фельетонов «Санктпетербургских ведомостей», что какой-то календарь предсказывал погоду следующим образом: июнь (нужно Вам сказать, что весна была невозможно холодная) начнется ветрами и дождями, будет продолжаться холодами, дождями и ветрами, а окончится ветрами, дождем и холодом; июль начнется бурями, дождем с градом, будет продолжаться дождем, холодом и ветром, а окончится еще постыднее; август начнется, будет продолжаться и кончится так же, как июль; сентябрь начнется... но не довольно ли? Я верю теперь предсказаниям, так как все сбылось в точности, и в настоящее время дождь стучит в окна, ветер немилосердно завывает и дача топится постоянно, на дворе почти не было вовсе лета. Работал мало и плохо, т. е. не то чтобы мало, но только вышло немного, изучал пейзажи, и нельзя сказать, чтобы очень успешно.

Вы пишете, что работали много, до одурения, что надо и пора работать, так как тридцать лет стукнет, а Вы еще немного сделали, что же сказать мне, которому пошел уже тридцать восьмой. Ой, ой, ей-богу, подумаешь, жизнь как будто кем-то украдена, или я ее сам проспал, не видал я ее, право, не видал! Странные мы, русские люди! Все у нас как-то успеем, да еще сделаю, а смотришь, время и ушло, и ушло безвозвратно. Я теперь начинаю, точно перед смертью, дорожить днями. Сам на себя дивуюсь, немножко поздно только, но лучше поздно, чем никогда. Подумайте только, не сегодня, завтра человеку сорок лет, а он еще в пеленках. Так ли нужно работать? Передо мной открываются горизонты, я начинаю кое-что понимать, и даже овладел бы, если бы еще иметь верных лет пятнадцать. А? Как Вы полагаете? Тянет меня вон из Петербурга, так тянет, что и рассказать Вам не могу. Посмотрел я в прошлом году на Льва Ник[олаевича] Толстого,

живет себе безвыездно в деревне, и ничего, не тонет человек. А как Вы думаете? В самом деле, человек погиб, если не будет толкаться по Петербургу, или это только так, пугают? Сдается мне, что пугают. Может быть, для художников существуют бо́льшие опасности, чем для всякого другого, но несомненно, что, сидя в центре, так сказать, начинаешь терять нерв широкой вольной жизни; слишком далеко окраины; а народ-то что может дать! Боже мой, какой громадный родник! Имей только уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть; да потом и климат что-нибудь да значит; ведь это позор! ни одного дня, чтобы можно было работать на воздухе, в рубашке; а вечера, надевай теплое пальто, плед да бегай, а не ходи, чтобы не замерзнуть. Тянет меня вон, вот как тянет! У вас там хорошая компания, работаете, а я тут в одиночку. Скажите Савицкому: пусть пожалеет меня, бедного. Низко кланяюсь. После напишу побольше. Видел статую, т. е. фотографию, Антокольского.

И. Крамской

84. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

13/25 [сентября 18]74
12, Rue Lépic

Дорогой Иван Николаевич!

Жалею Вас и я, от всей души жалею! Да, климат петербургский убивает наше искусство так же беспощадно, как студентов, родившихся в прикавказских краях; оно у нас точно в чахотке и, как чахоточный, имеет пессимистический взгляд на мир божий. Стремитесь, Иван Николаевич, из этих болот, стремитесь, это в Вас говорит остаток свежих сил и крепкая Ваша натура тянет Вас вон из Питера; право, это недурно и даже необходимо сделать Вам выселение, но куда думаете Вы поселиться?

Надеюсь, что в Москву! Как бы это было хорошо, и даже для меня хорошо, так как я по приезде в Россию думаю непременно поселиться в Москве [1]. И климат там хорош, и в центре России, отовсюду одинаково... конечно, далеко, ну да это тоже не безделица. Ах, как мне хочется в Россию! А между тем новый заказ удержит меня некоторое время здесь, время, в которое я рассчитывал уже быть дома.

А между тем Париж удивительно хорош теперь: жизнь ключом бьет, везде новость, изобретение, эффект, бьющий приятно в глаз и производящий впечатление, — этим они владеют,

и как широко, смело, так же как в картинах художники. Да, масса художников имеет громадное влияние на весь Париж и держит его высоко перед прочими нациями и городами, все покоряется художественной импозантности Парижа! Все умолкает перед этим бойким, хотя и мимолетным эффектом.

Но есть вещи, которыми опередили ее давно другие нации. Например, Россия в лице Ивана Николаевича Крамского десять лет назад уже произвела великолепные создания искусства — портреты черным соусом, которые только теперь появились здесь и... в жалком виде: рисовано с увеличенной фотографии и сухо, и деревянно. А толпа в восторге и любуется.

Я вам еще ни слова не писал о Нормандии.

Прелестная, милая страна. Именно «счастливая», как про нее поется в опере. Дороги скатертью и еще обсажены яблонями, каждая деревенька тонет в зелени умно насаженных деревьев, делающих ее похожей на аллею тенистого леса. Дворы засажены яблонями, которые делают здесь густой, тенистый свод, и я в жизнь не видел еще такой массы плодов на деревьях, а каждая хижина увита густо зеленым плющом, только окна остались видны, да ведь это и не плющ, это все чудеснейшие дюшесы величиною в два кулака, ветки ломят, а кое-где виноград.

Как мило живут крестьяне, хлебопашцы: они отлично едят, пьют, как у нас только благородные, и каждая изба выписывает газету, которая читается сообща, вечером, по возвращении с работы.

Ваш *И. Репин*

Софье Николаевне кланяемся.

Пишите обо всем; и о Васнецове, и о Куинджи, пожалуйста, напишите, если что узнаете, — ленивцы они писать.

85. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

28 сентября 1874 г.
СПБ

Радуюсь я за Вас, дорогой Илья Ефимыч, и за французов радуюсь, что у них есть Париж и «счастливая» Нормандия, и за климат тамошний радуюсь; только не радуюсь, что все покоряется художественной импозантности Парижа. Это устилает путь художникам, правда, это дает блеск, роскошь и ликование, положим, да только есть для человечества вопросы наиболее важные. И если преобладает в жизни жилка худо-

жественная, плохо: до конца недалеко. Всюду так было, всюду так будет. Вспомните Грецию, Рим, Италию (времен Возрождения); сначала начинается потеря политической самостоятельности и экономические неурядицы, потом раздробление территории, потом всплывает на поверхность личный интерес, предпочтительно перед интересами общественными, все стали люди просвещенные, даже и свиньи по натуре, и в качестве просвещенных полагающие, что мнение их необыкновенно глубокомудро, и принять его все обязаны, уступить нельзя, так как и я знаю все то, что другие. Понятно, что при этом будет раздаваться всего громче голос золотой середины, и потому всякого несогласного можно и принудить. Как Вы видите, я самым усердным образом стараюсь оправдать Вашу мысль, что климат петербургский убивает русское искусство и художников, и я, нюхающий этот воздух, уже тронут чахоткой, и потому в качестве такового имею пессимистический взгляд на мир божий. А какой же взгляд, по-Вашему, нужно иметь зрячему человеку (художник ведь тоже человек), который видит вещи, как они есть, чувствует подкладку всего совершающегося? И неужели же Вы полагаете, что художнику хорошо иметь взгляд, так сказать, тельца невинного? Простите за иронию. Или Вы думаете, что во Франции нет глухих подземных раскатов, которых бы люди не чувствовали; вот в такие-то времена подлое искусство и замазывает щели, убаюкивает стадо, отвращает внимание и притупляет зоркость, присущую человеку? И что, в сущности, ужасного в положении художника в России, я Вас спрошу? Что он не блистает, что недостаточно ценится, что, наконец, его голос не выслушивается с особым почетом и благоговением? Это небольшая беда. Искусство в общей экономии общечеловеческой, и особенно в государственной жизни народа (пока все человечество не догадается устроить иной порядок), и не должно занимать очень видное место. Я скажу так: хорошо бы было, если бы человечество, совершивши роковым образом свой переходный период, пришло бы в конце к такому устройству, какое когда-то было, говорят, на земле, во времена доисторические, где художники и поэты были люди, как птицы небесные, поющие задаром. «Даром получили, даром и давайте». Только при этих нормальных условиях искусство будет настоящим, истинным искусством. Только при таком порядке возможно появление тех созданий, которые народными преданиями приписываются богам, так хороши они, так чисты и так безупречны по форме; ни одной ноты фальшивой, ни одного слова лишнего. Оно и понятно: нет причины писать пять томов вместо десяти страниц: все равно не платят. За что же, скажите, ради бога, я

буду разводить бобы да еще не получать одобрения? Иное дело теперь. Я развожу бобы, и чем больше я их разведу, тем бо́льшую претензию имею получить награды, а до того, что я не получаю одобрения за свои вирши, мне какое дело?

Господи, какой глубокомысленный и непонятный вздор! Нет, решительно климат тут не безгрешен! А он, как нарочно, самый петербургский: туман, моросит, не то холодно, не то мокро. В одиннадцать часов голова болит и еще не совсем светло, а в два темно, и все-таки голова болит. А все же я буду продолжать в том же самом глубокомысленном тоне, только с другого боку. Тянет меня вон из Петербурга, тошно мне! Куда же тянет, отчего тошно? Оттого, что стал «особа», всякий, прости господи, пялит глаза, подслушивает, комментирует, запускает щуп по самое дно, покоя нет. Где же покой? Да и это бы еще ничего, если бы не лежал богатый и невообразимо громадный материал за пределами городов, там, в глубине болот, лесов и непроходимых дорог. Что за лица, что за фигуры! Да, иному помогают воды Баден-Бадена, другому Париж и Франция, а третьему... сума да свобода! Вон оно, куда хватил! Ну, как Вы полагаете, давно это у человека? Сегодня, вчера или после Вашего отъезда? Очень давно, так давно, что и не помню, должно быть с пеленок. Вот тут и, поди, изворачивайся. Москва, Вы думаете, что в Москве жить можно? Попробуйте! Я не думаю. Я понимаю, что жить иногда надобно где-нибудь, это понятно, но можно ли, это другой вопрос, впрочем, и в Москве живут.

Случилось обстоятельство. Что такое Антокольский? Знаете ли Вы его или не знаете? Видел я его статую, т. е. фотографию. Он прислал ее Стасову и уполномочил показать только мне. Ну, смотрим, рассуждаем и даже соглашаемся, и тот и другой решаемся сообщить свои впечатления, да он и просил об этом. Хорошо. Вы писали мне, что это самое полное изображение нашего, в XIX веке, представления о нем. Согласен. Хотя между нами еще не решен даже вопрос о том, что такое Христос XIX столетия? Положим, я скажу так: это есть человек из Назарета, человек экзальтированный, почти фанатик, даже совсем фанатик, ничего дурного не сделавший и, кроме хороших намерений и любви к богу, не питающий, и этот человек связан. Этому представлению статуя, в громадной степени, отвечает, исключая глаз, несколько традиционных, да следков, решительно каменных, напоминающих Германика. Все остальное — живая, трагическая фигура. Подойдя близко, рассматривая отношение деталей, оказывается: рот живой, характерный, несколько как будто чувственный и с малою дозою свирепости, но решительно могущий при-

надлежать этой фигуре. Но он находится в противоречии с глазами. Эти части лица соединены между собою просто, а не выросли на лице органически, неизбежно. Если усмирить рот и согласить с традиционными глазами, будет, конечно, хуже. Затем конец носа чуть-чуть более опущенный, чем нужно, и мясистый кончик, конечно, натурален, и принадлежит иудею; и я совершенно буду с ним согласен, если найду доказательства, что нос такого покроя может принадлежать человеку высокой нравственности: хотя и тут нет, собственно, противоречия с вышепомещенным определением Христа XIX века. Остаются, стало быть, глаза, которые напоминают известные, ходячие формы, признанные за наилучшие. (Прошу не забывать, что мне лично особенно трудно делать какие-либо замечания на фигуру Христа). Но полагая, что в нешуточном деле было бы непохвально сказать не то, что думаешь, и что не сказать — значит не уважать, я это все просто, смирно и откровенно сказал. Конечно, несколько пространнее. На это получаю в ответ опровержение, такое странное, что, очевидно, Антокольский или не прочел мое письмо или не понял его. Искажение моих мыслей значительное. Я, относя это к тому, что каждый художник, окончивши серьезное произведение, бывает не совсем покоен и особенно чувствителен к замечаниям, которые он, разумеется, еще раньше критиков все перебрал в своем уме и отверг их чувством, я как ни в чем не бывало пишу новое письмо с пояснением, как надо понимать, что я писал, и что я разумею под тем или другим выражением. Ответа еще нет, но между тем к Стасову он писал о моем письме и привел в кавычках будто бы мною написанные слова, что я «не оставлю камня на камне». Стасов удивился, а я еще больше, тем более, что ничего даже отдаленно похожего на это я не писал потому, что иначе думаю. Мне было очень совестно, что подумает Стасов, с которым я, наконец, и незнаком коротко? И вот я должен был написать Антокольскому, чтобы он исправил свою ошибку к Стасову, в противном случае искажения в моих письмах я должен буду отнести к другой какой-либо причине, а не к той, о которой я сказал выше. Очень жаль и грустно. А я был наивен, до того наивен, что писал откровенно и просто. Извините, что пишу об этом, но так случилось, что все вместе, в одно время [1].

Как Вы полагаете относительно Вашего участия на Передвижной выставке в этом году [2]? Будете или нет, можно Вам или нет? Выставка состоится, только неизвестно когда: или в генваре (если Академия откажет на наше предложение), или в марте (если примет его) [3]. Что касается Куинджи

и Васнецова, то пока много сообщить не могу. Я их за леность и нерадение укорял пространно и внушительно, и Васнецов уже, кажется, написал Вам, а Куинджи отмолчался покорно, хотя киваниями головы как будто и выражал раскаяние. Оба работают, т. е. Куинджи начал уже (лето ничего не делал!), а Васнецов начнет, и тоже говорит, что ничего не делал, чему я не верю. Ну-с, а затем какие еще новости? Верещагин отказался от профессора, а Тютрюмов (Тютрюмов?) пропечатал в газетах (в «Русском мире»), что все это Верещагин делал не сам, а компания художников в Мюнхене [4]. Каково? Стасов написал требование, чтобы г. Тютрюмов подтвердил доказательствами свои известия и указал бы тех или того художника, кто это делал, в противном случае ему, рабу божию, придется отвечать перед судом. Любопытно. Такая непроходимая тина, болото и пошлость, такая поднялась каша, что просто страх. Что будет нового, сообщу. Что такое Бодри [5]? Из-за чего кричат французы?

Ваш *И. Крамской*

Пропишите адрес поотчетливее, а Савицкому передайте, что он и совсем не поместил.

Скажите Савицкому, что я написал ему по старому адресу. Он чудак, не пишет адресов.

86. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

16/28 октября 1874
12, Rue Lépic

Да, дорогой Иван Николаевич, климат — всему делу голова, и последнее письмо Ваше это подтверждает. В самом деле, что за охота нормальному человеку сокрушаться о том, что цвет искусства нации означает ее близкий конец. Так было в Греции, Риме, Италии и т. д. Нет, мне не хочется думать так. Цвет искусства значит только развитие нации; падение же нации производит ненормальность этого развития, исключительность, специальность его для избранных только слоев, немногих, высших, богатых, которые остаются одни в критическую минуту нации, слабы, развращены и во вражде со своим большинством, которое они же развратили, превратив их в продажных рабов. Упадок нравственности и национальности — вот где погибель. Впрочем, и эта погибель уже не так страшна теперь, как в варварские времена, времена всевозможных нашествий, порабощений, кабалы побежден-

ных и т. д. Такой страх уже прошел для цивилизации, и если теперь кличка какого-нибудь живого города изменится в пользу новейшего завоевателя, то это еще не значит, что город погиб совершенно. А впрочем, я теперь совершенно разучился рассуждать и не жалею об утраченной способности, которая меня разъедала, напротив, я желал бы, чтобы она ко мне не возвращалась более, хотя чувствую, что в пределах любезного отечества она покажет надо мною свои права — климат. Но да спасет бог, по крайней мере, русское искусство от разъедающего анализа! Когда оно выбьется из этого тумана?! Это несчастье страшно тормозит его на бесполезной правильности следков и косточек в технике и на рассудочных мыслях, почерпнутых из политической экономии — в идеях. Далеко до поэзии при таком положении дела! А впрочем, это время переходное; возникнет живая реакция молодого поколения, произведет вещи, полные жизни, силы и гармонии; залюбуется на них мир божий и не захочет даже вспоминать, как ворчливых стариков, предшественников; так и будут стоять они, задернутые пеленой серого тумана. Потому что очень горячо, колоритно, от чистого сердца, сплеча будут написаны новые вещи. Художники же прежние будут их не признавать и не удостаивать даже своего взгляда. Уж очень много ошибок найдут они. Не правда ли, на пророчество похоже?

Так Вы Москву бракуете? Да и в Москве живут, попробуем и мы пожить в Москве, другого исхода нет.

А Антокольского Вы лучше меня знаете, Иван Николаевич; все случившееся очень понятно: его превознесли в Риме; ворох карточек от художников с комплиментами; далекая и громкая слава от путешественников; страшное впечатление вещи даже на не расположенных к нему, не любящих его, и т. д. и т. д.; судите сами, мог ли он ожидать замечаний, тем более, когда вещь уже сделана и кончена, — а сердце у художника всегда женское.

Участвовать на Передвижной выставке я бы очень и очень желал, но, во-первых, нет конченной, стоящей вещи (не выступать же опять с портретами?), а во-вторых, я не хочу заводить скандала, пока я еще пенсионер; еще чего доброго, запретят въезд в Россию и разжалуют в солдаты; ведь я, кажется, в чиновничестве числюсь. Надо подождать еще; надо искупать несчастную ошибку молодости, а впрочем, не без пользы эта ошибка обошлась.

Какой чудесный фельетон был в «Голосе» на Тютрюмова, кто это писал? Что за умница, что это за образец критического разбора этого маранья Тютрюмова. Не знаете Вы,

кто это? Я порадовался за нас. Но зато фельетон в «Русском мире», я думаю, писал сам Исеев [1]? Читали ли Вы его? Прочтите, стоит.

«Извечные идеалы и Неуважай корыто!» Не правда ли как лихо!

Начали мы офорто, опять начали; начинают до трех раз, кажется, а потом бросают. А занятно очень [2].

И до Вас долетает слава Бодри. Это не более как сколок с Микель Анжело [3], Поль Веронеза, Тьеполо [4] и Гвидо Рени [5]; стилист — можно сказать о нем возвышенно. Он не без таланта и, говорят, добрый человек и честный; очень любит Италию и старается быть даже примитивным в живописи, рисует ловко, сочиняет рутинно. Несколько медальонов, долженствующих изображать все нации, изображают только купидонов, а купидоны, депутаты Италии, держат синюю дощечку с надписью «Поль Бодри». Недурные есть фигуры между музами.

Недавно был здесь А. И. Сомов, приехал сюда Буров [6]; ужас как много русских в Париже.

Васнецов, верно, только подумал писать мне и выразил это таким же загадочным киванием головы, как и Куинджи.

Тургенев в большом восторге от Ваших портретов Льва Толстого и Гончарова, он видел их в Москве, а он избалован по части выполнения и считает себя знатоком.

Ваш «Христос» ему тоже очень и очень понравился.

87. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

29 октября 1874 г.
СПБ

Не смущайтесь, дорогой Илья Ефимыч, что я на такой официальной бумаге пишу: когда нет собственности — крадут в казне, уж это дело известное [1]. Ведь это Россия и климат! Я думаю, что мы не совсем понимаем друг друга. Я очень скромно (ну, не совсем скромно! Вы скажете) сказал в прошлом письме, что «плохо дело, если все повинуется художественной импозантности Парижа». Но ведь это Вы написали «все повинуется». Если *все,* то плохо, повторяю опять, и пусть лучше я буду выброшен будущим поколением за борт, чем думать иначе. Ведь если *все* покоряется, так значит живот вырос непомерно, в ущерб остальным частям тела, в ущерб иным интересам, и, смею думать, более серьезным, чем искусство. (Опять-таки это требует некоторой оговорки, ну, да я ее не сделаю, Вы и сами это знаете). Я, конечно, тогда пото-

ропился и принял всерьез, факты говорят противное: во Франции еще не *все* повинуется художественной импозантности Парижа, далеко не все; не повинуется, например, рабочий вопрос, не повинуется религия, не повинуется философия, не повинуются естественные науки и даже не всегда повинуется промышленность (пушки, митральезы, ядра и иные милые вещи); в большинстве случаев преследуется целесообразность, а потом уже, пожалуй, и красота. Итак, Вы видите: можно сидеть в России и в то же время не думать навыворот. Но есть у Вас в письме одна штучка, которую я, по свойственной мне манере, не могу обойти молчанием, вперед сообщая, впрочем, что я имею мрачный взгляд на вещи, и, стало быть, мы, быть может, не согласимся. Вы говорите, что теперь «погибель не так страшна, как в варварские времена, времена всевозможных нашествий, порабощений и проч...» Верно — теперь трудно ждать нашествий варваров (хотя это еще не гарантировано пока), но появляется, растет и зреет нечто более опасное, чем варвары внешние, растут и плодятся варвары внутренние; думаю, что в моем мнении нет ничего парадоксального: разве не варварство — поголовное лицемерие, преобладание животных страстей, ослабление энергии в борьбе с жизненными неудобствами, желание поскорее добыть все путем мошенничества, прокучивание общественного (народного) богатства, лесов, земли, народного труда, за целые будущие поколения... попробуйте узнать, что стоит талер, франк, рубль какого-либо правительства, попробуйте погасить долги, колоссально разрастающиеся во всяком государстве, потребуйте уплаты долгов от всяческих компаний, акционерных и иных обществ, фабрик, заводов, и Вы увидите, что эта милая цивилизация, для того чтобы не объявить себя банкротом, должна забираться в Среднюю Азию, Африку, к диким племенам далеких пространств, и обирать, порабощать, убивать или, еще лучше, развращать всех этих наивных животных, которых численность еще превосходит в десять раз цивилизованные общества. Вот почему еще есть ресурсы и для правителей, есть ресурсы и для буржуазии на целые десятки, а может, и сотни лет жуировать и услаждать себя всячески; а что будет потом! Нам какое дело! на наш век хватит! Если попадется из этой громадной ватаги какой-нибудь дурак, или просто оплошает, исход легкий: приставил дуло к любому месту, да и там. Чудесно! и легко, и скоро, и восхитительно! Вы скажете: «наивный человек, когда ж этого не было? всегда были мошенники, и всегда человек был скотина!» Верно, а что ж я говорю? Я то самое и доказываю: всегда было скверно, чуть-чуть получше, чуть-чуть похуже,

а потом плохо и... конец. Да, конец. Сколько уж было концов? Много! Не миновать его и цивилизации, только для нее история, конечно, будет не так глупа, чтобы взять знакомую развязку, скучно стало бы, да и догадаются... эффект пропадет... А впрочем, к чему это? Вы уже излечились от всеразлагающего анализа... и завидую Вам... ей-богу, завидую... Это очень тяжелая штука, тем более, что, как Вы говорите, далеко отсюда до поэзии... Это верно... Очень далеко от поэзии здоровья, счастья и силы, но очень недалеко от... трагического, и, смею думать, всякому своя поэзия, только чувствуй, а не притворяйся... а там не наше дело говорить: вот это поэзия, а это нет, ничего, чему быть, тому не миновать! Если же Вы разумеете просто глупость нашу баранью сидеть, пыжиться, морщить лоб и что-то хотеть сделать умное, да с содержанием, да с направлением, да еще уж и не знаю с чем, то, право же, об этом и упоминать не стоит. Я говорю только художнику: ради бога чувствуй! Коли ты умный человек, тем лучше; коли чего не знаешь, не видишь, брось... Пой, как птица небесная! только, ради бога, своим голосом! Неужто это такая дурная теория? Конечно, когда это теория, то в ее составлении участвует голова, но ведь что ж тут худого? ведь господь бог ее сотворил! И голова, когда она на месте, не мешает, и думаю, что чем больше она будет на месте, тем охотнее признает *новые вещи*, и только. Так что, собственно говоря, беды большой я не вижу. Ну, а уж те, что ворчат да недостатки отыскивают, извините, они не у дел после освобождения крестьян. Некоторые из них еще проживут долго, иные оставят и яйца, а все к тому времени, думаю, поослабнут [2]. Давайте только новые вещи, Россия их ждет! Это верно. Кто из нас знает Антокольского лучше, не знаю. Вы говорите, что я! Пусть так, но все-таки и Вы его достаточно знаете. Но вот что жалко, что Вы не будете участвовать на Передвижной выставке. Я, конечно, слишком уважаю причины, почему Вы не можете, и скажу больше — я бы даже не упоминал бы об этом, если бы Вы не так решительно писали и Стасову и мне; а жаль, я сказал, что Вы решительно имеете намерение сделаться членом, и потому в недавно напечатанном отчете нашем Ваше имя стоит в числе прочих. Теперь боюсь, чтобы это Вам не повредило. Но, клянусь Вам, это вышло, как Вы видите, независимо ни от кого из нас.

Фельетон в «Голосе» был *Александрова* [3]. По-моему, он ничего особенного не заключает, просто только без грубых промахов, как это часто у писателей. Разумеется, он неизмеримо лучше многих по этой части. В «Русском мире» фельетон тоже мне известен, но автора не знаю, хотя склонен

с Вами вместе заключать одинаково. Но что несомненно Исеева — это ответы Гейнсу [4] и Стасову.

О Тургеневе, спасибо ему — благодарен, даже восхищен, только одно обстоятельство мешает мне счесть себя достойным похвал его, — говорят, он сказал так: «Я верю в русское искусство (т. е. будущность) на основании того, как *Вы* написали его руки на портрете, и потому, как пишет Харламов». Оно, может быть, и правда, портрета Вашего я не видал, только все-таки как-то странно говорить о будущности искусства по живописи рук; или уж я не понимаю. Только, мне кажется, он не совсем знает Россию, судя по предисловию к своей повести, помещенной в «Складчине» [5]. И скучно, и грустно, и пушки стреляют: вода поднялася в Неве, и ветер тоскливо в трубе завывает, картины не пишутся в северной мгле. Рифма не совсем звучная, но мысль правдивая. — Русское искусство.

Ваш *И. Крамской*

88. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

15/27 ноября 1874
12, Rue Lépic

«Наивный человек, когда же этого не было?!» Видите, Иван Николаевич, как опасно давать острое оружие в руки детей, они Вас как раз пырнут.

Да, в этом Вашем слове так много правды, что оно всплыло наверх изо всего Вашего письма. У меня же, кстати, и расположение духа совсем другое: доктор Герен велел мне выпивать полбутылки вина за каждой едой, а есть *четыре* раза в день; а потому я каждый день теперь и *сыт и пьян;* философия махнула на меня рукой. Но как всегда идея не вылетает окончательно из головы, а только меняет форму, так и теперь место чистой, благородной, рыцарской философии заступила другая — *позитивная,* буржуазная, убеждающая (сквозь дрему, как мудрый старик) в необходимости всего существующего — в гигантской, непреодолимой необходимости!!!

И, знаете, прежде я гнал от себя эту старуху, горячился, портил кровь, но заболел. А она все продолжает ухаживать за мной, иногда даже льстит мне, и волей-неволей я привыкаю к ней и мирюсь, и теперь мне уже неприятно, если как-нибудь забирается ко мне опять вдохновенная рыцарская — мне она кажется театральной и несостоятельной; а главное,

она мне так портит кровь. Да, у позитивной страшная тактика в споре.

Как! — говорю я однажды, с разгоряченным от страсти лицом, — а международный союз всего света! А самостоятельная жизнь каждого маленького городка! А эти удивительные коммуны, сделавшие из каждого города и деревни отдельную семью людей, работающих для общей своей пользы, не знающих, что такое деньги и что такое подлость; везде свободный, правильный выбор труда, с увлечением исполняющегося в определенные часы, и за сим самое громадное общество, самые разумные и сильные развлечения!!!.. Я остановился, чтобы посмотреть, произвело ли это какое-нибудь впечатление на мою всегда спокойную собеседницу... и что же? глаза ее блестят чудесным светом полного убеждения. «Так вот чего хотите Вы! — сказала она. — В таком случае, я могу Вас только утешить и обрадовать: знайте, что все это непременно будет. И сделается все это все тем же *путем строгой и неумолимой необходимости.* Ваш пафос — пустяки, ваша порча крови — вред Вам; а дело это идет своим законным порядком, как зародыш у матери. Выкидыши причиняют ей болезнь и уничтожают зародыш...» Жалею, что ко мне кто-то пришел и прервал нас. Но с этих пор я переменил отношение к этой музе мысли. И даже такую убийственную новость, как смерть Фортуни, перенес спокойнее. А ужасной гадости Ге (будто бы он просил извинения у Тютрюмова за участие в адресе) *не поверил.*

[....] Но я все-таки не особенно люблю позитиву, уж очень умна и говорить с ней не знаешь о чем, все выходит уж очень просто и ясно... Нет, гораздо больше нравится мне другая: муза искусства. Ту я всегда ожидаю с трепетом и никак не могу разглядеть ее лица; как будто она меняется: то опять что-то старое, знакомое... и глубже, гораздо глубже и красивее... Да, без нее я застыл бы, пожалуй, в будничном деловом мире.

Почетное имя члена передвижных выставок мне нисколько не повредит; жалею очень, что пока еще я не могу оправдать этого имени. Что делать, надо подождать до возврата в Россию.

От Антокольского недавно получил письмо, он пишет, что Вы правы в своем приговоре; но фотография не передает оригинала, и потому он мне ее не шлет.

Кланяются Вам Боголюбов, Поленов и Савицкий.

Тургенев глядит на искусство только с *исполнительной стороны* (по-французски) и только ей придает значение.

89. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

16 ноября 1874 г.
СПБ

Новость, и очень крупная, дорогой мой Илья Ефимыч: Академия отказывается от выставок и уступает устройство их вновь образовавшемуся Обществу (при Академии), Обществу выставок. Я читал Устав; на днях Совет будет обсуждать его, так, для формы, потому что вел. князь уже согласен. Я, к сожалению, не могу сообщить его Вам целиком, хотя стоило бы, букет в нем есть чудесный, но я полагаю, что вместе с сим, как говорится, Устав будет в Париже у Боголюбова, как члена Совета, т. е. должен быть, если только он о нем не знал год тому назад. Теперь и мы, грешные, уже знаем его. Вот в чем дело: под покровительством Академии сóставилось как я сказал, Общество выставок с целью «объединения художников на одном общем конкурсе». Сбор с выставки уже не дадут министерству двора, а будут распределять художники сами по нижеследующей программе: жалованье распорядителю и писцам (сколько их потребуется), отчисление (неизвестно, впрочем, какого) процента на образование капитала вдовьего, сиротского и престарелым художникам; на выдачу ссуд, тоже неизвестно какого процента, тем художникам, которые будут нуждаться окончить картину или задуманное исполнять (а кто в этом не нуждается?); затем, если останутся средства, то и раздавать премии, и уже после всего, если обстоятельства позволят, то... и передвигать (не капиталы), а выставки. Чтобы еще более получить благополучия, то будут устраиваться ежегодно лотереи на 10000 руб. серебром и, кроме того, аукционы. Словом, публика будет уже не в состоянии уклониться от приобретения художественных произведений тем или другим способом; и я уверен, что всякого равнодушного к искусству человека вышеописанные меры непременно настигнут и... покарают, т. е. украсят его жизнь художеством. Чтобы дело шло неуклонно правильно и сообразно начертанной программе, то избирается пять чел[овек] Комитета и десять депутатов, в числе которых *«непременный член конференц-секретарь»*. Комитет исполняет постановления, депутаты (состоящие из почетных членов, а члены Совета суть в то же время и депутаты, т. е. они могут ими быть невозбранно) наблюдают. А чтобы и тут не могло быть упущений, то общие собрания уже решают, как чему быть надлежит. Словом, все до такой степени предусмотрено, что ни ошибок, ни неудовольствий не будет и быть не может, если же что и может быть, то только одно

ликование, и ничего кроме ликования [1]. Сочинил это... Орловский [2] и... Крестоносцев [3]! Вы думаете, что я шучу, право, так; Орловский, по крайней мере, душа всего. Что ж это я, однакож, точно все это дело, кроме фельетонного отношения, ничего не заслуживает! Нет, я очень хорошо вижу, что дело это, если и не имеет какой-либо завидной будущности (а может, я и ошибаюсь), то все-таки надо сознаться, что оно будет влиять кое-чем на Товарищество, и, почему знать, быть может, оно серьезнее, чем я полагаю. Несомненно одно, что все это есть следствие Товарищества и его несомненной заслуги: передачи выставки Академией в заведование самих художников. Это своего рода освобождение крестьян, худо ли, хорошо ли, но уже воротиться назад к прежней системе будет невозможно. Академия, собственно, тут ничем не поступилась: деньги отбирало министерство, которое, разумеется, никогда бы не согласилось отдать их Академии, и так как ей пользоваться все равно не пришлось бы, то и пусть пользуются художники, все оно как будто либерально выходит. Устав подписали двадцать три человека, первым Якоби [4], и много других. Они, между прочим, просят Академию разрешить пенсионерам быть членами этого Общества, с тем, разумеется, чтобы им не быть членами какого-либо другого. Я не знаю, может ли Академия простирать так далеко свою власть? Впрочем, если просят, стало быть, может; и мне, собственно, очень жаль, что оно так. Ну, да делать нечего.

Странное дело? ведь вот случись что-либо подобное пять лет тому назад, быть может, я нашел бы все это хорошим (исключая одного или нескольких пунктов), а теперь — не нравится, почему? Мудрый Эдип, разреши! Прав ли я? Не становлюсь ли я сектантом и слишком узким партизаном? — невольно задаешь себе этот вопрос, и... как бы я хотел посмотреть беспристрастно на себя издали, точно на другого человека! Или в самом деле человек так влюблен в свою мысль, так сживается с своим болотом, если оно становится таковым, что не способен понять совершающегося? Ужасно обидно. Обидно, что в ироническом тоне говоришь, быть может, именно тогда, когда не следовало бы делать этого? Словом, очень огорчительное состояние. Хотя я думаю, что дороги Передвижной выставки и нового Общества нигде не пересекаются (там задачи другие), но... чорт его знает, где лучше? Если бросятся все на это новое, что думать надобно? Я ли ошибаюсь или другие? Вот проклятое положение. А между тем, я чувствую, отступление (мне по крайней мере) сделать не придется — не смогу. Об этом обстоятельстве я пишу и Савицкому. Как-то Вы там взглянете из Парижа на все это дело? Ужасно это

меня интересует. А выставка наша все-таки состоится и теперь! Извините, пожалуйста, что заставляю передавать Савицкому письмо, но что Вы с ним будете делать, не пишет адреса. В ожидании скорого ответа.

Искренне и глубоко преданный и любящий

И. Крамской

90. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

21 ноября 1874 года
СПБ

Ваше письмо, дорогой мой Илья Ефимыч, получено мною сейчас и немножко потревожено; это бы еще ничего, пусть их сколько угодно, если им так дороги интересы искусства и если кому-нибудь будет от этого польза, и вследствие этого прибавится один-два понимающих; но беда в том, что я не знаю, кончено ли Ваше письмо? Оно имеет один листик и кончается тем, что «Тургенев глядит на искусство только с исполнительной стороны, по-французски, и только ей придает значение». Дальше ничего, подписи не имеется, так что если все это было правильно, то надо допустить в Вас в ту минуту рассеянность превыше описания; или, пользуясь Вашим намеком на испивание двух бутылок вина, отнести случившееся к этому последнему, и если бы все это было так, я возблагодарил бы небо и порадовался — продолжайте на здоровье, мне все равно приятно получать от Вас, но если тут кому-то нужно что-то, то вот уж это не годится. Я буду спокоен, если Вы мне скажете, что Вы письма не подписали и что оно имеет один лист. Тогда, значит, правильно. Но если?.. неприятно.

Уважающий Вас

И. Крамской

91. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

24 ноября/6 декабря [1874]

Чудесно! Бесподобно! Ура!!!

Это действительно *освобождение крестьян!* Итак, пенсионеры свободны и могут распоряжаться своими вещами как хотят и примыкать к тому или другому обществу по произволу (может быть, и не безнаказанно, но ведь это все сгладится впоследствии) [1]. Я очень радуюсь и за Передвижную выставку, она очистится от всяких посторонних искателей ощутительных благ. Впрочем, об этом уже много говорено и тут я нового

ничего не прибавлю; я гораздо больше радуюсь, что могу теперь прибавить что-нибудь к вашей выставке (Передвижной). Напишите мне крайний срок присылки вещей; может быть, я что-нибудь успею сделать.

Можно даже быть благоразумным и благонравным мальчиком: послать вещь предварительно на рассмотрение Совета и тут же попросить препроводить по назначению вещь, т. е. на Передвижную выставку.

Если мне пришлют приглашение участвовать в этом новом Обществе, я отвечу, что не могу, так как уже состою членом Общества передв[ижных] выставок.

Не правда ли, все это бесподобно?

Пишите о дальнейшем ходе и об окончательных результатах этого дела.

Ваш *Илья Репин*

1875

92. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

1 января 1875 года
СПБ

Вот как, 75-й год! Что-то он нам принесет! Я ни Вас, ни себя с ним не поздравляю, обижаюсь я на Новые года; и давно уже обижаюсь.

Что ж это значит, дорогой Илья Ефимыч, что нет от Вас весточки? Оно и надо бы уже давно, тем более, что последнее письмо от Вас получено мною не совсем в порядке, как я Вам и писал немедленно. Полагаю, что письмо мое Вы получили? То есть, собственно, не письмо, а рапорт, и очень коротенький, о том, в каком виде дошло до меня Ваше письмо. Ведь не могло же это обстоятельство быть помехою Вашему ответу? Остается предположить, что какие-либо уважительные причины еще не дают Вам минуты покоя. Но дай бог, чтоб у Вас все обстояло благополучно и чтобы я получил от Вас ответ, хотя строчку, чтобы знать.

Я написал бы Вам уже и раньше, невзирая на Вашу великую неисправность, но ожидал возможности сообщить какие-либо интересные новости, так как должен был состояться Совет для специального обсуждения Устава нового Общества выставок, о котором я Вам писал и по поводу чего Вы возликовали, хотя и преждевременно, как мне казалось. Ну, да это было все-таки прекрасно и на Вас совершенно похоже: увлекаться — Ваше достоинство и недостаток. Совет был. Раньше того мы (Правление Товарищ[ества]) собирались для обсуждения, что и как нам говорить и держать себя. Решено было не вступать в критику и противодействие, а, напротив, находить все прекрасным и дать возможность рухнуть самому так глупо затеянному делу.

Н[иколаем] Н[иколаевичем] Ге в Совете был поставлен только один вопрос: «Какое это Общество, частное или официальное? Если официальное, то ему кажется, что лица, подписавшиеся под Уставом, за исключением двух-трех, не имеют

достаточного нравственного, т. е. художественного, авторитета, чтобы Академия должна была отказываться от права устройства своих выставок? И не поспешно ли это, не пострадает ли при этом достоинство Академии?..»

Исеев: «Конечно, частное, как можно официальное! Академия будет устраивать все-таки свои выставки, только года чрез три...» — Ге: «Прекрасно, в таком случае я могу только сказать, дай бог, давно пора было художникам это сделать. Но я бы предложил бы только одну поправку — там есть параграф, что члены Совета суть в то же время и почетные члены этого Общества; мне кажется, что никакому частному обществу нельзя давать права вписывать в число своих членов лиц, состоящих на государственной службе...» Остальные члены Совета поддерживают его: «Разумеется! разумеется!!.» — Исеев: «Да, это дурная редакция, тут надо разуметь так: «что если пожелают». — Ге: «В таком случае, это даже и не параграф». Все согласны.

После того Исеев говорит, что ему уже неловко оставаться непременным депутатом после такого решения предыдущего параграфа. Вычеркивает [1]. Ге: «Что же касается лотереи и аукциона, то пусть они хлопочут общим законодательным путем об утверждении этих параграфов». — Исеев: «По-моему, их просто следует выпустить, так как это может восходить только до Государственного совета...» Ну, а затем все было найдено прекрасным. И вот корабль, рассналценный таким образом, «и без руля и без ветрил», пусть плавает. Теперь на Орловском лежит обязанность собрать выставку, устроить и набрать экипаж! На здоровье! Он бегает высуня язык.

Жене Вашей низко кланяюсь. А Савицкого понудьте написать свой адрес, ей-богу, это ни на что не похоже.

Глубоко преданный Вам

И. Крамской

Подумайте, не опасно ли Вам ставить у нас. А уж как мы были бы рады, выставка откроется в первых числах февраля.

Если зайдет речь у Боголюбова о новом Обществе, то сообщите ему в общих чертах, Савицкому же прочтите это письмо.

93. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

1 апр[еля] 1875 г.
12, Rue Lépic

Дорогой Иван Николаевич!

Представьте себе, что у меня решительно пропала охота писать письма; так совсем пропала. Думаю о Вас часто, как и обо всех моих друзьях, к которым ужасно тянет вернуться, поговорить вдоволь, всласть; но писать!..

Как это досадно, что у Вас все больны — климатец!!! Впрочем, и здесь было много больных, только месяц назад, теперь же, слава богу, весна, деревья начинают цвести и листья молодые, такие выскочки, так и норовят завладеть всем деревом; да все еще холодом дует, из России, конечно.

Академия дует специально в своих пенсионеров; недавно она дунула таким холодом — страх! С целью заморозить нас до смерти издала циркуляр, который запрещает выставлять вещи на Парижской выставке. Я было огрызнулся, но получил свое письмо обратно, с надписью велик. князя Владимира (молчать, мол, не рассуждать, дело не Вашего ума). Что делать, думал, думал, выходит, что надо молчать, по всем правилам так выходит, надо молчать...

Об несчастье Савицкого [1] Вы скоро узнаете от него самого, он скоро приедет к Вам в Питер.

Я решительно забыл о Вашем вопросе; лень рыться в письмах; в другой раз.

Да, вот что надо: пожалуйста, Иван Николаевич, если что придет *(моей работы)* на вашу Передвижную выставку, то, пожалуйста, не выставляйте, а, пожалуй, препроводите им назад или в Академию художеств. Что делать! Надо потерпеть пока; плетью обуха не перешибешь, а главное, я боюсь, чтобы они мне не напортили впоследствии; пожалуй, потом, в качестве подозрительного лица, не будет нигде доверия, а становые будут бить по морде прямо.

Напишите что-нибудь о Передвижной выставке, мы коечто уже знаем и из газет и словесно, но все это не заслуживает вероятия; все это личные толки.

Послали все-таки и мы вещи свои сюда на выставку [2], не знаю, примут ли, вещей до восьми тысяч, а мест всего на две тысячи, значит, урезать необходимо и сильно урежут; но как это все здесь весело: праздник всему городу, последний день приема; народ, точно голодный, бросается на каждую новую вещь, перевернутую еще вверх ногами носильщиками, — интерес к искусству, значит. Даже наша нянька-француженка уже знает все: сколько литер разобрало жюри и проч.

Что за история с «Пчелой» [3]? Я решительно не знаю — напишите.

Признаться, подрадел мне В. В. С. Просто вспоминать совестно [4]. Я ему не могу писать до сих пор.

Ваш *Илья Репин*

Письмо мое дошло до Вас в порядке, но оно само было беспорядочно написано [5].

Я не совсем понимаю, зачем Антокольский посадил Пушкина на скале и зачем его создания идут к нему, а не от него[6]?

Софье Николаевне мое глубочайшее почтение и жены моей тоже прошу передать.

94. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

5 апреля 1875
СПБ

Не удивительно ни капельки для меня, что у Вас пропала охота писать; еще бы! Я думаю, после тех тонкостей, на которые я так оказываюсь способен, не у многих нервы останутся спокойны. Ей-богу, правда, это я говорю всерьез, ибо чувствую. Дался Вам этот климат! И за что Вы его преследуете? что здесь болеют? Да ведь весь свет болеет и всюду умирают, а относительно долговечности, так ведь это мы еще поспорим даже... с французами. Чего другого, а стариков у нас много: я думаю — больше, чем во Франции... Впрочем, ведь это опять на полемику похоже. Что Академия дует — это верно! От нее несет такой метелью, что я сомневаюсь, целы ли Вы там, ей-богу! Хотя у Вас и есть там щит, в образе А. П. Боголюбова, но ведь когда погода разыграется, то все старики отправляются на печку... вот только разве у Вас там печей нет; одно спасение в таком случае, волей-неволей заступится. А шибко она рассердилась. В. к. сам писал — вот тебе раз! уж если еще это не удивительно, так я и не знаю после этого, чему удивляться. Посудите сами — есть Академия, Совет (по крайней мере, полагается), а между тем, что ж, честь значит! Только Вы напрасно полагаете, что исправники на Вас опрокинутся после Вашего возвращения; смею уверить, они еще этого обстоятельства не знают, да, полагаю, и знать не будут, потому что им недоимки надо взыскивать. Ваших вещей прислано из Москвы не было, жаль, но для Вас это, пожалуй, хорошо. Можете себе представить, никто не знает, где искать этого г. Бове [1]. Так и не могли ничего узнать, в этом Вы, конечно, узнаете москвичей! Кстати, москвичи отличились на выстав-

ке — ужас! просто, я Вам доложу, одолжили. Однакож подробно Вы узнаете от К. А. Савицкого, который в настоящее время у меня и скоро едет в Париж. Да, бедняга, стряслась над ним беда.

Что касается Стасова, то вот уж человек, о котором можно сказать: «неисправим, хоть брось!» И что это за удивительная наивность, удивляется, что все удивляются! Как? он написал, подписал, напортил и чорт знает чего наделал, и смеют удивляться? По-моему, он человек честный, это правда, искренний, еще справедливее, а уж добрый, так достовернее всего; но все-таки невозможный, воля Ваша! Хоть бы Вы ему написали, а то он думает, что так и нужно.

Из всей Передвижной выставки я Вам, впрочем, сообщу об одном: Куинджи — это человек, правда, как будто будущий, но если он так начнет шагать, как до сих пор, в эти два раза — признаюсь! немного насчитаешь таких, молодец! Он тут изобразил одну степь с цветами, даже Клодт хвалит, а! Каково! Можете, стало быть, судить [2].

А что такое сделалось с «Пчелой», так я и говорить не хочу — гадость [3]. Это чорт знает что за пройдохи издатели! Позволяли редакторам распоряжаться вплоть до выпуска первого номера и до того времени, пока определилась подписка, а потом повернули по-своему; когда повернули по-своему, тут и начал орудовать еще Прахов. Я кое-что теперь знаю, что такое Прахов. Прежде он для меня был проблема — помните? А теперь я сам знаю, и хотите, я Вам скажу?..

Ваш *И. Крамской*

Выставка наша имела успех решительный. Думаю, что на будущее время, когда и Вам можно принять участие, мы им преподнесем!!..

Жена кланяется, ребятишки понемногу поправляются.

95. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

22 мая н. с. 1875

До чего дожили! Добрейший Иван Николаевич, я еще только собрался отвечать Вам на письмо, которое Вы, вероятно, уже забыли. Да и могу ли я написать теперь что-нибудь интересное отсюда? Я так теперь пригляделся ко всему, что тут делается, так помирился со многими заблуждениями французов, что мне кажется, все это уже в порядке вещей, и я даже открываю и смысл и значение в вещах, казавшихся мне прежде бессмысленными и пустыми, и эта бессмысленность мне кажется уже самой сутью дела; напротив, если проявляются

во мне требования смысла и значения, то я, очнувшись, смеюсь над этим, как над чем-то не идущим к делу. А между тем, события за событиями в нашем мире так и бегут: не успеешь опомниться от разнузданной свободы эмприсионалистов (Манэ [1], Монэ [2] и др.), от их детской правды, как на горизонте шагает гигантскими шагами Фортуни, шагает и увлекает всех; все нации бегут за ним, с готовностью даже погибнуть, отрекшись от самих себя; что тут толковать о своем маленьком таланте, когда перед вами шагает гений XIX века — вперед! Да здравствует Фортуни!!! Прокатился этот громкий гул, еще эхо его слышно едва... Открывается Салон [3]. Давка от людей, лошадей и экипажей, все как следует, и вы там... Боже мой! когда же все это понаделали!! Не говорю уже о маленьких вещах, из которых крикливо рекомендуется *легион* Фортуни, но огромные вещи, гигантского размера!! (какой смысл в них со стороны экономической!!!) и ведь сколько их!!! и диво бы молокососы какие, вроде m-r Беккера [4], Константа [5] и др., — нет, и старик Доре [6] раскачался и замалевал такой огромный холст, какого не замалевывал и Вирте [7]. Однако к крайностям надо попривыкнуть, пойдемте средние вещи глядеть: *Жаке* [8], девица в красном бархатном капоте сидит на стуле из тисненой кожи, чудесная вещь, первый номер выставки. *Гупиль* [9], огромная фигура в натуре, республиканка 1793 года, первый bis. Вибера [10], «Муравей и стрекоза» — просто перл: остроумие, экспрессия, тип, реальность и все достоинства. *Моро* [11] — исторический жанр, Каролюс Дюран [12] все так же великолепен, и проч. и проч. Можно ли все это описать с моей ленью и нетерпеливостью. А вот и наш Харламов. Первое впечатление ужасно невыгодное: коричневая сила (которой добивался В. М. Васнецов в Вятке) и чернота теней свирепствует, нет тела, все погружено в условный коричневый тон, который давно все бросили, однако много есть хорошего [13].

О своей картине [14] не хочу писать, да ее и повесили так высоко, что ничего не разберешь; я опасался за краски и за общий тон, но это не проиграло; в зале литеры R с ней конкурирует только одна вещь по краскам, остальное все ниже в этой зале. А сколько здесь несправедливостей жюри! Сколько принимают они дряни и сколько отказано вещам порядочным!!! Ужас, ужас. Тут везде нужна протекция и знакомства. Выставки и *Салон рефюзе,* в Шато-до [15]. Конечно, многие художники не хотели марать там своего имени, и я знаю много хороших отказанных вещей, знаю ужасную злобу авторов; и то, что там есть, очень красноречиво говорит о бессовестности жюри. Чтоб вещь была повешена невысоко, тоже нужна протекция. У Харламова хорошая протекция: Тургенев

и Виардо[16] пекутся о нем денно и нощно, и он, конечно, получит медаль. «Фигаро»[17] уже писал о нем бессовестно лестно, т. е. называл его первым; бескорыстие этого журнала известно. Харламов здесь, конечно, не виноват, о нем пекутся более опытные люди.

Но это все дрязги и мелочи — мимо.

Третьего дня я получил письмо от вице-консула Северо-Американских Штатов, спрашивает, сколько стоит моя картина, если она продается; я назначил большую цифру, так как за малую я, вероятно, продам и в Россию, ответа еще не было[18]. Я удивляюсь, как он разглядел картину, должно быть с биноклем. По правилам, через три недели вещи перевешивают, верхние вниз, а нижние наверх, по просьбе авторов, я подал эту законную просьбу. Тургенев советовал мне обратиться с просьбой к m-r Viardot, так как г[осподин] перевешивающий его хороший приятель. Но я не обратился к Виардо. Благодаря письмам моим, которые напечатал опрометчиво Стасов, обо мне Тургенев и *иже с ним* стали очень невыгодного мнения[19]; чорт с ними, по некоторой наклонности к подозрительности, я даже приписываю их интриге повеску моей картины. (Полно, так ли? Не очень ли я уж о себе высокого мнения? — Бывает). Но верно то, что европейцы — позитивисты, не брезгают никакими средствами и мелочами, в мелочах жить забавнее.

Поленов получил из Академии резолюцию Совета об его картине невыгодную и вслед за тем получил «Пчелу» с очень выгодной рецензией[20]. Вам это все известно, разумеется. Дошла до нас также «Пчела» с проектами Пушкину[21]. Опекушина[22] чудесный проект! Но что это за карикатура на проект Антокольского!!! Ай, ай, ай, неужели он похож на оригинал? Это чорт знает что. Сидит на стуле в позе Ивана Грозного — нет, это просто непозволительная вещь, и еще чья-то досужая фантазия пустила деревья по фону. Это так же глупо, как проект Шредера[23], этой бессловесной бездарности, который почему-то все еще представляет публике свои глупости.

Ах, да, Вы мне хотели сообщить, что такое Прахов, — жду. Что делает у Вас Савицкий? Скоро ли он приедет?

Ваш *И. Репин*

Я забыл написать об Альма-Тадеме[24], Вотерсе[25] и американце Ейкенсе[26]. Все это *замечательно.* Есть даже «Бурлаки на Ниле», нашего приятеля Бриджимана[27].

Пишите о картинах: Геримского[28], Литовченки[29], Семирадского, Ковалевского и Поленова и еще, если что найдете стоящим описания.

96. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

16 мая [1]875
СПБ

До чего дожили? Вы спрашиваете, добрый мой Илья Ефимович, не знаю; всегда ли свет был так подл, пошл и глуп, как теперь, не знаю, но так, как теперь, — скверно. Думаю, что всегда, по крайней мере судя по истории. Если история и отметила некоторые лица, которые род человеческий подымают из пошлости, то тут же post scriptum прибавляет — умер в бедности, осмеянный, или в изгнании, или еще того хуже; при жизни же ничего кроме ненависти не приобрел. Вероятно, читаете «Опыт биографии Белинского» Пыпина [1]. Слишком красноречиво, чтобы не понимать. К счастью или нет, но мы не французы. Этого никогда забывать не надо. Вы теперь уже не ищете смысла и значения, а если иногда поймаете себя на этом, то смеетесь. Хотя я это понимаю, как возможное и естественное, только не во всех и не всегда, т. е. не как общее правило. Стараться о смысле, искать значения — значит насиловать себя, вернейшая дорога не получить ни того, ни другого, надо, чтобы это лежало натуральным пластом в самой натуре. Надо, чтобы эта нота звучала естественно, не намеренно, органически, оно так, и баста! Не могу иначе. Мир для меня так окрашен; при чем же тут рассуждения? Я утверждаю, что это в славянской натуре. Я утверждаю, что в искусстве русском черта эта проявилась гораздо раньше, чем было выдумано *направление*. И когда оно натурально (а оно натурально), оно неотразимо, роковым образом разовьется. Хотите ли Вы этого или не хотите, а оно так будет, так должно быть. Хотя бы весь свет твердил иначе! Вам небезызвестно то странное явление, что вещь, возбуждавшая хорошие отзывы там, в Париже, за границей, совсем не вызывает того же впечатления в России; отчего это? Вы скажете — мы ребята, и Вы будете правы, но только отчасти. Например, Савицкий удивился, когда увидал вещи Боголюбова здесь на Передвижной выставке, так они показались ему фальшивы. Картина Поленова, говорят, была недурна даже в Салоне, а тут она — общее место, картина, написанная по рецепту, таких там тысячи. После де ла Роша есть уже шаблон, как надо написать драму. И это знаете почему? Вы удивитесь, когда я скажу, Вы скажете — парадокс! Потому что у нас нет еще множества тысяч картин. Натуральное чувство зрителя, нося зерно здорового (еще не тронутого культурой, так сказать) идеала, ищет, прежде всего, полного выражения этого идеала, не находит и отворачивается. Вы

скажете, по какому же праву? что они знают? А просто по праву невежи, еще не тронутого книгами. Кого всего труднее удовлетворить? Людей, стоящих на двух противоположных полюсах развития: простого, но умного мужика и человека высокопросвещенного. Вот когда мы станем вместо сотен зрителей иметь миллионы, когда эти миллионы свиней и пошляков внесут свои вкусы, понятия, желания в искусство, тогда, и только тогда каждая сторона искусства найдет свою публику. Вы принимаете голос Парижа, т. е. города, за голос всего человечества, так как кто же во всех частях света не читает парижских газет? — это все-таки то же самое. Понятно, слава в Париже — всесветная слава Но как же проверить, что именно нравится действительно, что производит впечатление и какое? Ведь зритель не записывает своих впечатлений, да он им зачастую даже и не доверяет, думает: я не знаю, не понимаю. Говорят только газеты, но ведь мы уже теперь знаем, что такое газета, и знаем даже, что публику можно настроить искусственно. За границей это возведено в высокую систему, да и у нас уже пробуют то же — еще неумело, но попытки есть, и я надеюсь, что в этом-то мы не отстанем, а не то помогут более *опытные люди*. Но мы это оставим.

Что касается до гениев, то, разумеется, для них, как и для дураков, — закон не писан. Фортуни увлек всех, естественно. Так как он пишет натурально, еще бы не увлечь. Я видел его одну вещь, которую купил Боткин [2]. Совершенно понимаю, что он нравится больше всех, он пишет наивно, натурально и, стало быть, оригинально. Только он не сродни нам, а понимать его я могу.

Что касается до Харламова, то я вот что скажу: поживем — увидим. Когда он приедет в Россию, да поживет здесь годика три, да останется на собственных ногах, т. е. когда ему нужно будет иметь дело с русской публикой, с невеждами, когда возле не будет оригиналов — тогда увидим. Ведь у нас нельзя тянуть одну ноту вечно, нельзя Петра и Вавилу писать одними красками, нам он скоро надоест. Его репутация не для нас. У нас еще нет, как и говорил выше, публики настолько воспитанной, чтобы давать славу за *свою* манеру, за одну специальность. Мы хотим, чтобы художник, претендующий на первенство, писал одного так, другого иначе, третьего опять иначе, словом, придется публику обругать и уехать опять под благословенные небеса. Но я думаю, что он не дурак и останется там навсегда, — с богом! У нас, странное дело, даже Семирадский уже не поражает; а между тем его теперешняя вещь гораздо лучше написана предыдущих [3];

говорят — глупо! Вот поди ж ты! Нет, на нас угодить трудно!!! Очень трудно!!!

Вы просите, чтобы я Вам сообщил о картинах Геримского и других, но что же я Вам скажу, если Семирадский уже больше не поражает (а Вы помните, как он привез «Грешницу» [4]?), Литовченко глуп был всегда, как Вы знаете, но чтобы он был дурак до такой степени, этого я даже не догадывался, а я его знаю [5]. Ковалевский хорошо рисует, даже стал лучше писать, немного, но — без нерва [6]. Поленов решительно хорошо чувствует краску, хотя есть и поползновение составить свою заученную палитру, не знаю, как дальше будет, но опасность есть, и, кроме того, совсем не чувствует необходимости передавать каждую материю своим языком. Камень вошел и в волоса, и в тело, и в бархат, и в траву... да, впрочем, что же я Вам расписываю, когда Вы и сами знаете [7]!.. Вот Геримский дело другое. У этого человека решительный талант, и крупный, только пишет он невозможно. Напоминает нашу Русь матушку по черноте и бесколерности, да еще вдобавок с каким больным фиолетовым тоном, даже чернилами, но рельеф понимает, экспрессию тоже, а уж сила, так я Вам скажу! Вероятно, искал у кого-нибудь краски чернее черной. Что касается до содержания, идеи... то... как бы Вам это сказать... Знаете, оно так, когда человек совершенно равнодушен ко всему и все равно что бы ни писать [8]. Отечества нет, т. е. оно и есть, да по каким-нибудь обстоятельствам неудобно говорить откровенно, ну и болтается человек на нейтральной почве. Это совсем не то, что Матейко; я недавно видел фотографию со «Стефана Батория» [9]. Это, я Вам доложу, так и чувствуешь, что у этого человека клокочет в груди; говорят, только скверно пишет. Для Прахова места не осталось как следует сообщить. Ну, хоть немножко, чтобы не должать. Я к нему давно присматриваюсь: що воно такэ? Только, знаете, теперь совестно собственной тревоги. А почему я такое внимание оказал? Только потому, что Вы уж очень об нем отзывались. Есть люди знающие, понимающие, даже, пожалуй, неглупые, но им нужно угадать больше всего направление будущего ветра, чтобы запеть прежде всех. Не знаю, как другие, а я его уже не боюсь. Чорт с ним совсем! Когда я прочел его статью в «Пчеле» о Передвижной выставке, я почувствовал глубокое омерзение, я говорю прямо, потому, что там увидал лесть себе, и лесть тем более опасную, что нашлись люди, которые находили это справедливым [10]. Но, слава богу, я еще не совсем глуп, я только удвоил осторожность и бдительность и не раскаиваюсь. Я был свидетелем очень наивного признания. Ну, да это, впрочем, дело посто-

роннее. Как бы то ни было, а Прахов не имеет, что называется, ни стыда, ни совести, т. е. руководящей идеи. Куда он идет, что признает, какому богу молится? — не разберешь. Вы видите, дорогой Илья Ефимович, что я все тот же наивный человек, все еще о боге помышляю, и признаю — еще нужно молиться. Я понимаю, что я очень отстал от века... но... Нельзя же без глубокой иронии и оскорбления относиться к тому, что лезет наверх, орет и паясничает. Впрочем... молчание!

Ох, чувствую, что надо сообщить и об Антокольском! Но как? Надо рассказать дело по порядку. Иначе не понять. Вся эта история поучительная. Когда он привез проект из Москвы, то, не знаю с чего, устроил обед, и, каюсь, я был там. Нас было четверо: он, я, Прахов и... Максимов! Ну, пообедали хорошо! Кости ближним вымыли и разошлись. На другой день я видел проект. Детская лепка, но присутствие таланта большое, исключая Пушкина, фигура которого не годится никуда, что я ему и сказал. Он говорит, что он хотел его представить *царем!* Ну и пусть. Фигуры героев поэзии Пушкина мне понравились, не всех, положим, но ведь это эскиз: я знаю, что он способен вложить при окончании, т. е. что он должен вложить! Ну, хорошо, говорю, положим, так! Только я, к сожалению, стою на другой точке зрения, и скажу, что если это будет исполнено, и исполнено превосходно, я не сомневаюсь, то это будет памятник Антокольскому, а уж никак не Пушкину. «Это почему?» — «Да потому, что здесь больше всего проглядывает Ваше личное воззрение на Пушкина, которое еще подлежит критике, и чем Вы руководствовались, изображая этих лиц, а не других? Почему, например, Борис Годунов занимает первое место? Потому ли, что он, по-Вашему, самое великое создание Пушкина, или потому, что он Вам дает возможность выказать свой драматический талант? Словом, вопросов бездна; и их чем дальше, будет все больше и больше; и что недаром греки и римляне оставили нам указания в известном смысле. Они своих великих людей воспроизводили в живых портретах, и вот прошло две тысячи лет, а Софокл [11] нисколько не смешон и теперь. Тогда как самые остроумные комбинации для сегодняшнего дня не переживают и пятидесяти лет и становятся свидетельством наивности современников. Возьмите, что хотите... даже гениальный «Петр» Фальконета [12] и тот теперь возбуждает сожаление, почему он римский император, а не такой, каким все его видели в действительности. И потому, я говорю, Вы на меня смотрите, как на человека, для которого невозможна Ваша точка зрения. Я понимаю, что это талантливо, чрезвычайно, может быть интересно где-нибудь в парке, при фантастическом освещении

(как он хотел), но решительно невозможно на улице, на площади, где снуют тысячи народа, солнце во все глаза, пыль, шум... и вдруг — видения; и потом, как Вы это сделаете? Мистицизм и спиритизм в Москве, днем, на Тверской площади?!» И потом довершил все Стасов. Это сокрушительный человек! Опекушин недурен, и он избран и уже утвержден комиссией. Предстоит, однакож, большая возня с пьедесталом. Вся история как будто жалостная. Столько шуму! Антокольский желает делать проект, приостановитесь, Комитет печатно благодарит, Антокольский сделал и Стасов разблаговестил, что будет *позорно,* если этот проект не исполнят! И вдруг! Как хотите, а нехорошо почувствовать самому себя великим человеком. Великий человек и дурак сходны для толпы. А хорошо, если бы Вы продали Вашу картину [13] там. Я бы порадовался! Право. Жму крепко руку и жене Вашей кланяюсь.

И. Крамской

97. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

1/13 июня 1875

Добрейший Иван Николаевич!

Наступает у нас летнее затишье, все почти поразъехались: Боголюбов в Францисбад, Татищев [1] в Висбаден, Поленов в Виши, и проч. и проч., так что теперь я почти один в Париже. А окончился сезон весело, мы заключили его в Лондоне [2], где пробыли восемь дней, очень удачно, остались по уши довольны всеми его замечательностями, даже стало надоедать под конец толканье изо дня в день. А в искусстве англичане не дремлют, есть и по этой отрасли вещи капитальные. Парижский Салон почти кончается, хотя народу все еще страшно много ходит. Медали уже роздали, возмутительно несправедливо! Просто бессовестно! Харламову не дали (он всячески стоил 3-й) и ни одному иностранцу. Французы начинают быть патриотами до подлости. Это не предвещает им особенных благ.

Мою картину, после моей просьбы, перевесили, только еще на пол-аршина выше (прячут, чтобы не сглазили). Ответа я не получил от Гопера, должно быть, ему показалась цена высока.

К осени пришлю в Питер, теперь не стоит, будет валяться где-нибудь, попортят.

Последняя картина Поленова, о которой Вы пишете [3], не была в Салоне, в Салоне была другая («Le droit de Senieur» [4]). Он ее продал Третьякову. Насчет изменяемости

картин в других странах и обстановках я совершенно согласен с Вами, но вещи, посланные к Вам, и здесь не были перлы, и авторы их не пользуются здесь славой. Сколько мне приходилось расспрашивать французов художников, они о Харлам[ове], например, невысокого мнения, говорят, что он не бездарен, но у него много фиселей (фокусов). Он работает много слишком, тяжеловато и не просто, что особенно они ценят теперь; да, он действительно взял те приемы, которые они уже бросили давно; посмотрите на *Каролюс Дюрана, на Деталя* [5], они удивительно просты, и *Коро* благодаря только наивности и простоте пользуется такой огромной славой (теперь выставка его вещей в Академии, — есть восхитительные вещи по простоте, правде, поэзии и наивности, есть даже фигуры и превосходные по колориту).

Каролюс Дюран ужасно свысока отозвался о Харламове, он его даже художником не считает. Знал бы это Тургенев! Он так дрожит перед авторитетом французов!!!

Что бы мне еще насплетничать? В затишье всегда хорошо и со вкусом сплетничается... Ах да, что же это Савицкий-то не едет, да не едет, что это он? Антокольский приедет сюда, говорят, в июле... и Стасов приедет, время дрянное выбрали, чтоб было на выставку. С чего Вы это взяли, что я Вам про Прахова много напевал? Когда это было?

Итак, Семирадский уже более не поражает!!! Это, однакож, страшно, мне представляется наша публика похожей на римскую, которую уже не поражала кровь на арене. Да, здесь гораздо легче знаменитостям; раз создал себе стиль, он уже держится его, как *вошь кожуха*, — еще бы, запрос, запрос именно на этот стиль, на *имя* для галлерей всего старого и особенно нового света. А у нас поди разоряйся каждый раз сызнова, чтобы не напоминать о своем существовании!!! *Художники мечутся от сюжета к сюжету, от направления к направлению,* писал про нас англичанин: «у них еще не выработалась своя школа». И действительно, таланты самобытные, твердые и у нас даже повторяются, т. е. работают все в том же роде.

А что это Вы про Лемоха ничего не писали? В «Пчеле» так много про него написано [6].

Софье Николаевне мой нижайший поклон, и жена моя вам обоим кланяется.

Ваш *И. Репин*

Да, зиму еще мне придется остаться здесь, да хорошо еще, если в лето и зиму я покончу свою картину [7]; не везти же ее не оконченной.

А что поделывают Ге, Мясоедов, Шишкин?

Заявляет ли себя Чистяков?

А, в сущности, много ли времени прошло, всего два года, а кажется, так давно, давно.

Скучнее всего мне за русским народом и за Малороссией. Выйдешь на улицу, говорят французы свои одни и те же фразы. Ехать в кампанию на лето не могу, надоело, нет свободы в природе и в людях. Буду уж корпеть в Париже лето, буду работать. Да оно в Париже и не особенно душно и жарко. Улицы широкие, зелени много, да и дождики частенько перепадают; орошают отлично и без дождиков.

98. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

20 августа 1875 г.
СПБ

Говоря по совести, дорогой Илья Ефимович, я поступил с Вами по-свински. Но так как все русские люди поступают часто таким же образом, то Вам и неудивительно? Если это в данном случае правда, то я могу с легкостью продолжать, для приличия нагородив с три короба причин уважительных. Итак, вот они, уважительные причины: получив Ваше письмо от 14 июня (более двух месяцев назад), я все собирался, собирался... и собирался до сих пор — до приезда в Петербург Куинджи. (Каков! летает-то!) Но вот видите ли: сначала собирался потому, что нужно было кончить (и начать) два повторения для цесаревича, и в конце июля они были кончены, потом счеты, объяснения с гофмаршалом и так далее, очень трудные и неприятные; потом поступление детей в гимназию (ого! вот сколько времени!), и, наконец, времени так много ушло в молчании, что нужно было какое-либо событие, чтобы я исполнил что следует. Таким событием могло быть или новое письмо от Вас или что-либо экстраординарное. Письма от Вас я, при всей наивности, не мог ждать, так как очень хорошо знал, что получить его не заслуживаю; оставалось исключительное обстоятельство — оно и представилось в виде Грека, который воротился в Петербург женатым, что меня несказанно радует по многим причинам. Сделав это, быть может, ненужное предисловие, продолжаю!

Когда здесь был Савицкий, я рассчитывал вырваться на неделю в Париж, собственно на выставку, если кончу портрет цесаревича скоро; но расчеты мои разлетелись прахом, так как только в первых числах июня я имел последние сеансы, затем оставалось привести его в порядок да повторить два

раза (правда, поясных), как писал уже, — стало быть, не поехал. Лето все был на привязи, и оно пропало самым глупым образом. Теперь, когда все кончено, я приступаю к новой ломке в своей жизни и карьере: я исчезаю из Питера — невмоготу. Сначала еду на Восток, потом в Италию и к весне буду в Париже, и все это для той картины, знаете, «Хохот». Ликвидирую дела здесь совсем; где буду, что буду делать — знаю и в то же время не знаю, но для Петербурга я погибшее создание. Уже который раз в моей жизни происходят переломы, по счету моему — в третий, что ж тут делать, судьба. А работы-то сколько в России — подумать страшно. А сколько нас? Сочтите-ка; и что это такое совершается с нами, русскими людьми?! Удивительно, устраиваем, расстраиваем, опять расстраиваем, и так без конца. Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. И что это мы? Сидим дома, скверно, тесно, вырваться бы! Вырвался, тоскуешь, домой бы! Сказочка про белого бычка. Одно утешительно, Вы ничего не понимаете во всей этой кутерьме; да оно и не важно. Дело в том, что с октября меня в Петербурге уже не будет. Но это хотя и не секрет, однакож знают *суть* немногие, да и знать им незачем. Ну, нету и только — беда не велика, место очистится. Поговорили всласть с глубокомысленным Греком; я покатывался со смеху, когда он излагал свои взгляды на Европу, искусство, Фортуни, Коро и прочее... и только спрашивал: «И Вы так там (в Париже то есть) прямо и говорили?» — «И говорил!» — «Чудесно!» Нет, воля Ваша — у нас решительно есть будущность. Это несомненно, как день. В самом деле, что такое законодательство в искусстве Франции? Впрочем, ничего, молчание до личных объяснений.

Вот теперь чего надо коснуться, и только коснуться, а не рассуждать, потому что я Вашей картины не видал. Вы мне не говорили о сюжете своей картины, я только слышал о ней. Хорошо. Я одного не понимаю, как могло случиться, что Вы это писали? Не правда ли, нахальный приступ? Ничего, чем больше уважаешь и любишь человека, тем обязательнее сказать прямо. Я думал, что у Вас сидит совершенно окрепшее убеждение относительно главных положений искусства, его средств и специально народная струна. Что ни говорите, а искусство не наука, оно только тогда сильно, когда национально. Вы скажете, а общечеловеческое? Да, но ведь оно, это общечеловеческое, пробивается в искусстве только сквозь национальную форму, а если и есть космополитические, международные мотивы, то они все лежат далеко в древности, от которой все народы одинаково далеко отстоят, это раз, да кроме того, они тем удобны, что их всякий обрабатывает на

свой манер, не боясь быть уличенным. Что касается теперь текущей жизни, то человек, у которого течет в жилах хохлацкая кровь, наиболее способен (потому что понимает это без усилий) изобразить тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток. Я не скажу, чтобы это не был сюжет, еще какой! только не для нас; нужно с колыбели слушать шансонетки, нужно, чтобы несколько поколений раньше нашего появления на свет упражнялись в проделывании разных штук, словом, надо быть французом. Короче, искусство до такой степени заключается в форме, что только от этой формы зависит и идея. Фортуни на Западе — явление совершенно нормальное, понятное, хотя и не величественное, а потому и мало достойное подражания. Ведь Фортуни есть, правда, последнее слово, но чего? наклонностей и вкусов денежной буржуазии. Какие у буржуазии идеалы? что она любит? к чему стремится? о чем больше всего хлопочет? Награбив с народа денег, она хочет наслаждаться — это понятно. Ну, подавай мне такую и музыку, такое искусство, такую политику и такую религию (если без нее уже нельзя), вот откуда эти баснословные деньги за картины. Разве ей понятны другие инстинкты? Разве Вы не видите, что вещи гораздо более капитальные оплачиваются дешевле. Оно и быть иначе не может. Разве Патти [1] — сердце? да и зачем ей это, когда искусство буржуазии заключается именно в отрицании этого комочка мяса, оно мешает сколачивать деньгу; при нем неудобно снимать рубашку с бедняка посредством биржевых проделок. Долой его, к чорту! Давайте мне виртуоза, чтобы кисть его изгибалась, как змея, и всегда готова была догадаться, в каком настроении повелитель. Но что же? Разве это мешает явиться человеку, у которого вкусы будут разниться от денежных людей? Нет, не мешает, только буржуазия не так глупа, чтобы не распознать иностранца, у которого акцент не может быть совершенно чист, и это ей дает право пройти мимо, не обратив внимания. Случись же такая ошибка, скажу больше, скандал с их кровным художником, — послушали бы Вы, чем такого художника угостила бы печать, состоящая на откупу у буржуазии. Единственная струнка, доступная буржуазии, относящаяся к числу благородных (и то сомнительно), — это жажда мести за победы немцев, — отсюда и достоинство Невиля [2] и подобных ему. Итак, написать плохо Вы не могли, но написать так, как нужно, Вы тоже не могли. Вы провинциал, попавший в столицу, — Вы видите, что дело неладно, одно Вас оскорбляет, другое отвратительно, а между тем цинически лезет напоказ! Но Вы еще не умеете говорить тем языком, каким все говорят, и потому Вы не можете обра-

тить внимание французов на свои мысли, а только на свой язык, выражения и манеры. Не обижайтесь на меня, дорогой мой, думаю, что в моих словах ничего неприятного и не заключается; если есть ошибки — полемизируйте [3].

Кланяюсь жене и напишите

глубоко Вас уважающему *И. Крамскому*

Если можно, узнайте: отослал ли Панмакер [4] в Россию доску с моей картины «Христа» для «Пчелы», и если не отослал, то задержите, я вышлю что будет стоить.

99. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

29 августа 1875 г.
Paris, 12, Rue Lépic

Не ошибаетесь ли Вы, дорогой Иван Николаевич, что покидаете Питер навсегда? Если Вы его променяете на Москву, то Вы еще не особенно много потеряете, но если Вы думаете прокладывать себе дорогу в Европе, бросив окончательно Россию, то Вы совершенно ошибетесь во всех Ваших расчетах и пострадаете жестоко, в чем я глубоко убежден (если Вы не имеете огромного капитала в запасе). Европа нами не нуждается, у нее много своих, гораздо сильнейших и более понятных и удовлетворительных для нее. Вот Маковский [1], напр., человек ловкий, изворотливый, а страдает здесь и уже подумывает восвояси; трудно...

Приехать и пожить полгода в Париже было бы для Вас хорошо, но ничего более; а впрочем, Вы человек с умом и с энергией — успокаиваюсь.

Что же касается глубокомысленного Грека, которого я очень люблю, то это все правда, он так и говорил здесь: некоторых это ошеломляло, некоторые только улыбались иронически, а я был им очень доволен и рад ему, потому больше, что я люблю его широкую приземистую фигуру, его восточно-персидский склад ума, его самобытный взгляд на вещи; это все так очаровало меня, что я сейчас же погрузился в восточный сон, в котором спит и грезит много русских, так как и они тоже дети Востока. Чудесные грезы! Мы воображаем себя тогда непобедимыми героями, мы делали такие вещи, которые удивляют и изумляют весь мир; одни мы несемся тогда грандиозно над меркантильной Европой, храня олимпийское величие и бросая направо и налево наши творения, наши мысли, перед которыми все благоговейно падает во прах. Может ли что-нибудь удовлетворить вас в этот высший

момент нашей жизни?!! Но проходит действие одуряющего гашиша, возникает трезвая, холодная критика ума и неумолимо требует судить только сравнением, только чистоганом, — товар лицом подавай, бредни в сторону, обещаниям не верят, а считается только наличный капитал... Увы! Мы все прокурили на одуряющий кальян; что есть, все это бедно, слабо, неумело; мысль наша, гигантски возбужденная благородным кальяном, не выразилась и одной сотой, она непонятна и смешна... сравнения не выдерживает... Еще бы, европейцев так много! Они ограничены, но они работают очертя голову — их практика опережает их мысль, они уже давно работают воображением; отбросив ненужные мелочи, ищут и бьют только на общее впечатление, нам еще мало понятное; так мы еще детски преданы только мелочам и деталям, и только на них основываем достоинство вещей, имеющих совсем другое значение. Действительно, у нас есть еще будущее: нам предстоит еще дойти до понимания тех результатов, которые уже давным-давно изобретены европейцами и поставлены напоказ всем. Вот Вам и законодательство Франции в искусстве, и вся Европа только и подымается ее законодательством (Мюнхен и проч.).

Коснемся теперь «относительно главных положений искусства, его средств», этого вопроса действительно можно только касаться в разное время, так как это самые неположительные и переменчивые явления; что для одного века, даже поколения, считалось установившимся правилом, неопровержимой истиной, то для последующих уже никуда не годилось и было смешной рутиной. Средства искусства еще более скоро переходящи и еще более зависят от темперамента каждого художника... Как же тут установить «главные положения искусства, его средства»; не говоря уже для других, сами мы иногда бросаем завтра, как негодное, то, чему вчера еще предавались с таким жаром, с таким восторгом. И почему это человек, у которого в жилах течет хохлацкая кровь, должен изображать только дикие организмы?! («потому что понимает это без усилий». — Да почему бы ему и не понатужиться иной раз, чтобы сделать то, что он хочет, что его поразило?). «Специально народная струна!» Да разве она зависит от сюжета? Если она есть в субъекте, то он выразит ее во всем, за что бы он ни принялся; он от нее уж не властен отделаться, и его картинка Парижа будет с точки зрения хохла; и незачем ему с колыбели слушать шансонетки и быть непременно французом; тогда была бы уже другая картина, другая песня; «короче, *от этой формы зависит и идея»*.

Ваши догадки о Фортуни в связи с буржуазией припахи-

вают тем, что называется от себя (в искусстве). Буржуазия о Фортуни не имеет ни малейшего понятия, она знает только поразившие ее цифры при аукционе его последних, недоконченных вещей и только с этих пор поговорила о нем немного; слава его сделана, главным образом, *художниками всего света,* которые и разносят эту славу во все концы нашей планеты; они сами (кто побогаче) раскупили большинство его набросков, за огромные деньги, как редкость, как бриллианты. Все дело в таланте испанца, самобытном и оригинальном и красивом, а к чему тут буржуазия, которая в искусстве ни шиша не понимает. Вы также собственным умом дошли до того, чтобы не задумавшись бросить комком грязи в Невиля, этого благородного рыцаря, который сам гусар и воспевает дела, в которых он сам рисковал жизнью. Посмотрели бы Вы, с какой поражающей правдой, с какой дьявольской энергией, оригинальностью, как сама натура, и горячим интересом ему близкого дела пишет он свои картины — буржуазия!.. Куинджи оригинальный человек, но, право, недолго уподобиться некоторой особе, которая на заднем дворе Европы нашла только навоз да сор. Вы чистый провинциал, Иван Николаевич, в Ваших догадках о неуспехе моей картины о каком-то языке говорите и проч., а дело было гораздо проще: она была повешена так высоко, что рассмотреть ее не было возможности — вот и все. Вы воображаете наши выставки, которые в полчаса можно осмотреть со всем ее хламом! Тут и хорошие, выдающиеся вещи открываешь каждый день вновь в продолжение целого месяца; да это, представьте себе, это мы, художники, таскающиеся туда всякий день; а буржуазия-то ведь пройдет в первый день открытия, да еще в первый день по присуждению медалей, где же ей рассмотреть три тысячи номеров, да еще и те даже, которые помещены на 8 аршинах высоты. И даже насчет языка Вы ошибаетесь: язык, которым говорят все, мало интересен, напротив, язык оригинальный всегда замечается скорей, и пример есть чудесный: *Manet* и все эмприсионалисты.

Я решительно не понимаю, какой это со мной скандал произошел! Разве я претендовал здесь на фурор? Разве я мечтал затмить всех? Я только очень желал посмотреть свою работу в сравнении с другими, для собственных технических назиданий и был в восторге, что ее не отказали в числе 5000, из которых много было весьма порядочных вещей. Что она не понравилась Куинджи? Да ведь и я сам о ней невысокого мнения, как и о прочих работах своих, а ошибки и скандала все-таки не вижу никакого; и никогда, сколько мне помнится, я не давал клятву писать только дикие организмы, нет, я хочу

писать всех, которые произведут на меня впечатление, все мы происходим от Адама, и, собственно говоря, разница между нациями уже не так поразительна и недоступна для понимания. Итак, теперь нетрудно Вам понять, почему я писал *это*. Что другое мог я писать здесь? Диких организмов здесь нет, истории я пока все еще не люблю (т. е. не русской), а русскую здесь писать нельзя, сами знаете, да что за важность, если и вышла ошибка, нельзя же без ошибок. А может быть, окажется еще и не ошибкой впоследствии, во всяком случае для меня она была многим полезна, и даже, представьте себе, от художников здешних, знакомясь, я получаю комплименты, но это, конечно, деликатность.

Признаться, Ваше письмо произвело на меня странное впечатление, вот как оно у меня рисуется: Вам показалось, что я, разбитый наголову, бегу с поля сражения (хотя Вы не знаете, за что я сражался). Вы кричите: ату его! ату его! Но вообразите Вашу ошибку: я стою спокойно, во всеоружии на своем посту и мог бы Вам значительно отплатить за Ваш неуместный крик, но я Вас слишком уважаю и люблю, да притом же Вы ведь только пошутили.

Кланяюсь Софье Николаевне.

Глубоко уважающий Вас *И. Репин*

100. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

10 сентября 1875
Москва

Письмо Ваше, дорогой Илья Ефимович, я получил в то время, когда я выходил из квартиры своей с чемоданом в руках, чтобы ехать в Москву, где пробуду еще дней пять, и потом назад.

В письме Вашем, вместе с обыкновенными и милыми строками, есть несколько многозначительных, а потому я буду отвечать последовательно и по пунктам, чтобы Вы живее себе представили в памяти, на что я именно отвечаю.

Петербург я ни на что не меняю, я сказал, что исчезаю из него, это значит — только на некоторое... очень, правда, неопределенное время; кроме того, я что-то такое сказал еще и о карьере (кажется!), но это не значит, однакож, что желаю ее начать в Европе. Во-первых, я не чувствую себя еще великим человеком, а, напротив, теперь больше чем когда-нибудь ясно понимаю, что за штука такая величие, а во-вторых, я не

утратил окончательно памяти и помню очень хорошо свои собственные проповеди на этот счет; а в том, что Европа во мне не нуждается, я был убежден, вероятно, еще до своего рождения, потому что, сколько я себя помню, убеждение это было во мне готово; а потому, в связи с Вашим лестным для меня взглядом на мою особу, как человека с умом и энергией, Вы сугубо можете успокоиться. Относительно же слабости воображать себя народом, имеющим будущность, можно только сказать, что мысли подобного сорта не наносят обиды Западу! Вы скажете — но самообольщают нас; может быть, тут и правда есть, даже наверное; но что делать, когда молодая особь начинает сознавать в себе некоторые склонности, отличительные от других себе подобных; в том, что я думаю, что русские внесут некоторую долю в общее достояние и что теперь очередь за ними, нет никакого противоречия с логикой вещей. Вы видите из этого, что я принадлежу к партии славянофилов, блаженной памяти; но это не беда. До сих пор это не мешало еще мне смотреть в оба, а не спать. Вы смотрите на это иными глазами. Вам это кажется грезами и одуряющим гашишем — зависит от натуры: на одного мысли эти действуют усыпляющим образом, на другого обратно — он становится еще внимательнее, сознавая ответственность перед самим собою, еще строже он работает и думает; но если уж сказать что-нибудь о гашише, то, сколько мне известно из источников достоверных, во Франции именно и частью в Англии, в классах, обладающих и образованием и достатком, гашиш очень употребляют; неправда, небось? Оно, положим, Вы говорите о гашише иносказательном, так сказать, но ведь и реальный гашиш штука некрасивая и употребляется уже тогда, когда организм поврежден; но, впрочем, все это, в сущности, ничего не доказывает. Что я думаю так, как думаю, беда небольшая — плохо будет, когда я оглохну и ослепну, — до сих же пор я, слава богу, настороже; что я вздумал побеседовать с Вами о том, виною тому Грек, он, ей-богу, симпатичный, как и Вы говорите, не любить его нельзя, а кого любишь, на ошибки не обращаешь внимания, а случается и больше. Вот *«главные положения искусства»*—статья иная. Тут нельзя сказать: люблю или нет, хочется или нет, а они, эти проклятые *законы*, существуют помимо моего и Вашего личного вкуса и темперамента. С ними приходится ведаться всю жизнь: не сумел им подчиниться — погиб, а поскольку каждый из нас в состоянии их понять и свободно подчиниться им — настолько долговечен; хотя темперамент и вкус играют роль проводников — телеграфных проволок, но только проводников — ни больше, ни меньше. Это неприятно — согласен,

мешает своеволию — более того, согласен, это, наконец, надоедает, чорт побери, как старая богомольная старуха, — верно, а они, законы эти, все-таки есть, были и будут. И тут нет противоречия, несмотря на то, что я в первом письме поставил смысл картины в зависимость от характера человека, и не только от характера, но и от нации. Вы говорите, что теперь уже не так велика разница между нациями — будто? В городах это, пожалуй, верно, а если взять массу, миллионы, то... призадумаешься решить. Не согласны? Жаль, а мне позвольте остаться при своем. Однакож, несмотря и на это разногласие, я не вижу причины ни к охлаждению, ни к насмешкам. Что такое Фортуни, нам с Вами будет немудрено решить к обоюдному согласию, тем более, что Вы имеете на своей стороне *художников всего света,* авторитет, перед которым я должен был бы смириться, но... Вы все-таки ошибаетесь, выделяя их из буржуазии, они суть, за малым исключением, плоть от плоти и кость от костей ее. Мое выражение, что Фортуни есть высшая точка, идеал представлений о художнике буржуазии, Вы приурочили к люду, специально теперь населяющему Париж и шатающемуся там; но ведь масса буржуазии могла ни разу не слышать имени его, а он, Фортуни, быть их выразителем. Я понимаю, что рискованно говорить что-либо против в то время, когда все хором твердят другое, и даже хотя бы не противоречие, а только выразить сомнение, что, дескать, действительно ли он есть гений XIX века? Достаточно, чтобы на главу дерзкого обрушились громы. Кроме того, я усложнил дело еще и тем обстоятельством, что отнес художников всего света к буржуазии? Но эти вещи мне уже будет совестно доказывать Вам. Говорю это с истинным и глубоким уважением к Вам, этого и доказывать не буду. Самое важное это то, что я не видал Фортуни, а сужу. Но, во-первых, видел один оригинал, две акварели и множество офортов, кроме того, огромные и превосходные фотографии со всех его вещей. Охотно отдаю Вам технику, но что до главного, то позвольте думать, что он величайший из великих буржуазных художников. Мало этого Вам? Неужели Вам бы хотелось, чтобы я признал его еще и великим в настоящем смысле? Пусть я ничего не понимаю, пусть останусь азиатцем за это, что делать, не могу иначе смотреть. Гораздо серьезнее этого то место Вашего письма, где Вы говорите, что я *«собственным умом дошел до того, что, не задумавшись, бросил комком грязи в Невиля».* Это уж напрасно! После этого я могу не считать роскошью, чтобы письма мои читались внимательнее; не я ли его-то именно и выделил из всех, а что и тут примешалась та же буржуазия и прочее, то все-таки в этом не было

грязи. Я убежден, что, хладнокровно посмотревши мое письмо, Вы не скажете, чтобы я бросал в него грязью; уверяю Вас, я не святоша, самодовольное невежество мне незнакомо, и думаю, что уподобиться особе, отыскивающей только навоз да сор всюду, время для меня не наступило. Мнения мои могут казаться провинциальными и даже быть ими (относительно искусства) — это меня нисколько не сокрушает. Если судить по аналогии, то придется сказать, что мнения и симпатии провинциалов решительно здоровее и даже прогрессивнее столичных во всем, что касается главных сторон народной жизни: хозяйства, образования и суда и многого другого. Да и кто же двигает дело? Столицы? Ошибаетесь — провинциалы, попавшие в столицу, потому что они хорошо знают ту жизнь, на которую надо действовать, они носят в себе сознательные требования, что и как должно быть сделано. И только такие реальные люди, как провинциалы, и могут что-нибудь сделать путное; в столицах же, по необходимости, чувство начинает служить буржуазии, и человек привыкает смотреть чрез маленькое окошечко и воображать себя на вершине требований времени, и даже сердиться, что существуют другие требования там, где-то внизу, в провинции. В столицах плетут кружева (иначе нельзя, впрочем) художественные, да и только. Скажите, у кого из современных художников есть такая страшная историческая пружина, кроме Матейко. Его картин не видал тоже, но видел фотографии со «Стефана Батория, принимающего послов». Подавляющее понимание истории (т. е. живых лиц!). А ведь он не больше, как провинциал, перед... Фортуни. Если, чего доброго, он захочет писать получше, т. е. так, как теперь обязательно даже для гимназистов, то думаю, что дело не пойдет. Не технические задачи двигают технику, а преследование олицетворения представлений; но так как я начинаю впадать в надоевшее достаточно красноречие, то... умолкаю. Пропускаю совершенно место о Вашей картине, потому что я должен был понять, что Вам ничего другого не оставалось делать, как только то, что Вы сделали. Прошу извинить, говорю это совершенно искренне и с глубоким сожалением о своей глупости. А все же я могу себе представить выставку парижскую, не смешивая ее с нашею петербургскою. Вообразим на минуту Эрмитаж с пятью тысячами картин, и дело станет ясно. Но не это я имею Вам сказать, а то, что Вы еще одного места не поняли в моем письме (или уж я его написал так безобразно, что подлежу повешению). Это именно о скандале, будто бы произошедшем с Вами. И не думал! Там стоит вот что: «Посмотрели бы Вы, что за скандал произошел *бы, если бы* идея Вашей картины была *бы* реализована *чистым*

парижанином (если бы таковой был способен, впрочем, до этого подняться), если *бы* эта картина могла беспощадно, неумолимо поднять в буржуазии (говорю опять это слово) представление о действительной мерзости, в которой общество начинает полоскаться, все заорало бы: «Разбой! Это не дело искусства! Куда оно суется! Это чорт знает что такое!..» Словом, скандал благородный! Ваша заключительная приписка о том, какое я принял положение при Вашей какой-то неудаче (во всем письме нет на это и намека) и что я начал кричать: «ату его! ату его!», может быть отнесена мною на свою голову и поставлена в вину только потому разве, что, вероятно, я написал письмо, окончательно неудобное для понимания. И потом, неужели у Вас не заронилось подозрения; да способен ли я на это? сколько Вы меня знаете. Я совершенно спокоен, что я не заслуживаю *«оплаты за неуместный крик»*, потому, собственно, что я такового не издавал. Во всяком случае, прошу Вас, что Вы найдете, по вторичном прочтении, в моем письме, сообщите, пожалуйста. Я знаю, что это скучно, но, право, ввиду впечатления, которое оно на Вас сделало, мне важно, что Вы скажете теперь.

Уважающий Вас глубоко *И. Крамской*

101. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

14 сентября 1875

В прошлом письме я ничего не мог ответить Вам по Вашему поручению, Иван Николаевич, так как я не знал адреса Панемакера. Сегодня я был у него.

Он сказал, что ничего не может сделать без разрешения редактора «Пчелы», так как он с ним имеет дело.

Вам надобно обратиться к редактору, и если тот освободит Панемакера, то он сделает все, что Вам угодно.

Доска почти готова, я видел пробный оттиск: общая картина вышла недурно, но голова непохожа и без выражения; не помогла ему и большая фотография с головы Христа (превосходная), тут же стоящая и не имеющая ничего общего с его воспроизведением; руки деревянные вышли [1].

И. Репин

1877

102. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

13 октября 1877 г.
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимович.

Хочу поделиться с Вами впечатлениями от портрета Куинджи [1], который я видел сейчас, будучи у него. Сказать Вам, что это портрет хороший, — мало, сказать, что удивительный, — не совсем верно, так как я, зная Вас хорошо, не буду удивлен, что бы Вы ни сделали. Я просто скажу, что думаю и что я испытал, глядя на него. Мне уже говорил сам Куинджи, что Вы написали его, потом я слышал от некоторых, которые видели его, и убеждаюсь, что слишком мало людей, действительно и сознательно понимающих, чего нужно искать и желать в живописи. (Я, значит, понимаю только!) Все или не доросли, не созрели, как говорят, или окрепли и застыли формы и приемы их мышления, и ничего нового не выносят, но это когда-нибудь до другого раза. Итак, вот что я испытал: этот портрет с первого же раза говорит, что он принадлежит к числу далеко поднявшихся за уровень. Глаза удивительно живые, мало того, они произвели во мне впечатление ужаса: они щурятся, шевелятся и страшно, поразительно пронизывают зрителя. Куинджи имеет глаза обыкновенно не такие; у него они то, что называют «буркалы», но настоящие его глаза именно *эти* — это я знаю хорошо. Потом, рот чудесный, верный, иронизирующий вместе с глазами; лоб написан и вылеплен как редко *вообще,* не между нами только, словом, вся физиономия — живая и похожая; кроме того, фигура — прелестная; это пальто, эта неуклюжая посадка, все, словом, замечательно передает симпатичного восточного человека; одно, что необходимо, по-моему, Вам посмотреть — это всю нижнюю площадку носа и особенно самый кончик; не думайте, что это неважно, портрет такого сорта, что это необходимо, решительно необходимо. Я, наконец, к Вам пристану и потом еще; весь свет волос, он и силен и однообразен. Это, впрочем, не все, — кресло

решительно к нему нейдет, Вы его уберите и предложите ему бревно, камень, скамейку, что хотите, только не кресло. Убедившись в том, что Вы сделали чудо, я взобрался на стул, чтобы посмотреть кухню, и... признаюсь, руки у меня опустились. В первый раз в жизни я позавидовал живому человеку, но не той недостойной завистью, которая искажает человека, а той завистью, от которой больно и в то же время радостно; больно, что это не я сделал, а радостно, что вот же оно существует, сделано, стало быть, идеал можно схватить за хвост, и тут он схвачен. Так написать, как написаны глаза и лоб, я только во сне вижу, что делаю, но всякий раз, просыпаясь, убеждаюсь, что нет во мне этого нерва, и не мне, бедному, выпадет на долю удовольствие принадлежать к числу нового, живого и свободного искусства. Ах, как хорошо! Если бы Вы только знали, как хорошо! Ведь я сам хотел писать Куинджи, и давно, и все старался себя приготовить, рассердить, но после этого я отказываюсь. Куинджи есть, да какой! Вот Вам! Скажу еще несколько мыслей — о Вас. Я до очевидности ясно понимаю (т. е. думаю, что понимаю) процесс Вашей работы: Вы не хозяин своего внутреннего *я*. Когда у Вас происходит горение, то все, что Вы делаете, хватает невероятно высоко: лоб, глаза. Как только надо пустить в ход знание, опыт, словом, ремесло, у Вас уровень понижается до... волос! Примите правилом следовать испанцам — работать только тогда, когда... когда... ну, словом, когда господу богу только угодно!

За последние мысли мои о Вас простите великодушно!

А каков сам-то Куинджи! Вот я Вам скажу урод, прости господи! Видели Вы хату в заходящем солнце: и садик, и плетень, и все такое [2]? А? На что же это похоже? Напрасно он еще и водицу хочет сделать; я решительно протестовал. Ай, ай, какой он молодец.

И. Крамской

Будьте так добры передайте Александрову (если видаете), пусть он напишет свой адрес, я ему не высылаю последних материалов о Васильеве [3], потому что полагаю, что он уже переехал с дачи. Давно лежит оконченное письмо и большое.

103. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

29 октября 1877
С.-Петербург

Сердечное, искреннее спасибо Вам за письмо [1], дорогой Илья Ефимович, и именно за такое. Хорошее письмо, несмотря на то, что Вы делаете такое обидное предположение об источ-

никах, из которых происходят мои похвалы портрету Куинджи. В самом деле, вообразим на минуту, что Вы правы: Куинджи дал мне понять, что Вы будто нуждаетесь в ободрении. Как я мог бы написать свой отзыв в таком случае? Неужели Вы считаете меня способным заведомо написать ложь, пересолить, так сказать? Ведь если бы я и в самом деле имел недостойное Вас поползновение ободрять Вас, поощрять или там еще какое-нибудь пошлое слово взять, то как бы я написал Вам? Уж во всяком случае *некоторые* мысли и выражения в моем письме не имели бы места. Нет. Ваше предположение очень далеко от истины. Пожалуй, я сообщу, как было дело, и Вы, если пожелаете, можете проверить. Мне говорили раньше о портрете, и говорили в тоне очень сдержанном, что это, дескать, вещь хотя и хорошая, но уж очень *широкая.* Сам Куинджи говорил просто: *нравится.* Когда я пришел к нему и стал рассматривать и долго молчал, то Куинджи, по добродушию, стал говорить, что ведь это не кончено, да и болен был человек, и все такое... словом, хотел как будто защищать, если бы я покусился на критику. А между тем я молчал совсем по другим мотивам: я просто увидал совершенно нечто новое, правда, не прибранное (волосы, конец носа, кресло), но до того обаятельное и талантливое, что я радовался только, что вот *наконец-то* показалось. Это первое, что я у Вас знаю, хватившее *действительно* высоко, т. е. именно так, как, я думаю, нужно. Вы можете относиться к моему мнению по желанию, можете ставить его во что-нибудь или ни во что не ставить, думать, что я увлекаюсь, преувеличиваю. Все это Вы вправе, и это меня нисколько не обидит, но ведь думал же и я кое о чем, страдал же и я так же над искусством, вопрошал и я богов — что такое искусство? И, наконец, кое-что и я видел. Кроме того, вот уже целые десять лет, как впечатления мои и мысли не изменяются существенно (доказательство остановившегося развития), и что мне казалось хорошим десять лет тому назад, то и теперь не теряет; словом, мое мнение — не увлечение, а совершенно сознательное и, если хотите, даже холодное умозаключение. Так что если я говорю вздор, мое мнение неверно, то, значит, я не судья в этом деле, и Вы не обращайте на это внимания, но уж от желания ободрять Вас — увольте.

Что касается того, что Вы не написали Вашего мнения о портрете Третьяковой [2], то его и не нужно, давно не нужно. Портрет я и сам повидал потом и — ужаснулся! Ну, да что тут толковать, я знаю — и Вы знаете, значит, мы оба знаем, стало быть, о чем же разговаривать? Лучше кончу про Куинджи.

Когда я сказал, что это такое — его портрет, то он обрадовался, говорит: «Ну, вот я говорил, я говорил, насилу спас, он хотел стереть, ему не нравится, он уехал недовольный...» Я даже и этому не удивился, это совершенно естественно. Но когда вещь на меня сделала такое впечатление, я не мог утерпеть, чтобы не высказать, тем более, что Вы хотели уничтожить. Что ж тут ободрительного? В самый крупный микроскоп нельзя открыть тех мотивов, о которых Вы пишете. Потом, позвольте спросить, на каком основании Вы думали, что «я *должен* бы был бранить его»? Неужели я такой педант, что коли не выписано, то, значит, не кончено? Что я сам мажу и уничтожаю то, что хорошо и горячо, добиваюсь выражения сходства и теряю живопись (если только есть она?), то из этого вовсе не следует, чтобы я не способен был оценить у другого творчество. И ведь я уж столько раз говорил, что это-то и есть мука моя, что я вижу, как другие, позже меня вступившие на дорогу, пошли дальше, а у меня или крылья обрезаны, или заело меня что-то (анализ, изучение или чорт знает что еще такое!). Видите: я знаю все, что Вы делали, но того, что есть в портрете Куинджи, я положительно у Вас еще не видал. Я предполагал, что Вы к этому способны, я верил в Вас, я ждал, наконец, все ждал и... дождался... Теперь это, несомненно, совершившийся факт. Но в то же время — волосы меня пугают.

Я решительно не понимаю рода Вашей болезни, а что Вы больны — это слишком ясно. Но что ж это с Вами? Неужели это расстройство надо отнести только к нервам, которые страшно потрясены у людей, любящих искусство и одаренных к нему талантом? Я знаю хорошо, как человек горит, когда он не механически только водит кистью, но знаю также, что господь бог устроил природу художника все же настолько крепко, что если ничем другим, кроме искусства, волнение не усложняется, то нужны только отдыхи, чтобы аппарат мог действовать с прежней силой.

Что Ваш портрет [3] Вам принадлежит, это и говорить не стоит, я рад Вам его выслать (и скоро вышлю). Вам он нравится? Чудесно, пусть будет у Вас, ну, а я знаю, что о нем думать.

Про «Льва Толстого» [4] спасибо: я знаю, что он из моих хороший, то есть как бы это выразиться?.. *честный*. Я все там сделал, что мог и умел, но не так, как бы желал писать. Ну, а «Шишкин» [5]... тоже ничего, я его люблю даже, только он... *сырой!*.. Знаете, как бывает хлеб недопеченный... очень хороший хлеб, и вкус есть, и свежесть продукта, а около корочки, знаете, этакая полосочка сырого теста: ну, оно для желудка и

не вполне... а впрочем, всякий раз только обрезать стоит — тогда ничего. Сознайтесь, что Вы обрезали около корочки то, что называют у нас с *закальцем?* Правда?

То, что я теперь делаю, доставляет минуты истинного наслаждения, но в то же время, если бы Вы знали, как и страшно-то [6]. Ну, да об этом в другой раз!

Жене Вашей кланяюсь. Деток целую.

Ваш *И. Крамской*

104. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

20 ноября 1877

Портрет Ваш [1], дорогой Илья Ефимыч, я отправил к Вам в Москву, воспользовавшись тем, что нужно было послать к С. М. Третьякову раму. Дня чрез три портрет будет в Москве, на Пречистенском бульваре, в собственном доме Сергея Михайловича Третьякова.

Ваш *И. Крамской*

105. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

15 декабря 1877
СПБ

Дорогой Илья Ефимыч, радуюсь, что портрет доставляет Вам удовольствие, а мое здоровье плохо в самом деле. Конечно, я последний, готовый верить опасности, но и не верить вовсе будет неосторожно. — В марте меня отсюда высылают. (Это мне уж очень не нравится, потому что картина — тю-тю!) Что касается статьи [1], то, видите ли, я просто потерял терпение: все ждал, все надеялся, все думал, не может же так итти дальше, ведь за что же гибнут молодые люди, и я обращался из Парижа еще к В. В. Стасову, приглашая его начать войну, так как Академия новорожденного младенца (русское искусство) пеленать не умеет даже, что она его непременно задушит; и вот последняя ученическая выставка была той каплей, которая выступила чрез край; и я заговорил. Что ж мне было делать? Судите сами! Прочтете, за многое не похвалите, быть может, но... не мог, ей-богу, не мог выносить дальше. Только что ж? Я все-таки знаю, что это будет голосом в пустыне, и все-таки не мог. Я должен был доставить себе лично облегчение выругавшись.

Будьте здоровы, и Вам это нужно. Ох, как нужно. (А ведь правда, что искусство (настоящее) требует колоссального физического здоровья). До свидания.

Ваш *И. Крамской*

106. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

26 декабря 1877 г.
СПБ

Большое спасибо за весточку [1], дорогой Илья Ефимыч, и за внимание к статьям. Не мог терпеть больше! Толку из этого, разумеется, не произойдет, но ведь я и писал-то не для толку. Я очень хорошо знаю, с кем имею дело, а все же я получил хотя малую толику удовольствия: Исеев бегал жаловаться и министру и главноуправляющему по делам печати Григорьеву, Суворина [2] призвали и что-то там такое ему сказали; словом, муравейник зашевелился, хотя есть причина полагать, что он скоро успокоится.

Что касается Вашего желания отвести душу в обществе художников, то я отсюда даже вижу, как все это происходило (я там бывал!). Захотели Вы! Я знаю очень хорошо это болото; хорошо оно в Петербурге, ну, а уж в Москве еще лучше; и, конечно, общество уродов купцов гораздо почтеннее и живее; это я знаю тоже, только... только надо бы, знаете, художнику обстановочку этакую придумать, чтобы даже и купцы чего-нибудь не возмечтали; а что они способны на это, так ведь это уже в порядке вещей человеческих. Я говорю об обстановочке вот какой: хорошо бы, если бы был, знаете, этакий центр, т. е. не центр, куда сходиться, а центр умственный, вроде каких-либо очень широких принципов, которые бы все признавали, прилагать которые на практике, в творчестве, было бы сердечной потребностью каждого из нас, словом, нечто вроде философской системы в искусстве, религии там, что ли, ясно и талантливо формулированной каким-нибудь писателем, и чтобы каждый из нас, где бы ни находился, какие бы рожи его ни окружали, но чтоб он чувствовал, что где-то там, в другом месте, другой такой же, как и я, стремится к тому же, работает в том же направлении, хотя и все разно. Это удесятеряет силы человека и держит постоянно на высоте тех задач, которые одни оправдывают специальность... Ну, словом, эта штука Вам во мне уже знакомая, я на этом коньке могу забраться очень далеко, а потому... а потому можно было бы быть благоразумнее и остановиться.

Мясоедов приехал и привез картину (большую довольно) «Молитва на пашне о даровании дождя» [3]. Тема, как видите, не шуточная, но... и картина, пожалуй, недурная, даже очень недурная, а все же ему двери, должно быть, заперты. Нужно что-то не то. Не хуже «Чтения положения», но только кажется хуже. Отчего это? Я уж не знаю. Что Вы поделываете? Что касается меня лично, то я теперь почти поправился; что дальше — не знаю. Кланяюсь жене.

Нет ли известий про Поленыча [4]?

Ваш *И. Крамской*

1878

107. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

5 генваря 1878 г.

Дорогой Иван Николаевич!

У меня к Вам покорнейшая просьба: позвольте скопировать с Вашего портрета *Грибоедова,* находящегося в галлерее П. М. Третьякова. Мне заказал это Дашков В. А. для своего собрания русских деятелей [1].

Павел Михайлович ничего не имеет против этого, и сегодня чуть было мне его уже не завернули, но вдруг мы разом вспомнили, что Вашего позволения не спросили. Будьте добры, ответьте поскорее.

На сегодня этим и кончаю мое письмо, тороплюсь.

Ваш покорнейший

Илья Репин

С Новым годом Вас и Софью Николаевну поздравляем.

108. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

7 генваря 1878 г.
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч.

Какое важное обстоятельство! не спросили меня: можно ли копировать? Хорошо, что Вы догадались об этом оба одновременно, а то было бы плохо! Ну, уж так и быть, ввиду только того, что Вы оба в одну минуту почувствовали должный респект, я Вам величественно разрешаю, а Павлу Михайловичу снисходительно дозволяю Вам прислать портрет.

Скажите: неужели Ваш этюд «Протодиакона» [1] не будет взят на всемирную выставку?

Подумайте о следующем: составляется экспедиция по Волге, в палубной лодке, достаточно просторной, чтобы вме-

стить от семи до восьми человек художников, с альбомами и мольбертами; с четырьми гребцами (из них один и повар и матрос) и одним лоцманом, да, кроме того, одного литератора вроде *Пыпина;* время отправления — 1 июня, место — Тверь; сколько возможно проехать, не торопясь, и изучать Волгу в четыре месяца (до 15 сентября включительно, а то и до 1 октября), — проедут, а затем возвращаются или пароходом или железной дорогой из Саратова. Впрочем, куда доедут, то и хорошо. Участники экспедиции следующие: Шишкин (непременно), Брюллов [2], Ярошенко [3] (непременно), Мясоедов, *Савицкий* (непременно *почти*), Васнецов (очень вероятно, по крайней мере желает), Крамской (тоже непременно бы, но боится думать, так как на весну его высылают); словом, мне лично, когда я об этом думаю, то не знаю, как уж и кажется! То есть так хорошо, что думать боюсь; и не поеду (если не поеду), то разве только по положительному запрещению докторов, а иначе — непременно. Стоимость: лодка, унжонка — от 200 до 250 р. (с некоторыми приспособлениями). Оснастка: паруса, канаты и прочее — 150 р. Четырехмесячное жалованье матросам и лоцману — 250 р. Наше содержание, стол и прочее, по 50 р. на человека, — 200 р., а всего на 8 человек — 1600 р. Вся же экспедиция на всех — около 2300 р., непредвиденные расходы — 200 р., итого не более 2500 р., по 300 р. на человека; а какой результат мог бы быть? А? Что Вы думаете? Вы не присоединитесь?

Ваш *И. Крамской*

Расчет почти верен. Некоторых данных и цен мы еще не имеем, но все же разницы большой не будет.

109. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

13 генваря 1878 г

Дорогой Иван Николаевич!

Благодарю Вас очень, очень, что скоро ответили Вашим разрешением; как там Вы не смейтесь, а это авторская собственность, следовательно, без спросу нельзя брать.

Вы удивляетесь, что не будет взят мой «Дьякон» на Парижскую выставку! Можно ли этому удивляться у нас, где обойдены и не такие вещи, а нечто позначительнее. Я, впрочем, рекомендовал вниманию Андрея Ивановича [1] в бытность его здесь. да он почему-то нашел, что его запретят послать

туда; удивляюсь, по-моему, дьякон как дьякон, да еще заслуженный, весь город Чугуев может засвидетельствовать полнейшее сходство с оригиналом, столь потешавшее благонамеренных горожан, и манера, и жест руки, и глаза, словом — весь тут, говорили они, к немалому удовольствию отца Ивана Уланова [2], который даже возгордел до того, что стал и мне уже невыносим своим добродушным нахальством. А тип преинтересный! Этот экстракт наших дьяконов, этих львов духовенства, у которых ни на одну иоту не полагается ничего духовного, — весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев, рев бессмысленный, но торжественный и сильный, как сам обряд в большинстве случаев. Мне кажется, у нас дьяконá есть единственный отголосок языческого жреца, славянского еще, и это мне всегда виделось в моем любезном дьяконе — как самом типичном, самом страшном из всех дьяконов. Чувственность и артистизм своего дела, больше ничего!

Вы не можете себе представить, как Вы дразните меня Волгой!.. — Но... Я целый год уже прожил в провинции, материалу пропасть накопил.

Теперь только работать, работать. Москва удобна для исполнения моих затей:

1) *«Несение чудотворной иконы на корень *»* [3]. Со всею святостью поднялся православный люд и несут торжественно явленную в лесу к месту явления, народу видимо-невидимо... Для всего я найду, для проверок, материал в Москве и окрестностях.

2) *«Сельская школа»* (экзамен) [4]. Это тоже все уже замечено здесь.

3) *«Царевна Софья* в Новодевичьем монастыре» [5]. Это уж совсем по соседству все.

Да и Москва мне очень нравится, ее надобно изучить, памятники, слава богу, есть, на все лето хватит. Итак, я должен остаться в Москве.

Увы, я должен отказать себе в этом наслаждении... Ведь я еще на *Днепре* не был и, при свободе, — туда.

Надеюсь скоро увидеться с Вами и лично побеседовать.

Ваш *Илья Репин*

Вы будьте осторожны, на Волге довольно суров климат, в июне бывает холодно; а спать в унжонке? Ведь там покачивает и не от одних пароходов, ветрено.

---

* Место явления.

110. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

21 генваря 1878
СПБ

Вы удивляетесь, дорогой Илья Ефимыч, что я скоро отвечал. — Я скоро отвечаю всегда... когда отвечаю. А что Вы пишете о благонравии и что нужно спрашиваться в чужой собственности, то это хорошо, что русские люди это, наконец, понимают; только, видите ли, так как это *Вы* и так как это Третьяков, то... то, разумеется, здесь не могло быть сомнения. Говоря серьезно, я ведь все это говорю к тому, что те, кому следует спроситься, — не спрашиваются, а кому не следует, те — деликатны. Словом, бобы разводить нечего, Вы понимаете.

Ах ты, господи, какой идиот этот Сомов! Ну, спасибо, не ожидал, запретят послать?! Однако так как он не совсем идиот, то в такого рода выражениях я усматриваю нечто другое. — Что?.. Это сказать мудрено, но что оно не без умыслу, то на сие я имею некоторые данные. Скажу одно, жаль, очень жаль! Ведь французы вовсе не понимают и не имеют ничего, что мы разумеем *тип;* да и не одни французы. Я того мнения, что чем больше будет таких этюдов, тем интереснее отдел нашего художества, разумеется, хорошо написанных. Этого не понять могут только чиновники. Но как крепко сидит в России чиновник?!

Ваш взгляд на дьякона, как льва духовенства и как обломок далекого язычества, — верно, очень верно, и оригинально; не знаю, приходило ли это кому в голову из ученых наших историков, и если нет, то они просмотрели крупный факт; именно остатки языческого жреца. Жаль, что Вам нельзя ехать на Волгу, очень жаль.

Теперь о картинах: «Сельская школа» («Экзамены»), картина может быть и очень хорошая и обыкновенная, смотря по тому, как взглянуть, и я склонен думать, что Вы возьмете интересно; «Царевна София» вещь *нужная*, благородная (хотя очень трудная для самого большого таланта), вещь, которая должна и может быть хороша; но «Несение чудотворной иконы на *«корень»* (я знаю это выражение) это *вещь,* вперед говорю, что это *колоссально!* Прелесть! И народу видимо-невидимо, и солнце, и пыль, ах, как это хорошо, и хотя в лесу, но это ничего не исключает, а, пожалуй, только увеличивает. Давай Вам бог! Вы напали на золотоносную жилу. Радуюсь.

Не забудьте хоть показать свои бесстыжие глаза, когда будете в Петербурге.

Вере Алексеевне низко кланяюсь.

Ваш *И. Крамской*

111. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

[13 февраля 1878][1]

Дорогой Иван Николаевич!

Павел Михайлович отправил на днях три вещи моей работы, для Парижской выставки[2], ввиду того, что ничего из моих работ не посылается. Простите, что я беспокою Вас, эти вещи так незначительны. Но вот моя просьба: если «Дьякона» найдут неудобным послать в Париж, оставьте его для Передвижной выставки. Прочие три головы могут остаться для академической выставки, во избежание лишних хлопот. «Дьякона» же я желал бы поставить к Вам, если его не выберут.

Теперь академическая опека надо мною прекратилась, я считаю себя свободным от ее нравственного давления, и потому, согласно давнишнему моему желанию, *повергаю себя баллотировке в члены вашего Общества передвижных выставок,* Общества, с которым я давно уже нахожусь в глубокой нравственной связи, и только чисто внешние обстоятельства мешали мне участвовать в нем с самого его основания[3].

Очень жалею, что для первого раза у меня не нашлось ничего более значительного поставить на вашу выставку. Сообщите мне, когда откроется Передвижная выставка. Я не помню, кажется, есть правило сначала быть экспонентом некоторое время, до избрания в члены, напишите мне; но я, конечно, наперед уже *со всем этим согласен.*

Если Вы найдете нужным и прочие три вещи оставить для Передвижной (если они стоят того), то делайте как знаете, как Вам лучше. Простите еще раз за хлопоты, причиненные Вам.

И. Репин

Если «Дьякон», паче чаяния, будет взят в Париж, то я постараюсь к выставке что-нибудь прислать Вам.

Жалею очень, что не пришлось поговорить с Вами на эту тему, как я имел в виду; что делать, времени не было.

112. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

17 февраля 1878
СПБ

Не могу Вам сказать с достаточною ясностью, дорогой Илья Ефимыч, до какой степени Вы меня обрадовали Вашим письмом, в котором категорически выражаете решимость пустить свою ладью по тому течению, куда направляется То-

варищество. Вон как кудряво? Это и понятно. Во всех высокоторжественных случаях человек не находит приличным говорить прозой. А потому будем, не смущаясь, разговаривать прилично случаю. Когда я прочел Ваше письмо некоторым членам, то по толпе пробежал одобрительный шопот (!). Когда я иезуитски поставил на вид наше правило, что каждый неофит должен пробыть некоторое время в положении *оглашенных,* то со стороны тонких политиков, юристов и даже буквоедов единодушно был опровергнут в канцеляризме, ибо я упустил из виду (как мне заметили), что Репин исполнил давно свой срок оглашенного: он уже был нашим экспонентом! Я, конечно, должен был посыпать главу свою пеплом; нет, и этого оказалось им мало; они пошли дальше, говорят: даже если бы и Поленов изъявил наклонность в нашу сторону, то и он, по всем формальным правам, не должен быть подвергаем оглашению, потому что он прислал в Товарищество картину, и не его вина, что ее силою от нас оттягали. Словом, единодушно было признано, что Вы наш член, без разговоров. Выставка Товарищества имеет быть открыта на первой неделе поста, а *общее собрание* перед открытием, *во вторник,* на той же первой неделе.

Что касается всемирной выставки, то я по получении письма от Третьякова видался с Сомовым и вел разговор в том тоне, что вот желание Репина: чтобы не выставлять для публики, если «Дьякона» не возьмут на Парижскую выставку. Он сказал, что он не знает, можно ли, а что это решит Совет. Когда же будет Совет? На масленице; ну, хорошо, говорю, я тогда «Дьякона» и доставлю. На том и порешили. А как жалко, как жалко его отдавать, если бы Вы знали! Ну, да делать нечего. Если бы Вы написали что-либо Сомову решительное. Потому что Влад[имир] Алекс[андрович], кажется, дает «Бурлаков», хотя они еще и не доставлены. В заключение скажу, что мы все были бы совершенно покойны в том случае, если бы Вы выслали нам для выставки Товарищества что-либо другое; тогда «Дьякон» нужен для Вас и в Париже, даже при «Бурлаках». Жаль, что мало места, а то я хотел сказать, что этюд мужика [1] (присланный раньше) превосходный, а «Дьякон», «Дьякон»... это чорт знает что такое! Ура! да и только!

Ваш. *И. Крамской*

Выставка Товарищества будет открыта в новом помещении Общества поощр[ения]. Поленов — здесь, и я у них буду обедать в воскресенье; адрес его: Сергиевская, дом № 42.

Вере Алексеевне (если не ошибаюсь?) мой низкий поклон.

113. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

1 марта 1878
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч.

«Дьякона» я отправил с сердечным сокрушением в Академию, но поступить иначе я не мог, не имея от Вас точного указания; или, лучше сказать, я имел точное указание относительно того, чтобы он был предложен на всемирную выставку, а мне не хотелось его отдавать; с другой же стороны, и на всемирной выставке Вашего бы не было, словом, я колебался между добродетелью и пороком. Что здесь порок и что добродетель, сказать трудно; но суть та, что я отправил, наконец. Совет был и... не взял его. Нужно ли прибавлять, как я обрадовался! *Итак, он у нас!* Теперь позвольте просить Вас поторопиться прислать к выставке, которая откроется на второй неделе, в среду или четверг, еще кое-что, а именно портрет Забелина [1], портрет Мамонтовой [2] и Чижова [3] или что Вы найдете. Обо всем этом мне насплетничал И. М. [4], пеняйте на него, но пришлите. Пишу столь короткое письмецо, потому что некогда. Вере Алексеевне кланяюсь.

Ваш *И. Крамской*

«Бурлаки» Ваши едут.

114. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

6 марта [1878]

Дорогой Иван Николаевич.

Я бы сказал неправду, если бы сказал, что я очень рад, что «Дьякона» не взяли на всемирную выставку... ну, да чорт с ними! Утешение все-таки большое, ведь я с Вами! Я Ваш теперь.

Забота самая большая вот какая: завтра, значит, выставка открывается, а мои вещи еще не готовы (из-за рам), могу послать их только во вторник на будущей неделе. Хорошо ли это? Уж не отложить ли их совсем, тем более, вещи эти фурора не произведут, т. е. ничем не помогут выставке.

Все-таки Вы ответьте мне на сей вопрос.

Я пошлю: 1) Портрет Л. Г. Мамонтовой.
2) Голову старичка (из робких) [1].
3) «Мертвого Чижова».
и 4) Портрет своей матери (помните, маленький?) [2].

Одобряете ли Вы это?

Портрет Забелина я не посылаю потому, что он написан слишком размашисто и грубовато; а меня уж порядком за это бранят (хотя сходство полное, его семья даже боялась этого портрета).

Что же это Вы к Поленову обедать не пришли, как обещали в воскресенье?

Он приехал очень храбрый, как всегда, и очень довольный собой и своими отношениями к светилу [3]; но вглядываясь в него пристальней, я заметил, что он невозвратимо время потерял и надел на себя камер-юнкерские кандалы, расшитые золотом. А отношений (ах, я наивность!) никаких и не могло быть (хотя он в этом не сознается).

Написал он им хаток, их квартир, внутри и снаружи, мест, где они стояли в бездействии, — вот и все; о войне ни слуху, ни духу. Ни одного солдатика или пушки — ничего этого он не видал («русская армия не живописна! Вот турецкая — другое дело») [4].

В первое же наше свидание я ему развил, со всех сторон, необходимость поступить *теперь* в Товарищество, он был согласен и только жалел, что крупного у него ничего нет. Но теперь опять отдумал посылать кое-что и откладывает, кажется, до крупного [5]. Я подозреваю, не имеет ли на него влияния с этой стороны этот enfant de maman Левицкий [6].

Один из первых моих вопросов Поленову был: читали ли Вы статьи Крамского [7]? «Как же, Владимир прилетел к наследнику, когда я писал у него комнату. Влад[имир]: «Крамской написал статью в газетах, бранит Академию, только и хвалит Вас (Поленова), Ковалевского да еще кого-то!» — Полен[ов]: «Что же, в[аше] в[ысочество], интересная статья?»— Влад[имир]: «Ну уж удалось б... п...!» (непечатные слова). Все это громко, по-офицерски, почти криком говорилось. Будьте здоровы.

Ваш *Илья*

115. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

8 марта 1878
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч, пишу к Вам только несколько строчек, чтобы, не медля ни секунды, отвечать на Ваши вопросы. Все, что Вы вышлете, будет — глубокое спасибо, и только. О фуроре мы поговорим когда-нибудь в другое время,

а теперь не до того: я только что воротился с устройства выставки (12 часов ночи) и завтра в 7 часов утра опять должен быть там. Присылайте и конец. Все равно когда они поспеют, так как мы должны продержать здесь выставку и праздники; а потому... раздумывать нечего.

Что касается Поленова, то... говоря по совести, я начинаю думать, и *серьезно* думать, что *у дворян кость в самом деле белая,* а кровь голубая, тогда как у плебеев одна кличка останется навсегда: «подлый» народ. Хотя это не относится к этому хорошему парню, — он только *слабый;* итти против отца и матери — вещь очень трудная, такая трудная, что мы его положения и не можем даже себе представить, а потому говорю решительно: я его не сужу. Пусть его! Поживем — увидим, не все в тридцать пять лет становятся в самом деле людьми серьезными; многие не дорастают до понимания серьезного. Я очень рад был услышать от Вас, что Вы его видите, и потому передайте (я не хотел бы, чтоб он имел основание обозвать меня невежей): в назначенное воскресенье я поехал к нему, потому что очень хотел его видеть, только... только меня дворник того дома, куда я явился, чуть не отволок в участок, когда я стал утверждать, что в этом доме живет Поленов. Как это случилось? Конечно, виноват я сам, потому что когда ушел от меня В[асилий] Д[митриевич], я через часик думаю — запишу-ка я адрес, нечего надеяться на память, и записал: Сергиевская, дом № 42! Хорош? Спрашиваю у одного, у другого, не знают, заходил к Васнецову за адресом, не застал дома, а когда застал, говорит, не знаю; найти найду, а номера не знаю, а я по Сергиевской домов около пяти прошел, все спрашивал, не здесь ли живет Поленов, мол? Когда же узнал точный адрес — он уже уехал. Ну, значит, не судьба. Ради создателя: передайте Поленову, что все я это передумал: о воскресенье то есть... Пусть он посмеется и пусть мое невежливое поведение сочтено будет наказанным.

Ваш *И. Крамской*

Знаете ли Вы, «о, знаете ли вы?» (как говорят поэты), какое хорошее слово Вы написали: *«Я ваш!»* Это одно слово вливает в мое измученное сердце бодрость и надежду! Вперед!

116. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

[10 марта 1878]
Москва

Дорогой Иван Николаевич.

Не дожидаясь рамки на «Чижова», я посылаю Вам три вещицы, на которые есть рамки, нашлись [2]:

1) Портрет моей матери.
2) Портрет г-жи Мамонтовой.
3) Голова старичка (из робких).

Эту голову можно продавать, цена ей 400 р. с[еребром] без уступки.

Я не знаю, хорошо ли это, что я все Вас беспокою, может, следует обращаться к кому следует в Комитет? Да я не знаю.

Тороплюсь, будьте здоровы.

И. Репин

117. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

10 марта 1878
СПБ

Добрый мой Илья Ефимыч.

Выставка открыта [1], открыта она (так сказать) общим собранием; для заседаний же и решения дел, а также и выбора новых членов (четырех) назначен вторник. Московские же члены (исключая Маковского) не подают никаких признаков жизни, и хотя им было писано, что выставка тогда-то, а общее собрание тогда-то, но это ни к чему не ведет, так как никто из них (опять-таки кроме Маковского) вот уже четвертый год не отвечает, а потому мы обойдемся и без них. А. П. Боголюбов писал мне из Парижа, что Харламов тоже желает выставлять у нас; и указан адрес, где взять вещи. Я все это заговорил к тому, что так как во вторник мы будем проделывать выборы, а от Вас в Правлении Товарищества (при делах его) нет заявления, то напишите немедленно в Товарищ[ество], на мое имя, что Вы желаете быть членом [2]. От всех членов, вступивших в Товарищество, таковые имеются, а потому, пожалуйста, черкните: что, В Правл[ение] Тов[арищества] перед[вижных] худ[ожественных] выст[авок]. Желая быть действит[ельным] членом Товарищества, я прошу сделать соответствующие распоряжения.

Или если желаете, поручите мне подать заявление от имени Вашего.

Ваш *И. Крамской*

Кажется, выставка будет иметь успех.

Первое, что будет на общем собрании, — это выбор членов новых, потом выборы Правления, и потому, на всякий случай пришлите доверенность кому-либо подавать за Вас голос в следующих за избранием вопросах [3].

118. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

26 марта 1878 [1]
СПБ

Вы правы, дорогой Илья Ефимович, ожидая от меня кое-чего; я помню, что я даже обещал... но все равно, если бы и не обещал, то и в таком случае я должен был бы догадываться, что Вам это не будет скучно; а стало быть... но вот, подите ж, не написал! Впрочем, в первый момент, когда я имею обыкновение отвечать на письма, я не мог — заболел, а теперь поправился вот уже дня четыре, и все не собрался, пока не получил от Вас напоминания. Выставка [2]! Гм, да, выставка! говорят, хорошая; вон Стасов говорит, что по значению она первая; может, и правда; даже действительно правда, только либо я вырос, либо выставка ниже того желаемого уровня, о котором я подразумеваю. Одна, две вещи (действительно прекрасные) выставки не составят, и чорт его знает, отчего это? А между тем выставьте только одну эту вещь или эти две, и скажите публике — вот, мол, показываются две картины, пожалуйте! Она пойдет и скажет: хорошо! Дайте сто, и между ними эти же две, — поморщится. Давай ей картины, которые производили бы сенсацию! Разумеется, со стороны публики это глупо, даже *подло!* потому что... ну, да что тут толковать, Вы знаете сами, что подло требовать от человека, художника, того, чего я сам ему не даю. Разве художник не зябнет у нас от холоду? да еще *русский* художник? (Вы поймете, в каком смысле я говорю *русский*). Кому до него настоящее дело, кроме малой толики Третьякова? Впрочем, позвольте, я хотел Вам писать о выставке и потому пишу. Я буду говорить в том порядке, в котором (по-моему) вещи по внутреннему своему достоинству располагаются на выставке. Первое место занимает Шишкина «Рожь» [3]. Уже из одного этого Вы можете судить, что такое выставка; потому что все мы знаем, что от Шишкина требовать нельзя поэзии и того захватывающего душу настроения, которое озаряет пути для художников и производит сенсацию в публике (оговорюсь, впрочем: все мнения, здесь высказанные, суть

17 февраля 1878. СПб.

Не могу Вамъ сказать съ достаточною ясностію, дорогой Илья Ефимовичъ, до какой степени Вы меня обрадовали Вашимъ письмомъ, въ которомъ категорически выражена рѣшимость пустить свою ладью по тому теченію, куда направляется Товарищество! Вотъ какъ кудряво! Это и понятно: въ высокоторжественныхъ случаяхъ человѣкъ не находитъ приличнымъ говорить прозой. А потому будешь, не спускаясь, разговаривать прилично случаю. Когда я прочелъ Ваше письмо нѣкоторымъ членамъ, то по залѣ пробѣжалъ одобрительный шепотъ. (!) Когда я іезуитски поставилъ на видъ наше правило, что каждый желающій долженъ пробыть нѣкоторое время

Страница письма И. Н. Крамского И. Е. Репину
от 17 февраля 1878 г.

моя *личная* точка зрения, нисколько не обязательная, к счастью, ни для кого). Потом второе место — Репин и Ярошенко, двумя этюдами: *«Дьяконом»* и *«Кочегаром»;* затем, он же, Ярошенко, карандашный портрет Мартынова [4]; это вещи, выходящие за уровень вообще. После того идет вся выставка ровно, гладко, хорошо, т. е. так хорошо, что совершенно плохой вещи почти нет (Гуна я исключаю вовсе). Ноты, которая бы звучала как призывный колокол, на выставке нет, а без такой ноты на публику не подействуешь. Виноват, публика ходит, публика хвалит, публика покупает (даже!), но я хожу и мрачно про себя думаю: и кого это мы морочим?! Все зависит от точки зрения. Посмотришь просто, и все действительно окажется хорошо, посмотришь серьезно — так себе. Вот мое откровенное мнение.

Теперь займемся подробностями. Шишкина «Рожь» — одна из удачнейших вещей Шишкина вообще. Я думаю даже, что если бы она стояла каким-нибудь чудом в Салоне, то... (а впрочем, чорт его знает!). «Кочегар» и «Дьякон» балансируют — не знаешь, который лучше; разумеется, «Кочегар» в живописи уступает «Дьякону», но впечатления, типичность равны; оба весят здорово [5]. Затем, волей-неволей, надо сказать о Куинджи: по порядку так выходит. Его «Лес» имеет много сказочного, даже какую-то поэзию, хотя многого я не понимаю или не могу вынести; что-то в его принципах о колорите есть для меня совершенно недоступное; быть может, это совершенно *новый* живописный принцип, быть может, *эти* краски суть наиболее верные, с научной точки зрения, потому что, когда читаешь ученый трактат о цвете, спектре, то имеешь дело с чем-то совершенно незнакомым для человека, с чем-то никогда не встречающимся между впечатлениями, полученными нашими глазами от действительности; так и тут. Еще его «Лес» я могу понять, и даже восхищаться, как чем-то горячечным, каким-то страшным сном, но его заходящее солнце на избушках решительно выше моего понимания [6]. Я совершенный дурак перед этой картиной. Я вижу, что самый свет на белой избе так верен, так верен, что моему глазу так же утомительно на него смотреть, как на живую действительность: чрез пять минут у меня в глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть. Неужели это творчество? Неужели это художественное впечатление? Что хорошего в самом солнце, как солнце? Свет его на предметах, да, это наслаждение, это поэзия, но само по себе оно ослепит и только. Что хорошего в луне, этой тарелке? Но мерцание природы под этими лучами — целая симфония, могучая, высокая, настраивающая меня, бедного муравья, на высокий душевный

строй: я могу сделаться на это время лучше, добрее, здоровее, словом, предмет для искусства достойный. Короче, я не совсем понимаю Куинджи. Прибавьте к этому суконные деревья, наивность и примитивность рисунка исключительные, и Вы будете иметь понятие о моем понятии. После сего следует Мясоедова «Засуха» [7]. Совершенно исправная картина, без малейшего нерва. Единственный ее недостаток это — величина. Будь она меньше, весь этот недостаток нервозности был бы простителен и искупался бы добросовестностью и приличием места действия и исполнения. Размер же обязывает ее быть нервозною. Этого нет, картина не трогает, не захватывает. У Савицкого уже больше, у него все это даже есть, но эта невозможная манера письма, эти черви, проевшие всю картину [8], землю, небо, людей, делают невозможным рассматривать картину больше двух минут, а это так же мало, как для иллюстрации. Непосредственно за этим следуют три вещи, в равной степени интересные и достойные. Клодта «Прощанье перед отъездом» [9]. Офицер уезжает, должно быть, в Болгарию, и сидит на диване с матерью. Очень мило. Маковского «С ангелом!» [10] — бездна юмору, добродушия жизни, но работа напоминает русского ремесленника: все кое-как, поскорее, авось не заметят! Васнецова «Чтение телеграмм» [11] очень типично и жизненно. Мне эта картинка очень нравится, но зато все остальное, боже мой! Нет, нехорошо, этак он никогда ничего не продаст, будет вечно бегать и нюхать: нет ли где деревяшки [12]? Очень жаль, и тысячу раз жаль, но ему сказать ничего нельзя. А какой он мотив испортил! «Витязь». На поле, усеянном костями, перед камнем, где написано про три дороги. Какой удивительный мотив! Его «Акробаты» [13], парижская картина, очень неудачна. Она стала хуже, чем я ее оставил (а может быть, и нет). Затем, затем, что же остается еще? Максимов? Но об этом я ничего сказать не могу, потому что, во-первых, мала уж очень картина, а во-вторых, сюжет без малейшего юмора — «Примерка ризы» [14]. Вы знаете, может быть? Три женщины шьют поповскую ризу и примеряют на одной из них. Могло бы быть смешно, но Вы знаете, что для Максимова невозможно так рассказать что-нибудь, чтоб слушатель рассмеялся: в этих случаях всякий, чтобы не обижать, растянет просто рот и кончено. Можно, для полноты отчета, сказать слова два о Брюллове. Он написал: портрет Кавелина и «Северную ночь» [15]. Портрет написан очень примитивно, безыскусственно, совсем наивно, но похоже и очень хорошо, если он пойдет дальше в этом направлении, он уйдет далеко. «Северная ночь» — очень интересная картина. Очень уж тонкий сюжет, а он, между тем, еще далеко не мастер и

потому не совсем удовлетворяет, но столько туда попало тишины, так все печально, задумчиво, что картину все замечают.

Кончивши всех таким образом, следовало бы себя продернуть тоже, но где ж такие беспристрастные люди, которые бы бичевали публично себя; а если и есть, то они производят нехорошее впечатление, а потому, если Вы допустите, что я сам себя считаю выше всех, несмотря на то, что у меня ничего нет путного на выставке [16], то Вы будете близки к истине, т. е. к пониманию моего понимания.

Теперь специально о Вас. Этюд «Из робких» мне очень нравится, а портрет Мамонтовой нет, хотя она очень похожа, я ее видел. Не нравятся мне особенно щеки, а лоб и глаза хорошо. Но если что у Вас вышло поразительно, так это тот этюд, который был на выставке в Академии [17]. Это, наконец, действительно живопись; в портрете Куинджи есть как бы предвестники этого, а тут полное осуществление. О «Дьяконе» же я, кажется, писал уже Вам, и остаюсь при том же и теперь. Вот Вам подробное изложение всего, что я думаю.

Что касается Товарищества, то Вам нечего думать: общее собрание было уже, и теперь ни мнений, ни голосов не потребуется до будущего общего собрания, которое будет, вероятно, в конце года, а впрочем, если бы что — Вы узнаете. О многих вещах я не писал потому, что не стоит; да, наконец, Вы и сами все это увидите, выставка будет в Москве, и тогда еще большее будете иметь понятие о моем понятии. Я это подчеркиваю нарочито, чтобы не нести ответственности.

Вере Алексеевне кланяюсь.

Глубоко уважающий Вас

И. Крамской

Протоколы общих собраний я Вам вышлю, когда скопирую. За шесть лет набралось достаточно.

Кланяйтесь Поленову.

119. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

9 мая 1878
СПБ

По-настоящему, дорогой мой Илья Ефимович, я имел бы право отложить ответ Вам хотя бы на небольшое время, ввиду Вашей неисправности (вот Вам), но не могу сейчас же не отвечать Вам, потому что считаю необходимым протестовать [1]. 1-е, Вы считаете вещи (все) Гуна посредственными и прибавляете, что мне это, *вероятно, покажется странным.* Почему

странным? Сделайте одолжение, если бы Вам вздумалось не только отнести их к вещам посредственным, а даже к таким, которые так же мало действуют на зрителя, как белая бумага, то и тогда я не пошевелился бы. Я бы только сказал (в скобках, конечно), что недурно было бы, если бы русские немножко более уважали культуру. И только, да и этого, пожалуй, не нужно. Тут, вероятно, потребуется какое-то другое слово, которое теперь приискать не могу. 2-е, чтобы лучшая вещь была «Заключенный» Ярошенко, я не согласен, особенно с тем, что она *«замечательно высока по исполнению»*, как Вы говорите. 3-е, чтобы *«Кочегар»* его был *плохо рисован и тяжело и грубо написан*, по-моему, сильно сказано. Что ему еще недостает кое-чего — согласен, но немногого; а впрочем, может быть, в этом случае разногласие между нами и не так велико, как кажется, если бы мы с Вами побеседовали на словах. 4-е, что касается Савицкого, то скажу одно: я не слеп, слава богу, и понимаю, что там есть в этой картине и чему Вы радуетесь, но не разделяю Вашей жертвы: остановки Вашей картины. В этом случае я просто готов горевать. Ну, да художника часто не поймешь. Но позвольте Вам изложить мою точку зрения, не с тем, чтобы ее рекомендовать, а только, чтобы объяснить Вам источник моих взглядов. Дело в том, что Стасов заявил: вот так выставка! Браво! Первая по значению!! и проч. и проч., словом, мы точно становимся взрослыми. Я недоумевал. Объяснимся. Как Вы думаете, дорогой Илья Ефимович, должен ли художник изучать непосредственные впечатления простой публики? Должен ли он, не говорю, сообразоваться, а принимать к сведению ее бесхитростные и примитивные выражения о том, что ей нравится и что нет, и почему? Или Вы полагаете, как некоторые, что эта *толпа* не заслуживает того и что не к ней нужно апеллировать? Я нарочито беру слово апеллировать, и вот почему: слой общества, называемого образованным, имеет некоторые свои теории об искусстве, критики и того пуще, но мы знаем им цену. Она, в сущности, не очень высока, не только у нас, а и там, где общество постарше, везде критика бродит впотьмах, и, рядом со свежими мыслями, здоровыми понятиями, столько висит разных старых лохмотьев, что горе художнику, если он хоть на минуту придает им руководящее для себя значение. Что у нас, я говорить не буду, известно. Что же делать томимому жаждой знания правды художнику? Где искать этой правды, где найти для себя путеводную нить, способную дать ему в руки надежного руководителя? Вы скажете, напрасный труд, не нужно этого, пусть только художник будет *искренним;* еще бы, я с этим совершенно согласен. Но только где

они, эти художники, особенно художники, живущие вместе с обществом одними интересами? Или, лучше сказать, мы все, русские художники, действительно искренни, это правда, но отчего ж это мы не удовлетворяем простого и бесхитростного человека? А что наша выставка не удовлетворяет публику, в этом приглашаю Вас убедиться. Правда, в обществе раздаются голоса, которые печатно говорят: «Вот так выставка!» а другие наоборот: «Чорт знает, что это такое! Просто позор и ужас!» Я говорю не об этих, а о тех, кого мы обыкновенно игнорируем, которые обыкновенно молча входят, молча смотрят и молча уходят, тех, кто крайне наивно и искренно станет Вас уверять, что он ничего не понимает, что он, помилуйте, ничего не может сказать, он только любит картинки... Заговорите с такими людьми после когда-нибудь, когда уже и выставки нет, когда передовые наговорились и наспорились досыта, и успели забыть, и Вы заметите, что они все помнят, что видели, что они обо всем имеют известное мнение, крайне оригинальное, не похожее ни на одно из известных Вам уже, и часто до такой степени оригинальное и поучительное, что станет совестно и за собственные теории, и за то, что верховную власть захватили те, что кричат громче. Никого из тех, кто прост и не глуп, господь не обидел тем, что называется художественной критикой, и если бы была возможность фиксировать такого рода первичные впечатления, прежде чем человек обменялся с кем-нибудь своими мыслями, мы давно, на основании только одной этой статистики, имели бы здоровую (не говорю, теорию искусства) и безапелляционную критику. Я убежден, что если бы художник только убедился бы в том, что это существует, как тотчас же уровень его поднялся бы, и он охотно признал бы над собой подобного деспота. Но это очень трудно, почти невозможно, а все же бросать этого дела не следует; в этом направлении не положено еще ни одного камня, но это не должно смущать тех, кому это нужно. Вот я уже несколько лет как занят этим, т. е. проверкой моих личных симпатий в искусстве, и тем, какое впечатление картины производят на *публику*, на ту публику, о которой я говорил. Как это сделать? Я, разумеется, не могу наблюдать тогда, когда мне удобно, а должен сообразоваться со случаями, и так как я об этом помню постоянно, то всякий случай я и запоминаю. Конечно, и Вы, да и всякий делаете то же самое, но мне показалось в Вашем письме, что Ваши суждения слишком субъективны и притом находятся в тесной зависимости от того состояния художественного, в котором Вы находитесь в данную полосу. Я понимаю, что никто от этого, в сущности, и не свободен, но только чрез то приходится

часто менять приговоры и мнения. Что лучше, что хуже, что верней и что более прилично художнику, я не знаю, да и не с этой целью я начал писать, а только для того, чтобы дать Вам ключ к некоторым моим суждениям, с которыми Вы, может быть, не согласны. Но что же в моих суждениях мое собственное и что принадлежит этому неизвестному собирательному? В настоящую минуту я уже и не знаю. Лет пять тому назад я бы на это, может быть, и отвечал бы, а теперь — не знаю. Я, кажется, уже успел себя настолько дисциплинировать, что угадываю вперед, что сделает действительное впечатление и что нет, а, впрочем, может быть, это и самомнение! Это очень возможно с самоучками. Как жаль, что письмо длинное, а сказать того, что нужно, не сумел.

Ваш *И. Крамской*

120. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

[1 октября 1878] [1]

Дорогой Иван Николаевич!

Спасибо Вам за письмо, оно открывает мне глаза на главные стороны дела. Должен Вам сказать, что и по прочтении первого вашего официального письма Маковскому (для всех) я лично был совершенно согласен тотчас послать свое полное согласие; но когда собрались вместе и большинство приводило очень веские доказательства относительно опасности такого предприятия, руководясь некоторым опытом построек, то я как человек неопытный не мог слишком настаивать на деле, о котором даже смутно уверенности не имею. Знаю Боголюбова, человек он увлекающийся и уж совсем неосторожный, всегда, бывало, шел на авось (еще на экзаменах) [2].

А тут со всех сторон говорят, что уж общее правило, коли архитектор говорит 15 т., значит и в 30 тысяч не уберешь, что они мастера затягивать в постройку людей, и уж потом хочешь, не хочешь полезай в петлю.

С другой и самой главной стороны — 10 и 10 сажен (100 кв.). Ну что это за помещение! Курам на смех, стоит ли хлопотать? Где же там: постоянные выставки, мастерские и проч., где все это поместится?! Это просто хорошая мастерская для одного. Поэтому, мне кажется, следует подумать лучше, чем строить ни то, ни се.

А насчет дерева, я за дерево стою (конечно, надо страховать).

Тут москвичи говорили, что это обуза, что мы сделаемся рабами этих зданий, что, наконец, одна постройка, пожалуй, повлечет за собой другую и третью; понадобится павильон в Киеве, Одессе, а еще скорей в Москве... и мы вечно будем строить на короткие сроки.

Поневоле задумаешься... и мне приходит в голову всегда мысль: почему мы не хлопочем добиться взять, какими бы то ни было путями, академические залы? ведь мы имеем на них право!..

В заключение я прибавлю, что я согласен отказываться от дивиденда; насколько хватит надобности Общества, пусть он идет всецело на постройку, но если понадобится взносить каждый год из кармана, то я не берусь, пожалуй, будет не под силу.

И. Репин

Но я крепко стою за увеличение размеров, если есть возможность, 100—120 — это мало.

Вот еще было у нас вопросом и говорилось много на эту тему: плата 100 р. с каждого — это несправедливо. У нас есть много членов, которым ровно ничего не стоит платить 100 р., так как они получают дивиденду по 500 р. иногда, и другие члены, получающие весьма мало дивиденду, например, рублей 15 или даже и вовсе ничего; для тех это тяжело и даже невозможно; уравнять дивиденд никогда нет возможности, тогда следует всех обложить *рациональным подоходным налогом.* Или весь дивиденд *каждого* или *половину:* тогда всем будет ясна и необременительна наша, так сказать, общественная повинность. Я лично, т. е. *на таких условиях для всех,* согласен на всякое наше дело, иначе я считаю недобросовестным и нерациональным тащить для постройки последнюю рубашку с Каменева[3], Васнецова, Амосова[4] и некоторых др[угих], тогда как гг. Боголюбовым, Брюлловым, Беггровым и некоторым другим это составит пустяки. Я Вас приглашаю об этом подумать серьезно и устроить это дело *непременно так,* а не иначе, если нам угодно быть со спокойной совестью. По-моему, просто-напросто от дивиденда следует нам отказаться на несколько лет (всем членам), т. е. пока будет надобность на постройку и на него рассчитывать, оно и вернее будет. А то ведь, пожалуй, другой и пообещает, да что с него взять? Пойдите-ка возьмите долг *из основного капитала* у Саврасова?! Уж недавно коллективное письмо послали — не берет. Или, как разорять такого бедняка, как Киселев[5]?!! Пожалуй, некоторые скажут: «тем лучше, нужно от них отделаться», — я не согласен, это очень грубо и эгоистично, да

ведь они и ничем их и не разоряют. А раз член, то уже он имеет право на наше уважение. Если наш дивиденд не делится между всеми поровну, то как же требовать на общие расходы одинакового взноса со всех членов, когда цифра дохода нашего почти постоянна для всех: никогда Киселев не получит больше Боголюбова, почему же расход он должен равный нести? Эту меру, по-моему, следует порешить навсегда, для всяких случаев. Если бы Вы это в общем собрании там предложили?

Ваш *И. Репин*

Прошу Вас извинить меня за письмо, писанное еще летом, я выражался, кажется, очень грубо — простите, так вышло без умысла, ей-богу.

Адрес Васнецова: 3-й Ушаковский пер[еулок], дом Истоминой, он не менял квартиры.

121. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

2 октября 1878 г.
СПБ

Дорогой Илья Ефимыч.

Я так был в Вас уверен, так крепко был убежден, что для Вас все дело Товарищества если и имеет смысл, то только со своей внутренней стороны, со стороны идеи, и что если есть для чего в жизни работать, так это только для того смысла, который не оплачивается рублем (хотя рубль и имеет значение, ох, какое значение! Я ли этого не знаю!? Но потому-то он имеет такое роковое значение в жизни человека, что не все его презирают, и ставят *его* именно целью, а не наоборот; ну да это вопрос спорный, на вечные времена, и потому оставим). Итак, я знал, кому пишу, и очень был рад от Вас получить ответ такого рода, что со всем, о чем Вы говорите, я совершенно согласен. Уравнять повинности сообразно дивиденду, как *Вы думаете*, это и есть те перемены финансовой стороны этого дела, о которых мы писали, это и есть те частности в идее, которыми общее собрание займется, *когда* надо будет дать друг другу обязательства. Но если мы не на шутку делаем дело, если мы не лицемерим в том, что идея Товарищества есть симпатичная идея, мы должны неизбежно итти по той тернистой дорожке, куда нас толкают обстоятельства и условия самого дела; а именно: мы должны иметь собственное помещение. Вы говорите: отчего мы не потребуем в Академии места?. Да разве ж Вам неизвестно, и

особенно всем москвичам старым, что Товарищество из Академии от имени вел. кн. получило бумагу такого содержания: *«Чтобы Товарищество впредь не рассчитывало никогда на отдельное помещение в Академии!»* Неужели этого недостаточно? Товарищество, разумеется, готово будет принять, если ему помещение сама же Академия предложит, но достоинство Товарищества не позволяет ему сделать со своей стороны ни одного шагу, благодаря которому будущее было бы наполнено разными компромиссами, и чтобы от одной уступки, менее значительной, переходить к другой, более значительной, и так до бесконечности. Теперь — места мало, не стоит! Да ведь в этом здании будет ровно вдвое больше места, чем в Академии или в школе живописи, судите сами [1].

Словом, здание должно быть несколько больше, чем мы Вам писали; притом свет сверху; картины по стенам, внутренность свободна; ведь при таких условиях можно поместить не *сто* номеров, а двести и триста!! Заметьте, что мы его распишем, где нужно, и внутри и снаружи, и оно, стоимостью грош, будет настолько замечено Петербургом, что репутация Товарищества сразу становится настолько солидною, что даст доход вместо 3 т. р. — 6000. Подумайте, и Вы не будете сомневаться в этом. — Это и для Вас не будет мечтой, а возможностью. Притом, вы все там мало обратили внимания на то, как дело теперь обставлено: во-впервых, если Дума даже откажет, то наследник сказал Боголюбову: пусть, *когда нужно,* Крамской придет и скажет мне, я позову голову и переговорю с ним. Этого пока разглашать не следует — Вы знаете почему; и еще Громов; он даст на 10000 лесу, на восемь лет, без процентов, стало быть, фонд Товарищества будет неприкосновенен. Сомнение в стоимости тоже не выдерживает критики, вот почему: спросите сто тысяч подрядчиков, за что они возьмутся сделать по контракту такое деревянное здание, все скажут одно: *кубический* сажень деревянной постройки стоит от 30 руб. до 45, смотря по отделке. Теперь, отделку в сторону, ее нам не нужно, мы ограничимся самым необходимым, а отделку произведем сами; берем 35—40 р. кубический сажень, считаем *300* кубических саженей содержания и получаем 12 000 р., а так как здание немного более, то от 13 до 15 т. руб. совершенно достаточно; да оно иначе и быть не может, ведь каменная галлерея Третьякова, в 3 этажа, стоила 20 000 р., спросите сами. Что касается Богомолова [2], то он только подтвердил справки, добытые иным путем. Говорят: архитектора заманивают, да кто ж так будет делать?.. Ведь это не дворец, в котором, сколько ни считай, ошибешься наполовину, потому что там никогда не известно, что во время

постройки еще выдумают; тут дело ясно: дайте пол, стены и стеклянную крышу и только. Это строили миллион раз, и всякий десятник знает, что 40 руб. кубический сажень при обыкновенных требованиях достаточно заглаза, и всякий подрядчик подпишет, ни минуты не колеблясь, контракт на такую постройку. Этого еще мало. Вот уже два года, как устройство выставки в Петербурге стоит ежегодно по 1000 р., а прошлая выставка даже больше немного. Когда выставка была в Академии, она обходилась Товариществу от 300 до 400 р., ну, будем считать, 500 р., ведь это ровно 500 р. экономии ежегодно, по самому малому расчету. Не угодно ли Вам взглянуть на дело с этой стороны, то построить здание даже выгодней, чем оставаться без него. Вот было бы худо, если бы построить было нельзя, а теперь становится ясно, что возможно; и потом, что в этом страшного? Товарищ[ество] банкрот?! Хорошо. Товарищества не существует, здание осталось, оно выстроено в долг, ну, его и взяли, и делу конец; никто ничем не отвечает; а *сто* руб. ежегодного взноса предполагалось раньше известия от Громова; после же этого все расчеты Правления еще упрощаются, и общему собранию придется только найти наиболее равномерную и правильную раскладку повинности. Уже больше десяти лет, как я убеждаюсь, что республика хотя и очень либеральная форма правления, но только не теми людьми, которые имеют в избытке качества благоразумия. Припомните польские сеймы, *не позволям* одного опрокидывало очень умные и полезные предложения. За это сравнение Вы меня извините, верьте, что я никого не имею в виду, говоря так, и что я совершенно согласен, что раз кто-либо член Товарищ[ества], он имеет право на все внимание и уважение, хоть бы он был и самый слабый и самый последний [3].

Что касается Вашего извинения за летнее письмо, то я должен был даже его отыскать, чтобы убедиться, есть ли там что-нибудь такое, потому что я совершенно не заметил тогда ничего, и... признаюсь, не нашел ничего и на этот раз. Неужели Вы думаете, что *Ваши мысли* могут быть приняты мною с желанием покопаться: «а нет ли тут чего-нибудь, адресованного ко мне лично?» В голову не приходило. Я только увидал и тогда и теперь, что кое-что я должен был бы пояснее написать и только. Будьте здоровы. Жене Вашей кланяюсь. Детей целую; за границу на две недели еду и т. д. и т. д., прощайте.

Ваш *И. Крамской*

122. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

21 декабря 1878 г.

Дорогой Иван Николаевич.

Рекомендую Вам моего старого друга Николая Ивановича Мурашку [1], он создал в Киеве рисовальную школу и с большой любовью занимается ею. Для нее же он положил основание музею из вещей, которые пожертвовали, по его личной просьбе, почти все художники. Вашего имени у него недостает для коллекции, надеюсь, и Вы не откажете ему какой-нибудь вещицей, я знаю, как Вы сочувствуете подобной инициативе.

Кстати, позвольте Вам напомнить о заказе г. Мамонтова [2]. Ваше участие в альбоме очень необходимо, если Вы будете так добры принять это участие.

Ваш *И. Репин*

1879

123. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

29 генваря [18]79 г.

Дорогой Илья Ефимович.

Посылаю Вам рисунок, о котором Вы меня просили для какого-то издания, предпринимаемого Мамонтовым [1], и прошу Вас распорядиться следующим образом: так как (вероятно) рисунок этот будет не нужен по миновании в нем надобности, т. е. по выходе в свет издания, то пришлите мне тогда его обратно. Я думаю, что Вам не будет стоить это особых хлопот. Я очень бы желал быть исправным, но именно около этого времени я был так занят, что решительно не имел возможности исполнить данное Вам обещание; да, кроме того, выставка на носу, и по этому случаю тоже хлопот немало. Выставка, во всяком случае, имеет пристанище в Академии наук, но мы сочли нужным пожаловаться публике, как Вы увидите в № 1049, 23 генваря, в «Новом времени» [2].

Глубоко преданный и уважающий Вас

И. Крамской

Жене Вашей кланяюсь до земли (благо не высока ростом!), а деток целую.

124. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

[31 января 1879 г.]

Дорогой Иван Николаевич!

Сейчас получил Ваш рисунок: развернул... и... у меня слезы к горлу подступили... Какая трогательная вещь!!! Позвал Веру... она не может остановиться... слезы градом; до сих пор ревет.

А сколько вопросов от детворы!..

Как это сильно и как поэтически сказано [1]!..

Как я рад за альбом; сегодня же вечером я его свезу по назначению.

Ваш *Илья*

Поздравляю Вас от всей души с этим рисунком и благодарю Вас за участие: ибо я слышал, что Вы не были намерены работать даже.

Ну это, значит, уже особенное счастье С. И. Мамонтову.

Сегодня у нас там керамический вечер [2]. Воображаю, как все будут продернуты! Это не Сарасате [3].

И. Р.

Надеюсь, и другие Вы сделаете [4].

Не черкнете ли Вы, когда посылать вещи; мы все готовы и думаем отправить в четв[ерг], на масленице. А где будет выставка? Жаль, не напечатали этого.

125. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

2 февраля [18]79

Какая прелесть эти новые почты! Посылку Вашу, Иван Николаевич, я получил раньше письма.

Письмо Ваше меня окатило холодной водой.

Неужели Вы не слыхали об условиях Мамонтова? Они были следующие: за каждый рисунок автору он платит 100 р. с[еребром] и берет его в свою собственность. Издание альбома предпринято им не с целью наживы или аферы какой, а ему хотелось познакомить с русскими художниками, в хороших рисунках и изящном альбоме, как русское общество (любителей, немногих), так иностранцев; от этого издания выгод никаких не предвидится (не было еще примеров выгоды от вещей чисто художественных у нас).

Потому право издания подразумевалось в этой же цене, в 100 р., особой прибавки не полагалось. Если Вы не согласны на эти условия, то потрудитесь сообщить поскорей, в каких исключительных условиях Вы могли бы участвовать. Ибо все другие художники продали за 100 р. каждый рисунок, с правом издания.

Если Вы не можете продать Вашего рисунка, то сообщите, сколько желаете Вы получать за снятие фотогр[афии] для издания его.

Я читал заявление в 1049 № «Нов[ого] врем[ени]» и не понял, что это жалоба, а думал, что это сообщение, как слух,

лицом посторонним, не знакомым близко с Обществом, пожалуй; и публика так поняла; надо бы сообщить о месте поскорей.

Будьте здоровы, Софье Николаевне мое глубочайшее почтение передайте.

Ваш *И. Репин*

Не послать ли вещи (по новой почте) прямо в Академию наук? Туда и доставят, если будет кому принять там.

126. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

3 февраля [18]79 г.

Дорогой мой Илья Ефимович.

Ради бога, извините меня, дорогой мой, за недоразумение. Я думал, что рисунок нужен только для помещения его в издание, и так как я Вам обещал сделать, то и болел, что не успел к сроку. Если он уж так понравился, как Вы пишете, то и с богом, пусть его поступает, куда Вы желаете. Ни о каких особых условиях я знать не желаю, и будет обидно, если меня захотят выделить из числа товарищей.

Я буду рад, если альбом будет иметь успех и значение хоть какое-нибудь, а все прочее пустяки.

А вот что, не найдете ли Вы там уместным и не согласится ли Мамонтов на то, чтобы на нашей выставке поставить весь альбом в оригиналах? А? Как Вы думаете? Я предлагаю эту идею на Ваше личное обсуждение; никому ее еще не излагал здесь. Вы знаете альбом, я его не знаю, и потому Вам лучше всего решить этот вопрос.

Я прихворнул опять. Свалился неделю тому назад и не знаю, что будет. В понедельник меня будут осматривать два доктора, Боткин и Леман [1]. Впрочем, я хожу.

Хлопотать о выставке, вероятно, мне не придется, а этим займутся Брюллов и Клодт [2]. Вероятнее всего, выставку сделаем в Академии наук. Она в нашем распоряжении. Когда картины вышлете, то немедленно напишите.

Уважающий Вас глубоко и преданный

И. Крамской

Вере Алексеевне мой глубокий поклон и утешьте ее, если возможно, сказав, что ничего подобного не было, это я все выдумал сам. Город только ликовал и радовался.

127. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

Пятница, 9 февраля [1879]

Дорогой Иван Николаевич!

Очень рад Вашему согласию насчет рисунка, это подымет альбом. Мамонтов, вероятно, сегодня уже послал Вам деньги за него. Сделайте, пожалуйста, и еще два; срок ведь это пустяки, какой там срок! Конечно, чем скорей, тем лучше, но ведь это не казенное дело. Это ведь Николай Алекс[андрович] Ярошенко для побудительности придумал срок, однако он его не побудил, от него еще ничего нет пока.

Картины три Васнецова и одна моя [1] отправлены уже мною сегодня, завтра они пойдут по новой почте. В *воскресенье* их доставят прямо в Академию наук. Будет ли там кому принять; надобно было бы препоручить это кому-нибудь из академических служителей, чтобы он и в книге расписался, а то не будут знать, где и кому оставить.

Общие воспоминания лиц, которые посещали Передвижную выставку, когда она находилась в Академии же наук, говорят, что там было страшно *холодно* и *грязно,* следовало бы нам избежать этого неприятного упрека, тем более, что это не особенно трудно: стоит только купить дров, да хорошенько *топить,* да нанять полотеров, которые бы аккуратно каждое утро, до открытия выставки, натирали полы, будет и приятно и для картин полезно от уменьшения пыли.

Вашу мысль выставить альбом я с удовольствием приведу в исполнение; альбом этот вполне стоит этого уже и теперь; но вопрос: когда выставить его; конечно, следует уже в полном составе, а потому придется отложить до Москвы, когда будут готовы у других; теперь налицо всего десять рисунков, следов[ательно], еще половины нет, ну, положим, половина, так как едва ли дождешь полного комплекта. Впрочем, как Вы посоветуете; если Вы найдете нужным выставить половину — я согласен, пишите.

Мою картину в каталоге следует назвать так:

«Правительница, царевна София Алексеевна, через год по заключению ее в Новодевичьем монастыре; во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги, октябрь 1698 г.»

Ваш *Илья Репин*

Картина моя почти вся сырая, а потому предупредите носильщиков в осторожности.

Статья Ваша о Карло и о Максе превосходно написана, я совершенно согласен с Вами; статья имеет здесь большой

успех[2]. Браво, Иван Николаевич! Нехорошо только, что Вы хвораете.

Софье Николаевне мое глубочайшее почтение передайте. Вера Вам очень кланяется.

128. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

14 февраля [18]79

Дорогой мой Илья Ефимович.

Пишу Вам два слова под первым впечатлением от Вашей картины «Царевна Софья».

Я очень был тронут Вашей картиной. После «Бурлаков» это наиболее значительное произведение, даже больше, — я думаю, что эта картина еще лучше.

Софья производит впечатление запертой в железную клетку тигрицы, что совершенно отвечает истории.

Браво, спасибо Вам. Выставка будет значительная[1]. Ваша вещь, где хотите, была бы первою, а у нас и подавно! Вы хорошо утерли нос всяким паршивкам. Жаль только, что Ваша вещь одна, неужели не было какого-нибудь портрета? Впрочем, оно, может быть, и хорошо: давать публике хотя немного, но солидное. Еще раз спасибо Вам!

Васнецов, кажется, поправляется немного. По крайней мере, присланное недурно; очень жаль, что в голове портрета его теневая щека ближе световой.

Вере Алексеевне кланяюсь.

Ваш *И. Крамской*

Константин Маковский ставит у нас несколько вещей, Харламов тоже и... Леман[2]! И я должен сказать, что, на мой взгляд, Леман сделал огромные успехи. Эта вещь положительно лучше Харламова — по-моему. Выставка весьма солидная.

Мамонтову написал о получении денег.

Поленову не могу отвечать — некогда, пусть извинит. Что касается нашей постройки, то она идет. Просьба наша принята весьма сочувственно городским головою, а также и управой, в конце апреля будет вопрос решен общим собранием Думы. Академия, действительно, что-то затевает, и мы уже нажаловались кому следует в Думе. Но это пока вилами писано: так как деньги на постройку они желают собрать на пожертвования от великих князей — хорошо[3]?

Картины Поленова были очень дурно уложены. Одну из

Дорогой Иван Нико-
лаевич!

Сейчас получил Ваш
рисунок развернул...
и... у меня слезы к
горлу подступили...
Какая поразительная
вещь!!!.. Позвал Веру
... она не может оторваться...
слезы градом;
до сих пор ревет.
[illegible]
[illegible]!..
Как это сильно и
как поэтически сказано!
... Как я рад за
альбом; сегодня на вечере
я его сведу по назначению
Ваш Ил. Реп.

[illegible]

Страница письма И. Е. Репина И. Н. Крамскому
[от 31 января 1879 г.]

них, «Лето» [4], прорвал гвоздь, она оборвалась, и на небе дыра в палец. Я принял меры, чтобы поправить; разумеется, ничего не будет заметно, но помалчивайте. Мы вскрыли ящик втроем: я, Литовченко и Беггров, видел и Шишкин.

129. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

17 февраля [18]79

Дорогой Иван Николаевич!

Наконец-то Вы меня утешили; эти восемь дней безызвестности мне показались восьмью неделями — ни от кого никакого известия! *Ни в одной газете объявления, будет ли выставка и где!* Я-таки понадумался. Главное, я знал, что Вы нездоровы... а без Вас некому похлопотать, да и ответить некому, хоть из пушек пали. Вчера я уже написал Стасову слезное письмо, прося его узнать, живо ли наше Товарищество и целы ли наши вещи.

Теперь судите сами, как я вчера обрадовался Вашему письму, Вашему слову о «Софии» и о всей нашей выставке.

Чудесно! Бесподобно! «Есть еще порох в пороховницах! Еще не иссякла казацкая сила!»

Только Вы забыли написать, когда выставка открылась и открылась ли она? И в газетах объявлений нет попрежнему. А следовало бы хотя дня за два потрубить публике.

Поленов сам виноват — поторопился, сам закупорил.

А Васнецову головку испортил Аванцо, он ее наклеивал на холст да при этом догадался покрыть вареным маслом (она была пожухшая). Васнецов хотел смыть масло, да смыл и лессировку верхнюю местами; он уж ее и посылать не хотел, да так махнул рукой.

Я бы очень желал знать мнение Софьи Николаевны (совершенно откровенное) о моей картине. Ничего больше я не послал потому, что я знал, что зала Академии наук невелика, а я и без того посылаю большую картину, думал, стесню других, да и выставка от этого не потеряла.

Частные портреты я закаялся ставить: одни неприятности и заказчикам оскорбления.

Кланяемся Софье Николаевне. Вера Вас очень благодарит и кланяется.

За «Софию» мою только еще пока *один человек* [1] меня журил, и крепко журил, говорит, что я дурно потерял время, что это старо и что это, наконец, не мое дело и что даже он будет жалеть, если я с моей «Софией» буду иметь успех!.. Вот как сильно!..

Ваш *Илья Репин*

А Лемана и здесь есть одна головка (на Постоян[ной] выст[авке]), превосходная, на испанцев стал походить, уже Харламову не подражает, — очень хорошенькая головка!

130. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

Воскресенье, которое число? [Февраль 1879]

Дорогой Илья Ефимыч.

«Еще есть порох в пороховницах! Еще не иссякла казацкая сила!» Смею Вас уверить. Конечно, теперь центр тяжести передвинулся сравнительно с тем, что было пять-шесть лет тому назад. Тогда надежды были на Ге, Перова, Мясоедова и других, а теперь — где они? Ну, что ж — слава богу, что так! Именно спросишь друг у друга: а «есть ли еще порох в пороховницах»? и хорошо, что такие вопросы раздаются! Спасибо Вам за него, это был хороший вопрос! Коли такие вопросы существуют, — значит, еще казацкая сила цела.

Выставка позамешкалась вот отчего: очищали зал, да и Куинджи еще не может ставить, а слишком необходимо его иметь — уж очень хорошие штуки. Просто, я Вам доложу, дух радуется за выставку. На шестой неделе будет выставка в Москве непременно, а в Петербурге мы попробуем трезвонить во все колокола, чтобы поскорее шли — продержим недолго, а хорошего много! Торопитесь, господа!!

У нас теперь на выставке много иностранного элемента Харламова, Лемана, Боголюбова, Беггрова и проч. и проч. Но боже! Какой дурак Харламов!! Он написал, видите ли, сюжет — итальяшки маленькие чем-то забавляются [1], ну... и глупо! Очень хорошо написано, прекрасно, даже таз медный есть (так, ни к селу, ни к городу) — а все-таки глупо.

В. Е. Маковский прислал своего «Осужденного» и порадовал. Хорошая вещь; даже, я думаю, очень хорошая, только можно ли так портить, как он: голова осужденного противоречит перспективе, она вниз, так, как будто зритель ему в маковку смотрит; а между тем и выражения много и тип. Ну, да ничего, хорошо. А кто это, позвольте спросить, такой умный, что будет сожалеть, если Вы будете иметь успех с «Софьей»? Скажите, если не секрет.

Вере Алексеевне кланяюсь.

И. Крамской

131. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

23 февраля [18]79

Дорогой Иван Николаевич.

Какое приключение с телеграммой: ее принесли мне вчера в первом часу ночи, я был уже в постели, в постели же, написав ответ, велел передать его посланному. Сегодня, вернувшись домой часа в четыре, я заметил свой ответ на моем столе. Что это значит? — говорят, принесший телеграмму не взял, — говорит, этого не надо, взял только расписку. Так что я только сейчас отправил Вам ответ.

Ведь я уже Куинджи писал подробно о том, как следует поставить мою картину и что ее ничем крыть не надо, рано еще. Она, конечно, много теряет, но что же делать. Еще если бы я был сам, я бы, конечно, покрыл ее кое-где, но заглаза трудно сказать; да и в сырую ее много сору набилось, как я слышал, может быть, придется поправить кое-что. Так что крыть не надо ничем.

В прошлом письме фразу из «Тараса Бульбы» о порохе и казацкой силе я писал Вам совсем не в смысле вопроса, а, напротив, прямым ответом на Ваше письмо, в котором Вы радуетесь за настоящую выставку. В этой фразе стоит у меня знак восклицательный, а не вопросительный.

Мы здесь ужасно огорчены Вашей проволочкой открытия выставки. Это трудно оправдать. Зал не готов — так следовало бы нас известить, и мы не портили бы свои картины, торопясь к сроку. Куинджи не готов? — Семеро одного не ждут; да и его очень легко было присовокупить после открытия. За что же наши-то вещи мозолят глаза более полумесяца. Эх, как было бы хорошо всегда открывать в среду на первой неделе поста, и это, поверьте, возможно. Успевают же люди из Парижа, из Рима, из Харькова, из Москвы, только питерцы не могут — странно.

В эти две с половиною недели, которые Вам остаются для выставки в Питере, публика только-только узнает, что помимо Академии художеств есть еще где-то выставка, которая, говорят, была гораздо интереснее, да кто ж ее знал, где она там была! Да и уж очень скоро скрылась, точно ворованная, — вот что будут говорить, и успеет побывать одна сотая должного числа.

Ваш *И. Репин*

132. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

25 февраля [18]79

Дорогой Илья Ефимыч.

Если бы Вы знали, как мне давно хочется написать Вам, и подробно и обстоятельно, но я Вам говорю, я совсем голову потерял, так много работы, и некогда было.

Москвичи совсем правы, написав письмо коллективное [1], — это было необходимо, каждый из нас, я уверен, почувствовал стыд. Положим, от этого вам, москвичам, немногим легче, даже зло не на ком сорвать; а сознание нами вины не может пополнить того материального ущерба, который будет нанесен (если, впрочем, он будет!). Так или иначе, а выставка еще и до сих пор не вся, еще нет десяти номеров и между ними значительных. Ну, да все равно, то, что есть, так загремело, произвело такое впечатление, что, я убежден, после этой выставки ни Академии, ни кому следует — не поздоровится. Там, в Академии, все было употреблено на то, чтобы нас убить, если не собственными средствами, которых, разумеется, недостаточно, то хотя бы с помощью иностранцев, имея во главе Макарта [2], и... что же Вы думаете, что говорят посетители? «Не знаешь, куда попал, в магазин ли, на иностранную ли выставку, или куда-нибудь еще, только не на русскую худож[ественную] выставку». Теперь они, т. е. там в Акад[емии], сами сознаются, что они перехватили, ходят по нашей выставке и недоумевают, — потому что выставка в самом деле громовая. Сегодня, наконец, поставил Куинджи [3] и... все просто ахнули! То есть, я Вам говорю, выставка блистательная. Это чорт знает что такое, еще в первый раз я радуюсь, радуюсь всеми нервами своего существа. Вот она настоящая-то, т. е. такая, какая она может быть, если мы захотим.

Скажите Васнецову, что он молодец за «Преферанс» [4]. Не знаю, общий ли тон выставки так влияет или в самом деле выставка далеко за уровень, только я хожу и любуюсь.

Вместе с этим письмом я пишу и Васнецову, где ему пишу о самовольном поступке с моей стороны: я не поставил его «Головку», т. е. даже никому и не показывал. Она ему могла бы повредить. Казните меня, делайте со мною что хотите, но я не мог иначе поступить. Лоб, глаза и нос очень хорошо, но остальное — ниже возможного. Не знаю, что мне за это будет, но пусть будет, что будет. Что же касается точного срока, то ведь мы уж положили его, занесли в протокол, подписали его и все-таки... словом, это равносильно желанию поднять самого себя за волосы.

Поленов молодец [5], а о Маковском и говорить не следует — перед его картиной плачут, перед Вашей приходят в ужас [6].

Кланяюсь Вере Алексеевне, кланяюсь всем, а деток целую.

Ваш *И. Крамской*

133. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

Понед[ельник], 23 апреля [18]79

Извините, Иван Николаевич, что так долго не отвечал Вам [....].

23, 24, 25 и 26 апреля мы отдали для учебных заведений для бесплатного посещения выставки; 27-го выставка будет окончательно закрыта [1]. Поленов и Васнецов были вчера (23 апреля), говорят, прошло 17800 человек всего, не знаю, верно ли это.

В воскресенье было 2400 народу; публика выражала много неудовольствия по случаю раннего закрытия выставки; только теперь она (выставка) приобрела всеобщий интерес.

134. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

29 апреля [1879]

Дорогой мой Илья Ефимыч!

Крепитесь! Вы переживаете нехорошее время: чуть не вся критика против Вас [1], но это ничего. *Вы правы!* (по-моему).

Посылаю Вам *сто* руб. для задатков и за мебель и за дачу.

Письма от Ивачева [2] не получал. Раньше не послал, потому что не знал, получили ли Вы мое письмо и какой будет ответ. К 10 мая дача должна быть готова.

Радуюсь за нашу выставку.

Вере Алексеевне кланяюсь.

Ваш *Крамской*

135. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

14 мая 1879
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч.

Будьте до конца долготерпеливы: я уже Вам навязал обузу, навязываю еще: потрудитесь отдать Ивачеву восемьдесят рублей из *ста,* которые я Вам послал. Остальные удержите

в уплату Вам. Тут был Поленов и говорил, что Вас нет, а я к Вам послал деньги, теперь же получил (только что!) от Ивачева письмо, и пишу уже прямо к нему. Я слышал, что Вы что-то хотели переписывать в своей картине [1]. Если только то, что Вы мне говорили и что я находил, то пожалуй, а если что другое, то очень опасно. Решительно я из критиков ни с кем не согласен, и Вы увидите еще, т. е. доживете до момента, когда публика и наши судьи поймут, что Ваша картина верна истории, и потому переделывать вещь опасная.

Вере Алексеевне низко кланяюсь.

Ваш *И. Крамской*

Велите прислать раму от «Русалок» [2], в Эрмитаже ждут и мой портрет Софьи Николаевны [3]. Он не поедет в путешествие.

136. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

17 мая [18]79

Дорогой Иван Николаевич.

Хозяин Вашей дачи все тут беспокоился, будете ли Вы жить у него на даче. Я вернулся только третьего дня, сегодня получил Ваши деньги, завтра отдам их г. Ивачеву (он будет здесь). Только он говорил, что мебельщику для залога нужно не менее 100 р. И потом еще мебельщик не дает тюфяков, так как они будут испорчены, по его мнению, за лето, то он хочет прибавки денег. Да Вам самое лучшее списываться прямо с г. Ивачевым, он, кажется, толковый человек. А то ведь это все проволочка ему то итти в Теплый, то в Ушаковский переулки. Я отдал ему деньги и велел главным образом поладить с мебельщиком, ведь нельзя же без мебели и без матрацов.

В четверг я выезжаю в Абрамцево, где семья моя живет уже вторую неделю.

Да, чуть не забыл, что это Вы воодушевляете меня крепиться против критики, — я, признаться, уж и думать забыл; проехался в Малороссию, чудесно! И время показалось более месяца, столько художественных впечатлений, везде весна, то цвели, то отцветали сады, а в Чугуеве уже довольно крупные грушки и вишенки еще зеленые... сирень, белая акация; какой чудесный запах.

Неужели есть еще и критика? Да, полно, есть ли она, особенно наша художественная?!

Мне, лично, вовсе не новость, что чуть не вся критика против меня, это повторяется с каждым моим произведением.

Припомните, сколько было лаю на «Бурлаков»! Разница была та, что прежде Стасов составлял исключение и защищал меня, теперь же и он лает, как старый барбос. Ну что ж, полают, да и отстанут. Это пустяки в сравнении с вечностью. Общественное мнение, действительно, вещь важная, но, к несчастью, оно составляется не скоро и не сразу; и даже долго колеблется, и приблизительно только лет в 50 вырабатывается окончательный приговор вещи; грустно думать, что автор не будет знать правильной оценки своего труда.

«Кромвель» Делароша[1] не нам чета, а какие свистки вынес в свое время в Париже! Не было осла, который не лягнул бы это гениальное произведение!! А нам и бог велел терпеть.

Где уж нам, дуракам, чай пить... А впрочем, я более чем счастлив — люди, мнениями которых я дорожу, отнеслись ко мне очень сочувственно.

Ваш *И. Репин*

137. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

[1879]

Дорогой Иван Николаевич.

Ради бога, распорядитесь хоть Вы выслать рамы Павла Михайловича Третьякова от VI Передвижной выставки, которые оставлены у вас в Петербурге и заменены багетами в путешествие, он очень сердится и говорит, что его, наконец, выведут из терпения неаккуратностью и он не захочет входить ни в какие дела с Товариществом. Теперь картины у него; а о рамах ни слуху ни духу. Вспоминается история с рамой Солдатенкова от картины Шишкина и проч. Похлопочите, пожалуйста; Ярошенки, вероятно, там нет, а больше никто, пожалуй, теперь не станет хлопотать, да, может быть, и нет в Питере прочих членов Правления.

Рамы от «Русалок» и портр[ета] Софьи Николаевны отправлены к Вам.

Третьего дня я писал Вам, просил дать брату моему[1] сколько ему понадобится денег, пожалуйста, не откажите, Иван Николаевич; здесь Вы сейчас же их получите от Павла Михайловича или Софья Николаевна, если она раньше приедет. Я сегодня еду и потому тороплюсь.

Хотелось бы о многом кое о чем поговорить с Вами, да жаль, времени нет, а все-таки хоть в коротких словах: бывши в Харькове, по отзывам туземцев, я убедился, что в провинцию не следует посылать вещи каждый год, и что бы у нас

ни было; напротив, это самая нетерпеливая публика (ибо малообразованная), им нужно давать вещи безукоризненные и очень интересные, и не прежде как через три года, ибо время там переживается не так быстро, и у них нет совсем столичной погони за быстрой переменой впечатлений. Всего бы лучше делать выбор вещей из трех-двух выставок и это посылать в небольшом количестве.

Второе: Вам следовало бы *уничтожить* постановление *делить дивиденд* между членами — это пустое и недостойное серьезных людей занятие. Дивиденд следует копить и образовывать общий капитал, который нам очень необходим и ввиду постройки и ввиду ручательств перед собственниками за целость вещей.

А то ведь нам скоро не будут давать вещей. Например, говорится, что Товарищество исправляет попорченные рамы, а оно и не думает исправлять.

Потом иногда необходима помощь нашим членам, дать им денег под сделанные уже вещи; а мы теперь ровно ничего не можем, ибо у нас нет денег... а странно, деньги в руках, и мы сами упускаем их между пальцев.

Ваш *Илья Репин*

1880

138. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

17 марта 1880
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч!

Ваше письмо[1] даже не предупредило событий[2]. Многие сходятся на том, что Вы говорите; и шаг должен совершиться именно в желаемом Вами направлении. Со времени общего собрания я находился в огне, чувствовал необходимость какой-то меры, но какой? Это было мучительно определить. Я лично, да, полагаю, и Товарищество — будущее — будем Вам глубоко благодарны за Ваше превосходное письмо. Оно послужит основой и толчком, быть может, начинающейся бури, которая, надо полагать, очистит нравственную атмосферу. Конечно, Ваше письмо не есть частное, что бы там ни говорили, а глубоко общественное. Сожалею, что не могу собрать мыслей, чтобы написать что-нибудь, тороплюсь только уведомить Вас, что письмо Ваше я получил и что Ваши благородные усилия я глубоко ценю и радуюсь. Авось, бог даст, мы воротим членов художников, растущих и развивающихся, и получим возможность свободы движения от мертвящих постановлений и бюрократических тонкостей, которые, однакож, мешают жить и действовать.

Прибавлю: трудно Васнецову пробить кору рутины художественных вкусов. Его картина не скоро будет понята. Она то нравится, то нет, а между тем вещь удивительная. Я рад, что Влад[имир] Алекс[андрович] просил узнать о цене его картины. Боже мой, мы такие олухи, что, оказывается, не имеем об этом сведений, а околесину несем отлично.

Как ни трудно мне выступать активно, но если не найдется инициатора, то попробую еще раз.

Глубоко преданный и уважающий Вас

И. Крамской

139. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

25 марта 1880
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч!

Следовало бы дать Вам подробный отчет обо всем случившемся здесь, после Вашего отъезда, но это почти невозможно: так много было волнений, споров, собраний. Все это, наконец, выразилось в коротеньком письмеце к Вик[тору] Мих[айловичу], которое мы и предлагаем Вам подписать прежде передачи по назначению. Не знаю, как Вы там в Москве, одобрите ли эту редакцию, и как, по-Вашему: удовлетворит ли она Васнецова? Мясоедов, причина всего случившегося, говорит: «Чорт знает что такое! Я совсем писать не умею, я хотел успокоить Васнецова, а между тем вышло наоборот; напишите, пожалуйста, вы, т. е. Брюллов, Лемох и Ярошенко, от Правления, я вам поручаю, а то, пожалуй, я еще что-нибудь сделаю не так». Письмо Ваше я сделал известным некоторым тотчас же по получении и, извините, считал себя вправе, так как оно, разумеется, не частное, *а глубоко общественное.* Оно имеет такую огромную важность, что многих, если не всех, заставило призадуматься. На другой день по отъезде Васнецова я заявил Ярошенко, что считаю себя оскорбленным Мясоедовым, вместе с Васнецовым, даже больше, Мясоедов оскорбил и всех тех, кто находил необходимым читать письмо, и что я вхожу с заявлением и, подкрепленный еще шестью-семью человеками, потребую созыва общ[его] собр[ания] или ухожу. После долгих разговоров я отказался от этого, но только в силу того, что я не слышал *собственными ушами* первой половины разговора между Васнецовым и Мясоедовым, а редакции других, слышавших, несколько расходились. Собственно, я лично виню Васнецова только в одном: это в том, что он, уходя из общего собрания, не сказал настоящей причины, а написал ее на другой день, когда уже было невозможно немедленно потушить дело. Однакож мы все довольно единодушно выразили Мясоедову наше мнение, что ему следует извиниться. Он обещал написать письмо, которое, как оказалось, еще больше подлило масла в огонь. Но Мясоедов утверждает, что в его письме стоит вначале фраза: *«Не надеясь* изменить Ваше решение и т. д.», т. е., что он хотел бы, но не надеется, а не то что *не намерен,* как Вы пишете, ну, словом, мы толковали, толковали (прежде без Мясоедова), и решили написать такое письмо, под которым бы могли подписаться не только мы все, но и Мясоедов. Может быть, это цели не достигнет (что будет очень сокрушительно), но другого склеить ничего было нельзя.

Примкните пока хоть к этому, если оно не противоречит Вашей совести, а дальше кое-что можно сделать и еще. Мне удалось сбить некоторых с *легальной* позиции настолько, что легальность не отстаивается уже как святыня, а рассматривается как предмет, подлежащий и отмене и изменению, и что следует пересмотреть все журнальные постановления и отменить те, которые мешают движению Товарищества, как живого организма. А главное, что достигнуто, это урок воздержания и некоторая задумчивость в храбрых и непогрешимых и, сколько можно судить, искреннее желание принять за основу наших отношений не столько легальность, сколько человечность. Я не говорю о Товариществе, это невозможно, да и не нужно (т. е. этого нельзя требовать), но человечность *можно* не только желать, но и *требовать*.

Теперь о Куинджи [1]. Бог знает, что у него на уме. Он говорит теперь, что он, пожалуй, вышел бы все равно, и что если бы эта картина была у него раньше, то ему неловко было бы не поставить ее к нам, т. е. он считал бы своим долгом поставить ее, но пожал[ел] бы, пожалуй, что не вышел. Вот тут и разбирайте. Я давно заметил, что все *великие* таланты мало социальны. (Значит, мы с Вами не великие). Это я Вам по секрету. Господи, какая чепуха!!

Клодту решено *написать*, что, дескать, так и так, М. К., письмо Ваше мы слушали, не обратили на него особого внимания, хотя и приняли к сведению, и перешли к очередным делам [2].

С Куинджи надо подождать. Он теперь имеет такой колоссальный успех, что если бы мы написали ему что-нибудь, то это имело бы вид заискивания, а это нежелательно. Впрочем, напишите, что Вы думаете. Великий князь о цене картины Васнецова сказал: «Ой, ой, ну, скажите, пожалуйста, кто купит у него эту картину?» Ужасно жаль.

Глубоко преданный и уважающий Вас

И. Крамской

140. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

15 апреля [18]80 г.

Дорогой мой Илья Ефимович.

Рамы и картины укладывал я! — чрез столяров, конечно. Это ужас. Я не знаю, как случилось это. Одним можно объяснить себе — так как рамы начали укладывать в 4 часа утра уже в пятницу, рабочие возились почти две ночи и один

полный день, и это были последние ящики, то утомление было слишком велико. Я как теперь помню, что один из брусьев рамы Васнецова я еще попробовал руками, когда он был привинчен, ну что ж делать, виноваты мы, теперь нужно перед Павлом Михайловичем как-нибудь это уладить или скрыть, если он уже раньше нашего не увидал всего безобразия [1].

Моя картина будет к празднику без рамы. Раму делает *Жесель* новую, а пока пусть постоит в багете с коленкором.

Савицкий ни за что не послал, мы с ним тут просто поругались (не всерьез, теперь надо прибавлять), говорит, что сделал глупость — ставил в Петербурге.

Ни Вашу, ни Поленова рамы я не решился отправлять, так как не было ящиков, да еще, кроме того, так как их нужно возвращать в Петербург из Москвы, то хлопоты и проволочки с ящиками решительно не стоили риска.

Ради бога, не ругайте очень. Тут со всеми ящиками вышел кавардак, Савицкий нашел какого-то столяра, и вот мы по сей причине не могли положить картин с рамами. Много механических ящиков осталось — не по размеру.

Извините еще раз.

Портрет Шишкина протрите лачком немножко.

Ваш *И. Крамской*

Зато у вас в Москве картина Максимова [2]!!!

Цены посланы Маковскому [3].

141. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

[19 апреля 1880] [1]

Дорогой Иван Николаевич.

Уведомьте, пожалуйста, поскорей, если можно, телеграммой даже, какая же *настоящая цена «Сумеркам»,* карт[ине] Мясоедова [2].

У нас прежде значилась она в 2000 р., а теперь Вы пишете 1000 рублей.

Сегодня ее покупал г. Алексеев и сказал, если 1000 р., то картина за ним. Пришлите поскорей ответ.

У нас тут очень много продалось картин, и выставка имеет гораздо больший интерес, чем в Питере [3].

Ваш *Илья Репин*

О цене отвечайте на выставку, прямо в Школу живописи и ваяния, дежурному по выставке.

Я побоялся порешить, думал, не ошибка ли это 1000 р., так как у нас уже было назначено 2000 р.

142. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

28 октября 1880 г.

Многоуважаемый Илья Ефимыч.

Николай Павлович Алловерт[1], редактор «Огонька», не знает, что ему делать: Сидоров[2] не выдает картины[3], потому что она у него копируется, хотя перевод на новый холст кончен давно, остались едва заметные полоски, где были швы, но эти полоски он оставляет, чтобы говорить, что картина не кончена. Я у него был сам и требовал выдачи картины, так как я должен передать картину великому князю. Он обещал, а когда я посылаю за нею в назначенный срок, то его не застают. Не примете ли Вы каких-нибудь мер?

Как Вам должно быть уже известно, Товарищество добилось своего — оно имеет отдельный зал на Всероссийской выставке, третий, последний от входа[4]. Большой — 12 саженей длины и 8 саженей ширины. Всех больших зал три. Мы послали Вам об этом циркуляры, а на днях высылаем другие об альбоме[5].

Извините, что пишу на бланке[6].

Уважающий Вас

И. Крамской

143. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

7 ноября 1880

Дорогой Илья Ефимыч, я очень доволен, что мне удалось самому обуздать г. Сидорова. Картину выручил, ее уже копируют, только не Загорский[1], а Манизер[2]. Они как-то там сделались.

Что касается швов, то не говорите, что глупость, так как оно теперь — очень хорошо. Сидоров — молодец.

В настоящую минуту у вас в Москве наш посланный г. Константинович[3] для подписания журнала экстренного общего собрания. Случилось это потому, что товарищ министра внутренних дел сегодня, например, объявил нам, что он дать разрешение на открытие выставки постоянной не может, а если мы будем просить о дополнении к Уставу, то это весьма скоро сделается, — и пригласил нас подать прошение, в воскресенье или понедельник, об этом. То есть я Вам доложу, что за чиновники!

Ну что ж, право, иметь права́ и на постоянную выставку никогда Товариществу не мешает; затем, расходов

Товариществу от сего никаких не предстоит, так как, если Вы помните, я просил разрешить мне устройство выставки постоянной на свой риск и страх, а там будет видно. Сыр-бор загорелся от того, что градоначальник не разрешил вывески.

Я думаю, что никто не откажется подписать протокол, так как все должно быть сделано легально. Отсутствующие Ге, Мясоедов, Бронников [4] и Боголюбов спрошены телеграммой и уже отвечали сегодня, что согласны. Стало быть, постановление об изменении параграфа Устава состоится единогласно.

Преданный Вам *И. Крамской*

Какую бурю восторгов поднял Куинджи! Вы, вероятно, уже слышали. Этакий молодец — прелесть [5]!

144. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

10 ноября 1880 г.
Москва

Дорогой Иван Николаевич, очень рад, что картина моя реставрирована хорошо; боюсь, чтобы только не отваливалась как-нибудь впоследствии краска. Манизер тоже, кажется, хороший художник; но не поощряют и не радуют меня наши издания — недавно, например, воспроизвела же «Иллюстрация» «Проводы новобранца», такую мерзость, такую клевету на картину увековечила в тысячах экземпляров!! Возмутительно и отвратительно. Так же воспроизведен Васнецов «Поле битвы» [1] и В. В. Верещагина «Панихида» [2]. Ну можно ли так издеваться над подписчиками?! [....] Этот Гопе [3] — в искусстве, как свинья в апельсинах, но делает дело и ведет газету, да еще как наживается!! А Александров наш мямля сущая, боюсь я, что и в этих счастливых условиях он не выдержит и скоро бросит свой еще не появившийся «Художественный журнал»! Не практик, не имеет понятия о том, как дела делаются... Это младенец, сущий младенец! А ведь что досадно, слывет он везде за какого-то пройдоху!.. — Вот так и наше издание альбома. Иван Николаевич, если возможно (надеюсь), отговорите Вы эту затею; это будут брошенные деньги, без всякой пользы. Возьмите, например, Мамонтовский альбом [4], разве дурно, разве не интересно, и издано недурно и недорого; а что же, до сих пор не продалось и двадцати экземпляров, и чем дальше, конечно, тем меньше спроса...

Ну прочтите, ради бога, программу первого выпуска, разосланную в циркуляре вчера, ведь всего три-четыре вещицы

будут интересны, да и те давно знакомы публике по фотографиям, остальное балласт — не пойдет.

Ваш уполномоченный был на нашем вечере. Постоянная выставка Ваша — дело очень хорошее и необходимое Товариществу. Вас один Владимир Маковский наполнит вещами и очень недурными. Одно только — не забывай рекламы, объявления, статьи, и, если можно, каждый день и во всех газетах, а иначе заглохнет. Но, боже мой, какое у нас турецкое, тупое чинодральство!! *

Преданный Вам

И. Репин

145. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

13 ноября 1880
СПБ

Дорогой Илья Ефимыч, московские члены прислали протест против приведения в исполнение решения общего собрания относительно альбома. Жаль очень, еще одно хорошее дело похоронено. Но, по-моему, напрасно написан даже самый протест; циркуляр, который разослан теперь от Правления, мне кажется, достаточно оправдывает от нарекания, чтобы оно хотело себе присвоить права, ему не принадлежащие, т. е. дело, которое должно быть поручено комиссии, Правление самовольно хотело исполнить. Неужели так мало известны общие нравы Товарищества, что забыли, что Правление не проводит часто многих постановлений только потому, что два-три скажут: мы не согласны. Достаточно быть кому-нибудь не согласным с циркуляром, чтобы дело остановилось. Но это не особенно важно, важнее, например, неточности. Вы пишете: комиссия должна была быть избрана для собрания справок и для разработки проекта издания; сколько мы все тут в Петербурге помним, напротив, комиссии именно полагалось поручить заведование самим изданием. Неверно также и то, чтобы решение общего собрания было спешное. Именно этот вопрос раньше занимал всех; я помню, что задолго собирались, и все только толковали об альбоме, и все пришли на собрание, так сказать, с готовым мнением, и потому решение было постановлено скорое. Притом такого рода протест ставит Правление в странное положение, между двух огней. В Москве говорят: мы подумали, не нужно, а в Петербурге все только и бомбардируют Правление: что же, когда же и т. д.

---

* Постоянную выставку не разрешить!!!

Что же касается того, как Вы выражаетесь, что «опыт подобных изданий в России *никому* и *никогда* не удавался», то, воля Ваша, это, во-первых, преувеличено и, во-вторых, простите, отзывается некоторым раздражением людей, несколько прикосновенных к издательской деятельности.

Я Вам скажу, что альбом Мамонтова и не мог иметь успеха именно в самом корне, в идее. Вы полагаете, что достаточно, чтобы было хорошо, и берете в сравнение, как *идут* за границей композиции и рисунки художников. Но в России это еще рано; прежде чем издания, подобные Мамонтову, пойдут в России, нужно издать хорошо то, о чем публика уже знает, как о хорошем. Нужно именно делать то, что делает мерзавец Гоппе, но хорошо. Это публика тысячами пересмотрела, одобрила и полюбила. Вот когда таким образом лет через пятьдесят публика русская напитается этим, тогда она поймет, что такое альбом, подобный Мамонтову. Это похоже на рисовальную школу Строганова[1] в Москве, основанную в 22 году, которая хирела пятьдесят лет, пока не пришло время *этих* школ. Стало быть, я думаю и буду думать, что если дать то, что уже есть хорошего на выставках, и издать хорошо, это будет блистательно. Я не буду спорить, что выпуски следовало бы как-нибудь составить иначе, это, пожалуй, критике подлежит может быть, нужно выжать, насколько возможно, каждую выставку, и, если бы я был спекулянт, я бы из того списка, который мы послали, вместо двадцати пяти или тридцати рисунков оставил восемнадцать-пятнадцать-двенадцать, не прибавляя новых; но это уже недостаток, в сущности не важный, общественных предприятий, так как в первом выпуске должны были быть помещены все равномерно (т. е. нам, Правлению, казалось так). Ну, словом, лично для меня это нисколько не убедительно, но что упало, то упало. И потому будет.

Вот относительно постоянной выставки — бабушка надвое сказала. Вы пишете, что это будет хорошо, а я думаю — едва ли, — ни место, ни квартира не совсем отвечают; и потом я не совсем то думал[2]. Но все же я полагаю, что она если и принесет убытков, то немного, а принесет — это верно. И все-таки этот опыт ничего не будет говорить против постоянной выставки, как и неудачи издательские, потому что тут все дело в искусстве, — *как* точно в картинах. Как Вы станете вперед говорить художнику: сюжет никуда не годится. Это бывает, правда; я сам, если бы мне Куинджи сказал: хочу сделать луну, я бы по привычке сказал бы: ну, луна не удастся. Тут все дело не в том — *что,* а *как.* Мы полагаем, что избитые и всем известные картины, хорошо сделанные, разойдутся. При-

мер: Каррик[3]. Продает себе альбомы по 25 р. за экземпляр с нашими картинами, и много продает, а фотографий-то не бог знает сколько. Ну, еще раз довольно. Извините, больше не буду. Успокойтесь. Правление не пошевельнется.

Теперь позвольте мне, дорогой Илья Ефимыч, спросить лично Вас: зачем Вы прислали отказ Правлению в пользовании Вашей картиной в предполагавшемся издании? Очевидно, Вы ошибочно предполагали, что, несмотря на протест, Правление начнет издавать. Положим, невероятное совершилось: Правление (не трогая денег Товарищества, разумеется, уж это-то хоть Правление понимает) издает альбом и просит Вас дать Вашу картину; Вы, обязательно предоставляя Гоппе и другим помещать Вас рядом с Якоби и Орловским (и Вы это знаете), да еще так отвратительно, отказываете тут. Извините, ради бога, я ничего не пойму. Я решительно не вижу надобности в этом. Этот документ обнаруживает только Ваше волнение, но отчего, я не могу понять. Это меня очень опечалило. Признаюсь Вам. Ради бога, если можно, скажите правду, я его сейчас получил и еще никому не показывал.

Вере Алексеевне глубоко кланяюсь.

Ваш *И. Крамской*

146. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

23 ноября 1880 г.
СПБ

Дорогой мой Илья Ефимыч.

Если Вы полагаете, что мне есть какое-либо огорчение личное, что альбома не будет, то это ошибка[1]. Кроме спокойствия, я ощущать ничего не буду и не ощущаю; а хорошее дело все-таки погребено.

Ну, да, верно, нам не судьба заниматься подобными делами.

Радуюсь сердечно, что появляется вещь Сурикова[2]. Вы только не пишете, где она явится? В прошлом году я от Вас слышал, что он хотел поставить на Передвижную, ну, а теперь как и где, не раздумал? Со своей стороны я доволен, что могу обрадовать и Вас вот чем: М. П. Клодт написал вещь, которую просто ожидать было нельзя, — «Посещение царицей заключенных во время светлого праздника» [3] — очень хорошо. После «Последней весны» [4] он не подходил и близко. Это первая вещь, которая трогает. Хорошо. Одно жаль — могла быть побольше.

Ваш *И. Крамской*

1881

147. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

4 [февраля] 1881 г.[1]

Дорогой Иван Николаевич.

Как хорошо сделало Товарищество наше, что соорудило венок Достоевскому; мы здесь так этим тронуты, что напишем вам общее благодарственное письмо. Еще бы не утвердить этого на общий счет!.. Спасибо, что догадались; а мы тут подумывали: «ведь вот не догадаются в общей суматохе».

Жаль, что выставка наша до воскресенья отложена, а не до среды на первой неделе поста[2].

Я условился с Суриковым ехать на масленице. Спасибо Вам большое, Иван Николаевич, за предложение Вашей комнаты; но я, кажется, не воспользуюсь им, так как намерен прожить в Питере недели три, и я уверен, что сам ангел господень сказал бы мне, что я надоем ему в столь долгий срок, да и обещал Сурикову поместиться с ним вместе где-нибудь в отеле.

Слухи, что я намерен был везти свою вещь[3] кончать в Петербург, не верны; я всегда думал прежде кончить ее и потом везти, а поехать нам хотелось, пожить немножко; поверите ли, как мне надоела Москва!! Да я решил во что бы то ни стало на будущую зиму перебраться в Питер[4].

Вчера Павел Михайлович рассказывал подробности похорон. О перенесении я слышал раньше, в воскресенье Ел[изавета] Григор[ьевна] Мамонтова была, рассказывала. Да, это событие в русской жизни знаменательное.

Я более всего восхищаюсь тем, что Россия начинает жить жизнью интеллектуальной. Сознательно ценит проявления собственной жизни и горячо, задушевно к ним относится, уже не как холопы, с вечным раболепием только перед высокопоставленными властями, а как свободные граждане, отдающие дань заслуженному члену, этому великому страстотерпцу Федору... Даже забываешь про скорбь, про незаменимую утрату дорогого человека и невольно радуешься, уж очень торже-

ственно вышло. Я уверен, что сам Достоевский присоединился бы к общему торжеству и не был бы в претензии, что мало было грустных лиц, как сетуют некоторые.

Писемского портрет[5] я привезу на выставку. Этому человеку не суждено было торжествовать. Громадный был талант, его «Горькая судьбина» — образцовая драма. Но как сдавила его узкость убеждений. Загнала его в глушь, и, о Москва, Москва, я только на третий или на четвертый день узнал о его смерти.

Васнецов прекрасно заканчивает свою «Аленушку»[6] — очень вышла хорошая вещь.

Ваш *И. Репин*

Софье Николаевне передайте наше почтение, Вера Вас очень благодарит. Вчера вечером мы под конец очень развлекались новым русским журналом, с совершенно еще неизвестными, но очень громкими именами писателей и писательниц. Журнал очень либерален по форме, он печатан литографическим способом, хотя нисколько не революционного содержания; он носит очень скромное имя «Чижик».

148. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

14 февр[аля] 1881
СПБ

Что сказал бы ангел господний, дорогой Илья Ефимыч, на то, что у него И. Е. Репин прожил бы недельки три, — не знаю; быть может, Вы и возмутили бы его Вашим идолопоклонством (т. е. язычеством), но что меня касается, то, так как я теперь не ревнив в делах веры, то думаю, что на меня это не подействовало бы. Ведь я не видал бы, по какому обряду Вы поклоняетесь Иегове. Ведь комната находится при мастерской, где я никогда не бываю, т. е. не в мастерской не бываю, а в комнате. Совсем особая статья — обещание Сурикову поместиться с ним вместе, если таковое дано уже. Но простите — тут есть крошечное лицемерие: как это Суриков оказывается доброкачественнее не только меня — это куда ни шло — а и ангела господня? Как хотите, а тут есть политика.

Ну, господь с Вами, а я все-таки скажу — жаль.

Да, я и сам доволен, что *мы* догадались проводить Достоевского. Да и как не проводить, когда он оказывал на всякого русского человека такое огромное морализирующее влияние, — его еще не оценили. Вообразите, я думаю, что, несмотря

на всю торжественность, овации, энтузиазм, — еще не совсем ясно понимают, кто был Достоевский и что он сделал [1]!

Деловые строки:

В следующем номере «Художественного журнала» Вы встретите воззвание к обществу от имени Товарищества к подписке на памятник П. К. Клодта [2], скульптора. Уговорите москвичей не бунтовать против узурпации Петербурга. Дело не терпело промедления. На общем собрании мы об этом поговорим. Видите, дело в том, что это отец нашего уважаемого члена М. П. Клодта, скульптор был из ряда вон, наставил памятников, прославил Россию, а на его могиле, на Смоленском, деревянный крест, да и тот один сгнил, и родственники поставили другой. Товарищество, заявляя об этом и приглашая к подписке, делает хорошее гражданское дело.

Как хорошо, что Вы надумались перебраться в Петербург! Знаете, хотя это и болото, но пока столица тут — наше место тоже здесь. Наше, т. е. бойцов. Это не фраза.

Радуюсь за Васнецова. Он, стало быть, стал на рельсы. Давно пора. Потихоньку: нельзя ли узнать — заплатил ли Александров Шереру и Набгольцу за прошлый номер?

Писать нужно еще много, а места нет, да и некогда.

Ваш *И. Крамской*

Вере Алексеевне низко кланяемся!

149. И. Е. РЕПИН — И. Н. КРАМСКОМУ

16 февр[аля] 1881 г.
Москва

С Вами надо говорить осторожно, дорогой Иван Николаевич, сейчас и подцепили «ангела господня». Ведь Суриков собирался на два, на три дня, лишь бы картину [1] уставить самому и посмотреть ее там. А теперь и этого, пожалуй, не сделает: простудился немного, боится; да как ему и не бояться. Ведь он месяца три умирал совершенно, осужденный докторами на неминуемую смерть.

Каково это, в виду недоконченной уже очень обещавшей и тогда картины! Будешь осторожен.

Но что это Вы на нас нападаете! Когда же это было, чтобы мы обвиняли петерб[ургских] членов в узурпации?!! Это нехороший намек, мы его не заслужили; если с чем не соглашались, то только в силу всестороннего обсуждения сообща присылаемых предложений, имея в виду общую пользу и справедливость. Ну, да это далеко повлечет. Мы очень сочувствуем

и присоединяемся к вашему воззванию о памятнике бар[ону] Клодту. Впрочем, пока я говорил об этом только Васнецову, прочих не видел. Надеюсь, и все не против, хотя москвичи мало знают Клодта по своей «беззаботности насчет литературы».

Теперь Вы уже, конечно, получили наше письмо, написанное Васнецовым и подписанное всеми здешними «истинными» членами (ибо есть здесь и не истинные, суетные, они отсутствуют) *. Признаюсь Вам откровенно, я не совсем согласен со смыслом этого письма нашего. Достоевский — великий талант художественный, глубокий мыслитель, горячая душа; но он надорванный человек, сломанный, убоявшийся смелости жизненных вопросов человеческих и обратившийся вспять. (Чему же учиться у такого человека? Тому, что идеал — монастыри? от них бо выдет спасение земли русской). А знания человеческие суть продукт дьявола и порождают скептических Иванов Карамазовых, мерзейших Ракитиных да гомункулообразных Смердяковых.

То ли дело люди верящие, например Алеша Карам[азов], и даже Дмитрий, несмотря на все свое безобразие, разнузданность, пользуется полною симпатией автора, как и Грушенька. И потом, как согласить с широкой примиряющей тенденцией христианства эти вечные грубые уколы полякам? Эту ненависть к Западу? Глумление над католичеством и прославление православия? Поповское карание атеизма и неразрывной якобы с ним всеобщей деморализации, сухости и пр.?.. Все это грубоватые натяжки, достойные московских мыслителей и публицистов с Катковым во главе... А художник он большой. Чего стоит галлюцинация Ивану Карамазову [2]! «Великий инквизитор»! Ну об этом поговорим подробнее.

Ваш *И. Репин*

Абросимов мне угодил: послал раму сюда ко мне; теперь жду. Пожалуй, целую неделю прождешь. Какие чудаки, ведь писал ему обстоятельно, чтобы эту раму оставил там до моего приезда.

---

* Их не было в этом нашем заседании.

1885

150. И. Н. КРАМСКОЙ — И. Е. РЕПИНУ

25 января [18]85
СПБ

Многоуважаемый Илья Ефимыч.

Я кое-что наделал, в чем и должен Вам покаяться.

О Вашей картине [1] я написал Суворину несколько слов при случае и рекомендовал ему посмотреть. Он мне пишет, что так как он не знает Вас, то и просил у меня позволения сослаться на меня в своем письме, которое он Вам хотел написать, и просить Вас показать ему картину. Если Вы еще такого письма не получали, то, вероятно, получите — и это все я. Не сердитесь, ради бога. Если Вам почему-либо Суворин неприятен, то я приму меры, чтобы он ничего не написал до появления картины в публике. А картину ему покажите.

Уважающий Вас

И. Крамской

ПЕРЕПИСКА
С
В. Д. ПОЛЕНОВЫМ

1867—1883



В. Д. Поленов
1844—1927

Портрет работы И. Е. Репина ГТГ

1867—1868

151. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

[1867—1868 гг.][1]

Милостивый государь Василий Дмитриевич!

Спешу извиниться перед Вами в том, что сегодня урока из анатомии я дать не могу, и прошу Вас отложить его до вторника.

С истинным почтением и совершенною преданностью, милостивый государь, имею честь быть Вашим покорнейшим слугою.

И. Крамской

152. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

27 генваря [1868 г.]
6 часов

Василий Дмитриевич!

Совершенно неожиданно приезд моего хорошего знакомого из Москвы не позволяет мне явиться на урок, почему извиняюсь перед всеми моими ученицами[1]; прошу Вас посмотреть и сделать Ваши замечания, если состоится рисование.

Уважающий Вас *И. Крамской*

1875

153. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

2/14 марта 1875 года
Paris, Rue Blanche, 72[1]

Милостивый государь Иван Николаевич.

Желая удостоиться чести участвовать своею картиною, купленною его высочеством наследником цесаревичем на выставке Товарищества передвижных выставок, я просил его высочество дать мне на это свое соглашение. В случае если воспоследует на мою просьбу согласие его высочества, я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой поставить картину мою на упомянутую выставку, если на это не найдется препятствия со стороны членов Товарищества[2].

Сюжет картины взят из религиозных войн католиков с гугенотами, а именно «Арест Jacobinne de Montebel графини d'Entremont»[3].

Надеясь на Ваше благосклонное участие, покорнейше прошу Вас, многоуважаемый Иван Николаевич, принять уверения в совершенном почтении и преданности.

В. Поленов

154. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

23 марта 1875 г.
Петербург

Добрейший Василий Дмитриевич, я глубоко был тронут Вашим доверием — поручить моим попеченьям Вашу картину. Благодарю Вас от всего сердца за доверие и изъявляю удовольствие и радость как мою, так и членов Товарищества по поводу Вашего сочувствия, так геройски заявленного, к целям Товарищества перед лицом Академии. Вы, вероятно, имели главным образом тот резон, что выставки в Академии не будет и что, следовательно, Вы, хотя и пенсионер, можете распола-

тать собственным выбором между двумя частными обществами[1]; но, к сожалению, в Академии на это взглянули иначе. Дело в том, что я получил из дворца цесаревича две бумаги официального характера по поводу Вашей картины: одна, от шестого марта, о том, что цесаревич согласен, чтобы Ваша картина была на Передвижной выставке, другая, от тринадцатого марта (получена мною семнадцатого), в противоположном смысле, где сказано, что вследствие личных объяснений между товарищем президента[2] и цесаревичем картина Ваша будет поставлена в Академии по закрытии Передвижной выставки. Как видите, люди, которые этим распоряжаются, потеряли хладнокровие, из чего Вы можете заключать, как велика их ненависть к Передвижной выставке. Ваше желание тут ни при чем, им по произволу распоряжаются[3].

Всего прискорбнее во всем этом обстоятельстве это то, что Вам Ваш поступок, вероятно, прощен не будет, и я боюсь, как бы не вышло чего-либо так называемого *неудобного*[4]. Картина Ваша получена была в конторе Академии семнадцатого марта, где я ее и видел, разумеется, сейчас же. Она в совершенной сохранности, и так как я вслед за сим получил злополучную бумагу, то и не мог доставить себе удовольствия распоряжаться ее постановкою; ко мне можно было применить известную поговорку: «видит око...» и т. д., а картина хорошая, колоритная. Очень жаль, что ее не будет у нас, а Товарищество было радо, когда узнало о Вашем намерении. Во всяком случае, члены Передвижной выставки высказывали надежду, что если не удалось на этот раз, то со временем, быть может, препятствия устранятся, и мы будем иметь удовольствие видеть Вас в числе своих действительных членов. Все здесь изложенное я сделал известным Вашему батюшке, который был огорчен, быть может, не менее моего.

Если найдется свободное время и Вы напишете мне несколько строк, то я буду Вам крайне признателен и рад отвечать Вам даже длинным посланием. Но Вы не пугайтесь. Я это не буду делать вдруг, а обещаю быть благоразумным.

Уважающий Вас *И. Крамской*

155. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 апреля [н. с.] 1875
Париж

Благодарю Вас, многоуважаемый Иван Николаевич, за Ваше доброе сочувствие ко мне. Очень мне было лестно увидеть из Вашего дружеского письма такое благосклонное

расположение ко мне членов Товарищества передвижных выставок, тем более, что я с своей стороны ничем его не заслужил. Я думал, что так как официальной академической выставки в этом году не предполагается быть, то я получаю право выбора между частными выставками и могу участвовать в том обществе, к целям и направлению которого относятся мои симпатии. На деле же оказалось иначе. Мы, пенсионеры, находимся теперь в кабальной зависимости от Академии и без ее контроля и дозволения шага ступить не можем. Окончательно разорвать с ней не приходится, пользы от этого выйдет мало, а себе навредишь. Положение, как видите, не очень приятное. Конечно, можно было бы итти напролом, ну да на это, чувствую, сил не хватает; что делать — слаб, сам в том сознаюсь.

Теперь в Париже все занято предстоящим Салоном, т. е. годичной выставкой. Жюри кончил свой осмотр, отказал шесть тысяч картин, принял две с половиной; недовольных множество, все журналы говорят об этом, словом, это составляет животрепещущий вопрос дня [1].

Но меня лично охватил и поглотил один художник, произведения которого составляют, по моему пониманию, самую высокую точку развития нашего искусства. Он, как мне кажется, есть последнее слово художественности в живописи в настоящее время. Можно было бы сказать — техники, но это слово слишком узко для его произведений; в них она является в таком богатстве, в такой роскошной красоте, что перестает быть манерой, а делается творчеством. Он соединяет с строжайшим, но не условно мертвым академическим, а жизненным рисунком, с неуловимо тонким реальным, хотя и личным чувством цвета (его картины, если так можно выразиться, серебристо-перламутровые), самое правдивое сопоставление предметов, как оно в живой действительности только бывает, и поэтому до поразительности новое и своеобразное. И при всем этом такое разнообразие способа работы, такое легкое, даже шутливое отношение к ремеслу, что его картины не колеблясь я называю апогеем чистого искусства. Я говорю о недавно скончавшемся испанце Фортуни. После его картин ничего уже не видишь, т. е. ничего в памяти не остается, они заслоняют собою все остальное. Репин выразился очень оригинально о Фортуни: «после него натура кажется условной, искусственной». Впрочем, я, может быть, увлекаюсь, не знаю! Но в настоящую минуту я нахожусь под его обаяньем; я думаю, оно похоже на опьянение от опиума или от иной музыки. Впечатление от живописи, подобное этому, я испытал еще два раза — в 76 году от Морелли [2]

и в 73 в Мюнхене от Бёклина[3]. Фортуни и на Реньо наводил бессонницу.

Благодарю Вас, Иван Николаевич, за любезное предложение писать мне; я с нетерпеньем буду ждать Вашего письма.

Глубоко уважающий Вас *В. Поленов*

Конст[антину] Аполлон[овичу][4] мой дружеский поклон и желание скорей вернуться.

156. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

5 апреля 1875 г.
Петербург

Говоря по совести, я был удивлен, уважаемый Василий Дмитриевич, Вашим решением поставить Вашу картину на Передвижную выставку и в то же время обрадован. Мне всегда казалось, что дело наше заслуживает сочувствия и поддержки (говорю именно настоящее слово — поддержки) от так называемого молодого поколения, и Ваша решимость в данном случае служит ручательством за будущее, в этом я теперь не сомневаюсь, но что же делать, я понимаю, что Вам иначе и поступать не следует, как Вы намерены. Было бы, по-моему, странно итти против, да еще и одному. Подождем, авось бог милостив, не вечно будет продолжаться крепостное право, или, лучше, дождется Исеев губернаторства, и тогда наверное будет гораздо либеральнее (в мыслях) относительно Академии.

Все, что Вы пишете относительно Фортуни, мне знакомо по слухам, — это, конечно, самое неудовлетворительное, что можно знать о картинах, так как орган этот назначен природой совсем не для картин, но... но... с некоторым желанием я могу вообразить, вероятно, опять-таки не то, что следует. Однакоже, будучи знаком с одной стороной его громадного таланта через офорт, я почти догадываюсь, что это такое[1]...

Мне ясно до очевидности, что наступила пора и для русских художников начать писать действительно. До сих пор мы, в большинстве случаев, полагали, что можем каких-нибудь французиков шапками закидать (это десять человек-то!). Но, боже мой, что это за штука такая, живопись? Счастлив тот, кто ровно ничего не понимает, что значит *писать*, какое блаженное состояние, какая наивность и несокрушимое олимпийское спокойствие: развел краски, домазал до края, а если не хватило красочки, то разбавил маслицем — и готово! Чудесно!

Это великое недоразумение спасло всех нас от самоубийства, т. е. давало силу заблуждаться и думать, что и у нас есть живопись! Так и вертится на языке фраза избитая, пошлая, но все-таки глубоко мною чувствуемая, что вы, т. е. не лично Вы, а вообще молодое поколение, во сто раз счастливее нас. А между тем, много ли времени прошло? Какие-нибудь десять-двенадцать лет; что это значит в жизни общества? Я понимаю, еще тридцать, сорок, как подобает поколенью, а то десять? Не обидно ли? Но уж такая судьба русского общества, что то, что было вчера еще впереди, завтра, в буквальном смысле завтра, будет невозможно, и не для одного или двух невозможно, а для всех станет очевидным. Четыре года тому назад Перов был впереди всех, еще только четыре года, а после Репина «Бурлаков» он невозможен. Догадывались об этом и раньше, но только когда вещи стали рядом (приготовлявшиеся на Венскую выставку), для всех стало очевидным, что уже невозможно остановиться хотя бы на маленькую станцию, оставаясь с Перовым во главе [2]... Это скучно, это старо, это все Вам знакомо, но это все продолжение одной и той же мысли, что я чуточку догадываюсь, что такое Фортуни! Вот Вам! Что ж делать, вперед, так вперед, коли постоять нельзя; и чорт их возьми, этих французов, испанцев и прочих; ведь заведутся же на свете такие беспокойные люди, что не дадут русскому человеку постоять и отдохнуть немножко, особенно после щей с кашей, кулебяк и прочей благодати.

Уважающий Вас *И. Крамской*

Савицкий кланяется и, вероятно, дней через десять будет у Вас.

157. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

24 мая [н. с.] 1875 г.
Париж

Да, многоуважаемый Иван Николаевич, далеко ушла Европа вперед, так далеко, что и бегом не догонишь, поэтому я пришел к такому заключению, что, собственно, бежать бесполезно, а надо, не унывая, тихо итти да итти, хотя подчас ох как жутко приходится. Оно и труднее тихо и твердо итти к цели, чем бежать зря. Раздумывая так со стороны о положении у нас искусства, приходишь к выводу, что трудно ему у нас живется. Путь, по которому оно доселе шло, искусственный, условия внешние мало сподручны, особенно в нашей

северной Пальмире: четверть года — тьма, две другие — грязь, снег, дождь, ветер, а четвертая — пыль и духота. И социальное настроение у нас не таково, чтобы искусству процветать; большинство равнодушно, а вожаки даже враждебны ему, ну и поди работай. А все-таки хочется работать сколько сил есть, хочется добиться до чего-либо хорошего, авось да и выйдет что-нибудь. Посмотришь, как тут дело идет, словно по маслу: работают себе каждый в своем роде в самых различных направлениях, что кому по душе, и все это ценится и все оплачивается. У нас главным образом значение имеет, что́ сделано, а тут, как сделано. Например, за медный таз с двумя рыбами платят по 20 тысяч франков, да еще впридачу считают сего медных тазов дел мастера первым живописцем, и, пожалуй, не без резону. Это — Vollon[1]. Но главное, чем я тут восхищаюсь, — это уменьем их осуществить свои силы и способности. Фортуни, напр., этот всесторонний талант в выполнении, в содержании в большинстве случаев мелок, он холоден и отчасти даже ограничен, но поэтому он и не ищет внутренней глубины в искусстве, ему внешняя далась, как никому, он в ней остается и делает чудеса. Он не увлекается в жизни и жизнью, а увлекается работой, за ней он торжествует, она для него праздник. У нас скажут, что это узко, но в конце концов вывод самый блестящий. Недавно была выставка и продажа всего, что осталось по его смерти (продано на миллион триста тысяч фр[анков]), и между прочим находилась неоконченная картинка «Plage (приморье) Неаполитанского залива»[2]; по-моему, это — его chef d'œuvre, и ушла она в Америку, а могла бы попасть к нам: тут был в это время некий россиянин г. Боткин, который купил на такую же сумму конченную картину Фортуни, но сравнительно неудачную и даже ординарную[3], а этот настоящий брильянт не взял, — потому-де не кончено. О, бездарное непонимание и тупое безвкусие; я равнодушно об этом вспомнить не могу; могли бы иметь самую новую и лучшую вещь современного искусства, а теперь она и в Европе не осталась.

Искренне преданный Вам *В. Поленов*

1876

158. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 сентября 1876 г.
Петербург [1]

Многоуважаемый Иван Николаевич! Благодарю Вас за превосходные угольные рисунки, которые Вы мне прислали; тут они вдвое лучше выглядят, чем в Париже. Вы меня этим выручили из большой неловкости [2].

Понравилась мне Россия больше, чем я воображал, но не понравился Питер. А в Академии какое стоячее болото! какая всасывающая трясина... Речь как-то зашла о драматизме. Исеев мне говорит, что у них драматизм состоит в интригах одного против другого и другого против одного. Ну, и дай бог им здоровья с таким драматизмом, а меня он мало занимает.

Начал я работать в деревне [3], сфотографировал мужичка [4] и кое-что другое. Репин одобрил, говорит, что другой человек писал, что парижские вещи в сравнении с этими фотографиями — без натуры писаны. Хотелось бы, чтобы Вы посмотрели; я очень ценю Ваше мнение и дорожу Вашим одобрением. Но, разумеется, это только начало; после того, как я разорвал с прошедшим, надо все сызнова начинать, дело трудное, но занимательное, даже завлекательное. Завтра еду в Москву, а оттуда дальше [5].

Если Васнецов [6] еще в Париже и Вы его увидите, то передайте ему мой дружеский привет, Шиндлеру [7] тоже. До свидания.

От души преданный Вам *В. Поленов*

159. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

5/17 октября 1876 г.
Париж

Я не тотчас отвечал Вам на Ваше любезное письмо, Василий Дмитриевич, потому что около двух недель я находился между небом и землей: Боголюбов переехал в город, а моя ма-

стерская не была еще готова; я нашел себе мастерскую в Rue de Vaujirard Cité Talma, 8-10, в саду, отдельно совершенно, и только один ко мне ход[1]. Все условия, нужные для моей цели, налицо — внизу сад в моем распоряжении, и совершенно закрыто со всех сторон, так что могу ставить натуру на воздухе, и никто не помешает. Долго я приискивал, наконец напал на эту, но в том виде, как она была, ее нельзя было оставить, нужно было увеличить, и увеличили. Только теперь все кончено, и я переехал. Со мной теперь дядя Васнецов, который начал здесь одну интересную картину[2]. Полагаю, что если он сработает ее, будет картина добрая. Живя в Медоне, он видел там праздник, и его заинтересовал один балаган — «цирк». Труппа зазывает зрителей. Тут и клоун, один из главных персонажей в картине, есть также и публика. Сюжет, положим, не особенно новый, но точка зрения новая и взята интересно: картина в высоту, дело уже при огне, эффекты оригинальные, выражения пропасть, народу немного, но естественно, словом, картина будет добрая[3]. Кланяется он Вам... Радуюсь, что Россия не произвела на Вас неприятного впечатления, а напротив, и надеюсь, что Вы найдете кое-что действительно интересное для живописи. Поклонитесь Репину, если знаете, где он, и черкните иногда словечко в Rue de Vaujirard. Я буду очень рад получить.

Уважающий Вас *И. Крамской*

1878

160. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

13 апреля 1878 г.
Москва

Многоуважаемый Иван Николаевич, картинка моя на Передвижную выставку готова (т. е. картинка давно готова, а рама только теперь) [1]. К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи — мне хотелось выступить на Передвижную выставку с чем-нибудь порядочным [2]; надеюсь в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве, в начале лета.

Теперь я не знаю — стоит ли послать ее в Петербург или дождаться уже, когда выставка сюда приедет. Поэтому, будьте столь добры, напишите мне, до каких пор продолжится выставка в Петербурге.

Мне ужасно жаль было, что Вы не нашли тогда нашей квартиры, но дело в том, что Вы искали вместо 41-го—42-й номер [3].

Глубоко уважающий Вас *В. Поленов*

161. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

14 апреля 1878 г.

Уважаемый Василий Дмитриевич.

Искренне обрадовался я Вашему письму; сожалею, что здесь, в Петербурге, не явилось Вашего имени (так как выставка закрывается 22 апреля и немедленно отправляется в Москву) [1]. Но дело от того не изменяется; не изменяется оно и от того: более или менее *значительное* Вы поставите. Я вполне понимаю, что с Вашей стороны это естественно, но и только. Главное дело в том, чтобы Товарищество, обновившись, отвечало на все шипения и крики делом, достойным внимания. Что это именно так и что на будущий год приготов-

ляется более значительный удар рутине [2], не подлежит для меня сомнению. Но несмотря даже и на то, что в настоящем году мы не были особенно блистательны, мы доказали все-таки кому следует, что сил у нас еще достаточно. Потому что с каждым годом все новые и новые лица премируют. Те, кто до сих пор оставался в тени и на чьи силы, казалось, нельзя было рассчитывать, вышли вперед и заняли место, показывающее, какая в самом деле огромная сила лежит в нравственных задачах Товарищества. Ярошенко и Савицкий положительно выросли, особенно Ярошенко. Словом, я с надеждой смотрю на будущее и... радуюсь. Ничего, кроме этого одного слова, я не могу Вам сказать [3].

Что делать, моя память начинает со мной шутить злые шутки: 41-й номер принимает за 42-й через час после того, как слово было сказано. Извините, тем более, что я наказан уже за это.

Уважающий Вас *И. Крамской*

А не мешало бы Вам сообщить мне свой адрес, а то я пишу это письмо на имя Репина.

1879

162. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

29 генваря [18]79 г.

Уважаемый Василий Дмитриевич.

Вчера меня просила одна высокопоставленная дама спросить у художников, нельзя ли будет написать к 15 апреля (ко дню чьего-то юбилея) картинку одного известного в придворных кружках эпизода: получение телеграммы о взятии Никополя[1] и доведение до сведения госуд. имп. ее содержания. Присутствовавших лиц немного, около шести-восьми, главных — двое. Я указал ей только на двух, могущих исполнить этот заказ, — Вас и Ковалевского[2], которому я уже писать не буду, пока не получу от Вас ответа.

Цена зависит от Вас, а также и размеры. Я только оговорился даме, что срок слишком короток.

Как Вы думаете?

Уважающий Вас *И. Крамской*

163. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

1 февраля 1879 г.
Москва

Многоуважаемый Иван Николаевич.

К сожалению, я решительно не могу принять Вашего любезного предложения, я так завален и сам себя завалил работой, что и конца-края не видно. Вы говорите, что только Ковалевский да я и сделаем требуемое событие. Не знаю, но мне кажется, что Макаров[1] стоял ближе к событиям такого рода, и что́ я видел у него, то именно относится к подобного рода военным эпизодам; кроме того, он в Петербурге и работает, кажется, довольно быстро. Впрочем, что это я вздумал Вам советовать, точно Вы сами этого не знаете.

Видел вчера Ваш рисунок, присланный Мамонтову. Силь-

ное впечатление он произвел на всех; очень хорошо взято событие, так глубоко, что неожиданно захватывает Вас. Когда Репин открыл рисунок — все смолкло, и так почти час все находились под тихим, грустным настроением [2].

У меня к Вам просьба, Иван Николаевич. Я просил А. К. Беггрова заказать мне рамы, и когда они будут готовы, то переслать их в Правление. Будьте так добры, прикажите их принять, вставить картины, когда оные придут, а главное, будьте так добры, присмотрите за постановкой картин. Так как и в «Болоте» и в «Рыбаках» горизонт взят высоко, то они не должны стоять высоко — не более полутора аршин от полу. «Садик» писан прямо с натуры, поэтому он вышел немного черен и проигрывает от соседства двух первых картин; его следует поставить отдельно от них.

Названия картин: болото с лягушками я называю *«Лето»*, удящих мальчишек — *«Рыбачки»*, а третью — *«Бабушкин сад»* [3].

Надеюсь прислать картины в конце масленицы.

Искренне преданный Вам *В. Поленов*

164. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

3 февраля [18]79
СПБ

Многоуважаемый Василий Дмитриевич.

Сожалею о Вашем отказе, и понимаю его. Что касается Макарова, то я имел его в виду только после Вашего и Ковалевского отказов. Не знаю, что скажет Ковалевский. Сегодня пишу. Так как выставка наша открывается очень скоро, то было бы недурно получить картины в первой половине первой недели великого поста. Ваши поручения о постановке картин с великим удовольствием исполню.

Какая странность: Вы написали картину *«Бабушкин сад»*, а я пишу одну картину, которую называл сначала *«Дедушкин сад»*, а потом думал назвать «Волшебная ночь», но, разумеется, в том случае, если она того будет заслуживать [1]. Теперь же волей-неволей должен буду назвать «Волшебной ночью», хоть бы и никакого волшебства и не оказалось. Вот как оно бывает. Впрочем, все к лучшему. Пожалуй, и хорошо, что Вы меня заставили решиться на название раньше самой картины.

Уважающий Вас *И. Крамской*

Очень рад, что Вы находите мой рисунок удачным, и спасибо за теплые слова и участие.

165. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 февраля 1879 г.
Москва

Многоуважаемый Иван Николаевич.

Я послал пока две вещи, третья еще не высохла, дня через два и ее вышлю.

Совпадение названий очень легко устранимо, тем более, что первое название моего садика было «Бабушка и внучка» — пусть оно так и будет. Да оно и справедливее, а то за что же внучку обижать.

Картина «Лето» продана Д. П. Боткину за 800 рублей; картина «Рыбачки́» продана Матвееву за 500 рублей [1]; картину «Бабушка и внучка» оценяю в 700 рублей [2].

Очень интересно узнать, чем кончилось наше дело, если оно только кончилось, и дали ли нам место в Александровском саду. Тут ходили слухи весьма странного свойства, что будто бы там Академия уже строит что-то подобное и в широких размерах. Любопытно бы знать — какие побудительные причины к этому, неужели чтобы нам нагадить? Если так, то какая глупая, ничтожная мелочь и[мператорская] Ак[адемия] художеств со всем штатом [3].

Слышал, что Вы больны; от души желаю Вам скорее поправиться.

Искренне преданный Вам *В. Поленов*

166. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

15 февраля 1879 г.
Москва

Ужасно смутило меня известие, многоуважаемый Иван Николаевич, что картина моя прорвана, тем более, что Вы не пишете, где прорвана и как [1]. Если у Вас будет минутка свободного времени, будьте так добры и сообщите мне, где картина прорвана, очень ли сильно и возможно ли сие зачинить. Для большей точности прилагаю набросок ее, — прошу Вас указать чернилами, где именно приключилось несчастье.

Третью картину я послал отдельно.

Преданный Вам *В. Поленов*

Укладывать имел глупость я сам, так что вина вся моя.

167. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

Воскресенье, [18 февраля 1879 г.]

Уважаемый Василий Дмитриевич.

Картина Ваша прорвалась так, как я нарисовал чернилами на воздухе. Она упала со своих гвоздей, и зацепившись за противоположный винт, так на нем и проехалась. Мы тут еще рассуждали: а что было бы, если бы она не укрепилась на одной этой дырке? Было бы четыре дыры. Зачиниваю я сам, собственноручно, потому что Сидоров в Эрмитаже требовал недели полторы времени; быть может, и мне удастся сделать это сносно; я уже этому немножко научился.

Теперь 12 часов ночи, бумаги ни клочка, вот я и стащил у детей их писчую бумагу. Это я докладываю Вам, чтобы Вы не подумали, что я всегда пишу на такой скверной.

Выставка наша хоть куда. Откроется в пятницу на второй неделе поста и простоит ровно месяц. Об этом мы неустанно будем трубить в газетах — торопитесь, мол. На шестой неделе будет в Москве — это верно. Почему запоздала?

Куинджи задерживает, а у него вещи слишком значительные, чтобы не обратить внимания [1]; и так как каталог будет на второй день выставки готов, то надо, чтобы все было в порядке — а то публика всегда ругается.

А Репин молодец [2]!

Уважающий Вас *И. Крамской*

168. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

23 февраля 1879 г.
Москва

Не знаю, как Вас благодарить, уважаемый Иван Николаевич, за Ваше попечение о моей картине.

Из этого анекдота я вывожу заключение, что писать картины и укладывать их — две вещи совсем разные и что впредь самому укладывать не надо, а надо поручать людям опытным в этом деле.

Теперь мы с нетерпением ждем рецензий о наших вещах и вообще о выставке; очень жаль, что она опоздала, одновременное открытие академической выставки может сильно перепутать дело и помешать нашей [1].

Преданный Вам *В. Поленов*

169. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

14 марта 1879 г.
Москва

Многоуважаемый Иван Николаевич.

Так как я не буду на предстоящем общем собрании [1], то пишу Вам некоторые мои соображения по поводу вопросов, которые предложены к обсуждению и которые я бы предложил, если бы мог лично принять участие.

В записке Правления от 11 марта текущего года сказано о выборе К. Е. Маковского в члены Товарищества. Не подлежит никакому сомнению, что господин Маковский будет избран [2]. Но мне кажется, что принимая в Товарищество такого господина или, выражаясь яснее, такого нахала, чтобы не сказать что-нибудь еще более ясное, надо постараться как можно более оградить себя от могущих произойти столкновений и случайностей не особенно приятного и чистого свойства. Господин этот, если он только у нас продержится (дай бог как можно меньше), будет вследствие своей необыкновенной плодовитости снабжать выставку большим количеством произведений высокой цены в денежном отношении и будет в большую тягость Обществу. Поэтому надо непременно выяснить вопрос об максимуме дивиденда [3]. Далее, так как Общество начинает разрастаться, а после посещения выставки е. и. вел. и очень даже многие пожелают в него втереться, то, мне кажется, следует обставить выбор членов более строгими условиями, т. е. если не единогласным избранием, что было бы, конечно, самое лучшее, то большинством двух третей [4].

Очень стеснительное правило постановили прошлого года для москвичей, а именно, что в Москве не могут быть принимаемы картины от экспонентов. Нельзя ли поднять этот вопрос и желательно было бы его решить обратно. Мне кажется, это нисколько не мешает последующему избранию экспонента в члены, потому что он всегда может прислать свою вещь в Петербург, по которой петербургские товарищи и будут судить — достоин ли он быть принят в число членов или нет [5].

Хорошо было бы определить время открытия выставки для Петербурга и Москвы и выработать правильный круг передвижения.

Голос свой с надлежащей инструкцией передаю А. К. Беггрову.

Преданный Вам *В. Поленов*

Вот еще что: отчего бы не допустить для Петербурга и Москвы скульптурных произведений?

1880

170. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

31 марта 1880 г.
Москва

Многоуважаемый Иван Николаевич

Сильно обрадовало меня заявление, присланное Виктору от товарищей [1]. Вот было бы хорошо, если бы можно было что-либо подобное написать от лица Товарищества и Куинджи и кабы он согласился вновь вступить к нам [2]?

Весь Ваш *В. Поленов*

Я с великим удовольствием подпишусь под таким заявлением.

171. И. Н. КРАМСКОЙ — В. Д. ПОЛЕНОВУ

15 апреля [18]80
СПБ

Уважаемый Василий Дмитриевич.

Я был сам у Васильковского [1] и посылал потом, но только в воскресенье пришло разрешение; «Аванпост» [2] уложен раньше по недоразумению, и когда я его спохватился, было уже поздно, для рамы к Вашей картине не было ящика, нужно было заказывать, и так как картина и рама должны были возвратиться в Петербург из Москвы, то я, во избежание риска, раму оставил. Картина уже отправлена и придет раньше этого письма.

В настоящую же минуту я даже рад, что ни Ваша, ни Репина рамы не отправлены. Оказалась укладка безобразною! Картина Левицкого [3] «Перед храмовым праздником» не продана, да мы, по какому обстоятельству, не помню, но пометили ее в списке *проданною;* очень жаль, если это ошибка, впрочем, о цене этой картины ни разу не спрашивали.

Ваш искренне преданный *Крамской*

172. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

19 апреля 1880 г.
Москва

Благодарю Вас, добрейший Иван Николаевич, за Ваши хлопоты; очень рад, что рама осталась в Петербурге, ибо большие рамы пришли в довольно потертом виде.

Выставка [1] у нас действует и, кажется, нравится; жаль только, что нам не прислали список цен и проданных вещей; спрашивают, а мы не знаем, что отвечать. Кое-что уже мы продали. С нетерпением ждем Вашу картину [2].

Искренне преданный Вам *В. Поленов*

1881

173. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

[Март 1881 г.] [1]

Благодарю Вас, Иван Николаевич, за ящик с красками и остальное. Портрет написал [2]. Все собирался побывать у Вас, но не мог выбрать время [3].

Прошу Вас у нас на выставке сообщить цены за мои картины: «Деревня зимой» — 1000 р., «Горелый лес» — 1500 р. [4].

Преданный Вам *В. Поленов*

1882

174. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 апреля 1882 г.
Москва

Многоуважаемый Иван Николаевич.

Вернувшись в Москву [1], я узнал, что картины Левицкого опоздали на нашу выставку в Петербурге [2] и поэтому на ней не были. В случае, если будет общее собрание перед отправкой выставки в Москву, прошу Вас заявить, что Левицкий покорнейше просит собрание дозволить выставить картины его: «Профиль головы крестьянина» и «Средневековый ученый» в Москве [3].

Искренне буду Вам за это благодарен.

Преданный Вам *В. Поленов*

1883

175. В. Д. ПОЛЕНОВ — И. Н. КРАМСКОМУ

13 ноября (25 н. с.) 1883 г.
Рим [1]

Уважаемый Иван Николаевич.

Посланный Вами мне портрет [2] я получил в день моего отъезда за границу и поэтому не успел поблагодарить Вас за Вашу любезность. Очень сожалею, что не пришлось мне видеться с Вами в Петербурге; но я приезжал на очень короткое время, торопился за границу и не успел побывать у Вас во второй раз.

Теперь я в Риме, ничего не делаю, а только греюсь на южном солнышке, которое здесь и в нашем мрачном ноябре светит приветливо и ясно. Рим растет не по дням, а по часам, как говорит сказка; там, где еще недавно были пустыри и кучи мусора, теперь высятся громадные дома и отели. Вообще работа кипит. Из грязного мусорного провинциального городка делают столицу — и сделают, да еще какую. Вы чувствуете в Италии, что народ оживает; на всех углах римских улиц вы видите надпись какого-то предприятия: «L'Italia e la sua futura grandezza» [3]. Приятно встретиться с народом, который так уверен в своем будущем. И это не слова, не реклама — всюду вы чувствуете эту надпись и верите ей. В самом деле, если взглянешь на недавнее прошлое Италии, вспомнишь, как этот народ с великими гражданами во главе, начиная от короля и кончая последним угольщиком, единодушно сплотился, для дела освобождения родины от внешних и внутренних притеснителей, то нам понятны станут и эта твердая вера в будущее, и эта энергичная работа в настоящем. Любо-дорого смотреть на итальяшек, добились они до света, несмотря на все препятствия и невзгоды, и радуются ему, не теряют времени, а действуют во всю мочь.

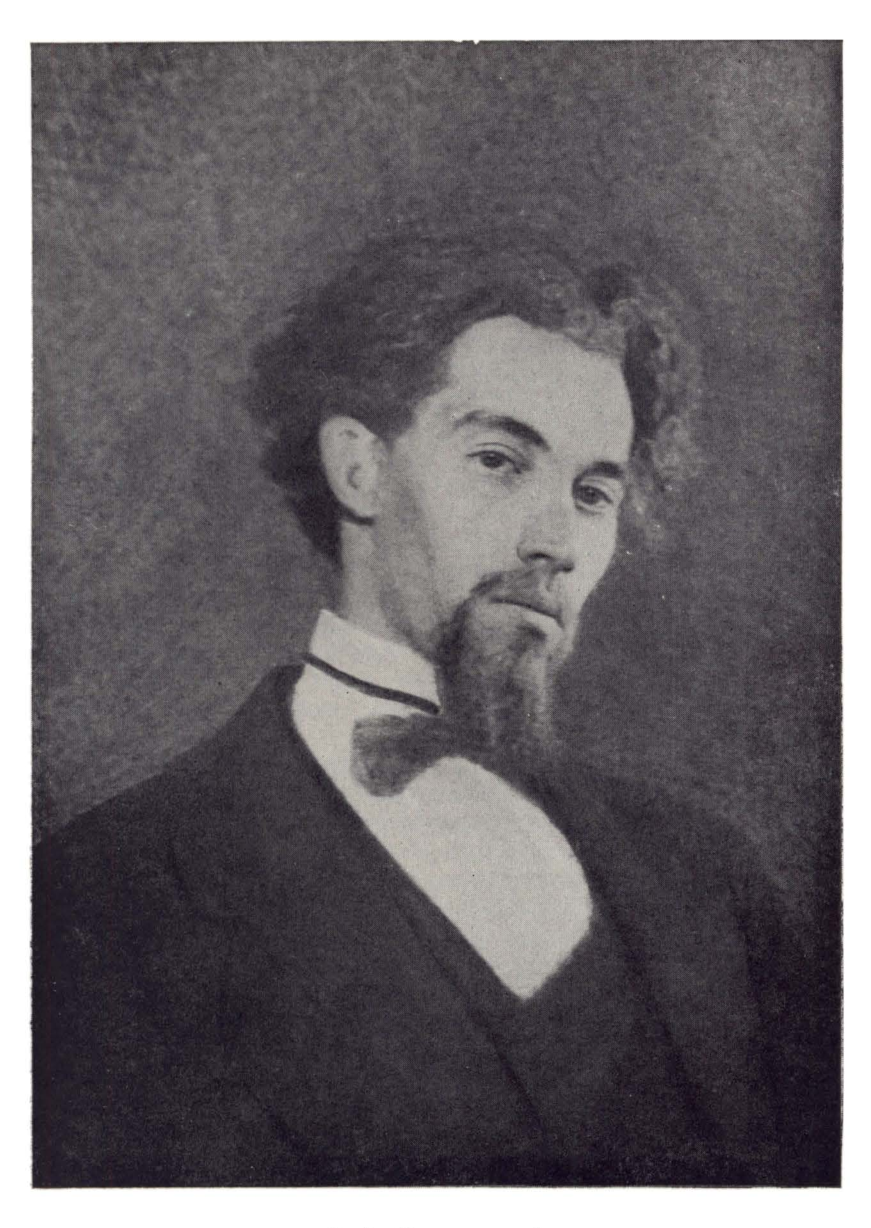
Но что всего завиднее у них — это их благодатный климат. Мне кажется, что если бы господь бог одной осьмушкой такого климата наградил нас, мы бы много были здоровее, живее и свободнее.

Что касается до нашего искусства, то по дороге я видел много интересного. Во-первых, в Вене была международная графическая выставка; на ней было собрано все, что наше время произвело по части гравюры, офорта, ксилографии, литографии и вообще печатных изданий. В Венеции попались мне несколько чудесных акварелей. Во Флоренции видел я частную галлерею современных итальянцев, все больше Фортуниевской школы. В Риме был только у Сведомских[4] да у Риццони[5]. Сам ищу мастерскую, но для этого, кажется, опоздал, все хорошее разобрано[6].

До свидания, уважающий Вас *В. Поленов*

P. S. Жена просит свидетельствовать Вам свое почтение.

ПЕРЕПИСКА
С
К. А. САВИЦКИМ
1873—1884



К. А. Савицкий
1844—1905

Портрет работы И. Н. Крамского

Воронежский областной музей
изобразительных искусств

1873

176. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

22 июня [1873]
Динабург [1]

Добрейший Иван Николаевич!

Получив от Ивана Ивановича [2] подробные сведения насчет дачи и Ваших мытарствах, сажусь писать Вам, желая высказать то соболезнование к нашей общей неудаче в найме дачи, которая так неожиданно пала на одного Вас. Находясь в полном бессилии помочь Вам делом, хочу сказать Вам, как скорблю душой за Вас, нашего добрейшего, принявшего на себя все мучения в пользу общую, и тем хотя немного облегчить свою совесть. Обидно донельзя, что во второй раз приходится нам пользоваться Вашими хлопотами. Ломаю себе бесполезно голову, желая прибрать причину, заставившую Вас пуститься на такие громадные поиски, и скорблю душою о невозможности разделить с Вами этот труд [3].

Воображаю себе Ваше кочевание с места на место при болезни Толи, а бедная София Николаевна что должна была выстрадать!

Мы тоже немало поколесим, пока доберемся до Вас; из Петербурга по необходимости прокатили в Динабург, а вещи отправили в Воронеж через Москву, товарным поездом. Пробыв очень долго в мучительной неизвестности, где, когда и как придется нам устроиться, наконец двинемся завтра с вечерним поездом в дальнейший путь, на Витебск и Орел. Вчера телеграфировали начальнику Воронежской станции о пересылке наших вещей на станцию Козловка-Засека, куда рассчитываем прибыть в одно время с чемоданом, т. е. дня через четыре.

Ужасно досадно, что столько времени прошло для меня совершенно даром; предполагая пробыть здесь не более трехчетырех дней, я не начинал ничего положительного и только в последнее время затеял семейный портрет родных моих [4]. Группа интересная, пришлась мне очень по душе, и досадно, что времени нет окончить подмалевка как следует.

Приходится бросить. Итак, добрейший Иван Николаевич и София Николаевна, до скорого свидания, Катя [5] шлет сердечный поклон. Деток целуем.

Преданный Вам душой *К. Савицкий*

1874

177. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 марта 1874 г.
Гродно

Дорогой Иван Николаевич!

Пишу Вам из Гродно, где сижу на второй станции своего пути [1] и подумываю о том, что не всегда хорошо, если родичи порассажены повсюду. — Благодаря их гостеприимству передвижение наше совершается очень медленно, а главное, моя неизменная спутница, одышка, дает себя знать во всей силе своего величия; в Динабурге, например, я так заболел, что пришлось остаться шесть дней, из которых половину я пролежал в постели.

В Варшаве также придется остановиться на одни сутки, а затем уже прямо на Дрезден, в Париж. Миную все заграничные достопримечательности с тем, чтобы, осмотревшись и обжившись в Париже, поехать наслаждаться ими с большей сознательностью. В Дрездене, где рассчитываю пробыть дней пять или шесть, надеюсь найти от Вас весточку; адресуйте: *Dresden*, poste restante, à m-re Constantin *Saviztsky* [2].

Меня чрезвычайно интересует знать, чем покончился вопрос с покупкой моей картины [3], есть ли ответ от П. М. Третьяк[ова] и, вообще говоря, все, что произошло нового со дня моего отъезда в делах Товарищест[ва] и на выставке [4]. — Второпях моих сборов в дорогу я забыл передать вам 1 руб. 50 к., для вознаграждения Ивана натурщика, прошу Вас вручить ему их за его хлопоты с моим «Охотником» [5] и, кроме того, полновластно распоряжаться с уплатой всевозможных, могущих представиться на мою долю, расходов, как-то: если найдете нужным дать что-либо Абросимову [6] за раму, которую он поправлял и должен доставить Вам, по Вашему требованию, и тому подобное; впрочем, предупреждаю, что он обязался мне исправить ее безвозмездно. — Сделал ли Каррик [7] мои фотографии и как вышел «Охотник»?

Почти в тот самый день, когда я уезжал, Ник[олай] Ник[о-

лаевич][8] сообщил мне крайне прискорбный факт катастрофы, происшедшей между Иван[ом] Иван[овичем] и Шперером[9] на выставке; меня сильно озабочивает обстоятельство, что Н. Н. Ге хотел его сделать гласным, т. е. дать на обсуждение товарищей, чему я тогда же воспротивился и советовал ему постараться уладить дело, став посредником между двух противников, тем более что Шперер обратился к нему с этим заявлением и, наконец, что Шперер из тех, которые ограничиваются весьма скромными требованиями. Чем кончилось все это и улажено ли дело? — Желательно бы было, чтобы это обстоятельство послужило И[вану] Иван[овичу] уроком для большей сдержанности в порывах откровения. — Как-то здоровье бедной Евгении Алекс[андровны][10] и переносит ли Ив[ан] Ив[анович] горе с должной твердостью?

Передайте им от меня и Кати самый задушевный поклон, равно как и Софии Николаевне со всеми Вашими ребятишками.

Сердечно преданный Вам

К. Савицкий

Крестников своих отдельно целую.
Привет всем добрым знакомым и друзьям.

178. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

14 марта 1874 г.
С.-Петербург

Добрый мой Константин Аполлоныч!

Выставка наша закрыта, и весь зал уже очищен [1]. У Абросимова я еще не был, потому что не было надобности, на днях буду. Каррик фотографий не прислал. У него я тоже буду на днях, чтобы побудить его относительно своих фотографий, а потому уже заодно. Он невозможный мямля. Случиться ничего особого не случилось, да и не могло случиться, ведь давно ли Вы и уехали-то? Для Вас, я понимаю, что время кажется дольше, но мне, сидящему на месте, кажется все вчерашним днем. Впрочем, вот новости: Е. А. Шишкина *приказала долго жить*. Умерла она в прошлую среду, в ночь на четверг с 5 на 6 марта. В субботу мы ее провожали. Скоро. Скорее, чем я думал. Но ведь это ожидаемое. Прилагаю при сем письмо к Вам от Третьякова [2], полученное на Ваше имя на другой день после Вашего выезда. Мне Третьяков пишет, что так как он с автором не говорил, то считает это своим долгом, не считая того, что было сказано Ге. Н. Н. Ге продал

свою картину [3], и состояние его духа поправилось. Картина Аммосова «Берег Урала» тоже продана [4]. Общий результат выставки удовлетворительный. Расходы на Ваш счет будут сделаны, как Вы пишете. Деньги 1000 рублей за картину Вашу от Третьякова получены и находятся у кассира Н. Н. Ге, что с ними делать? Что касается прискорбного обстоятельства о поступке И[вана] И[вановича] со Шперером, то я был этим крайне озадачен, когда узнал, тем более, что сам Шишкин перед этим говорил мне, что «отчего это не заставят дежурить или что другое делать экспонентов, чего они только шляются и даром только пользуются льготами, вот бы Шперера засадить продавать билеты, что ли?» И вдруг... непостижимо. Я решительно полагаю, что Шпереру следует потребовать от Товарищества разъяснения этого дела и письменно обратиться в Товарищество с вопросом, как он принят и принят ли? И если принят как следует, с ведома Правления, то, стало быть, Шишкин поступил как личный оскорбитель, что Товарищество и должно поставить на вид ему.

Что Вы едете прямо на Париж — это не худо. Может быть, это самое лучшее. Но если Вы остановитесь хотя на сутки в Дюссельдорфе, то было бы любезно с Вашей стороны повидать Дмитриева и посмотреть, что он такое. Этот барин меня крайне интересует. Черкните из Дрездена, что и как Вам показалось [5].

Впрочем, прибавлю Вам еще новость. Верещагин [6] (ташкентский) открыл выставку наконец. Около трехсот номеров. Картин двадцать пять, из них шесть в натуральную величину. Кроме того, до *ста* маленьких картинок и этюдов, остальные — *типы,* рисованные карандашом. Все вещи высокого художественного уровня. Я не знаю, есть ли в настоящее время художник, ему равный не только у нас, но и за границей. Это нечто удивительное. Поклонитесь Репину.

Шлю свой привет Екатерине Васильевне. Я здоров, чего и Вам желаю.

И. Крамской

179. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

Начал писать 29 марта, а окончил
2 апреля 1874 г.
Дрезден

Дорогой Иван Николаевич!

Перевалили за границу, и как ножом отрезало, даже на душе как-то жутко стало, хоть назад вертай!

Первая станция, после пограничных костров, «Коттовиц»,

тут разветвляется путь железной дороги и приходится ночевать, стало быть, нужно искать гостиницу. — Костлявая, а подчас и мясистая (середины у них нет), юпитероподобная немца так напыщена внешней важностью, что я оробел и, несмотря на то, что знаю немецкий язык, не сразу уломал свой, чтобы произнести первый вопрос: «Ein Hotel in der Nähe?»[1]. Оказалось, гостиница в двух шагах; выплыла нам навстречу сухопарая немка, с зачесанным коком фальшивых волос, вышиною чуть не до потолка, звякнула связкой ключей, прицепленных к аршинной, как дудка, талии, хлопнула дверью номера, объявив: «Ein Taler fünf Silb[er]groschen»[2], и скрылась; постояли мы с минуту в некотором отупении, и, осмотревшись, оказалось: комната, вышиною — и потолка не видно, шириной — сажень, длины умеренной, холод непомерный, на стене над кроватью с пуховиками, что твой сеновал, торчит пуговица с надписью:

1 mal Kellner
2 » Schlüsselfrau
3 » Hauswirt[3].

Ткнул пальцем один раз — явился кельнер с корзиной кокса; длинный, ширококостый, рот во всю ширину добродушной физиономии, и, улыбаясь, нажарил печь до красна; в одно мгновение навоняло дымом и нажарило так, что страшно стало смотреть на пуховики, а не только в них утопать, да еще ими укрываться; если б не усталость до того, что хоть стоя заснуть, дошел бы до отчаяния. — Всю ночь снился мне муравей с громадным туловищем — такой вид представлял я собой, укрывшись пуховиком[4].

Чуть свет, не дав опомниться, подхватил нас тот же сероглазый кельнер и, усадив в вагон, не приняв за хлопоты никакой платы, скрылся.

Поезд гремит и мчит; мелькают селения, дальше чаще, вот пошли фабрики за фабриками, дым, стукотня и копоть, вот городок с темными мрачными домами и стенами, и около лепятся бесчисленное множество аккуратных раскрашенных домиков с палисадниками и скворечницами; проскочили под мост, опять фабрики, и потянулись городки и Dorf'ы[5] один за другим беспрерывной цепью, все напичкано и настроено так, что дивишься, как только кора земная выносит на себе это сплошное тяготение грехов и радостей человеческих. Тут, кажется, негде дохнуть, негде забыться; понятно, что немец выдумал свою меру, «локоть», — аршину русскому здесь негде развернуться.

Пролетая и глядя на все это пестрое и суетливое, я дошел бы до бог знает каких размышлений и соображений, если б

не вывел меня из этого состоянья сосед наш по вагону, важный, сытый, а в сущности вполне добродушный Bürger[6], в сером длиннополом кафтане, с широким черным галстухом до ушей, засосавший свою сигару одним углом рта, не разжимая губ, сопевший все время неистово цветистым своим носом, говоривший слишком красноречиво наружностью своей о полном благосостоянии страны.

Да, немец кичлив и страшно важен на вид, но, в сущности, все это предобродушные парни, вся национальная гордость есть безусловное поклонение авторитету, единственный хитрый между ними человек это, мне кажется, Бисмарк[7], и оттого он и велик; отними у них *его*, да еще *пиво*, и останутся только их прошлые великие авторитеты, да современная квашня и подболтка, которой заправляют здесь все супы, соусы и жаркие, что ешь и не разберешь, какого они вида и вкуса. — Впрочем, надо отдать справедливость, что «немец обезьяну выдумал»; он, действительно, глубокомыслен до бесконечности и докопался, благодаря пунктуальности и самым сложным расчетам, до полной простоты общественной жизни и строя, все так благоустроенно, что стало похоже на механизм машины, в которой поверни одно колесо — и сейчас же отразится на всех прочих; в этом, без сомнения, они наши учителя; но учитель должен глубоко верить в талантливость ученика, тогда только цель достигнется[8].

Дивясь всему на пути, мы доехали до Дрездена и, одурелые, попали в Hotel Saxe[9], где если б не опомнились вовремя, то прогорели бы в пух и прах, — это гостиница вся раззолоченная, что наше Belle vue или Dusso[10]; заручившись во-время местной газетой всевозможных объявлений, удалось во-время освоиться с здешними ценами и бытом, — перебрались во второклассный Hôtel и тут-то только и видно, что такое Дрезден, можно жить, но недолго, чтобы не прожиться; дороговизна такая, что не под стать и питерской.

Саксонцы, кажется, все-таки лучше пруссаков. — Вчера поклонился Мадонне Сикстинской, просто восторг, тут только я познал впервые всю гениальность таланта Рафаэля[11], ни насмотреться, ни оторваться нельзя от этих полных жизни и мысли лиц, в них сказывается предчувствие чего-то недоброго, и страшно становится за эту мать, несущую своего ребенка, объятых какой-то сверхъестественной силой, влекущей их на искупление грехов человеческих. — Гольбейн[12], как немец от мозга костей, неподражаем, не знаю, в ком больше него отразилась немецкая национальность, божества и вдохновения я здесь не вижу. Впрочем, завтра пойду досматривать то, что не уразумел, видя его почти мельком.

Мурильо [13], Рубенс [14], Рембрандт [15], Веласкез [16], Караваджио [17], Поль Веронез и друг[ие] поразительно хороши. Ван-Дейк [18], кроме порт[рета] Карла I, а в особенности Деннер [19], по-моему, в нашем Эрмитаже лучше. Кто меня просто ошеломил силой красок и осязательностью самой материи, то это *Креспи* [20] и *Рибера* [21], картины первого — это семь таинств христианского учения, из которых лучшая *«Обручение»*, а также портрет генерала *Пальфи*. Новая школа вместе с выставкой здешней Академии художеств просто невозможны, гадость такая, что смотреть скверно; на ней отличаются и профессора берлинские, большею частью наши Вениги, есть, впрочем, и Шамшины — историко-рутинисты [22]; проскочил какой-то удалец, можете себе представить, жанрист да еще профессор, а к тому же немец, хоть помереть со смеху, сюжет вроде «Первый любовный сцен девушек рôзен нукайт» — попытаюсь нарисовать [23]. Передайте в альбом Софии Николаевне.

Но, нет не вышло, в оригинале уж очень хорошо.

Спасибо Вам, дорогой Иван Николаевич, за милое Ваше письмо, Вы подарили меня своей весточкой так, что я совершенно ожил, как будто встретил здесь, на чужбине, родного человека. — Третьяков очень любезен в своем письме, хочу ему отвечать тем же [24].

Деньги, полученные от него на имя Ге, за вычетом пяти процентов, приходящихся на мою долю, хотелось бы мне сохранить, положить хотя на текущий счет в банк до времени потребности в них, покамест обойдусь теми, что имею при себе; если пятипроцентные билеты второго внутрен[него] займа стоят в низкой цене, то попросил бы купить один. — Как ни услаждают нас здесь немцы своим хоровым пением, каждый вечер собираясь за кружками пива, но стремлюсь всей душой вон отсюда, безделье страшно тяготит меня, пробыл в Дрездене уже пять дней и завтра двинусь в Париж, жду от него более отрадного пристанища. Буду в Дюссельдорфе и зайду к Дмитриеву, если успею, напишу Вам оттуда, а то ждите вестей из Парижа; жаль, что Вы не сообщили мне адрес Дмит[риева]; не оставляйте нас своими письмами. Сердечный привет дорогому Ивану Ивановичу, скажите ему, что вполне разделяем его горе. Кланяйтесь всем знакомым.

Преданный Вам и всей семье Вашей

К. Савицкий

Катя шлет всем вам и знакомым дружеский поклон.

Простите за всякую белиберду, иначе писать не умею, хотите — терпите.

180. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

1/13 мая 1874 года
Париж

Добрейший Иван Николаевич!

Что приумолкли и не отзываетесь весточкой, которой жду со дня на день. Дошло ли к Вам письмо мое, посланное еще из Дрездена?

Как я предсказывал, так оно и вышло: очутившись за границей, из лентяя на переписку вышел из меня неумолкаемый писака — шлю свои послания во все концы, и, главное, без взаимности. Так то-с, Иван Николаевич, Вы можете морщиться, распечатывая мои письма, но я остаюсь непреклонен; пусть на Вас, как на главного содеятеля моей поездки за границу, падает вся тяжесть моей агонии. Да и к тому же мне помнится, что Ваше последнее прощальное слово было: «смотрите, пишите». Итак, не прогневайтесь, я пишу, а Вы читайте и казнитесь!

До меня дошел смутный слух о том, что Вы будто ездили в Москву устраивать нашу выставку [1]. Как идут ее дела? Вопрос простой, но отвечать на него нелегко и займет немало страниц.

В настоящее время я так настроен, что не могу ничем любоваться и осматривать без того, чтобы ежеминутно не сравнивать и не переноситься мысленно к делу Передвижной выставки, она нейдет у меня из головы, и все, что встречаешь здесь примечательного и хорошего, невольно думаешь, отчего это не у нас? Так, например: громадное рвение работающих художников, их единство в своем общем деле и тот наплыв и сочувствие публики, которым встречается здесь всякое, подчас и антихудожественное произведение, — это досадливое чувство растравляется еще больше, когда доходит сюда какой-нибудь газетный отзыв о родном и близком сердцу, но беспощадный и просто тривиальный, как это было на днях в «Голосе», какого-то корреспондента из Москвы, — сообщение о том, что выставка почти не посещается, и потом, что хотя публика и идет, то смотреть нечего, и т. п. [2]. Обидно и больно, но зато, чем больше накопляется желчи, тем легче и отраднее переживаешь обновление, в которое я непреклонно верю и жду для нашего искусства.

Надо работать неустанно, много, не останавливаясь перед преградами, и в этом все дело. До чего здесь все движется и ведет деятельную жизнь, то это уму непостижимо; не спрашивайте только, в какую сторону направлена эта деятельность, до этого нам, я полагаю, дела нет; но призанять нам

этого огня не худо. В Дюссельдорфе деятельность художников сравнительно со здешней меньше по численности, но качеством она значительнее. В немцах больше интимности и действительной преданности своему делу, и поэтому они в искусстве показались мне симпатичнее. Они успели даже вдоволь позаимствоваться от французов их элегантностью, блеском и шиком в наружной отделке своих вещей. Их направление, как мне кажется, имеет громадную будущность, между тем как легкость, так сказать, хлыщничество французов обречено на вечное бросание с одного на другое; здесь главный вопрос идет о том, как выделиться и чем бы обратить на себя внимание толпы; в средствах для этого не задумываются: кровь, смерть, отрубленные головы и нагота женского тела, а подчас и невозможная мазня — есть те средства, которыми пользуются и достигают целей.

Есть и пейзажисты, пишущие лесные ландшафты в натуру величиной; но в них поражают только размеры, качеством они настолько же близки к правде, насколько возможны те мифологические фигуры, которыми населяют эти художники свои дремучие леса.

Это подражание славящегося здесь, но, по-моему, невозможного Коро [3], бессовестность которого доходит теперь до того, что вымазать холст какими-нибудь серо-зелеными пятнами, изображающими деревья, и несколько грязно-белильчатых лепешек, как бы воздуха, а в случае надобности и вода. Вот пейзаж, вызывающий неподдельный восторг. Право, странно и как-то дико становится, глядя на все это. Все сказанное характеризует общее направление здешнего искусства, и только единичные факты противоречат ему. Теперь, например, открыта здесь годичная выставка в две тысячи картин [4], и из этой массы перлами созданий можно назвать каких-нибудь десять или двенадцать, и только три, которые превосходят всякие ожидания, это просто совершенства, и странно, что как нарочно нисколько не похожи на французские. Я постараюсь их перечислить, познакомить Вас с именами авторов и сюжетами, по которым можно видеть, на чем останавливаются художники.

Neuville [5] *(сражение, Лоарская армия)* — эпизод из бывшей войны, — поразительно хорошо, полно жизни, экспрессии и такого ужаса, пред которым столбенеешь, я не видал никогда картины, делающей такое громадное впечатление. По сравнительно небольшому фону — довольно крупные фигуры, группа французов, засевшая за насыпью железной дороги и отстреливающаяся от немцев, атакующих их со второго плана, из реденького лесишка, застланного сплошным дымом от

выстрелов; тон картины теплый, пасмурный дождливый день, фигуры и пейзаж написаны изумительно хорошо.

Kaemmerer [6] (ученик Жерома[7]) *«Купальни в Скевенинге в Нидерландах»*. Картина представляет собой бесконечно широкую, однообразную, желто-серую площадь песчаного морского берега, вдали прибой и торчат в разных местах на берегу и вдали в море купальные кареты, во всю длину картины расположены фигуры нескольких английских семейств, сидящих в креслах, на стульях и как попало, греющихся на солнце и беседующих между собой; вы видите здесь и маменек, и папенек, и молодых дочек с увивающимся джентльменом, круг аристократии и негоциантов, и даже встречаете ксендза, как необходимого сочлена и собеседника католического общества; дети и девушки собирают по берегу черепашки; передано все это с поразительной верностью, пропасть юмора и наблюдательности; технически так хорошо, что руками разводишь; рисовано так, как рисует только фотография при жгучем солнце: все цвета подчинены какому-то теплосерому тону, и только резкие тени рисуют форму; композиция проста донельзя; все группы сосредоточены к одному краю картины и постепенно тянутся в перспективу дали, под простым синим воздухом, — на первое впечатление картина сера и бесцветна, но когда вглядишься, то это живая натура.

Dupray [8] *(«Аванпост»)* — в дождь и ветер целое общество офицеров и множество солдат, разбросанных в беспорядке, осматривают местность. Чрезвычайно хорошо.

Остальные также очень хороши, но обыкновеннее. *Girard* [9] *«Мечта»* — этюд, полфигуры, сидящая девушка; блеск красок и сила живописи удивительные, но еще лучше *«Новобрачные»* — процессия в аллее парка, осенью, дорожка усыпана опавшими желтыми листьями.

Nittis [10] *«Экий холод»*. Три барыни вышли из кареты и бегут, ежась и подпрыгивая, чтобы согреться, осень; чрезвычайно выразительно и хорошо написана.

Castres [11] *«На удачу»* — кочующий цыганский табор, зимой, с медведями.

Pelouse [12] *«Октябрьское утро»* — серая чаща леса, пейзаж большого размера, напомнил мне Ива[на] Ив[ановича] картину, которую он написал у Снарских. — *Moreau* [13] *«Разъезд после бала»*, блестяще по краскам и в технике виртуоз. *Жерома вещи, как всегда, очень хороши.* Кроме этого, здесь красуется пейзаж нашего *Линдгольма* [14] — лучшая вещь, какую мне привелось видеть работы этого художника. Итак, это почти все примечательное на выставке по части живописи.

В скульптурном отделе из множества выставленного пора-

зили меня две вещи: *Carolus Duran* бюст из бронзы, мужской портрет, и *Barrau*[15] бюст женский, терракота.

Говоря вообще о Париже, здесь живется легко и безмятежно; но я думаю, что это покамест внове. Я начал работать, пробавляюсь этюдами и несколькими небольшими жанровыми сюжетами, пустяковинами, главным образом в видах испробывания себя по части игривости и легкости ума — на французский манер.

Такова-то наша здешняя злосчастная доля! Кроме сих бед, довожу до сведения Вашего, добрейший Иван Николаевич, что мои денежные средства в великой исхудалости пребывают, и если не последует скорейшая помощь, то может произойти наипечальнейший кризис — могу серьезно отощать!!!

Поэтому, прошу Вас, вышлите оставшиеся от денег, полученных Никол[аем] Ник[олаевичем] Ге от Третьякова.

Здоровы ли вы все и как поживаете? Мой сердечный поклон Софии Николаевне и Федоре Романовне[16], всех детишек горячо целую.

Что поделывают мои оба крестника, не обижают ли старших, Катя шлет всем вам поклон.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

Васнецову, Максимовым, Куинджи, да, словом, всем кланяюсь.

Адрес мой: à Paris, en France, Rue Pigalle, № 60, à monsieur Constantin Sawitzky[17].

181. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

12 мая 1874 г.
С.-Петербург

Добрый мой Константин Аполлонович!

Ради самого создателя, не сетуйте на меня и не обвиняйте, что так долго не писал Вам. Причины были уважительные. Долго рассказывать, а между тем надо хотя подать весть о себе. Вы писали, чтобы деньги Вам выслать. *1000 рублей я перевел на Париж чрез контору Винекена*[1], *и вексель при сем к Вам посылаю.* Я сначала хотел сделать перевод на три месяца и взять три векселя, чтобы Вы могли получить если не всю сумму, то хотя часть ее альпари[2] чрез три месяца, но долгосрочных векселей не оказалось, и можно было сделать только так, как я сделал. (В получении денег прошу послать

расписку Третьякову, которому я дал расписку). Вероятно, политические причины играли некоторую роль, что лучше поместить Ваши деньги было нельзя: у Вас там в Париже положение натянутое [3].

Спасибо Вам большое, что Вы мне описали Парижскую выставку. Воображаю всю эту пеструю толпу, блестящую, но нахальную и очень мало имеющую внутренних достоинств! А все-таки поучительно? Ведь нужно же было все это видеть, чтобы судить. Но нельзя сказать, чтобы и Петербург не имел праздника: здесь была выставка В. В. Верещагина (ташкентского); это было нечто совершенно особенное, всколыхнувшее до глубины наше сонное царство. Ваши жалобы на Москву не совсем основательны, Вам попался, стало быть, номер газет неудачный, — ничего, недурно, и относятся недурно [4]; конечно, публика в России не та, что за границей, но ведь наше отечество для нас самих терра-инкогнита [5]. Мы не знаем сами, что у нас есть и в недрах и на поверхности. К этому положению пора привыкнуть. Нам нельзя искать другого отечества, другой публики, да и не нужно. Ведь и мы еще пока не особенно нужны публике. Нечего греха таить, «по Сеньке и шапка». Грустное утешение, но все же утешение. Ведь если бы нам нельзя было убаюкивать себя такими скверными утешениями, то что бы мы стали делать, я Вас спрашиваю? Топиться, вешаться? Но ведь и так уж много этого добра. Мы живем, как Вы знаете, попрежнему, собираемся на дачу. И все по-старому, ни на волос лучше. Все как было; и за то слава богу. Дай Вам бог только здоровья, да поживите там, пошатайтесь, а о работе пока не думайте (хотя это в Париже трудно), но, право же, я бы Вам пожелал эдак с полгодика подурачиться. Передайте эти мои мысли Катерине Васильевне; я думаю, что она разделит их и, может быть, одобрит, а стало быть, и поддержит.

Полагаю, что Вы не очень огорчитесь и не упрекнете меня, если я остановлюсь на этом пока. Очень тороплюсь послать вексель. Отложить письмо я бы мог, чтобы написать побольше да потолковее, да это взяло бы у меня несколько дней, а может и неделю, а вот деньги нужны, и потому — до следующего письма.

Катерине Васильевне низко кланяюсь, и София Николаевна тоже, хотя она уже... спит, но знает, что я должен писать к Вам.

Искренне и глубоко любящий Вас

Крамской

182. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

1 июня [н. с.] 1874 г.
Париж

Добрейший Иван Николаевич!

Я смущен окончательно, письмо Ваше только что получил, но, увы, оно не содержит в себе того векселя, о котором Вы пишете, что *«посылаете при сем»*. Вероятно, Вы или забыли вложить, или же отправили отдельным заказным письмом. На всякий случай тороплюсь известить Вас об этом обстоятельстве и прошу, если вексель еще у Вас, то поторопитесь выслать, ибо мы находимся на крайней границе обнищания: сахару нет, чаю нет, кофе нет, хлеба нет, кистей нет, холста и красок тоже нет, а главное, боюсь, чтобы не истощились последние средства выйти из столь горестного положения — это бумага, чернила и перья!!!

Не распространяюсь больше.

Тороплюсь отправить Вам это прискорбное извещение, а сам бегу в мастерс[кую] Поленова [1] писать этюд.

Душой преданный Вам и семье Вашей

К. Савицкий

183. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

27 мая 1874 г.
С.-Петербург

Дорогой мой Константин Аполлонович!

Воображаю, какой испуг охватил Вас, когда Вы в письме не обрели векселя, *«прилагаемого при сем»*. Дело очень просто: на почте письмо вложили в один конверт, а вексель особо, зашили в замшу, заставили написать два адреса, и только. Говорят, так нужно, для безопасности, — словом, почтовые правила. Мой конверт выдали мне обратно. Расписка мною была получена в С.-Петербургском почтамте 16 мая за № 386. И если бы (чего сохрани боже) нужно Вам было наводить справки, то я Вам вышлю ее. Думаю, чрез день-два Вы получите свои деньги. Конверт я оплатил здесь, и, вероятно, там платить не придется, но говорят, что там всегда взимают, сожалею, потому что с переводом вышло не много. Вы потеряли 600 franc., ведь это на наши деньги более 150 рублей — сумма приличная.

Признайтесь по совести, что Вы подумали, когда векселя не оказалось при письме? Вот приятель! Хорош! Нет, не

может быть! А впрочем, чем чорт не шутит! и тому подобные восклицательные знаки. Это естественно... в первую минуту испуга, но если Вы думали и во вторую и в третью, тогда... вот тогда это, пожалуй, уж и лишнее. Жду с нетерпением Вашего известия теперь и ничего не пишу.

Глубоко и искренне Вас любящий и преданный Вам

И. Крамской

Не вышло бы чего из-за того, как Вы пишете свою фамилию. У Винекена, когда я переводил деньги, меня спросили, так ли пишется Савицкий — Sawitsky? Я сказал: так, когда же посмотрел дома Ваш адрес, написанный Вами, то после t стоит z. Не помешает ли это доказать Вам свои права?

Поленову кланяюсь.

184. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

26 августа 1874 г.
С.-Петербург

Хороший мой Константин Аполлонович!

Что же это Вы попримолкли, правда, и я хорош, но все же лучше. Чье было последнее письмо, кто ждал ответ, да и ждать перестал? Что, совестно, небось? Однакож я начинал думать, что не случилось ли чего с Вами, серьезно так. Да спасибо Илье Ефимовичу [1] — черкнул, что и Савицкий, мол, тут, отлегло от сердца. А я шибко призадумался, что бы это такое значило? Ну, да слава богу. Вы живы и здоровы, и работаете. Последнее меня очень интересует. Однако, серьезно говоря, отчего Вы не писали? Не обидел ли я Вас чем-нибудь, не думаете ли Вы чего-нибудь? Я ведь подозрителен, даже не имея причины, иной раз такое пойдет в голову, что только можно руками развести. Несмотря ни на что, я все-таки не буду спокоен, пока не получу от Вас настоящего письма, а не слухов только. Ваших писем я ожидаю еще и по другим причинам, ведь теперь, так сказать, Вы уже обжились, присмотрелись, горячка первая прошла, стало быть, есть кое-что, что можно сообщить, а я плохо прожил все это время. Особенно лето, один, близ Петерб[урга], на станции Сиверской, и скучно, и скверно, лето гнусное. Не преувеличивая ни капли, можно набрать во все лето дней десять с солнцем, и то нежарких. Можете судить, как приятно. Прошлое лето было неблестящее, но все ж таки по сравнению с нынешним отличное. Работал немного акварелью (в этом году пошло чуточку получше прошлого года), сделал несколько голов, написал

портрет Софьи Никол[аевны] с ребятишками на воздухе[2] да начал картину «Осмотр старого дома»[3]. Вот и все лето. Один интересный этюд ушел, т. е. натура ушла, ну, об этом и говорить не стоит. После Вашего отъезда я написал три портрета да пишу цесаревича, вот и год миновал[4]. Новостей художественных никаких не знаю, так как сижу на даче. Иван Иванович[5] живет верстах в трех и какой-то стал шероховатый, окружен своей прежней компанией, занят фотографией, учится, снимает, а этюда и картины ни одной. Не знаю, что будет дальше, а теперь пока не особенно весело. Впрочем, эта натура крепкая; быть может, ничего. Теперешний год у меня не похож на прошлый, на душе немного мрачно, а работать — жажда. Жил со мной здесь один месяц Ярошенко[6] Ник[олай] Алекс[андрович]; Вы знаете, офицер, уехал уже полтора месяца в Киев, а парень хороший. Я было привык, да потом так скверно стало, что хоть плачь, если бы было прилично. Думаю около 10 сентября в Питер. Пишите туда. Выставка наша на днях тронется из Москвы по России[7]. Раньше не стоило ехать. Если у Вас есть что готовое — присылайте. Относительно ответа великого князя о соединении выставок ничего не известно, молчат, и мы молчим[8]. Но Исеев что-то замышляет наверное. Да и вообще предстоящий год интересен должен быть во многих отношениях. Если видаете Боголюбова, напишите, какую ноту он тянет[9]. Катерине Васильевне я и Софья Николаевна, несмотря на ее гордость, т. е. гордость Катерины Васильевны, шлем искренний и глубокий привет, пусть вспоминает нас там в своем прекрасном далеке.

Ваш *И. Крамской*

Я полагаю, что если Вам было нельзя написать, то Катерине Васильевне грех не помочь Вам в этом.

185. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

18 сентября 1874 года
Париж

Добрейший Иван Николаевич!

После долгих скитаний и странствований очутились мы опять на месте, в Париже, и нужно надеяться, что на продолжительное время засядем здесь. Пора подумать о деле, уже довольно освежаться различными созерцаниями; положа руку на сердце, я могу сказать, что чуть ли не с излишеством следовал Вашему совету: «жить во свое удовольствие»; и, истинно, это выходит дело полезное; теперь с наслаждением

думаю, как бы устроиться, чтобы скорее приняться за настоящую работу. Я Вам, кажется, писал о том, что собирался в Овернь, на воды. Пробыв там почти месяц, исполняя беспрекословно весь курс лечения и наслаждаясь очаровательной природой тамошних мест, затем, возвратясь в Париж, отправились в Нормандию, где прожили два месяца так хорошо и отрадно, что и слов не нахожу выразить Вам свое удовольствие; что за море, что за скалы, что за люди тамошние французики и их патриархальный быт — это просто очарование. Жизнь у них так легка и отрадно весела, что некогда и соскучиться. В среде их чувствуешь себя всегда новым, и тени нет того, чтобы озлобиться на самого себя; то, что у нас называется хандрой, здесь по штату не полагается, везде привет, улыбка и радушие. Предприимчивость такая, что ни на минуту не останавливается их деятельность, и поэтому всюду интересно, ново и притом баснословно дешево и удобно. Что касается до работы художников, то препятствий не встречается, даже в захолустьях, как Вёль в Нормандии; всяких любителей, потребителей и самих художников было там такое множество, что доходило до смешного: выйдешь на этюд, так всюду рассажены точно грибы или что-нибудь похуже; весь тамошний сельский люд так проникнут художественным сознанием, настолько цивилизован, что вы встречаете в каком хотите задворке и огороде бедняка полное сочувствие и содействие во всем, что вам вздумается. В Вёле нас была целая колония русских художников, слывшая под названием «красных шапок», которыми мы запаслись там совершенно случайно (они очень удобны при морских ветрах), были там: Репин с семьей, Поленов, Боголюбов, Беггров, Добровольский, хотя очень франтоватый, но слывущий под названием «свиной художник» (специальность его — писать свиней), и, наконец, нас двое; приезжал на короткое время Харламов. Оттуда мы перебрались в Этрета, скалы которого так удачно изобразил Ноде[1] (картина в Кушелевской галлерее)[2]; там, несмотря на то, что пробыли всего пять дней, вдоволь насладились и насмотрелись на рыбачий быт; чтобы Вы могли судить о том, как дешево там жить, то достаточно сказать, что квартира, утренний шоколад или кофе, завтрак из пяти и обед из шести блюд стоят 5 фран[ков] в день с персоны. Все мы до того поправились и душевно и телесно, что даже совестно перед горожанами французами, загорелые и обветрившиеся лица наши меняют кожу и лоснят от излишества жирных частиц. На обеих щеках (а не на одной, как было прежде) у меня настолько выросли бакенбарды, что не вышли бы карикатурны, даже и из-под карандаша Софии Николаевны; впрочем, оста-

Динабургъ 16го Января 1878 г.

Дорогой Иванъ Николаевичъ!

Два часа ночи и я уставши отупѣвшій, сложилъ кисти и палитру, привернулъ фитиль въ рабочей лампѣ и берусь за письмо, совѣсть заѣла! День начинается у меня за мольбертомъ и такъ въ плотную, оторваться не могу, а между тѣмъ вытрачивая всякую излюбленную штуку, въ „погорѣльцахъ" неотступно думается: а вѣдь отвѣтить и хочется крѣпко и просится, нужно! Такъ оно тянулось всѣ эти дни и съ письмомъ не съ мѣста. Вы поймете такое настроеніе горячности въ работѣ и простите. Скажу Вамъ, что вообще работаю усидчиво, а со времени полученія Вашихъ строкъ послѣ долгаго перерыва молчанія, я

Страница письма К. А. Савицкого И. Н. Крамскому от 16 января 1878 г.

лись еще маленькие плешенки пониже скулы, но в общем недурно. Результатом прожитого нами таким образом лета вышло то, что совершенно неожиданно для меня самого, работая слегка и шутя, я насчитываю у себя до сорока оконченных этюдов, типов на воздухе и пейзажей, три начатых картины, из которых одна маленькая почти окончена, другая подмалевана, а третья, в то же время главная, размером в $2^1/_2$ аршина скомпонована и частью заготовлены для нее этюды; сюжет — «Путешествие на гору Sanci в Оверне» [3], типы всевозможных иностранцев на лошадях, ослах, пешком и даже барыни, несомые в креслах. Кроме того, несколько акварелей с натуры и масляных эскизов. Результат оказывается недурен, если только удастся осуществить все это так, как было бы желательно. Для этого предпринимаю все от меня зависящие меры. — Вчера отыскал и нанял мастерскую вместе с квартирой в две комнаты, или, лучше сказать, две конурки; мастерская прелестная, но только пугает меня ее цена: 1000 фр[анков] в год за одни стены; надо меблировать и вообще устроиться, на что пойдет немало денег; приходится призадумываться, как извернуться, впрочем, работая, средства сами придут, и поэтому я не унываю и иду на риск. Все бы было, как видите, у нас хорошо, если бы друзья не забывали, а то уж бог весть с какого времени не имею ни единого словечка ни от Вас, ни от других, кому писал.

Если что долетает сюда, то все это только случайно и в виде неопределенных слухов: говорят так, а говорят и иначе, поди догадывайся и доходи собственным умом до истины, — говорят, что русскому воинству позволено отпускать бороды, а стало ли оно похоже на пруссаков — ничего не знаем; сказывают, что Исеев на публичном акте торжественно прочел, что, усматривая из практической жизни Академии и основываясь на *неутешительных примерах женатых пенсионеров,* Совет постановил: женатых конкурентов удостаивать Большими золотыми медалями без права посылки за границу [4]. Я Репину советовал обидеться, но он не хочет; произнося такую бессовестную ложь, подавился ли он ею, т. е. Исеев, и разорвало ли его поганое нутро? Об этом мы тоже ничего не знаем.

Не откажите, добрейший Иван Николаевич, написать, когда эта протобестия окачурится, мы все и я, хотя и не пенсионер, но готов поставить пудовую свечку Николаю угоднику за упокой души этой скотины, но только, пожалуй, не поймет и сочтет за недоброжелательство. Спасибо Стасову, не подарил Академии этой глупой выходки и хотя не особенно зло, но все-таки сказал свое беспристрастное мнение [5]. Да, Иван

Николаевич, Вы не поверите, как часто приходится вздыхать здесь, оглядываясь на все происходящее там у вас, в нашем далеком.

Вздыхать о том, что все то, что здесь так хорошо, не перенесешь с собою домой, чтобы быть окруженным всей этой свободой, удобством и спокойствием, с каким живешь и работаешь здесь, независимо от всяких побочных соображений и не подделываясь ни под чей вкус и воззрения; работаешь, единственно удовлетворяя своей собственной страсти, и не боишься пинка из-за угла всяких доброжелателей, врывающихся в ваш душевный мир с своим лозунгом *искусства*. Тут все встречает сочувствие, в каком бы роде и направлении ни писалось и как бы ни выразился художник, только бы высказался, и это страшно поднимает весь уровень деятельности здешнего искусства.

Как подумаешь, какая груда вещей пропадает у нас из боязни быть обруганным и из-за этого как часто не выплывает в наружу многое оригинальное и самобытное. Я хочу сказать, что у нас время не порицать, а поощрять; слабые стороны своего произведения каждый сам увидит при сравнении, что может быть только при многочисленности произведений. Кроме того, чего-чего только не требуется от художника в нашем обществе. Если любишь только искусство — упрекнут в односторонности; будь и дипломат, и доблестный гражданин, и бог весть что еще — и все это, подумаешь, для чистого искусства. Только при таких выгодных условиях, при каких стал Верещагин, можно плевать на все и жить спокойно для своего призвания. Доля, право, завидная. Правда ли, что он отказался от предлагаемого ему звания профессора? — Ведь это факт знаменательный [6]!

Сегодня я получил Ваше милейшее письмо, как видите, совесть наша заговорила почти в одно и то же время. Вы представить себе не можете, какое несказанное удовольствие доставила мне Ваша весточка, я воскрес и воспрял, а то было совсем подрязг в безнадежных ожиданиях. Вы правы, что я поджидал от Вас ответа на свое последнее письмо, в котором послал Вам гравюру из «Иллюстрации» с картины Neuvil'я; теперь вижу, что этого письма Вы, вероятно, не получили [7]. Для меня это крайне прискорбно, потому что там я писал Вам кое о чем, на что было бы для меня интересно получить ответы. Ну, да что с возу упало, то пропало. Впрочем, не думайте, добрейший Иван Николаевич, чтобы я считался письмами, напротив того, я очень часто думал о Вас и обо всем окружающем Вас и желал бы писать Вам, но иногда находит полоса какого-то отупения к письмам, преследующая вас, пока

не перейдет жажда работы, которой насытиться нельзя, а можно только утомиться ею, и тогда, желая обновления, невольно обращаешься к друзьям; это-то и случилось теперь со мной; очутившись в Париже, я, так сказать, отряхнулся перед новым запоем, который, чувствую, начнется, как только въеду в новую мастерскую.

Вы спрашиваете меня, как я чувствую себя, обживясь в Париже? Ответ тот, что глуп я был, утверждая прежде, что здесь не жизнь нашему брату. Все скорбящие, алчущие и жаждущие приидут и утешатся, и, право, одно спасение, это здесь излечимся от всякого недуга; и другу и недругу советовал бы я быть здесь и только временно наезжать домой, чтоб набираться материала; резиденцию избрать следовало бы тут. Человек при хороших условиях всегда хорош, следовательно, сколько хорошего и доброго сделает он? Отсюда глядя на все, что возмущает и волнует вас там, смотришь с состраданием, но без личного озлобления, не тратишься на мелочи, которые, в сущности, и не стоят всех невольных затрат. Примите в соображение страшную и постоянную конкуренцию работающих, вечное сравнение, вечное обновление при виде постоянно новых хороших картин, появляющихся, правда, и между дурными, но ведь где же нет этих последних? Все благоприятствующие условия натуры, костюмов, мастерских, фотографий, всех приспособлений, каких только душа пожелает, удивительный климат, в котором почти что круглый год можно работать на воздухе, и Вы согласитесь, что можно жить и работать на радость себе и другим.

Итак, я чувствую себя, как видите, очень хорошо, и подчас, когда пришибает желание очутиться в России, утешаюсь тем, что еще не время. То же самое могу сказать и обо всех остальных наших соотечественниках. Репин пишет Вам сам, следовательно, Вы знаете о нем. Работает он тьму вещей: портреты, две картины, этюды, и все так хорошо, что отрадно становится, глядя на него. Поленов тянется туда же и сделал большие успехи в технике. Харламов офранцузился вконец, хотя многие и прельщаются им, но для меня это явление мало отрадное. Боголюбов благодушествует здесь как только возможно; напоминает мне собою наших отставных генералов, сбивших себе на службе изрядный капиталец, и, обзаведясь всяким иждивением, проживает остаток своих дней в свое удовольствие и даже на гордость отечеству. Всяких добрых дел за ним и не перечтешь; за это последнее время сыплет заказами и всевозможными пенсионами от выше чем влиятельных лиц; я у него также состою в кандидатах, но еще не поощренных талантов. Все намерения его честны и добры, но что ж делать, когда

человек со странностями, за лето он наработал очень много и чувствует себя лучше, чем был до выезда за границу, здоровием поправился. Постоянно высказывает свое полное сочувствие к делу Передвижной выставки и намерен подтвердить его всеми вещами, выходящими из-под его кисти. Словом, все обстоит у него так хорошо, что то и дело мы все хором восклицаем: «Ай да Алексей Петрович! Славно, Алек[сей] Пет[рович]!!» и пр. и пр.

Вчера бегали мы с Катей по вновь открывшимся выставкам Парижа; в Салоне на место бывшей годичной поместилась выставка костюмов [8] и всяких ремесленных производств, поражает своей громадностью, роскошью и великолепием, а главное, вкусом и изобретательностью французов. Ее декоративная сторона неподражаемо хороша; наглядность, с какой экспонируются все вещи и в особенности костюмы, это просто удивление: все материи помещены по эпохам и к ним приложены рисунки, акварели и картины, соответственно их времени. Плата за вход 1 франк, и за это вы наслаждаетесь еще великолепной музыкой. Затем следует выставка художника Бодри — панно для новой Франц[узской] оперы [9], — от этих вещей парижане в восторге. Мы не успели их посмотреть. Люксембург [10] попрежнему восхитителен и венец всему; новая картина моего любимца Neuvil'я выставлена в магазине Гупиля; этот художник так удивительно доказывает своим произведением, что в искусстве только и есть сила, что в голой правде и верности с действительностью, что мороз по коже подирает, глядя на группу солдат, уснувших на аванпосте в вырытой в земле яме, зимой, в стужу и холод [11].

От всей души радуюсь за Вас и поздравляю с началом Вашей картины. Пришли лы Вы к решению писать из нее одну вещь или все еще делите на два сюжета: двор и внутренность дома [12]? Хотелось бы очень видеть портрет Софии Николаевны с ребятами, но далеко, стало быть, невозможно. О добрейшем Иван Ивановиче рад, что знаю хоть что-нибудь, — не постигаю его пристрастия к фотографии; скажите ему, что в Париже процветает такой офорт, что пальчики оближешь, и вот уж чего душа желает — того и просишь, есть мастерские, в которых устроено офортное отделение с проведенным газом, водою и всякими приспособлениями. Бегать к Келенбенцу [13] не нужно.

Что поделывают мои фотографии как с «Охотника», так и с «Рабочих на железной дороге» [14]? Мне бы ужасно хотелось иметь их, оказии и случаи представляются так часто для пересылки их, много обяжете, добрейший Иван Николаевич, если исполните это желание.

Однако на этот раз довольно; много есть, что бы хотелось сказать Вам, но нужно честь знать, поэтому откладываю до будущего письма.

До свидания, пишите, не забывайте нас. Всем друзьям и знакомым глубокий привет. Сердечно жму Вашу руку, Софии Николаевне, Федоре Романовне низко кланяемся, детишек всех целуем; Коля и Толя, вероятно, уже гимназисты? Мой крестник не оказывает ли также наклонностей к гимназии?

Преданный Вам

К. Савицкий

P. S. Сюжетом своей картины делюсь только с Вами, Иван Николаевич.

186. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

25 сентября 1874 г.
С.-Петербург

Вот мы и в городе, добрейший мой Константин Аполлонович, распрощались с дачей и вернулись, и, как всегда бывает сначала, чувствуешь себя немножко смущенным и растерянным: не знаешь, с чего начать — много дела, за что приняться? То нужно съездить куда-нибудь, то кто-нибудь пришел, то оказывается необходимо бросить, отложить все начатое и приняться за прежнее, чорт знает что такое! Но эта песня — старая, да и скучная, наконец. Вперед все знаешь, как что будет.

Я очень рад, что выхожу прав перед Вами и собою, советуя Вам уезжать вон из России. Мои наблюдения, хотя сделанные давно, не обманули меня — я верно, или почти верно, определял условия заграничной жизни, и не ошибся, советуя особенно настойчиво уезжать. Письмо Ваше произвело очень отрадное впечатление, и в то же время я Вам даже не завидую, — обтерпелся я здесь, принюхался, научился изворачиваться и, несмотря на неудобства, чувствую возможность работы, даром что можно попасть к исправнику, если залезешь в огород к мужику работать, вместо того чтобы встретить помощь и привет. Я знаю также, что человек за границей меняется, особенно наш брат — русский. Будучи в Париже, я у того же достопочтенного А. П. Боголюбова сделал одно наблюдение: у него был в то время русский г. Татищев, и вели они разговор между собою о французских порядках, боже, что это был за разговор [1]! Я в ужасе озирался, не слушают ли нас ревностные слуги Наполеона III [2], и не потащут ли нас

всех, как заговорщиков против установленной власти, куда следует. Я трепетал, протирал глаза, уши, ощупывал себя — не во сне ли? Это ли Алексей Петрович, это ли русский барин? Что они говорили и что они находили нужным сделать! Русский барин был особенно либерален — опасно либерален. Потом — потом я видел этого барина здесь, ну, и должен сознаться, что, вероятно, почва, воздух и легкость жизни во Франции способны сделать невероятные превращения. Завел я эту речь к тому, что достоуважаемый А[лексей] П[етрович] ни больше, ни меньше как притворяется, впрочем, виноват, даже не притворяется, а просто обделывает дела. Ведь у него же, а не у другого, состоялась сделка с Исеевым — один не противодействовал приобретению трехсот этюдов[3] в Академию за 20 000 рублей, другой за это обязался Передвижной выставке наложить всюду на дороге камней. Что ж? Это в порядке вещей. Да и как Вы хотите, чтобы было иначе? Что касается гг. Добровольского и Беггрова, то я уверен, разумеется, что это все *славные* ребята.

Ваше прозрение относительно того обстоятельства, что у нас, благодаря боязни быть обруганным, пропадает масса вещей оригинальных и самобытных, совершенно основательно, только есть маленькая разница между Францией и Россией в их потребностях, которые фатальны и обусловливают иное течение развития искусства. Ведь что такое фельетонист у нас? И вообще пишущая братия? Разве они сами выдумали направление и навязывают его художникам? Нет, его поставила история. Что художнику у нас трудно? А скажите, кому не трудно? Только и есть, что железнодорожным деятелям, да и то до поры до времени. Все, что Вы пишете, я понимаю давно, и отлично понимаю, потому-то Вы и должны были поехать за границу, вздохнуть полной грудью, пожить человеческой жизнью, и как проведете там годика два, три, да окрепнете во всех отношениях, тогда, быть может, и Вам будет не страшно вернуться, а до того времени живите себе с богом. Я буду радоваться только. Что касается Верещагина (ташкентского), то ему в качестве незаурядного человека везде дорога. Эти люди самим господом богом помазаны; они имеют право и не такие выкрутасы выделывать, как отказ от профессорского звания! В обществе пошлом, находящемся в первичном периоде развития, в обществе, постоянно притворяющемся, достаточно человеку самые простые вещи назвать громко настоящим именем, чтобы произвести скандал неописанный. Вы спрашиваете, правда ли, что он отказался? Правда, да еще как отказался! Пропечатал в «Голосе», что «так как я считаю звания и чины ***вредными*** для искусства и

художников, то и отказываюсь начисто»[4]. Ни больше, ни меньше. Из этого поднялся такой гвалт, не только в муравейнике художников, но даже в публике — от самых верхних слоев его до нижних, что я этому даже немного удивился: до сих пор я полагал, что наше общество не примет близко к сердцу, если бы уничтожились между художниками не только титулярные советники, но даже и сама Академия, но, чистосердечно каюсь, я ошибался и ошибался грубо. Что за границей хорошо — я знаю, что там работать можно, это я тоже знаю, но знаю также и то, что эта легкость, с которой там живется и работается, эта возможность все писать, что вздумается, и за это не обругают, а напротив, производит тот общий повсеместный *средний* тон (не говорю о технике), который, так сказать, освобождает художника от *материй важных.* Возьмите серьезных, глубоких критиков искусства у французов, что они в конце концов говорят? Какая нота звучит у них во всех их сочинениях? Вы, небось, думаете, что я скажу — у нас не так, мы сосуд избранный, у нас задатки, мы глубоко захватываем, а французы мелко плавают. Ошибаетесь, я этого не скажу — я знаю наше место... но... но... зачем же сидит в груди эта стальная пружина, зачем же такое страшное явление, как Верещагин? Откуда он? Полагаю, что не далек от истины, если скажу: не в одной России, а всюду настоящие люди томятся и ждут голоса искусства! Напрягают зрение и слух: не идет ли мессия? Надо было быть здесь, чтобы понять, что такое искусство и что оно может сделать, когда стадо баранов, прости господи, стояло и на улице, и на подъезде, и по лестнице (широкой лестнице) минист[ерства] внутр[енних] дел и ждало по три часа очереди попасть в самую выставку, подымалось по десять минут от одной ступеньки лестницы до другой, и, как на светлый праздник в церкви, все в поту и истерзанные, теряя терпение, уходили назад, чтобы подвергнуться той же пытке завтра, послезавтра, на третий день, пока не удастся проникнуть[5]. Вот что случилось в Петерб[урге]. Нужно было видеть и слышать и безграмотных людей и интеллигенцию, что с ними делалось после, какое впечатление они выносили, и нужно было слышать, например, от Пыпина такие наивные речи: «Отчего это выставка Верещагина так действует, что как будто в голове страшно много наложено, как будто во лбу тесно?» И потом вопрос еще наивнее: «Скажите, хорошо его картины написаны?..» Что на это скажешь? Из прописей или азбуки ответ самый пригодный, и я должен был сказать, что это потому, что техника там лучше всего, выше всего, потому Вы ее и не замечаете. Вот что делает идея. Я не могу достаточно ясно представить

Вам, что это такое, но чувствую спокойствие за эту теорию, которую я исповедоваю и которую признаю справедливою. А между тем Верещагин не художник драмы человеческого сердца, он, быть может, и не способен создать образы, близко затрагивающие душу человека XIX столетия, к нему в галлерею надо пойти не затем, чтобы ваши сомнения, страдания, надежды нашли оправдание, а затем, чтобы посмотреть иной народ, новые обычаи и нравы, и все-таки независимо от того вся эта новость не могла бы захватывать так ваше внимание, если бы все это не было нанизано на один невидимый стержень — идею. Все от начала до конца. Ну и что же? — скажете Вы. Почему все это? Значит ли, что следует отложить в сторону то, что интересует и хочется делать? Нет, я хотел только немножко в Ваших глазах защитить то течение, ту брань и то искание содержания, которым мы тут в России одержимы. Только вперед, Константин Аполлонович, с богом, не робея, и после Верещагина работайте себе *«Путешественников»,* мне это очень нравится; я скажу больше, я уверен, и, зажмуря глаза, скажу вперед: у Вас это хорошо выйдет. Я уже теперь вижу Вашу композицию: по светлой горе, освещенной солнцем, взбираются неправильной линией темные и пестрые фигуры, и дама в носилках, вероятно, назади если не всех, то главной группы. Ведь я пророк вроде того, который говорит гадающему: ты прежде родился, потом уже вырос, затем ты, в пределе земном, совершишь все земное и умрешь. Это верно. И удивляется гадающий: какой проницательный человек! Итак, я знаю, вперед!

А ведь недалеко уже время открытия IV Передвижной выставки; надеюсь, что Вы на нее предстанете [6]? Срок еще не определен, да пока и определить нельзя, так как ответа относительно *соединения* от великого князя еще нет [7], да едва ли будет благоприятный, потому что Ваш друг и приятель Исеев сказал: «В этом году выставки (Передв[ижной]) не будет, надеюсь». Вон оно куда пошло. Он надеется! Ну, а мы тоже надеемся в свою очередь и потому полагаем — будет... Приблизительно, однакож, можно сказать, что выставка откроется не позже генваря (если, разумеется, нам откажут, в противном случае она будет одновременно с академической). Потрогайте хорошенько Боголюбова, будет ли он у нас, если в одно время с академической выставкой нужно быть и Товарищем. Любопытно. А что Харламов? Правда ли, что он не прочь поставить у нас [8]? И кроме того, заведите речь и с Репиным, ведь мы его выберем в члены на основании прошлого года [9]. Вы пишете: нельзя ли фотографии и что оказии часто случаются. Понимаю: всякий русский, приезжая в Париж, разы-

скивает своих соотечественников, сообщает им новости и слухи, ну, а в России ведь и не заметишь, как кто-либо улизнет за границу, так что узнаешь об этом только тогда, когда он воротится назад. Да и то, если узнаешь.

Как идут фотографии, сведений не имеем, Чиркин [10] не писал; он теперь с выставкой в Казани [11]. Мы поехали вниз по матушке по Волге. Подробности узнаем после.

Ге что-то пишет, но что — тайна [12]. Я решил делать две картины [13].

Все мы тут слава богу или около того.

Низко кланяюсь.

И. Крамской

Екатерине Васильевне наш особый поклон. Всякий раз, получая Ваше письмо, думаю найти приписочку от Е[катерины] В[асильевны]. Скажите, что нехорошо забывать старых друзей только потому, что мы живем за границей.

Что Вы не прописываете адреса????

187. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

24 октября/5 ноября 1874
Париж

Добрейший Иван Николаевич!

Вы знаете кое-что обо мне из слов Андрея Ивановича [1], который, вероятно, был уже у Вас, и, кроме того, из письма, посланного Вам чрез него, стало быть, о своем житье-бытье я и не стану распространяться. Сомов видел меня в моей новой обстановке и в начале кое-каких работ, — скажу Вам только одну приятную новость, что работы перепадают мне в Париже больше даже, чем на родине, где я, не помню, имел ли заказы, кроме образов. Сергей Михайлович Третьяков и потом Солдатенков, бывши здесь, оба заказали мне по картине; первый сам выбрал один из сюжетов, намеченный мною беглым эскизом, второй, увидавши эту картину в подмалевке, прельстился настолько, что заказал повторение [2].

Каждый из них разорился на 1500 франков.

Дела, как видите, недурны, заказы есть, но только горе мое в том, что деньги в будущем. Третьяков поступил весьма гуманно, дав мне 1000 франков вперед. Но, увы, их уже не существует, и поэтому, не желая просить у него остальных, прежде чем сделаю картину, а тем более не хотелось бы обращаться с этим к Солдатенкову, я уповаю на Вас, добрейший Иван Николаевич, или, вернее сказать, на Товарищество, чрез

Ваше содействие, не найдет ли оно возможным ссудить меня четырьмя стами рублей, в счет будущих моих благ. Если выставка, как Вы пишете, будет в генваре месяце, то я рассчитываю прислать к тому времени три вещи, стало быть, залог будет больше, нежели полный.

Простите меня за такое лаконическое и в то же время эгоистическое письмо. Обещаю коснуться общих наших интересов в ближайшем будущем, а пока верьте в мой горький финансовый кризис, и чем скорее он может быть пополнен, тем отраднее для меня.

Душою преданный Вам и семейству Вашему

К. Савицкий

Всем друзьям и знакомым шлю поклон.

Если возможен этот заем, то пересылайте деньги переводом чрез какую-нибудь контору, квитанцию же в простом заказном письме, иначе с почтамтом просто разорение.

P. S. Все Ваши письма посылайте не франкированными, потому что мне все равно приходится оплачивать их здесь вторично.

188. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

20 ноября [н. с.] 1874 года
Париж

Добрейший Иван Николаевич!

Ваше последнее письмо [1] навело на меня некоторое уныние; и я долго колебался в уяснении себе вопроса: *«веры в людей!»* и наконец пришел к заключению, что по большей части обстоятельства создают людей, а не люди обстоятельства. Боголюбов именно из числа тех, которые легко поддаются им; не более не менее как это. Злоумышлять же он не способен и не намерен, напротив того, все мысли его направлены к преуспеванию Перед[вижной] выстав[ки], т. е. я хочу сказать этим, что он такой человек, на которого в серьезном деле рассчитывать нельзя, но в то же время можно быть уверенным, что умышленного зла он сделать не способен, а напротив, лозунг его: как бы обойтись, чтобы и волки были сыты и овцы целы, и всякому доброприятелю сделать хорошее дело; при этом заметим, доброприятели у него все и всюду, без конца.

Во всяком случае спешу поделиться с Вами теми хорошими результатами моих наблюдений, которыми я так интересовался: во-первых, из всяких косвенных соприкосновений

с людьми русскими, окружающими меня здесь, я вижу всюду подтверждение того, что говорит он мне в лицо, т. е. полное сочувствие к успехам Товарищества, и, во-вторых, оно подтверждается самим делом.

Не далее как вчера он указал мне две лучшие свои картины, предназначенные для этой цели [2].

При разговоре нашем на тему, что если бы пришлось быть только экспонентом одной Перед[вижной] выст[авки] и нигде более? он остался верен себе, говоря, что всякая мера насильственная есть зло и что он не может допустить мысли, чтобы Товарищество прибегнуло к средству, над которым мы сами смеемся, в отношении Академии с своими пенсионерами и т. п.

Мне же кажется, что чем нам прибегать к таким мерам, не лучше ли Товариществу приобретать членов с большим выбором и осмотрительностью? В данную минуту он поступает, как и говорит: всю мелочь наработанных им вещей за последнее время выставляет у Беггрова и здесь у Гупиля, чтобы не прервать с ним свою торговую сделку, и даже можно ожидать встретить их и на академической выставке; лучшие же вещи будут на Передвижной — того же он требует и от своего сожителя и будущего преемника Беггрова, который, между прочим, делает большие успехи в живописи, разумеется чисто подражательной; требует, чтобы все, что выйдет значительного из-под его кисти, предназначалось на Передвижную. Кстати, о последнем я имею сообщить нечто неприятное для Товарищества, о чем надо позаботиться, чтобы не повторялось и с другими, — это жалобы его, что вещь, им экспонированная, возвращена Товариществом, по словам его брата, в ужасном виде, рама вся изломанная; если это только так, то это весьма грустно.

Репин, повидимому, очень доволен своим избранием в члены; но странный человек, которого разгадать не легко: прежде всего, кажется, себе не враг, и это мешает ему отчасти следовать своим искренним побуждениям и принципам. Ссылается на бесполезность наживать себе врагов в Академии, и как я ему советовал выставить портрет m-me Бове (вещь, ему очень хорошо удавшаяся), выставить его чрез посредство собственника; не желает, говоря, что это была бы полумера, к которой прибегать не хочет, между тем за несколько дней до Вашего письма он сам подбивал Бове поставить портрет на нашей выставке. Впрочем, колеблется, выражает намерение участвовать членом прямо капитальной вещью в будущем; как видите, поступает очень осторожно; впрочем, вероятно, обо всем сам напишет Вам [3].

Поленов — его прямой отголосок, к тому же у него в настоящее время нет ничего крупного. Принимается за вещь весьма значительную — «Пир блудного сына» [4]. *Кажется, пока секрет.*

Харламов для меня такое ни рыба, ни мясо, что я туда и не закидываю, — и, кроме того, во всех отношениях пенсионер Академии, офицер не офицер, рябчик не стрюцкий.

Относительно себя спешу поделиться с Вами, добрейший Иван Николаевич, хорошими вестями: во-первых, чрез посредство того же Боголюбова, который просто разрывается, чтобы устроить мое дело как можно лучше, состоялся для меня заказ картины «Путешественники» у цесаревича [5], при свидании его с Боголюбовым в Лондоне, на сумму 2000 руб., выговорено право экспонировать на Перед[вижной] выст[авке] и всякие прочие благодати. Я этому обстоятельству очень рад во всех отношениях, а причин для этой радости, как Вам известно, у меня немало. Благодаря этому обстоятельству спешу просить Вас, если деньги 400 руб., о которых я Вам писал, еще не высланы, то и не высылайте: я получу на днях от цесаревича задаток в 600 руб., так что обойдусь как нельзя лучше.

Пиша Вам все это, я сам перепугался мысли, что Вам невольно может прийти в голову: не нахожусь ли я под влиянием подкупа Боголюбова?!! Но горе Вам, если это так, если Вы наткнетесь на такие злополучные умозаключения, таким ли Вы меня знаете?

Когда-то Вы говорили мне, что желали выставить портрет Кати [6] на Перед[вижной] выст[авке]; если не изменили этому благому намерению, то не откажите заказать для него хорошую раму, деньги за которую попрошу уплатить Вам Третьякова или Солдатенкова при расчете со мной; в противном же случае просил бы Вас прислать мне портрет сюда, я сделаю на него раму, и если Вы на то согласны, выставлю его здесь в будущем Салоне.

Кроме всех утешительных дел нашей парижской жизни присоединяется еще аквафорте, который процветает в нашем кружке в полной силе [7]. Намерение наше послать к Вам хорошую коллекцию отдельным изданием или же в отдельных экземплярах, во всяком случае я думаю и всеми мерами стараюсь, чтобы все картины, посылаемые отсюда на Передвижн[ую] выст[авку], были бы в аквафорте. Началось у нас с некоторых попыток, и сверх моего ожидания растет в значительных формах. Мы уже не довольствуемся беганием в магазин Кадара (помещение общества здешних аквафортистов) для печатания пробных экземпляров, а заводим в складчину свой станок. Моей аквафортной пропаганде поддались: Ре-

пин *, Поленов, Боголюбов, Беггров, Дмитриев-Оренб[ургский], Шиндлер [8] (замечательно талантливый юноша, поляк, бывший ученик Мюнхенской и здешней Академии); все мы обзавелись всякими гравировальными инструментами и действуем ими очень усердно; присоединяются к нам Татищев [9], Жуковский [10] (портретист, приехавший из Рима), Харламов, Добровольский, Лавеццари [11], Буров [12] и некот[орые] другие, на сих последних я не рассчитываю, как на деятельных соучастников, но в некоторых случаях количество пригодно. Через посредство Кадара и сближение со здешними французскими художниками можно надеяться стать в ряду их в их акваформных изданиях, и это было бы, разумеется, весьма желательно, — закидываю к Вам и жду, не отзовутся ли некоторые наши соотечественники-аквафортисты сочувственно к нашему желанию сблизиться со здешними издателями и художниками. Я заикнулся было у Кадара насчет работ Ивана Ивановича, и он не дает мне теперь покоя, когда же покажу я ему его акваформы [13].

Вас немало удивило, я думаю, имя Дмитриева-Оренбургского, упомянутое в числе названных членов, он переселился в Париж со всей семьей, нанял мастерскую и намерен приняться за деятельную работу. О сем последнем обстоятельстве поговорим поподробнее в следующем письме, а теперь тороплюсь окончить, чтобы не опоздать на почту.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

Кланяюсь низенько добрейшей Софии Николаевне и Федоре Романовне. Целую всех детишек, Катя шлет *поклон.*

189. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

8 ноября 1874 г.
С.-Петербург

Добрейший мой Константин Аполлонович.

В плохое время и врасплох застало меня Ваше письмо [1]. Говорю так вот почему: в Товариществе будет трудно сделать что-нибудь, так как после летних поездок все воротились без денег: оба Клодта [2] взяли, Максимов взял, Шишкин взял, Васнецов взял, — словом, так много разобрано, что взять такую сумму, как Вы пишете, нет никакой возможности. Лично же

* Даже с женой.

я могу Вам перевести только 200 рублей, и то чрез неделю, да еще из Товарищества рублей сто можно будет — итого 300 рублей. Больше, хоть Вы меня зарежьте, я не в состоянии. Нельзя ли как-нибудь Вам переждать до конца декабря, когда я буду с деньгами? Триста рублей Вы получите чрез неделю от сего числа, а в конце декабря я буду в состоянии еще перевести Вам рублей 200. Если можно так, хорошо, если нельзя, — попробуйте рассказать свое положение Боголюбову и скажите, что я ручаюсь и что это верно.

Благодарю очень Катерину Васильевну за милое письмо [3], она так хорошо все описала, что у нас есть охота получать такие письма почаще.

Я пропустил дней пять, не отвечая на Ваше письмо, надеясь в него вложить вексель, но что Вы будете делать, никак не мог. Уж извините, голубчик, что так случилось. Вы знаете, что деньги такая подлая штука, что с ними всегда возня в нашем положении.

А я жду ответа на некоторые пункты в моем последнем письме, а не пишу Вам большего по причине той, что известие о главном Вам нужно знать как можно скорее. Правда ли, что Харламов писал портрет государя с натуры, где-то там за границей [4]?

Катерине Васильевне кланяюсь. У меня весь дом в лазарет обратился. С[офья] Н[иколаевна] больна, Сережа болен, старуха очень плоха [5], горничной нет. Беда!

Ваш *И. Крамской*

Да напишите, христа ради, Ваш адрес! Что это такое, не знаешь, куда писать.

190. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

16 ноября 1874 г.
С.-Петербург

Добрейший мой Константин Аполлонович.

Внимание самое усердное! Но позвольте, прежде всего, откуда у Вас такие нехорошие мысли, что будто я Вас могу заподозрить в сделке с Боголюбовым и что Вы можете быть подкуплены разными там благодатями и заказами [1]? Я слишком знаю Вас, слишком верю Вам, скажу больше, слишком убежден, чтобы хотя на одну секунду подумать что-либо подобное. Я знаю Вас. Вы единственно прямой и искренний член Перед[вижной] выставки. Со времени Вашего отъезда ничего не случилось, что бы могло поколебать мои мнения, ничего,

кроме хорошего для Вас, и мне остается только радоваться, и... сказал бы другое слово, да уж пусть оно так останется. С богом вперед! Работайте, живите, поправляйтесь во всех отношениях, я могу только сочувствовать Вам... Итак, внимание! Вопрос со стороны Академии поставлен, наконец, просто и ясно! Даже слишком ясно: на днях... завтра, послезавтра или там когда-нибудь скоро в Совете будет рассматриваться Устав одного Общества выставок, образующегося под протекторатом Академии [2]. Уже согласие вел. князя дано, уже все готово, так что рассмотрение Устава академическим Советом не больше как *форма*. Об этом обстоятельстве я уже слышал с год тому назад (одновременно с подачею нами бумаги в. к., бумаги Вам известной), а две недели тому назад я читал и самый Устав. Вот его главные положения:

1-е, цель: объединение художников на одном общем конкурсе (т. е. это значит не выбор, а всякий сброд). Сбыт произведений, раздача пособий и пенсионов, образование вдовьего и иного капитала, раздача премий, и... и... передвижение выставок (последнее, впрочем, поставлено для красоты слога, как Вы и убедитесь ниже). 2-е, состав: всякий, поставивший на выставку, есть уже член. 3-е, члены бывают: покровители (лица имп. фамилии), почетные разные любители и действительные, т. е. экспоненты. 4-е, средства: сбор с выставки поступает весь в пользу Общества, но капитал этот не есть чья-либо собственность, а только Общество распоряжается им и распоряжается нижеследующим образом: а) отделяет на жалованье распорядителя выставки избираемого и писца или двух (сколько нужно), б) на образование вдовьего капитала и выдачу пособий престарелым (сколько процентов, не указано), в) на оборотный капитал, для выдачи ссуд художникам, если нужно для исполнения картин или окончания их (всякий раз, впрочем, Общество убеждается чрез особых уполномоченных, действительно ли просящий нуждается); какой процент отчислять для этой последней цели, тоже не обозначено, г) если позволят средства, то чрез выбранных жюри назначать премии, процент не обозначен, за лучшие произведения на выставке, д) если и за сим останутся деньги, то и передвигать выставки. Кроме того, лотерея ежегодно на 10 000 руб., без права вмешательства города и правительства, и аукцион, без вмешательства аукционной камеры!!! Четвертое, управление: Комитет (из пяти лиц) и депутаты (десять лиц); членам Совета предоставляется право быть почетными членами. Почетные члены могут быть и депутатами, а из действительных членов избирается Комитет, над которым наблюдает в некоторых случаях депутатство. В числе постоянных и

непременных членов депутатов должен быть конференц-секретарь!!!

К Уставу приложена объяснительная записка, где достается кое-что Товариществу, подписанная тремя лицами: Лаверецким [3], Плешановым [4] и Крестоносцевым. Устав подписали двадцать три человека: Якоби, Лаверецкий, Орловский, Чистяков, Журавлев, Корзухин и много других, уже, впрочем, рангами гораздо ниже поименованных. Общество просит, чтобы пенсионерам Академия позволила быть членами этого Общества.

Итак, Академия отказывается от выставок совсем и передает их в руки художников. Стало быть, мы имеем дело теперь уже не с Академией, а с образовавшимся Обществом, и всякому художнику предоставляется право избирать между двумя частными группами; принадлежать к обеим становится уже невозможно, не нарушая чьих-либо интересов. Я хочу сказать, что теперь уж нет опасности ни для кого принадлежать к Товариществу явно, так как если к одному из обществ принадлежать можно, то почему же не принадлежать к другому? Можно было понять еще, что Академия могла посматривать косо на сочувствующих Товариществу, с образованием же Общества эта шероховатость сглаживается. Впрочем, быть может, и здесь могут быть разногласия? Почему знать? Из сообщенного Вы можете усмотреть, что Товарищество сделало свою долю пользы, заставило Академию признать справедливым претензии художников, хотя заведование художниками выставкою более номинально, нежели существенно, так как все останется, собственно, по-старому, с той разницей, что деньги за выставку не будут забираться министерством двора, а будут оставаться в Акаде[мии], т. е. в Обществе, и расходоваться на пользу и славу художников. Что это Общество будет существовать (как? это другой вопрос), я не сомневаюсь, но не сомневаюсь также и в том, что пути Товарищества и его цели нигде, в сущности, не пересекаются, так что оно может существовать и на будущее время, как существовало до сих пор. Быть может, оно потерпит некоторый урон в числе, но очистится от нездоровых элементов и взамен того приобретет, я думаю, более чистых прозелитов вновь.

Меня особенно занимает теперь вопрос: станет Боголюбов и иные церемониться с Академией и будут ли они там ставить? Очень любопытно. Сообщил бы все это Гуну, но, к сожалению, не знаю, куда писать. Он нездоров, и доктора его выслали или в Италию или на юг Франции. Не был ли он в Париже? Что Репин? Я ему вместе с сим пишу тоже, хотя не так подробно, и, если нужно, сообщите ему все. Теперь

пока даже я не имею права знать этого, так как это еще никому не известно, но пока письмо дойдет до Вас, это станет совершившимся фактом и, стало быть, будет иметь право быть известным всем и каждому.

С высылкой денег я остановился, поверив Вам, что не нужно. Кланяюсь низко Ек[атерине] Васильевне. Что касается ее портрета, то вот мое мнение: Вы, вероятно, ошибаетесь, если полагаете, что его можно даже выставить в Салоне в Париже; можно-то, пожалуй, можно, но едва ли следует. Он похож — правда, но и только. Написан он... как бы это выразиться поделикатнее?.. швах! Я думаю так, а Вы, очевидно, полагаете иначе? Жаль. Вас, стало быть, и Париж не просветил на этот счет. Что касается Дмитриева-Оренбургского, то я к нему совершенно равнодушен, почему, Вы знаете отлично; жена его очень милая особа и, кажется... хорошая, а впрочем, бог знает, *що воно такее.* Давно уж очень все это происходило, и... прошло, и слава богу, что прошло. Если он хороший художник, я радуюсь; если окажется для Вас и хорошим человеком, еще больше радуюсь... Но... да мимо идет чаша сия!! Слишком серьезно мы отнеслись друг к другу [5].

Искренне преданный и уважающий Вас

И. Крамской

Вы пишете, что Поленов хорош, т. е. сделал успехи... сомнительно, можете себе представить? Сомнительно! Не поверю, пока не увижу.

И что Вы со мной делаете: не пишете адреса! Что ж это такое, ведь не постоянно же пересылать чрез Репина.

1875

191. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

8 генваря 1875 года
Париж

Во-первых, мой адрес: Boulevard Clichy[1], № 1.

Во-вторых, добрейший Иван Николаевич, от всей души поздравляю Вас и все семейство Ваше с Новым 1875 годом и желаю всего хорошего, чего вы только сами себе пожелать можете. В-третьих, наконец, Вы, я думаю, совсем недоумеваете, что значит мое молчание, да еще в такое время, когда, кажется, скорее всего бы переброситься словечком; да, это точно, много меня мучила и томила совесть, пока, наконец, удалось приняться за перо; теперь немного полегчало и проч. проч.

До нас доходят со всех сторон слухи о различных отрадных делах. Академическое слияние с художниками[2], ну и слава богу, спасибо, что вынуждены сделать это хотя во внешней форме, а в остальном, разумеется, все одна ерунда и прежняя гадость, да чорт с ними, пусть хоть удавятся, нам только от этого легче. Все мы поголовно радуемся здесь этому ухарскому проявлению академической изворотливости. Я вполне разделяю Ваше мнение, что это дело ничем не соприкасается нашего Товарищества, и думаю, что чем равнодушнее будем относиться ко всем их затеям, тем лучше будем со стороны любоваться, как растет и провалится эта химера — называю это таким именем, потому что уверен, что ничего путного не может выйти там, где лукавят и хитрят, спасибо только, что хитрость эта шита белыми нитками, — если тут действительно должна быть инициатива самих художников и Академия передает в их руки художественные выставки, то зачем тут ее непосредственное вмешательство, по параграфу, который говорит, что должен быть в числе непременных членов депутатов конференц-секретарь, и по другому параграфу выходит, что в числе Комитета, как ни верти, а будут и члены Совета Академии? Это выходит — чужими руками жар загребать.

От Вас первого я имел эту новость — и только спустя несколько недель Боголюбов получил письмо от своего как бы доброжелателя, Орловского, который поет ему лазаря и с полной наглостью преподносит все выгоды нового учреждения, уговаривая его вместе с тем одуматься и не позволять эксплуатировать себя какому-то Товариществу перед[вижных] выставок. Такое содержание письма до того взорвало Алекс[ея] Петр[овича], что он прямо объявил мне о намерении своем писать в Товарищество, что если когда-нибудь случится, что эта личность, то есть Орловский, очутится членом его, то он, Боголюбов, немедленно выходит. Наше дело идет своим порядком вперед.

Боголюбов выслал уже к Вам две свои картины и списался с Гуном, который отвечает, что пришлет также свои вещи, но полагает на окончание их недели две или три, стало быть, несколько запоздает [3]. Репин просиял совсем, узнав от меня о состоявшемся новом Обществе, говоря, что это развязывает ему руки; начало хочет сделать с своего портрета, с г-жи Бове, портрет находится в Москве у самого оригинала; они такие бары, которые не захотят ударить палец о палец, чтобы сделать что-нибудь для других; поэтому, сомневаясь, чтобы они взяли на себя труд отправки, я предлагал Репину, чтобы он сам написал: во-первых, Бове, а во-вторых, Вам или Ге, чтобы Вы уже поручили кому-нибудь из Московского Комитета [4] заняться этим делом — таким образом будет и вернее и скорее сделано [5].

Ваша ироническая фраза насчет Поленова заставляет меня призадуматься. Вы можете, добрейший Иван Николаевич, сомневаться насчет его успехов в живописи, — но я со своей стороны, наблюдая его близко и долго, все больше и больше убеждаюсь в том, что если он еще не мастер, то, по крайней мере, стоит на этом пути — достаточно того, что он крепнет в сознании трудности и серьезности задач художника, и надо отдать справедливость, подтверждает это и делом, работает очень усидчиво и много. В настоящее время у него одна очень недурная вещь [6] для цесаревича, которую, признаюсь, горько было бы видеть не мне одному, но и самому автору, как многим еще другим, на академической выставке.

Подумайте об этом обстоятельстве и не найдете ли уместным и возможным сделать ему некоторые авансы; хотя упомянув в письмах своих к Репину, Боголюбову или ко мне — я вижу ясно, что он на волоске того, чтобы быть участником Передвиж[ной] выставки, и по примеру всех прочих, а больше всего из присущей ему осторожности и щекотливости не делает прямого шага [7]. Примите все это так, как я говорю, и не

придавайте особенного значения — тут не протекторство или личная приязнь моя к нему, а просто пишу Вам то, что мне кажется хорошим в интересах дела нашего.

Радуюсь всей душой известию Вашему о скором открытии Передвижной выставки [8] и до того тороплюсь писать свои вещи, что чуть не просиживаю над ними целые ночи; меня совершенно нежданно и непрошенно подкузьмила болезнь, высыпали нарывы на правой руке, и я провозился с ними целый месяц; теперь совершенно зажило, и я нагоняю потерянное время, страшно боюсь, чтобы не слишком запоздать со своими вещами, а еще пуще того с рисунками на дереве для каталога [9]; вещи во всяком случае будут на выставке и рисунки вышлю, не медля ни одного дня, вооружитесь терпением до последней возможности и ждите.

Душой преданный Вам *К. Савицкий*

Всем Вашим наш с Катей самый задушевный поклон.

192. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

[12 февраля н. с. 1875] [1]

Страшное, ужасное горе постигло меня, я лишился всего, что имел лучшего и дорогого в мире. Кати моей больше нет, она умерла, и с ней кончилось все для меня, все, чем я жил и дышал, омертвела лучшая половина меня, я беспомощен, друг мой Иван Николаевич; нет сил моих плакаться Вам. Она, бедная, несчастная, умерла, оставила меня, зачем, за что? Ужасной смертью, внезапно, нет сил моих писать об этом [2]...

Завтра еду с Боткиным [3] в Динабург, Париж для меня нестерпим, я не вынесу моих мучений.

К. Савицкий

Адрес письма:

Динабург, его превосх. Генриху Густавовичу Игельстрому [4] с передачей.

193. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

4 февраля 1875 г.
С.-Петербург

Пишу к Вам, мой добрый Константин Аполлонович...

Сию минуту получил Ваше письмо, мой дорогой, добрый голубчик мой; что мне писать Вам, зачем?.. Это так неожи-

данно, так страшно, такое горе, что у меня язык остановился. Бедный Вы мой, хороший... И что такое случилось? Как, отчего? Однакож, вероятно, до скорого свидания. Из Динабурга напишите подробно. Храни Вас бог! Глубоко опечален и поражен. Трудно Вам теперь!

Ваш искренний друг

И. Крамской

194. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

9 февраля [1875]
Динабург

Добрый мой, милый голубчик Иван Николаевич!

Тяжело, страшно больно, невыносимо мрачно у меня на душе; горе мое нестерпимо, я не в силах страдать безропотно, за что и зачем все эти испытания; я жил счастьем ее и верил в то, что все ее помыслы были счастье мое, и вдруг простая случайность, страшная несправедливость судьбы, и все разлетелось прахом, для того чтобы не возвращаться никогда, ни при каких обстоятельствах не излечиться от этой раны; все кончено, все потеряно. Мне говорят все кругом, что время сглаживает многое. Но чем глаже будет то место, где она стояла в моем сердце, тем бесцельнее и безотраднее становится мое существование — ею я жил, ею я наполнялся, и что теперь я беспомощен, без нее я ничто, омертвела и померкла та точка, к которой все во мне сводилось; я бессилен влачить ее за собой и в то же время не могу отрешиться от нее.

Бог мой, если бы Вы знали мои мучения!

Вы, дорогой мой, понимали и знали ее как мало кто знал, и поэтому Ваше горячее и искреннее участие ценю я глубоко. Как горько, как горько на душе! Не нахожу себе места и покоя нигде ни днем, ни ночью! Чем все это кончится, не предвижу.

Я, как слабодушный, бежал от своего страшного горя, в Париже оставаться более не мог, каждый взгляд, каждый шаг слишком живо воскрешал ее в моей памяти. Но здесь не легче; готов бежать на край света. Насколько хватит моих сил, пробуду здесь, а затем, простите, нагряну к Вам, дорогой мой, плакаться на свое горе; верю в Ваше искреннее сочувствие и поэтому думаю, что с Вами мне будет легче. Смерть ее страшна и ужасна, нет сил моих описывать Вам ее: уснула, забылась навеки как страдалица и мученица; я вижу ее перед собой распростертой на полу, в дыму и обгорелую, с смертельно

спокойным и святым лицом. При свидании выскажемся друг другу и поймем друг друга — теперь не в силах.

Горячо люблю и обнимаю Вас.

Ваш друг.

Молю Вас о помощи и сострадании.

К. Савицкий

195. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

14 февраля 1875 г.

Дорогой мой Константин Аполлонович.

Никакого сомнения, разумеется, не должно было бы быть с Вашей стороны в моем сочувствии, и стало быть, упоминать даже в письме не следовало бы об этом, но в то же время, дорогой мой и бедный друг, чем я Вам могу помочь? Когда Вы приедете ко мне (т. е. прямо ко мне с железной дороги), то я могу только молча выслушивать и глубоко сожалеть о таком фатальном случае. И что тут скажешь? К чему это? Я как-то всегда в этих случаях не находился... а что время залечивает, то бог знает, так ли это? И потом... ну, хорошо, положим, так... Мы забываем, и забудем. Но Вы сказали правильно: «...что чем глаже будет то место, на котором она стояла, тем бесцельнее будет Ваше существование». Это правильно и для настоящей минуты и для будущей, но с маленькой поправкой, до которой Вам, собственно, теперь нет никакого дела, а между тем я ее все-таки поправлю, т. е. сделаю... В человеческом сердце рядом с горем личным часто лежат страдания за общественные несчастья; поскольку есть у каждого чуткости к страданию за общественные бедствия, настолько он человек. Чем нежнее и чище сердечная, личная привязанность, тем способнее человек к сочувствию в общественном горе. Как никогда все существование человека не может быть наполнено только личным счастьем, или, лучше сказать, личное счастье человека тем выше и лучше, чем серьезнее и глубже захватывают его общие интересы и чем менее встречает он в близком себе существе противодействия в этой потребности. Вы можете только похвалиться, что в личном Вашем счастье не было помехи в любви к обществу и его судьбам. При катастрофах личных все струны, связывающие человека с обществом, кажутся порванными, но природа-мать не могла поступить иначе; она растягивает эти струны до бесконечности, отлагает разговор с человеком о своих делах и страданиях, как самый деликатный друг, до

самой последней степени, уважает его горе и ждет. И я полагаю, что если бы человек в минуты личного горя интересовался бы обществом, природа только отвернулась бы от такого деревянного, книжного и ненадежного человека, в таком человеке умерли, стало быть, все способности высшего порядка. Но, наконец, наступает момент, когда человек выздоравливает... (или Вы не хотите его?), тогда начинается жизнь, правда, несколько более трудная и печальная (лично), но зато глубокая и плодотворная для общества. (Быть может, в настоящую минуту Вам мои рассуждения кажутся оскорбительными, как и те, что время все залечивает, — в таком случае простите меня только великодушно).

Жизнь — страшная штука; каждый из нас висит на волоске от несчастий и горя, но уж тут мы бессильны... и покоряемся... Впрочем, к чему я все это Вам толкую, когда Вы отлично все знаете и без меня? Тут так много неожиданности, вся эта случайность так тяжела, что нет места уму, нет ему покоя, и я Вас жду с нетерпением, чтобы услышать, наконец, и понять хоть сколько-нибудь все случившееся. Я буду ждать Вас постоянно.

Искренне и глубоко любящий Вас

И. Крамской [1]

196. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

Пятница, 14 марта [1875] [1]
Динабург

Голубчик Иван Николаевич!

Много виноват перед Вами, что так долго не писал Вам, но, право, не по лени, а единственно по сознанию, что не мог Вам сказать о себе ровно ничего отрадного — если самому скверно, зачем делать жертвой этого и других.

Ценю и глубоко ценю Ваше расположение и дружбу ко мне, знаю, насколько сердечно делите Вы со мною мое горе, — но, вероятно, человек создан так, что в личном горе он может быть, как и в личном счастье, эгоистом — вот этот-то период и переживал я за все это последнее время; хотелось будто бы отрешиться от мира и прервать с ним всякие сношения — одиночество мое рядом с мучениями как будто удовлетворяло и наполняло меня. Знаю, что это малодушие, но, право, я не волен в своих действиях и поступках — страшно подумать о Петербурге, который рисуется мне целым рядом мрачных и тяжелых воспоминаний; сознаю, что обязан сделать над собою

усилье, переломать себя, стать лицом ко всему, что разрывает мою душу на части, и сделаю, но погодите, — глупо! чего ждать? Точно хочу вымолить у самого себя пощады тогда, когда судьба во всеочную надругалась над тобой! На этих днях еду [2] — авось хватит меня, чтобы потягаться силенками.

Думаю пробыть в Петербурге с неделю, если успею устроить за это время все мои дела, рад повидаться с Вами, а там опять в Париж, может быть, в состоянии буду приняться за дело — хотя теперь еще не предвижу, как все это будет.

Пробовал было что-нибудь работать, но руки отваливаются, и ничто нейдет на ум.

Вчера получил письмо от Боголюбова, он в подробности сообщает мне все интересы нашего тамошнего кружка, видно желание его пробудить во мне интерес ко всему, что так живо и важно кажется им самим; ценю все это рассудком, но увлекаться, душой сочувствовать не могу. 22 марта (нов. стиля) открылась в Париже выставка [3], на которой все они экспонируют по нескольку вещей, — я пожелал им успеха и вместе с тем послал вырезку из «Голоса» — объявление Перед[вижной] выс[тавки] об ее открытии с перечнию всех экспонентов [4], в котором, между прочим, не встречается *ни одного из пенсионеров* [5].

До свидания, дорогой мой, добрейший Иван Николаевич,— кончаю свою дряпню, уже 3 часа ночи, все в доме спит крепким сном, попробую и я улечься.

Передайте мой сердечный поклон Софии Никол[аевне] и бабушке. Детишек крепко целую.

Ваш *К. Савицкий*

197. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

Воскресенье, 27 апреля 1875 года
Динабург

Добрейший Иван Николаевич!

Приехал я в Динабург, да и засел, просто не могу решиться возвратиться в Париж; при мысли о нем меня охватывает такое безысходное чувство тоски и грусти, что, право, хоть не жить. Вообще говоря, скверно мне донельзя, скверно на душе, не знаю, как выйти из этого положения, чем помочь себе, ни рассудок, ничто не выручает; как ни стараюсь прибрать себе что-либо по душе — во всем проклятый отголосок неимоверной пустоты, бессодержательности!.. Это убийственное состояние, которое не сравнится ни с одним определенным

чувством ни горя, ни ненависти, ни злобы, а просто апатия, полное равнодушие ко всему.

Ходил я в лес и на поле, был на Двине, и все то же, что и в застроенных жильях и улицах, подло и пошло!.. Наметил было кое-что делать, от эскиза перешел было к этюдам, да нет, бросил, не нашел, к чему придраться; стал возиться с цинком да с кислотой, но и рельефный штрих показался мне плоским (впрочем, сам я в этом, очевидно, не судья, прилагаю оттиск здешней типографии [1]). Однако надо одуматься, и начну с Варшавы, с которой связано обстоятельство общего нашего дела [2], поэтому на днях же двинусь в дальнейший путь.

Добрейший Иван Николаевич, прискорбно мне донельзя, что ввел Вас и себя в заблуждение, не рассчитав хорошенько своих потреб и сказавши Вам, что в деньгах не нуждаюсь. Теперь же оказывается, что в платье моем много прорехов и я уподобляюсь тому памятному состоянию, в каком был на даче близ Тулы в ожидании прибытия Воронежского чемодана [3], поэтому, увы, вместо того, чтобы экипироваться в Париже, как я думал было сделать, теперь приходится озаботиться этим в Варшаве, и поэтому, простите великодушно, мне очень прискорбно и главное обидно и за себя и за Вас, но я вынужден изменить слову и просить выслать деньги — впрочем, искренно желал бы, чтобы Вы сделали это в таком только случае, если расход не составит для Вас большой разницы, в противном случае постараюсь обойтись и извернуться иным способом.

Адреса варшавского еще сам не знаю, поэтому адресуйте *до востребования*. Как-то Вы поживаете, поправляется ли Маня и все остальные, как здоровье бедной Софии Николаевны? Ей немало пришлось потратить себя на уход за ребятишками, — не будьте скупы и отвечайте мне на эти вопросы, а то у Вас есть замашка обходить их до поры до времени, а там, смотришь, и удивишься либо целому лазарету, либо совсем новому члену семьи!

Будьте здоровы, голубчик. Передайте мой сердечный привет всем друзьям и приятелям.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

P. S. Представить себе не можете, до чего досадую, что в последний день забыл взять с собой *«Биржевые ведомости»* (статьи Александрова [4]); дал бы, кажется, чорт знает что, чтобы иметь их при себе, последней даже и не читал.

198. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

23 июня [1875][1]
Париж

Что значит Ваше молчание, добрейший мой Иван Николаевич, я и ума не приложу; ждал от Вас весточки в Варшаве, писал Вам из Динабурга и второе письмо о результатах моего посещения польских художников[2], и на это ответа нет, ну, думаю себе, в Париже найду Ваши строки; приехал сюда, и тут не везет — что ж это такое? Я было поверил Вашему обещанию прикатить сюда на недельку, чтобы видеть выставку, да нет, оказалось, что только посулил! Все ли благополучно у Вас, поправились ли Ваши ребята и как здоровье Софии Николаевны? Пишите мне, не скупитесь и знайте, что трудненько приходится в этом неприглядном Париже, и так себе места не сыщу, а тут еще друзья и приятели не подают своего голоса.

Здесь застал я почти всех в сборе, работающих и трудящихся в поте лица своего, отсутствуют только Боголюбов да Поленов[3], и те в скором времени возвратятся и примутся за дело. Это меня чрезвычайно радует и успокаивает; надеюсь, что по примеру их и я не отстану. Меня пугала мысль об одиночестве здесь, но все устроилось наилучшим образом. По приезде моем сюда оказалось, что выставка простоит всего еще два дня[4]. Я сей же час полетел туда, чтобы немного осмотреться и затем уже на следующий день останавливаться на лучших вещах.

Всего на выставке три тысячи картин, кроме множества акварелей, рисунков и большого скульптурного отделения. Вы можете себе представить, до какой отчаянной усталости и до какого сумбура в голове дошел я, переглядевши все это почти одним залпом, прибавьте к этому страшный наплыв публики, около сорока тысяч, если не все пятьдесят тысяч голов, носов, затылков и всякой другой штуки; все это пыхтит, кряхтит и дышит, не разбирая средств и способов к обмену воздуха, и Вы поймете, каково было выдержать там от 8 часов утра и до 5 вечера; по причине ли полуодурелого состояния моего или от чего другого, но я мало что нашел действительно хорошего. Обольстили меня по-прошлогоднему немногие: тот же *Neuville, Lefebvre, Wibert, Detaille, Cabanel, Breton, Bougereau, Berne-Bellecour, Bastin-Lepage*[5], да затем несколько испанских художников — тьма-тьмущая всяких звезд и знаменитостей здешних, но, по-моему, просто скверно, нагло и дерзко, лишь бы выделиться чем-нибудь из массы, чтобы быть замеченным. Отдохнув от Салона, я отправился посмотреть возве-

личенного *Фортуни*[6] и признаюсь, что кому хочешь оказать услугу — то не возводи его на такую высоту, откуда можно сломать себе шею.

Хорош, слов нет! Но только неужели вся суть искусства в одной красивой внешности, как в выборе изображаемых предметов, так и приема живописи. Я понимаю, что он может увлекать за собою, потому что талант большой; но едва ли он сказал собою *«последнее слово в искусстве»*, как предполагают это многие, что после него надо сложить кисти и палитру; вздор, ничуть не бывало! Fortouni мастер с громадным вкусом, но вся задача его — цветистость, роскошь аксессуаров, и не более этого: в угоду красивости он часто жертвует правдой, как, например, в его «Выбор натурщицы»[7]. Он именно представитель современной французской школы; но сколько нужно пожелать ему, чтобы картина давала бы во всех отношениях эстетическое наслаждение. Только эффект пятен красок, и, правда, прием живописи таков, что нельзя не любоваться.

5 июля

Должно быть, письма надо кончать за один присест, а то отложил на один день, да и провалялось чуть не две недели. В это время я много сделал путного и непутного.

С приездом Поленова засел у него в мастерской, почти кончил картину Третьякова и подмалевал повторение для Солдатенкова. За большую вещь наследника страшно даже приняться[8], такая гадость, что Вы себе представить не можете; как увидел я ее, так и руки опустились, просто хоть всю снова переписывай, горе, да и только; с картинами, должно быть, надо, как и с письмами, кончать без оглядки. Хорошего надумал я здесь — это то, чтобы поскорей сдать оконченные работы и в конце этого месяца ехать в Россию, в Пензенскую губернию с целью запастись материалами и этюдами для задуманных мною вещей, иначе зимой здесь хоть волком вой. В Пензенской губернии поместье Татищева, к которому я и думаю ехать вместе с Дмитриевым[9], решившимся набираться, обновляться русскими типами и сюжетами, — сознается, что обнемечился, но еще не офранцузился. Думаю непременно привести это в исполнение, в отношении же всего остального могу сказать, что не живу, а прозябаю. Гнусно и скверно, как только возможно. Если работаю, то, право, больше по привычке и по долгу, чем по увлечению. Не увидите ли Вы Клодта[10] (пейзажиста)? Спросите и напишите мне, каких красок и сколько ему выслать, он поручил мне это, а я не записал и совсем забыл, хоть и бейте, не могу вспомнить. Иван

Ивановичу не следовало бы угождать, не пишет мне ничего, что делает его офорт, рельефный штрих [11], ну, да бог с ним, уж так и быть, высылаю ему целый коробок инструментов, иголок, рулеток, планиров и пр. и пр. Напишите мне, что думаете насчет Передвижной выставки в Варшаве, есть ли надежда на осуществление этого; мне кажется, что данных у нас довольно теперь, чтобы предпринять это дело; если положиться на сочувствие и обещания полного содействия тамошних художников, то можно рассчитывать на успех, пожалуй, даже без риска.

До свидания, добрейший Иван Николаевич, пишите, не забывайте меня. Кланяюсь всему семейству Вашему.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

Адрес мой: Paris, Rue Pigalle, [12] № 60.

Не франкируйте Ваши письма.

199. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

13 августа 1875 года
Село Протасово

Добрейший друг Иван Николаевич!

Этот эпитет не совсем подходит к Вам, потому что друзья не оставляют друзей без вестей о себе такое долгое время, как это делаете Вы; но я все, должно быть, рутинен, и поэтому само перо пишет так. Авось, Пенза будет счастливее для меня, чем те места, откуда писал Вам, не получая ответа. — Вы уже из прошлого письма моего знаете, что намеревался сделать это путешествие, а теперь привел его в исполнение, — переезд громадный и интересный до чрезвычайности, видал я Мюнхен со школами Дица [1] и Пилётти, Бёклина, Лембаха [2] и Фейербаха [3]; просто ошеломлен ими, как и пивом, которым залит весь Мюнхен.

Вена, со своими немцами совсем иными, чем баварцы и пруссаки, — город меркантильный и перещеголявший Париж по своей вульгарности и пошлой роскоши; таков в нем и Маккарт со своей отвратительно вычурной мастерской, пошлый, развратный европеец. С большим трудом выдержал я там три дня, которые пришлось мне посвятить на то, чтобы видеть то, о чем так много и повсюду кричат и говорят; ну и не раскаиваюсь, что видал, потому что и в свою очередь, когда придется, могу вставить словечко не в пользу этого процветания. — В Варшаве только что расположился было отдыхать

в кругу сердечных, близких мне людей, семьи моего брата [4], как вдруг предстал предо мною Дмитриев, пролетавший и Мюнхен и Вену без оглядки и нагнавший меня здесь; недолго привелось мне повольготничать, как уж ехали дальше, очутившись в Вязьме, соблазнились близостью Москвы и стали продолжать путь прямо на нее, несмотря на то, что есть ближайшее прямое сообщение с Пензой. Тут натешились вдоволь, так она оригинально хороша — что ни физиономия, то тип, что ни брюхо, то купец, куда ни сунься, все непочатый край, а если и поустроили парадные сходы и всходы, то это только с лицевой стороны так примазано, мол, у всех умных порядочных людей устроено так... Что за патриархальность нравов и обычаев, так это просто не нарадуешься; чтобы увидеть все примечательности, интересовавшие меня, так пришлось обколесить Москву разов двадцать; куда ни сунешься — все «кушают, не принимают, либо почивают», ну повернешь, да и сам в трактир Гурина, на растягаи да щи с кашей, — благодать, да и только. Однако достукался до галлереи и Солдатенкова и Третьякова; у обоих душа моя радовалась, переглядывая все знакомое и незнакомое, только у последнего почесал у себя в затылке, увидав своих «Рабочих на железной дороге»; право, совестно, что получил и прожил за них 1000 руб., да к тому же рама на них разбита вконец; пожалел, что Иван Иванович [5] не выдумал ящиков для укупорки пораньше — неужто это неизбежная участь всех передвижных картин; не удивительно, если владельцы их с трудом соглашаются отдавать в путешествие, идут на это как на риск. Верещагин просто чудо-чудес! Очаровательно хорошо, и я думаю, что он не сказал этим еще всего, что он может и что у него есть — будем ждать и поучаться [6]. Теперь мы в ста шестидесяти верстах от Пензы, в имении Татищева; приняты с распростертыми объятиями, люди добрейшие и милейшие. Пожелайте воспользоваться мне всеми удобствами и средствами, которые поставляются нам с избытком, чтобы только удалось собрать все материалы для работ, из-за которых я решился сделать этот громадный переезд. Если вздумаете написать мне, то адресуйте в Пензу его превосходительству Александру Александровичу Татищеву, для передачи мне. — В Москве я разыскал и познакомился с Тулиновым [7], думая узнать от него что-нибудь о Вас, но, увы, оказывается, что он знает еще менее, чем я. Здоровы ли дети Ваши и София Николаевна?

Передайте всем мой самый задушевный и сердечный поклон, также и Ивану Ивановичу с семейством.

Душевно преданный Вам

Савицкий

200. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

20 августа 1875 г.
С.-Петербург

Наконец-то я знаю, где Вы и что с Вами, дорогой мой Константин Аполлонович! (Каков, с чего начинает?) Дело просто. Я получил одно письмо от Вас из Динабурга [1], в котором Вы, между прочим, просили денег, которые я должен Вам, с тем, чтобы прислать в Варшаву. Я отвечал Вам, что не могу, а что если обойтись не можете, то сообщите адрес, куда именно в Варшаву и как. Ответа не получил. Проходит неделя, другая, месяц. Я жду и не знаю, что делать. Наконец, приезжает Чиркин и говорит, что видел Вас на дороге в Варшаву, где Вы пробудете только три дня. Странно. Куда писать, не знаю. Ну, думаю, откуда-нибудь с дороги напишет, узнаю. Проходит еще месяц, получаю письмо от Репина (14 июня из Парижа), где он спрашивает меня: где Савицкий и скоро ли он приедет? Стало быть, думаю себе, его нет в Париже, что ж это значит? Наконец, из Парижа получаю и от Вас [2]. Ну, слава богу, дело ясно; теперь только надо исполнить обязательства, а так как через неделю или полторы я должен был получить из конторы цесаревича [3], то вместе уже и отвечать буду. Как на грех встречаю на Невском Доливо-Добровольского (он меня узнал), который сообщает мне, что Вас в Париже не должно быть, а что Вы вместе с Дмитриевым должны быть скоро в Пензе у Татищева, если уже не там; вот тебе раз! Что тут делать? И так до вчерашнего дня, когда пришло Ваше гневное письмо (совершенно справедливое) из Пензы. А потому, если можно положить гнев на милость, положите и вступите со мною, недостойным, в прежние отношения и внемлите гласу раскаявшегося грешника.

Но все-таки сообщите, долго ли Вы пробудете там, я немедля вышлю деньги, во-первых, во-вторых, обстоятельно побеседую, а теперь тороплюсь на дачу к С[офии] Н[иколаевне], которая еще не знает, но, вероятно, Вам поклонится. Везу ей письмо какое-то, не знаю, вместе с Вашим полученное.

Ваш *И. Крамской*

201. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

30 сентября 1875
Село Протасово Пензенской губ.

Странно иногда бывает: добиваешься того, что в руки не дается, а раз удалось — неглижируешь. Я из кожи лез, чтобы узнать что-нибудь, и наконец получил Ваше обещание написать мне поподробнее; стоило только поддержать в Вас это доброе намерение и... и сам не знаю, как случилось, что до сих пор затянул это дело в долгий ящик. — Не по лени, потому что пишу письма чуть ли не каждый день, а просто показалось мне, что Вам, добрейший Иван Николаевич, мне не о чем писать. С тех пор, что я стал в редкой переписке с Вами, единственным моим когда-то исправным корреспондентом, как будто вдруг оборвался весь интерес, связывавший меня с людьми, бывшими по сердцу и по душе; и странно, добро бы пристал еще к иному роду интересов; Вы не думайте, чтобы я хотел этим сказать о возможности легкого обмена одной среды на другую; нет, совсем не то, с отчаяния и хандры черт знает что в голову полезет и где и в чем путаешься. Вот оно что значит с тщедушной душонкой да стать одиночкой. Часто вспоминается мне, что Вы в наплыве откровения сказали мне: «Вы не боец»; вижу, что это правда, потому что только при хороших обстоятельствах и идет у меня дело кое-как, чуть свихнулось — и стал. Слаб я оказываюсь, если не плотью, — для нее есть тут пища и корм; пироги славные, хлебосольство хозяев истинно русское, — но духом празден я. — По крайней мере уже второй месяц, что я забрался в этот благодатный край, и чувствую, что совсем потерялся, то, о чем мечтал с такой искренней восторженностью, наконец нашел, натолкнулся самым носом и... выходит, что пас, не по силам. Кругом, куда ни гля́нешь, столько громадного, задирающего по сюжетам, что просто не обобраться, а примешься работать — выходит дрянь по живописи и мелочь по замыслу; словом, те пути, по которым следовало бы подойти и охватить все это, должно быть, для меня заповедны. Вспоминается, что некто говорил: «По пустякам мараться не хочется». Гляжу я теперь на стены, обвешанные рядами эскизов и этюдов в моей комнате, и с грустью вижу, что много измарал я в этих пустяках и красок и холста; что толку во всем этом, не знаю, а в результате одно — что с печали такой шляюсь из угла в угол по всей усадьбе, не находя ни в чем и нигде ни привета, ни ответа на мои затруднения.

Для Вас, милейший Иван Николаевич, не новость будет, если скажу Вам, что охота составляет почти удовлетворяющую

меня сторону здешней жизни моей, это исходная точка всяких моих помышлений. На нее трачу я весь свой досуг, начинающийся иногда с рассвета, а иногда и позже, и кончающийся сумерками включительно; душу на ней отводить приходилось не раз, в особенности, как выйдешь по красному зверю; убив волка или лисицу, становится даже и радостно. Не правда ли, достойное препровождение времени? Вот Вам моя исповедь. Тошнехонько было, мыкался, мыкался, да и вспомнил, дай напишу, что из этого выйдет? Если найдете сказать мне какое-нибудь утешительное слово, ввести меня в настоящие интересы среды той, от которой я волей-неволей поотстал, то думаю, что сделаете истинное благодеяние, я с своей стороны обещаю Вам набраться храбрости, не унывать до поры до времени, авось из того, что до сих пор сделал здесь, и выйдет кое-что. Пишите мне, как обещали, *поподробнее;* теперь, более чем когда-нибудь, дорожу Вашими строками. Вы не рискнули мне переслать деньги, не быв уверены в адресе, который следующий: Пенза. Его превосходит. Александру Александровичу Татищеву, г-ну начальнику губернии, для передачи К. А. Савиц[кому]. Откровенно скажу Вам, что если возможно, вышлите, этим выведете меня из затруднительного положения; я хотя и имею в запасе французские деньги, но менять их негде, да и не хотелось бы, чтобы не терять при переезде через границу. Пробыть здесь я намереваюсь еще довольно долго, сколько точно — определить не могу, буду работать до последней возможности, нужно пользоваться хорошими днями и погодой, которая стоит у нас почти неизменная. Ехал я сюда, рассчитывая, главным образом, на осень, и она здесь очаровательна. Теперь только кончаются полевые работы, и мужички становятся свободнее: не легко дается пользоваться ими; кроме тысячи предрассудков, мешает еще боязнь и недоверие их к помещикам, с которыми мы живем, а стало быть, и мы с ними заодно?!. Ну, да это старая песня, приходится хитрить, средство поганое, а правдой и прямыми путями ничего не поделаешь.

Передайте мой задушевный поклон Ивану Ивановичу, что поделывает его офорт? Всем приятелям и товарищам мой привет. Здорова ли Софья Николаевна и вся семья Ваша, крестника целую.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

202. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

20 октября 1875
Пенза

Милейший Иван Николаевич!

Что значит Ваше молчание. Неужто я такой несчастливец, что все мои письма пропадают? Чуть ли не больше месяца тому назад я писал Вам довольно обстоятельно о себе и участи своей, думал даже Вас разжалобить, но все напрасно, нет ни привета, ни ответа! На этот раз воздерживаюсь от всяких разглагольствований, потому что пишу Вам главным образом по вынужденности; положение мое некрасиво, сижу на мели, и поэтому будьте отец благодетель — выручите из беды: деньги, бывшие у меня в запасе на возвратный путь, я отдал Дмитриеву, который укатил в Париж, рассчитывая, что за него получу здесь некоторую сумму от Вольфа [1] из Петербурга, долженствовавшего ему выслать, но, увы, такого благополучия не последовало и... и мне приходится очень скверно, что называется, ни прру, ни ну!! Поэтому, простите великодушно, совестно мне, но обращаюсь к Вам как к единственному своему ресурсу.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

На этих днях буду писать Вам, а теперь до свидания. Софии Николаевне и всей семье мой сердечный поклон.

Адрес мой: Пенза, его превосход. Александру Александровичу Татищеву, начальнику губернии, для передачи мне.

Для ускорения пересылки прошу выслать по переводу чрез Волжско-Камский банк, телеграммой.

Если будете так любезны и милы, что вздумаете писать, то адресуйте в Динабург, где думаю пробыть некоторое время.

203. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

21 октября [1875] [1]
Пенза

Вчера поутру послал свой вопль к Вам, добрейший мой Иван Николаевич, а к вечеру получил Ваши милые строки [2] с приложением. Сердечное спасибо и за одно и за другое; редко приходило мне утешение так кстати, как вчера. Вы очень метко попадаете на все мои больные места и поэтому излечиваете без остатков недуга; сегодня я бодр и свеж,

вскочил ни свет, ни заря, теперь 6 часов утра, и думаю, что день не пропадет даром: сделаю то, чего не мог одолеть за последний месяц.

Словом, живу нервами, а это сила, говорят, предпочтительная пред простой мускульной, а потому отхватаю остающиеся неконченными три этюда, да и марш в путь дорогу, скорей за дело, в Париж, а там, может быть, кое-что и выйдет.

Вы спрашиваете меня кое о чем, но теперь откладываю Вам отвечать, подождите до Динабурга, там будет досуг; теперь вскользь скажу Вам, что намерен писать: 1-я картина «Бродяги в камышах» [3] — три фигуры в лодке, в душегубке, прижавшись, на коленях и как попало, выходят на добычу, либо сами укрываются от преследования, сцена утром на заре; размер длинный, около 3 аршин. Костюмы оборванцев донских казаков, а может быть, и приволжского края. 2-я — барская охота с облавой мужиков, доезжачими, гончими и борзыми. 3-я — артель старшин-мужиков у крыльца, ждущая выхода барина; и, наконец, еще кое-что, но все это, исключая первой картины, еще не в порядке и не более как материал моих последних впечатлений, стало быть, легко станется, что только просто увлечение. Есть еще этюд «Воровка» [4] — крестьянская девочка под яблоней, но не окончена, значит, на нее и надежд полагать нельзя.

О Дмитриеве Вы уже знаете, что он действительно был со мною здесь, писал, много теорий высказывал, не раз досаду во мне поднимал, об остальном же скажу после. Милый он человек, да только любви и жизни в нем мало, добро бы был злобен, а то и этого в нем нет; немцы — его кумир, и опять-таки по теории [5].

Что за подлость случилась с картинами, которые похищены, что за мазурики завелись у вас там в кладовых и на коридоре, ведь это невообразимая гадость [6]. Тут что-то не спроста, ведь три ящика не иголка. — Ваш проект [7] насчет весны меня приводит в восхищение, но дело, дело!.. Как оно пойдет у меня в Париже, а от него зависит и все остальное.

До свидания, дорогой Иван Николаевич. Еще раз великое спасибо Вам за весточку и деньги.

Горячо преданный Вам

К. Савицкий

Софии Николаевне, и крестнику, и всем остальным мой поклон.

P. S. Однако скажите, прилично ли это трудиться до мозолей на руках, ведь это уж бог знает что такое, хоть бы София Николаевна Вам ватки подкладывала!

1877

204. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

24 февраля 1877 года

Дорогой Иван Николаевич!

Обращаюсь к Вам за помощью, хочу послать в Москву одну небольшую свою картину, и именно на долженствующую открыться там Передвижную выставку [1]. Не знаю, в порядке ли вещей присоединяться к ней в конце ее путешествия? Думаю, что да! в силу того, что автор вещи жрать хочет, да притом из своей кухни. Магазинные комиссии — мерзость. Поэтому много меня обяжете, если сообщите в точности о времени ее открытия и адрес, по которому следует отослать. Если Вам самому неизвестно, будьте добры узнать об этом, и попрошу Вас поторопиться сообщить мне, хотя в нескольких словах, иначе рискую не захватить выставку, а тогда будет великий скрежет зубов и, пожалуй, еще что-нибудь похуже.

Не распространяюсь на этот раз, потому что тороплюсь в эту минуту, как и во все предшествовавшие, так и в последующие; цинковая доска кипит и шипит в кислоте, а я сам в горячке по этому поводу [2].

Шлю мой самый задушевный поклон добрейшей Софии Николаевне, детишек всех крепко целую.

Дружески жму Вашу руку

К. Савицкий

Адрес: Динабург, Жандармская (пакостная, туфельная) улица, дом Козлова, К. А. Савиц[кому].

205. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

4 апреля 1877
Динабург

Дорогой Иван Николаевич.

Брошенный Вами в полной неизвестности, поправились ли Вы от недуга, которым было припугнули меня, пользуюсь случаем представившегося дела, прошу Вас, не скупитесь, — дайте весточку о себе, Софье Николаевне и детишках; а вместе с тем, много обяжете, сообщив мне некоторые подробности по поводу исторических портретов, которые, как мне помнится, когда-то доехали Вас [1].

Дело в том, что Прахов [2] обратился ко мне с предложением той же затеи московского барина [3]. — Спрашиваю Вас об этом, потому что, помнится мне, дело это не миновало и Александровского [4], а потому Вы поймете мое желание знать подробности, сопряженные с этим обязательством. Впрочем, слово обязательство не совсем верно, потому что я еще не знаю, обусловливается ли заказ этот сроком и как велико число портретов. Если есть в самом деле какие-нибудь мотивы, заслуживающие внимания для принятия или отклонения этого заказа, то Вы, более чем кто-либо, можете обстоятельно уяснить мне это. Нахожу не лишним предупредить Вас, добрейший Иван Николаевич, что, осведомляясь об этом у Вас, я как будто проверяю любезное предложение Прахова, а потому прошу Вас, во избежание могущих быть пререканий, не говорить ему об этом.

Вместе с этим предложением, я с радостью узнал из письма Прахова о предприятии Вашем, Репина и Поленова иллюстрирования библии [5], в котором делаете и меня участником.

Если Вас поинтересует знать что-нибудь более обо мне, то читайте далее. Вы удивлены видеть чужой почерк вместо моего; да, это грустно, но я все вожусь со своими руками, которые разболелись до того, что пришлось на время бросить и перо и карандаш. Теперь пользуюсь рукой сестры; впрочем, надеюсь скоро поправиться и приняться за работу. Теперь же, не считая себя вправе злоупотреблять долее любезностью секретаря моего, кончаю, прося Вас, добрейший Иван Николаевич, поторопиться с ответом насчет портретов, так как я безотлагательно должен писать Прахову.

Погостившие мои вещи в Москве [6] на днях, вероятно, возвратятся ко мне.

Душевно преданный Вам

К. Савицкий

206. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

5 апреля 1877
Динабург

Добрейший Иван Николаевич.

Только что додумался я, что о портретах, о которых писал Вам вчера, предположение мое неверно.

Упоминая о Вашем способе работы для московского барина, Прахов едва ли разумел именно этот заказ [1], а потому прошу Вас, не давайте себе труда озабочиваться этим; весточкой же о себе, понятно, порадуете меня.

Жму дружески Вашу руку.

Истинно преданный Вам

К. Савицкий

207. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

10 июля 1877
Динабург
Адрес мой: Дуббельн (чрез Ригу).
Его высокоб. Ивану Густавовичу Игельстрому,
для передачи мне.

Дорогой Иван Николаевич!

Хочу перекинуться с Вами словечком, не удивляйтесь, скучно стало, — я нахожусь в положении весьма и весьма безотрадном. Руки мои просто замучили меня. Никакие медицинские пособия не помогают мне, чего, чего только не пробовал. Видя всю беспомощность докторов, обращался к средствам так называемым привилегированным, заграничным гадостям, тоже не лучше; наконец, домашние, вроде ромашки, красных гарусинок и плевания чрез обручальное кольцо, а подчас предпринимал средства *и более существенные,* — все то же, то же и то же. Скверно так, что просто не предвижу, чем все это кончится. В настоящее время чуточку лучше; вот уже несколько дней, что опухоль опала, кожа стала восприимчивее, я управляюсь с пером и пользуюсь этим обстоятельством; но, вероятно, такое состояние не надолго, разыграется снова, как это было уже не раз. Я не унываю, чрез силу работаю, и даже усидчиво и много. Устраняю все неудобства состояния рук своих всевозможными, мною самим изобретенными приспособлениями, бинтами, каучуковыми перчатками и тому подобное; с помощью всего этого замалевываю холсты изрядных размеров. Вы, вероятно, поинтересуетесь знать, что именно происходит с моими руками, этого ни я, ни доктора специально определить не могут. К кому я ни

обращался, и за границей и в Питере и, наконец, здесь, каждый из них поначалу объявлял, что это вздор, быстро излечимый; но, помучившись, провозившись изрядно, начинал объяснять болезнь иначе, каждый по-своему. Большинство определяют ее «есхеmа», но находились и такие, которые говорили, что будь она в иной форме, то назвали бы этим именем, а то оказывается усложнение, ответом на которое... (?) видим только безмозгло-кислую рожу доктора, искренно желающего вильнуть хвостом.

Разноголосица в определении болезни истинно чудовищная: кто говорит, что это малокровье, кто — худосочье, кто — местное страдание кожи, происходящее от причин чисто внешних: вредного влияния красок, кислот от офорта, наконец, не забыта даже керамика, в ее полнейшей невинности.

При всем этом безотрадном положении я бы мирился с ним, если бы был уверен, что в будущем ничего худшего не произойдет, а то мысль о том, что может дойти до чорт знает чего, вроде того, что останешься без пальцев или без кистей, да не щетинных, а собственных своих, — повергает меня, — вообразите сами, — в какое расположение духа! Скверно оно, очень скверно! Таково оно с руками, а на душе, кажется, еще того хуже. С таким убожеством я тянусь в работе не только для искусства, но и для заработка самого необходимого. В результате дошел теперь до того, что милейшее искусство осталось при мне, любуюсь им с утра и до поздней ночи, это картины, предназначающиеся для будущих благ; а работы, вопросы дня стали на точке замерзания. С этого рода заработками я, волей-неволей, забастовал. Точно круг заколдованный, ничего не дается, что бы могло принести хотя какие-нибудь материальные выгоды. Еще пред отъездом из-за границы я предвидел, что временно рисунки на дереве будут для меня единственным ресурсом к денежным средствам, но это дело, увы, оказывается обидное донельзя. Вести какие бы то ни было дела с любезнейшими нашими редакторами наших иллюстраций надо иметь много терпения, привыкнуть переносить всякое самое большое поругание над своей личностью. Не стану описывать всего бесшабашного вранья, лжи и нахальства Гоппе [1], обрушивающиеся на автора рисунков, каким привелось быть и мне, — все это не интересно и выше описаний; но при всем этом даже расчет денежный с ним немыслим, в силу этого, как и наивного соображения моего, что двум маммонам служить не приходится (при сотрудничестве моем в «Пчеле» [2]), я написал Гоппе, что, благодаря его личным качествам, я прекращаю свое сотрудничество, вместе с этим прошу его расплатиться со мною за два рисунка [3],

принятых им, из которых один был уже помещен в «Иллюстр[ации]»; этому уже шесть месяцев; ответа не последовало, в этот промежуток времени писал ему несколько раз, последнее письмо нарочно отправил заказным — ответа нет. Этот способ отлынивания от уплаты до того возмутителен, что я решился понудить его путем тяжебного взыскания, о чем в последнем письме предупредил его. Теперь настал срок этому возмутительному искательству, я просто вне себя от злости и досады. В этом случае бледнеет всякий денежный вопрос; но подобное нахальство прощать не приходится. Возмутительно гадко и скверно на душе. Прахов и Микешин [4], не знаю что это за господа, боюсь делать себе заключение о них, а между тем выходит очень неладно. Прошло уже два месяца, что отправил я рисунок вместе с просимой к нему статьею [5], — не получаю никакого ответа. Имея много интересных рисунков, я бы готов был продолжать рисовать, но сижу без дерева, писал об этом и тому и другому, прося уплатить следуемые деньги столяру, который должен был выслать мне доски, оказывается, что ни мне, ни столяру удовлетворения не воспоследовало. Таким образом, я сижу у моря и жду погоды. Надоело страшно, и не знаю, когда и с какой стороны наконец повеет. Вы помните, вероятно, о портретах, о которых давно как-то я писал Вам; оказывается, что Прахов посулил, да с тем и замерз [6]. Библия также стоит не двигаясь, послал я одну акварель, но забракована Праховым (вероятно, справедливо). Теперь имею еще три готовых [7], но не рискую отсылать их, прежде чем не узнаю что-нибудь от Вас, так как Вам это дело, вероятно, хорошо известно, — по словам Прахова, Вы участник в этом предприятии. Не откажите сообщить мне, в каком положении оно обретается. Сказал бы, ну ее к богу всю эту галиматью, да к несчастью, не вправе отказываться от этого ничтожного, хотя тягостного заработка, в отношении тех, кому обязан всем, что в эти трудные времена имею и чем пользуюсь. Согласитесь, что такое состояние с трудом выносимое. Не будь моего несчастья с руками, я бы и минуты не посидел в этом гнезде своем. Страшно тянет на театр военных действий [8] — там не только живой и полный интерес, навсегда и невозвратно ускользающий от меня, но в настоящих денежных обстоятельствах могло быть сподручно; с руками же моими что поделаешь, разве пролежать в лазарете Красного креста?

Доктора сулят мне все блага от Кемернских минеральных вод, они находятся в четырнадцати верстах от Дуббельна, куда на этих днях перебирается семья наша, тоже не роскоши ради. Урезывают все возможное, чтобы только доставить

детям, крайне плохим здоровьем, эти морские купания. Я перебираюсь с ними, сроком на один месяц. Минеральные воды будут так близки и вместе с тем для меня недоступны. Словом, куда ни кинь, все только одно мрачное, невеселое. Надежда на улучшение обстоятельств после выставки нашей несколько поддерживает меня, но и то бог весть, как пойдут ее дела при настоящих усложнениях политических, а стало быть, и общественных; нужно быть готовым и в этом встретить неудачу.

Здесь пронесся слух, исходящий из Петерб[урга], что будто бы к 25 июля будет мобилизоваться дивизия, к которой, между прочим, принадлежит и муж старшей сестры моей, если это верно, то в скором времени ему придется выступить на Кавказ, к Сухуму; я готов, кажется, бог знает на что, лишь бы тоже очутиться там. Обидно, а между тем весьма вероятно, что и это ускользнет от меня, так же как и все другое.

Теперь, выболтав Вам, дорогой Иван Николаевич, все невзгоды свои, хочу поделиться тем, что имею более путного; это кроме картин, о которых Вы уже знаете, я кончаю еще одну, размером и интересом содержания, как кажется мне, значительную. Сюжет взят под впечатлением живой действительности, происходившей у меня на глазах. Дело в том, что одно время Динабург горел чуть ли не каждый день. Пожары переполошили и нас так, что уже с месяц времени все вещи собраны в узлах, чтобы на несчастный случай быть наготове. Эти пожары пустили много несчастных по́ миру. Я написал «Погорельцев» [9]. При рассвете, у развалин еще дымящегося пожарища сидят и бедуют несколько семей, окруженные своим скарбом. Вместо жидов, как это бывает здесь по преимуществу, у меня взяты русские типы — мещане, и только дед старик, обессиленный крестьянин — аксессуар подгородный.

Ко всему невеселому быту моему присоединяется еще полнейшее отступничество от художественного мира, кружка артистического. Никто словом не подарит, точно забыт всеми, заброненный живу я здесь. Газеты до того скупы на известия этого рода, что в кои веки раз урвем из них какой-нибудь кончик, по которому инстинктивно догадываемся о некоторой сложности сообщенного в краткой заметке. Боюсь крепко отстать от шагающих, вероятно, сильнее, чем это отражается в нашей скупой печати. Я знаю, дорогой Иван Николаевич, что Вам не досуже разводить рацеи со мною; но ведь Вы человек, чтобы не обидеть Вас словом «добрый», скажу «не черствый»; стало быть, поискав в себе, в минуту сумерок, зевоты, — ведь это случается и с Вами, — может быть, найдете,

чем поделиться со мною. Представьте себе, что я, например, нисколько не злюсь на себя, что непрошенно рапортую Вам о себе, может быть, с утомительными для Вас подробностями. Я же не слыхал от Вас, а только из очень смутных источников дошло до меня, что делаете Вы теперь, и если действительно делаете, то двигается ли Ваше дело? *Что* поделывают Шишкин, Поленов, Васнецов и другие? Какие слухи о Репине? В кого и во что ни ткнули бы, все для меня самый жизненный интерес. Люблю я Алексея Петровича, он добрейший, словоохотливый, пред отъездом своим к гладкой поверхности Дуная, на которой взлетали мониторы [10], написал мне милейшее письмо, задев всего понемногу; но тем самым только пуще прежнего разлакомил меня. Передайте мой самый задушевный поклон всей семье Вашей.

Горячо и дружески жму Вашу руку.

Преданный

К. Савицкий

Помнится мне, что еще в начале апреля в письме, подаренном мне Вами, Вы делаете выговор мне за то, что считаю себя забытым всеми, обещаю Вам совсем отрешиться от этого мрачного взгляда, если только почаще буду получать подобные тому письму Вашему.

Что за мастерскую ждали Вы к маю месяцу, а главное, что производится Вами в ней [12]?

208. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

27 августа 1877
Динабург

Дорогой Иван Николаевич!

Пожил я в лесу у моря и даже в самом море не долго, зато очаровательно. Море так хорошо, что просто не оторвался бы от него, сидел бы да сидел по горло в этом раздолье и шири необъятной, да сказывают, и его льдом сковывает... не новость, как не ново и то, что век блаженствовать нельзя. С ветрами осенними стали прилетать и сумрачные вести, что ни день — то хуже. Время невеселое приходится переживать теперь каждому, а в том числе и все, что касается семьи нашей, тоже сложилось не к удовольствию. Оба мужа сестер моих съехались, чтобы снова разъехаться надолго, на время неопределенное, оба на театр военных действий. Дети старшей сестры на зимовку закабалены в Питер, туда же переезжает и старшая сестра моя, мать большей части семьи нашей. Я остаюсь в Динабурге с сестрой младшей ждать, что изо всего

этого произойдет. Муж сестры, укативший на Дунай, поехал, сам не зная, что его ждет там; устроится твердо, то переберемся и мы туда. Я только этого и жду; впрочем, не совсем так, жду еще октября с Передвижной выставкой. Этот вопрос ближайший и такой задорный, что не знаю, как и быть с ним. Пугают меня рамы на картины, хочу обратиться к Абросимову, не возьмется ли сделать в долг на время, как и всё в эти дни — неопределенное.

Много вероятий, что откажется, тогда хоть пропадай!

Во всяком случае, о рамах надо позаботиться заранее, а потому мне дозарезу надо знать, *будет ли выставка и к какому сроку предположено открыть ее*[1]? Взываю к Вам, поделитесь со мною всем, что известно Вам по этой части; в случае последует от Вас ответ *неопределенный,* то тогда я, разинув рот, простою несколько минут над строками Вашими, а затем... потом уж не знаю, что будет, но только не благополучно, хоть бросай все! Из Вашего прошлого письма мне показалось, что вопрос выставки для Вас, как и для меня, а также, вероятно, и для всех, находится за какой-то непроницаемой пеленой, но в таком случае спросим друг друга, что же выйдет из такого положения дел — не настал ли последний срок сказать себе не только месяц, но и число, к которому все должно быть готово. — Я в восторге от темы картины Вашей[2], из двух строк описания ее вижу, что Вы рассердились, просто свирепы, это хорошо и полезно: когда человек рассердится, он много может сделать. Но, Иван Николаевич, как ни свирепствуйте, а все-таки *срок,* — как будем мы с ним, напишите ради бога! — Знаете ли, что я надумал? Смертельно хочется мне, прежде чем отсылать или везти вещи в Питер, устроить здесь выставку их, в пользу бедных (хотя бы всех тех нищих, которые мне позировали), словом, с целью благотворительной для г. Динабурга; мне ужасно улыбается эта затея; курьезно посмотреть, как отнесутся и что выйдет из этого. Хочу испробовать вечернее освещение. Тут народ страстно преданный искусству; сегодня приходил ко мне жид, предлагал привести покупателя на картины, по словам его, «такой сцедрий, цто плотить и 5 и 6 руб. за стуку». — Интересно знать, дадут ли гроши за посмотр? А еще интереснее увидать картины на новом месте и в полном порядке, чего не могу добиться, пока они помещены у меня в тесной мастерской.

8 сентября переезжаю на новую квартиру, в которой мастерская будет чудесная: огромная комната с окнами по двум стенам, и на север, каменный дом, во втором этаже, панорама на весь город.

На днях виделся я здесь с m-me Корш, которая была проездом в Петербург, она очень желает навестить Вас, говорила, что давно добивалась этого чрез m-me Брюллову, но безуспешно. Вы знаете, добрейший Иван Николаевич, как хороша она была с покойной Катей, и мечтой ее теперь — иметь временно портрет ее у себя. Помня всю привязанность и дружбу покойной к m-me Корш, зная, как глубока и взаимна была их привязанность, я со своей стороны решаюсь присоединиться к ее просьбе к Вам — уступить на время Катин портрет. Что касается меня, то скажу Вам, не знаю, поймете ли Вы меня, что я в прошлый приезд к Вам испытал себя, увидал, что и теперь еще не в силах владеть им, он делает на меня впечатление, которое не берусь передать Вам в этих строках, — я оказываюсь слаб и беспомощен пред ним, — отрава жизни моей всплывает предо мною во всей ее ужасающей действительности. Я бы желал иметь портрет этот вечно перед глазами своими, он мне слишком дорог, но не вправе истязать себя — не время. На этом обрываю тему, давящую меня. Решаюсь просить Вас об этом только в том случае, если Вы согласны уступить просьбе m-me Корш.

В прошлом письме Вашем Вы спрашиваете меня, что с моими руками? О болезни этой я достаточно распространялся в первом письме своем, большего сказать Вам не умею — симптомы болезни этой проявлялись у меня еще в Петербурге, пред выездом моим за границу, — воспалительное состояние кожи, с опухолями и, наконец, сыпью, превращающейся в раны; словом, гадость какая-то, которая приводит меня в отчаяние. Морские купания, не знаю, помогли ли мне, время ли сделало что-нибудь, но теперь сравнительно лучше; осталась сухость кожи и некоторая опухлость пальцев, так что перчаток не снимаю даже и на ночь. Состояние рук настолько улучшилось, что владею кистью совершенно свободно и просто боюсь радоваться этому.

Дела мои с Прахово-Микешиным, а также и с Гоппе все еще стоят на точке замерзания. До свидания, дорогой Иван Николаевич, жму крепко и горячо Вашу руку. Остаюсь в надежде скоро читать дорогие строки Ваши.

Душой преданный

К. Савицкий

Софье Николаевне со всей семьей мой самый сердечный поклон. Привет всем помнящим меня.

Адрес мой все тот же: Жандармская улица, дом Козлова, К. Савиц[кому].

Остается пол-листа недописанных, но так и оставлю его, потому что помню определение, слышанное мною однажды: «Не деликатно наливать стакан до краев, чтобы не заподозрить в прожорливости, и еще неделикатнее исписывать письмо в концы, потому что приходится читать до точки».

209. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

12 сентября [1877][1]
Динабург

Дорогой Иван Николаевич!

Прежде всего, шлю Вам самое задушевное безусловное спасибо за все, что почерпнул из строк Ваших[2], то горячее спасибо, которое может быть вызвано только таким теплым и простым участием, каким Вы в двух словах опрокидываете непреодолимый для меня вопрос — рам, равносильный тому, чтобы быть или не быть мне на выставке, но, несмотря на это, простите мне мою настойчивость, для меня вопрос этот все-таки не вполне исчерпан. Стоимость рам, благодаря их величине и численности, будет так значительна, что я не решусь итти на неопределенность условий заказа, а потому и не могу пользоваться безусловной готовностью Вашей помочь мне в этой беде. Трудность положения моего в том, что, с одной стороны, рамы нужны, а с другой, пугало — трудность продажи картин, а тем более при теперешних обстоятельствах. Я рассчитываю на сговорчивость Абросимова; если он рискнет делать эти рамы на срок уплаты неопределенный, то, перекрестясь, и за работу, *не откладывая;* если же нет, то... выставлю картины голышом, а так как нагота вещь позорная, то прикроемся коленкорцем с багетиками — грустно, больно за детищ своих, но другого исхода не знаю. Все, на что я рассчитываю в участии Вашем, это немедленных переговоров с Абросимовым и затем ответа о результатах их. Размер рам следующий[3]:

	Длина	Ширина	Ширина профиля
I	3 арш. 4 верш.	2 арш. $1^3/_4$ верш.	= 6 верш. или $6^1/_2$
II	2 „ $8^1/_2$ верш.	1 „ 8 „	= $4^1/_2$ верш.
III	2 „ 8 верш.	1 „ 8 „	= $4^1/_2$ верш.
IV	1 „ $3^1/_2$ верш.	1 „ 15 „	= 4 верш.

Что касается модели профиля рам, то совершенно полагаюсь на Ваше усмотрение. Рама № IV если и запоздает немного — не беда, хотя, если возможно, то желательно было бы иметь и ее вместе с другими.

Каков бы ни был результат Ваших переговоров с Аброс[имовым], во всяком случае шлю Вам мою самую сердечную признательность за все хлопоты. Знаю, как дорога Вам каждая минута, затраченная не у холста с кистью пред картиной, которая не сегодня, так завтра должна будет выдержать на себе целое сонмище пытливых глаз. А кстати, о сонмище, будет ли оно на выставке нашей? О горе, горе тяжкое!.. Я давно боялся вопроса выставки с этой стороны и, если помните, в письмах своих и прежде беспокоился. Прочитав Ваши доводы, по которым оказывается возить выставку опасным, примыкаю к мнению открыть ее только в Питере и Москве, в центрах, которых, как ни будь велик интерес дня, многочисленность элементов падет и на всякие другие стороны, а тем более художественную выставку, от которой публика будет ожидать некоторого удовлетворения ее теперешнему настроению [4]. Едва ли ошибется в этом, потому что не обойдется без того, чтобы не прорвалось что-нибудь близкое страданиям, а чего доброго даже и крови теперешней [5].

С приближением выставки я нахожусь в сильно возбужденном состоянии духа, как-то не по себе.

Выставку, которую я ждал, теперь с каждым днем желал бы отложить на недельку, на две. Страшно за несостоятельность свою, кроме того, все находится что-нибудь пройти и доделать. Пугает меня увидать картины свои на новом месте и, главное, в рамах. Наверное, окажется нужным пройти их на месте, и потому даже месяц отсрочки не огорчит меня.

Вчера получил я извещение от Н. А. Ярошенко о предполагаемом собрании [6] 20 сент[ября]. К моему крайнему прискорбию, не могу быть в Питере к этому сроку. Рассчитываю прибыть только дней за пять до открытия выставки, с тем, чтобы самолично привезти картины. Помню возбужденные вопросы в прошлом собрании, решение которых было отложено до предстоящего собрания. Между прочим, в некоторых из этих вопросах наши мнения не сходились, мы с Вами как будто не договорились до полного уразумения друг друга; таков вопрос о портретной живописи. Я до сих пор остаюсь странного представления о Вашем взгляде на этот счет: что Вы как будто хороший портрет не ставите на уровень картины (даже сравнительно слабой).

Ясно, что здесь какое-то недоразумение. Если при такой постановке вопроса кроется другой — соблюдение интересов общества, ввиду численности неинтересных портретов, за которые отчисляется процент дивиденда по цене их, то не проще ли будет изыскать иной способ для устранения этого неудобства, как, например, ограничение числа таких портретов, равно

как и картин, хотя бы экспертизами по приеме вещей на выставку или некоторые другие средства[7]. Вы усмехнетесь при слове экспертизы, а я думаю, что до известной степени и это средство не лишнее, несмотря даже на то, что оно повлечет за собою усложнение многих других вопросов. Что касается до повышения платы за вход на выставку, Вам сама судьба покровительствует; время переживаем теперь такое, что хоть самим платить, чтобы только были посетители. В настоящем собрании все это станет опять на очередь, и горько, обидно мне, что не удается принять непосредственное участие. Понимаю, что в случаях, где мнения расходятся, было бы неуместно и затруднительно для Вас самого, если бы я вздумал, за отсутствием своим, навязать Вам право своего голоса. Теперь я становлюсь втупик, кого из доброхотных выудить, чтобы поменьше быть в тягость такой обузой. Припоминая мнения сочленов, останавливаюсь на Куинджи, трогательно прошу его принять на себя мой голос; не ждал он такой находки, но пусть вынесет на себе порядки общества[8].

Замолвите ему за меня словечко милостивого прощения. Прошу Вас здесь же о передаче куда следует форменной доверенности печального безголосья. — Эти два слова да не будут поняты в обиду доверенному, *напротив того,* я только грущу о невозможности лично присутствовать.

Благодарю Вас, дорогой Иван Николаевич, еще раз за все хлопоты. Всем низко кланяюсь, вероятно, до скорого свидания.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

Спешу приняться за работу и, кроме того, много хлопот с переездом на новую квартиру, который должен, наконец, осуществиться на этих днях.

До поры до времени адрес мой все тот же.

210. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

16 декабря 1877 года
Динабург

Дорогой Иван Николаевич!

Вы человек до того занятой, что я не решаюсь отнимать у Вас дорогое время на пустословие, как, например, на чтение многих и разных подробностей о себе. Вы очень и очень лаконичны в письмах Ваших; не говорю это в упрек Вам, слишком хорошо знаю, каково быть занятым.

Настоятельная необходимость знать, в каком положении дело нашей Передвиж[ной] выставки, заставляет меня забросить Вам некоторые вопросы, в форме кратчайшей.

Срок выставки не за горами, я к ней почти готов и только попрежнему нахожусь в затруднении относительно рам. Вы были бесконечно добры, устроив это дело еще во время, когда предполагалось первое открытие выставки. Тогда еще Вы писали мне, что рамы заказаны, не вдаваясь в подробности, так сильно желанные мною. Вы упорствовали, не поддаваясь никакой аргументации с моей стороны... Мне оставалось только покориться и ждать счастливого времени, когда в состоянии буду лично отблагодарить Вас, голубчик Иван Николаевич, за доброту Вашу, за обязательное и такое сердечное решение вопроса, мучившего меня.

Теперь близится срок; простите, что опять обращаюсь к Вам с надоедливым вопросом, довершите благодеяние, сообщите, могу ли я рассчитывать, что рамы будут готовы, если не все, то какие именно и к какому времени. Мне бы сильно хотелось прибыть с вещами заблаговременно, чтобы до открытия выставки успеть не только посмотреть их в рамах, но и пройти. Я полагаю, что срок выставки остается все тот же, т. е. около конца февраля.

Не могу воздержаться, чтобы не сказать несколько слов о себе. Я нахожусь под невыносимо тяжелыми обстоятельствами. Жажда дела непреодолимая, а средства к выполнению того, чего душа просит, более чем жалкие. Стряхнуться от этого — одна надежда на февраль, после которого как бы обстоятельства мои ни сложились, а я думаю быть за Дунаем [1]. Иначе все, что сама судьба и обстоятельства дают мне в руки для настоящей и всей последующей деятельности моей, ускользнет от меня навсегда и безвозвратно. Ко всем бедам, несомым мною, меня постигло страшное несчастье. Муж сестры моей, уехавший на театр военных действий, не вынес, несчастный, многих лишений и тяжести бивуачной жизни, слабое здоровье его подкосилось, и мы неожиданно, как громом, поражены его смертью [2]! Незачем говорить о том, что переживается сестрою и мною, потеряв горячо, безгранично любимого человека, но к этому присоединяется еще вопрос о средствах. Она, бедная, с двумя крошками детьми осталась без всякого обеспечения. Покойным не выслужена даже ничтожная пенсия.

В горе человек как-то крепнет. Я чувствую себя сильным и здоровым. Болезнь рук моих почти прошла, а потому они у меня развязаны, хочу дела!

Обнимаю Вас горячо, шлю самый сердечный поклон семейству Вашему и всем добрым знакомым.

Ваш *К. Савицкий*

Право, совестно Вам, что забываете меня! Ниоткуда ни слова, устаешь жить мыслями своими, не имея обмена с другими. Бесконечно задаешь себе вопросы, на которые самому же себе приходится отвечать, и понятно, всегда неудовлетворительно.

P. S. Сомневаюсь я «в перле искусства», созданном К. Маковским [3]; от ковра в искусстве ему, должно быть, не отделаться; но не эти мысли и догадки досаждают меня, они без помощи разрешимы, а все то некрикливое, о чем ни в книгах, ни в газетах не прочтешь, — это мысли, упования и работы сочленов наших.

211. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

21 декабря 1877 г.
Динабург

Дорогой Иван Николаевич!

Каюсь пред Вами за незаслуженный упрек в последнем письме моем к Вам, оговариваюсь, что побуждением моим писать к Вам было, с одной стороны, дело, не терпящее отлагательства, а с другой — досадное чувство, что оказываешься забытым всеми.

Бывают минуты, когда это сознание (при одиночестве) накипает до того сильно, что ни с того, ни с сего и сорвется в форме хотя бы той, в коей случилось это со мною в данном случае. Сорвалось с сердца, и опомнился в ошибке своей, что обвинил невинного. Убеждение мое, что виноват не тот, кто забывает, а тот, кто допускает себя до уровня, в котором может быть забытым! Однако не с этим сел я писать Вам, а с тем, чтобы сказать, как полон я радости и живейшего сочувствия к статьям, только что попавшим в мои руки, с истинным наслаждением прочитанные мною в «Новом времени» [1]. От всей души поздравляю Вас с этим истинно достойным подвигом. Радуюсь невыразимо тому, что так честно и открыто сказано Вами, вышло воочию назидательно; возымеет ли оно какое-нибудь действие, это вопрос другой, да, впрочем, я и не думаю, чтобы Вы сами задавались целью шевельнуть стенобитные головы мудрейших... а благо и хвала Вам, что сказали все то, что долг и совесть велит.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

212. И. Н. КРАМСКОЙ — К. А. САВИЦКОМУ

26 декабря [1877] [1]
С.-Петербург

Дорогой мой Константин Аполлонович.

Радуюсь, что Вы так встретили мое писанье. Значения ему я придавать не намерен, и заранее знал, что, собственно, я это делаю только так — отвести душу, выругаться, не больше. Исеев, разумеется, бегал сейчас же жаловаться министру [2] и Григорьеву [3], главному управляющему по делам печати, Суворина призывали и проч., и писать больше нельзя. Вот Вам!! Но статья все-таки сделала некоторый переполох в Академии. Ругают жестоко, и если бы был здесь великий князь [4], то, может быть, кое-что было бы, а может быть, еще и будет: упекут или распекут, не знаю. Теперь я Вам передаю поручение Ивана Ивановича [5]: видите ли, он тоскует, кусает ногти, ничего не делает. Надеялся, что ему удастся заманить к себе Мясоедова, чтобы было с кем работать веселее, а он приехал и поместился работать у меня свою картину [6]; вот Ив[ан] Ив[анович] и думает, нельзя ли Вас выманить из Динабурга? У него есть свободные комнаты, и говорит: «это было бы для меня чудесно». «Я, говорит, не соберусь написать ему, ну, а Вы» и проч... Вот я и исполняю его просьбу, да и так думаю от себя: что, в самом деле, Вам там делать? Времени все равно не бог знает сколько осталось, тащите-ка сюда свои вещи, да и давайте работать, кстати и рамы поторопите (хотя Абросимов божится, что будут непременно к сроку); да, наконец, на миру и веселее! Притом же проект поездки по Волге все больше и больше выясняется, а стало быть, голоса участников необходимы, чтобы обработать со всех сторон [7].

Хотелось бы мне коснуться немножко вопроса материального, то и для этого нужно все-таки Вас видеть здесь. Оно удобнее, и все же тут именно на месте что-нибудь и склеится. Я, конечно, ничего не обещаю (т. е. верного), но у меня частенько требуют копий с моих портретов, быть может, Вы и возьметесь?!

Отвечайте поскорее, готовы ли Вы помочь своим присутствием Шишкину работать?

Ваш *И. Крамской*

213. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

31 декабря 1877 года
Динабург, близ Рижского вокзала,
дом Горхлин. К. А. Савиц[кому]

Дорогой мой Иван Николаевич!

Если бы Вы только могли себе представить, до чего я счастлив, что оказываюсь неправым в своем сетовании на Вас за долгое молчание. Вы не могли более обрадовать меня и в то же время лучше оправдаться, чем как сделали это. Я с восторгом принимаю всякое оправдание, лишь бы оно не было равнодушие! Вашими дорогими строками я переполнен свыше себя! Не понимаю, просто не постигаю, каким образом вышло, что я очутился у Вас в долгу относительно писем, а между тем Вы правы [1]. Действительно, после того раза, о котором говорите Вы, я не писал, хотя до последней минуты был уверен, что ответил и сообщил свой новый адрес. В сущности, оказывается, что я горячо желал сказать Вам многое и так живо прошел все это в своем воображении, что счел сказанным. Не постигаю, какое обстоятельство сбило меня с толку. Словом, я сконфужен окончательно.

Теперь скажу Вам, добрейший Иван Николаевич, что известием о Вашей болезни Вы разогорчили меня вконец. Что же это такое, как это обидно слышать, просто из рук вон! Помню, что еще в прежних письмах Вы упоминали как бы вскользь о том, что болели, но поправились и встали. Я на этом и успокоился, теперь же снова прихварываете. Этот поганый петербургский климат дает знать себя, да к тому же и Вы, как кажется мне, частенько бравируете Вашим здоровьем. Стремлюсь всей душой скорей повидать Вас и лично убедиться, что Вы с Вашей молодцеватостью заслуживаете доверия и что Крым для Вас будет вместе с пользой, как для всякого утомленного вечным ненастьем подлой столицы, будет отдыхом и удовольствием, приятной прогулкой и жизнью, в которой, не хуже чем на Волге, свободно надышишься истинной благодатью [2]. Да, а Волга соблазн, пред которым действительно «потекут слюнки». Бедный Вы, что не можете воспользоваться этим, и столько же скорблю душой и о себе! Мне невыразимо приятно было прочесть «секретом» в строках Ваших, что добрыми приятелями и товарищами я включен в компанию эту; но что будете делать, когда: «Рада бы душа, да грехи в рай не пускают»! Я писал Вам вскользь о своем намерении ехать за Дунай, и думаю, что для меня это до того необходимо, что в данную минуту никакая Волга со всеми своими бесконечно заманчивыми прелестями не осилит. Уви-

димся с Вами, рассудим вместе. Пока же на Ваше замечание, что на Волгу ездят в июне и, значит, успею и на Дунай, скажу следующие соображения: Волга будет течь вечно, Дунай же, пожалуй, утечет в своем интересе; туда нужно спешить безотлагательно, чем скорее, тем лучше. Два важных дела, какие представляются мне и на Волге и на Дунае в такое короткое время, как один летний сезон, мне, по крайней мере, сделать не успеть, немыслимо. Знаю, что если раз попаду на Волгу, то засяду там, прирасту, то же и на Дунае или за Дунаем. В последнем случае одиночество, временный интерес, всякие лишения и неудобства скорей спугнут меня восвояси. Кроме этих соображений, еще с моим здоровьем не приходится соваться на все трудности зимних бивуак, а потому по окончании выставки нашей думаю двинуться чрез тот же Динабург, где у меня сильное притягательное средство, так сказать, вторая семья (я бессемейный) — это сестра с детьми, с которой я не расстаюсь, ей же пока Динабург покидать не приходится; итак, чрез Динабург проеду в Каменец-Подольскую губернию, край интересный и живой, пограничный с Кишиневым. Там приючусь у старшей сестры, в ожидании первых весенних ветерков, чтобы махнуть по назначению.

Вы шутите с Динабургом?! Да, действительно, город поганый, но знаете ли что? [...] Временно, для работ, заранее предначертанных, сидеть и кропать в нем очень полезно и приятно: никому до тебя никакого дела, а тебе до других (*если приятели переписываются* — и подавно чудесно). Мастерская большая, светлая комната и дешевая, натуру приручить можно, чего же еще? В моем положении убаюкивать себя позволительно, а потому продолжаю. Право, не логичны те, кто, набравшись мотивов, кровавых сюжетов, изнемогая под грузом всяких впечатлений, стремятся куда-то в Париж, говоря, что засяду там и *все* выгружу на холст; я так просто советую, пока до Парижа, так просто в Динабург. Впрочем, всем жаждущим спокойствия тут, пожалуй, будет тесно, мне же одному развернуться можно. Есть тут почтенный Иозес, ему и Vieill rue Laval [3] не чета, в шабаш не приходи, продает он много полезных вещей, и обратишься к нему с просьбой да еще на немецком языке, так дня чрез три-четыре и краски преподнесет из Риги, по ценам с процентом обидным, как и у Vieill'я. Не думайте, что я пристрастен к «своему»; без иронии говоря, Питер тоже недурен, отдаю ему справедливое, хотя бы в лице Вашем и чудеснейшего Ивана Ивановича. Обнимаю вас обоих горячо. Последнего, как он ни велик, да еще в сложности с Вами, я все-таки обнять могу сердечно, горячо благодарю его за милое, любезное предложение и с ра-

достью, с восторгом воспользуюсь его гостеприимством, привезу вещи, и счастлив, что буду иметь возможность и место пройти их в рамах.

Страшит меня только мысль, что стесню его местом, так как оно будет ему дорого в горячее время перед открытием выставки.

Для Вас же, дорогой Иван Николаевич, не нахожу слов благодарности за все, за все, чем Вы так безгранично много обязываете меня, что делаете для меня. Чувствую глубоко Вашу доброту и вместе с тем и совершенно соглашаюсь с Вами, что, будь я в Питере, материальная сторона во многом, может быть, могла бы сложиться для меня выгоднее, но с этой стороны, скажу Вам, что, благодаря дружбе, нераздельности интересов всей семьи нашей, этот вопрос хотя временами и очень тяжелый, но до сих пор укладывался в рамки возможные. За ним же остается еще многое другое, что положительно устраивает меня в жизни и работе, нераздельно с близкими, родными мне людьми.

В настоящее время картины и дела мои в таком состоянии, что я не могу перелететь к Вам немедленно, это радостное событие для меня мыслимо к концу января, что и исполню, не теряя и минуты времени, потому что уже крепко хочется побывать в кружке, за которым стосковался. Меня очень огорчает известие о том, что Иван Иванович так стойко держится своей непохвальной привычки грызть себе ногти; само по себе это явление нехорошо, а еще хуже, когда оно составляет органическую связь с дурным настроением души, как это бывает у добрейшего Ивана Ивановича. Остаюсь горячо любящий Вас и всю семью Вашу, преданный

К. Савицкий

А ведь мера запрещения писать Вам как нельзя более красноречиво говорит, что за подлые, что за убожество представляет собою похваленная Вами Академия! Нет им ни спасения, ни покрышки, ни дна на том свете!

1878

214. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

16 января 1878 г.
Динабург

Дорогой Иван Николаевич!

Два часа ночи, и я, усталый, отупевший, сложил кисти и палитру, привернул фитиль в рабочей лампе и берусь за письмо, совесть зазрело! День начинается у меня за мольбертом и так вплотную, оторваться не могу, а между тем, выстрачивая всякую излюбленную штуку в «Погорельцах», неотступно думается, а ведь ответить и хочется крепко и просится, нужно! Так оно тянулось все эти дни, и с письмом ни с места. Вы поймете такое настроение горячности в работе и простите. Скажу Вам, что вообще работал усидчиво, а со времени получения Ваших строк, после долгого перерыва, молчания, я, что называется, полез на стену!

Вы поддали мне живительного огня, и я горю нетерпением поскорей добиться тех результатов, с которыми не худо было бы предстать пред товарищами судьями, построже тех, которые окружают меня в настоящую минуту. Замечания последних, при всем их сочувствии, все-таки более всего сводятся на удивления: «Как это можно писать масляными красками так, что вблизи видишь лепешки, а издали выходит похоже на что-то?». Из числа этих судей изъять следует сестру мою, которая до того пристрастилась к живописи моей (другой она не видала), что следит за работой, за каждым мазком с живейшим интересом и относится нещадно критически. В случаях, если ей что не нравится, то пилит меня до тех пор, пока не удовлетворишь ее чувству и требованиям, всегда справедливым. Все горе мое в том, что мой личный авторитет на нее не действует; как ни уверяю, что хорошо, даже очень хорошо, не верит; делать нечего, надо переделать! Что выйдет из способа работы в одиночестве, я не знаю, жутко, страшно подумать о минуте действительной оценки, знаю, что можно провалиться, что называется, «с ушами». Хуже всего — это

неожиданность; если работаешь и плохо, даже скверно, да на глазах, так обтерпятся и сходит *«ничего»*, а тут — того и гляди, что ушибут! Верьте, что не задабриваю, не приговариваюсь. к снисходительности. При всех невыгодах таких условий, работать совсем в стороне, наедине, страшно заманчиво, приятно, увлекательно! Вы это хорошо знаете потому, что в настоящее время проделываете то же с Вашей вещью. Обидно, что обстоятельства затормозили работу Вашу, а я было порадовался, прочитав в газете обещание, что картина Крамского увидит скоро свет. Оказывается, что «Русский мир» поторопился [1]. 10 номеров; как Вы пишете, это крупно и отрадно [2].

Бедный Иван Иванович, что это, право, с ним такое? Ведь такие-то шутки плохие! Думаю, что мнителен больно и напускает на себя хандру, поддается. Жалобы его, что одиноко работать не может, я частью понимаю. Он, живя в центре общения по искусству, оказывается одиноким по той простой причине, что много званых, да по сердцу мало избранных. Пришелся бы по душе кто-либо из немногих, да, кажись, теперь Питер не очень-то присасывает их к себе, большая часть врассыпную, кто временно, а кого и калачом не заманишь.

Оказался, например, налицо Григорий Григор[ьевич] [3], да вон добрый же приятель подкузьмил, отбил! Выходит, что легче быть без соблазна в каком угодно захолустье. Я горжусь и счастлив, что выпадает на мою долю частица добрых желаний Иван Ивановича; крепко хотелось бы мне перелететь к нему, знаю по опыту прошлого счастливого времени, что хорошо бы работалось вместе; мы бы ужились, да что станете делать, когда, как ни гоню свои работы, а ранее последних чисел января не пригнать мне их в Питер. Впрочем, и времени-то остается всего две недели, не успеешь оглянуться, как очутишься в кругу Вашем.

Бедная Софья Николаевна, а с нею и Вы страдалец; как обидно за нее, знаю, что за страшные эти страдания; на глазах моих выносились они многими из близких; и действительно, при виде страданий не знаешь, чем помочь, средств почти нет.

В сущности говоря, эта жалкая медицина и от насморка не лечит. Одно утешение, что эти мучения, хотя и продолжительные, но все-таки временные, проходящие.

Вы меня страшно заинтересовали, говоря о каше, заваренной Вами по устройству комиссии *нашего* отдела на всемирной выставке [4]. Неужели это осуществимо? Храбро, мужественно, много доблести в таком предприятии, но ведь как же это? Я руками развожу в изумлении при мысли, что гуманная Академия может допустить такое самовольничание.

Кровь бьет в висках моих от счастья при мысли, если бы

могло осуществиться, что какой-то частный кружок художников действует в параллель и самостоятельно в таком деле, которое искони принадлежало Академии (правительству); опора, правда, есть; существуем же мы самостоятельно, и при том даже *законно,* но ведь скажут — это не дома, это чорт знает что такое, это окончательная брешь обаятельности Академии, на это без рассуждений наложат «запрещаем», под этим магическим словом мало ли что лежит недвижимо. Пред одной попыткой такой я умиляюсь; нет, более того, я тут у себя дома, где никто не перечит моему нраву, я от восторга готов ломать стулья! Отсюда аплодирую Вам! Пароксизм моей лихорадки унимается, и мало-помалу превращается в приятную истому, озноб, и я, укрывшись теплым одеялом, лежу и брежу видами Парижской выставки. Там, среди блеска, великолепия и волшебства, мы ходим с Вами и приветствуем всех добрых приятелей по труду и делу, образцы которых в рамах красноречиво и скромно ютятся в этом бесконечном лабиринте всяких диковин... Но мечты, мечты, где ваша сладость?..

Что касается поездки моей за Дунай, Ваше замечание, что можно поспеть к шапочному разбору, больно шевельнуло во мне давно тревожившие меня опасения. Страх как боюсь этого, а между тем, видимо, становится опасно запоздать. Как ни радостно обстоятельство, что дела принимают оборот хорошего мира, но интерес сильно ослабнет, если попадешь туда, когда все умиротворится. Несмотря на это, я все-таки вижу необходимость быть на живых следах страшного разгрома, который не так-то легко и скоро сглаживается. Об этом, впрочем, толки впереди. В настоящую минуту я до того озабочен своими работами, что, по правде сказать, ни о чем другом и думать не могу. Все будет зависеть от исхода теперешних работ. Поглядим да посудим, может быть, и Волга окажется мыслимой. — Эк, право, как посмотришь, так мы с друзьями Общества выставок просто рука об руку, точно неразрывными узами связаны; опять сроки выставок совпадают, на днях прочел я объявление, что прием вещей на их выставку назначается до 15 февраля [5]. Целых два года лавировали и попали в самый раз, «в самую такту»! Шут бы с ними, хорошо бы было обойти, если возможно. Для меня полнейший мрак насчет помещения для нашей выставки. Где и чьими милостями мы приютимся?

У меня приключился казус очень неприятный. В картине моей «Погорельцы» пришлось срезать холст снизу на целый вершок и надставить его к воздуху. Казус весьма неприятный потому, что для шпаклевки требуется добрая просушка, иначе

боюсь, чтобы не остался заметным шов стачки. Простите, что пишу на оборвышах бумаги, да уж это случилось так, со сна, сослепа. Прощайте, дорогой Иван Николаевич, до скорого свидания.

Жму дружески Вашу руку, всем шлю сердечный поклон.

К. Савицкий

Вчера писал, сегодня опоздал на почту, а потому пользуюсь удачей такой, чтобы сказать Вам еще о горестях моих. Ночь, на которую я так рассчитывал, думал провести в сладких грезах о Парижской выставке, вышла для меня не только прозаична, но даже пакостна. Во-первых, служанка натопила в комнате моей с таким усердием, что я как шальной продрыгал всю ночь ногами, задыхаясь от жары, и к рассвету, вероятно, дрыгнул уж очень сильно, вследствие чего проснулся, и вышло очень кстати, удушливый дым наполнял мою комнату. Оказалось, что труба закрыта была слишком рано. Во-вторых, Ваш старый знакомый и мой неизменный приятель, Фурка, черный, большой, но глупый пес, наделал мне хлопот. Обыкновенно флегматичный до невозможности, он вдруг вздумал метаться, как шальной, с видом свирепым. Все мои усовещивания ни к чему не привели, что дальше, то больше; я стал приходить в смущение, боясь за детей сестры, которых как на грех не оторвать от него. Фурка своим необычайным видом сильно поразил их, возбудил вместе с состраданием и любопытство. Пришлось мне прибегнуть к силе, и одолев злосчастного, осмотрел, оказался огромнейший нарыв на шее. Теперь больной лежит в бинтах, с припарками и мазями, стонет несчастный, жалобно выводит такие ноты, точно поминает своего старого приятеля Мурзу, участь которого была вручена Григ[орию] Григорьевичу. Все это маленькие вариации в жизни моей монотонной, невеселой. Последнее страшное событие в семье нашей положило новую печать грусти неизгладимого горя. Сестра бедная все еще не сживается с мыслью об утрате мужа, горячо любимого ею. Страшно, право, что вещи переживают людей — не далее как сегодня получено здесь письмо покойного, письмо, наполненное любви и заботы о детях, писанное им незадолго до смерти; в нем он строил счастливую надежду на скорое свидание с семьей; и вот теперь, по прошествии двух месяцев, строки его доходят в руки жены. Один бог свидетель, что несчастная переживает Однако кончаю свое писанье, довольно утомлять Вас, да притом темой невеселой.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

215. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

7 ноября 1878 года
Витебск

Дорогой Иван Николаевич!

Приглашение на собрание, подписанное Вашей рукой, свидетельствует о возвращении Вашем из Парижа, куда Вы, как дошел до меня слух, слетали на короткое время [1]. Смекаю, что Вы и компания промахнули под самым моим носом, т. е. чрез Динабург, не доставив мне случая свидеться с Вами, хотя на несколько минут остановки поезда. Это похвально, великодушно и по-товарищески! не правда ли? Впрочем, ведь Вы, как и Иван Иванович, не знали, понятно, где я и пр., а между тем скажу Вам, что будь я за несколько проселков, самых головоломных, каковы они в здешних местах, я нашел бы средства быть на этот случай на вокзале. Ну, да это между прочим. Случилось оно, значит, так этому и быть!

Распростился я с Динабур[гом] и устроился в Витебске (говорю это не на случай проезда Вашего в какие-нибудь южные губ[ернии] России, не избалованный, я и не буду требователен, а для того, чтобы Вы могли порадоваться за эту перемену). Витебск много интереснее Динабурга; местная национальность живее сказывается на каждом шагу, и даже местность живописнее [....].

Под впечатлением новизны много зачерчиваю и убиваю длинные вечера на рисунки, которые, впрочем, не знаю, на что годны, т. е. куда их пристроить! Занят в настоящее время сложной картиной [2], работаю над нею и со страхом думаю о близком сроке выставки, обидно будет не поспеть к ней. Хотя, кроме этого, есть у меня две вещи готовые [3], еще из летних работ моих, но это вещи вздорные, и жаль будет ограничиться ими.

Сожалею очень, что не доведется мне участвовать в обсуждении вопроса о постройке павильона для выставки [4]. С какой дорогой душой перелетел бы я в Ваш кружок по вопросу животрепещущему для нас всех, но что делать?!. Уезжая из Питера, мне помнится, что ни на чем определенном мы не остановились, вопрос оставался открытым, столько же говорили о постройке собственного барака, сколько и о том, чтобы устроиться при каком-нибудь уже готовом обществе или учреждении. В обоих случаях препятствие заключается в свободном месте. Если же теперь договорились до того, чтобы строить собственный павильон, то, как ни трудны пути

к достижению этого, — можно радоваться. Если удастся хотя с поклоном выхлопотать подходящее место, то этим главное препятствие будет осилено. Товарищество стоит настолько прочно, что без риска может прибегнуть к займу денег с уплатой по рассрочке, ассигнуя на это свой дивиденд, хотя бы нескольких годов подряд, а может быть и прибегнув к средству, часто практикуемому для увеличения доходов: отдельной выставке в средине года, и (простите) скажу, с безнравственной лотереей картин. У каждого из членов Товарищества найдется что-нибудь стоящее того, чтобы дать на свое же дело. Чувствую заранее все громы и молнии, которые разразились бы над моей головой, если бы лично и устно пришлось предложить мне Вам эти средства; но что прикажете делать, на чем же остановишься, когда все, что служит другому практичному доходом, для нас оказывается невозможным, неисполнимым; разумею всякие художественные издания, не исключая и фотографии. Все это перебираю я так себе в голове своей, не в смысле путных предложений, а больше теряясь в догадках, чем сообща будет порешено и что измыслено? Взываю к Вам, дорогой Иван Николаевич, не откажите в свободную минуту поделиться со мною всем, что так живо и горячо интересует меня. Помните, что сидеть в одиночестве вдали от всего — ужасно тяжело, невесело! Помимо воли моей, я обречен на это многими обстоятельствами, и сострадание Ваше будет зачтено за великую доблесть!

На днях думаю выслать Беггрову одну из небольших эскизных картинок своих [5]. Под обеспечение ее буду просить его о высылке материалов. Сижу на мели, горе-горькое, белила израсходовались! Вздумаете, то, может быть, зайдете к нему полюбопытствовать. Вышла она в теплом тоне, благодаря Jeune de Naples, jeunatre [6] вместо белил.

Итак, побалуйте дорогим словечком Вашим и хотя изредка черкните о житье-бытье как Вашем, так и всякого из друзей и приятелей. — С грустью прочел на днях в газетах о кончине отца Поленова [7]. Жаль старика, и больно за бедного Василь Дмитриевича, тяжелый удар это для него, бедняги!

Думая о могущем было состояться свидании нашем с Вами, я вспоминаю, что уж если не лично, то хотя посредством московской фотографии Вы и вся компания наша могли доставить мне это удовольствие. Оказался ли г-н Лаптев аккуратен, как обещал; если фотография группы нашей [8] у Вас, то потрудитесь передать ее моему племяннику Борису, он перешлет мне ее со случаем, имеющимся теперь у него.

Обнимаю Вас горячо, шлю самый сердечный поклон добрейшей Софии Николаевне и всей семье Вашей.

Преданный Вам *К. Савицкий*

Адрес мой: Витебск. К. А. Савицкому.

216. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

23 ноября 1878
Витебск

Дорогой Иван Николаевич!

Адрес мой: Витебск. К. А. Савицкому. По-настоящему на этом следовало бы остановиться, запечатать и отослать, но попытаюсь обратиться к Вашей совестливости. Приложите руку к сердцу и прислушайтесь, не упрекнет ли оно Вас в некотором коварстве?

Племянник мой у Вас налицо, Иван Иванович налицо (ему я писал еще в начале лета), редакция «Пчелы» налицо (хотя бы в лице Прахова, который отлично знал, где я и что со мной, и с которым Вы встречаетесь); наконец, налицо у Вас также соображение, что Динабург провинция, в которой все самые сокровенные тайники достижимы каждому.

Полагаю смело, что нет [....] гражданина, нет служителя всяких ведомств, не исключая почтового, который с полнейшей обязательностью не протащил бы каждого спрашивающего, не доставил бы всякого письма или телеграммы по месту назначения.

Даже больше того! — Каждый без расспросов узнает, кому кого нужно, доведет куда следует и даже позвонит и с заднего крыльца сам забежит. Вы не смейтесь этому, такая обязательность — черта в провинции прекрасная, она не только что делает людей добрыми и милыми, но несет свою службу исправнее всяких точнейших адресов столицы.

Исчезни я вот сейчас, куда хотите, не только из Динабурга в Витебск, но в какое угодно болото, которое не обозначено ни на карте, ни на городском плане, верьте мне, что найдут и все что угодно доставят. Сомневаюсь, чтобы для Вас все эти условия провинциального быта были бы диковинкой. Вы скажете: «Однако позвольте, к чему же динабургский адрес был с добавлением *«у рижского вокзала»*? Для успокоения столичных адресатов, в понятиях которых такая простота не совмещается с привычкой к педантичной точности.

Словом, скажу Вам, что письмо Ваше, которого я ждал с лихорадочностью совсем голодного человека, подействовало

на меня сквернейшим образом. Теперь, когда первая вспышка прошла, оно сдается мне чем-то вроде вопроса: «Констант[ин] Апол[лонович], как Вас зовут?» Чтобы покончить со скорбным вопросом, упомяну только, что получил я Ваши оба извещения об имеющем быть общем собрании, адресованные и в Динаб[ург] и в Витебск, как и до сих пор изо дня в день получаю «Новое время», адресуемое в Динабург. Итак, довольно на эту тему, да простит Вам провидение, что сыграли с беспомощностью моею такую недобрую штуку. Распространяться о своей особе на этот раз я не стану, некогда, а попрошу только о безотложном одолжении, черкните мне обо всем, что так крепко хочется и нужно мне знать. Каждое слово Ваше будет для меня веско, важно и ново. Нахожусь в полном неведении обо всем, что касается художественного кружка и дела нашего. Не добавит ли что-нибудь к строкам Вашим и добрейший Иван Иванович? Правда ли, что он оставил свою квартиру и живет с Вами, как об этом дошел до меня слух и как уразумел я из повестки Вашей, в которой значилось: «кварт[ира] гг. Крамск[ого] и Шишкина»; что это значит и как случилось? — Писал я Вам насчет картинки, посылаемой мною Беггрову; но теперь рассчитал, что выгоднее будет заказать на нее раму Абросимову и сдать ее Беггрову в готовом виде. Прошу Вас распорядиться этим, пусть сделает раму, уплачу по приезде в Питер; мера в фальце: 1 аршин, 2 вершка $\times$ 9 и $^6/_8$ вершка, просвет рамы чуть-чуть меньше, профиль солидный, и прошу тонкой работы. Картину, если позволите, вышлю на Ваше имя, Беггрову же буду писать.

Обнимаю Вас горячо, вместе с Иван Ивановичем, кумушке Софье Николаевне с детьми кланяюсь низко.

Преданный Вам *К. Савицкий*

P. S. S. Чтобы совсем надоесть письмами своими, отомстить Вам полнотой, возвращаюсь к тому же. Помню хорошо, что когда я уезжал из Питера, на сказанное Вами: «ну, теперь провалитесь и не сыщешь Вас», был ответ мой: «Динабург, К. А. Савицкому, всегда дойдет, где бы я ни был». Вы, верно, забыли это? Теперешний обстоятельнейший адрес мой: Витебск, К. А. Савицкому. Зятя же моего зовут Генрих Густавович.

217. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

10 декабря 1878 г.
Динабург

Спасибо Вам, дорогой Иван Николаевич, за щедрые и дорогие вести [1]. В строках Ваших попало кое-что, на что бы я мог и следовало мне еще огрызнуться решительнее, чем прошлый раз, уверить Вас в *правоте* своей и попрекнуть Вас в клевете, взводимой на меня, за слово «особа», но за давностью прошлого оставим без возражений. Давность же произошла от моего непостоянства в жительстве. Пишу Вам из Динабурга, читал же Ваши строки в Витебске, чрез два дня буду в Полоцке, а там опять до места, до дома. В Ригу, как и в Вильно, не попаду, а потому прошу Вас, не откладывайте с заказом рамки, картину вышлю тотчас по приезде домой. Вскоре думаю на короткое время махнуть на перекладных в Могилев, рыщу, набираясь всяких впечатлений, все думаю обогатить картину свою [2]; зима стоит у нас отличная, выходишь в поле— так бы и закатился! Корчмы, жиды и всякий народец по дорогам и проселкам, просто прелесть! Тороплюсь крепко. Сейчас еду с попутчиком в санках верст за сорок, а завтра, возвратившись, пущусь в обратный путь по железной дороге, дописывать не будет времени. Прощайте.

Душой преданный Вам

К. Савицкий

218. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

22 декабря 1878 года
Витебск

Дорогой Иван Николаевич!

После разных мыканий, наконец, сижу я дома. Оказывается, что здесь ждало меня объемистое послание, утешительное и радостное. Кроме всего хорошего содержания его, Вы представить себе не можете, какое наслаждение доставляет чтение подробных протоколов и докладов, подобных этому; следишь за всем, как было и что делалось в собрании [1]. Читая, я живо перенесся мысленно в наш кружок и этим освежился и воспрял духом. Сознаешь и чувствуешь благодетельную связь с людьми одних задач и стремлений, без этого же, право, было бы жутко и подчас совсем скверно! Таким образом, вы там, трудящиеся, делаете двойное дело; кроме личного, еще благодетельствуете и далеких от вас.

Торжествую, что наш павильон устраивается так хорошо, что лучшая сторона этого дела та, что обходимся собственными средствами и силами без позычания стороной, без одолжений в людях. Один Громов благодетель; но, может быть, и с ним вскоре удастся свести счеты.

Страшно — относительно получки места от города. Три места, назначенные Товариществом, очень соблазнительные для нас; но согласится ли Дума? Осведомлялись ли Вы о месте бывшего театра «Буфф»? Место тоже бойкое. В случае неудачи в этих пунктах, нельзя ли было бы поместиться у Симеоновского моста, на Знаменской площади, к углу, за гостиницей, или у Павловского сквера. Мне кажется, что во многих подобных этим пунктам местах можно было бы прижаться куда-нибудь к сторонке. Если дело с Думой не выгорит, то что бы Вы думали насчет попытки счастья в саду дворца Елены Павловны [2]. Он, кажется, гуляет задаром, вечно сиротелый и только недавно сделался полудоступным для коекаких облагодетельствованных нянюшек с детьми. Как-то пойдет наша подписка дальше, пока собрано менее половины необходимой суммы, далеко еще до 18 000 р. Налицо же уже семнадцать членов, остается немного!

Я, к моему крайнему прискорбию, в настоящую минуту не предвижу возможности подписаться больше чем на 300 руб. Заявление свое в Правление посылаю при этом. Будьте добры передать или принять по принадлежности. Не унываю, может быть, ко времени взносов карман поправится, тогда можно будет повыситься. В подписном листе я очень заинтересован каким-то новым членом, что-то вроде «В. Мильтон или В... [неразборчиво]» [3]. В порядке списка он стоит восьмым. Может быть, это кто-нибудь из старых приятелей, только я не сумел признать его благодаря почерку, придавшему ему этот псевдоним. Радуюсь согласию П. П. Забелло [4], как сопровождающему нашу выставку. Думаю, что трудно было бы делать лучший выбор. Чиркин же с наемным кассиром не промах [5]! Скажите, который из Маковских баллотир[овался] в действительные члены? Вероятно, Конст[антин] Е[горович]. В копии же с протокола значится Никол[ай] Маков[ский]. Этот же последний состоит ли у нас членом экспонен[том] или действительным членом [6]?

Что станем мы делать с нашей будущей выставкой? Помещение, как видно из доклада Правления, трудно рассчитывать найти где бы то ни было. Да и действительно, после прошлогодней попытки кажется невозможным. Откладывать же ее до времени собственного помещения немыслимо [7]: это значило бы забастовать на неопределенное время, а вместе с тем и

лишиться дохода. Мы, кажется, не пытались в Адмиралтействе, а ведь там, если не ошибаюсь, пропасть гулящего места. Не посодействует ли граф Литке [8]? Дорого дал бы заглянуть на два месяца вперед, чтобы знать, чем решится открытие выставки. Если Вы предусматриваете что-нибудь, словом, уверены, что она состоится на первой неделе великого поста, как это было решено заранее, то напишите мне. Если же предвидите отсрочку, то я не прочь был бы поотдохнуть от работы, которую гоню денно и ночно. Умаялся не на шутку, а кроме того, недурно было бы поразмыслить о картине не торопясь, на досуге, обстоятельно!

Читая в протоколе постановление насчет багет, «что некоторые картины не входят в вагоны», я мысленно попрекнул *невозможного Третьякова.* Картина как Мясоедова, так и моя, согнутые пополам, делались укладистее многих небольших вещей. Теперь же пиши, да не размахивайся [9]! Приходит опять черед жаловаться на одиночество. Много бы дал, чтобы кто-нибудь из друзей по душе побеседовал со мной насчет картины, которую пишу теперь. Тьма-тьмущая вопросов, которые перебираешь в голове втихомолку, и ответа на них нет. Отсылать картину нельзя, а чертежик со сложной композиции трудно сделать, да и тоже мало бы помог [10]. Если б не это, послал бы Вам такой и потребовал бы ответов Ваших и мнений. Писал на днях Беггрову насчет посланной Вам картинки. Простите, что утруждаю Вас этими хлопотами. Жду на днях приезда племянника Бориса — привезет он мне свежие вести о Вас и дорогом Иване Ивановиче.

Обнимаю Вас крепко и жму дружески Вашу руку. Софье Николаевне и всей семье мой задушевный поклон — равно и всем товарищам.

Преданный Вам

К. Савицкий

1879

219. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

4 января 1879 года
Витебск

Дорогой Иван Николаевич!

Сердечное спасибо Вам за все хлопоты с Абросимовым. Я знал, к кому обратиться, чтобы дело было сделано, и не ошибся. Вы не глажением — так катаньем довели-таки неисправного до должного уразумения данного им слова. Беггров пишет мне, что картина у него, значит рама сделана. Раньше этого, еще в январе, я получил желанные краски, и с тех пор блаженствую, ожил! Простите мне, что замедлил отвечать на последнее послание Ваше [1], но причиной тому было смущение мое, горячка, которую я запорол, вследствие сообщения Комитета об открытии выставки 12, 13 или 14 февраля. Вы там неожиданно были удивлены, что пост в этом году такой ранний; а я здесь готовился к нему еще с прошлого года, сознавая каждый прожитый день, что приближаюсь к роковому часу, но и то не управился, как бы должно было. Получив письмо Ваше, я мысленно послал Вам горячее спасибо за все, но в горячке работы тут уже было не до писем. Предстояло неуклонно решить важный вопрос, быть большой картине [2] на выставке или не быть? Со вздохом объявляю, что не быть!! Как ни гнал ее три месяца подряд, а вижу, что не угнаться. Грустно, но ничего не поделаешь! Ограничиваюсь теми, о которых писал Вам раньше. К ним делаются рамы здесь. Недавно только откопал такого искусника, который взялся за позолоту. Рамы поспеют к 13 февраля, значит, если выставка состоится 14-го, то вещи мои будут на третий день открытия. Заколдованное это дело наше, что никак не пригонишь во-время. Еще не знаю, посылаю или сам привезу, — числом две вещи. Одна (с рамой) в высоту 2 аршина 9 вершков, шириной 1 аршин $12^1/_2$ вершков — *«Подолянка»* («Руссинка»); другая, небольшая — *«С нечистым знается»*. Итак, дорогой Иван Николаевич, прошу Вас припасите для них два места на выставке.

Грустно мне и обидно донельзя, что не могу воспользоваться приглашением как Вашим, так и Иван Ивановича прибыть пораньше в Питер. Так бы, кажется, и сорвался с места, да помчался без оглядки, но это одно желание, за ним же остается неисполненным само дело! Много обстоятельств сплетаются одно с другим, которые оказываются помехой. Постараюсь одолеть их, и если не в начале, то хотя к концу выставки надеюсь быть в Питере.

Обнимаю Вас горячо.

Шлю поклон всем.

К. Савицкий

220. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

[Февраль 1879 г.]

Одновременно с этой накладной на вокзале (Варшавс[кой] ж. д.) должны быть получены картины мои, они отправляются мною с поездом большой скоростью.

Прошу Вас, дорогой Иван Николаевич, озаботиться тотчас послать получить их и выставить немедля. Я прибуду несколькими днями позже.

К. Савицкий

В ящике укупорены две вещи, одна на дне, другая на крышке, поэтому вскрывать ящик следует, осторожно вытаскивая гвозди.

Проклинаю судьбу, что так запоздал, справедливость требует, чтобы таким неисправным членам Товарищества не зачитывался дивиденд петерб[ургской] выставки.

1884

221. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

25 марта [18]84 г.
Питер

Дорогие путешественники!

Доложу Вам, что чрезвычайно удивительно и невероятно пусто без Вас в квартире Вашей [1]. Так и хочется спросить: «Что, Иван Николаевич наверху?» и «София Ивановна в пансионе?», но спрашивать-то не у кого: Софья Николаевна с Сережей в спальне, Николай в Академии, Митя в гимназии, а Анатолий [2] в зубристике поверх маковки, и по нем так и прыгают дифференциалы. Так уныло сидели мы с ним вчера за завтраком и оба терли себе лбы, придумывая, о чем бы начать разговаривать; как раз в эту минуту, как я только что хотел начать оживленнейший разговор, вдруг сверху сошло к нам (Вы думаете, вдохновение?), нет, просто видение. Это был чахлый Зиновьев [3], для беседы вовсе не пригодный. Я сказал: «здравствуйте», но так и не разобрал, что ответил он мне... видел я несколько раз, что у него раскрывался рот, но не знаю, прожевывал ли он то, что было у него на тарелке, или же, может быть, говорил что-нибудь? Спасибо Софии Николаевне, она своим веселым появлением выручила нас из бедственного положения. Веселость ее была по случаю поправления здоровья Сергульки. Ему разрешено даже вставать с постели. Он бодр и весел, только одно огорчает его, что не полностью разрешают ему есть то, что он просит. Когда Софья Николаевна предлагает ему бульонцу или котлету, что ему позволено, он сердится, говорит, что кормят его дрянью. Но голод — не свой брат, и немного спустя просит: «Мама, ну дай мне этой дряни!»

28-го

Вот уже два дня тому назад, как было присел написать Вам, но меня оторвали от такого хорошего намерения, и только сегодня, пользуясь тем, что встал спозаранков, хочу продолжать. В эту минуту я ужасающе плачевен: флюс раздул мне физию до непозволительных размеров. Всего обиднее,

что при самом серьезном настроении духа кажется, что будто я слащаво улыбаюсь. Это весна питерская, тепло в воздухе, а как только сбросишь зимнюю оболочку, так и пошел отхватывать без счету раз: чихи да чихи! В ответ же только и слышишь: «Будь здоров». Хорошо здоровье, нечего сказать!!.

Иван Николаевич, напоследок скажу Вам, что был я по поручению Вашему у Беггрова. Он не берет Ваших трех картин [4], которые присланы Вами в последние дни. Мы же не знаем, сколько Вы назначаете за них, в случае представится покупатель? Цена, объявленная вами Беггрову, по 400 р., распространяется ли и для продажи? Софья Николаевна приняла на себя, назначив по 500 р. за каждую; черкните Ивачеву [5] в Москву, если Вы думаете переменить. Кстати и о «Неутешном горе» [6]. Продается ли и какая цена? Выставка [7] наша закрылась, публики было 20 160 человек. Продаж почти никаких. — Будьте здоровы и не забывайте нас, дарите хотя изредка весточкой о себе.

Ваш *К. Савицкий*

222. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

8 апреля [18]84 г.

Прежде всего, христос воскресе!

В этом хотя я сам не был прямым свидетелем, но вокруг все об этом говорят и все радуются. Гул и звон колоколов стоит в воздухе, как-то светло и радостно на улицах и на лицах запечатлен праздник. Все приодето, все умыто и расчесано, начиная с голов дворников и кончая тумбами у тротуаров, которые, благодаря предусмотрительности градоначальника, в этом году не пачкают подолов и брюк проходящей публике обычной смазью, а блещут чистотой, ошпаренные кипятком и вымытые мочалкой. Я должен Вам сознаться, что, грешным делом, проспал заутреню дома, и когда из церкви пришли с куличами и пасхами, впросонках вскочил, отворил только двери и опять кувырнулся в постель, боясь проснуться. Теперь 11-й час утра, и после ближайшего христосования с Борей и домочадцами, волею судеб я похристосовался с Вами, далеким, получив письмецо [1] и привет Ваш в минуту, когда сидели мы за столом, разговляясь по православному обычаю. Это второе мое письмо к Вам, и хотя в сегодняшнем Вашем Вы не упоминаете, что получили первое, но надеюсь, что оно дошло до Вас. Адресовал я его poste restante.

Сообщение Ваше, дорогой Иван Николаевич, относительно Ивана Павловича Похитонова[2], еще вчера, когда я был у Карла Викентьевича[3], встревожило нас немало. Тут чистейшее недоразумение, которое должно уладиться и сгладиться, так как возникло только в силу несчастной случайности. Вероятно, до него не дошло письмо Правления, иначе не было бы места недоразумениям, *рассеваемым* недоброжелательством, вроде того, о котором пишете Вы, как толки дошедшие до г-на Похитонова чрез Наталью Васильевну Дмитриеву[4] и пр. и пр. Обстоятельства дела я помню очень хорошо и хочу изложить Вам, чтобы Вы могли с полным сознанием правоты Товарищества представить Ивану Павловичу дело в том свете, в каком оно действительно было. Желание г-на Похитонова участвовать у нас на выставке было встречено нами с полным радушием и сочувствием; мы обратились в Аничкин дворец[5], чтобы добыть оттуда его две картины, находившиеся там для представления государю. Но гофмаршал ответил, что эти вещи в числе еще каких-то других (кажется, Боголюбова) государем не были осмотрены и что если их взять оттуда, то это равнялось бы тому, что государь не приобрел бы их; к тому же упоминалось, между прочим, что государь очень не любит давать свои вещи, раз им приобретенные. Ко всему этому, заявление г-на Похитонова было получено нами почти пред самым общим собранием; так что со всеми задержками, если бы нам и удалось получить картины из дворца, то общее собрание членов уже миновалось, а по Уставу только общее собрание принимает экспонентов. Таким образом, нам пришлось, к крайнему нашему сожалению, отказаться на этот раз от желания видеть вещи Похитонова у нас на выставке. Тогда же обо всем этом мы писали Алекс[ею] Петровичу Боголюбову, прося передать г-ну Похитонову, чтобы на будущий год, если возможно, вещи его были бы присылаемы собственниками или если они не принадлежат никому, то им самим прямо в Правление Товарищества заблаговременно. О сроке же открытия выставки и общем собрании всегда знают наши члены парижане. Несколько позднее, при рассылке писем всем членам и экспонентам, было отправлено и письмо лично г-ну Похитонову, копия которого хранится и теперь в бумагах наших[6]. Помню я также, что почти в это же время была у меня Наталия Васильевна Дмитриева и говорила с большой симпатией об Иване Павловиче, на что, разумеется, слышала с моей стороны одно только сожаление о том, что при всем нашем желании мы не можем на этот раз иметь его вещи у нас на выставке. Какие неблагоприятные слухи и на чем основанные могли дойти до Похитонова,

я решительно недоумеваю, и вместе с Вами мы с Карлом Викентьевичем, а также и с Репиным, которого застал я у себя вечером, возвратившись от Лемоха, мы все трое крепко огорчены известием Вашим. Теперь только я понимаю или, лучше сказать, приходит мне в голову, почему в этом году Иван Павлович уклонился от участия у нас на выставке. В первом письме Алексея Петровича Боголюбова упоминается, что в числе парижан и Похитонов желает выставить свои вещи, принадлежащие г-ну Пети [7] в Париже, г-же Воейковой в Москве и Сан-Донато [8] в Питере; что всем уже написано автором и самим Боголюбовым просьбы, чтоб эти вещи были пересланы в Товарищество. На это я писал Боголюбову, прося поторопиться с высылкой, и вслед за тем совершенно неожиданно сообщалось, что вещи Похитонова высланы не будут. Все это очень грустно, и одно, чего остается желать, чтобы Вы, Иван Николаевич, видясь там с Похитоновым, успели бы убедить его в полном доброжелательстве Товарищества к его деятельности и таланту, о котором мне, по крайней мере, много раз приходилось слышать со всех сторон, не исключая сочленов наших, москвичей. Не пишу ничего о семье Вашей, так как Вы сами, наверно, в частой переписке. Я все в таких хлопотах, что изредка попадаю к Вашим. Знаю, что Сережа совсем молодцом! Будьте здоровы, не проигрывайтесь *в рулетку!* Боюсь за *азартную* Софью Ивановну. Спасибо ей, что дарит меня весточками и ароматом тех цветов, которыми дышите там.

Всей душой Ваш

К. Савицкий

223. К. А. САВИЦКИЙ — И. Н. КРАМСКОМУ

9 апреля [18]84 г.
Петербург

Так уж все эти дни у меня полоса *письменности;* поэтому, если Вам, как Вы говорите, приятно читать строки, идущие из наших снегов и мерзлых сосулек, то я охотно махаю рукой по бумаге, на которой нечто изображается. В минуту, когда Дарка мой в зубах подал мне Ваш конверт, полученный им от почтальона, мы сидели большим кругом за обеденным столом. Компанией нашей председательствовала Леля, в качестве хозяйки разливала суп, затем Жорж, Боря [1] и еще численная молодежь, занесенная ко мне на вышку, вероятно, ветром, который неистовствует чуть не ураганом. Холод

такой, что я подумываю опять начать топить чугунку коксом; но вот слышу из спальни радостные возгласы Груни о том, что «Нева чистая!», все бросаемся к окну, и действительно, голубая лента плавно льется, и только изредка плывут по ней льдины. Это совершилось поразительно быстро: всего какой-нибудь час тому назад я ехал по Николаевскому мосту, уткнув нос в шубу, и думал, что недельки через две, не ранее, пойдет лед. В телеграммах из Ревеля читаем, что выпал снег, заваливший город на два этажа, движение поездов прекращено. Поезд из Петербурга, не дойдя трех станций до Ревеля, стоит на пути со всеми пассажирами чуть ли не целые сутки. А Вы-то там на прогулках апельсины с веток срываете да подумываете, куда бы бежать от сирокко и жаров!!

Уж если Вам очень душно, пожалуй, бегите, только не к нам — от такого резкого перехода непременно превратитесь в сосулек, которых нам придется оттаивать родственными и приятельскими объятиями. На сегодняшний вечер я осиротел, сижу один и строчу письма, которых у меня много в долгу, несмотря на то, что пишу чуть ли не каждый день по нескольку штук. Леля, Жорж и Боря отправились к Вашим, посмотреть, какая Людмила на свободе, в отпуску; что касается до меня, то и я этим очень заинтересован, но так как имею некоторое понятие об удовлетворительном ее состоянии здоровья, еще по институтским наблюдениям, и потому в силу несоединимости одновременно смотреть на Людмилу Федоровну [2] и писать письма, я уж остался дома. Вы, дорогой Иван Николаевич, интересуетесь знать, что и как идет у нас в мире художественном? Мрачно и мерзко! Хотя, впрочем, этими двумя словами не обрисовываются все детали и варианты мира нашего. Начну с новостей, страшно прискорбных и личных. Представьте себе, что, во-первых, бедный наш Павел Александрович (страшно сказать) овдовел. Из писем его к Сюзор [3] знаем, что все помыслы, всю привязанность свою он устремил теперь на детишек своих, с которыми думает пуститься в путешествие, переезжая на разные места, лишь бы хоть сколько-нибудь забыться в своем горе. Невыразимо жаль его, бедного! Час от часу не легче. Недавно я возвратился от Волкова Ефим Ефимовича, который тоже производит удручающее впечатление. Он очень серьезно заболел. Потеряв свою любимую и так сказать единственную дочурку, не перенесшую воспаления в легких после кори с коклюшем. Теперь у него самого тоже воспаление легких, а главное, Кошлоков опасается за сердце, которое вследствие горя также задето! Бог милостив, может быть и минует опасность. Сегодня девятый день его болезни, именно день, которого боялись доктора. По-

явилась сильная испарина, и это хороший признак. Доктора этого очень желали, и сегодня он на вид бодрее. Говорят еще, что Максимов болеет, и будто дифтерит, но тут что-то не совсем угрожающее. По крайней мере слух ходит, что опасения за заразительность болезни для семьи будто устранены тем, что Лидия Александровна [4] поставила какую-то ширмочку и в промежуток, оставшийся не закрытым, повесила еще одну часть из его домашнего костюма. Это оказалось совершенно достаточным для прекращения дифтерита. Однако я чувствую упрек совести, мне как-то не по себе, боюсь, что шучу там, где, может быть, шутка не у места. Сам не имел времени забежать к нему и в точности не знаю, что деится там. По неведению и храбрость является еще пошутить.

Выставка наша [5] в Москве открылась в прошлую пятницу. Только что получил от Ивачева письмо, что публика идет хорошо. Картин продано: Волкова «Деревня» [6] за 100 р., Харламова [7] «Головка» 700 руб., Мясоедова [8] этюдик за 150 р., Брюллова [9] этюд за 200 р.; покупатели Борхарт, Ценкер и Щеголева. Все это, в сущности, мелочи, а дело в том, что в этом году какая-то злостность обрушивается на наше Товарищество [10]. Со всех сторон все, что появляется в печати так называемых критик, все это какая-то пакость непроходимая! Лаются всякие шавки из подворотни, и чорт знает откуда раздаются эти хриплые голоса. Вот и три дня тому назад «Московские ведомости» обогатились какой-то пакостной корреспонденцией из Петербурга под названием «Художественные выставки» М. Соловьева [11]. Это тот самый, которого мы имели честь и удовольствие встретить у Полевого [12], как друга и приятеля его, когда собрались к нему давно как-то вечером для переговоров относительно наших условий с Полевым. Уже тогда Репин и я для первого же знакомства мигнули Полевому насчет его друга, что от него воняет затхлым, но этот последний только как-то неопределенно улыбался... Статья была бы совсем глупая и ничтожная, если бы в ней не была подчеркнута фраза: «Как известно, Товарищество п[ередвижных] х[удожественных] в[ыставок] возникло вследствие неудовольства некоторых художников на администрацию Академии художеств». Мы решили напечатать в газетах следующее заявление: «В № 88 «Москов[ских] вед[омостей]» была помещена статья г. М. Соловьева «Художественные выставки», в которой, между прочим, напечатано, что Товарищество п[ередвижных] х[удожественных] в[ыставок], как известно, и пр. и пр.; ввиду восстановления истины Правление Товарищ[ества] считает долгом заявить, что Товарищ[ество] возникло с целью знакомить Россию с художеств[енными] произведе-

ниями родного искусства, не ограничиваясь только столицей. Товарищество первое время пользовалось даже академическими залами для своих выставок в Петербурге, и только по независящим от него обстоятельствам лишилось этого помещения в Академии художеств. — Члены Правл[ения]».

Что же Вам сказать об академической выставке. Самое крупное для нее это то, что государь был на выставке. Со многих сторон раздаются голоса о ее ничтожестве, то есть сброд вещей без определенного направления. Но это голоса публики, которая, впрочем, идет как на всякое зрелище. В печати проглядывают хвалители присяжные, но это очень слабо и ничтожно, даже не высказываются прямо, а только косвенно служат тамошнему делу, топча в грязь Товарищество. «Новое время» что-то размазывало так, что не поймешь, симпатии ли это или антипатии. Я с достоверностью еще не знаю, что собственно сотворено там насчет куша по приобретению картин и какой состав жюри — это выяснится на этих днях, когда выставка снова откроется после праздников [13]. Говорят, будто все обращено на приобретение картин К. Е. Маковского [14]; на выставке будто не нашлось достойной вещи, но и это, полагаю, вздор. Знаете ли, что скажу я Вам, Иван Николаевич, все это ноль и чепуха, в которой, собственно говоря, и ковыряться не следует. Все это пакость, не стоящая и минуты, чтобы на ней останавливаться. А вот что дает нам искорку обновления и новых надежд — это одна прелестная мысль, исходящая все от того же горячего Г. Г. Мясоедова. Есть один новый проектец, который захватывает положительно все стороны жизни и силы Товарищества, и, ох, как размечет, зашевелит всякую мелюзгу эту! Проект пока совсем новорожденный, еще в пеленках. Надо очень беречь его и не проронить до времени неосторожного слова. Разумеется, не поэтому не пишу Вам теперь о нем, а по сложности его изложения. Пусть лучше это останется сюрпризцем на возвращение Ваше, тогда будет еще время вместе потолковать. Простите мне мое длинное писание, но, право, сам не заметил, как разогнал на столько листов. Бросаю перо, а то все лезет в голову и буду дряпать без конца. Вред в том, что, вместо полной безмятежной свободы, Вы потратите [время] на чтение этих строк. Одно спасение, если это будет происходить на открытом воздухе, под цитронами и померанцами. Адрес Ковалевского [15] следующий: *Варшава, Гожая улица,* № 10 L. A. Таким, по крайней мере, я знал его, но теперь может быть и иной. Самое верное адресуйте: *Варшава,* Почтамт, Николаю Апол[лоновичу] Савицкому, для передачи Ковалевскому.

Ваш *К. Савицкий*

ПРИМЕЧАНИЯ

и

УКАЗАТЕЛИ

К ПЕРЕПИСКЕ с Ф. А. ВАСИЛЬЕВЫМ

1871

1

[1] Недатированное письмо Васильева к Крамскому, написанное в шутливом тоне, относится, вероятно, ко времени поступления Васильева в Академию художеств, куда он был зачислен в феврале 1871 года в качестве вольнослушающего ученика.

Из письма Крамского, адресованного Стасову, известно, что Васильев поступил в Академию ради освобождения от рекрутской повинности, которой он подлежал по возрасту и социальному положению. Согласно паспорту, выданному Петербургской мещанской управой, Васильеву 10 февраля 1871 года исполнился 21 год. «Вам известно, — писал Стасову Крамской, — что он (т. е. Васильев. — *Ф. М.*) не был учеником Академии и не ей обязан своим развитием, а Шишкину. Все в том же [18]71 году он оказался на рекрутской очереди и его потребовали. Чтобы не быть взятым в солдаты, он сделался вольноприходящим учеником Академии...» (И. Н. Крамской. Письма, Изогиз, М., 1937, т. I, стр. 199).

В 1871 году Васильеву действительно удалось получить освобождение от воинской повинности. Очевидно, Академия художеств направила в мещанскую управу специальное ходатайство по этому поводу, подкрепившее просьбу самого Васильева. 5 марта 1871 года в ответ на это ходатайство Правление Академии художеств было уведомлено, что вольнослушающий ученик Академии Федор Васильев от рекрутской повинности по набору 1871 года освобожден («Ф. Васильев». Вступительная статья и подготовка писем к печати А. А. Федорова-Давыдова, Изогиз, М., 1937, стр. 205—206).

[2] Васильев приводит в ошибочной транскрипции французскую поговорку: «Honny soit qui mal y pense» — «Стыдно тому, кто дурно думает».

[3] Vanitas-vanitatum *(латинск.)* — суета-сует.

[4] Очевидно, весной 1871 года Совет Академии художеств предложил Васильеву сделать несколько рисунков, успешное выполнение которых дало бы ему право в сентябре того же года представить свои картины для получения академического звания. Видимо, до отъезда из Петербурга эти рисунки были поданы Васильевым в Академию. Картины же вместе с прошением о присуждении звания Васильев, живя в Крыму, поручил представить пейзажисту Ивану Васильевичу Волковскому, получившему на то доверительное письмо от Васильева следующего содержания: «Милостивый государь Иван Васильевич. В сентябре месяце этого года я должен подать прошение в императорскую СПБургскую Академию художеств и представить мои картины для получения звания, какое Академия найдет возможным дать мне. А так как я по болезни своей продолжаю курс лечения на южном берегу Крыма, не могу лично быть в Петербурге, то прошу Вас принять на себя труды исполнить вышеозначенное, для чего поручаю Вам подавать вместо меня всякого рода просьбы и все бумаги, какие окажутся нужными, и вообще вести все дела совершенно неограниченно, как бы я сам...»

В своем прошении в Академию Васильев писал: «Представляя на благоусмотрение Совета из моих работ *пять* пейзажей, покорнейше прошу удостоить меня *академическим званием,* какое Совету благоугодно будет присудить мне, глядя по достоинству моих вещей» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 206).

[5] Нецветаев Александр Сергеевич — военный в отставке; художник-любитель. Из переписки Васильева с Нецветаевым видно, что последний был близок к художественным кругам Петербурга, посещал выставки и четверговые собрания художников. Известна статья Нецветаева о VI выставке Товарищества передвижных художественных выставок («Русский мир», 1878, № 83).

В 1887 году П. М. Третьяков приобрел у Нецветаева за 1000 рублей картину Васильева «Заброшенная мельница», находящуюся ныне в Третьяковской галлерее.

2

[1] Речь идет об отъезде Васильева из Петербурга в Харьковскую губернию в имение П. С. Строганова Хотень, куда он выехал по совету врачей, вследствие открывшегося у него туберкулеза легких и горла.

[2] Софья Николаевна Крамская, урожд. Прохорова (1840—1919) — жена художника.

[3] Крамской пишет о портретах русских исторических деятелей, которые он в течение ряда лет исполнял по личному заказу Василия Андреевича Дашкова (1819—1896), директора Московского Публичного и Румянцевского музея с 1867 по 1896 год. Портреты были исполнены Крамским в монохромной технике с фотографий, гравюр и оригинальных живописных произведений. В 1882 году, в связи с исполнившимся пятидесятилетием передачи Румянцевского музея министерству народного просвещения, вся коллекция собранных В. А. Дашковым портретов была передана в дар музею. В настоящее время она находится в Государственном Историческом музее в Москве.

3

[1] Исеев Петр Федорович (род. в 1831 г.) — конференц-секретарь Академии художеств (1868—1889).

[2] Крамской имеет в виду свою работу по росписи храма Христа в Москве, которую он начал с 1863 года, когда по поручению профессора А. Т. Маркова, работавшего над росписью купола храма, исполнил около пятидесяти рисунков и восемь картонов для этой росписи. В 1865 году между Крамским и профессором Марковым было заключено соглашение на исполнение самой росписи купола, в котором требовалось изобразить «трипостасного бога Саваофа со всеми аксессуарами», по эскизам, сделанным Марковым. Вместе с Крамским, по его приглашению, эту работу выполняли художники Б. Б. Вениг и Н. А. Кошелев. В 1868 году Крамским было заключено другое соглашение, с профессором П. В. Басиным, на исполнение настенных росписей с изображением святых, патриархов, пророков и апостолов (всего тридцати одной фигуры). Работу, предусмотренную этим соглашением, Крамской не выполнил. Но обремененный семьей и испытывая денежные затруднения, он вплоть до начала 70-х годов принимал участие в росписи храма и представлял на утверждение духовных властей выполненные им эскизы росписей (см. письма 34 и 42).

[3] Крамской, по приглашению Васильева, должен был приехать в Хотень для того, чтобы заканчивать там начатую им картину «Майская ночь», а затем в августе вместе с Васильевым ехать оттуда в Крым. Но Васильев, прожив в Хотени с конца мая до 18 июля и не дождавшись

Крамского, уехал в Крым, так как в состоянии его здоровья наступило резкое ухудшение.

[4] Крамской пишет о своей картине «Майская ночь», задуманной им на сюжет одноименной повести Н. В. Гоголя. Картина находится в Третьяковской галлерее.

[5] Повидимому, речь идет о картине «Сомнамбула», находящейся в Третьяковской галлерее.

4

[1] Нецветаев, по доверенности Васильева, во время пребывания последнего в Крыму вместе с матерью и младшим братом, взял на себя заботы об оставшемся без присмотра доме Васильевых в Петербурге.

[2] Речь идет о картине «Майская ночь», над которой Крамской продолжал работать по возвращении в Петербург осенью 1871 года.

[3] Картина Крамского «На тяге», показанная художником на I Передвижной выставке. Местонахождение картины в настоящее время неизвестно.

[4] Ге Николай Николаевич (1831—1894) — исторический живописец, портретист, пейзажист. Был одним из учредителей и активных деятелей Товарищества передвижных художественных выставок; состоял членом первого состава Правления Товарищества.

Крамской пишет о его картине «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», экспонированной на I Передвижной выставке. Картина находится в Третьяковской галлерее.

[5] Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель. С 1864 по 1884 год был секретарем Общества поощрения художников (см. примечание 7 к письму 5); осуществлял непосредственную связь между художниками и Обществом. Вследствие этого Григорович сыграл известную роль и в судьбе Васильева, пользовавшегося покровительством и поддержкой Общества.

[6] Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — основатель Галлереи национального русского искусства. В 1892 году передал свое собрание городу Москве вместе с собранием своего брата Сергея Михайловича (см. примечание 3 к письму 14). которое состояло преимущественно из произведений западного искусства. С тех пор Галлерея получила наименование Городской галлереи Павла и Сергея Третьяковых. После Великой Октябрьской социалистической революции, декретом от 3 июня 1918 года, подписанным В. И. Лениным, Галлерея была преобразована в Государственную Третьяковскую галлерею.

[7] Денежные затруднения, с которыми столкнулся Васильев вскоре после своего приезда в Ялту, заставили его прибегнуть к помощи П. М. Третьякова. «...Положение мое самое тяжелое, самое безвыходное: я один в чужом городе, без денег и больной, — писал Васильев Третьякову в сентябре 1871 года. — ...мне необходимо 700 рублей, чтобы из них часть послать домой (где тоже нет денег), часть уплатить в Ялте, а на остальные прожить в Крыму по июнь месяц, что, по словам доктора, мне необходимо под страхом самого плохого окончания болезни...» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 72).

Вынужденный и в дальнейшем не раз обращаться за денежной помощью к Третьякову и чувствуя себя обязанным ему за внимание и отзывчивость, Васильев принял решение показывать Третьякову все свои оконченные картины и предоставить ему возможность первому выбирать те из них, которые он пожелает приобрести для своего собрания

Дав такое обещание Третьякову, Васильев стремился в дальнейшем быть верным ему, даже несмотря на то, что этим осложнялись его взаимо-

отношения с Обществом поощрения художников. Посылая исполняемые им на конкурс картины на имя Крамского и обусловливая их продажу правом Третьякова первым выбирать и приобретать эти картины, Васильев тем самым как бы давал Григоровичу повод подозревать, что Третьяков в своих интересах связывает его денежными обязательствами. Однако в действительности Третьяков не только не связывал Васильева какими-либо обязательствами, но и не требовал немедленного погашения долга, в результате чего к концу жизни Васильева общая сумма присланных Третьяковым денег значительно превысила стоимость приобретенных им у художника картин. В счет оставшегося долга, выразившегося в сумме 1200 рублей, Третьяков получил с посмертной выставки Васильева три картины: «Волжские лагуны», «Зима в Крыму» и «Крымские горы зимой», акварель «В лодке у берегов Крыма» и сепию «Вечер» (Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1869—1887, «Искусство», М., 1953, стр. 361—362).

[8] Клеопин Платон Александрович — бывший военный, управляющий имением Мордвинова в Крыму; любитель живописи. Заботливо относился к Васильеву и в трудные минуты выручал его деньгами.

[9] Роман — младший брат Васильева. В октябре 1872 года ему исполнилось 10 лет.

[10] Евгения Ивановна Иконникова — жена художника Якова Михайловича Иконникова (см. примечание 11 к данному письму). В 1871 году в связи с открывшимся у нее туберкулезным процессом выехала из Петербурга в Крым.

[11] Иконников Яков Михайлович — художник, состоявший в дружеских отношениях с Крамским и Васильевым. Учился в Академии художеств (1858—1868). В 1869 году получил звание учителя рисования в гимназиях.

[12] Рыльский — фотограф в Ялте.

[13] Савицкий Константин Аполлонович (1844—1905) — жанрист.

В 1871 году для получения Малой золотой медали исполнил программу «Каин и Авель». Местонахождение картины неизвестно.

[14] Репин Илья Ефимович (1844—1930).

В 1871 году, будучи учеником Академии художеств, исполнил на Большую золотую медаль программу «Воскрешение дочери Иаира», находящуюся в Русском музее.

[15] Макаров Евгений Кириллович (1842—1884) — исторический живописец и портретист. В 1871 году, одновременно с Репиным, получил Большую золотую медаль за программу «Воскрешение дочери Иаира». Местонахождение картины неизвестно.

[16] Урлауб Георгий (Иван) Федорович (1844—1914) — исторический живописец.

В 1871 году также получил Большую золотую медаль за программу «Воскрешение дочери Иаира». Местонахождение картины неизвестно.

[17] Поленов Василий Дмитриевич (1844—1926) — пейзажист, исторический живописец, жанрист.

В 1871 году, одновременно с Репиным, Макаровым и Урлаубом, получил Большую золотую медаль за выполненную им программу «Воскрешение дочери Иаира». Картина в настоящее время находится в Псковском областном краеведческом музее.

5

[1] Перов Василий Григорьевич (1832—1882) — жанрист и портретист. Один из идейных вдохновителей и учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

[2] Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — пейзажист. Один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

[3] Крамской пишет о том впечатлении, которое произвела на Перова и Шишкина картина Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».

[4] Бессонов Василий Владимирович (ум. в 1887 г.) — врач. Член Московского Общества любителей художеств, художник-любитель; находился в дружеских отношениях с Перовым. В 1869 году Перовым был исполнен портрет Бессонова, находящийся в Третьяковской галлерее.

[5] Клодт Михаил Константинович (1832—1902) — пейзажист.

[6] Крамской пишет о I выставке Товарищества передвижных художественных выставок, которая открылась в Петербурге 28 ноября 1871 года. Этой знаменательной выставкой начала свою деятельность организация, объединившая в свое время все наиболее передовые силы русского искусства.

Первая мысль о создании этого объединения принадлежала Г. Г. Мясоедову. В 1869 году по его инициативе группа московских художников обратилась к петербуржцам с просьбой поддержать их намерение организовать независимое от Академии общество художников, выставки которого обслуживали бы не только столицы, но и провинции. Письмо москвичей встретило сочувственный отклик со стороны крупнейших художников Петербурга — Крамского, Шишкина, Ге и других, в частности Репина, бывшего тогда еще учеником Академии. Устав Товарищества был утвержден 2 ноября 1870 года. Будучи организацией, пропагандирующей идейно-реалистическое искусство, Товарищество с первых же дней своего существования оказалось во враждебных отношениях с Академией, вокруг которой группировались тогда реакционные художественные силы. (О взаимоотношениях Товарищества с Академией см. письмо 71 и примечание 6 к нему, письмо 73 и примечание 1 к нему, письмо 89 и примечание 1 к нему, письмо 184 и примечание 8 к нему.)

[7] Общество поощрения художников было основано в Петербурге в 1820 году. Главной целью деятельности этого Общества была популяризация искусства, а также содействие русским художникам, осуществляемое в разных формах. Общество обучало на свой счет многих неимущих художников, отправляло их за границу, выдавало ссуды и приобретало их произведения для постоянных выставок и лотерей. Начиная с 1865 года, по инициативе П. С. Строганова, Общество приступило к устройству ежегодных конкурсов на лучшие произведения жанровой и пейзажной живописи, за которые выдавались денежные премии. В 60-х и в начале 70-х годов многие передовые русские художники выступали на конкурсах Общества и удостаивались премий за свои картины. Положительной стороной деятельности Общества было также издание и распространение гравюр и литографий с картин русских художников. С 1857 года в ведение Общества была передана основанная в 1839 году Петербургская рисовальная школа для вольноприходящих, преобразованная впоследствии в Художественно-промышленную школу.

Нельзя забывать, однако, что Общество поощрения художников представляло собой учреждение, пользовавшееся покровительством царского двора, а членами его являлись главным образом известные петербургские меценаты. Поскольку существование этого Общества обеспечивалось их членскими взносами и добровольными пожертвованиями, вся его деятельность несла на себе отпечаток благотворительности.

[8] Товарищество передвижных художественных выставок приняло предложение Совета Академии художеств, и I Передвижная выставка была открыта в залах Академии.

[9] Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896) — пейзажист, автор морских баталий. Живя в Париже в 70-х годах, возглавлял группу русских художников, живших там же. Был близок с пенсионерами Академии художеств: Репиным, Поленовым и другими. С 1871 года неизменно принимал участие в передвижных выставках.

[10] Неясно, о каком обществе при Академии, инициатором которого был Боголюбов, упоминает здесь Крамской.

[11] Зеленский Михаил Михайлович (род. в 1843 г.) — исторический живописец. В 1871 году, одновременно с Репиным, Поленовым, Урлаубом, был удостоен Большой золотой медали за программу «Воскрешение дочери Иаира». Картина в настоящее время находится в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева, эскиз картины — в Третьяковской галлерее.

[12] Удостаивая Больших золотых медалей Макарова и Урлауба, наравне с Репиным, Поленовым и Зеленским, Совет Академии художеств в отношении первых двух принял следующее решение: «Евгений Макаров и Егор Урлауб удостаиваются медалей на тех условиях, чтобы к весенней выставке или на годичный экзамен будущего 1872 г. представили картины своего сочинения; после чего Совет оставляет за собой право отправить их за границу для усовершенствования в искусстве на сокращенный срок...» (Отчет императорской Академии художеств с 4 ноября 1870 г. по 4 ноября 1871 г., СПБ, 1872, стр. 15).

[13] Кудрявцев Михаил Андреевич (1847—1872). В 1871 году получил 2-ю золотую медаль за программу «Каин и Авель».

[14] Ковалевский Павел Осипович (1843—1903) — баталист и жанрист. В 1871 году получил 1-ю золотую медаль за картину «Первый день сражения при Лейпциге в 1813 г.».

[15] Васильев, видимо, писал Крамскому из Ялты о своем намерении поехать в Египет для лечения. Не имея средств для поездки и надеясь, что Общество поощрения художников обеспечит его необходимой суммой, Васильев просил Крамского переговорить с Григоровичем по этому поводу и заручиться его поддержкой (см. письмо 7).

[16] См. примечание 3 к письму 4.

[17] Крамской имеет в виду свою картину «Майская ночь».

[18] Картину «Христос в пустыне» (1872), находящуюся в Третьяковской галлерее.

[19] Осенью 1871 года Крамской, будучи в Крыму, работал над пейзажем для картины «Христос в пустыне». Судя по данному замечанию, можно предположить, что в окрестностях Бахчисарая художник нашел наиболее интересный для себя материал.

[20] В Петербурге, в помещении, занимаемом Артелью художников (см. примечание 21 к данному письму), в зимнее время по четвергам устраивались рисовальные вечера, привлекавшие широкий круг художников. На этих вечерах происходило также чтение новых книг по вопросам искусства, вызывавшее горячие споры, шло товарищеское обсуждение картин, исполненных членами Артели, и т. п. Эти «четверги», возникшие по инициативе Артели, помогали объединению и сплочению всех передовых художников и тем самым в первый период своего существования играли прогрессивную роль в художественной жизни Петербурга. С конца 1871 года, в связи с общим упадком деятельности Артели (см. письмо 47 и примечание 5 к нему), а также в связи с полемикой, которая завязалась между Стасовым и Артелью по вопросу об отношении к вновь возникшему Товариществу передвижных художественных выставок (см. письмо 8 и примечания 5 и 6 к нему), «четверги» потеряли свою непосредственную связь с Артелью. Продолжавшиеся собрания художников по четвергам происходили в Обществе поощрения художников.

[21] Петербургская Артель художников — первое в истории русского искусства самостоятельное творческое объединение художников, основное ядро которого составили вышедшие из Академии в 1863 году ученики, отказавшиеся писать программную картину на мифологический сюжет. Протестуя против устарелых канонов академической системы, они выступали как представители прогрессивного реалистического искусства. Идейным вождем Артели был Крамской. Возглавляя деятельность этой организации с первых дней ее существования и оставаясь в ее рядах вплоть до 1870 года, он отстаивал чистоту идейных позиций Артели, как объединения, которое должно возглавлять борьбу передовых художников с консервативными тенденциями Академии за широкое внедрение в искусство принципов реализма.

В ноябре 1870 года Крамской порвал с Артелью вследствие расхождения со всеми ее членами в оценке поступка художника Н. Д. Дмитриева-Оренбургского, обратившегося в Академию с просьбой о предоставлении ему денег для заграничной поездки (см. примечание 5 к письму 178). С уходом Крамского, наиболее принципиального члена Артели, деятельность ее стала клониться к упадку (см. примечание 5 к письму 47).

6

[1] В письме от 24 октября 1871 года, адресованном Нецветаеву, Васильев дает распоряжения относительно своих домашних дел и просит Нецветаева взять на себя заботу об его доме и об оставшихся в Петербурге его работах (см. «Вестник изящных искусств», 1890, т. VIII, вып. 4).

[2] Крамской пишет о I Передвижной выставке, открывшейся в Петербурге в залах Академии художеств.

[3] Появление на I Передвижной выставке картины Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» было отмечено передовой общественностью как большое художественное событие. Все писавшие об этой выставке особо останавливались на произведении Ге. С глубоким анализом содержания этой картины выступил М. Е. Салтыков-Щедрин (см. «Отечественные записки», 1871, декабрь).

[4] На I Передвижной выставке были показаны следующие произведения Перова: «Портрет писателя А. Н. Островского» (1871), «Портрет Е. П. Тимашевой» (1871), «Портрет Степанова» (1871), «Охотники на привале» (1871) и «Рыболов» (1871). Все указанные выше произведения, кроме портрета Степанова, находятся в настоящее время в Третьяковской галлерее. Местонахождение портрета Степанова неизвестно.

[5] Крамской говорит здесь о своей картине «Майская ночь».

Кроме картины «Майская ночь», на I Передвижной выставке в Петербурге были представлены следующие произведения Крамского: три монохромных портрета — пейзажиста Ф. А. Васильева, пейзажиста М. К. Клодта и скульптора М. М. Антокольского; «Портрет гр. Ф. П. Литке», этюд с натуры («Портрет крестьянина») и картина «На тяге». Первых два портрета находятся в настоящее время в Третьяковской галлерее; портрет скульптора Антокольского до 1941 года находился в Государственной картинной галлерее БССР (Минск), куда он поступил из Третьяковской галлереи; портрет Литке — в Академии наук, этюд с натуры, — повидимому, находящийся в настоящее время в Киевском музее русского искусства «Портрет крестьянина».

[6] Можно предполагать, что Крамской упоминает здесь о лице, изображенном в картине «На тяге», которое, очевидно, хорошо знал и Васильев. Возможно, это был художник Николай Корнильевич Бодаревский (1850—1921), жанрист, пейзажист и портретист. С 1869 по 1873 год Бода-

ревский учился в Академии художеств и был хорошо знаком с Крамским. Это предположение подтверждается и сходством портретных черт изображенного в картине лица с фотографическими портретами Бодаревского.

[7] Кнаус Людвиг (1829—1910) — немецкий художник. Жанрист и портретист. Можно предполагать, что упоминаемый в письме портрет работы Кнауса, с которым сравнивали картину Крамского «На тяге», является портретом берлинского коллекционера П.-Л. Равене (Ravené), написанным Кнаусом в 1857 году.

[8] Саврасов Алексей Кондратьевич (1830—1897) — пейзажист. Один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

На I Передвижной выставке в Петербурге были показаны картины Саврасова «Грачи прилетели» и «Дорога в лесу». Первая из этих картин находится в Третьяковской галлерее, вторая — в Русском музее.

[9] На I Передвижной выставке в Петербурге были показаны следующие произведения А. П. Боголюбова: «Утро после бури» (рисунок), «Аю-даг в Крыму» (рисунок), «Вид г. Арнгейма в Голландии», «Ловля осетров на Дону» и «Вид г. Одессы».

Местонахождение этих произведений неизвестно.

[10] На I Передвижной выставке в Петербурге были показаны следующие произведения М. К. Клодта: «Вид Киева из сада Муравьева» и «Полдень». Первая из этих картин была в собрании И. П. Лесникова, вторая — в собрании А. И. Макарова. Местонахождение их в настоящее время неизвестно.

[11] Иван Иванович Шишкин. На I Передвижной выставке в Петербурге были показаны следующие его произведения: «Лес» (гравюра на меди), «Сосновый лес» (рисунок пером) и картина «Вечер» (частное собрание в Москве). Местонахождение рисунка неизвестно.

[12] Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840).

[13] Ольга Емельяновна Васильева, мать художника.

7

[1] Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — крупнейший художественный критик и публицист, борец за передовое демократическое искусство, имя которого теснейшим образом связано с деятельностью Товарищества передвижных художественных выставок, с творчеством виднейших мастеров-реалистов.

Статья В. В. Стасова «Передвижная выставка 1871 года», состоящая из двух частей, была напечатана в газете «С.-Петербургские ведомости» (1871, №№ 333, 338).

[2] В своей статье Стасов утверждал, что возникновение Товарищества является значительным событием не только для самих участников его, но и для широких общественных кругов, для всех тех, кто, по выражению Стасова, «прильнет сердцем» к произведениям передвижников и «...станет ими жить». Признавая, что пропаганда реалистического искусства является одной из важнейших сторон деятельности Товарищества, он настаивал на необходимости установить бесплатный вход на выставки для беднейшего населения городов, что увеличило бы, по его мнению, посещаемость выставок и помогло бы широкой популяризации искусства.

Переходя к критическому разбору экспонированных произведений и отмечая высокий уровень выставки в целом, Стасов особо выделял произведения Ге и Перова. Однако он тут же выражал свое несогласие с исторической концепцией, которую Ге положил в основу созданного им произведения. Стасов считал, что художник дал одностороннее представление о личности Петра I. Осуждая в данном случае метод психологиче-

ской характеристики, при помощи которого Ге стремился раскрыть образ Петра, он полагал, что Ге взял ту «среднюю ноту», которая не соответствовала натуре и характеру героя его произведения: «...Петр был не такой человек, — писал Стасов, — чтоб довольствоваться негодованием, упреками, горькими и благородными размышлениями. У него мысль была тотчас же и делом, а нрав его был жесток. Значит, на допросе сына он был либо формален и равнодушен, либо гневен и грозен до бешенства» (В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, «Искусство», М., 1952, т. I, стр. 210).

Васильев не соглашался с анализом отдельных произведений в статье Стасова, не зная этих произведений. Несогласие со Стасовым в оценке картины Ге, вероятно, было основано на собственном впечатлении от этой картины, которую он видел еще до своего отъезда в Крым неоконченной, в мастерской художника.

[3] Речь идет о неизвестном письме Нецветаева, посланном Васильеву в Ялту после открытия I Передвижной выставки.

[4] См. примечание 3 к письму 4.

[5] Название картины А. К. Саврасова, бывшей на I Передвижной выставке.

[6] Не имея возможности видеть картину Саврасова «Грачи прилетели», Васильев предполагал, вероятно, что в решении взятой Саврасовым темы главную роль играл не пейзаж, а внесенный в композицию жанровый мотив. В представлении Васильева это последнее обстоятельство значительно снижало пейзажный образ.

[7] Васильев имеет в виду, вероятно, свое участие в обсуждении проекта Устава Товарищества передвижных художественных выставок, посланного 23 ноября 1869 года московской группой учредителей Товарищества петербургским художникам (см. примечание 6 к письму 5). Васильев в тот период бывал на четверговых собраниях Артели, где этот проект Устава подвергался обсуждению. Среди подписей петербургских художников под обращением москвичей имеется и подпись Васильева (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

[8] Филиппов Константин Николаевич (1830—1878) — баталист. Будучи учеником Академии художеств, был командирован в Крым, где состоял в качестве художника при русской армии. В 1858 году получил Большую золотую медаль за картину «Военная дорога между Севастополем и Симферополем во время Крымской войны» (находится в Третьяковской галлерее). С 1864 года был назначен художником при наместнике Кавказа. Последние годы жизни провел на южном берегу Крыма. Умер в Ялте.

[9] См. примечание 20 к письму 5.

[10] Иконникова.

[11] Комитет Общества поощрения художников, состоявший из девяти членов, сосредоточивал в своих руках руководство всем широким и разносторонним кругом деятельности Общества и был ответственен за распределение материальных средств. В состав Комитета избирались действительные члены Общества сроком на три года. Руководствуясь в своих действиях «высочайше утвержденным» Уставом Общества, члены Комитета ежегодно отчитывались в своей работе перед общим собранием.

[12] В тексте письма дан рисунок маленькой комнаты с окном, на фоне которого изображена фигура сидящего перед мольбертом художника. Под рисунком подпись: «Это общий вид, а вот детали»; далее следует рисунок с изображением холста, натянутого на подрамник.

[13] Речь идет о картине «Мокрый луг», исполненной Васильевым к предстоящему конкурсу 1872 года в Обществе поощрения художников. Картина в настоящее время находится в Третьяковской галлерее.

[14] Григорович.

1872

8

[1] См. примечание 21 к письму 5.

[2] Речь идет о статье В. В. Стасова «Передвижная выставка 1871 года» (см. примечания 1 и 2 к письму 7). В этой статье Стасов осуждал враждебное отношение членов Артели к организации Товарищества. Он писал о том, что Артель, «занятая своими делами, как-то равнодушно взглянула на необычайную затею и, к своему стыду, осталась в стороне от нового полезного дела; оно совершилось помимо нее».

[3] Ответ Артели на статью Стасова был опубликован в сокращенном виде в газете «С.-Петербургские ведомости» (1871, № 339).

[4] В газете «Голос» (1871, № 344) ответ Артели на статью Стасова был напечатан полностью.

[5] В данном случае Крамской приводит фразу из письма членов Артели, в которой авторы этого письма высказывают подозрение, что выступление Стасова было инспирировано Крамским, незадолго перед тем вышедшим из Артели (см. примечание 21 к письму 5 и примечание 5 к письму 178).

[6] Стасов, не соглашаясь с теми доводами, которые привели члены Артели в свое оправдание, ответил на их письмо небольшой статьей «О художественной артели», опубликованной в газете «С.-Петербургские ведомости» (1871, № 348).

В этой статье Стасов указал на то, что заявление членов Артели о их якобы «сочувственном отношении» к организации Товарищества (о чем они писали в своем письме, опубликованном в газете «Голос») не нашло себе подтверждения в их деятельности и никак не отразилось на поведении Артели по отношению к Товариществу: «Я знаю, — писал Стасов, — многих из членов Товарищества передвижных выставок, как московских, так и петербургских, и от них мне совершенно достоверно известно, что никакого подобного «сочувствия» никто из них не видал и не слыхал. Напротив, слышали они совсем другое и притом не раз. Ни единого своего произведения на выставку гг. артельщики также не представили (хотя, быть может, и могли бы)... Если бы Артель оставалась и до сих пор тем, чем она была вначале (и даже еще года четыре тому назад), то, конечно, никому и в голову не пришло бы упрекать ее в равнодушии к художественному делу» (В. В. Стасов. Сочинения, СПБ, 1894, т. II, стр. 281—282).

[7] См. примечание 20 к письму 5.

[8] См. примечание 7 к письму 5.

[9] Постоянная выставка с переменным составом картин современных русских и западноевропейских художников существовала в Петербурге при Обществе поощрения художников. Целью этой выставки было ознакомление широкой публики с достижениями, главным образом, национального искусства, а также оказание материальной поддержки художникам, кар-

тины которых продавались на выставке и разыгрывались в лотереях. Вначале она помещалась в здании, занимаемом Рисовальной школой для вольноприходящих. В 1864 году Постоянная выставка была переведена в помещение Голландской церкви у Полицейского (ныне Народного) моста. С этого времени деятельность Постоянной выставки значительно расширилась; было начато издание печатных указателей произведений, экспонированных на выставке. Состав произведений на выставке менялся каждые шесть недель.

[10] Строганов Павел Сергеевич (1825—1911), меценат, игравший большую роль в Петербургском Обществе поощрения художников. С 1865 года из средств П. С. Строганова на конкурсах, организуемых Обществом, ежегодно выдавались две премии, одна — за лучшую жанровую картину из русского быта, другая — за лучший пейзаж русской природы.

Интересуясь творчеством молодого талантливого пейзажиста Васильева, Строганов, как видно, принимал горячее участие в его судьбе. По приглашению Строганова, Васильев не раз гостил в его имениях.

Крамской благодарил Строганова за гостеприимство, оказанное ему в имении Хотень, где он жил летом в 1871 году (см. письмо 3).

[11] Можно предполагать, что Иконников, живший в то время в Ялте, просил Крамского купить для него только что вышедший декабрьский номер журнала «Отечественные записки», в котором была напечатана статья М. Е. Салтыкова-Щедрина о I Передвижной выставке.

9

[1] Шанин Африкан Сидорович (1839—1911). В 1867 году получил звание свободного художника по портретной живописи. Имел в Перми школу рисования. Содержание письма Шанина неизвестно.

[2] Иконников Яков Михайлович приезжал в Ялту навещать свою больную жену.

[3] Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель и критик. В своих статьях по вопросам искусства нередко выступал с реакционных позиций. Рассматривая творчество русских художников-реалистов как провинциальное и сопоставляя его с западноевропейским искусством, отдавал превосходство последнему.

[4] Варвара Николаевна Шустова — жена художника Н. С. Шустова (1835—1868), члена Петербургской Артели художников. Неясно, что имеет в виду Васильев, говоря о предсказаниях С. Н. Крамской.

[5] Статуя М. М. Антокольского «Иван Грозный» была показана на I Передвижной выставке. Ее появление было большим событием в жизни русского искусства. Благодаря реалистической трактовке исторического образа и высокому мастерству исполнения эта статуя заслужила самые высокие оценки.

[6] Иконников.

[7] См. примечание 13 к письму 7.

[8] Волковский Иван Васильевич (ум. в 1896 г.) — пейзажист.

В 1878 году в Правлении Товарищества передвижных художественных выставок поднимался вопрос о приглашении Волковского в качестве сопровождающего передвижные выставки в провинциальные города. Кандидатура Волковского была предложена И. И. Шишкиным.

В августе 1871 года Васильев послал на имя Волковского доверенность, уполномочивая последнего подать от его имени прошение в Академию художеств и представить туда же его картины для получения звания, какое Совет Академии найдет возможным ему дать, оценив достоинства этих картин (см. примечание 4 к письму 1).

[9] Бартков Михаил Васильевич (род. в 1842 г.) — классный художник 3-й степени, служивший смотрителем постоянных выставок в Обществе поощрения художников.

[10] На оставшейся незаполненной странице письма написано рукой Васильева: «Это осталось, должно быть, для заметок об этом письме».

10

[1] Евгения Ивановна Иконникова.

[2] Иван Иванович Шишкин.

[3] Васильев ради шутки использовал широко известный псевдоним журналиста и критика Осипа Юлиановича Сенковского (1800—1858), редактора журнала «Библиотека для чтения», издававшегося в Петербурге с 1834 по 1865 год.

[4] В январе 1872 года Васильев обращался к П. М. Третьякову с просьбой выслать ему 200 рублей (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

[5] Намереваясь приобрести картину «Мокрый луг», которую Васильев оканчивал к предстоящему конкурсу в Обществе поощрения художников, П. М. Третьяков в письмах договаривался с Васильевым о присылке картины вначале в Москву. Узнав же о том, что Васильев из-за недостатка времени 11 февраля выслал ее непосредственно в Петербург, Третьяков сам поехал туда, дождался получения Крамским картины и оставил ее за собой еще до конкурса.

[6] Можно предполагать, что Васильев просил Крамского отправить свою картину «Мокрый луг» на Постоянную выставку Общества поощрения художников (см. примечание 9 к письму 8).

[7] Неточно приведенная Васильевым начальная строфа стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно» (1840).

11

[1] Крамской получил от Васильева его картину «Мокрый луг» для представления, по его просьбе, на конкурс в Общество поощрения художников.

[2] Шишкин заканчивал в мастерской Крамского свою картину «Мачтовый лес в Вятской губернии», предназначенную для конкурса Общества поощрения художников в 1872 году. Картина еще до конкурса была приобретена П. М. Третьяковым. В каталог I Передвижной выставки в Москве, где она была показана в 1872 году, картина вошла под названием «Сосновый бор». Это название сохранилось за ней и в Третьяковской галлерее, где она находится в настоящее время.

[3] Срок ежегодного конкурса на лучшую картину пейзажной и жанровой живописи не был постоянным. В 1865 году при учреждении конкурсов (см. примечание 7 к письму 5) он был назначен на 1 ноября. В 1872 году, назначенный первоначально на 1 марта, он был перенесен на 12 марта. 1 марта открылась выставка картин, присланных на конкурс.

[4] На картине «Мокрый луг» Васильев зашифровал свою подпись, написав справа внизу сломанный якорь, изображение которого близко начертанию инициалов Ѳ. В.

[5] Постников Сергей Петрович (1838—1880) — исторический живописец.

[6] Боткин Михаил Петрович (1839—1914) — исторический живописец.

[7] «Зимой» Крамской называет картину Васильева, известную под названием «Оттепель», находящуюся в Третьяковской галлерее. Повторение картины — в Русском музее.

[8] «Мачтовый лес в Вятской губернии» («Сосновый бор»).

[9] Здесь Крамской в тексте письма дает набросок композиции картины Шишкина.

[10] Волков Ефим Ефимович (1844—1920) — пейзажист.

Какую картину представлял Волков на конкурс в Общество поощрения художников в 1872 году, установить не удалось. Премия Волкову присуждена не была.

[11] Маковский Константин Егорович (1839—1915) — исторический живописец, портретист, жанрист. Один из участников демонстративного выхода четырнадцати протестантов из Академии художеств в 1863 году. Некоторое время был членом Артели. С 1869 года — академик.

На конкурсе Общества поощрения художников в 1872 году К. Маковский получил 1-ю премию по жанровой живописи за картину «Отдых во время жатвы» (1871). Картина находилась в собрании А. Н. Голяшкина в Москве. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

12

[1] Начальная строка стихотворения А. С. Пушкина «Конь» (из цикла «Песни западных славян»).

[2] Начальная строка стихотворения Ю. В. Жадовской (1824—1883), написанного в 50-х годах прошлого века.

[3] На первой странице письма сверху приписка: «Это письмо не успел послать, как получил Ваше. Ну, да все равно пошлю». Можно предполагать, что речь идет о получении Васильевым письма Крамского от 22 февраля (см. письмо 11). Несмотря на приписку, письмо от 1 марта было отправлено одновременно с письмом от 2 марта.

[4] Васильев имеет в виду картину Шишкина «Мачтовый лес в Вятской губернии» («Сосновый бор»).

[5] Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт.

[6] Иван Иванович Шишкин.

[7] Васильев пишет о своей сестре — Евгении Александровне, которая была замужем за Иваном Ивановичем Шишкиным.

[8] Васильевым сделан набросок морского пейзажа, описание которого приведено в тексте письма.

[9] Здесь Васильевым сделаны пером еще три композиционных наброска начатых им пейзажей:

1) «Болото утром». Под рисунком подпись: «Два аршина. Утро. Эта может быть похожа мыслью на ту, которую послал Вам. Впрочем, больше продолжением».

2) «В Крымских горах с волами, везущими повозку». Под рисунком подпись: «Эта на Вашем холсте для «Охотника» (подлый холстище). Два аршина».

3) Крымский пейзаж с фигурами — «У источника». Под рисунком подпись: «В вышину 1 аршин».

Картина «Болото утром» осталась неоконченной и после смерти Васильева была передана Солдатенкову, который вместе со всей своей коллекцией завещал ее Румянцевскому музею. В музее картина экспонировалась под названием «Рассвет». В настоящее время находится в Кировском областном художественном музее им. А. М. Горького.

Вторая картина, представленная Васильевым на конкурс в 1873 году, была приобретена П. М. Третьяковым для брата Сергея Михайловича и в 1892 году после его смерти, вместе со всем собранием С. М. Третьякова, была передана в Третьяковскую галлерею, где и находится в настоящее время.

Третья картина была послана Васильевым в Общество поощрения художников. В настоящее время находится в частном собрании в Москве.

[10] Вел. кн. Владимир Александрович (1847—1909). С 1869 года был товарищем президента Академии художеств, с 1876 по 1909 год — президентом Академии художеств.

Васильев в то время исполнял для вел. кн. Владимира Александровича картину, изображающую горы и море. В письме к П. М. Третьякову от 25 ноября 1871 года им подробно изложены обстоятельства, при которых он получил этот заказ, ставший для него тяжелым бременем, безмерно усугублявшим его физические и моральные страдания: «Я представлялся здесь в октябре вел. кн. Владимиру Александровичу, который, узнав, что я нахожусь в Ялте, пожелал видеть мои произведения и меня. Так как этюдов у меня почти совсем нет, то я должен был показать ему одну из начатых картин. Она ему очень понравилась, и он оставил ее за собой, прося по окончании прислать на его имя в Петербург» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 73).

[11] Еремеевский Иван Федорович — мало известный пейзажист. Участвовал на выставке в Академии художеств в 1869 году картиной «Вид из окрестностей Петербурга», которую тогда же мог видеть Васильев.

[12] Константин Аполлонович Савицкий.

[13] Николай Николаевич Ге.

[14] Сомов Андрей Иванович (1830—1909) — художественный критик и историк искусства. Почетный вольный общник Академии художеств. С 1871 года был хранителем Эрмитажа. Автор первого каталога Музея Академии художеств (1872—1874), каталогов Эрмитажа, брошюры о К. П. Брюллове и др. Редактировал издаваемые Академией журналы: «Вестник изящных искусств» и «Художественные новости».

В 1871 году по инициативе Сомова возникло Общество русских аквафортистов, членами которого были крупнейшие художники — Крамской, Шишкин, Савицкий и другие. В 1871 году Сомовым было написано «Краткое руководство к гравированию на меди крепкой водкой».

[15] М. П. Боткину и С. П. Постникову. Перенеся в фамилию одного последний слог фамилии другого, Васильев таким образом иронизирует по поводу дружбы этих двух художников.

[16] Очевидно, Васильев имеет в виду обстоятельства личной жизни Репина. Васильев мог задать такого характера вопрос под впечатлением полученного им письма Нецветаева, который сообщал ему различные слухи о жизни Репина. Это тем более вероятно еще и потому, что одновременно с письмом Крамскому Васильев писал о Репине и Нецветаеву: «Так, значит, Репин *человеком* стал, женился. У него и женитьба-то вышла какая-то таинственная. Если узнаете что по этому предмету, то я буду очень благодарен, если сообщите мне» (Письмо от 3 марта 1872 г., «Вестник изящных искусств», СПБ, 1890, т. VIII, вып. 4, стр. 307). Репин в феврале 1872 года женился на В. А. Шевцовой. Он жил в то время в Петербурге и работал в академической мастерской над картиной «Славянские композиторы», заказанной ему А. А. Пороховщиковым, владельцем гостиницы «Славянский базар» в Москве.

[17] Речь идет об Евгении Кирилловиче Макарове, которого Васильев в шутку назвал Макар Макарович.

13

[1] На конкурсе Общества поощрения художников в 1872 году (12 марта) Васильев получил 2-ю премию за картину «Мокрый луг».

[2] Шишкин на том же конкурсе получил 1-ю премию за картину «Мачтовый лес в Вятской губернии» («Сосновый бор»).

[3] Боткин Сергей Петрович (1832—1889)—профессор Медико-хирургической академии, врач-терапевт: ученый-материалист, крупный общественный деятель. В 1872 году был приглашен сопровождать в Крым царскую семью.

[4] Речь идет о картине Васильева «Оттепель», за которую он получил 1-ю премию на конкурсе Общества поощрения художников в 1871 году.

[5] Несмотря на то, что П. М. Третьяков сразу же, как только увидел у Крамского картину Васильева «Мокрый луг», изъявил желание приобрести ее — денежная сторона этого дела решилась не сразу. Цена на картину колебалась между 1000 и 800 рублями. Крамской считал ее достойной высшей оценки. Всегда очень расчетливо расходовавший свои средства, Третьяков и в данном случае, прежде чем принять решение, запросил самого Васильева о цене на картину, указав на обе цифры, приведенные выше. Не получив от Васильева определенного ответа, Третьяков принял высшую цену, на которой настаивал Крамской.

[6] Речь идет об ежегодной выставке в Академии художеств.

[7] См. письмо 12 и примечание 16 к нему.

[8] Можно предполагать, что речь идет о детских портретах, написанных Е. К. Макаровым, который был хорошо известен Васильеву по совместной поездке на Волгу в 1870 году и работами которого он мог интересоваться. На Академической выставке в 1872 году детские портреты, исполненные Е. К. Макаровым, показаны не были. Лиц, изображенных художником, и местонахождение портретов установить не удалось.

[9] Н. Н. Ге в 1872 году исполнил повторение картины «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», заказанное ему Александром II. В настоящее время это повторение находится в Русском музее.

[10] Картину «Христос в пустыне» (см. о ней примечание 3 к письму 25).

[11] Речь идет о фотографиях крымского пейзажа, исполненных фотографом Рыльским, которые Крамской хотел использовать, работая над картиной «Христос в пустыне».

[12] Речь идет о морском пейзаже с волной, подступающей к берегу. Композиционный набросок этого пейзажа был сделан Васильевым в письме от 1—2 марта (см. письмо 12 и примечание 8 к нему).

14

[1] Судя по штемпелю отправления на конверте это письмо было послано Васильевым 30 марта 1872 года. Штемпель получения в Петербурге — 7 апреля того же года.

[2] См. примечание 4 к письму 13.

[3] Третьяков Сергей Михайлович (1834—1892) — собиратель произведений западного и русского искусства. После смерти его собрание, согласно завещанию, было передано брату, П. М. Третьякову (см. примечание 6 к письму 4), который в том же 1892 году, вместе со своей галлереей, принес собрание С. М. Третьякова в дар городу Москве. В 1925 году находившиеся в составе Галлереи произведения западного искусства из собрания С. М. Третьякова были переданы в Музей нового западного искусства. В настоящее время они хранятся в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве и в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.

[4] Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — московский коллекционер, издатель. После смерти его собрание, согласно завещанию, поступило в Московский Румянцевский музей. В 1925 году бо́льшая часть его коллекции, вместе с другими произведениями русского искусства, находившимися в Румянцевском музее, была передана в Третьяковскую галлерею.

[5] Лазаревский — управляющий Ливадией, бывшей тогда царской резиденцией в Крыму.

[6] Красносельский Александр Андреевич. В 1869 году получил звание классного художника 2-й степени.

[7] В Отделе рукописей Третьяковской галлереи в фонде Крамского хранится фотография Ф. А. Васильева, сделанная Рыльским в Крыму. На обороте рукой Васильева надпись: «никак не ухитрится снять лучше».

15

[1] На заседании Совета Академии художеств должно было рассматриваться прошение Васильева о присуждении звания, поданное им еще в сентябре 1871 года (см. примечание 4 к письму 1 и примечание 8 к письму 9).

16

[1] Речь идет о картине «Горы и море», которую Васильев писал для вел. кн. Владимира Александровича (см. примечание 10 к письму 12).

[2] Беггров Александр Иванович — владелец магазина картин, эстампов и художественных принадлежностей, а также литографической мастерской в Петербурге.

[3] Аванцо—владелец магазинов художественных принадлежностей в Петербурге и Москве.

[4] Берг — содержатель театра, открывавшегося в балаганах на Марсовом поле в дни народных гуляний на масленице и пасхальной неделе.

[5] Сцилла и Харибда, — согласно древнегреческой мифологии, морские чудовища, жившие на противоположных берегах Мессинского пролива. Морякам, проплывавшим между этими чудовищами, грозила неминуемая гибель. Выражение «между Сциллой и Харибдой» употребляется иносказательно, для обозначения затруднительного положения.

17

[1] Можно предполагать, что П. М. Третьяков, узнав о намерении Общества поощрения художников перепродать уже приобретенную им картину Васильева «Оттепель», готов был прибегнуть к суду для защиты своих прав на нее. Возможно, что после такого категорического протеста со стороны Третьякова Васильеву и было заказано повторение картины для вел. кн. Александра Александровича (впоследствии Александр III).

[2] О своем желании участвовать на Передвижной выставке Васильев неоднократно писал Крамскому. С передвижными выставками связывались и его планы на будущее. Там он намеревался показать свои картины, написанные в Крыму, когда врачи разрешат ему вернуться в Петербург. Однако обстоятельства складывались таким образом, что Васильеву не пришлось экспонироваться на передвижных выставках. Этому мешали и материальная зависимость его от Общества поощрения художников, куда он должен был посылать свои произведения, и денежные затруднения, в силу которых он часто вынужден был писать на продажу или по заказу. Мешала осуществлению его мечты и тяжелая болезнь, разрушавшая все его творческие планы.

[3] Васильев ждал из Академии художеств ответа на свое прошение о присуждении ему академического звания, так как Крамской известил его, что заседание Совета назначено на 27 или 29 апреля.

[4] Художник М. П. Боткин был братом знаменитого профессора-терапевта С. П. Боткина, к которому не раз обращался больной Васильев, живя в Ялте.

[5] В письме дан набросок цветущего кустарника глицинии, вьющегося по стене.

Вокруг рисунка надпись: «Величина каждой цветочной кисти до половины аршина и более, на которой цветы сидят рядом без промежутка».

[6] Речь идет о возможном приезде Крамского в Одессу в качестве сопровождающего Передвижную выставку, поскольку на общем собрании членов Товарищества 7 января 1872 года было принято решение сопровождать передвижные выставки, отправляющиеся по городам России, всем членам Товарищества по очереди. В Одессу первый раз была послана II Передвижная выставка, которая была там с 4 августа по 17 сентября 1873 года. Крамской в указанное время, очевидно, не ездил в Одессу. Из его писем к Васильеву и П. М. Третьякову известно, что лето 1873 года он жил безвыездно на даче в Козловке-Засеке Тульской губернии.

18

[1] Васильев вспоминает Волгу, на берегах которой он вместе с Репиным и Макаровым провел лето 1870 года.

[2] Айвазовский (Гайвазовский) Иван Константинович (1817—1900).

19

[1] Васильев ждал решения Совета Академии художеств о присуждении ему звания, от которого во многом зависела его дальнейшая судьба, в частности возможность выезда за границу для лечения. Неизвестность в данном вопросе его особенно пугала, так как он предвидел трудности и осложнения с получением документов, которые могли возникнуть вследствие того, что Васильев, как незаконнорожденный и формально не усыновленный своим отцом, был записан в паспорте, выданном Петербургской мещанской управой 8 мая 1870 года, не «Федор Александрович», а «Федор Викторович» (см. об этом письмо 26).

[2] См. примечание 11 к письму 13.

[3] На всемирную выставку в Лондон в 1872 году Академия отправила картину Васильева «Оттепель» (собственность вел. кн. Александра Александровича), художественные достоинства которой были высоко оценены корреспондентами лондонских газет и журналов, писавших о данной выставке. Картина в настоящее время находится в Русском музее.

[4] В издававшейся в Петербурге на французском языке газете «Journal de St. Petersbourg» от 19/31 мая 1872 года была перепечатана статья о Лондонской всемирной выставке, опубликованная в английской газете «Morning Post». Среди отзывов о картинах русских художников здесь имелся отзыв и о картине Васильева.

В отчете Академии художеств за 1872 год этот отзыв был перепечатан дословно (см. примечание 10 к письму 22).

20

[1] Упоминаемое письмо Крамского не обнаружено.

[2] Крамской, вероятно, узнал в то время, что Н. Н. Ге, являвшийся одним из учредителей Товарищества, и примкнувший к передвижникам А. П. Боголюбов были избраны членами Совета Академии художеств.

[3] Щербатов Михаил Лазаревич. В 1878 году получил звание художника 3-й степени. Был близок к Крамскому и пользовался его советами.

[4] Летом 1872 года, живя на даче на станции Серебрянка, вместе с Шишкиным и Савицким, Крамской работал над картиной «Христос в пустыне» (см. примечание 3 к письму 25).

21

[1] См. примечание 11 к письму 13.

[2] Мангуб-Кале и Чуфут-Кале — окрестности Бахчисарая. Именно в этих местах Крамской, по его собственным словам, нашел пейзаж, наиболее отвечающий замыслу его картины «Христос в пустыне» (см. об этом примечание 19 к письму 5).

22

[1] Олехнович — врач, лечивший Васильева в Ялте.

[2] См. примечание 10 к письму 12.

[3] Отвечая на письмо П. М. Третьякову 29 июля 1872 года, Васильев писал: «Вы, Павел Михайлович, просите прислать мерки и описать сюжеты картин. Первое я могу еще сделать, но второе, т. е. описание сюжета, во-первых, трудно, а во-вторых, совершенно бесполезно, даже вредно для меня, потому, что Вы можете составить себе по моему описанию или совершенно ложное, или, по крайней мере, далеко не подходящее представление о картинах, так что будете искать в них то, что Вы сами себе по описанию представите, да и сам я могу значительно изменить картину. Скажу только, что у меня начато девять картин, из которых русских три и крымских шесть...» Далее Васильев дает краткое описание сюжетов и размеры начатых им картин («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 117).

На основании этого письма можно предполагать, что среди начатых Васильевым произведений был пейзаж «В Крымских горах» и картина, известная в настоящее время под названием «У источника» (см. примечание 9 к письму 12). В этом же письме Васильев упоминает о начатой картине с изображением утра. Указанные в письме размеры этой картины почти совпадают с размерами неоконченного пейзажа «Болото осенью», находящегося в настоящее время в Русском музее.

[4] Уступленная Васильевым К. Т. Солдатенкову картина «Болото утром» по мотиву близка к его картине «Мокрый луг».

[5] Так называет Васильев приобретенную Третьяковым картину «Мокрый луг», бывшую на конкурсе в 1872 году.

[6] «Горы и море» (см. примечание 10 к письму 12).

[7] «Рассвет» (см. примечание 9 к письму 12).

[8] См. примечание 1 к письму 19.

[9] См. примечание 4 к письму 1.

[10] Говоря об отзыве о картине Васильева «Оттепель», помещенном в одной из лондонских газет, Ваке, вероятно, имел в виду статью, напечатанную в «Morning Post» от 16 мая 1872 года. Автор статьи писал: «Мы желали бы, чтоб г. Васильев приехал к нам в Лондон и написал бы наши лондонские улицы во время быстрой оттепели, потому что мы уверены, что никто бы не написал их так, как он. Взгляните на его отличную картину «Оттепель», на мокрую грязь, на серый, грязный и коричневый снег; заметьте колеи, текущую воду и общую слякоть и скажите, не он ли настоящий артист для этой задачи» (цит. по «Отчету императорской Академии художеств за 1872 год», СПБ, 1873, стр. 89). (См. примечание 4 к письму 19.)

[11] Речь идет о статье А. Матушинского «Последние художественные выставки в Петербурге», напечатанной в журнале «Русский вестник» за 1872 год, № 6. Говоря о пейзажах, представленных на Академической выставке, он отдает первенство произведениям А. И. Мещерского и Васильева. Критические замечания в данной статье относились к картине Шишкина «Сосновый бор», получившей 1-ю премию на конкурсе Общества поощрения художников, и к картине Саврасова «Грачи прилетели».

[12] «Горы и море» (см. примечание 10 к письму 12).

[13] Богацкий Николай Тимофеевич — портретист. Вольноприходящий ученик Академии художеств с 1860 по 1861 год и с 1870 по 1872 год.

[14] На последней странице письма сверху приписка: «Посылаю письмо через Щербатова — вернее».

23

[1] В 1872 году в Петербурге скончался брат Ф. А. Васильева Александр Александрович Васильев.

Васильев, видимо, тяжело переживал эту утрату, хотя близких отношений между братьями не было. «У меня случилось несчастье, которое легло тяжелым камнем на всю мою жизнь, — смерть брата моего, который жил в Петербурге», — писал Васильев П. М. Третьякову 29 июля 1872 года («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 118). Не имея никаких средств к жизни, одинокий и больной, А. А. Васильев, живя в Петербурге, обращался за материальной помощью к сестре Евгении Александровне Шишкиной, урожд. Васильевой. Судя по письмам к ней, А. А. Васильев был человек опустившийся, без всяких определенных занятий (письма А. А. Васильева к Е. А. Шишкиной хранятся в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Фонд И. И. Шишкина).

[2] Речь идет о картине «Горы и море» (см. примечание 10 к письму 12). Местонахождение ее в настоящее время неизвестно.

24

[1] Картину «Христос в пустыне».

[2] Крамской имеет в виду опубликованные в газете «С.-Петербургские ведомости» две статьи Стасова: «Русская живопись и скульптура на Лондонской выставке» (№ 201) и «Еще о наших картинах и скульптурах на Лондонской выставке» (№ 231). В этих статьях были приведены перепечатанные из английских газет отзывы иностранной прессы о русском искусстве, показанном на всемирной выставке в Лондоне в 1872 году. Почти во всех своих статьях английские корреспонденты высоко оценивали русское искусство, называли русских художников-реалистов «передовыми пионерами», у которых замечательное будущее, и должны были признать, «что не только по живописи, но и по другим искусствам Россия выступила нынче с таким могучим превосходством, которое вынудит общее почтение и наверное доставит ему аплодисменты критики» (В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. I, стр. 220).

[3] Крамской имеет в виду II Передвижную выставку, которая открылась в Петербурге 26 декабря 1872 года. Васильев не экспонировал на ней своих произведений (см. примечание 2 к письму 17).

[4] Статуя М. М. Антокольского «Петр I» была исполнена скульптором в 1872 году во время пребывания его в Италии. На Политехнической выставке в Москве, летом 1872 года, был показан гипсовый отлив статуи.

25

[1] Иван Иванович Шишкин.

[2] Крамской имеет в виду упоминавшиеся выше две статьи Стасова о Лондонской всемирной выставке (см. примечание 2 к письму 24).

В первой статье — «Русская живопись и скульптура на Лондонской выставке» автор приводит выдержку из статьи, помещенной в «Daily Telegraph», в которой среди отзывов о произведениях таких русских художников, как В. В. Верещагин, В. Г. Перов и другие, имеется положительный отзыв о картине Васильева «Оттепель». Художественные достоинства этого произведения были отмечены и в других статьях, помещенных в английских газетах (см. примечание 4 к письму 19 и примечание 10 к письму 22).

[3] Крамской пишет о своей картине «Христос в пустыне», над которой он усиленно работал летом 1872 года.

Художник, по его собственному признанию, прибегнул к сюжету, заимствованному из евангельской легенды, как к «иероглифу», посредством которого он стремился выразить глубоко демократический в основе своей замысел картины. В образе Христа он стремился воплотить свои представления о современном человеке, передовом общественном деятеле, который готов посвятить свою жизнь служению народу. Однако эта идея его произведения, воплощенная в евангельском сюжете, получила отвлеченное, утопическое толкование.

26

[1] «Горы и море».

[2] Четыре панно для ширм (см. письмо 23).

[3] Неизвестно, какую именно картину имеет в виду в данном случае Васильев.

[4] То есть о картине «Христос в пустыне» (см. примечание 3 к письму 25).

[5] Рафаэль Санти (1483—1520).

27

[1] Картину «Христос в пустыне».

[2] См. письмо 26.

[3] См. письмо 20.

[4] Васильев был удостоен звания классного художника 1-й степени за картины «Приближение грозы», «Вид на Волге» и «Вид в Парголове», с обязательством выдержать установленный экзамен по наукам (Отчет императорской Академии художеств с 4 ноября 1871 по 4 ноября 1872 г., СПБ, 1873, стр. 20).

Первая из трех вышеупомянутых картин находится в Русском музее, вторая — в Третьяковской галлерее, третья — в частном собрании в Ессентуках.

[5] Юндолов Иван Егорович — помощник делопроизводителя в Академии художеств.

[6] Вел. кн. Мария Николаевна (1819—1876) — президент Академии художеств и Петербургского Общества поощрения художников (1852—1876).

[7] Крамской имеет в виду Передвижную выставку (см. примечание 2 к письму 17).

[8] Васильев прислал в подарок Софье Николаевне Крамской браслет с драгоценными украшениями.

28

[1] Устройство своей персональной выставки Васильев непосредственно связывал с возвращением в Петербург, куда он думал приехать на короткий срок перед своим предполагавшимся отъездом за границу. Считая для себя эту выставку делом первостепенной важности, Васильев поставил целью закончить до отъезда все начатые им в Крыму картины. Однако выставка при жизни художника не состоялась. Картины, написанные Васильевым в Крыму, были показаны в Петербурге на его посмертной выставке, которая открылась 3 января 1874 года в помещении Общества поощрения художников.

[2] При публикации писем Васильева к Григоровичу в 1890 году Стасов поместил и это письмо с примечанием, указывающим на то, что письмо публикуется по копии, приложенной Васильевым к письму Крамскому. По мнению Стасова, это письмо не было послано Васильевым Григоровичу («Вестник изящных искусств», т. VIII, вып. 5, стр. 387—388).

Возможно, что Крамской был прав, предполагая, что Григорович получил письмо Васильева (см. об этом письмо 31). Григорович мог не доложить о нем в Обществе поощрения художников, так как считал, что содержание письма произведет неблагоприятное впечатление на членов Комитета и отразится на материальном положении больного художника, получавшего от Общества ежемесячную ссуду.

[3] Мария Александровна, дочь Александра II.

[4] О какой картине идет речь, неизвестно.

[5] Бок (фон Бок) Георгий Тимофеевич (1818—1876) — вице-адмирал.

[6] Васильев предложил вел. кн. Владимиру Александровичу написать вид из дворца Эриклик, который был построен архитектором Монигетти в горной части Крыма.

[7] Этюд для картины «Вид из Эриклика», исполненный Васильевым в сентябре—октябре 1872 года, в 1894 году был приобретен И. С. Остроуховым у тетки Васильева, жившей в Москве. В 1929 году после смерти Остроухова, в составе всей его коллекции, был передан в Третьяковскую галлерею, где и находится в настоящее время.

[8] «Горы и море», оконченную Васильевым в августе 1872 года.

[9] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Из Гете» (1840).

[10] Написав с натуры этюд (см. примечание 7 к данному письму), Васильев в конце октября начал работу над самой картиной «Вид из Эриклика», которую он закончил к 24 декабря 1872 года. Картина находится в Русском музее.

[11] См. примечание 8 к письму 27.

[12] Можно предполагать, что в число двенадцати-тринадцати картин, которые Васильев намеревался показать на своей персональной выставке в Петербурге, входили, прежде всего, уже оконченные им картины: «Мокрый луг», «Горы и море» и картина, проданная через вел. кн. Владимира дочери Александра II. Затем Васильев имел в виду, вероятно, «Вид из Эриклика» и четыре панно для ширм. Среди остальных картин, уже начатых в то время Васильевым, которые он хотел окончить до отъезда из Ялты в Петербург, были, вероятно: «Болото утром», предназначенная для Солдатенкова, «Лес осенью», «В Крымских горах», «У источника» и «Заброшенная мельница» (см. примечание 5 к письму 1, примечание 9 к письму 12 и примечания 3 и 4 к письму 22).

[13] См. примечание 1 к данному письму.

[14] О картине «Христос в пустыне».

29

[1] Заключительная фраза из произведения Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

[2] См. примечание 7 к письму 12.

[3] В письме сделан набросок пером композиции картины «Вид из Эриклика».

[4] В тексте письма изображены колонковая кисть и волос.

30

[1] 23 ноября 1872 года одновременно с данным письмом Крамскому Васильев послал письмо и А. С. Нецветаеву, в котором он упрекал последнего за участие в недостойных интригах, имевших место в некоторых художественных кругах Петербурга и в Обществе поощрения художников вокруг имени Васильева («Вестник изящных искусств», т. VIII, вып. 4, стр. 312).

[2] Васильев здесь имеет в виду франко-прусскую войну 1870—1871 годов, закончившуюся поражением Франции и падением Второй империи.

[3] Речь идет о Парижской Коммуне 1871 года. Представляя себе Коммуну с «сияющей радостью лицом», Васильев в то же время говорит о ней, как о «страшном призраке», имея в виду отношение к ней буржуазии.

31

[1] После проведенной в Академии художеств в 1859 году реформы преподавания и утверждения тогда же нового Устава, последний неоднократно пересматривался, под давлением насущных требований жизни в него на протяжении ряда лет вносились частичные изменения. К работе в одной из комиссий для пересмотра Устава был привлечен Крамской и другие художники. По признанию самого Крамского, работа этой комиссии не дала серьезных практических результатов и не смогла внести коренных изменений в существующую систему преподавания в Академии. Однако Крамской считал своим долгом принимать участие во всех начинаниях, так или иначе связанных с делом преобразования Академии.

[2] Гун Карл Федорович (1830—1877) — исторический живописец и жанрист. С 1868 года — академик. В 1871 году был причислен к Академии художеств сверхштатным преподавателем с правом участия в академическом Совете.

[3] Резанов Александр Иванович (1817—1887) — архитектор. С 1871 года — ректор Академии художеств по части архитектуры.

[4] Чистяков Павел Петрович (1832—1919) — исторический живописец. С 1870 года — академик; с 1872 по 1890 год — адъюнкт-профессор. Учитель ряда крупнейших русских художников, таких, как В. И. Суриков, В. Д. Поленов, В. А. Серов, М. А. Врубель и другие.

[5] Иордан Федор Иванович (1800—1883) — гравер. С 1844 года — академик; с 1850 года — профессор. С 1854 года — заведующий гравировальным классом в Академии художеств. С 1871 года — ректор живописи и скульптуры в Академии художеств.

[6] Согласно Уставу Товарищества передвижных художественных выставок, сумма, остававшаяся после расходов по передвижению и устройству выставок, за вычетом из нее 5 процентов в общий фонд Товарищества, делилась между его членами, сообразно стоимости выставленных ими произведений. Приведенные в письме суммы были получены художниками после I Передвижной выставки.

[7] Речь идет о картине «Горы и море», которую Васильев сдал вел. кн. в августе 1872 года.

[8] См. письмо 28 и примечание 2 к нему.

[9] См. письмо 28.

[10] Речь идет о картине «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). Замысел ее возник у Крамского еще в период работы над картиной «Христос в пустыне», в непосредственной связи с замыслом этой первой картины (см. примечание 3 к письму 25).

Во втором своем произведении художник ставил перед собой задачу показать красоту нравственного подвига передового общественного деятеля своей эпохи. Но не понимая сущности общественных противоречий и не видя реальных путей к разрешению их, он пришел к трактовке этого подвига, как трагедии человека, идеалы которого преданы осмеянию. Именно поэтому сюжетом его картины оказалась сцена грубого поругания римлянами Христа. Васильев, как и Крамской, полагал, что, избрав этот сюжет, художник нашел ту «форму», посредством которой он сможет наиболее полно раскрыть увлекавшую его идею. Однако с течением времени, в процессе самой работы над картиной, Крамской все явственнее ощущал, что такая пессимистическая трактовка темы противоречит его собственному первоначальному замыслу.

Затратив немало времени и сил на создание картины, он не завершил работу. Картина осталась неоконченной. В настоящее время она хранится в Русском музее.

[11] Крамской имеет в виду письмо Нецветаева, о котором Васильев ему писал 23 ноября (см. письмо 30).

[12] Можно предполагать, что речь идет о двух картинах Шишкина «Лесная глушь» (1872) и «Полдень» (1872). Картина «Лесная глушь» в настоящее время находится в Русском музее. Картина «Полдень. Перелесок» принадлежала Солдатенкову. После его смерти, согласно завещанию, была передана в Румянцевский музей вместе со всей коллекцией Солдатенкова. В настоящее время находится в Иркутском областном художественном музее.

[13] Третьяков выразил желание приобрести для своего собрания картину Крамского «Христос в пустыне». Для окончательного решения этого вопроса он приезжал в Петербург.

32

[1] В письме дан набросок морского пейзажа во время прибоя.

[2] Речь идет о картине «Вид из Эриклика» (см. примечания 7 и 10 к письму 28).

[3] Речь идет о замысле картины Крамского «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 10 к письму 31.)

[4] Можно предполагать, что Васильев заканчивал и собирался прислать в Общество поощрения художников для продажи свою картину «У источника», находящуюся в настоящее время в частном собрании в Москве (см. примечание 9 к письму 12). Размер картины 89,5 $\times$ 58,6 совпадает с размером, указанным Васильевым в данном письме. Это предположение тем более вероятно, что еще 29 июля 1872 года он писал Третьякову об этой картине, как о наиболее законченной из своих работ.

[5] Васильеву при его отъезде из Петербурга было выдано из Академии свидетельство о том, что он с 19 мая 1871 года «уволен в отпуск в разные губернии России по 1 ноября 1871 года» (ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств). Таким образом, бо́льшую часть времени Васильеву при-

шлось жить в Ялте с просроченным документом. Поскольку Васильев, по совету врачей, намеревался уехать из Крыма в Италию или на Восток, необходимость получить документы была особенно острой.

[6] «Вид из Эриклика».

[7] Речь идет о цене за картину Крамского «Христос в пустыне».

33

[1] Неясно, кого имеет в виду в данном случае Васильев.

[2] Лазаревская — жена управляющего Ливадией.

[3] Главное действующее лицо повести М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

[4] Мендельсон-Бартольди Феликс Якоб Людвиг (1809—1847) — немецкий композитор.

[5] Шопен Фредерик (1810—1849) — польский композитор и пианист.

[6] Шуберт Франц (1797—1828) — австрийский композитор.

[7] Гуно Шарль Франсуа (1818—1893) — французский композитор.

[8] Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт.

[9] Из какого произведения приведенные Васильевым слова песни, установить не удалось.

[10] Речь идет о приобретенной Третьяковым картине Крамского «Христос в пустыне».

[11] Ныне устаревшее название одной из форм психического заболевания.

1873

34

[1] «Вид из Эриклика» (см. письмо 28 и примечания 7 и 10 к нему).

[2] Речь идет о картине «Мокрый луг», исполненной Васильевым в 1872 году.

[3] Берне Карл Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист. Из какого произведения взято Крамским приведенное выражение, установить не удалось.

[4] Крамской, не решаясь рассказать правду о денежных расчетах Григоровича с вел. кн. Владимиром за картину Васильева «Вид из Эриклика», только намекает здесь об изменениях, которые произошли в ее оценке, вследствие мелочной расчетливости вел. кн. (см. об этом письмо 39 и примечание 2 к нему).

[5] Речь идет о конкурсе в Обществе поощрения художников.

[6] Оконченные Шишкиным картины «Лесная глушь» и «Полдень. Перелесок», показанные художником на II Передвижной выставке (см. примечание 12 к письму 31).

[7] Картина А. П. Боголюбова «Устье Невы» (1872), показанная на II Передвижной выставке в Петербурге, получила высокую оценку и была приобретена П. М. Третьяковым. В настоящее время находится в Третьяковской галлерее.

[8] II Передвижная выставка была открыта в Петербурге с 26 декабря 1872 года по 15 февраля 1873 года.

[9] См. письмо 5 и примечание 20 к нему, и письмо 8.

[10] Крамской имеет в виду оконченную им картину «Христос в пустыне».

[11] Речь идет о будущей картине Крамского «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 10 к письму 31.)

[12] См. письмо 3 и примечание 2 к нему.

[13] См. письмо 31 и примечание 1 к нему.

[14] Панов Михаил Михайлович (1836—1897) — земляк Крамского. В 1865 году получил звание свободного художника за портрет, исполненный акварелью. Работал ретушером у фотографа, позднее имел собственную фотографию в Москве.

[15] Ольга Емельяновна Васильева.

35

[1] Речь идет о картине «В Крымских горах», находящейся в Третьяковской галлерее.

[2] В письме Васильевым сделан карандашом рисунок картины «В Крымских горах».

[3] Вероятно, Васильев имеет в виду картины, исполняемые Шишкиным к предстоящему конкурсу в Обществе поощрения художников.

[4] Картины «Мачтовый лес в Вятской губернии» («Сосновый бор»), за которую Шишкин в 1872 году получил 1-ю премию на конкурсе.

[5] См. примечание 1 к письму 31.

36

[1] Речь идет о картине «Вид из Эриклика» (см. о ней примечания 6, 7 и 10 к письму 28).

[2] Васильев родился 10 февраля 1850 года. Эта же дата указана на могильном камне, на месте погребения Васильева в Ялте. Рисунок с изображением могилы Васильева, исполненный Шишкиным в 1879 году, воспроизведен в статье В. Михеева «Ф. А. Васильев», напечатанной в журнале «Артист», 1894, № 44.

[3] Картину «В Крымских горах».

[4] Орловский Владимир Донатович (1842—1914) — пейзажист. Ученик Боголюбова. Наиболее яркий представитель академической пейзажной живописи, ее салонного направления. Большую золотую медаль Орловский получил в 1868 году за три картины, изображающие крымские виды. Местонахождение их неизвестно.

[5] Тройон Констан (1810—1865) — французский художник. Пейзажист и анималист.

Васильев имеет в виду его картину «Поселяне, отправляющиеся на рынок» из Кушелевской галлереи, являющуюся повторением картины, бывшей в 1859 году на выставке в Парижском Салоне.

Картина, бывшая в Кушелевской галлерее, хранится в настоящее время в Эрмитаже.

[6] В 1863 году после смерти гр. Н. А. Кушелева-Безбородко (1834—1862) в Академию художеств поступила, по завещанию, принадлежавшая ему коллекция картин и скульптур, основанная в 1735 году А. А. Безбородко, в которую входили, главным образом, произведения крупнейших иностранных мастеров XVII—XIX веков. Согласно завещанию владельца, коллекция его должна была составить отдел Музея Академии художеств, открытый для художников и публики, «допускаемых без стеснения в форме одежды». В настоящее время бóльшая часть произведений, входивших в состав Кушелевской галлереи, находится в Эрмитаже.

[7] Мейсонье Жан-Луи-Эрнст (1815—1891) — французский художник. Исторический живописец, баталист и жанрист.

[8] Картину «Христос в пустыне».

[9] Речь идет о задуманной Крамским картине «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»).

37

[1] Письмо ошибочно датировано 15 января в книге «И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи», изд. А. Суворина, СПБ, 1888, стр. 121, и в книге И. Н. Крамской. Письма, 1937, т. I, стр. 142.

38

[1] Крамской предполагал предпринять поездку в Италию и на Восток для того, чтобы собрать материалы к картине «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»).

[2] Среди известных в настоящее время произведений Крамского нет картины, носящей название «Божий человек». Можно предположить, что картина или не была написана художником, или получила при окончании другое название. Возможно, замысел этого произведения нашел отражение

в картине Крамского «Созерцатель», законченной художником в 1876 году и находящейся в Киевском музее русского искусства.

[3] Данная тема давно привлекала к себе внимание Крамского. Еще в 1867 году художником был сделан первый вариант картины (Иллюстрированный каталог... Составил и издал Н. Собко, СПБ, 1887, стр. 11). Каково было решение этого варианта, неизвестно.

Живя летом 1873 года в Козловке-Засеке, Крамской осуществил свое намерение вернуться к работе над темой «Осмотр старого дома». О том, как он представлял себе на этом этапе композицию картины, см. письмо 62 и примечания 2 и 3 к нему.

О дальнейшей работе над этой же темой см. письмо 184 и примечание 3 к нему, письмо 185, письмо 186 и примечание 13 к нему.

[4] См. примечание 10 к письму 31.

[5] См. примечание 3 к письму 41.

[6] К участию в конкурсе на Большую золотую медаль Савицкий допущен не был (см. примечание 6 к письму 185).

[7] «Вид из Эриклика» (см. письмо 28 и примечания 7 и 10 к нему, письмо 34).

39

[1] 29 января 1873 года, используя присланную Крамским форму прошения (см. письмо 37), Васильев направил в Совет Академии художеств просьбу об освобождении его «от словесного экзамена по наукам», связанного с получением диплома на звание классного художника 1-й степени. На просьбу Васильева Академия, ссылаясь на существующий закон, ответила отказом и присужденное ему еще в 1872 году звание классного художника 1-й степени заменила званием почетного вольного общника, которое не могло дать больному художнику юридических оснований для получения необходимого ему вида на жительство.

[2] Григорович известил Васильева о судьбе его картины «Вид из Эриклика». Приняв заказ, ввиду крайних денежных затруднений, Васильев исполнял картину с огромным напряжением физических и моральных сил, рассчитывая на гонорар, который даст ему возможность расплатиться с долгами и спокойно работать над увлекавшими его серьезными темами. Узнав из письма Григоровича о том, что вел. кн. оценил картину значительно дешевле, чем Васильев предполагал, он с горечью пишет Крамскому о жестоком равнодушии «высокопоставленных» людей к художникам.

[3] Васильев имеет в виду свою работу над картиной «В Крымских горах», которую он торопился закончить к предстоящему конкурсу в Обществе поощрения художников.

40

[1] Забелло Пармен Петрович (род. в 1830 г.) — скульптор. Брат жены художника Н. Н. Ге.

[2] Monstre *(франц.)* — чудовище, урод.

[3] В ответ на полученное письмо Нецветаева, содержание которого в общих чертах изложено в данном письме Крамскому, Васильев отправил ему резкое и полное возмущения письмо, изобличающее безответственность и предвзятость его суждений: «...Вы смотрите на поступки некоторых наших общих знакомых с ложной точки зрения, — писал он Нецветаеву в этом письме. — Вот доказательства. Описывая, как *воротилы* отступают *от своих же постановлений,* Вы положительно нелогично критикуете такие отступления и видите в них только *нарушение формальности,* выпуская из виду *причину,* которая *совершенно вполне* уважительна.

Баллотировать Забелло совершенно не нужно, потому что каждому художнику известна талантливость сего последнего, а талантливость есть входной билет на четверги, единственный «открытый лист»; баллотировка есть билет второго достоинства — вот и все... *Никогда не нужно забывать, что четверги — домашний кружок художников, которые имеют полное право распоряжаться в нем*, сегодня так, завтра иначе, и имеют право и основание ограждать себя чем угодно. Притом его общество имеет инициативу, заключающуюся в *ядре этого общества*. Это ядро, эту инициативу составляют пять, шесть членов, без которых четверги немыслимы нравственно. Очень понятно, что эти пять, шесть человек не хотят обратить четверги в место сборища всех, кому угодно будет войти туда и мешать им. То же самое, *даже еще нелогичнее рассуждение о Крамском*. Все, что Вы написали про него, доказывает, что Вы иногда можете видеть то, чего нет на самом деле. А во всем виновата предвзятая точка зрения. Самый сильный враг человеческого мозга — предубеждение: нет средства взглянуть на дело верно, если этот неумолимый, всесильный враг займет хоть один уголок в голове и сердце; никакие доводы, никакие доказательства не помогут, и человек остается уверен только в том, что подсказывает ему предубеждение, видит только те стороны, которые указывает предубеждение» («Вестник изящных искусств», т. VIII, вып. 4, стр. 314—316).

[4] Речь идет о картине «В Крымских горах».

[5] «Вид из Эриклика».

[6] Получив через Григоровича известие о том, что вел. кн. сам определил цену за заказанную им картину «Вид из Эриклика», не посчитавшись ни с желанием художника, ни с количеством времени, затраченным на ее исполнение. Васильев послал Григоровичу 22 января 1873 года письмо, в котором резко осуждал вел. кн. за допущенный им произвол. «...Но делать нечего, и я, конечно, не стану доказывать своей правоты и, будто милости, добиваться справедливости. Пусть это остается как есть и будет мне хорошим уроком, как вести себя в подобных случаях на будущее время» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 157).

[7] См. примечание 1 к письму 39.

[8] Васильев был, очевидно, назван при крещении в честь «великомученика Феодора Тирона» (17 февраля ст. ст.).

[9] Работы, которые исполнял Крамской для храма Христа в Москве (см. примечание 2 к письму 3).

41

[1] Речь идет о картине «В Крымских горах».

[2] В письме к П. М. Третьякову от 5 февраля 1873 года Васильев привел следующие причины, мешавшие ему оценить свою картину: «...назначение цены за нее — вещь для меня совсем невозможная. Сегодня мне картина кажется отличною, завтра она кажется мне отвратительною, и не только не могу я определить цены ей — не могу сказать даже, хороша она или никуда не годится. Если бы Вы только знали, до какой степени я лишен возможности угадывать достоинство или недостатки своих картин, то Вы поверили бы мне. В течение двух лет я лишен всякой художественной среды, всякой возможности сравнивать свои картины с другими, а это сравнение — единственная возможность верно взглянуть на свою картину. Скажите, каким образом я назначу цену тому, что я даже приблизительно не знаю. Я не могу себе представить, какое место мои крымские картины занимают на выставке и как они выглядят. ...два года я нахожусь в сомнении, которое ни разу не рассеялось» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 159—160).

[3] Речь идет о картине Репина «Бурлаки на Волге», над которой он в это время работал, значительно углубляя и расширяя тему по сравнению с первым вариантом, выполненным им в 1871 году. Критика Васильева относилась либо к эскизу, который он мог видеть у Репина еще во время их совместной поездки на Волгу в 1870 году, либо к первому варианту картины, с которым художник выступил на конкурсе Общества поощрения художников в марте 1871 года. После этого, побывав летом 1872 года еще раз на Волге, Репин снова приступил к работе над тем же холстом и заново переписал всю картину. Разительные изменения, происшедшие в картине в результате ее коренной переработки, прекрасно охарактеризовал В. В. Стасов, видевший вариант композиции, исполненный Репиным в 1871 году, и пристально следивший за всем дальнейшим ходом работы над этим замечательным произведением. В статье, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях», в связи с появлением картины Репина «Бурлаки на Волге» на выставке в Академии художеств в 1873 году среди произведений, отправляемых на всемирную выставку в Вену, Стасов писал: «Уже года два тому назад картина эта пробыла несколько дней на выставке Общества поощрения художников и поразила всех, кто ее видел. Но она была тогда почти еще только эскизом. С тех пор громадные превращения произошли с нею. Почти все теперь в ней переделано или изменено, возвышено и усовершенствовано, так что прежнее создание просто ребенок против того, чем нынче сделалась картина. В короткое время художник созрел и возмужал, выкинул из юношеского вдохновения все, что еще в нем было незрелого или нетвердого, и явился теперь с картиною, с которою едва ли в состоянии померяться многое из всего, что до сих пор создано русским искусством» (В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. I, стр. 239. «Картина Репина «Бурлаки на Волге»).

[4] В письмах к Крамскому Васильев резко критиковал систему преподавания в Академии художеств.

[5] Е. К. Макаров в 1872 году сопровождал вел. кн. Николая Николаевича (старшего) в его путешествии по Турции и Палестине.

[6] Возможно, Васильев имел в виду неудачу, постигшую М. К. Клодта на конкурсе 1870 года. Представленная им тогда в Общество поощрения художников картина не была удостоена премии. А. Г. Горавский, сообщая 21 марта 1870 года П. М. Третьякову о результатах конкурса, писал: «Оба Клодта оборвались, не задались им вещи...» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). В том же году Клодт участвовал на выставке в Академии художеств, по окончании которой лучшие произведения были также удостоены денежных премий. Он мог рассчитывать получить эту премию, поскольку показанная им на выставке картина «Полдень» заслужила общее признание и высокую оценку в печати. Но, может быть, именно потому, что эта оценка была дана Стасовым, борцом за демократическое искусство, а сам Клодт являлся в то время членом только что созданного Товарищества передвижных художественных выставок, Совет Академии художеств не признал картину Клодта достойной премии и присудил ее художнику Л. Ф. Лагорио за картину «Кавказский вид». После этих неудач Клодт действительно больше никогда не участвовал в конкурсах Общества поощрения художников.

[7] Монигетти Ипполит Антонович (1819—1878) — архитектор. По рисункам Монигетти были изготовлены ширмы, для которых Васильеву были заказаны четыре панно.

[8] Речь идет о раме для картины «В Крымских горах».

[9] Картина Крамского «Христос в пустыне» была приобретена П. М. Третьяковым и находилась в его собрании в Москве.

[10] В приведенном выше письме к П. М. Третьякову Васильев извещал его о своем решении в отношении продажи конкурсной картины (см. примечание 2 к данному письму).

42

[1] Предваряя текст своего письма словом «Хамелеон», Крамской хотел обратить внимание Васильева на цветные листы почтовой бумаги, на которых написано письмо.

[2] Речь идет о картине «Христос в пустыне», бывшей на II Передвижной выставке.

[3] Совет Академии художеств приобрел на II Передвижной выставке картину Шишкина «Лесная глушь» (1872), присудив за нее художнику звание профессора.

[4] Верещагин Василий Петрович (1835—1909) — исторический живописец. Член Совета и профессор-преподаватель Академии художеств.

[5] Вениг Карл Богданович (1830—1908) — исторический живописец. С 1862 года профессор. Член Совета Академии художеств и товарищ председателя.

[6] Шамшин Петр Михайлович (1811—1895) — исторический живописец. С 1853 года — профессор. С 1883 года был назначен ректором живописи и скульптуры.

[7] Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911) — жанрист и пейзажист. Инициатор и один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. С 1870 года — академик; с 1893 года — действительный член Академии художеств. В 1902 году вышел из состава действительных членов Академии.

[8] Тимашев Александр Егорович (1818—1893) — министр внутренних дел, почт и телеграфа. С 1869 года — почетный член Академии художеств.

[9] См. примечание 6 к письму 185.

[10] Произведения русских художников, отобранные для международной выставки в Вене, открывшейся 1 мая 1873 года, были предварительно показаны на выставке в Академии художеств, состоявшейся в течение февраля—апреля 1873 года. На этой выставке было также показано искусство Польши и Финляндии, входивших тогда в состав России.

[11] Речь идет о картине «Мокрый луг», находившейся в собрании П. М. Третьякова.

[12] На Академической выставке 1873 года польское искусство было представлено произведениями следующих живописцев и скульпторов: Герсона Войцеха-Альберта (1831—1901), Леслера Александра (1814—1844), Сыпневского Феликса Феликсовича, Миллера Карла Карловича (род. в 1838 г.), Кочеровского Петра Каспаровича, Ивановского Никодима Ксаверьевича, Кухаржевского Людвига Антоновича (скульптор), Прушинского А. А. (скульптор), Ляхницкого Киприяна Игнатьевича и Красносельского Александра Андреевича.

[13] Крамской ошибается. На выставке была показана картина финского художника Янсона К. Е. «Туз треф в Ассандской каюте».

[14] Линдгольм Берндт-Адольф (1841—1914) — финский художник, пейзажист. На выставке была показана его картина «Лес в провинции Саволасс».

[15] II Передвижная выставка из Петербурга была перевезена непосредственно в Ригу, где была открыта с 21 марта по 15 апреля 1873 года.

[16] Статуя Антокольского «Петр I» (гипсовый отлив) была показана на Академической выставке 1873 года.

[17] Эпиграмма Батюшкова Константина Николаевича (1787—1855) «Со-

вет эпическому стихотворцу» (1810), относящаяся к С. А. Ширинскому-Шихматову, автору поэмы «Петр Великий» (К. Н. Батюшков. Стихотворения, Гослитиздат, М., 1949, стр. 91).

[18] Микешин Михаил Осипович (1836—1896) — скульптор, живописец и иллюстратор. Вероятно, Крамской имеет в виду его картину «Катерина», написанную на сюжет одноименной поэмы Т. Г. Шевченко. На Академической выставке 1873 года картины Микешина не было. Местонахождение ее в настоящее время неизвестно. Известен рисунок Микешина «Катерина» (Русский музей). Его сюжет полностью совпадает с описанием картины, данным Крамским. Справа на рисунке подпись: «17 мая 1872».

[19] То есть за работы для росписи храма Христа в Москве (см. примечание 2 к письму 3).

[20] В 1873 году Крамской написал портрет гр. Петра Александровича Валуева (1814—1890), министра государственных имуществ. Портрет экспонировался на III Передвижной выставке 1874—1875 годов, принадлежал учетному банку в Петербурге. Местонахождение в настоящее время неизвестно.

[21] В 1875 году Крамским был окончен портрет вел. кн. Александра Александровича в рост. Крамской принял этот заказ, рассчитывая на полученные за него деньги осуществить поездку на Восток для собирания материала к задуманной им картине «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»).

[22] В 1872 году Крамским был исполнен портрет министра путей сообщения гр. А. П. Бобринского, экспонировавшийся на II Передвижной выставке 1872—1873 годов. Крамской полагал, что исполнение этого портрета обеспечило ему заказ портрета П. А. Валуева и портрета вел. кн. Александра Александровича.

[23] Крамской имеет в виду письмо, в котором Нецветаев сообщил Васильеву о художественных новостях Петербурга, в том числе о продаже Крамским Третьякову своей картины «Христос в пустыне» (см. письмо 40 и примечание 3 к нему).

43

[1] Речь идет о картине «В Крымских горах», которую Васильев отправил в Петербург на имя Крамского для представления на конкурс в Общество поощрения художников.

44

[1] Крамской имеет в виду картину «В Крымских горах», об отсылке которой в Петербург Васильев сообщал Крамскому в письме от 19 февраля (см. письмо 43).

[2] Гоголев — начинающий художник, пейзажист. Умер в Ялте 17 мая 1873 года.

[3] См. примечание 6 к письму 185.

45

[1] Васильев имеет в виду полученное им письмо Крамского, написанное на разноцветных листах почтовой бумаги (см. письмо 42 и примечание 1 к нему).

[2] Возможно, что Васильев был должен позолотчику Ефиму Иванову, занимавшемуся не только изготовлением рам, но и перепродажей картин (упоминания о нем имеются в документах, хранящихся в Отделе рукописей Третьяковской галлереи). Поскольку известно, что Васильев еще

в 1869 году, живя в Знаменском, писал Шишкиным в Петербург о своем долге именно позолотчику Иванову, который продавал его картину (см. об этом «Вестник изящных искусств», т. VIII, вып. 3, стр. 234), можно предполагать, что долг остался не возвращенным, и в письме Крамскому из Ялты Васильев вспоминал о нем.

Возможно, что позолотчик Ефим Иванов и художник-любитель Ефим Тимофеевич Иванов, выступавший на выставке в Академии художеств в 1869 году, одно и то же лицо.

[3] Речь идет о картине Крамского «Христос в пустыне».

[4] См. письмо 40 и примечание 3 к нему.

[5] Можно предполагать, что Васильев упоминает здесь о художнике-рисовальщике Карле Броже, рисунки которого воспроизводились в «Альбоме русских народных сказок и былин», под редакцией П. Н. Петрова, СПБ, 1874.

[6] Картина Васильева «Мокрый луг», находившаяся в собрании П. М. Третьякова, была отправлена на всемирную выставку в Вену, где экспонировалась под названием «Болото».

[7] Речь идет о картине «Горы и море» (см. примечание 10 к письму 12). На всемирную выставку в Вену эта картина не была отправлена.

[8] См. примечание 15 к письму 42.

[9] См. примечание 7 к письму 41.

46

[1] Письмо, ошибочно датированное Крамским 28 марта, с неисправленной датой вошло в первое издание писем: «И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи», СПБ, 1888, стр. 137. Та же дата повторена и в книге И. Н. Крамской. Письма, т. I. Письмо Васильева от 11 марта является ответом на это письмо Крамского.

[2] Картина 1871 года, за которую Васильев тогда же получил 1-ю премию на конкурсе Общества поощрения художников.

[3] Ахенбах Андреас (1815—1910) — немецкий художник. Пейзажист и маринист.

Ахенбах Освальд (1827—1905) — брат и ученик А. Ахенбаха. Пейзажист.

Неясно, о ком из них упоминает Крамской. Произведения обоих художников Васильев мог видеть в Эрмитаже и в Музее Академии художеств.

[4] См. об этом письмо 8 и примечание 20 к письму 5.

[5] Присланную Васильевым на конкурс картину «В Крымских горах» художники могли видеть на выставке конкурсных работ, открывшейся в Обществе поощрения художников 1 марта.

[6] Речь идет о письме Васильева Д. В. Григоровичу от 19 февраля 1873 года, в котором он писал о своей поездке за границу, полагая, что она должна состояться не позже конца августа: «Средств на это, как Вы знаете, у меня положительно нет. Эти средства может дать и уже обещало Общество поощрения». Для себя лично Васильев просил 1200 рублей в год безвозмездно, а кроме того, 1000 рублей в год с последующей выплатой для содержания матери. Последнее условие он считал необходимым для своей поездки («Вестник изящных искусств», т. VIII, вып. 4, стр. 399). (См. примечание 9 к данному письму.)

[7] Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — исторический живописец и портретист. В 1822 году по окончании Академии художеств был отправлен за границу в качестве пенсионера Общества поощрения художников.

[8] Келлер (Келлер-Вилианди) Иван Петрович (1826—1899) — истори-

ческий живописец и портретист. Учился в Академии художеств в качестве пенсионера Общества поощрения художников. В 1857 году после получения Большой золотой медали уехал за границу, где в течение двух лет также был пенсионером Общества.

[9] В начале своей деятельности Общество поощрения художников имело значительное количество пенсионеров, широко используя эту систему материальной помощи молодым художникам во время их пребывания в Академии и за границей. Свои средства, расходуемые на содержание пенсионеров, Общество часто распределяло, учитывая не столько степень одаренности начинающих художников, сколько степень их нуждаемости. С 1862 года Комитет Общества принял иной принцип распределения денежных средств: основные суммы, ассигнуемые на помощь художникам, употреблялись на заказы и покупку высокохудожественных произведений; постоянное же содержание предоставлялось только в виде особого исключения тем из молодых художников, работы которых свидетельствовали о наличии особо яркого дарования. К числу этих последних мог бы быть причислен и Васильев. Но в безвозвратной ссуде Общество отказало Васильеву, ограничившись назначением ему долгосрочной ссуды по 150 рублей ежемесячно.

[10] См. примечание 7 к письму 4.

[11] Шишкин представил на конкурс картину «Сосновый лес». Возможно, это была картина, известная в настоящее время под названием «Хвойный лес», датированная 1873 годом, находящаяся в частном собрании в Москве. Премия Шишкину присуждена не была.

[12] В. Д. Орловский представил на конкурс итальянский пейзаж «Прибой», за которую получил 2-ю премию. Местонахождение картины неизвестно.

[13] Картина Юлия Юльевича Клевера (1850—1924) «Сжатое поле» не получила премии. Местонахождение картины неизвестно.

[14] Картина Е. Е. Волкова «В окрестностях Петербурга». Премия присуждена не была. Местонахождение картины неизвестно.

[15] Куинджи Архип Иванович (1842—1910) — пейзажист. В 1873 году на конкурс Общества поощрения художников Куинджи представил свою картину «Снег». Премия присуждена не была. Местонахождение картины неизвестно.

[16] Экгорст Василий Ефимович (1831—1901) — жанрист и пейзажист. Неизвестно, какая картина была представлена им на конкурс. Премии Экгорст не получил.

[17] Маковский Николай Егорович (1842—1886) — пейзажист. Представленный им на конкурс пейзаж не был удостоен премии.

[18] Местонахождение картины Саврасова «Зима» неизвестно. Премия присуждена не была.

[19] Резанов Виктор Михайлович (род. в 1829 г.) — пейзажист. Неизвестно, какая картина была им представлена на конкурс. Премия присуждена не была.

[20] Среди произведений жанровой живописи, представленных в 1873 году на конкурс в Общество поощрения художников, была картина В. Г. Перова «Отпетый», за которую художник получил 2-ю премию.

[21] См. примечание 2 к письму 44.

[22] Кочетова Ольга Акимовна — художница-акварелистка. Ученица Крамского по рисовальной школе.

[23] Крамской имеет в виду приобретенную П. М. Третьяковым картину Васильева «Оттепель».

[24] См. письмо 3 и примечание 3 к нему.

47

[1] Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — исторический живописец, жанрист, портретист, автор ряда произведений на темы русских сказок и былин.

Картина Васнецова «Нищие-певцы» в 1873 году была не на конкурсной, а на Постоянной выставке Общества поощрения художников.

[2] Корзухин Алексей Иванович (1835—1894) — жанрист. Один из участников демонстративного выхода четырнадцати протестантов из Академии художеств в 1863 году.

[3] Журавлев Фирс Сергеевич (1836—1901) — жанрист. Один из участников демонстративного выхода четырнадцати протестантов из Академии художеств в 1863 году.

[4] Можно предполагать, что вследствие полного разрыва Крамского с Артелью и открытой критики ее деятельности некоторые члены Артели, в том числе и А. И. Корзухин и Ф. С. Журавлев, были озлоблены на Крамского. Оба эти художника, в прошлом участники протеста четырнадцати учеников Академии в 1863 году, были теми членами Артели, которые в 70-х годах не только оказались в стороне от передвижничества, но и стали активными членами вновь организованного тогда объединения — Общества выставок художественных произведений (см. примечание 1 к письму 89), противопоставившего себя Товариществу и пользовавшегося покровительством Академии.

[5] Васильев имеет в виду членов Петербургской Артели художников в поздний период ее существования, когда организация эта в целом отказалась от борьбы за реалистическое искусство и превратилась в организацию коммерческого типа, принимающую заказы на исполнение различного вида художественных работ. К числу активных членов Артели на этом этапе Васильев относил Корзухина и Журавлева.

[6] Строки из басни И. А. Крылова «Слон и Моська».

48

[1] Художник Гоголев.

[2] Максимов Василий Максимович (1844—1911) — жанрист.

49

[1] 11 марта Васильев получил от Крамского телеграмму о присуждении ему 1-й премии на конкурсе Общества поощрения художников за картину «В Крымских горах».

[2] Адвокатом Васильев называет в данном случае Крамского. При его содействии конкурсная картина Васильева «В Крымских горах» была продана П. М. Третьякову для собрания его брата Сергея Михайловича. В 1892 году, вместе со всем собранием С. М. Третьякова, она была передана в Галлерею, где находится в настоящее время.

[3] См. примечание 4 к письму 22.

[4] 29 июля 1872 года Васильев писал П. М. Третьякову, что у него начаты две большие картины одинакового размера: «...одна, изображающая горы и сосны, другая — лес южный» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 117). Первой из них является картина «В Крымских горах», оконченная в 1873 году к конкурсу; судьба второй — неизвестна. Можно предполагать, что она осталась неоконченной.

[5] См. примечание 3 к письму 40.

[6] См. примечание 1 к письму 39.

[7] Васильев пишет о художнике Гоголеве.

50

[1] См. примечание 4 к письму 22.

[2] Письмо Васильева с просьбой о присылке ему 1000 рублей за картину «В Крымских горах» было отправлено Третьякову 22 марта 1873 года. В этом же письме Васильев писал о состоянии своего здоровья, которое к тому времени значительно ухудшилось: «Оно у меня последнее время, т. е. февраль и март, совершенно развалилось: слабость страшная, тяжесть в груди, боль во *всех* боках, в груди и пр. Если бы великий князь знал, чего мне стоят заказы эти! Я буквально едва стою на ногах, а все-таки должен работать, ибо срок этого *последнего* (!!!) заказа... к 27 числу сего месяца» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 189).

[3] Гоголев.

51

[1] На конкурсе Общества поощрения художников в 1873 году 1-я премия по пейзажной живописи была присуждена Васильеву за картину «В Крымских горах», экспонированную под названием «Южный берег Крыма в зимнее время».

[2] Анонимное письмо, присланное в редакцию газеты «С.-Петербургские ведомости», было приведено в фельетоне «Недельные очерки и картинки». Оно содержало критику денежной стороны конкурсов, организуемых в Обществе поощрения художников, и его общий тон ясно говорил о прямой заинтересованности автора в этом вопросе. Автор письма не только критиковал действия Общества и искажал существующий в Обществе порядок присуждения премий, но и допускал клеветнические измышления по адресу художников-пейзажистов, которые, по его мнению, «...из этого конкурса... сделали для себя просто обильную статью ежегодного дохода, а некоторые из них являются «главными воротилами» в распределении премий по пейзажу» («С.-Петербургские ведомости», № 69, 11 марта 1873 г.).

Художники, хорошо знавшие пейзажиста В. Д. Орловского как противника Товарищества, не стеснявшегося использовать самые неблаговидные методы и часто интриговавшего против пейзажистов реалистического направления, — сразу же связали это письмо с его именем.

[3] См. примечание 12 к письму 46.

[4] См. письмо 46 и примечание 9 к нему.

[5] Гр. Стенбок-Фермор Юлий Иванович (1812—1878). Вице-президент Академии художеств (1864—1865). С 1871 года — почетный член Академии художеств.

[6] В письме к Третьякову от 3 апреля 1873 года Крамской так рассказывает о посещении Васильева Стенбоком: «Недавно приехал из Крыма Стенбок-Фермор, который заходил к Васильеву и видел его, видел в таком положении, что Васильев едва ли переживет это лето. Уже поздно. Я думаю, что и за границу ему ехать уже поздно. Несмотря на то, он, едва держа кисть, все-таки работал ширмы. Стенбок, видя такое положение, посоветовал оставить, на том будто бы основании, что великий князь за границей и едва ли будет в Петерб[урге] в то время, к которому заказ должен быть кончен. Васильев по отъезде Стенбока телеграфировал Григоровичу: можно ли отложить ширмы? А между тем Стенбок был уже здесь. Ему отвечали, разумеется, что можно, что великого князя нет и неизвестно, когда будет. Кроме того, Общество, частью по моей просьбе, решило послать его немедленно за границу, не дожидаясь уплаты долга вполне. Но я уж и не знаю, что из этого будет. Васильев умирает, долго ли он протянет, бог знает, но я думаю, что не очень...» (Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, стр. 60).

[7] Сталь фон Гольстейн Анатолий Александрович — художник-любитель.

[8] Чупин Николай Иванович (ум. в 1876 г.). В 1866—1867 годах — член-соучастник Общества поощрения художников, впоследствии действительный член Общества. В 1872—1873 годах — казначей Общества и кассир.

[9] См. примечание 1 к письму 39.

[10] См. примечание 7 к письму 41.

[11] Речь идет о картине «Бурлаки на Волге», оконченной Репиным в 1873 году. Картина была экспонирована в Академии на выставке картин, предназначенных для всемирной выставки в Вене.

[12] Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902) — исторический живописец. В 1873 году, живя за границей, исполнил по заказу вел. кн. Владимира Александровича картину «Грешница» (на сюжет из поэмы А. К. Толстого), находящуюся в Русском музее. Появление картины на выставке в Петербурге вызвало множество толков о ней.

[13] См. примечание 20 к письму 42.

[14] См. примечание 21 к письму 42.

[15] Крамской крайне осторожно, чтобы не обидеть Васильева, дает ему понять ошибочность его критического отношения к творчеству Репина (см. письмо 41).

52

[1] Евгения Александровна Шишкина, сестра Васильева, скончавшаяся в 1874 году от туберкулеза легких (см. примечание 7 к письму 12 и письмо 178).

54

[1] Крамской имеет в виду присутствие в Ялте кого-либо из членов царского дома.

[2] См. примечание 12 к письму 51.

[3] См. письмо 46 и примечание 9 к нему и письмо 51.

[4] Вильгельм I Фридрих-Людвиг (1797—1888) — король Пруссии (1861—1888) и император Германии (1871—1888). Приезд Вильгельма в Петербург был связан с предстоящим заключением договора между Россией, Австро-Венгрией и Германией о совместных действиях в случае возникновения войны.

[5] В силу того, что Н. Н. Ге, как сверхштатный член Совета Академии художеств (с 1872 г.), официально пользовался правом голоса в решении всех вопросов, обсуждаемых в Совете, Крамской рассчитывал, что в данном случае он, будучи искренне расположен к Васильеву, сумеет побороть косность некоторых членов Совета, пробудить в них участие к судьбе молодого умирающего художника и добиться благоприятного решения вопроса о присуждении ему звания. Однако, как ясно из дальнейших писем, Ге не нашел поддержки у остальных членов Совета и ему не удалось помочь Васильеву (см. примечание 2 к письму 56).

[6] Речь идет о том значении, которое будет иметь русское искусство на международной художественной выставке в Вене. Крамского мог особенно волновать этот вопрос, поскольку в 1872 году на Лондонской всемирной выставке произошел решительный перелом в отношении к русскому искусству. Произведения русских художников-реалистов привлекли к себе тогда внимание иностранной прогрессивной прессы, которая рассматривала русское искусство в целом как значительное и самостоятельное явление (см. письмо 24 и примечание 2 к нему и письмо 25).

[7] Речь идет о поездке Крамского на Восток для сбора материала к картине «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 21

к письму 42.) Поездка эта не состоялась. Лишь в 1876 году Крамской с этой же целью ездил в Италию и во Францию.

[8] Громме Василий Тильманович (род. в 1836 г.) — жанрист.

56

[1] Уговаривая Васильева обратиться с письмом к вел. кн. Владимиру Александровичу, Крамской рассчитывал, что он отнесется с вниманием и участием к судьбе больного художника, талант которого был ему хорошо известен. Следуя совету Крамского, Васильев 6 мая 1873 года отправил одновременно прошение в Совет Академии художеств и письмо вел. кн., бывшему тогда товарищем президента Академии, с просьбой выдать ему диплом на звание художника 1-й степени и обещая по выздоровлении выдержать положенные экзамены: «...если Совет Академии способности мои и мою болезнь [сочтет] неуважительными причинами для увольнения меня от словесного экзамена, то, может быть, справедливо и законно будет сделать снисхождение, которое оказывается больным всеми учреждениями. Снисхождение это будет заключаться в том, что Совет, выдав мне диплом на присужденное звание клас[сного] худож[ника] 1-й степ[ени], обяжет меня выдержать экзамен немедленно по выздоровлении, а не теперь, когда этого невозможно сделать. Я не прошу противозаконного, я прошу только о снисхождении». Так заканчивал Васильев свое письмо вел. князю.

В прошении, посланном в Академию, Васильев яснее и определеннее, чем в этом письме, изложил причины, которые побуждали его так настойчиво добиваться получения диплома: «Я имел честь подать в Совет Академии прошение, в котором, излагая причины, покорнейше просил уволить меня от экзамена, необходимого по Уставу Академии для получения диплома. Не получаю еще известия и не знаю до сих пор решения Совета, побуждаемый жестокой необходимостью иметь какой-нибудь документ для свободного проживания в местах, где скорее может восстановиться мое здоровье, — я снова принужден беспокоить Совет императорской Академии художеств новою просьбою...» Далее Васильев просил выдать ему диплом с обязательством сдать экзамен по выздоровлении. «...Поступив таким образом, — писал Васильев, — Совет Академии не нарушит ни одного из параграфов своего Устава, а мне поможет скорее восстановить свое здоровье и даст средства усовершенствоваться свободно и легко...» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 208, 209, 210).

[2] Члены Совета Академии художеств, принадлежавшие в большей своей части к консервативным академическим кругам, а также руководство Академии видели в Ге, одном из учредителей Товарищества, активного представителя прогрессивного реалистического искусства. В творческой биографии Ге 70-е годы отмечены тесным общением с такими общественными деятелями, как М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, В. В. Стасов и другие. В силу этих причин мнение Ге и его позиция в том или ином вопросе тем более могли встретить решительное противодействие со стороны других членов Совета.

[3] См. примечание 7 к письму 46.

[4] См. примечание 8 к письму 46.

59

[1] Анатолий Иванович Крамской (1865—1941?) — сын художника, впоследствии математик.

[2] Николай Иванович Крамской (1863—1938) — сын художника, впоследствии архитектор.

[3] Софья Ивановна Крамская, в замужестве Юнкер (1866—ум. после 1927 г.) — дочь художника.

[4] Марк Крамской, сын художника, умер ребенком в 1876 году.

60

[1] См. примечание 1 к письму 56.

На свое обращение с просьбой об отсрочке экзаменов и выдаче диплома на звание художника 1-й степени Васильев получил из Академии ответ следующего содержания: «...Совет имп. Ак[адемии] художеств, не признавая возможным отступать от установленных правил на получение звания художника, полагает, что звание почетного вольного общника послужит Вам, м[илостивый] г[осударь], лучшим доказательством полнейшего внимания Совета к Вашей художественной деятельности, тем более, что таковое не только не закрывает Вам художественную карьеру, а, напротив, дает возможность обойти без всяких исключений звание художника, о получении которого Вы изволите просить е. и. высочество. По Уставу Академии предоставлено награждать *прямо* званиями академика или профессора лиц, которые отличаются своими талантами, вне всяких правил. На этом основании Совет и полагает, что если Вы будете продолжать так же трудиться, то он будет иметь возможность без всяких отступлений от Устава наградить Вас впоследствии прямо одним из упомянутых академических отличий...» («Ф. Васильев», М., 1937, стр. 210—211). Оставив в силе свое постановление, члены Совета подошли к решению этого вопроса крайне формально. Зная, что в лице Васильева к ним обращается за поддержкой художник, примыкавший по своим убеждениям к передовому направлению русского искусства, члены Совета, возможно, намеренно старались быть строгими и пунктуальными в соблюдении Устава Академии. Внешне проявляя внимание к Васильеву и интерес к его дальнейшей судьбе, они своим решением, в сущности, отказывали художнику в той необходимой поддержке, от которой могло зависеть спасение его жизни.

Крамской в письме к Н. А. Александрову от 11—12 августа 1877 года так рассказывает о том впечатлении, которое произвел на Васильева этот последний ответ из Академии: «Извещение об этом он получил в Крыму, идя от доктора, совершенно больной и уже не могущий работать; получил как раз в ту минуту, когда считал часы своего освобождения из Ялты — возможность ехать за границу. Мать его потом рассказывала, что когда он прочел это известие, то простоял с полчаса посредине комнаты неподвижно; затем совсем убитый сказал: «Все кончено!» Слег и уже не встал» (И. Н. Крамской. Письма, т. II, стр. 100).

61

[1] См. письмо 58 и 60.

[2] Живя летом в Козловке-Засеке, Крамской 1 августа отправил письмо П. М. Третьякову, в котором подробно описал состояние здоровья Васильева, и, предлагая поручительство свое и Шишкина, просил Третьякова отправить Васильеву в Крым 1000 рублей. Для погашения этого долга Крамской обещал «приложить старания» к тому, чтобы написать для Третьякова портрет Л. Н. Толстого, который жил тогда в своем именье Ясная Поляна в пяти верстах от Козловки-Засеки.

[3] Крамской не вполне точно цитирует известное стихотворение Лермонтова «И скучно, и грустно» (1840). Последняя строка этого стихотво-

рения читается так: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка».

[4] Среди ряда этюдов, написанных Шишкиным в то лето, был и известный этюд «Дубовый лесок в серый день», хранящийся в Третьяковской галлерее.

[5] В летние месяцы 1873 года К. А. Савицкий работал над этюдами для картины «Ремонтные работы на железной дороге», находящейся в Третьяковской галлерее.

[6] На полях письма приписка Е. А. Шишкиной: «Дорогие мои друзья, приезжайте сюда, умоляю вас, мы все просим вас об этом, мы все так соскучились об вас, особенно я. Голубчик мой мама, уговорите Федю, чтобы он ехал. Вы себе не можете представить, как я буду рада видеть вас. Остаюсь любящая вас дочь и сестра ваша Евгения Шишкина и Шишкин».

62

[1] См. примечание 2 к письму 61.

[2] Речь идет о картине «Осмотр старого дома» (см. примечание 3 к данному письму, письмо 38 и примечание 3 к нему, письмо 184 и примечание 3 к нему, письмо 185, письмо 186 и примечание 13 к нему).

[3] То сюжетное решение картины «Осмотр старого дома», о котором Крамской пишет в данном письме, с некоторыми отступлениями зафиксировано лишь в рисунке того же названия, хранящемся в Третьяковской галлерее. Но, повидимому, тогда же, в Козловке-Засеке, Крамским была начата картина, в которой художник дал иной вариант сюжетного решения той же темы. Отказавшись от многофигурной композиции, он изобразил в этой картине лишь две фигуры — хозяина и сторожа, вошедших в гостиную старой заброшенной усадьбы.

Картина осталась неоконченной. Она была приобретена П. М. Третьяковым на посмертной выставке произведений Крамского в 1887 году; в настоящее время находится в Третьяковской галлерее.

63

[1] Сергей Иванович Крамской (1873 — ум. после 1887 г.).

[2] Феодора Романовна Салтыкова, мать жены Крамского. В 1875 году Крамской писал портрет Ф. Р. Салтыковой, хранящийся в настоящее время в Русском музее. Портрет остался неоконченным.

К ПЕРЕПИСКЕ с И. Е. РЕПИНЫМ

1873

64

[1] Письмо Репина, о котором идет речь, не сохранилось.

[2] О неблагоприятном впечатлении от Рима Репин писал также 16 июня 1873 года В. В. Стасову (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, «Искусство», М.-Л., 1948, стр. 60—61). Впоследствии в 1887 году, когда Репин вновь посетил Италию, он был в восторге от страны в целом, за исключением Рима. Современный Рим, принимающий характерный облик капиталистического города, отталкивал Репина. «Рим такая пошлость», — восклицал он, считая, что в Риме можно смотреть лишь на произведения Микельанджело, Рафаэля и на остатки античного города (см. И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. II, стр. 112—113). Но суждение Репина и о Рафаэле в общем было отрицательным. Репин видел в нем художника, авторитет которого был использован академиями для подавления стремления к реализму. Однако позднее он оценил реалистическую основу творчества Рафаэля и отмечал достоинства его фресок в комнатах Ватиканского дворца, столь привлекавших и других русских художников (см. И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, стр. 76).

[3] Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор, политический деятель и писатель-философ.

[4] Фортуни Мариано (1838—1874) — испанский художник. Исторический живописец, ориенталист.

[5] Морелли Доменико (1826—1901) — итальянский художник. Исторический живописец, жанрист, пейзажист и портретист.

[6] Усси Стефано (1822—1901) — итальянский художник. Исторический живописец, жанрист, портретист и пейзажист.

[7] Крамской имеет в виду всемирную выставку в Вене, открывшуюся 1 мая 1873 года.

[8] Картина Репина «Бурлаки на Волге» (1870—1873) была экспонирована на всемирной выставке 1873 года в Вене (находится в Русском музее). Очевидно, Крамской говорит о статье немецкого критика Пехта, которую цитировал Стасов (см. В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. I, стр. 245. «Немецкие критики и русские художники на Венской выставке»).

[9] Очевидно, речь идет о впечатлении от последнего письма Васильева, посланного Крамскому из Ялты 25 июля 1873 года (см. письмо 60).

[10] Письмо Крамского к М. М. Антокольскому не обнаружено.

[11] Васнецов Виктор Михайлович.

[12] Речь идет о картине Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге», законченной в 1874 году.

65

[1] Репин приехал в Альбано в конце августа 1873 года.

[2] В мае 1873 года проездом из России в Италию Репин остановился на десять дней в Вене, чтобы осмотреть открытую там международную выставку. Краткий отзыв о выставке был дан им в письме к Стасову от 16 июня 1873 года (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, стр. 59—60).

[3] Матейко Ян (1838—1893) — польский художник. Исторический живописец и портретист. На всемирной выставке 1873 года в Вене были экспонированы его картины: «Обличительная проповедь Скарги перед двором польского короля в 1592 году» (1864), «Люблинская уния» (1869), «Поссевин уговаривает Батория выслушать русских послов» («Стефан Баторий под Псковом», 1871), «Коперник, наблюдающий звездное небо на Фромбергской башне» (1873) и «Женский портрет». В Бельведере, дворце XVIII века, превращенном в музей, находилась картина Матейко «Рейтан» (1866).

Большинство этих произведений Матейко отражало освободительное движение польского народа.

[4] Реньо Анри (1843—1871) — французский художник. Исторический живописец, ориенталист, портретист. Погиб при осаде Парижа во время франко-прусской войны. На всемирной выставке 1873 года в Вене экспонировались его картины: «Маршал Прим» (1868), «Казнь без суда в Гренаде» (1870) — обе в Луврском музее в Париже, и две акварели, изображающие Альгамбру. Репин упоминает о портрете маршала Прима, вождя испанской революции (1868—1869). Помимо блестящей живописи, его, повидимому, привлекла тема этой картины.

[5] La salle d'honneur *(франц.)* — Почетный зал. В Почетном зале Венской всемирной выставки были экспонированы наиболее значительные, с точки зрения жюри, произведения. На взгляд прогрессивного деятеля искусства, это были картины наиболее рутинных представителей академического направления.

[6] «Смерть Юлия Цезаря» (1867) — картина французского художника Клемана. Клеман Феликс (1825—1888) — исторический живописец, ориенталист и портретист.

[7] Камуччини Виченцо (1773—1844) — итальянский художник. Исторический живописец, портретист.

[8] Кабанель Александр (1823—1889) — французский художник. Исторический живописец и портретист. На всемирной выставке 1873 года в Вене была экспонирована его картина «Триумф Флоры».

[9] Пилоти Карл (Теодор) (1826—1886) — немецкий художник. Исторический живописец. Репин говорит об экспонированной на всемирной выставке 1873 года в Вене картине Пилоти «Туснельда в триумфальном шествии Германика» (1873).

[10] Репин говорит о картине Пилоти «Сени у трупа Валленштейна» (1855).

[11] Макарт Ганс (1840—1884) — немецкий художник. Исторический живописец и портретист. Славился своими композициями декоративного характера. На всемирной выставке 1873 года в Вене находилась его картина «Венеция приветствует Екатерину Корнаро».

[12] О какой картине пишет Репин, установить не удалось.

[13] Дефреггер Франц (1835—1921) — австрийский художник. Жанрист, писавший картины на темы тирольского народного быта. На всемирной выставке 1873 года в Вене экспонировались его картины: «Пляска в избе», «Лошадь, выигравшая приз», «Два братца», «Итальянские уличные певцы».

[14] Кнаус Людвиг. На всемирной выставке 1873 года в Вене находились

его картины: «Совещание шварцвальдских крестьян», «Похороны», «Обед», «Братец и сестрица», «Маленький мародер», «Девочка с грифельной доской».

[15] Монтеверде Джулио (1837—1917) — итальянский скульптор. На всемирной выставке 1873 года в Вене находились следующие его работы: «Оспопрививатель» («Доктор Дженнер, прививающий оспу ребенку»), «Христофор Колумб в молодости», «Гений Франклина».

[16] Прахов Адриан Викторович (1846—1916) — историк искусств, археолог и художественный критик. Окончив в 1868 году историко-филологический факультет Петербургского университета, был командирован за границу. В 1871 году защитил магистерскую диссертацию «О реставрации группы восточного фронтона Эгинского храма в Афинах», после чего был приглашен в качестве доцента в Петербургский университет по кафедре теории и истории искусств. В 1875 году ему был поручен курс лекций по истории искусств в Академии художеств. В 1878 году Прахов напечатал ряд статей («Пчела», 1878, №№ 9, 10, 11, 12 и 13), направленных против Академии художеств, за что был исключен из состава ее преподавателей.

Прахов редактировал художественный отдел журнала «Пчела» (1875—1878) и журнала «Художественные сокровища России» (1901—1907). В 1879 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Зодчество древнего Египта». Переселившись в 1887 году в Киев, вел кафедру истории искусств в Киевском университете и руководил постройкой Владимирского собора. В 1897 году Прахов возвратился на кафедру в Петербургский университет (см. о нем письмо 79 и примечания 11 и 12 к нему).

[17] На всемирной выставке 1873 года в Вене был экспонирован пейзаж Шишкина «Сосновый лес».

[18] Федор Александрович Васильев.

[19] Гартман Виктор (Эдуард) Александрович (1834—1873) — архитектор и театральный декоратор (см. примечание 10 к письму 79).

[20] Roma, Albano, Albergo di Roma *(итальянск.)* — Рим, Альбано, Римская гостиница.

Roma, poste restante — Рим, до востребования.

[21] Аполлоныч — Константин Аполлонович Савицкий.

[22] Иван Иванович Шишкин.

[23] Чижов Матвей Афанасьевич (1838—1916) — скульптор.

Сравнивая М. А. Чижова с В. П. Верещагиным, Репин, очевидно, хотел сказать, что в его творчестве, как и в творчестве В. П. Верещагина, несмотря на некоторое приближение к реалистической школе, были сильны академические традиции.

[24] Елена Юлиановна Антокольская — жена скульптора.

66

[1] Dolce far niente *(итальянск.)* — приятное безделье.

[2] Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский поэт. Вынужденный уехать за границу, продал свое имение, что дало ему возможность свободно располагать средствами.

[3] Альтамура Саверио (1826—1897) — итальянский художник. Исторический живописец и портретист. Слух о болезни Альтамура, сообщаемый Репиным, был, повидимому, ложным.

[4] «Христос перед судом народа» — скульптура Антокольского, была закончена в 1874 году. Мраморный экземпляр, заказанный С. М. Мамонтовым, был закончен в 1876 году. Находится в Третьяковской галлерее; бронзовый отлив 1877 года находится в Русском музее.

[5] В письме к П. Ф. Исееву в 1873 году Чижов писал, что по возвращении с Венской выставки он приступил к исполнению статуи «Холмогорский рыбак — крестьянский сын Ломоносов». Однако неясно, была ли эта статуя выполнена, так как в дальнейшем о ней не упоминается. За группу «Крестьянин в беде», законченную в глине в 1872 году, скульптор получил от Академии художеств золотую медаль за экспрессию. Мраморный экземпляр этой группы (1873) находится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина; бронзовый экземпляр — в Русском музее.

[6] Семирадский Генрих Ипполитович. Речь идет об исполненном им в 1874 году повторении картины «Грешница» (см. примечание 12 к письму 51) для вел. кн. Владимира Александровича.

[7] Картина Фортуни «Академики Сан-Лукской Академии осматривают натурщицу» (1872). Частное собрание в Америке.

[8] Настоящее название картины — «Театральная проба» (1872). Частное собрание в Америке.

[9] Гупиль — издатель и антиквар в Париже, один из тех торговцев художественными произведениями, которые согласно своим интересам создавали славу художникам, устанавливая цены на их картины.

[10] Письмо, о котором упоминает Репин, неизвестно.

[11] Чучары — жители римской Кампаньи.

[12] Studio di scultura *(итальянск.)* — скульптурная мастерская.

[13] Очевидно, Репин имеет в виду Савицких и Шишкиных.

68

[1] Паоло Кальари, прозванный Паоло Веронезе (1528—1588) — итальянский художник.

[2] Тициан Вечеллио (1477—1576) — итальянский художник.

[3] Бонна Леон (1833—1922) — французский художник, получивший художественное образование в Испании, с 1855 года жил и работал в Париже. Портретист, жанрист.

[4] Харламов Алексей Алексеевич (1842—1922) — жанрист и портретист. Жил и работал преимущественно в Париже.

[5] Леман Юрий (Егор) Яковлевич (1834—1901) — портретист и жанрист. Жил и работал преимущественно в Париже.

[6] Пожалостин Иван Петрович (1837—1909) — гравер.

[7] Под влиянием разговоров с Леманом Репин писал В. М. Васнецову 29 декабря 1873 года: «Да вот еще что, если будешь кончать картину, уничтожай мелкие колерки, особенно в лицах, пусть они будут писаны лучше одной краской, только вырисовывай верней и тоньше, мелкие колерки только портят дело; и все хорошие художники их бросали. Замечательно — Рембрандт и Веласкез писали почти одной черной краской и потом кое-где оживляли. Как выехал из России, я в натуре нигде не вижу мелких колеров, просто тело одной краской, материя другой и т. д....» (И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, «Искусство», М., 1952, стр. 14).

К подобному выводу Репин пришел не под впечатлением наблюдения природы, но под влиянием современной французской академической живописи. Однако, будучи художником-реалистом, стремясь отразить красочное богатство видимого мира, он на практике никогда не следовал этому методу.

[8] Федор Александрович Васильев.

[9] Евгения Александровна Шишкина.

[10] Репин спрашивает о II Передвижной выставке, которая в это время находилась в Киеве, а также о том, состоится ли III выставка Товарищества.

[11] Василий Ефимович Репин, младший брат художника, бывший в то время студентом Петербургской консерватории. С 1876 года служил в оркестре Мариинского театра в Петербурге.

69

[1] Интересно отметить, что впечатление Крамского от Афродиты (Венеры) Милосской совпадает с впечатлением от этой статуи Глеба Успенского, о котором он вспоминает в рассказе «Выпрямила».

[2] Поленов летом 1873 года ездил из Италии, где он жил тогда в качестве пенсионера Академии художеств, к своим родителям в Имоченцы, имение его отца в Олонецкой губернии. В это же время он побывал и в Петербурге.

[3] Крамской пишет о картине Н. Н. Ге «Екатерина II у гроба имп. Елизаветы» (см. о ней примечание 3 к письму 178).

[4] «Чтение манифеста 19 февраля 1861 года» (1873). Находится в Третьяковской галлерее.

[5] В 1873 году Перов начал работу над темой пугачевского восстания. Им была задумана серия из трех картин, где должны были быть показаны: угнетение помещиками крестьян, восстание и суд Пугачева над помещиками. Однако Перов работал лишь над последним сюжетом. Летом 1873 года он ездил на Волгу и писал этюды калмыков и киргизов. В том же году были выполнены три эскиза к картине (два из них находятся в Третьяковской галлерее).

Первый, не вполне законченный вариант картины «Суд Пугачева» (1875) находится в Историческом музее в Москве, второй вариант 1879 года — в Русском музее.

[6] Плюснин Николай Михайлович (род. в 1848 г.). Учился в Академии художеств (1866—1873). В 1873 году получил звание классного художника 2-й степени.

[7] Зязин Максим Иванович — вольнослушатель Академии художеств с 1866 по 1874 год. В 1881 году получил звание классного художника 3-й степени.

70

[1] Гравюра с «Автопортрета К. П. Брюллова» (1848, Третьяковская галлерея) была исполнена Пожалостиным в 1872 году по поручению Общества поощрения художников; гравюра с картины итальянского художника Аннибале Караччи (1560—1609) «Несение креста спасителем» сделана в 1871 году. За нее художник получил звание академика.

[2] Картина В. В. Пукирева «Неравный брак» (1862). Находится в Третьяковской галлерее. Гравюра с этой картины Пожалостиным не была выполнена.

[3] Статуя Афродиты была найдена в начале 1820 года разбитой на несколько кусков на острове Милосе.

Репин имеет в виду новейшие исследования (работы В. Гельбига), в результате которых статуя Афродиты Милосской была отнесена к эллинистическому периоду.

[4] Энгр Жан Огюст Доминик (1780—1867) — французский художник. Исторический живописец и портретист.

[5] Базаров — герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

[6] Коро Камилл (1796—1875) — французский художник. Пейзажист. Репин, вскоре по приезде в Париж, познакомился с произведениями Коро позднего периода его творчества. Он писал В. М. Васнецову: «Пейзажи Жака в окнах магазинов (превосходны). Коро тоже, но этот испи-

сался» (И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, стр. 13). Познакомившись с творчеством Коро в целом на посмертной выставке художника, Репин изменил свое мнение о нем (см. письмо 97).

[7] Панорама «Осада Парижа» («Бомбардировка форта Исси», 1873) французского художника Филиппото Анри (1815—1884).

[8] Федора Александровича Васильева.

71

[1] Мнение Крамского о Пожалостине может быть объяснено тем, что его считали приверженцем академического направления. А. В. Прахов писал о Пожалостине: «г. Пожалостин со своею сухою, старомодною, так сказать, староверческою манерою является верным представителем академического направления» («Пчела», 1876, № 13, стр. 11).

[2] Каменский Федор Федорович (1838—1913) — скульптор. На I Передвижную выставку Каменский дал гипсовый отлив своей статуи «По грибы», который был оценен выставочным комитетом, как один из массовых отливов, в 15 рублей. Товарищество в своей оценке, как видно из слов Крамского, исходило из того, что цена подобных же слепков, продававшихся в магазинах, равнялась 15 рублям.

По окончании выставки Каменский направил в Правление Общества передвижных выставок следующее письмо: «Считая оценку моей статуи «Грибовница» в 15 рублей совершенно ни с чем не сообразной и в ущерб моим интересам, я возвращаю в Правление Общества те 2 р. 50 коп., которые мне были выданы в виде дивиденда пропорционально стоимости моей статуи со сбора за прошлые выставки, и при этом замечу, что я выставлял не работу формовщика, а художественное произведение. Ф. Каменский. С.-Петербург. 15 марта 1873 г.» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). В результате этого конфликта Каменский вышел из Товарищества.

[3] См. примечание 4 к письму 66.

[4] См. примечание 20 к письму 5, письмо 8, письмо 47 и примечание 5 к нему.

[5] См. примечание 11 к письму 79.

[6] Разговор между Крамским и Куинджи шел о взаимоотношениях Товарищества передвижных художественных выставок и Академии художеств. Повидимому, Куинджи стоял за борьбу внутри самой Академии, Крамской же считал, что нужно продолжать бороться попрежнему, т. е. не входя в Академию. В деятельности Товарищества одержала верх точка зрения Крамского. Куинджи, видимо, остался при своем мнении. В 1894 году он вошел в реформированную Академию и первое время играл в ней значительную роль.

[7] Марков Алексей Тарасович (1802—1878) — исторический живописец. Член Совета Академии художеств.

[8] Бруни Федор Антонович (1799—1875) — исторический живописец. Ректор Академии художеств с 1855 по 1871 год. Представитель наиболее консервативных кругов Академии. В 1860-х годах полемизировал со Стасовым в защиту академической исторической живописи.

[9] В октябре 1873 года происходил процесс маршала Базена, который обвинялся в том, что он сдал немцам крепость Мец и подписал капитуляцию, не исчерпав всех средств обороны. Маршал Базен был осужден и заключен в тюрьму на острове св. Маргариты. Однако в августе 1874 года ему удалось бежать, повидимому, не без попустительства со стороны французских властей.

[10] Когда Г. И. Семирадский был учеником Академии художеств, между ним и товарищами, будущими художниками-реалистами, еще не было антагонизма, несмотря на его приверженность к академическому направлению в живописи. В дальнейшем, будучи пенсионером Академии, в своих письмах из Рима к конференц-секретарю Академии художеств П. Ф. Исееву, он выступал за либеральную политику Академии. В ответ на вопрос о контроле Академии над пенсионерами он писал: «Найдите меру, положив границу, которая бы удерживала произвол учителей во-время, — вот задача, к которой, по моему мнению, должна стремиться организация академий, и это одно могло бы прекратить в будущем грустные раздоры между Академией и большинством художников, явления грустные, лишившие уже главенства в искусстве многие академии Европы, лишившие к ним доверия начинающих юношей, порождающие самоучек, художников без всяких элементарных познаний. Словом, излишнее усердие в этом отношении ведет к результатам прямо противоположным. Побольше терпимости, побольше разнообразия в направлениях, и Академия приобретет громадное значение, и под влиянием школы каждое из этих направлений окрепнет и будет серьезным, а искусство настоящего времени — это искусство разностороннее; и хотя представители каждой ветви, как люди по большей части фанатики, и не признают иных направлений рядом со своим, — несмотря на это, вся сила современного искусства — в разнообразии» (Письмо Семирадского Исееву от 17 июня 1874 года. ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств, № 121. Дело Г. И. Семирадского).

Позднее Семирадский, живя за границей, в жизни Петербургской Академии активного участия не принимал. Но его творчество, подымаемое на щит Академией художеств, было для Крамского знаменем направления, враждебного передвижникам.

72

[1] Об идее статуи Антокольского «Христос перед судом народа» см. примечание 2 к письму 75.

[2] Картина Э. Делакруа «Свобода на баррикадах» («28 июля 1830 года») находится в Лувре (Париж).

[3] Картина Реньо «Маршал Прим» явно свидетельствовала о влиянии на художника конных портретов Веласкеза.

[4] Жерико Теодор (1791—1824) — французский художник. Исторический живописец, рисовальщик и литограф.

[5] Гро Антуан-Жан (1771—1835) — французский художник. Исторический живописец.

[6] Давид Луи (1748—1825) — французский художник. Исторический живописец и портретист.

[7] Делакруа Эжен (1798—1863) — французский художник. Исторический живописец.

[8] Бонер Роза (1822—1899) — французская художница. Анималистка.

[9] Репин говорит о картине Хейльбута «В ломбарде» (1861). Хейльбут Фердинанд (1826—1889) — еврей, родился в Гамбурге, работал в Париже. Жанрист и исторический живописец.

[10] Деларош Поль (1797—1856) — французский художник. Исторический живописец, портретист.

[11] Для Репина, как и для некоторых других русских художников-демократов, его современников, было ясно, что буржуазная западноевропейская культура начинает клониться к упадку. Наряду с этим он считал, что прогрессивные идеи французской буржуазной революции в период ее подъема, сформулированные в лозунге «свобода, равенство и братство», вполне актуальны для России 1870-х годов.

[12] Неясно, о чем идет речь, ибо Морелли славился как педагог именно в качестве профессора Неаполитанской Академии художеств. Возможно, что, помимо этого, он имел частную студию.

73

[1] Крамской рассказывает о крайне важном эпизоде, имевшем место во взаимоотношениях Товарищества передвижных художественных выставок и Академии художеств. Как явствует из комментируемого письма, 24 декабря 1873 года вел. кн. Владимир Александрович пригласил к себе А. П. Боголюбова, Н. Н. Ге, М. К. Клодта и К. Ф. Гуна для переговоров о возможности слияния академических и передвижных выставок. В результате этих переговоров вел. кн. поручил этим художникам, являвшимся одновременно членами Товарищества и профессорами Академии, вынести вопрос о слиянии выставок на обсуждение общего собрания членов Товарищества.

В протоколе общего собрания членов Товарищества от 3 января 1874 года зафиксирован текст письма, переданного четырьмя вышеупомянутыми художниками от лица вице-президента Академии общему собранию Товарищества. Письмо это гласит: «Академия художеств своими выставками имеет целью давать отчет об успехах русского искусства, а так как выставки Товарищества передвижных выставок, соединяя в себе лучшую часть произведений того же искусства, невольно ослабляют выставки Академии, то его императорское высочество товарищ президента Академии, сочувствуя целям Товарищества, поручает общему собранию его обсудить этот вопрос и найти средства к соглашению целей академических выставок и Товарищества без нарушения прав и интересов последнего. Результат обсуждения представить его высочеству.

Действительно, по поручению его императорского высочества товарища президента Академии художеств сие передаем общему собранию членов Товарищества передвижных художественных выставок. Члены Товарищества Боголюбов, Николай Ге, М. К. Клодт, К. Гун. 31 декабря 1873 г. С.-Петербург» (цит. согласно протоколу, хранящемуся в Отделе рукописей Третьяковской галлереи). Последняя фраза этого письма подчеркивала то обстоятельство, что его авторы действовали отнюдь не по собственной инициативе.

В том же протоколе от 3 января 1874 года зафиксирован черновик ответного письма Товарищества в Академию, посланного, повидимому, лишь 31 января 1874 года (см. письмо 184 и примечание 8 к нему).

[2] Слова Крамского об изменении Устава Академии свидетельствуют о длительном процессе, который предшествовал реформе Академии, осуществленной в начале 1890-х годов. Еще в 1872 году 30 ноября Крамской писал Васильеву, что он назначен одним из членов комиссии по пересмотру академического Устава, которая начала свою работу незадолго перед тем (см. примечание 1 к письму 31).

[3] Картина В. М. Васнецова «За чаем». Находится в Харьковском музее изобразительных искусств.

[4] Речь идет о картине К. А. Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге».

[5] Картина Г. Г. Мясоедова «Чтение манифеста 19 февраля 1861 года».

1874

74

[1] Первой попыткой Репин считает выход из Академии 9 ноября 1863 года четырнадцати конкурентов на золотую медаль, вследствие того, что Академия не удовлетворила их просьбу разрешить представить работы на свободно выбранные темы.

[2] См. примечание 21 к письму 5.

[3] Песков Михаил Иванович (1834—1864) был одним из четырнадцати протестантов. Заболев чахоткой, он вскоре после выхода из Академии уехал в Крым, где скончался. Лотерея в пользу Пескова была организована товарищами художника в 1863 году.

[4] Выставка, организованная Артелью художников в Нижнем Новгороде под флагом «Петербургского собрания художников» в 1865 году.

[5] Репин, очевидно, имеет в виду рукопись Крамского, в которой изложены его мысли о постановке преподавания в рисовальной школе (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). Она была написана в то же время, что и статья Крамского «Записка по поводу пересмотра Устава Академии художеств», поданная Крамским в 1865 году гр. С. Г. Строганову (председателю комиссии, назначенной для пересмотра Устава. Опубликована в книге «И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи», изд. Суворина, СПБ, 1888). В этой статье молодой художник критиковал существующие в Академии порядки и предлагал меры к улучшению художественного образования в России, излагая вместе с тем свои взгляды на задачи искусства: «Для всех народов, во все времена лучшие люди говорили... что искусство как наука, каждая своим путем, служит разъяснению истины, добра и красоты» (там же, стр. 712). Если художник сознательно уклоняется от этого пути, он теряет уважение своих современников. «Когда же целая эпоха заражается этим отступничеством, мы говорим: искусство вредно, не нужно, пустая забава пустых людей и паразитов, и содействовать уничтожению такого направления в искусстве есть прямая обязанность всякого честного человека» (там же).

Крамской говорил о том, что введение обязательного курса наук новым Уставом Академии в 1859 году привело к тому, что число ее воспитанников чрезвычайно сократилось за счет бедных молодых людей, которые не могли совместить выполнения требований Академии с необходимостью зарабатывать деньги на свое содержание. Единственным выходом из создавшегося положения Крамской считал учреждение рисовальных школ в провинции. Обучающиеся в средних учебных заведениях, чувствуя призвание к искусству, получали бы в рисовальных школах хорошую специальную подготовку и по окончании среднего образования поступали бы в Академию художеств достаточно подготовленными и по наукам и по искусству.

Записка о постановке преподавания в рисовальной школе являлась как бы продолжением этой статьи. В данном случае Крамской подвергал анализу преподавание рисунка в Академии, критикуя систему рисования

с оригиналов, в особенности столь популярное в то время копирование изданных в виде школьного пособия рисунков Жюльена, отличавшихся поверхностной красивостью и щегольством штриховки.

Крамской утверждал принципы реалистического искусства. Он писал: «Надо сказать, что если натура передана просто и правдиво действительно, то это есть, разумеется, высший вкус и высшее красноречие» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). Далее он развивал свою мысль, излагая задачу, стоящую перед художником-реалистом: «Прежде человека поражает одна внешность в природе, а с развитием ума приходит и разумение скрытого смысла в этих формах и цветах. Художник в своем истинном смысле имеет дело только с этими реальными предметами, с их часто скрытым выражением и становится, так сказать, истолкователем их. Только такая деятельность художника оправдывает род его занятий, не делает его паразитом и только такое искусство полезно и необходимо» (там же).

В результате заседаний, состоявшихся в ноябре—декабре 1871 и январе 1872 года, практические советы Крамского относительно последовательности в ведении курса рисования легли в основу постановления комиссии Академии художеств о преподавании рисования в средних учебных заведениях.

[6] 27 сентября (н. с.) 1873 года Репин послал отчет о своей заграничной поездке конференц-секретарю Академии П. Ф. Исееву. Отчет был написан в форме письма и вследствие этого не носил официального характера (см. «Мастера искусства об искусстве», т. IV, Изогиз, М.-Л., 1937, стр. 346—348). Подобное же письмо-отчет было послано Поленовым 17 декабря 1873 года.

75

[1] Картина Тициана «Христос с динарием».

[2] Замысел статуи Антокольского «Христос перед судом народа» был сходен с замыслом картины Крамского «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 10 к письму 31.) 31 марта (12 апреля) 1873 года Антокольский писал В. В. Стасову: «Я хочу вызвать его, как реформатора, который восстал против фарисеев и саддукеев за их аристократические несправедливости. Он встал за народ, за братство и за свободу, за тот слепой народ, который с таким бешенством и незнанием кричал «Распни, распни его...» Я его представляю в тот момент, когда он стоит перед судом того народа, за который он пал жертвою. Я выбрал этот момент, во-первых, потому, что здесь и связался узел драмы. Его душевное движение в эту минуту является необыкновенно грандиозным. Действительно, только в эту минуту он мог сказать (и только он): «Я им прощаю, потому что они не ведают, что творят» (М. М. Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи. Под ред. В. В. Стасова, изд. т-ва М. О. Вольф, СПБ, М., 1905, стр. 70).

Оба художника обращались к образу Христа для выражения своих социальных идей и этических норм. Но в замысле многофигурной композиции Крамского основное внимание было сосредоточено на обличении издевающейся над Христом толпы придворных и солдат; Антокольский же сосредоточил внимание на образе Христа, стоящего перед судом народа. Антокольский стремился создать волевой образ; Крамской подчеркнул трагедию жертвы, не понятой и осмеянной.

[3] Картина «Христос в пустыне» (1872). (См. примечание 3 к письму 25.)

[4] См. примечание 1 к письму 28.

[5] Картина «Ремонтные работы на железной дороге».

[6] III Передвижная выставка 1874 года.

[7] 5 января 1874 года Крамской писал Стасову: «Гр[игорий] Гр[игорьевич] Мясоедов передавал общему собранию Товарищества Ваше сообщение от имени И. Е. Репина о желании Репина поставить четыре своих произведения на Передвижную выставку. Заявление это было принято с большим сочувствием, но есть одно обстоятельство, которое Репину знать не мешает прежде, чем он выступит у нас. В Академии смотрят не особенно дружелюбно на Товарищество и недавно было желание Совета сделать постановление, чтобы профессора и адъюнкты, штатные и нештатные, а также и пенсионеры не имели бы права нигде выставлять, кроме академических выставок» (И. Н. Крамской. Письма, т. I, стр. 226—227). См. об этом также письмо 73.

76

[1] Речь идет, повидимому, о фотографиях римской архитектуры, привезенных Поленовым из Италии в 1873 году и оставленных им у родителей в Петербурге.

[2] На III Передвижной выставке были экспонированы произведения Репина: «Монах» («Монах в пустыне», 1872, находится в Русском музее), «Портрет О. О. Поклонской», акварель (1873, местонахождение неизвестно), «Портрет В. В. Стасова» (1873, находится в Третьяковской галлерее), «Портрет Е. Е. Неклюдовой» (1873, местонахождение неизвестно).

77

[1] «Барыня масляными красками» — портрет Е. Е. Неклюдовой, акварель — портрет О. О. Поклонской.

[2] Согласно древнегреческому мифу, Прометей похитил на небесном Олимпе огонь, передал его людям и познакомил их с начатками культуры, за что Зевс приковал его к скале и повелел орлу каждый день терзать его печень. Муки Прометея длились века, пока его не освободил Геракл, так же как и Прометей, трудившийся на благо людей.

[3] Прянишников Илларион Михайлович (1840—1894) — жанрист. Крамской пишет о его картине «В 1812 году» (1873), находящейся в Одесской картинной галлерее; вариант 1869 года находится в частном собрании в Ленинграде, 1873 года — в Музее Л. Н. Толстого в Москве, 1874 года — в Третьяковской галлерее.

[4] Картина Прянишникова «Шутники. Гостиный двор в Москве» (1865). Находится в Третьяковской галлерее.

[5] Картина Куинджи «Забытая деревня» (1874) находится в Третьяковской галлерее.

78

[1] На III Передвижной выставке были экспонированы следующие картины Крамского: «Портрет И. И. Шишкина» (1873, находится в Третьяковской галлерее), «Портрет П. А. Валуева» (1873, местонахождение неизвестно), «Портрет А. И. Зак» (1873, местонахождение неизвестно), «Портрет В. М. Васнецова», рисунок (1874, находится в Третьяковской галлерее), «Этюд крестьянина», поясной (1873, находится в Русском музее), «Пасечник» (1872, находится в Третьяковской галлерее), «Оскорбленный еврейский мальчик» (1874, находится в Русском музее).

[2] Портрет Л. Н. Толстого, написанный Крамским для П. М. Третьякова в 1873 году в Ясной Поляне. Согласно условию, поставленному Толстым, он не мог быть экспонирован на выставках.

[3] «Незнакомец» — псевдоним А. С. Суворина.

[4] Нефф Тимофей Андреевич (1805—1876) — портретист и жанрист.

[5] Черкасов Павел Алексеевич (1835—1900) — художник. С 1864 по 1868 год занимался устройством выставок в залах Академии художеств. С 1869 года исполнял обязанности инспектора академических классов.

[6] Очевидно, Репин имеет в виду А. В. Прахова.

[7] Речь идет о картине Куинджи «Забытая деревня».

[8] Речь идет о картинах Мясоедова «Чтение манифеста 19 февраля 1861 года» и Прянишникова «В 1812 году».

[9] Rien du tout! Rien du tout! *(франц.)* — Ровно ничего! Ровно ничего!

[10] Жером Жак Леон (1824—1904) — французский художник. Исторический живописец и ориенталист.

[11] Повидимому, Репин упоминает о картине Поленова «Право господина».

[12] Повидимому, Репин имеет в виду картину «Садко», на которую им еще не был получен заказ. Данное письмо датировано 19 февраля, а 20 января он писал Стасову: «Знаете ли, ведь я раздумал писать «Садко». Мне кажется, что картина этого рода может быть хороша как декоративная картина для залы, для самостоятельного же произведения надобно нечто другое; картина должна трогать зрителя и направлять его на что-нибудь» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, стр. 85).

79

[1] «Мудрый Эдип, разреши!» — поговорка, возникшая на основании древнегреческих мифов.

[2] Картина «Иов и его друзья» (1869), за которую Репин получил Малую золотую медаль. Находится в Русском музее.

[3] Картина Мясоедова «Чтение манифеста 19 февраля 1861 года».

[4] Клодт Михаил Петрович (1835—1914) — жанрист.

[5] Клодт Михаил Константинович — пейзажист.

[6] Крамской имеет в виду зачисление В. Г. Перова в 1871 году преподавателем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где он показал себя талантливым педагогом. Крамской в связи с этим назначением говорит о приобретении Перовым определенного положения, известной материальной обеспеченности и т. п.

[7] Маковский Владимир Егорович (1846—1920) — жанрист и портретист.

[8] Крамской с большим вниманием относился к таланту молодого В. М. Васнецова, считая его чрезвычайно одаренным жанристом.

[9] Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841—1910) — жанрист. Один из участников протеста четырнадцати учеников Академии в 1863 году, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

[10] Гартман Виктор Александрович. Основные его работы: участие в устройстве всероссийской мануфактурной выставки 1870 года в Соляном городке (до 600 рисунков), проект городских ворот в Киеве, Народного театра в Петербурге, проект военного отдела Московской политехнической выставки 1872 года, деревянного Народного театра, построенного во время выставки на Лубянской площади, рисунки декораций и костюмов для оперы «Руслан и Людмила» (1870) и балета «Трильби».

В 1873 году весной Петербургским архитектурным обществом была организована его посмертная выставка. Стасов очень высоко ценил творчество Гартмана.

[11] Сохранилась докладная записка конференц-секретаря Академии художеств П. Ф. Исеева от января 1873 года, испрашивающего у вице-президента вел. кн. Владимира Александровича разрешения на прочтение

А. В. Праховым нескольких публичных лекций с туманными картинами о художественном отделе Венской всемирной выставки (ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств). Лекции, согласно сохранившемуся извещению о них, происходили 25 и 28 февраля, 4, 7, 11, 14, 18 и 21 марта в Академии художеств и были посвящены современной западноевропейской живописи и скульптуре. Содержание первой лекции было изложено в статье «Очерки художественной жизни современной Европы. Живопись и ваяние на Венской всемирной выставке» (Журнал министерства народного просвещения, март 1874 г., стр. 80—102).

[12] Резкие отзывы Крамского о А. В. Прахове объясняются их принципиальными разногласиями. Крамской опасался того, что в его лице академическая партия будет иметь талантливого и образованного лидера, который тем самым окажется опасным врагом Товарищества передвижных выставок. Основания для подобных опасений несомненно существовали, так как в общих положениях, высказываемых Праховым, были видны его идеалистические воззрения. Так, например, во вступительной лекции к курсу истории искусств, читанной в Академии художеств в 1875 году, он говорил, что «источник искусства есть... интерес к совершенству формы, красоте, и желание каким бы то ни было способом закрепить, вырвать из постоянно изменяющейся действительности поразившее нас прекрасное явление».

Стасов выступал против Прахова в статье «Вступительная лекция г. Прахова в университете», упрекая его в приверженности к старой доктрине «искусство для искусства» (В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. I, стр. 260—261). Однако, не будучи последовательным в своих убеждениях, Прахов, с одной стороны, приветствовал реалистическое искусство как в России, так и на Западе, с другой же стороны, боялся подлинно демократических идей, находивших в нем свое проявление.

В конце 70-х годов, под влиянием развития русского реалистического искусства, Прахов в своих статьях, печатавшихся под псевдонимом «Профан», иногда правильно и высоко его оценивал, осуждая художественную политику Академии. Это послужило причиной того, что в 1878 году он был отстранен от чтения лекций в Академии художеств.

[13] Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — поэт. Репин на просьбу Третьякова написать портрет А. К. Толстого ответил отказом, мотивируя его нездоровьем поэта, своей занятостью и тем, что плата за портрет не окупила бы расходов, сопряженных с путешествием на юг Франции (Письмо Репина к Третьякову от 3 апреля (н. с.) 1874 г. И. Е. Репин. Переписка с П. М. Третьяковым, «Искусство», 1946, стр. 26).

[14] Крамской пишет о том впечатлении, которое на него произвел Л. Н. Толстой во время портретных сеансов летом 1873 года, когда им были созданы два портрета писателя (один из них находится в Третьяковской галлерее, второй — в Музее-усадьбе Ясная Поляна).

Известно также, что встреча с Крамским произвела в свою очередь сильное впечатление на Толстого, которое отчасти отразилось в созданном им образе художника Михайлова в романе «Анна Каренина».

80

[1] Зием Феликс (1821—1911) — французский художник. Начал свою деятельность в качестве архитектора. Пейзажист и перспективист. Работал и в области акварельной живописи.

[2] Очевидно, речь идет о картине В. М. Васнецова «Балаганы в окрестностях Парижа». Находится в Русском музее.

[3] Статуя Жанны д'Арк работы французского скульптора Эммануеля Фремье (1824—1910) была поставлена на улице Риволи, против решетки Тюйлерийского сада.

[4] Большое внимание, уделяемое Харламову в переписке Репина и Крамского, относившихся к его творчеству отрицательно, объясняется тем, что благодаря Тургеневу, высоко ценившему дарование Харламова и пропагандировавшему его творчество в художественных кругах Парижа, известность Харламова именно в период 1874—1875 годов очень возросла. Его считали лучшим учеником Бонна, бывшего в зените своей славы, и даже называли «маленький Бонна» (см. примечание 3 к письму 81).

[5] Статую «Христос перед судом народа».

81

[1] Выставка туркестанских картин и этюдов Верещагина Василия Васильевича (1842—1904) была открыта в Петербурге 7 марта 1874 года.

[2] Крамской пишет о двух картинах В. В. Верещагина «Двери Тимура (Тамерлана)» (1871—1873) и «У дверей мечети» (1873). Обе картины находятся в Третьяковской галлерее.

[3] В письме к Стасову от 6/25 мая 1874 года Репин, в связи с оценкой Тургенева, как критика изобразительного искусства, касался и творчества Харламова. Его «Итальянку в рост», вопреки мнению Крамского, он считал лучшим произведением художника. Но о творчестве Харламова в целом он писал: «Вообще же быть Харламовым не хитро, стоит только крепко держаться какой-нибудь манеры, он так и делает... А Тургенев с Веласкезом сравнивает! Вот так слава!» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, стр. 97).

[4] Фельтен А. — владелец художественного магазина в Петербурге, торговавшего картинами, эстампами и художественными принадлежностями.

[5] Картина-панно В. П. Верещагина «Поединок Алеши Поповича с Тугарином Змеевичем» (1874).

[6] Аллиери Фридерик — портретист. Участник выставок Общества выставок художественных произведений в 1876, 1877 и 1880 годах.

[7] В начале 70-х годов начал работать общественный комитет по созданию памятника А. С. Пушкину на деньги, собранные по всенародной подписке. В 1872 году был объявлен конкурс на сооружение памятника. Крамской был членом комиссии экспертов, в которую входили также профессор архитектуры Д. И. Гримм, скульптор Н. А. Лаверецкий и живописец И. П. Келлер (Келер-Вилианди).

82

[1] Горшков Михаил Николаевич, друг Репина и Сурикова по академическим классам, ученик Чистякова, оставивший по окончании Академии занятия искусством.

[2] Савицким в Вёле были начаты картины «Путешественники в Оверни» (находится в Русском музее) и «Море в Нормандии» (находится в Музее Татарской АССР в Казани).

[3] Заказ на картину «Садко». Находится в Русском музее.

[4] Беггров Александр Карлович (1841—1914) — пейзажист-маринист.

[5] Доливо-Добровольский Михаил Иванович — пейзажист. В 1866 году получил звание классного художника 3-й степени.

84

[1] Репин, Поленов и В. Васнецов, еще будучи в Париже, сговорились о том, чтобы поселиться в Москве. Это свое намерение они осуществили.

85

[1] Антокольский был обижен критикой Крамского и возражал на нее (см. письмо Антокольского Крамскому от 6/18 сентября 1874 г., Сорренто. «М. М. Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи», стр. 175—177).

В упоминаемом Крамским письме к Стасову от 27 сентября (4 октября) 1874 года Антокольский писал: «Приблизительно о «Христе» он говорит, что это — поражающая фигура, что она исполнена с силою таланта, что она как живая стоит перед ним и, наконец, что я сделал все, что только возможно и доступно человеку. Но между тем он решается не оставить «камня на камне» (как он выражается) и «разобрать эту поражающую фигуру так, что она останется без ног и головы» (буквально)» (там же, стр. 184).

[2] На IV Передвижной выставке 1875 года.

[3] См. примечание 8 к письму 184.

[4] Тютрюмов Никанор Леонтьевич (1821—1877) — портретист. Состоял при дирекции императорских театров помощником декоратора. В газете «Голос» в № 251 от 11 сентября 1874 года В. В. Стасов напечатал присланный в письме к нему В. В. Верещагиным отказ от присужденного ему Академией звания профессора. В ответ на это в «Русском мире» от 27 сентября 1874 года (№ 265) появилась заметка академика Н. Л. Тютрюмова, обвинявшего Верещагина в невежливости, в стремлении к наживе, а также в том, что экспонированные им картины писались в Мюнхене «компанейским способом». Обвинял он художника и в том, что, выставляя свои картины в залах Академии наук в Петербурге, более слабые из них он показывал при искусственном освещении, чтобы скрыть их недостатки. В ответ в «С.-Петербургских ведомостях» 30 сентября 1874 года (№ 269) появилось письмо Стасова с требованием доказать предъявленные обвинения, в газете «Голос» 2 октября 1874 года (№ 272) — письмо А. К. Гейнса, защищавшее художника, в «Голосе» 5 октября 1874 года (№ 275) — заявление одиннадцати художников, составленное, по свидетельству Крамского, Г. Г. Мясоедовым (под ним подписались: М. П. Клодт, В. Якоби, И. Шишкин, П. Забелло, К. Гун, М. К. Клодт, Г. Мясоедов, И. Крамской, П. Чистяков, А. Попов, Н. Ге), там же был опубликован без подписи фельетон, где высоко оценивалось творчество Верещагина и высказывалось удивление по поводу молчания Совета Академии в ответ на слова Тютрюмова о том, что звание профессора было присуждено Верещагину не по заслугам. Фельетон, по свидетельству Крамского, был написан Н. А. Александровым. В «Русском мире» 8 октября 1874 года (№ 272) был напечатан ответ Тютрюмова Стасову, в котором он пытался доказать, что в его утверждении, будто картины писались «компанейским способом», не было ничего обидного. Дело затянулось до 30 декабря 1874 года, когда в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 358) появилась статья Стасова «Окончание тютрюмовской истории», где он приводил письмо Мюнхенского художественного товарищества, свидетельствовавшего, что все картины писались Верещагиным самостоятельно.

По поводу шума, поднятого вокруг этого инцидента, Верещагин писал Стасову: «Что Вам сказать на обвинение меня в эксплоатировании чужого труда и искусства. Я не только дотрагиваться до моих работ, даже

смотреть на них никого не пускал, так после этого судите, как это обвинение смешно и глупо» (Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова, «Искусство», М., 1950, т. I, стр. 32).

[5] Бодри Поль (1828—1886) — французский художник. Декоративный живописец и портретист. Прославился росписью здания Парижской оперы.

86

[1] См. примечание 4 к письму 85. Упомянутый анонимный фельетон, который Репин приписывает Исееву, появился в «Русском мире» 6 октября (№ 274). В нем были упреки в адрес Академии за то, что она присудила Верещагину звание профессора. «Для чего вы это сделали? — спрашивал автор фельетона. — Не для того ли, что вы просто-напросто испугались г. В. Стасова... ...Искусство и В. Стасов — извечные идеалы и Неуважай-корыто, — господи, что тут есть общего...»

Едва ли этот фельетон принадлежал Исееву, хотя несомненно, что статьи Тютрюмова были инспирированы реакционной группой академических профессоров.

[2] «Офортом, — писал В. Д. Поленов Вс. В. Воинову, — мы занялись по инициативе Алексея Петровича Боголюбова в Париже. Тогда там возник кружок офортистов и появились магазины со всеми принадлежностями для этого дела. Тогда думали, что он может быть применен как иллюстрация литературных произведений и даже журналов, но дело оказалось слишком дорогим и сложным, а литография, которая с давних пор была во Франции очень развита, очень популярна, чрезвычайно дешева и давала прекрасные результаты, помешала офорту сделаться доступным для широкого употребления» (Письмо от 23 июня 1925 г. Вс. Воинов. Василий Дмитриевич Поленов, изд. Третьяковской галлереи, М., 1930, стр. 10). В парижский кружок офортистов входили: А. П. Боголюбов, А. К. Беггров, И. Е. Репин, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов и другие (см. письмо 188).

Никто из членов кружка не собирался в этой области специализироваться, а поскольку дело оказалось более сложным, чем представлялось сначала, занятия не дали больших результатов. Однако полученные навыки не были забыты. Репин впоследствии иногда возвращался к работе над офортом и пользовался советами В. В. Матэ.

[3] Микельанджело Буонаротти (1475—1564).

[4] Тьеполо Джиованни Баттиста (1697—1770) — итальянский художник.

[5] Рени Гвидо (1575—1642) — итальянский художник.

[6] Буров Федор Емельянович (1846—1895). Учился в Академии художеств, в 1873 году получил звание классного художника 2-й степени.

87

[1] Письмо написано на бланке Товарищества передвижных художественных выставок.

[2] Крамской имеет в виду представителей академической живописи.

[3] Александров Николай Александрович (1840—1907) — художественный критик, издатель «Художественного журнала» (1881—1887).

[4] Гейнс (Гейнц) Александр Константинович (1834—1892) — генерал-лейтенант. Действительный член Русского географического общества и Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Друг В. В. Верещагина, помогавший ему в устройстве выставки туркестанских картин в Петербурге.

[5] «Складчина» (СПБ, 1874) — литературный сборник, составленный из произведений русских писателей в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. В сборнике был помещен впервые публиковавшийся рассказ И. С. Тургенева «Живые мощи» из «Записок охотника». Рассказ был снабжен примечанием, в котором указывалось, что рукопись была получена Я. П. Полонским в сопровождении письма, которое тут же приводилось. Тургенев пояснял в этом письме, почему им был выбран для сборника именно этот рассказ: «...указание на «долготерпение» нашего народа, быть может, не вполне неуместно в издании, подобном «Складчине». Далее Тургенев рассказывал о том, как пострадала от голода Тульская губерния в 1841 году и передавал свой разговор со стариком, хозяином деревенского трактира, которому пришлось этот голод пережить: «Вот и мы в 1841 году все пухлые ходили» — «А! в 1841 году! — подхватил я. — Страшное было время?» — «Да, батюшка, страшное». — «Ну и что? — спросил я: — были тогда беспорядки, грабежи?» — «Какие, батюшка, беспорядки? — возразил с изумлением старик. — Ты и так богом наказан, а тут ты еще грешить станешь?» Мне кажется, что помогать такому народу, когда его постигает несчастье, священный долг каждого из нас».

Это подчеркивание Тургеневым покорности русского крестьянства вызвало протест Крамского.

89

[1] Крамской сообщает Репину о возникновении нового художественного объединения — Общества выставок художественных произведений. Устав этого общества был утвержден 21 сентября 1875 года. Объяснительная записка к Уставу была подписана П. Ф. Крестоносцевым. Авторы записки писали: «Составляя проект Устава выставок, мы имеем целью учредить общество, которое, состоя в тесной связи с Академией, принимало бы все ее принципы относительно беспристрастия как к целым художественным направлениям, так и к отдельным лицам, с свободным доступом в него для всех художников (§ 6). Оплотом против могущих возникнуть впоследствии эгоистических побуждений общества мы полагаем то, что ни одно изменение или добавление какого-либо из параграфов раз утвержденного правительством Устава не может пройти без согласия Академии (§ 46), которая сама, будучи для всех без исключения открыта, не допустит, чтобы общество, находящееся в связи с нею, было иного направления» (ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств).

Таким образом, вновь возникшее объединение было, по существу, лишь новой формой существования тех же академических выставок, пытавшихся таким путем противостоять выставочной деятельности Товарищества.

[2] В. Д. Орловский был активным противником Товарищества передвижных художественных выставок. В письме к Исееву от 3/17 апреля 1875 года Орловский писал: «Перед отъездом мы говорили о Крамском и Ге. Я говорил, что можно выбрать одного из них не в том смысле, чтобы вполне отдаться ему, а только временно, чтобы поставить его в неопределенное положение, что поможет разъединению цельного их Общества и разладу в нем. И тогда уже, когда оно начнет окончательно разлагаться, уже можно говорить откровенно о своих условиях и требованиях» (Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

[3] Крестоносцев Петр Александрович (род. в 1837 г.) — художник-портретист, организовавший в 1864 году группу художников и учеников Академии по примеру Артели, возглавляемой Крамским. Кроме Крестоносцева членами второй художественной артели были: Кошелев, Максимов, Калмыков, Бобров, Дамберг, Киселев и Шурыгин. Однако эта артель просуще-

ствовала только до лета 1865 года. В 1870-х годах Крестоносцев был одним из наиболее деятельных членов Общества выставок художественных произведений (см. примечание 1 к данному письму).

[4] Якоби Валерий Иванович (1834—1902) — жанрист, исторический живописец. Своей картиной «Привал арестантов» (1861, Большая золотая медаль) зарекомендовал себя как передовой художник-реалист, однако в дальнейшем отошел от идейного реализма. Вернувшись в Россию после заграничного путешествия в качестве пенсионера Академии художеств, он подписал Устав Товарищества, но никогда не был участником его выставок. В 1870-х годах пользовался большим авторитетом в Академии и был активным деятелем Общества выставок художественных произведений. В 1890-х годах в связи с арестом и ссылкой в Сибирь Исеева, осужденного за злоупотребления при ведении денежных дел в Академии, Якоби был отстранен от должности профессора Академии.

Товарищество передвижных художественных выставок всегда видело в нем своего активного противника.

91

[1] Репин находился в заблуждении, полагая, что Академия, отказавшись от собственных выставок, предоставит пенсионерам возможность экспонировать свои произведения по собственному выбору в любой из выставочных организаций, в том числе — в Товариществе передвижных художественных выставок.

1875

92

[1] Несмотря на критику, которой подвергся Устав Общества выставок художественных произведений на заседаниях Совета Академии, и на якобы последовавшее вслед за этим изменение Устава, 23 октября 1875 года Правление Общества обратилось к Исееву с ходатайством «принять на себя звание почетного члена Общества на основании § 4 Устава... и непременного депутата от имп. Академии художеств на основании § 7...» (ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств). В протоколе Правления Общества от 27 октября 1875 года записано, что П. Ф. Исеев был назначен депутатом в Обществе от Академии.

93

[1] Жена Савицкого покончила жизнь самоубийством в январе 1875 года (см. примечание 2 к письму 192).

[2] На выставку весеннего Салона 1875 года.

[3] Репин имеет в виду журнал, первый номер которого вышел в январе 1875 года под названием «Пчела. Русская иллюстрация». Первым редактором журнала был М. И. Ходоровский, издателем А. Ф. Базунов. Первыми редакторами художественного отдела были Н. А. Александров и Д. В. Григорович, литературного отдела — Я. Полонский. Однако уже в марте месяце того же года Григорович, Полонский и Александров от участия в редакции журнала отказались. Их примеру последовали художники, обещавшие журналу свое сотрудничество: В. И. Якоби, И. Н. Крамской, А. Д. Литовченко, М. П. Клодт, И. И. Шишкин, В. М. Васнецов. Это произошло вследствие того, что журнал, задуманный как серьезное художественное издание, вскоре, благодаря деятельности некоторых лиц, желавших издавать его на коммерческих началах, превратился в коммерческое предприятие. Главный официальный редактор журнала был сменен лишь в 1876 году, когда его место занял М. О. Микешин, ставший с 43-го номера 1876 года издателем-редактором. Редактором художественного отдела и почти единственным его сотрудником стал А. В. Прахов. В 1878 году журнал прекратил свое существование, очевидно, в связи с гонениями на Прахова со стороны Академии художеств (см. примечание 12 к письму 79).

[4] В третьем номере «Пчелы» Стасовым была напечатана статья о Репине, вопреки воле художника. В той же статье Стасов, без ведома Репина, опубликовал его письма из-за границы, в которых были суждения Репина о Рафаэле. Публикация нашла широкий отклик в прессе и вызвала нападки на Репина. Ухудшилось вследствие этого и отношение к Репину Тургенева.

[5] Речь идет о недописанном письме Репина от 15/27 ноября 1874 года (см. письмо 88).

[6] Речь идет о проекте памятника А. С. Пушкину в Москве (см. примечание 7 к письму 81). Антокольский представил А. С. Пушкина сидя-

щим на скале, по уступам которой к нему поднимаются герои его произведений. О понимании самим Антокольским содержания его эскиза памятника А. С. Пушкину см. его письма к В. В. Стасову от 26 июня (7 июля) 1874 года, 10(22) июля 1874 года, 18 января 1875 года и 18 апреля (1 мая) 1875 года (М. М. Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи, стр. 161—165, 172—173, 210—211, 227).

94

[1] Репин хотел, чтобы на IV Передвижной выставке 1875 года был экспонирован исполненный им в 1874 году в Париже портрет г-жи С. А. де Бове, о котором Боголюбов писал в своем донесении: «...г. Репин написал... превосходный женский портрет г-жи де Бове, очень трудный по исполнению, ибо дама пожелала себя видеть в бальном костюме и с обнаженными плечами и руками, которые исполнены превосходно» (ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств.). Местонахождение портрета неизвестно.

[2] На IV Передвижной выставке были экспонированы две картины Куинджи, изображающие степь при дневном и при вечернем освещении. Вероятно, Крамской имеет в виду «Степь» при дневном освещении, которая была приобретена П. М. Третьяковым.

[3] См. примечание 3 к письму 93.

95

[1] Манэ Эдуард (1832—1883) — французский художник. Живописец, рисовальщик и литограф.

[2] Моне Клод (1840—1926) — французский художник. Пейзажист; представитель импрессионизма.

[3] Салон — ежегодные выставки, устраивавшиеся в Париже весной в помещении Большого дворца Елисейских полей. До 1890 года — единственное официальное объединение французских художников.

[4] Беккер Жорж (род. в 1845 г.) — французский художник. Исторический живописец. В Салоне 1875 года экспонировалась его картина «Ресфа защищает тела своих сыновей от хищных птиц».

[5] Констан Бенжамен (1845—1902) — французский художник. Исторический живописец и портретист.

[6] Доре Гюстав (1832—1883) — французский художник. Иллюстратор, живописец и скульптор.

[7] Вирц Антуан-Жозеф (1806—1865) — бельгийский художник и скульптор.

[8] Жаке Жан-Гюстав (1846—1909) — французский художник. Жанрист, портретист и автор картин на аллегорические темы. В Салоне 1875 года экспонировалась его картина «Мечты», изображающая молодую девушку, сидящую в кресле.

[9] Гупиль Жюль-Адольф (1843—1883) — французский художник. Жанрист и портретист. В Салоне 1875 года экспонировалась его картина «1795 год», изображающая девушку в костюме конца XVIII века.

[10] Вибер Жан-Жорж (1840—1902) — французский художник. Жанрист. В Салоне 1875 года экспонировалась его картина «Стрекоза и муравей».

[11] Вероятно, Моро Адриан (1843—1906) — французский художник. Жанрист, гравер.

[12] Каролюс-Дюран Эмиль-Огюст (1838—1917) — французский художник. Портретист, жанрист, исторический живописец, пейзажист.

[13] О какой картине А. А. Харламова идет речь, установить не удалось.

[14] Речь идет о картине Репина «Парижское кафе» (1875). Находится в собрании Монсона в Стокгольме.

[15] «Салон рефюзе» — «Салон отверженных». Возможно, что Репин ошибся и имел в виду выставку, которая открылась в это время в Отеле Друо и в которую были включены произведения художников, отвергнутых жюри Салона. (Отель Друо — предприятие для аукционов произведений искусства.) Это предположение подтверждается тем, что в следующем 1876 году Репин в письме к Стасову вспоминал о том, что год тому назад именно в Отеле Друо он разговаривал с И. С. Тургеневым об импрессионистах (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, стр. 132).

[16] Виардо Полина-Гарсиа (1821—1910) — знаменитая певица. Ее муж Луи Виардо — историк искусств. Речь идет, повидимому, о последнем.

[17] «Фигаро» — французская газета, отличавшаяся полной политической беспринципностью.

[18] По просьбе американца Гопера, вице-консул Северо-Американских Соединенных Штатов вел переговоры с Репиным о покупке его картины «Парижское кафе».

[19] См. примечание 4 к письму 93.

[20] Статья «Бесплатная выставка в Академии художеств для соискания степеней» в журнале «Пчела», 1875, № 15, где дается оценка картины Поленова «Арест гугенотки».

[21] «Пчела», 1875, № 13, в котором была помещена иллюстрированная статья «Третий конкурс на памятник Пушкину».

[22] Опекушин Александр Михайлович (1840—1923) — скульптор. Автор памятников А. С. Пушкину в Москве (1880), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889) и др.

[23] Шредер Иван Павлович (род. в 1835 г.) — скульптор.

[24] Альма Тадема Лауренс (1836—1912) — уроженец Голландии, жил и работал в Англии. Писал картины на темы из античной жизни.

[25] Вотерс Эмиль-Шарль (1846—1933) — бельгийский художник. Портретист, исторический живописец. В Салоне 1875 года экспонировалась его картина «Гуго фан-дер-Гус».

[26] Ейкенс Филипп Герман (1812—1877) — американский художник. Портретист, жанрист.

[27] Бриджмен Фредерик (1847—1928) — американский художник. Жанрист и пейзажист. В письме к Стасову от 7 июня 1875 года Репин писал о поездке в Лондон в компании художников, среди которых были «два американца, наши приятели». Одним из них был Бриджмен.

[28] Геримский Александр (1849—1901) — польский художник. Баталист и жанрист.

[29] Литовченко Александр Дмитриевич (1835—1890) — исторический живописец, портретист.

96

[1] Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — исследователь русской литературы, языка и фольклора. Автор обобщающего труда «История русской литературы». Был членом редакции журнала «Современник». С основания журнала «Вестник Европы» (1867) Пыпин стал его виднейшим сотрудником. Биография Белинского печаталась в «Вестнике Европы» в 1874 и 1875 годах. В 1876 году она вышла отдельным изданием под названием «Белинский, его жизнь и переписка». В этом труде впервые была опубликована переписка В. Г. Белинского.

[2] Боткин Дмитрий Петрович (1829—1889) — московский коллекционер, собиравший картины современных, преимущественно западноевропейских художников. Состоял председателем Московского Общества любителей художеств с 1877 по 1888 год. Приобрел картину Фортуни «Дворик в Гренаде» (1871). В настоящее время картина находится в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

[3] Речь идет о картине Г. И. Семирадского «Продавец амулетов», не имевшей успеха в Петербурге.

[4] См. примечание 12 к письму 51.

[5] Речь идет о картине А. Д. Литовченко «Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею», экспонированной на Академической выставке 1875 года.

[6] Речь идет о картине П. О. Ковалевского «Привал в кавказском кабаке». Была экспонирована на той же выставке. Находится в Русском музее.

[7] Речь идет о картине Поленова «Арест гугенотки» («Арест графини д'Этремон»), экспонированной на той же выставке. Находится в Русском музее.

[8] Речь идет о картине польского художника Геримского «Итальянский певец», экспонированной на той же выставке. Подробное ее описание имеется в статье А. В. Прахова «Бесплатная выставка в Академии художеств для соискания степеней» («Пчела», 1875, № 15, стр. 184). Местонахождение картины в настоящее время неизвестно.

[9] Картина Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом».

[10] В статье Прахова «Четвертая Передвижная выставка» («Пчела», 16 марта 1875 г., № 10, стр. 125) были следующие строки, посвященные Крамскому: «Большого творческого таланта, особенно подвижной фантазии он до сих пор еще не обнаруживал, но в его личности залегло такое серьезное и строгое изучение, такое добросовестное отношение к искусству, что довольно присутствия небольшого этюда его работы, чтобы тотчас же изобличить все, что кругом есть небрежного, неумелого, шарлатанского, одним словом, неприличного в художественном мастерстве. Г-н Крамской как бы родился учителем и делается им постоянно помимо воли; это едва ли не единственный художник в настоящее время, который способен держать в своих руках школу».

Несомненно, отзыв Прахова был вполне искренним. Можно предположить, что Крамской негодовал на Прахова за его примирительную политику по отношению к Академии художеств. В 1875 году появились весьма благоприятные отзывы Прахова о произведениях Семирадского и Якоби. В 1876 году («Пчела», № 10) была напечатана его статья «Пятая Передвижная выставка и первая выставка художественных произведений», где он говорил о том, что не видит разницы между двумя обществами, считая, что их разделяет не разница целей и стремлений, но причины внешние, к искусству не относящиеся. На самом деле именно различные мировоззрения, а тем самым и различные цели и стремления лежали в основе антагонизма между этими двумя обществами.

[11] Софокл (498—406 гг. до н. э.) — великий драматург древней Греции.

[12] Памятник Петру I Фальконэ на Сенатской площади (ныне площадь Декабристов в Ленинграде).

Фальконэ Этьен-Морис (1716—1791) — французский скульптор, работавший в России.

[13] Картину «Парижское кафе».

97

[1] Татищев Дмитрий Александрович (1824—1878) — генерал-майор в отставке. Любитель живописи (см. о нем примечание 9 к письму 188).

[2] Репин ездил в Лондон в начале июня 1875 года.

[3] Картина Поленова «Арест гугенотки».

[4] Картина Поленова «Право господина» (1874) находится в Третьяковской галлерее.

[5] Детайль Жан-Батист (1848—1912) — французский художник. Баталист.

[6] «Пчела», 1875, № 15, стр. 185—186, «Бесплатная выставка в Академии художеств для соискания степеней». Прахов в этой статье писал о Лемохе: «Г-н Лемох давно стал заметен на академических выставках, как талантливый нравоописатель; так, вероятно, многие помнят его «Семейное горе», взятое из жизни бедного чиновничества. На настоящей выставке он как нельзя более ясно заявляет свои симпатии к меньшой братии, усердно принявшись за изучение крестьянского быта. В этом быту ему до сих пор не удалось еще почерпнуть какой-нибудь значительной характерной сцены, но все его этюды и небольшие композиции отличаются свежестью, исканием правды, что дороже всего, и любовным отношением к изображаемой среде; сверх того, в самой технике заметен значительный успех...»

[7] Картина «Садко» (1876).

98

[1] Патти Аделина (1843—1919) — знаменитая итальянская певица.

[2] Невиль Альфонс-Мари (1836—1885) — французский художник-баталист. Участник франко-прусской войны.

[3] Крамской полагал, что Репин — художник с ярко выраженной «народной струной» — не может написать удачную картину на избранный им сюжет. Вместе с тем он признавал значительность темы, поднятой Репиным в картине «Парижское кафе», и полагал, что картина на эту тему, исполненная французом, могла бы стать обличительным произведением, появление которого вызвало бы даже общественный скандал.

Крамской не развил свою мысль, поэтому и был неправильно понят Репиным (см. письмо 99). Репину показалось, будто Крамской хотел сказать, что картина настолько несовершенна по мастерству, что произошел скандал, способный отразиться на репутации художника.

[4] Панемакер Адольф-Франсуа — французский гравер второй половины XIX века.

99

[1] Маковский Константин Егорович.

101

[1] Речь идет о работе Панемакера над гравюрой с картины Крамского «Христос в пустыне».

1877

102

[1] Портрет А. И. Куинджи работы Репина (1877). Находится в Русском музее.

[2] Очевидно, Крамской имеет в виду картину Куинджи «Вечер», которая в списке произведений художника, составленном М. П. Неведомским, датируется 1878 годом (М. П. Неведомский. А. И. Куинджи, изд. Общества имени А. И. Куинджи, СПБ, 1913). В настоящее время она не вполне соответствует описанию Крамского, потому что была переписана Куинджи в 1901 году (репродукцию с нее см. там же, между стр. 158—159). Находится в Русском музее.

[3] Речь идет о письмах Крамского Н. А. Александрову, посланных в ответ на просьбу последнего дать ему советы в связи с намерением написать книгу на тему «Новая русская школа». В своем письме от 11 августа — 12 сентября 1877 года Крамской останавливался главным образом на творчестве Ф. А. Васильева (И. Н. Крамской. Письма, т. II, стр. 88—112).

103

[1] Упоминаемое письмо Репина не сохранилось.

[2] Портрет Веры Николаевны Третьяковой (1844—1899), жены П. М. Третьякова, урожд. Мамонтовой (1876). Находится в Третьяковской галлерее.

[3] Портрет Репина, написанный Крамским в Париже в 1876 году. Находится в Третьяковской галлерее.

[4] Крамской отвечает на похвальный отзыв Репина об исполненном Крамским портрете Льва Николаевича Толстого (1873). Портрет находится в Третьяковской галлерее.

[5] Портрет Ивана Ивановича Шишкина.

[6] Повидимому, речь идет о работе над картиной «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 10 к письму 31.)

104

[1] См. примечание 3 к письму 103.

105

[1] Статья Крамского «Судьбы русского искусства», первые три главы которой были опубликованы в газете «Новое время», 1877, № 645—647, суммировала его взгляды на вопрос о воспитании русских художников и объясняла мотивы его борьбы с Академией, наполнившей всю созна-

тельную жизнь художника. В ней он рассматривал три периода деятельности Академии, причем третий, последний период, от введения нового Устава в 1859 году до момента написания статьи, он считал самым тяжелым и опасным для дальнейшей судьбы русского искусства. Он указывал на то, что перегруженность программы общеобразовательными предметами и специальными заданиями приводит к тому, что прохождение курса растягивается на десять-двенадцать лет.

Крамской писал: «Видя, к чему привели девятнадцатилетние усилия Академии, невольно спрашиваешь: да что же это такое? Кого приготовляет Академия? Просто ли молодых людей в общеобразовательном смысле или специалистов?..» (И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи, стр. 619). Для того чтобы объяснить причины снижения качества преподавания в Академии, Крамской обращается к воспоминаниям своей молодости и рассказывает о конфликте 1863 года (выход четырнадцати конкурентов). Он говорит о том, что в конце 50-х годов в Академии не был так силен бюрократизм и большую роль играла сама масса учащихся. Это было время, «...когда, с свободным допущением молодых людей всех слоев общества заниматься искусством, да еще без научного экзамена, возникло проявление простонародных наклонностей, с каждым годом все усиливавшееся... Я застал Академию еще в то время, когда недоразумение Совета относительно нарождающейся силы национального искусства было в спящем состоянии и когда еще существовала Большая золотая медаль за картинки жанра» (там же, стр. 611). Таким образом, в своей статье Крамской осуждал систему академического образования 60—70-х годов, как систему бюрократическую, антинациональную, далекую от интересов народа, благодаря которой Академия и не может справиться со своей основной задачей — подготовкой мастеров-специалистов.

Следует отметить, что, говоря об Академии в целом, Крамской недооценивал положительную роль Чистякова в академическом преподавании.

106

[1] Письмо Репина не сохранилось.

[2] Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист. С 1876 года — издатель реакционной газеты «Новое время».

[3] Картина Мясоедова «Молитва на пашне о даровании дождя» («Засуха»). Находится в Харьковском музее изобразительных искусств.

[4] Речь идет о Поленове, находившемся в это время в ставке вел. кн. Александра Александровича в Болгарии.

1878

107

[1] О коллекции портретов русских исторических деятелей, исполнявшихся по заказу В. А. Дашкова, см. примечание 3 к письму 2.

Репин исполнил для этой коллекции четырнадцать портретов, среди которых был портрет Грибоедова, скопированный с находящегося в Третьяковской галлерее произведения Крамского (см. «Путеводитель по Дашковскому собранию изображений русских деятелей», М., 1901).

108

[1] Картина Репина «Протодиакон» (1877). Находится в Третьяковской галлерее.

[2] Брюллов Павел Александрович (1840—1914) — пейзажист и жанрист. Активный член Товарищества, избирался в члены Правления и в казначеи.

[3] Ярошенко Николай Александрович (1846—1898) — жанрист, портретист и пейзажист. Активный деятель Товарищества передвижных художественных выставок. После смерти Крамского имел большое влияние на дела этой организации в отношении сохранения идейной чистоты ее принципов.

109

[1] Андрей Иванович Сомов. Был председателем комиссии по организации русского художественного отдела на всемирной выставке 1878 года в Париже. «Протодиакон» Репина не был включен в число экспонатов международной выставки ввиду того, что он давал бы нежелательное представление о русском духовенстве.

[2] Иван Уланов — чугуевский протодиакон, послуживший моделью для картины «Протодиакон».

[3] В 1878 году Репиным был написан эскиз картины «Крестный ход в дубовом лесу» («Явленная икона»), или «Несение чудотворной иконы на «корень». Находится в Третьяковской галлерее. Картина того же названия была впервые экспонирована на персональной выставке Репина в 1891 году. Она была переписана в 1916 и 1924 годах. Находится в настоящее время в городской галлерее г. Градец-Кралова в Чехословакии.

[4] Картина «Экзамен в сельской школе» была экспонирована на персональной выставке Репина в 1891 году. Находится в частном собрании в Стокгольме.

[5] Картина «Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» была закончена в Москве в 1879 году и экспонирована на VII Передвижной выставке. Находится в Третьяковской галлерее.

111

[1] Дата почтового штемпеля на конверте.

[2] Для всемирной выставки 1878 года в Париже Репиным были посланы в Академию: «Портрет Н. П. Собко» (1877, находится в Литературном музее в Москве), «Мужик с дурным глазом» («Портрет И. Ф. Радова», 1877), «Протодиакон» (1877), «Еврей на молитве» (1875). Все три картины находятся в Третьяковской галлерее.

На выставке художественных произведений, назначенных для Парижской всемирной выставки 1878 года, в Академии художеств был экспонирован лишь «Этюд старика», т. е. «Мужик с дурным глазом». На всемирной выставке 1878 года в Париже были выставлены картины Репина: «Бурлаки на Волге» и «Мужик с дурным глазом».

[3] Очевидно, Крамской предварительно ознакомил некоторых членов Товарищества с письмом Репина неофициально. 10 марта он писал ему о необходимости прислать официальное заявление о желании стать действительным членом Товарищества.

Репин был избран в действительные члены Товарищества на общем собрании его членов 14 марта 1878 года (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

112

[1] Речь идет об этюде «Мужик с дурным глазом».

113

[1] Портрет историка И. Е. Забелина (1877), находится в Третьяковской галлерее.

[2] Портрет Елизаветы Григорьевны Мамонтовой (1847—1908), жены С. И. Мамонтова (см. примечание 2 к письму 122), был написан Репиным в 1878 году, находится в музее-усадьбе Абрамцево.

[3] «Мертвый Чижов» («Смерть Ф. В. Чижова», 1877). Находится в частном собрании в Москве.

Чижов Федор Васильевич (1811—1877) — железнодорожный предприниматель. Любитель живописи. Знакомый многих русских художников. Друг семьи Поленовых.

[4] Илларион Михайлович Прянишников.

114

[1] Этюд Репина «Мужичок из робких» (1877). Находится в Горьковском художественном музее.

[2] Портрет матери художника, Татьяны Степановны Репиной, урожд. Бочаровой (ум. в 1880 г.), написанный в 1872 году.

[3] То есть к вел. кн. Александру Александровичу, в Рущукском отряде которого находился в это время Поленов.

[4] В воспоминаниях мужа сестры Поленова И. П. Хрущова о поездке художника на театр военных действий во время войны 1877—1878 годов, хранящихся в Отделе рукописей Третьяковской галлереи, имеется перечень исполненных художником картин, приобретенных Александром III. В основном это были картины этнографического и военно-бытового характера.

[5] Поленов дебютировал на VI Передвижной выставке 1878 года картиной «Московский дворик», но он опоздал с присылкой ее на выставку в Петербург, и она была впервые экспонирована в Москве. В действительные члены Товарищества он был избран на общем собрании, состоявшемся в Москве 27 мая 1878 года (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

[6] Enfant de maman *(франц.)* — «маменькин сынок» — Рафаил Сергеевич Левицкий (1847—1940), художник, с которым дружил Поленов, живший с ним в Москве на одной квартире.

[7] Статья Крамского «Судьбы русского искусства» (см. примечание 1 к письму 105).

116

[1] Дата почтового штемпеля на конверте.

[2] К письму приложена квитанция городской железнодорожной станции от 9 марта 1878 года о принятии от Аванцо для доставки Крамскому ящика с картинами.

117

[1] VI Передвижная выставка, открывшаяся в Петербурге 10 марта 1878 года.

[2] См. примечание 3 к письму 111.

[3] К письму приложена квитанция городской железнодорожной станции на картины в рамах.

118

[1] Письмо ошибочно датировано «26 марта 1876» в книге «И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи», СПБ, 1888, стр. 272—275, и в книге И. Н. Крамской. Письма, т. II, 1937, стр. 5—9. Письмо посвящено описанию произведений, экспонированных на VI Передвижной выставке 1878 года.

[2] VI Передвижная выставка.

[3] Картина Шишкина «Рожь» (1878) находится в Третьяковской галлерее.

[4] Картина Ярошенко «Кочегар» (1878) и портрет художника Мартынова находятся в Третьяковской галлерее.

[5] Самыми выдающимися произведениями на VI Передвижной выставке считались «Протодиакон» Репина и «Кочегар» Ярошенко.

Лучшей рецензией на эту выставку была неопубликованная по цензурным соображениям статья А. В. Прахова. Она была впервые напечатана в «Литературной газете», 1937, № 31, и ошибочно приписывалась Крамскому.

[6] Крамской пишет о двух картинах Куинджи. Первая из них — «Закат солнца в лесу» («Лес», 1878), находилась в Третьяковской галлерее, ныне — в Картинной галлерее Армении в г. Ереване. Вторая,— повидимому, картина «Вечер» (см. о ней примечание 2 к письму 102).

[7] См. примечание 3 к письму 106.

[8] Картина Савицкого «Встреча иконы» (1878). Находится в Третьяковской галлерее.

[9] Картина М. П. Клодта «Перед отъездом на войну» (1878), находилась в Третьяковской галлерее, ныне — в Ивановском областном краеведческом музее.

[10] Картина В. Е. Маковского «С ангелом». Находится в частном собрании в Москве.

[11] Картина В. М. Васнецова «Военная телеграмма» (1878). Находится в Третьяковской галлерее.

[12] Крамской имеет в виду то обстоятельство, что долгое время одним из основных источников заработка В. М. Васнецова были рисунки на деревянных досках, которые он исполнял для гравирования с целью воспроизведения в иллюстрированных изданиях.

[13] «Витязь» — первоначальный вариант (?) картины В. М. Васнецова «Витязь на распутьи», подписанной 1882 годом, находящейся в Русском музее; картина «Акробаты (на празднике в окрестностях Парижа)» находится в Русском музее под названием «Балаганы в Париже» (1877).

[14] Картина Максимова «Примерка ризы», находящаяся в Кировском областном художественном музее имени А. М. Горького.

[15] Картины П. А. Брюллова «Портрет К. Д. Кавелина» и «Северная ночь». Местонахождение неизвестно.

[16] На VI Передвижной выставке Крамской экспонировал следующие произведения: «Портрет вел. кн. Сергея Александровича», «Созерцатель» (находится в Музее русского искусства в Киеве), «Портрет Д. А. Оболенского», «Портрет академика А. Н. Савича» (находится в Пулковской обсерватории), «Портрет Н. А. Некрасова» (1877, находится в Третьяковской галлерее).

[17] Очевидно, речь идет об этюде «Мужик с дурным глазом».

119

[1] Ответ Репина на предыдущее письмо Крамского не сохранился.

Это обстоятельство не позволяет судить о расхождениях между Крамским и Репиным в характеристике VI Передвижной выставки в целом и представленных на ней отдельных произведений. Ясно лишь, что Репин не соглашался с Крамским в скромной оценке этой выставки и, в частности, оспаривал суждение Крамского о «Встрече иконы» Савицкого. Вопрос о творчестве Гуна был поднят потому, что VI Передвижная выставка включала в себя персональную посмертную выставку художника.

120

[1] Дата почтового штемпеля на конверте.

[2] Речь идет о постройке собственного помещения Товарищества для своих выставок в Петербурге.

Письма Крамского по поводу проекта постройки, направленные Репину и в Правление московского отделения Товарищества на имя В. Е Маковского, не сохранились. Известно, что В. Маковский 20 августа 1878 года писал Крамскому о том, что, вследствие отсутствия художников в Москве в летнее время, не может состояться собрание московских членов Товарищества для обсуждения этого вопроса. При этом он уведомлял его о своем личном согласии с проектом постройки (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

Мнение А. П. Боголюбова о предполагавшейся постройке известно из его письма к Крамскому от 7 ноября 1878 года. В нем Боголюбов вы-

сказывался за необходимость постройки собственного здания для выставок, которое впоследствии можно будет превратить в городскую галлерею. Для этого он предлагал членам Товарищества пожертвовать что-либо из своих произведений (там же).

[3] Каменев Лев Львович (1833—1886) — пейзажист. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

[4] Аммосов Сергей Сергеевич (1837—1886) — пейзажист.

[5] Киселев Александр Александрович (1838—1911) — пейзажист.

121

[1] В тексте письма рукой Крамского нарисован план выставочных залов с указанием размеров.

[2] Богомолов Иван Семенович (1841—1886) — архитектор.

[3] В Петербурге первые четыре выставки Товарищества открывались в залах Академии художеств. В 1876 году Академия отказалась предоставить свои залы для пятой по счету Передвижной выставки. Эта выставка была открыта в залах Академии наук. Крамской ясно характеризует отношение Академии к Товариществу, после того как последнее отказалось пойти на слияние своих выставок с академическими (см. примечание 1 к письму 73, письмо 184 и примечание 8 к нему). Товарищество, испытывая величайшие затруднения в приискании выставочного помещения, пришло к выводу о необходимости постройки собственного здания, хотя бы самого скромного, деревянного.

12 ноября 1878 года состоялось общее собрание членов Товарищества, «по требованию более чем трети наличного числа членов, для обсуждения вопроса о необходимости иметь свое собственное и постоянное помещение для выставок в Петербурге...» После того как собрание решило этот вопрос утвердительно, было приступлено к выяснению условий, необходимых для осуществления постройки. Такими условиями оказались:

«1. Бесплатное получение в пользу Товарищества от города или учреждений, от которых это может зависеть, места на срок не менее 20 лет.

2. Центральность положения этого места. Таковыми были признаны:

а) Александровский сквер;

б) Михайловский сквер;

в) Площадка Михайловского манежа; и

3. Стоимость постройки не свыше восемнадцати тысяч (18000) рублей».

Было принято предложение Ильи Федуловича Громова дать необходимый лесной материал с рассрочкой платежа на семь-восемь лет без процентов. Было решено «для покрытия расхода по постройке произвести подписку на заем между членами из их частных средств, причем весь необходимый капитал в размере восемнадцати тысяч рублей считать разделенным на 180 паев по сту (100) рублей каждый пай; и второе: погашение паев производить отчислением из доходов выставки по десяти рублей (10 р.) на каждый пай, считая 5 процентов годовых и 5 процентов погашения, что составит тысячу восемьсот рублей в год, если все 180 паев будут разобраны членами, а в случае, если вся сумма не будет покрыта подпиской, то к сумме ежегодного погашения и процента на капитал должна быть присоединена еще сумма, необходимая на уплату по ссуде Громова» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

Уверенность Крамского в возможности постройки здания для выставок Товарищества не оправдалась. Письмом от 27 июня 1879 года городская управа отказала Товариществу в предоставлении места для постройки (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

Хлопоты о помещении в Соляном городке также не увенчались успехом (отдел рукописей Третьяковской галлереи. Протокол общего собрания Товарищества от 27 февраля 1883 г.).

О постройке Товариществом собственного выставочного павильона см. также письмо 218 и примечание 2 к нему.

122

[1] Мурашко Николай Иванович (1844—1909) — художник. Руководил Киевской рисовальной школой. Друг Репина со времени совместного обучения в Академии. В своих мемуарах «Воспоминания старого учителя» (Киевская рисовальная школа. 1875—1901, Киев, 1907) Мурашко сообщает, что Крамской передал ему для школы «два рисунка, две хороших акварели и два масляными красками этюда».

[2] Мамонтов Савва Иванович (1841—1918). Крупный промышленник, строитель железных дорог. Меценат. В его московской квартире у Красных ворот и подмосковном имении Абрамцево, приобретенном в 1870 году у Аксаковых, собирались и работали художники: Н. В. Неврев, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, Е. Д. Поленова, В. М. Васнецов, И. С. Остроухов, М. А. Врубель, скульптор М. М. Антокольский и другие.

В 1880 году он издал альбом «Рисунки русских художников». Первый выпуск. М., изд. С. И. Мамонтова. Альбом состоял из двадцати фотогравюр с рисунков художников В. Васнецова, Крамского, Куинджи, Левицкого, В. Маковского, Поленова, Репина, Шишкина, Ярошенко. В альбоме были воспроизведены три работы Крамского: «Встреча войск», «Вечер на даче», «Головка».

1879

123

[1] Речь идет о рисунке Крамского «Встреча войск» (находится в Ивановском областном краеведческом музее), который был исполнен для альбома С. И. Мамонтова (см. примечание 2 к письму 122).

[2] В разделе «Хроника» газеты «Новое время», № 1049, 23 января 1879 г., стр. 2, было напечатано: «В начале великого поста Товарищество передвижных выставок намеревается открыть свою VII выставку картин. О месте открытия теперь еще не может быть объявлено, вследствие некоторых затруднений, встречаемых Товариществом по примеру прошлых двух лет при приискании помещения для своих выставок (VI выставка — в путешествии)».

124

[1] В рисунке «Встреча войск» Крамской изобразил семью убитого на войне офицера — вдову, в слезах опустившуюся в кресло, и детей, разглядывающих с балкона торжественную встречу войск, возвращающихся домой после окончания войны.

[2] Первые опыты занятий Репина керамикой относятся ко времени его жизни и работы в Париже совместно с Поленовым. Это увлечение было связано со знакомством с художником Евдокимом Алексеевичем Егоровым (1832—1891), сыном известного исторического живописца А. Е. Егорова. Он имел собственную керамическую мастерскую, где и занимались русские художники, жившие в Париже: Репин, Поленов, Боголюбов, Харламов, Беггров, К. Маковский, Савицкий (см. «Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 414—415). Занятия возобновились в Москве. Центром этого увлечения керамикой был мамонтовский кружок и семья Поленовых. Наиболее серьезно занималась керамикой Е. Д. Поленова.

[3] Сарасате Пабло Мартин Мелитонде (1844—1908) — испанский скрипач и композитор.

[4] См. примечание 2 к письму 122.

126

[1] Повидимому, доктор А. А. Леман. В 1876 году Крамской исполнил его портрет.

[2] П. А. Брюллов и М. К. Клодт. Речь идет об организации VII Передвижной выставки.

127

[1] На VII Передвижной выставке в Петербурге экспонировалась картина Репина «Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году». На выставке в Москве, помимо

этого, были экспонированы: «Портрет И. С. Тургенева», «Портрет * * * » и «Этюд».

На выставке в Петербурге и Москве были экспонированы два произведения В. Васнецова: картина «Преферанс» и «Этюд». Из дальнейших писем ясно, что третий присланный Васнецовым этюд Крамской на выставку не поставил (см. письмо 132).

[2] Статья Крамского «За отсутствием критики» («Новое время», № 1052, 1 февраля 1879 г.), посвященная критическому разбору картины Габриеля Макса (1840—1915) «Лик спасителя», в которой глаза Христа казались одновременно опущенными и глядящими на зрителя, и художнику-импровизатору Карло. Сближая эти явления, Крамской осуждал Макса за отсутствие серьезного отношения к искусству, сказавшееся в том, что им был употреблен «недостойный фокус», вследствие чего впечатление от картины относится «к категории нервных раздражений». Подобно этому, импровизации Карло под музыку также не имеют ничего общего с подлинным творческим процессом, ибо он при создании картины пользуется чисто механическими, заученными приемами.

128

[1] VII Передвижная выставка, открывшаяся в Петербурге 26 февраля 1879 года.

[2] К. Маковский на VII Передвижной выставке экспонировал картины: «Дети в лесу», «Дети в поле», «Портрет В. А. Кочубея», «Портрет * * *», «Портрет Ю. П. М.», «Русалки» (последняя картина находится в Русском музее, местонахождение остальных неизвестно). В Москве, помимо этого, были экспонированы его картины: «Портрет К. Е. Утеман», «Портрет М. Д.», «Портрет А.».

Харламов на VII Передвижной выставке экспонировал картину «Итальянские дети», Леман — картину «Дама в костюме времени Директории», приобретенную П. М. Третьяковым.

[3] Очевидно, Общество выставок художественных произведений также начало хлопоты о постройке для себя выставочного помещения.

[4] Картина Поленова «Лето» («Летнее утро. Царство лягушек»), приобретенная Д. П. Боткиным. Местонахождение ее в настоящее время неизвестно.

129

[1] В. В. Стасов.

Из контекста писем Репина к Стасову видно, что последний дважды в своих письмах к художнику осуждал картину «Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» (эти письма не сохранились). После отрицательного отзыва Стасова о картине, опубликованного в печати (см. примечание 1 к письму 134), переписка между ними прекратилась почти на полгода. Репин был особенно обижен на Стасова потому, что его отрицательные суждения в данном случае совпадали с позицией консервативной прессы по отношению к творчеству художника.

130

[1] Речь идет о картине Харламова «Итальянские дети».

132

[1] Коллективное письмо московских членов Товарищества в связи с задержкой открытия Передвижной выставки 1879 года не обнаружено.

[2] Речь идет о III выставке Общества выставок художественных произведений 1879 года, на которой была экспонирована картина Макарта «Ромео и Джульетта».

[3] На VII Передвижной выставке были экспонированы следующие произведения Куинджи: «Березовая роща», «После дождя», «Север». Все они датированы 1879 годом и находятся в Третьяковской галлерее.

[4] Картина В. М. Васнецова «Преферанс» (1879). Находится в Третьяковской галлерее.

[5] На VII Передвижной выставке были экспонированы картины Поленова: «Бабушкин сад» (1878), «Лето» (1879) и «Удильщики» (1878, из собрания Матвеева). Первая из них находится в Третьяковской галлерее, местонахождение второй неизвестно. О картине «Рыбачки» («Удильщики») см. примечание 1 к письму 165.

[6] На VII Передвижной выставке были экспонированы картина В. Е. Маковского «Осужденный» (1879) и картина Репина «Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» (1879). Первая находится в Русском музее, вторая в Третьяковской галлерее.

133

[1] Репин пишет о VII Передвижной выставке, которая была открыта в Москве в течение апреля 1879 года в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества.

134

[1] Стасов в своей рецензии на VII Передвижную выставку оценивал ее очень высоко. Он писал: «Если никогда у них на выставке не бывало, ни в один год, столько народу, как нынешний раз, зато уж и у них никогда не бывало столько таланта, настоящего дела, настоящей службы своему искусству и своей стране, как нынче». Однако, похвалив участников выставки, в особенности В. Маковского, Стасов очень сурово отнесся к Репину. «Он не драматик, — писал Стасов, — он не историк, а по моему глубокому убеждению, пусть он напишет хоть двадцать картин на исторические сюжеты, все они мало ему удадутся». Сравнивая талант Репина с талантом А. Н. Островского, Стасов продолжал: «Оба они таланты глубоко реальные, неразрывно связанные с одною лишь современностью и тем, что сами видели собственными глазами, что пронеслось перед их разгоревшимся чувством. У обоих вовсе нет того воображения, которое способно перенести автора в другие времена и в другие места. Способность постижения и передачи у обоих принадлежит нераздельно и исключительно теперешнему миру, теперешней жизни, теперешним людям, и вне этого их деятельность теряет силу, правду и прелесть» (см. В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. II, стр. 7—26. «Художественные выставки 1879 года»). Мнения других рецензентов разделились: одни порицали, другие хвалили картину Репина «Царевна Софья». Вся реакционная критика резко ее осуждала.

[2] Ивачев Василий Яковлевич — владелец дачи в Жуковке около Кунцева.

135

[1] Крамской имеет в виду картину Репина «Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году».

Высоко оценивая это произведение, он боялся, что Репин, вследствие неблагоприятной критики, станет ее переписывать (см. Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, стр. 253). Картина не была переписана Репиным.

[2] Речь идет о раме для картины К. Маковского «Русалки».

[3] Портрет Софьи Николаевны Крамской (1879), экспонированный на VII Передвижной выставке, находится в Третьяковской галлерее.

136

[1] Картина Делароша «Кромвель у гроба Карла I» (1831). Была хорошо известна в России, так как ее повторение находилось в Кушелевской галлерее в Петербурге. В настоящее время находится в Эрмитаже.

137

[1] Василий Ефимович Репин.

1880

138

[1] Письмо Репина не сохранилось.

[2] Речь идет о выходе из Товарищества В. М. Васнецова из-за инцидента, возникшего при принятии его картины «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880) на VIII Передвижную выставку. Мясоедов резко выступил против принятия картины, что послужило поводом к подаче Васнецовым заявления о выходе из Товарищества. Из последующего письма Крамского ясно, что письмо Мясоедова к Васнецову, при помощи которого он хотел уладить инцидент, лишь углубило его. В связи с этим Репин послал в Правление письмо, касавшееся, повидимому, общих вопросов жизни Товарищества. Члены Товарищества направили Васнецову коллективное письмо с извинением, но Васнецов все-таки вышел из его состава. Этот инцидент глубоко переживался Репиным и Крамским, едва не подавшим, в свою очередь, заявления о выходе из Товарищества. Он свидетельствовал о возникновении принципиальных расхождений среди членов Товарищества.

139

[1] Одновременно с Васнецовым вышел из Товарищества Куинджи. Его выход был связан со статьей М. К. Клодта, помещенной в газете «Молва» (1879, № 62), в которой картины Куинджи, экспонированные на VII Передвижной выставке, подвергались резкой критике.

[2] Речь идет о письме М. К. Клодта, написанном в ответ на письмо к нему Ярошенко, в котором последний обвинял Клодта в неблаговидном поступке в связи с его статьей, напечатанной в «Молве». Ярошенко писал, что считает долгом высказать свое мнение об этой статье. Свое впечатление от нее он резюмировал так: «В целом оно таково, что побуждением написать статью послужили не любовь, не интерес к искусству, не искание истины, а зависть и недоброжелательство к художнику, обладающему гораздо более свежим и сильным талантом, чем каким владеете Вы; это относительно всей статьи, но есть в ней частность, вызывающая еще худшее впечатление и заключающаяся в том, что Вы, член Товарищества, состоящий вместе с тем на службе в Академии художеств, решились высказать вслух, печатно мнение, будто сочувствие печати, излишество расточаемых ею похвал выставкам Товарищества и нападки на выставки академические — есть дело моды и дешевого либерализма» (Письмо Н. А. Ярошенко от 10 декабря 1879 г., Отдел рукописей Третьяковской галлереи). Клодт отвечал письмом в Правление Товарищества, прося исключить его из числа членов, но высказывал желание участвовать на выставках в качестве экспонента (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). Впоследствии он принимал участие лишь в XXV юбилейной выставке Товарищества, состоявшейся в 1897 году.

140

[1] Повидимому, речь идет о порче рамы картины В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами».

[2] На VIII выставке Товарищества передвижных художественных выставок (1880) в Москве была экспонирована картина В. М. Максимова «Деревенский аукцион». Находится в Галлерее изобразительных искусств в г. Осипенко.

[3] Речь идет о ценах на картины, экспонированные на VIII Передвижной выставке в Москве.

141

[1] Дата почтового штемпеля на конверте.

[2] Картина Мясоедова «Сумерки» (1880), экспонированная на VIII Передвижной выставке.

[3] VIII Передвижная выставка была открыта в Москве 15 апреля 1880 года, в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества.

142

[1] Алловерт Николай Павлович — редактор журнала «Огонек» (1879—1883), издававшегося Г. Д. Гоппе.

[2] Сидоров Александр Исидорович (1835—1906) — известный художник-реставратор, работал в Эрмитаже.

[3] Картина Репина «Проводы новобранца» (1879). Находится в Русском музее.

[4] Из письма Крамского ясно, что организация Всероссийской выставки в Москве началась в 1880 году. Ее открытие проектировалось в 1881, но состоялось лишь в 1882 году. Участие Товарищества передвижных художественных выставок было на ней чрезвычайно полным, но отдельного зала оно не получило. Впервые за долгий промежуток времени русская публика могла видеть на одной выставке, в одних и тех же залах произведения академической школы и Товарищества передвижных выставок, экспонированные на равных началах. На этой выставке особенно ярко проявилось превосходство идейного реалистического искусства передвижников.

[5] Речь идет об альбоме избранных произведений членов Товарищества, который оно собиралось издавать.

[6] Письмо написано на бланке Товарищества передвижных художественных выставок.

143

[1] Загорский Николай Петрович (1849—1893). В 1875 году получил звание классного художника 1-й степени.

[2] Манизер Генрих Матвеевич (1847—1925) — жанрист.

[3] Константинович Василий Михайлович. В качестве уполномоченного Товарищества сопровождал передвижные выставки во время их переезда по городам с 1888 по 1890 год. С мая 1890 года по декабрь 1896 года был секретарем Товарищества передвижных художественных выставок.

[4] Бронников Федор Андреевич (1827—1902) — исторический живописец.

[5] Речь идет об успехе картины Куинджи «Ночь на Днепре», экспонированной художником в помещении Общества поощрения художников.

144

[1] Картина В. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами». Находится в Третьяковской галлерее.

[2] Картина В. В. Верещагина «Панихида» (1877—1878) из серии картин русско-турецкой войны. Находится в Третьяковской галлерее.

[3] Гоппе Герман Дмитриевич (1836—1885) — основатель и издатель журнала «Всемирная иллюстрация» (1869—1894), издатель журнала «Огонек» (1879—1883).

[4] См. примечание 2 к письму 122.

145

[1] Московское Строгановское училище, основанное Сергеем Григорьевичем Строгановым (1794—1883) в 1825 году. Ходатайство об учреждении на свои средства рисовальной школы было им подано в 1824 году.

[2] Постоянная выставка Товарищества не была организована.

[3] Каррик Василий Андреевич (1830—1887) — художник-фотограф.

146

[1] Письмо Репина, на которое отвечает Крамской, не сохранилось.

[2] Картина В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», экспонированная на IX Передвижной выставке 1881 года. Находится в Третьяковской галлерее.

[3] Картина М. П. Клодта «Посещение царицей заключенных во время светлого праздника» («Милостыня царицы»), экспонированная на IX Передвижной выставке. Местонахождение картины неизвестно.

[4] Картина М П. Клодта «Последняя весна» (1861). Находится в Третьяковской галлерее.

1881

147

[1] Письмо ошибочно датировано Репиным 4 января вместо 4 февраля.

[2] IX Передвижная выставка открылась 1 марта 1881 года.

[3] Речь идет о картине Репина «Крестный ход в Курской губернии» (1883), находящейся в Третьяковской галлерее.

[4] Это решение было вызвано желанием Репина приблизиться к событиям политической жизни, которая его в то время особенно интересовала в связи с задуманными и начатыми картинами на темы революционного движения в России.

[5] Портрет А. Ф. Писемского (1880) работы Репина, был экспонирован на IX Передвижной выставке. Находится в Третьяковской галлерее.

[6] Картина В. М. Васнецова «Аленушка» (1881). Находится в Третьяковской галлерее.

148

[1] Крамской неправильно оценивал значение литературной деятельности Достоевского в жизни современного общества. В этом вопросе Репин стоял на значительно более правильных позициях (см. письмо 149).

[2] Клодт Петр Карлович (1806—1867) — скульптор.

149

[1] Речь идет о картине Сурикова «Утро стрелецкой казни».

[2] Репин упоминает действующих лиц романа Достоевского «Братья Карамазовы».

1885

150

[1] Речь идет о картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1885), показанной впервые на XIII Передвижной выставке. Картина находится в Третьяковской галлерее.

К ПЕРЕПИСКЕ с В. Д. ПОЛЕНОВЫМ

1867—1868

151

[1] Записка Крамского датируется 1867—1868 годами — временем, когда художник давал уроки Елене Дмитриевне Поленовой (впоследствии известной художнице) и ее двоюродной сестре Ольге Леонидовне Воейковой. Тогда же Крамским был исполнен портрет В. Н. Воейковой, бабушки его учениц, которую одновременно с ним писал Поленов, пользуясь указаниями и советами Крамского («Портрет В. Н. Воейковой», 1867, работы Крамского находится в Музее им. В. Д. Поленова).

Первая встреча Поленова с Крамским произошла в 1864 году в Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художников. Крамской преподавал в этой школе, а Поленов, в ту пору ученик Академии художеств, посещал воскресные уроки школы.

Поленов считал Крамского одним из своих учителей и постоянно хранил у себя в кабинете его портрет, наряду с портретами П. П. Чистякова и А. П. Боголюбова.

152

[1] См. примечание 1 к письму 151.

1875

153

[1] Поленов окончил Академию художеств в 1871 году с Большой золотой медалью и правом поездки за границу в качестве пенсионера Академии. В течение 1872—1873 годов Поленов посетил ряд городов Германии, Швейцарии, Италии и Австрии, а с осени 1873 года поселился в Париже. Первое время парижской жизни Поленов пользовался мастерской художника А. П. Боголюбова, затем оборудовал собственную при своей квартире на улице Бланш, в районе Монмартра. Здесь он работал над картинами «Право господина», «Арест гугенотки» (см. примечание 2 к данному письму), «Цезарская забава» (частное собрание в Москве) и другими.

[2] Речь идет о картине «Арест гугенотки», исполненной Поленовым в 1875 году и тогда же купленной, по совету Боголюбова, вел. кн. Александром Александровичем. В настоящее время картина находится в Русском музее.

Просьба Поленова принять его картину на IV Передвижную выставку была первой попыткой художника стать членом Товарищества передвижных художественных выставок, целям и задачам которого он глубоко сочувствовал. Однако эта попытка была пресечена Академией художеств, запретившей пенсионерам экспонировать свои работы на каких-либо выставках, кроме академических. Это вмешательство Академии вызвало возмущение Поленова, Репина и других пенсионеров (см. письмо 93).

[3] В качестве сюжета для своей картины Поленов использовал эпизод из истории религиозных войн во Франции XVII века: арест сторонниками герцога Гиза графини д'Этремон, жены адмирала Колиньи, одного из вождей гугенотов.

154

[1] Крамской имеет в виду Товарищество передвижных художественных выставок и Общество выставок художественных произведений (см. примечание 6 к письму 5, письмо 89 и примечание 1 к нему).

[2] Вел. кн. Владимир Александрович.

[3] Картина Поленова «Арест гугенотки» была показана на Академической выставке в апреле 1875 года. Первым отзывом о ней, полученным художником в Париже, была статья А. В. Прахова, который считал ее лучшей вещью на выставке и сожалел, что картина «поставлена не с достаточным вниманием» («Пчела», 27 апреля 1875 г., № 15). Е. Д. Поленова, в письме от 19 марта 1875 года, сообщала брату о благоприятном впечатлении, произведенном картиною на Крамского.

[4] 15 мая 1875 года Поленов писал отцу о выговоре, полученном им от Академии. Конференц-секретарь Академии Исеев сообщал при этом

художнику мнение Совета, что картина его «слаба по композиции и рисунку». Однако в 1876 году Поленову за картину «Арест гугенотки» было присвоено звание академика.

155

[1] В Салон 1875 года Поленов представил две работы: «Голова еврея» и «Работник в лесу». Последняя вещь была отвергнута жюри. О беспринципности жюри и царившем там протекционизме см. также письмо 95.

[2] Поленов ошибается: картины Морелли он видел на всемирной выставке в Париже в 1867 году.

[3] Беклин Арнольд (1827—1901) — немецкий художник. Исторический живописец и пейзажист.

[4] Константин Аполлонович Савицкий.

156

[1] В лице Фортуни Крамской видел типичного представителя современного западноевропейского искусства. В письмах к Репину от 20 августа и 10 сентября 1875 года он дал глубокий анализ этого искусства и характеризовал Фортуни как выразителя «наклонностей и вкусов денежной буржуазии» (см. письма 98 и 100). Отвечая Поленову, Крамской стремился избежать резких оценок. В этом же ответе ясно выражена уверенность Крамского в том, что развитие русской школы живописи должно носить национальный характер.

[2] Среди произведений, предназначенных для всемирной выставки 1873 года в Вене (см. примечание 10 к письму 42), были экспонированы картина Репина «Бурлаки на Волге» и картины Перова «Рыболов» и «Охотники на привале».

157

[1] Воллон Антуан (1833—1900) — французский художник. Натюрмортист.

[2] С этой картины Поленов, во время посмертной выставки произведений Фортуни (в Париже в 1875 году), сделал копию; копия находится в Музее им. В. Д. Поленова.

[3] См. об этом письмо 96 и примечание 2 к нему.

Крамской видел принадлежавшую Д. П. Боткину картину Фортуни. В письме П. М. Третьякову он так о ней отзывался: «Что же, для коллекции оно, быть может и нужно, написано действительно прекрасно, но... что ж тут скажешь — Фортуни» (Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, стр. 118).

1876

158

[1] Письмо адресовано в Париж, где в это время находился Крамской. В начале июля 1876 года Поленов добился от Академии художеств разрешения досрочно вернуться в Россию: дальнейшее пребывание за границей он считал для себя бесполезным. В течение последнего месяца парижской жизни Поленов часто встречался с Крамским, приехавшим в Париж в июне 1876 года. В письме к родным от 18/30 июня 1876 года он писал, что Крамской сказал ему «много дельного и хорошего, хотя очень жесткого». Поленов уезжал из Парижа с убеждением в необходимости посвятить свое творчество пейзажному и бытовому жанру.

[2] Близкий друг семьи Поленовых Ф. В. Чижов просил художника приобрести для него в Париже несколько рисунков углем; Поленов забыл или не успел исполнить поручение Чижова и в свою очередь обратился с просьбой к Крамскому выслать ему эти рисунки.

[3] По возвращении на родину Поленов провел некоторое время в усадьбе родителей — Имоченцы.

[4] Слово «сфотографировал» употреблено Поленовым в переносном смысле. Под «мужичком» художник подразумевает, повидимому, портрет сказителя былин Никиты Богданова, или Богоданова (другое название портрета — «Калика перехожий с берегов Ояти», 1876). Находится в Третьяковской галлерее.

[5] Поленов направлялся в Сербию, к театру военных действий. В 1876 году на Балканах началась война за национальную независимость славянских народов, порабощенных Турцией. Главнокомандующим сербской армией был генерал русской службы М. Г. Черняев. 24 сентября Поленов прибыл в столицу Сербии Белград, а 28 сентября — в штаб генерала Черняева.

[6] Виктор Михайлович Васнецов.

[7] Шиндлер Панталеон (1846—1905) — польский художник. Портретист.

159

[1] Приехав в Париж в июне 1876 года, Крамской рассчитывал создать себе здесь более благоприятную обстановку для непосредственной работы над картиной «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 10 к письму 31.) Первоначально он поселился у А. П. Боголюбова, уезжавшего на летние месяцы в Трепор.

Мастерская, отысканная Крамским на улице Вожирар, недолго служила художнику: в конце декабря 1876 года, в связи с болезнью младшего сына, он возвратился на родину.

[2] В. М. Васнецов. Крамской сообщает о начатой Васнецовым картине «Акробаты. Праздник в окрестностях Парижа». Картина была выставлена в Парижском Салоне 1877 года; в России впервые показана на VI Передвижной выставке в 1878 году.

[3] Впоследствии, когда картина Васнецова была окончена, Крамской изменил о ней свое мнение (см. письмо 118).

160

[1] Поленов говорит о картине «Московский дворик», написанной им в 1878 году по этюду 1877 года, сделанному из окна его московской квартиры в Трубниковском переулке. Картина и этюд находятся в Третьяковской галлерее.

[2] Речь идет о VI Передвижной выставке, открытой в Петербурге 10 марта 1878 года. Поленов экспонировал свою картину в Москве, где открытие VI Передвижной выставки состоялось 7 мая 1878 года. Кроме «Московского дворика», Поленов выставил здесь картину 1877 года «Рыбачки» («Ребятишки рыбу удят»). Об этой картине см. примечание 1 к письму 165.

В письме к П. П. Чистякову от 19 мая 1878 года Поленов указывал, что в течение шести лет разные внешние обстоятельства мешали ему «поступить в передвижники»; «теперь, — писал он, — этих обстоятельств больше нет... поэтому если меня примут в члены, то я буду очень этим доволен». Поленов был принят в члены Товарищества передвижных художественных выставок 27 мая 1878 года в Москве единогласным решением общего собрания.

[3] Поленов имеет в виду ошибку Крамского, неправильно записавшего петербургский адрес дома на Сергиевской улице, где жили родители Поленова (см. письма 112 и 115).

161

[1] См. примечание 2 к письму 160.

[2] Очевидно, Крамской имеет в виду Передвижную выставку будущего года, успех которой, как он полагал, будет означать очередное поражение академического лагеря.

[3] Подробный критический обзор V Передвижной выставки Крамской дал в письмах к Репину (см. письма 118 и 119).

1879

162

[1] Никополь — город в Болгарии, на Дунае. Во время русско-турецкой войны укрепленный пункт турок, взятый русскими войсками 4 июля 1877 года.

[2] Ковалевский Павел Осипович. Во время войны 1877—1878 годов был прикомандирован к штабу вел. кн. Владимира Александровича.

163

[1] Макаров Евгений Кириллович. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов состоял художником при главнокомандующем русской армией вел. кн. Николае Николаевиче.

[2] См. письмо 122 и примечание 2 к нему, письмо 123 и примечание 1 к нему, письмо 124.

[3] Поленов сообщает названия картин, назначенных им для VII Передвижной выставки. В каталоге выставки, открытой в Петербурге 23 февраля 1879 года, они были названы «Лето», «Удильщики» и «Бабушкин сад».

164

[1] Картина, о которой пишет Крамской, не была закончена им к открытию VII Передвижной выставки. В письме П. М. Третьякову от 12 марта 1879 года художник называл эту картину «Старые тополи». Она была показана на VIII Передвижной выставке в 1880 году под названием «Ночь». В дальнейшем картина стала называться «Лунная ночь». Находится в Третьяковской галлерее.

165

[1] Матвеев Иван Михайлович — московский коллекционер. По сведениям, полученным от семьи Поленова, у него были две картины Поленова: «Рыбачки» (1878) и «Цезарская забава» (1879). «Рыбачки» несколько раз повторялись художником. Кроме «матвеевского» экземпляра, местонахождение которого не установлено, известны еще две картины с тем же названием, обе датированные 1877 годом. Одна из них находится в частном собрании в Москве, другая — в Ленинграде. Экземпляр, принадлежавший Матвееву, экспонировался на VII Передвижной выставке в Петербурге. В Москве картина «Рыбачки», знакомая москвичам по предыдущей выставке, не экспонировалась. В состав выставки, путешествовавшей по России, вошла другая картина (вариант или повторение),

проданная во время пребывания выставки в Тамбове («Приходно-расходная книга Товарищества передвижных художественных выставок». Отдел рукописей Русского музея). Возможно, что именно эта картина была приобретена родственницей Поленова С. В. Воейковой, имение которой Ольшанка находилось вблизи Тамбова, и что один из известных в настоящее время вариантов является этой картиной.

[2] Картина «Бабушкин сад» («Бабушка и внучка») 1878 года была приобретена С. М. Третьяковым; впоследствии вошла в состав Третьяковской галлереи.

[3] Поленов интересуется вопросом о постройке Товариществом передвижных художественных выставок собственного выставочного павильона (см. об этом примечание 3 к письму 121).

166

[1] Картина «Лето», отправленная Поленовым на VII Передвижную выставку.

167

[1] На VII Передвижной выставке экспонировались картины Куинджи «После дождя» (1879), «Березовая роща» (1879) и «Север» (1879).

[2] Крамской имеет в виду присланную Репиным в Петербург на VII Передвижную выставку картину «Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году». Крамской неоднократно высказывал свое мнение об этой картине, как об одном из наиболее значительных произведений Репина (см. письма 128, 134).

168

[1] Поленов имеет в виду открывшуюся в одно время с Передвижной III выставку Общества выставок художественных произведений.

169

[1] Имеется в виду общее собрание членов Товарищества передвижных художественных выставок, назначенное на 21 марта 1879 года в Петербурге.

[2] К. Е. Маковский являлся одним из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок, подписавших в 1870 году его Устав. Однако в деятельности Товарищества он не принимал никакого участия, лишь в 1874 году выставил на правах экспонента одну картину. На VII Передвижную выставку Маковский, также в качестве экспонента, дал несколько своих работ, заявив о желании войти в состав членов Товарищества. Общее собрание, созванное 21 марта 1879 года, постановило принять Маковского в члены Товарищества.

Крамской по-иному, нежели Поленов, отнесся к желанию К. Е. Маковского. Вступление видного профессора Академии художеств в Товарищество он прежде всего расценивал как урон, нанесенный противнику, и тем самым как победу передовой группы русских художников. Именно эту сторону дела имел в виду Крамской, сообщая Третьякову о сильном впечатлении, произведенном вступлением Маковского в члены Товарищества «даже на такие крепкие лбы», как вел. кн. Владимир Александрович

и П. Ф. Исеев (Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, стр. 248).

[3] Опасения Поленова и поднятый им в связи с этим вопрос об ограничении дивиденда основывались на 19 параграфе Устава Товарищества, согласно которому прибыль от выставки делилась между участниками соответственно оценке выставленных ими произведений.

[4] Предложение Поленова о введении более строгих условий приема в члены Товарищества было поставлено на обсуждение общего собрания первым пунктом повестки дня. Собрание вынесло решение не принимать впредь от экспонентов заявлений об их желании баллотироваться в члены Товарищества передвижных художественных выставок; пополнение же Товарищества производить путем приглашения новых лиц, и только в том случае, когда не менее двух третей голосов на общем собрании признают это желательным. Однако для изменения соответствующих параграфов Устава необходимо было опросить также членов Товарищества, не присутствовавших на общем собрании. Был ли проведен такой опрос, установить не удалось.

[5] «Стеснительное» для москвичей правило, согласно которому в Москве не принимались картины от экспонентов, было отменено вторым пунктом повестки дня общего собрания 21 марта 1879 года. Этот пункт предоставлял в некоторых случаях право разрешать непредусмотренные Уставом вопросы наличным составом членов Товарищества, не дожидаясь созыва общего собрания. Также и в случаях, когда выставка открывалась не общим собранием, что было обычным для Москвы, прием экспонентов мог производиться присутствующими членами путем закрытой баллотировки.

1880

170

[1] Имеется в виду письмо, адресованное В. М. Васнецову членами Товарищества с целью восстановления отношений, нарушенных ссорой Васнецова с Мясоедовым (см. письмо 138 и примечание 2 к нему, письмо 139).

[2] Куинджи вышел из состава членов Товарищества в 1879 году (см. письмо 139 и примечания 1 и 2 к нему).

171

[1] Васильковский — генерал, начальник дворцовой конторы вел. кн. Александра Александровича.

[2] Картина Поленова «Турецкий аванпост» (1880), принадлежавшая вел. кн. Александру Александровичу, была экспонирована на VIII Передвижной выставке.

[3] Левицкий Рафаил Сергеевич в качестве экспонента участвовал на нескольких передвижных выставках, в том числе на VIII в 1880 году и на IX в 1881 году. Крамской пишет о его картине «Канун праздника», экспонированной на VIII Передвижной выставке.

172

[1] VIII Передвижная выставка.

[2] Имеется в виду картина «Лунная ночь», показанная на VIII Передвижной выставке. Крамской задержал на несколько дней отсылку в Москву своей картины, так как частично ее перерабатывал.

1881

173

[1] Основанием для датировки письма служит упоминание в нем IX Передвижной выставки, открытой в Петербурге в течение марта 1881 года.

[2] Неизвестно, о каком портрете сообщает Поленов.

[3] В 1881 году Поленов провел несколько недель в Петербурге в связи с болезнью сестры — В. Д. Хрущовой.

[4] На IX Передвижной выставке Поленов экспонировал два написанных в Имоченцах пейзажа: «Деревня зимой» («Зима») и «Горелый лес» (1881). «Деревня зимой» существовала в двух вариантах — первый, приобретенный И. Н. Терещенко, исполнен в декабре 1880 года, второй — в январе 1881 года. Местонахождение картин неизвестно.

1882

174

[1] Поленов имеет в виду свое возвращение из путешествия по Востоку (Египет, Сирия, Палестина), совершенного им в течение зимы 1881—1882 годов.

[2] Речь идет о X Передвижной выставке, открытой в Петербурге с 7 марта по 25 апреля 1882 года; в Москве выставка открылась 12 мая 1882 года.

[3] На X Передвижной выставке картины Левицкого не экспонировались.

1883

175

[1] Осенью 1883 года Поленов выехал в Рим, где оставался до лета 1884 года, работая над картиной «Христос и грешница».

[2] Неясно, о каком портрете упоминает здесь Поленов.

[3] L'Italia e la sua futura grandezza *(итальянск.)* — Италия и ее будущее величие.

[4] Сведомские Александр Александрович (1848—1911) — пейзажист, и Павел Александрович (1849—1904) — исторический живописец и жанрист. В 1880—1890-х годах жили в Риме.

[5] Риццони Александр Антонович (1836—1902) — жанрист, друг П. М. Третьякова. С 1868 года жил преимущественно в Риме.

[6] 17/29 ноября 1883 года жена Поленова писала его сестре, Е. Д. Поленовой, о двух мастерских, нанятых художником в Риме; одна из них находилась в доме, где жили Сведомские.

К ПЕРЕПИСКЕ с К. А. САВИЦКИМ

1873

176

[1] Динабург — ныне Даугавпилс Латвийской ССР.

[2] Шишкин Иван Иванович. Был связан с Савицким многолетней дружбой. Картины Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Дождь в дубовом лесу» (обе в Третьяковской галлерее) написаны при участии Савицкого.

[3] О подробностях, связанных с поисками дачи, см. письмо 59.

Упоминая о том, что Крамскому во второй раз приходится подыскивать для всех дачу, Савицкий имеет в виду предыдущее лето (1872 года), когда он и Шишкин также жили вместе с Крамским на станции Серебрянка по Варшавской железной дороге.

[4] В Динабурге жили замужние сестры К. А. Савицкого: Надежда Аполлоновна Сазанович и Лидия Аполлоновна Игельстром. Семейный портрет, вероятно, остался незаконченным, сведений о чем не сохранилось.

[5] Савицкая Екатерина Васильевна, урожд. Митрохина (1838—1875) — жена художника.

1874

177

[1] Письмо написано по пути за границу, куда Савицкий выехал из Петербурга 2 марта 1874 года. Заграничная поездка Савицкого предполагалась давно (см. письмо 69) и была вызвана плохим состоянием здоровья Савицкого, а также необходимостью завершить художественное образование, неожиданно прерванное исключением Савицкого (26 января 1873 г.) из Академии художеств за участие на II Передвижной выставке (см. письмо 42). Савицкий очень неохотно ехал за границу. 29 января 1874 года он писал в Париж о предстоящей поездке своему товарищу по Академии художеств Поленову следующее: «В настоящее время, когда я чувствую непреодолимую потребность взойти и приглядеться к русской жизни ближе и глубже, отнестись сознательнее, нежели я стоял к ней до сих пор, я должен отказаться от этого и перелететь бог весть куда, где красоты природы и новости щекочут нервы, но не наполняют собою душу. Не думаю, чтобы нашел где-либо, кроме России, для себя живой интерес и вытерпел бы долго это изгнание. Словом, настоящая поездка для меня не своевременна, будь позже, хотя годом, я бы не тужил; ответ простой: «не поезжай, если не нравится», но в том-то и дело, что, со стороны чисто физических условий, для здоровья нужно спешить туда!..» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

[2] Dresden, poste restante, à m-re Constantin Saviztsky *(франц.)* — Дрезден, до востребования, г-ну Константину Савицкому.

[3] Речь идет о картине «Ремонтные работы на железной дороге», экспонировавшейся на III Передвижной выставке. П. М. Третьяков решил приобрести картину еще во время своего посещения выставки в Петербурге, предлагая за нее 1000 рублей, вместо 1500 рублей, назначенных автором. В день отъезда за границу Савицкий писал Третьякову: «...по поручению Вашему Николай Николаевич Ге передал мне о Вашем желании приобрести мою картину «Рабочие на железной дороге». Я очень польщен этим заявлением и отвечаю Вам моим согласием на предложенную Вами плату тысячи (1000 р.)... Вам известно, без сомнения, условия, которыми обязывается всякий экспонент Передвижной выставки, и я принимаю Ваше предложение только с тем, чтобы настоящая картина моя обошла весь круг обычного путешествия...» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). Условия, о которых выше упоминает Савицкий, определялись Уставом Товарищества передвижных выставок, в соответствии с которым уже не сам автор, а Правление Товарищества решало, «какие из... произведений могут быть выдаваемы покупателям немедленно, а какие лишь по возвращении выставки на место ее отправления».

Картина была приобретена Третьяковым.

[4] Савицкий спрашивает о III Передвижной выставке, открытой в Петербурге с 21 января по 14 марта 1874 года. За картины, экспонированные на этой выставке: «Ремонтные работы на железной дороге»,

«Охотник» (см. примечание 5 к данному письму) и «Деревенская околица» (акварель, местонахождение неизвестно) Савицкий 2 февраля 1874 года был избран членом Товарищества.

[5] Местонахождение картины «Охотник» в настоящее время неизвестно. Можно предполагать, что именно эта картина воспроизведена в гравюре на дереве (рисовал Савицкий, гравировал Даугель), помещенной в журнале «Всемирная иллюстрация» (№ 409, т. XVI, № 19, 30 октября 1876 г., стр. 328). Современная критика находила, что это произведение Савицкого «...далеко не без достоинства: в позе и в лице притаившегося охотника хорошо передана напряженность ожидания, видно, что все его внимание сосредоточено на одной мысли — подстеречь свою добычу... Пейзаж в этой картине тоже очень верен природе, хотя и недостает ему глубины и сочности...» («Харьковские губернские ведомости», 2 декабря 1874 г.). Картина была приобретена неизвестным лицом во время пребывания III Передвижной выставки в Киеве.

[6] Абросимов А. С. — владелец мастерской позолотно-столярно-резных работ в Петербурге. Передвижники обычно заказывали у него рамы для своих картин.

[7] Каррик Василий Андреевич. Фотографии с картин, о которых пишет Савицкий, предназначались для продажи на Передвижной выставке.

[8] Николай Николаевич Ге.

[9] Речь идет о ссоре Шишкина с пейзажистом Шперером Эдуардом Францевичем — экспонентом III Передвижной выставки.

[10] Жена Шишкина (см. письмо 178).

178

[1] Речь идет о III Передвижной выставке Товарищества, помещавшейся в Тициановском зале Академии художеств.

[2] Письмо П. М. Третьякова не сохранилось.

[3] Речь идет о картине Ге «Екатерина II у гроба имп. Елизаветы», экспонировавшейся на III Передвижной выставке в Петербурге. Картина была приобретена А. П. Полетикой и впоследствии на Всероссийской выставке 1882 года в Москве В. А. Полетикой перепродана вел. кн. Сергею Александровичу. С 1911 года картина находится в собрании Третьяковской галлереи. На III Передвижной выставке в Москве и в провинции экспонировалось повторение этой картины в меньшем размере, сделанное Ге в 1873 или в начале 1874 года.

[4] Аммосов Сергей Николаевич (1837—1886) — пейзажист. Местонахождение его картины «Берег Урала близ Оренбурга» неизвестно.

[5] Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич (1837—1898) — жанрист и баталист. Участник демонстративного выхода четырнадцати учеников из Академии художеств в 1863 году. Один из учредителей Петербургской Артели художников (см. примечание 21 к письму 5). Однако вступив в Артель, Дмитриев-Оренбургский не порвал окончательно своих связей и с Академией художеств: в 1864 году он продолжал получать там стипендию. 7 сентября 1868 года Дмитриев-Оренбургский просил Совет Академии художеств удостоить его за картину «Утопленник в деревне» звания академика. Ходатайство его было тогда же удовлетворено. Летом 1869 года он в качестве художника сопровождал вел. кн. Николая Николаевича (старшего) во время его поездки на Кавказ. Альбом этого путешествия был показан Дмитриевым-Оренбургским на Академической выставке 1870 года. Заручившись, таким образом, поддержкой в придворных кругах, Дмитриев тайно от своих товарищей — членов Артели, стал хлопотать в Академии художеств о посылке его на казенный счет за

границу. В своем прошении в Академию художеств Дмитриев-Оренбургский, отмежевываясь от других участников «протеста четырнадцати», писал: «Не быв в состоянии, по домашним обстоятельствам, совершенно окончить свое художественное образование и не имея средств в настоящее время посвятить себя окончательному изучению живописи, имею честь ходатайствовать у императорской Академии художеств о предоставлении мне возможности трудиться для вышеозначенной цели один год за границей и два в России, с разрешением получать в течение трех лет пенсион, предназначенный для пенсионеров императорской Академии художеств.

15 сентября 1870 года. Академик Н. Дмитриев-Оренбургский» (ЦГИАЛ. Фонд Академии художеств).

Вспоминая о поступке Дмитриева, Г. Г. Мясоедов писал 20 мая 1887 года Стасову: «Дворянин Дмитриев почувствовал себя способным исходатайствовать себе прощение и сходатайствовать пенсион» (Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Архив Стасова).

Поведение Дмитриева вызвало возмущение Крамского. На общем собрании Артели 7 ноября 1870 года Крамской, как он сам пишет, — «рядом последовательных вопросов заставил Дмитриева сознаться, что он хлопочет в Академии, чтобы его послали за границу на казенный счет». В двух своих заявлениях в общее собрание Артели Крамской требовал, чтобы члены ее высказали свое мнение о поступке Дмитриева. «Почти семь лет тому назад, — писал Крамской, — мы отказались от этой поездки, имея все одинаковые шансы на успех, и отказались бесповоротно». Крамской доказывал, что поступок Дмитриева кладет пятно в глазах общественного мнения на всю Артель и нарушает те принципы, которые легли в основание Артели в 1863 году, «...а эти основания, — продолжал Крамской, — для меня и до сих пор так же дороги, как в первую минуту выхода».

Попытка Крамского заставить общее собрание Артели подойти к оценке поведения Дмитриева с принципиальных позиций и тем самым снова пробудить чувство товарищеского доверия среди членов Артели и сплотить их силы не встретила поддержки. 24 ноября 1870 года Крамской подал заявление о выходе из Артели. Между тем к этому времени был уже выработан при деятельном участии Крамского Устав нового, более жизнеспособного объединения художников — Товарищества передвижных художественных выставок (см. примечание 6 к письму 5). Товарищество восприняло лучшие идейные традиции и практический опыт Петербургской Артели художников первых лет ее существования. Дмитриев же, получив трехгодичное казенное содержание, в июле 1871 года выехал за границу — в Дюссельдорф, где и провел все три года. 1 мая 1874 года срок пенсионерства Дмитриева кончился. Спрашивая о нем Савицкого, Крамской, несмотря на личную неприязнь к Дмитриеву, интересовался им как художником, желая знать, каковы же результаты пенсионерства.

[6] Верещагин Василий Васильевич. Речь идет о его выставке туркестанских картин и этюдов, открывшейся в Петербурге 7 марта 1874 года.

179

[1] Ein Hotel in der Nähe *(немецк.)* — ближайшая гостиница.

[2] Ein Taler fünf Silbergroschen *(немецк.)* — талер пять серебряных грошей.

[3] 1 mal Kellner, 2 mal Schlüsselfrau, 3 mal Hauswirt *(немецк.)* — один раз кельнеру, два раза ключнице, три раза хозяйке.

[4] В тексте письма рисунок, изображающий муравья.

[5] Dorf *(немецк.)* — деревня.

[6] Bürger *(немецк.)* — обыватель.

[7] Бисмарк Отто-Леопольд фон Шёнгаузен (1815—1898) — прусский и германский реакционный государственный деятель и дипломат, создавший в ходе трех следовавших одна за другой войн (1864 г. — с Данией, 1866 г. — с Австрией, 1870—1871 гг. — с Францией) юнкерски-буржуазную Германскую империю во главе с Пруссией. Являясь с 1871 по 1890 год канцлером Германской империи, проводил внутреннюю и внешнюю политику в интересах помещиков-юнкеров, обеспечив союз этого класса с крупной империалистической буржуазией Германии. Был ярым врагом рабочего класса Германии.

[8] Первые зарубежные впечатления Савицкого страдают ограниченностью и поверхностностью. Многого в общественно-политической жизни Западной Европы он не заметил, многое неправильно оценил. Это было начало 1874 года, когда военный разгром Франции, полученные в связи с этим пять миллиардов франков контрибуции опьянили германскую буржуазию, вскружили ей голову. Начало 70-х годов в Германии — время грюндерской лихорадки и биржевого ажиотажа, завершившегося сильнейшим финансово-экономическим кризисом 1873 года, последствия которого не могли не ощущаться в 1874 году, во время пребывания там Савицкого.

[9] Hotel Saxe *(немецк.)* — гостиница в Дрездене.

[10] Belle vue и Dusso — названия петербургских гостиниц.

[11] Рафаэль Санти. Савицкий пишет о «Сикстинской мадонне» (1515—1519) — одном из самых совершенных созданий Рафаэля, пользующемся мировой известностью.

[12] Гольбейн Ганс младший (1497—1543) — немецкий живописец и график. Портретист, автор картин на религиозные темы.

[13] Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец. Жанрист, автор картин на религиозные темы.

[14] Рубенс Петер Пауль (1577—1640) — фламандский живописец.

[15] Рембрандт ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец и гравер.

[16] Веласкес Диего (1599—1660) — испанский живописец. Портретист, жанрист и исторический живописец.

[17] Караваджо Микель Анджело (1569—1609) — итальянский живописец. Жанрист, автор картин на религиозные темы.

[18] Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — фламандский живописец. Портретист. Савицкий имеет в виду портрет английского короля Карла I, казненного 30 января 1649 года во время английской буржуазной революции.

[19] Деннер Бальтазар (1685—1749) — немецкий живописец. Портретист и миниатюрист.

[20] Креспи Джузеппе Мария (1665—1747) — итальянский живописец, автор жанровых картин и религиозных композиций.

[21] Рибера Хосе (1588—1656) — испанский живописец. Автор картин на религиозные темы.

[22] Профессора Петербургской Академии художеств Вениг Карл Богданович и Шамшин Петр Михайлович — представители академической школы живописи 60—70-х годов XIX века. Их имена для художников реалистического направления являлись синонимом всего рутинного, реакционного в искусстве.

[23] В письме сделан шуточный рисунок пером, изображающий описываемую картину. Под ним подпись: «Девочка почему-то и зачем-то сидящая у берега моря».

[24] Письмо П. М. Третьякова не сохранилось. Ответ на это письмо был написан Савицким 26 июня/8 июля 1874 года из Парижа. В нем Савицкий соглашался с критическими замечаниями Третьякова о колорите своей

картины «Ремонтные работы на железной дороге» и делился с ним впечатлениями о Парижском Салоне. «Теперь, — пишет в этом письме Савицкий, — когда я здесь, в Париже, окружен множеством картин, по преимуществу отличающихся блеском колорита и сочностью красок, этот недостаток моей в особенности и вообще всей нашей русской живописи поражает еще сильнее.

Современная живопись французов главным образом этим только и сильна, и в большинстве случаев внешность предпочитается внутренним достоинствам и серьезному содержанию их произведений. Настоящая годичная выставка громадна по численности, поразительна по блестящей внешности, но немного встречается картин, которые бы действительно затрагивали чувства зрителя и давали бы эстетическое наслаждение» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

180

[1] Савицкий имеет в виду открытие в Москве III Передвижной выставки, состоявшееся 2 апреля 1874 года. Крамской находился в Москве в течение нескольких дней в конце марта и в начале апреля 1874 года. Его поездка была связана не только с открытием выставки, но и с участием в работе комиссии по созданию памятника А. С. Пушкину в Москве (см. примечание 7 к письму 81).

[2] В газете «Голос» (№ 97, 9/21 апреля 1874 г.) автор анонимной статьи «Московские заметки» сообщал о том, что, одновременно с выставкой цветов, пользующейся успехом, — «далеко не так приветливо встретила Москва открывшуюся у нас, начиная с третьего дня праздника, Передвижную выставку картин, к которой наш первопрестольный град отнесся с ледяным равнодушием». Не сделав со своей стороны попытки заинтересовать читателей открывшейся Передвижной выставкой, автор статьи видел причину ее неуспеха в том, что низкая плата за вход — «всего 20 копеек!» — отпугивает состоятельные слои московского населения, в то время как остальная часть его не посещает выставку, будучи далека от художественных интересов.

Почти в тех же выражениях, что и «Голос», писала о слабой посещаемости московской публикой выставки газета «Современные известия»; в статье «Передвижная выставка картин», подписанной «Любитель», автор писал о «холодности.... публики, неразвитой эстетически, горячо бросающейся на все, какие угодно, выставки, лишь бы где пришлось платить за вход два, четыре рубля, а не 20 копеек» (№ 102, 7 мая 1874 г.).

Однако несколько позднее в той же газете «Голос» автор приведенной выше заметки, имея в виду не только Передвижную выставку, но и Постоянную выставку Общества любителей художеств, вынужден был сознаться в поспешности своих заключений. «Еще неделю тому назад я укорял москвичей в презрительном равнодушии к нашим художественным выставкам, а теперь должен снять это обвинение с моих добрых сограждан: словно по щучьему веленью, мы все ударились в живопись, залы обеих выставок полны народа, и, правду сказать, есть из-за чего толпиться» («Голос», № 104, 16/28 апреля 1874 г.).

[3] Коро Камилл. При первом знакомстве с творчеством Коро Савицкий, так же как и Репин (см. письмо 70 и примечание 6 к нему), отнесся к нему крайне отрицательно.

[4] Речь идет о Салоне 1874 года.

[5] Невиль Альфонс Мари. В Салоне 1874 года экспонировалась его картина «Сражение на железной дороге», изображающая эпизод из франко-прусской войны 1870—1871 годов.

[6] Каммерер Фредерик (1839—1902) — французский живописец, пейзажист. В Салоне 1874 года экспонировалась его картина «Пляж в Шевенинге».

[7] Жером Жан Леон (1824—1904) — французский художник. Исторический живописец, скульптор и рисовальщик.

[8] Дюпре Анри (1841—1909) — французский художник-баталист. Савицкий пишет о его картине «Посещение аванпостов», экспонировавшейся в Салоне 1874 года.

[9] Жирар Франсуа Фирмен (1838—1921) — французский художник. Исторический живописец и жанрист. Его картины «Мечта» и «Помолвленные» (последнюю Савицкий называет в письме «Новобрачные») экспонировались в Салоне 1874 года.

[10] Ниттис Джузеппе (1846—1884) — итальянский художник. Пейзажист, гравер. С 1868 года работал во Франции. В Салоне 1874 года экспонировались две его картины: «Во ржи» и «Вид в Булонском лесу». Савицкий имеет в виду последнюю из них.

[11] Кастр Эдуард (1838—1902) — французский художник. Исторический живописец и жанрист.

[12] Пелуз Леон Жермен (1838—1891) — французский художник. Пейзажист. Савицкий сравнивает его произведение с картиной Шишкина «Лесная глушь» (находится в Русском музее). Эта картина была написана Шишкиным во время его пребывания летом 1872 года вместе с Крамским и Савицким на станции Серебрянка близ Петербурга (по Варшавской железной дороге) в усадьбе Снарских.

[13] Моро Гюстав (1826—1898) — французский художник. Жанрист.

[14] Линдгольм Бернд-Адольф. Экспонировал в русском художественном отделе на Венской всемирной выставке 1873 года картину «Лес в провинции Саволасс». За эту картину и за картину «Вид Монмартра в Париже» в 1873 году получил от Петербургской Академии художеств звание академика живописи.

[15] Барро Теофиль Этьен Виктор — французский скульптор.

[16] Салтыкова Федора Романовна, мать Софии Николаевны Крамской.

[17] à Paris, en France, Rue Pigalle, № 60, à monsieur Constantin Sawitzky *(франц.)* — Париж, Франция, улица Пигаль, № 60, господину Константину Савицкому.

181

[1] Банкирская контора в Петербурге.

[2] Альпари *(итальянск.)* — наравне. Банковский термин, употребляемый при обмене золотой валюты на иностранные деньги. В 1874 году, в связи с угрозой новой войны, которую пытался развязать против Франции Бисмарк, получение крупной суммы французскими деньгами было невыгодно, так как стоимость их все время падала.

[3] Крамской имеет в виду положение, которое сложилось в связи с угрозой новой войны во Франции, только лишь начавшей оправляться от военного поражения 1870—1871 годов. Это тяжелое положение внутри страны усугублялось борьбой республиканцев с монархистами за становление республики.

[4] Крамской имеет в виду тот факт, что московские газеты, хотя и указывали на слабую посещаемость III Передвижной выставки, дали о ней в целом положительный отзыв. Так, «Русские ведомости» (№ 117, 2 июня 1874 г.) писали, в связи с закрытием выставки, что последняя «была настолько хороша, что могла бы рассчитывать на большее внимание со стороны москвичей. Она соединила в себе произведения всех наших лучших художников — гг. Перова, Ге, Крамского, Мясоедова, Саврасова, Каме-

нева, прекрасного пейзажиста Шишкина...» В том же духе писали и «Московские ведомости» (№ 139, 4 июня 1874 г., статья, подписанная П-нний): «Эта выставка оставляет о себе добрую память ровным подбором хороших произведений. Совсем плохих вещей в ней не было, а выходящих из ряду, замечательных немало». Большое количество выдающихся произведений отметила в своих статьях и газета «Современные известия» (статья Наблюдателя «Передвижная выставка картин» в № 102, 7 мая 1874 г., и статья Толоконникова «Еще раз о выставке художественных произведений», в № 104, 9 мая 1874 г.). Передвижная выставка встретила сочувственные отклики и в других городах, в которых она побывала после Москвы. Для характеристики отношения провинциальных зрителей и прогрессивной критики к произведениям передвижников и, в частности, к творчеству Савицкого показательна статья «III передвижная выставка картин Товарищества русских художников», помещенная в «Одесском вестнике» от 1 февраля 1875 года за подписью «Е. О.». О картине Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге» там сказано: «Известно, что наши рабочие строить-то строят железные дороги, но не с тем, чтобы по ним ездить. Недавно где-то кончили жел. дор., роздали жетончики учредителям, их семействам и друзьям и др., а рабочих не согласились даже провезти домой бесплатно на выстроенной ими дороге. Не говорим уже о тягостях работы, о частых заболеваниях в среде рабочих, брошенных для работы куда-нибудь в глухую степь, в такую даль, где еще и не бывала человеческая нога. Все это сделало рабочих железных дорог вопросом, злобою дня, интересным социальным сюжетом. И вот г. Савицкий дает этот сюжет в ряде превосходных выразительных фигур, наполняющих всю большую его картину. Тачки, молота, возки тяжестей, целый муравейник людей, работающих в горячий полдень. На пригорке стоит толстая жилистая фигура приказчика или надсмотрщика в красной поддевке; легкая работа — стоять да смотреть, а при случае ругнуть. А посмотрите-ка на этого рабочего, обливающегося потом, у которого волосы прилипли на висках; посмотрите на молодого парня, почти мальчика, запрягающегося в тачку с тяжестью; его руки опущены. Между рабочими есть и типические солдатские фигуры; тут всякий сброд людей, финал разнообразных историй жизни».

[5] Терра-инкогнита *(латинск.)* — неизвестная земля (страна).

182

[1] Поленов Василий Дмитриевич. В первые месяцы своего пребывания в Париже Савицкий, будучи чрезвычайно стеснен в деньгах, не снимал собственной мастерской, а пользовался гостеприимством своих друзей — пенсионеров Академии художеств Поленова и Репина.

184

[1] Илья Ефимович Репин (см. письмо 82).

[2] Сведений об этом портрете не сохранилось.

[3] Очевидно, речь идет о новом варианте картины «Осмотр старого дома» (см. о работе художника над этой темой письмо 38 и примечание 3 к нему, письмо 62 и примечания 2 и 3 к нему, письмо 185, письмо 186 и примечание 13 к нему).

[4] В 1874 году Крамским были исполнены следующие портреты: писателя И. А. Гончарова, А. К. Гейнса, Зак, С. И. Крамской, А. И. Сувориной и автопортрет. Начаты портреты Г. С. Строганова и вел. кн. Александра Александровича (впоследствии Александр III).

[5] Иван Иванович Шишкин.

[6] Речь идет об ученике Крамского Николае Александровиче Ярошенко (1846—1898), ставшем вскоре видным художником-передвижником. Художественное образование, а впоследствии и художественную деятельность Ярошенко совмещал с профессией военного инженера-артиллериста. Как художник он сформировался под идейным влиянием Крамского. Ярошенко являлся непосредственным преемником Крамского в ведении организационных дел Товарищества.

[7] III Передвижная выставка, открытая в Москве со 2 апреля до 31 мая 1874 года, в течение лета не функционировала и только с осени начала свое путешествие по провинции, посетив Казань (с 12 по 26 сентября), Саратов (с 4 по 22 октября), Воронеж (с 1 по 12 ноября), Харьков (с 1 декабря 1874 г. по 6 января 1875 г.), Одессу (с 20 января по 23 февраля), Киев (с 23 марта по 6 апреля), Ригу (с 25 апреля по 11 мая).

[8] После переговоров вел. кн. Владимира Александровича с четырьмя членами Товарищества передвижных художественных выставок — Боголюбовым, Ге, М. К. Клодтом и Гуном о соединении передвижных и академических выставок и после обсуждения этого вопроса на общем собрании членов Товарищества (см. примечание 1 к письму 73) вице-президентом Академии была сделана еще одна попытка решить этот вопрос. 14 января 1874 года вел. кн. Владимир Александрович пригласил к себе представителей Товарищества и, как сообщает в своей докладной записке П. Ф. Исеев, «в самых ласковых выражениях» предложил Товариществу отменить свои отдельные выставки в Петербурге, организуя их одновременно и совместно с академическими выставками. Представители Товарищества (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, А. П. Боголюбов, К. Ф. Гун и П. А. Брюллов) фактически уже при этом свидании отказались от предложения вице-президента, но все же отложили окончательный ответ до решения общего собрания Товарищества. Это решение было изложено в письме Товарищества в Академию художеств от 31 января 1874 года. В нем передвижники изъявляли свое согласие открывать передвижные выставки в Петербурге вместе с академическими, но с условием выставлять свои произведения в отдельных залах, иметь отдельную кассу и отдельные каталоги. Таким образом, по существу, это дипломатическое письмо содержало в себе вежливый отказ от предложения вице-президента. Об отсутствии ответа вел. кн. на это письмо и упоминает в данном случае Крамской. Предполагая, что Исеев готовит что-то против Товарищества, Крамской имел в виду активную деятельность конференц-секретаря, направленную как раз в это время на скорейшее продвижение Устава Общества выставок художественных произведений (см. примечание 1 к письму 89).

IV Передвижная выставка, открывшаяся 27 февраля 1875 года, была последней выставкой Товарищества в залах Академии художеств. В марте 1875 года вице-президент Академии лично заявил Товариществу, чтобы оно в будущем не рассчитывало на залы Академии художеств.

[9] Боголюбов Алексей Петрович.

Настороженность и неприязнь, которые сквозят в словах Крамского по отношению к Боголюбову, были вызваны тем, что в первые годы существования передвижных выставок Боголюбов, будучи членом Товарищества, одновременно принимал деятельное участие в делах Академии художеств и, пользуясь влиянием в придворных кругах, устраивал продажу своих произведений Академии и членам царской семьи. Впоследствии опасения относительно возможной неверности Боголюбова интересам Товарищества рассеялись. Будучи неизменным участником двадцати пяти передвижных выставок с момента возникновения Товарищества, Боголюбов

всемерно способствовал их процветанию. Неприязнь к Боголюбову со стороны Крамского сменилась вскоре дружеским расположением и полным доверием, о чем свидетельствует их многолетняя переписка (Отдел рукописей Русского музея).

185

[1] Вероятно, имеется в виду французский художник Ноде Тома Шарль (1773—1810). Произведений этого художника в Кушелевской галлерее не было.

[2] См. примечание 6 к письму 36.

[3] Вероятно, имеются в виду картины, законченные Савицким несколько лет спустя: «Дворик в Нормандии» и «Рыбак в беде» (последняя называется также «Приморский вид» и «Море в Нормандии»). Картина «Дворик в Нормандии» находилась в частном собрании в Варшаве, «Рыбак в беде» — находится в Государственном музее Татарской АССР в Казани. Эскиз этой картины, а также этюд «Нормандский рыбак» (1875) находятся в Третьяковской галлерее. Картина «Путешественники в Оверни» (1876) находится в Русском музее.

[4] Савицкий имеет в виду речь конференц-секретаря Исеева на годичном собрании Академии художеств 4 ноября 1873 года, в которой он излагал следующее постановление Совета Академии: «Приняв во внимание, что единственная цель заграничного путешествия есть усовершенствование в искусстве, что, следовательно, усиленная деятельность пенсионеров требует много времени и полнейшей независимости, — семейное же состояние часто отнимает возможность путешествовать и вынуждает работать не с целью усовершенствования, а единственно по нужде, для приобретения средств к жизни, Совет, имея примеры неутешительных результатов заграничного пребывания женатых пенсионеров, нашел полезным ученикам женатым, удостоенным золотой медали, не предоставлять права на пенсионерское содержание» (Отчет императорской Академии художеств с 4 ноября 1872 г. по 4 ноября 1873 г., С.-Петербург, 1874, стр. 3).

[5] Выступление Исеева стало широко известно летом 1874 года, после выхода из печати Отчета Академии (см. примечание 4 к данному письму). 11 августа 1874 года в разделе «Хроника» газеты «С.-Петербургские ведомости» В. В Стасов поместил рецензию на этот Отчет. Выражая мнение передовой общественности по поводу вновь принятого Советом Академии художеств положения о пенсионерах, он писал, что положение это является мерой «поспешной и мало основательной, с произвольностью которой немногое может сравниться во все остальные 109 лет ее (т. е. Академии художеств. — *Е. Л.*) существования».

[6] Перед отъездом за границу Савицкий, вследствие его близости к Товариществу передвижных художественных выставок, подвергался преследованию со стороны реакционной профессуры Академии художеств. За участие на II Передвижной выставке он был отстранен от конкурса на Большую золотую медаль (см. письмо 42).

Этим объясняется горечь, с какой Савицкий вспоминает условия, в которых ему приходилось работать в России. Этим же следует объяснить его восхищение независимостью Верещагина от Академии художеств. Наиболее ярким проявлением этой независимости Верещагина был его отказ принять данное ему Академией звание профессора. Говоря об условиях, благоприятствовавших подобному поведению Верещагина, Савицкий, очевидно, подразумевал тот огромный успех, который имела выставка туркестанских этюдов и картин Верещагина, открывшаяся в Петербурге в марте 1874 года.

[7] Упоминаемое Савицким письмо, видимо, так и не было получено Крамским.

[8] Выставка костюмов помещалась во Дворце промышленности на Елисейских полях.

[9] Бодри Поль Жак. Имеются в виду декоративные панно для фойе только что законченного здания Парижской оперы (архитектор Гранье). Панно экспонировались на выставке в Академии художеств в Париже.

[10] Люксембург — музей современного французского искусства в Париже. Основан в 1803 году. Помещается в Люксембургском дворце, выстроенном в начале XVII века архитектором Деброссом.

[11] Савицкий пишет о картине Невиля «Аванпост».

[12] Речь идет о работе Крамского над картиной «Осмотр старого дома» (см. письмо 38 и примечание 3 к нему, письмо 62 и примечания 2 и 3 к нему, письмо 184 и примечание 3 к нему, письмо 186 и примечание 13 к нему).

[13] Келенбенц Александр Христофорович (ум. в 1886 г.) — печатник, работал в печатне при ученической граверной мастерской Академии художеств с 1829 по 1886 год.

[14] Савицкий имеет в виду фотографии с двух своих картин, экспонировавшихся на III Передвижной выставке: «Ремонтные работы на железной дороге» и «Охотник» (см. примечания 3 и 5 к письму 177).

186

[1] Крамской имеет в виду свое первое пребывание за границей в ноябре—декабре 1869 года.

Татищев Александр Александрович (1822—1895) — крупный пензенский помещик. Будучи губернатором в Пензе (1873—1887), Татищев пытался проводить у себя в губернии «реформы» (в способах ведения крестьянского хозяйства, по борьбе с пьянством, по борьбе с разделами в крестьянских семьях и т. п.). Эти «реформы» диктовались отнюдь не заботой о народном благе, а желанием обеспечить взыскание крестьянских недоимок. Савицкий, проживший в имении Татищева лето и осень 1875 года, в своих письмах отмечал постоянный страх пензенских крестьян перед помещиком (см. письмо 201). Любопытно отметить, что Крамской в своей критической оценке взглядов А. А. Татищева близок к М. Е. Салтыкову-Щедрину, который в памфлете «Зиждитель» (1873) дал уничтожающую сатиру на деятельность Татищева в Пензенской губернии (см. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). «Помпадуры и помпадурши»).

[2] Наполеон III (1808—1873), Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I. С 1848 года — президент Французской республики, с 1852 по 1870 год — император. Наполеон III пришел к власти при поддержке зажиточных крестьян-собственников и буржуазии. Жестоко подавляя всякие попытки рабочего и революционного движения, Наполеон III создал во Франции разветвленную бюрократическую и полицейскую систему.

[3] В 1873 году Академия художеств приобрела у Боголюбова коллекцию из 246 этюдов и эскизов масляными красками и 240 рисунков (акварелью, сепией и пером) — виды с натуры России, Голландии, Бельгии, Дании, Германии, Италии, Турции. Наряду с произведениями самого Боголюбова, в коллекцию вошли эскизы и этюды других художников (П. Сорокина, А. Ф. Чернышева, А. Станкевича, дюссельдорфского художника Рольмана и А. Ахенбаха — учителя А. П. Боголюбова). В настоящее время преобладающая часть этой коллекции Боголюбова находится в Русском музее.

Об отношении Крамского к Боголюбову см. примечание 9 к письму 184.

[4] Крамской почти точно приводит слова В. В. Верещагина. В газете «Голос» (№ 251, 11/23 сентября 1874 г.) было помещено следующее заявление Верещагина: «Известясь о том, что императорская Академия художеств произвела меня в профессоры, я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания. В. Верещагин. Бомбей, 1/13 августа». Об отказе В. В. Верещагина от звания профессора см. также письмо 85 и примечание 4 к нему.

[5] Крамской вспоминает о выставке Верещагина «Туркестан. Картины, этюды, рисунки», которая была открыта в Петербурге 7 марта 1874 года и помещалась в здании министерства внутренних дел (ныне здание Управления по делам архитектуры, улица зодчего Росси, д. 1/13).

[6] IV Передвижная выставка открылась в Петербурге 27 февраля 1875 года. Савицкий не участвовал на этой выставке.

[7] См. примечание 8 к письму 184.

[8] Харламов Алексей Алексеевич. 1874 год был последним годом его пенсионерства. Опасаясь навлечь на себя гнев академического начальства участием на Передвижной выставке, Харламов выражал желание, чтобы исполнявшийся им тогда и законченный в начале 1875 года портрет Е. А. Третьяковой был экспонирован на Передвижной выставке владельцем портрета С. М. Третьяковым.

[9] Крамской имеет в виду участие Репина на III Передвижной выставке в 1874 году. Избрание Репина в члены Товарищества передвижных художественных выставок состоялось только в 1878 году (см. примечание 3 к письму 111).

[10] Чиркин Александр Дмитриевич — по образованию военный; выйдя в отставку, занялся живописью, писал, по его собственному выражению, «портреты» лошадей. За один из таких «портретов» в 1873 году Чиркин получил звание художника. С 1872 по 1880 год был уполномоченным Товарищества по устройству передвижных выставок в провинции. О деятельности Чиркина в Товариществе Г. Г. Мясоедов писал: «...для заведования выставкой в путешествии мы должны были искать постороннее лицо. Таким лицом, к нашему счастью, оказался А. Д. Ч[иркин], который по дружбе к многим из членов и из любви к искусству, к которому не был чужд, вел дело выставок в течение нескольких лет и умел его поставить как нельзя лучше» (журнал «Артист», 1895, № 45, стр. 38; Г. Г. Мясоедов. «Н. Н. Ге. Воспоминание о художнике»).

[11] III Передвижная выставка была открыта в Казани с 12 по 26 сентября 1874 года.

[12] Н. Н. Ге работал над эскизом неосуществленной картины «Царь Борис и царица Марфа» и писал картину «Пушкин в селе Михайловском», которая экспонировалась на IV Передвижной выставке 1875 года. В настоящее время картина находится в Харьковском государственном художественном музее. Авторское повторение картины, исполненное в 1893 году, находится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде.

[13] Эти слова Крамского являются ответом на вопрос Савицкого (см. письмо 185) относительно работы Крамского над темой «Осмотр старого дома». Они дают понять, что в поисках наиболее глубокого решения идейного замысла произведения у Крамского возникла мысль написать две картины, как бы дополняющие друг друга и составляющие вместе одно сюжетное целое. Очевидно, в одной из этих картин художник намеревался изобразить осмотр комнат старого барского дома, в другой — наружный вид усадьбы. О первой из этих картин см. письмо 38 и примечание 3 к нему. Была ли осуществлена вторая картина — неизвестно.

187

[1] Андрей Иванович Сомов. В 1874 году, находясь на службе в Академии наук (старшим письмоводителем при непременном секретаре Академии наук), с 17 сентября по 17 октября имел отпуск, который провел за границей, где встречался с Савицким.

[2] Повидимому, речь идет о картине «Рыбак в беде» («Приморский вид», «Море в Нормандии»), которая была приобретена К. Т. Солдатенковым и в 1902 году, вместе со всей его коллекцией, перешла по завещанию в Московский Румянцевский музей (см. примечание 3 к письму 185).

В собрании С. М. Третьякова произведений К. А. Савицкого не было.

188

[1] См. письмо 186.

[2] На IV Передвижную выставку Боголюбов выслал из Парижа три картины: «Вёль. В Нормандии», «По Суре», «Морской отлив». Кроме того, на выставке была экспонирована картина Боголюбова «Купанье в Этрете».

[3] См. письмо 88.

[4] Картина Поленова «Пир у блудного сына» (1875) осталась незаконченной. Находится в настоящее время в Государственном музее им. В. Д. Поленова.

[5] Картина «Путешественники в Оверни» (см. письмо 185) была приобретена вел. кн. Александром Александровичем.

[6] Портрет Екатерины Васильевны Савицкой, жены художника, был написан Крамским в 1873 году. Местонахождение его неизвестно.

[7] Еще будучи учеником Академии художеств, Савицкий занимался гравированием и состоял в Обществе аквафортистов, основанном А. И. Сомовым в 1871 году.

[8] Шиндлер Панталеон — польский художник. Был дружен с русскими художниками, жившими в то время в Париже. В 1875 году Репин исполнил портрет Шиндлера (офорт).

[9] Татищев Дмитрий Александрович. Брат А. А. Татищева (см. примечание 1 к письму 186), жил в Париже, был близок с кружком художников, собиравшихся у Боголюбова, и сам по-любительски занимался живописью (учился у художника Сверчкова). В Саратовском музее им. А. Н. Радищева имеются картины Д. А. Татищева из коллекции Боголюбова: «Возок на станции» (1875), «Деревня зимой» и «Сен-Мало».

[10] Жуковский Павел Васильевич (1845—1912) — жанрист и портретист. Сын поэта Василия Андреевича Жуковского.

[11] Лавеццари Андрей Карлович (1817—1881) — живописец и архитектор.

[12] Буров Федор Емельянович.

[13] Шишкин, стремясь улучшить качество репродукций в художественных изданиях, разработал новый способ гравирования, так называемый рельефный штрих, или выпуклый офорт, который давал возможность печатать репродукции одновременно с текстом.

189

[1] См. письмо 187.

[2] Клодт Михаил Константинович и Клодт Михаил Петрович.

[3] Письмо Е. В. Савицкой не сохранилось.

[4] Харламов писал портрет Александра II в 1874 году, во время его пребывания в Эмсе.

[5] Старуха — Федора Романовна Салтыкова — мать С. Н. Крамской

190

[1] См. письмо 188.

[2] Речь идет об Обществе выставок художественных произведений, Устав которого был утвержден 21 сентября 1875 года (см. письмо 89 и примечание 1 к нему).

[3] Лаверецкий Николай Акимович (1837—1907) — скульптор, профессор Академии художеств.

[4] Плешанов Павел Федорович (1829—1882) — исторический живописец, профессор Академии художеств.

[5] Крамской имеет в виду свой конфликт с Н. Д. Дмитриевым-Оренбургским, послуживший причиной выхода Крамского в 1870 году из Петербургской Артели художников (см. примечание 21 к письму 5 и примечание 5 к письму 178).

1875

191

[1] Boulevard Clichy *(франц.)* — бульвар Клиши.

[2] Речь идет о слиянии выставок Академии художеств и Общества выставок художественных произведений.

[3] Речь идет о картине К. Ф. Гуна «Попался, малый», которая экспонировалась не на IV, а на следующей, V Передвижной выставке 1876 года и была приобретена П. М. Третьяковым. Ныне находится в Третьяковской галлерее. О картинах Боголюбова, экспонированных на IV Передвижной выставке, см. примечание 2 к письму 188.

[4] Савицкий имеет в виду Московское отделение Правления Товарищества передвижных художественных выставок. По Уставу Товарищества, члены Правления, состоявшего из двух отделений — Петербургского и Московского, — избирались на годичный срок из числа членов Товарищества. В 1874 году в состав Московского отделения Правления Товарищества были избраны членами — В. Г. Перов, В. Е. Маковский и кандидатом — И. М. Прянишников.

[5] Произведения Репина на IV Передвижной выставке не экспонировались.

[6] Картина Поленова «Арест гугенотки».

[7] О своем желании участвовать на Передвижной выставке Поленов писал Крамскому (см. письмо 153), но владелец картины — вел. кн. Александр Александрович отказался дать картину на выставку.

[8] В Петербурге IV Передвижная выставка была открыта 27 февраля 1875 года в залах Академии художеств.

[9] Имеются в виду рисунки с картин для воспроизведения их в предполагавшемся, но неосуществленном иллюстрированном каталоге IV Передвижной выставки. Рисунки обычно исполнялись прямо на деревянных досках либо авторами произведений, либо другими художниками, а вырезались граверами-ремесленниками.

192

[1] Дата почтового штемпеля на конверте.

[2] Жена Савицкого покончила жизнь самоубийством на почве ревности, которая была необоснована. Она отравилась угарным газом и обгорела, упав на жаровню с углями.

[3] Неясно, о каком Боткине идет речь

[4] Игельстром Генрих Густавович (1825—1899) — муж старшей сестры Савицкого, родственник декабриста Константина Густавовича Игельстрома.

195

[1] Настоящее письмо особенно ярко характеризует Крамского как представителя передовой демократической интеллигенции своего времени, человека тонкого душевного склада и благородного образа мыслей. Не случайно именно эти черты характера Крамского привлекли А. П. Чехова и были высоко им оценены. В апреле 1888 года, получив от Суворина только что вышедший в свет том переписки Крамского, Чехов писал ему: «Благодарю Вас за Крамского, которого... теперь читаю. Какая умница!.. Наши беллетристы и драматурги любят в своих произведениях изображать художников; теперь, читая Крамского, я вижу, как мало и плохо они и публика знают русского художника. Я не думаю, чтобы Крамской был единственным...» (А. П. Чехов. Собрание сочинений, М., 1950, т. 12, стр. 86).

196

[1] Год установлен по почтовому штемпелю на конверте.

[2] Савицкий приехал в Петербург в конце марта 1875 года и останавливался в доме Крамского.

[3] Речь идет о Парижском Салоне 1875 года.

[4] Вырезку из газеты «Голос», № 63, 4 марта 1875 года.

[5] В 1875 году в Академии художеств было всего три пенсионера по живописи: Репин и Поленов, работавшие во Франции, и Ковалевский — в Италии. Известно, что Репин и Поленов вынуждены были отказаться от посылки своих произведений на IV Передвижную выставку из-за категорического запрещения Академии художеств, угрожавшей им лишением пенсионерства.

197

[1] В письмо вложен лист бумаги с пробными отпечатками с двух граверных досок.

[2] Савицкому было поручено Товариществом вести переговоры с польскими художниками об устройстве в Варшаве передвижных выставок. По этому поводу более подробно Савицкий писал Боголюбову перед своим отъездом из Динабурга в Париж (6 мая 1875 г.). Он сообщал ему о том, что едет через Варшаву «...с тем, чтобы пробыть несколько дней с целью узнать, насколько можно рассчитывать на сочувствие тамошних художников и общества к русским произведениям искусства... Сомневаюсь в удовлетворительном разрешении этого вопроса, но попробовать нужно; недурно было бы для Передвижной выставки сделать эту попытку. — Если окажется это возможным, то выставка наша из Риги, где она теперь, переедет в Варшаву. Дела ее идут очень хорошо, число посетителей и приобретателей растет и увеличивается, а вместе с этим растет и ее значение» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). Как видно из последующих писем Савицкого, предложение Товарищества было сочувственно встречено польскими художниками, но осуществить первую поездку в Варшаву передвижникам удалось лишь в 1883 году с X Передвижной выставкой. Она была открыта в Варшаве с 18 января по 15 февраля 1883 года.

[3] Имеется в виду поездка 1873 года на дачу в Козловку-Засеку (см. об этом письмо 59).

[4] Александров Николай Александрович.

Речь идет об его статьях «Художественные новости. Контрасты и параллели (IV Передвижная выставка)», в которых был дан подробный

обзор IV Передвижной выставки и положительная оценка как экспонировавшихся на ней произведений, так и всей деятельности Товарищества. В статьях отмечался большой интерес, который возбудила выставка, и значение деятельности Товарищества для провинции. Среди лучших экспонатов выставки Александров особо выделял портрет И. А. Гончарова, написанный Крамским: «Для портрета Гончарова — нет в русской живописи сравнения... стоит целой выставки...». Статьи Александрова публиковались в газете «Биржевые ведомости» 26 и 30 марта, 5, 8 и 9 апреля 1875 года.

198

[1] Год установлен по почтовому штемпелю на конверте.

[2] Письма Савицкого из Варшавы Крамской не получил.

[3] Боголюбов находился в это время в Франценсбаде, Поленов — в Виши, где писал портрет Ф. В. Чижова (см. письмо Поленова семье от 4/16 июня 1875 года из Виши. Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

[4] Речь идет о выставке Салона 1875 года, которая была открыта 1/13 мая.

[5] Фамилии французских художников, участников Салона 1875 года: Невиль; Лефевр Жюль-Жозеф (1836—1911) — жанрист и портретист; Вибер Жан Жорж; Детайль Эдуард-Жан-Батист; Кабанель Александр; Бретон Жюль Адольф (1827—1906) — жанрист; Бугеро Виллиам (1825—1905); Берн-Белькур Этьен Проспер (род. в 1838 г.) — жанрист, пейзажист и портретист; Бастьен-Лепаж Жюль (1848—1884) — жанрист.

[6] Речь идет о посмертной выставке Фортуни, открытой в это время в Париже.

[7] Савицкий пишет о картине Фортуни «Академики Сан-Лукской Академии осматривают натурщицу», написанной в 1869 году.

[8] Имеются в виду картины «Рыбак в беде» и «Путешественники в Оверни» (см. примечание 3 к письму 185).

[9] Савицкий ездил в Пензенскую губернию в имение А. А. Татищева вместе с художником Н. Д. Дмитриевым-Оренбургским.

[10] Клодт Михаил Константинович.

[11] Савицкий имеет в виду офортные работы Шишкина (см. примечание 13 к письму 188).

[12] Paris, Rue Pigalle *(франц.)* — Париж, улица Пигаль.

199

[1] Диц Вильгельм (1839—1907) — немецкий художник. Исторический живописец и жанрист.

[2] Ленбах Франц (1836—1904) — немецкий художник. Портретист.

[3] Фейербах Ансельм (1829—1904) — немецкий художник. Исторический живописец.

[4] В Варшаве жил Николай Аполлонович Савицкий — брат художника.

[5] Иван Иванович Шишкин.

[6] Речь идет о Туркестанской коллекции произведений В. В. Верещагина, приобретенной в 1874 году П. М. Третьяковым. В 1875 году, во время пребывания Савицкого в Москве, Туркестанская коллекция была экспонирована в помещении Общества любителей художеств.

[7] Тулинов Михаил Борисович (род. в 1822 г.) — фотограф и художник; занимался акварельной живописью, имел звание неклассного художника.

С Крамским Тулинова связывала многолетняя дружба. Он был земляком Крамского, знал его еще мальчиком и был первым человеком, который не только заметил художественные способности юноши Крамского, но и поддержал его намерение стать художником.

200

[1] См. письмо 197.

[2] См. письмо 198.

[3] Крамской имеет в виду получение денег за исполненный им портрет вел. кн. Александра Александровича.

202

[1] Вольф Маврикий Осипович (1825—1883) — издатель и книгопродавец. Н. Д. Дмитриев-Оренбургский исполнял следующие рисунки для многотомного издания Вольфа «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении», 1881:

1) «Въезд царя Ивана Васильевича в Новгород»;
2) «Гостомысл снаряжает посольство к Руси»;
3) «Свержение Перуна»;
4) «Состязание Александра с Биргером»;
5) «Катание на чухнах»;
6) «Пикник около Петербурга».

Там же была помещена репродукция с картины Дмитриева-Оренбургского «Церковный сборщик» (1875). Савицким для этого же издания был исполнен рисунок «Водопад Кивач».

203

[1] Год установлен по почтовому штемпелю на конверте.

[2] Письмо Крамского не сохранилось.

[3] Картина «Бродяги в камышах» впоследствии была названа художником «Темные люди». Картина была задумана Савицким в Париже. Для того чтобы собрать материал для этой картины, художник ездил в Россию. С. М. Третьяков писал по этому поводу П. М. Третьякову 20 сентября 1875 года следующее: «Савицкого в Париже нет, он поехал в Россию, на Волгу собрать типы для задуманной им картины «Беглые» (три фигуры в лодке в тростниках на Волге).

Я видел эскиз этой картины у Кулебякина и полагаю, что будет она превосходна» (Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

Повидимому, С. М. Третьяков писал об эскизе, который был подписан и датирован Савицким 1874 годом, но заканчивался в 1890-х годах для И. Е. Цветкова, который тогда же приобрел это произведение (Отдел рукописей Третьяковской галлереи). В настоящее время этот эскиз-вариант находится в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева.

Картина «Темные люди» впервые экспонировалась Савицким в Москве и в провинциальных городах на IX Передвижной выставке 1881 года. После возвращения картины из путешествия Савицкий внес в нее существенные изменения и экспонировал ее в Петербурге на X Передвижной выставке 1882 года. В настоящее время она находится в Русском музее.

[4] О второй и третьей картинах сведений не сохранилось. Этюд «Воровка» («Врасплох под яблоней») был в числе произведений Савицкого, принесенных им в дар Киевской рисовальной школе.

В настоящее время этот этюд находится в Киевском музее русского искусства.

[5] Речь идет о художнике Дмитриеве-Оренбургском.

[6] Очевидно, эти слова были вызваны ложными слухами о пропаже некоторых произведений, экспонировавшихся на III Передвижной выставке.

[7] Видимо, имеется в виду проект совместной поездки передвижников по Волге.

1877

204

[1] Речь идет о V Передвижной выставке, которая открылась в Москве 13 марта 1877 года. Савицкий экспонировал на ней две картины: 1. «Дворик в Нормандии». Экспонировалась в Петербурге на следующей, VI Передвижной выставке 1877 года. Была приобретена родственником Савицкого Игельстромом, жившим в Варшаве; в настоящее время местонахождение картины неизвестно. Воспроизведена Савицким в офорте, который носит название «Перед домом»; экземпляр офорта имеется в Русском музее. 2. «Спросил бы, да боязно». Местонахождение этой картины также неизвестно. Воспроизведена в журнале «Пчела» (1878, № 28, стр. 420) под названием «Приглянулась».

[2] Савицкий главным образом для заработка занимался офортом и рисунками для гравюр на дереве, которые помещались в иллюстрированных журналах «Пчела» и «Всемирная иллюстрация».

205

[1] Савицкий имеет в виду портреты русских исторических деятелей, исполнявшиеся Крамским по заказу директора Московского Румянцевского и Публичного музея В. А. Дашкова (см. письмо 2 и примечание 3 к нему, письмо 107 и примечание 1 к нему).

[2] Прахов Адриан Викторович. В данном случае он был посредником между В. А. Дашковым и художниками, исполнявшими для него портреты русских исторических деятелей. К участию в этой работе Прахов привлек Репина и В. М. Васнецова. Репиным было написано четырнадцать портретов, Васнецовым — восемнадцать, причем Васнецовым исполнены портреты К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, которые первоначально собирался писать Репин.

[3] «Московский барин» — Дашков Василий Андреевич (см. примечание 3 к письму 2).

[4] Александровский Степан Федорович (1842—1906) — портретист, акварелист, исполнил для Дашковского собрания пятнадцать портретов русских исторических деятелей.

[5] Издание библии и евангелия с иллюстрациями русских художников было задумано братьями Праховыми, Мстиславом и Адрианом Викторовичами, после того как цензура наложила запрещение на их план дешевого издания для народа репродукций с картин русских художников-реалистов. «Чтобы как-нибудь обойти цензурные строгости, — пишет в своих воспоминаниях Н. А. Прахов, — по мысли М. В. Прахова было решено выпустить для начала иллюстрированное издание библии и евангелия, как книг, имевших в то время широкое распространение в народе и обычно сопровождаемых репродукциями рисунков немецких художников. Список

пятидесяти иллюстраций был составлен моим отцом (А. В. Праховым. — *Е. Л.*) и к участию в издании с его помощью были приглашены лучшие русские художники-реалисты, не имевшие ничего общего с профессиональными иконописцами, — Репин, Крамской, Поленов, Васнецов и Суриков» («Художественное наследство. Репин», изд. Академии наук СССР, 1949, т. II, стр. 18). Однако и на этот раз издание не было осуществлено, вследствие запрета духовной цензуры.

[6] Картины «Дворик в Нормандии» и «Спросил бы, да боязно», экспонировавшиеся на V Передвижной выставке в Москве.

206

[1] Савицкий ошибался, речь шла именно о портретах для Дашковского собрания.

207

[1] Гоппе Герман Дмитриевич.

[2] Речь идет о еженедельном иллюстрированном журнале «Пчела», издававшемся в Петербурге с 1875 по 1878 год (см. примечание 3 к письму 93). В журнале «Пчела» было помещено 9 рисунков Савицкого (1877, №№ 19, 34, 35, 41 и 42; 1878, №№ 10, 16 и 28).

[3] В журнале «Всемирная иллюстрация» были воспроизведены два рисунка Савицкого: первый — «Мобилизация русской армии. Сборный пункт для отправления воинской конной повинности». Рисовал К. А. Савицкий, гравировал (на дереве) А. Даугель (1877, № 420, стр. 76), и второй — «Динабург. Деятельность Общества Красного креста. Упаковка палаток для отправления в действующую армию». Рисовал К. А. Савицкий, гравировал А. Даугель (1877, № 423, стр. 137). Зарисовки были сделаны Савицким под непосредственным впечатлением событий, связанных с русско-турецкой войной 1877—1878 годов. По свидетельству Савицкого (в его письме Поленову от 20 февраля 1877 года), рисунки были искажены до неузнаваемости гравером Даугелем, а названия к ним придуманы издателем Гоппе. Авторские названия неизвестны.

[4] Издатели журнала «Пчела» — Прахов Адриан Викторович и Микешин Михаил Осипович.

[5] В журнале «Пчела» (1877, № 42, стр. 663) было воспроизведено в гравюре на дереве шесть рисунков Савицкого с натуры под общим названием «Типы и сцены провинциального захолустья». Весьма вероятно, что статья без подписи к рисунку Савицкого «Приготовление гонта» была написана самим художником. Предположение это возникает на основании того, что в статье описывается производство гонта на берегу Западной Двины в Динабурге, где в это время жил Савицкий. Сочувственный тон, которым проникнуто подробное описание тяжелых условий труда и нищенского существования рабочих в результате жестокой эксплоатации, которой они подвергаются со стороны скупщика гонта, также наводит на мысль, что автором этой статьи мог быть автор картины «Ремонтные работы на железной дороге».

[6] Савицкий не получил заказа на исторические портреты.

[7] Известен список «библейских сюжетов» для предпринятого Праховым иллюстрированного издания библии («Художественное наследство. Репин», т. II, стр. 32). За Савицким был записан рисунок на тему «Переход через Чермное море. Горькая вода. Вода Марры». О каких именно сюжетах идет речь в письме, установить не удалось. Крамской должен был исполнить рисунки на следующие сюжеты: 1) Сотворение мира,

2) Изгнание из рая, 3) Каин и Авель, 4) Юдифь, отсекающая голову Олоферну.

[8] С 24 апреля 1877 года Россия находилась в состоянии войны с Турцией (русско-турецкая война 1877—1878 гг.).

[9] Картина «Погорельцы» впоследствии получила название «Пожар в деревне». Экспонировалась на VI Передвижной выставке в провинции; встретила ряд критических замечаний. Несмотря на то, что художник трудился над ней много и с большим увлечением, результатами работы он сам не был удовлетворен и впоследствии картину уничтожил. В журнале «Всемирная иллюстрация», 1879, № 559, стр. 239—241, помещено воспроизведение картины в гравюре на дереве Ю. Барановского по рисунку автора. Там же опубликована критическая статья с подробным описанием картины. Рисунок сепией «Пожар в деревне», исполненный Савицким и подаренный им П. М. Третьякову (ныне находится в Третьяковской галлерее), является вариантом этой картины.

[10] А. П. Боголюбов выехал на театр военных действий в первых числах июня 1877 года, где должен был написать две заказанные ему Александром II картины, представляющие взрыв турецких мониторов.

[11] Крамской строил в саду Павловского военного училища (ныне Съездовская линия, д. № 1) мастерскую для работы над начатой им картиной «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»).

208

[1] Товарищество вынуждено было несколько раз отодвигать срок открытия VI Передвижной выставки в связи с большими трудностями, встретившимися при подыскании выставочного помещения. В. В. Стасов в своей статье «Передвижная выставка» (газета «Новое время», 10 марта 1878 г.) писал: «В четверг 9 марта открывается выставка Товарищества передвижных выставок, она шестая числом, но по качеству — первая из всех до сих пор бывших. Открывается она при самых неблагоприятных условиях: устроителям ее стоило величайших усилий, чтобы приискать для этой выставки помещение (в котором Товариществу Академия художеств отказала), и выставка должна была почитать себя счастливою, что ее приютило Общество поощрения художеств и отдало ей свои залы, даже не вполне еще отделанные, в новом своем помещении на Большой Морской...» (ныне улица Герцена, д. № 38 — Ленинградский союз художников).

[2] Возможно, речь идет о картине Крамского «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»).

209

[1] Год установлен по почтовому штемпелю на конверте.

[2] Письмо Крамского не сохранилось.

[3] Судя по размерам, Савицкий имеет в виду рамы для следующих своих картин: «Встреча иконы», «Путешественники в Оверни», «Дворик в Нормандии», «Пожар в деревне».

[4] Савицкий имеет в виду настроения, создавшиеся в связи с сообщениями с театра военных действий об ожесточенных боях под Плевной, и др. VI Передвижная выставка, вопреки опасениям Савицкого, посетила не только Москву, но и ряд других городов (Ригу, Киев, Одессу, Харьков). Заключение мирного договора с Турцией разрядило напряженную обстановку внутри страны.

[5] Члены Товарищества, за исключением Боголюбова, не были очевидцами военных действий, и поэтому в их произведениях, экспонированных

на VI Передвижной выставке, в первую очередь нашли отражение события и настроения, связанные с войной, но имевшие место внутри страны. К таким картинам принадлежали: «Военная телеграмма» В. М. Васнецова, «Перед отъездом на войну» (прощание офицера, уезжающего на войну, с матерью) М. П. Клодта и «Встреча иконы» Савицкого. В отличие от других авторов, Савицкий запечатлел в своем произведении не отдельный, связанный с войной эпизод, а дал широкую картину безысходного горя темного, забитого крестьянства царской России, на которое легла основная тяжесть войны. В эти же годы Савицкий начал работу над картиной «Проводы на войну».

[6] Общее собрание членов Товарищества обычно происходило перед открытием очередной выставки. На этот раз срок собрания вместе со сроком открытия выставки отодвинулся.

[7] Савицкий напоминает Крамскому о вопросах, стоявших на общем собрании членов Товарищества 5 февраля 1877 года. На этом собрании Крамской, считая портрет относительно более легким жанром, предложил изменить существовавший до того порядок оценки портретов, снизив ее по сравнению с картинами. Однако было «большинством голосов решено сохранить прежний порядок оценки портретов и участия их в дивиденде» (Протокол общего собрания членов Товарищества передвижных художественных выставок от 5 февраля 1877 года, пункт 3. Отдел рукописей Третьяковской галлереи).

Вопрос о предохранении передвижных выставок от наплыва произведений малосодержательных и неудовлетворительных в художественном отношении поднимался в Товариществе неоднократно и в последующие годы. Предложение Савицкого учредить предварительное жюри для отбора произведений, поступающих на выставку, было принято на общем собрании Товарищества в 1890 году.

[8] Согласно установившейся традиции Товарищества передвижных художественных выставок, отсутствовавшие на общем собрании члены могли передавать свой голос одному из присутствовавших членов Товарищества, посылая для этого заранее письменную доверенность.

210

[1] Намерение Савицкого поехать «за Дунай», т. е. на театр военных действий, не осуществилось.

[2] Сазанович — муж Надежды Аполлоновны, младшей сестры Савицкого.

[3] Речь идет о картине Константина Егоровича Маковского «Возвращение священного ковра из Мекки в Каир» (1876). Находится в Русском музее.

211

[1] Речь идет о статье И. Н. Крамского «Судьбы русского искусства», печатавшейся в газете «Новое время», 13, 14 и 15 декабря 1877 года (см. письмо 105 и примечание 1 к нему).

212

[1] Год установлен по содержанию письма. В издании И. Н. Крамской. Письма, т. I, М., 1937, стр. 345, настоящее письмо ошибочно отнесено к 1875 году.

[2] Имеется в виду Тимашев Александр Егорович — министр внутренних дел с 1868 по 1877 год.

[3] Григорьев Василий Васильевич (1816—1881) — ученый востоковед, член-корреспондент Академии наук, начальник главного управления по делам печати с 1874 года.

[4] Президент Академии художеств вел. кн. Владимир Александрович находился в это время на Дунае в действующей армии.

[5] Иван Иванович Шишкин.

[6] Речь идет о картине Мясоедова «Молебен во время засухи», экспонировавшейся на VI Передвижной выставке в 1878 году.

[7] Совместная поездка передвижников по Волге не была осуществлена.

213

[1] Савицкий отвечает сразу на два письма Крамского: одно из них от 26 декабря 1877 года (см. письмо 212), другое не сохранилось.

[2] Крамской в Крым не ездил.

[3] Виейль — торговец художественными принадлежностями в Париже, на улице Лаваль, д. 35.

1878

214

[1] Речь идет о картине «Радуйся, царю иудейский» («Хохот»). (См. примечание 10 к письму 31). Газета «Русский мир» (№ 281, 15/27 октября 1877 г.) в разделе «Петербургские известия» сообщала: «Нам передают, что известный портретист И. Крамской пишет в настоящее время большую картину «Христос перед Пилатом». Картина эта будет иметь более ста фигур, из коих первопланные в натуральную величину. Не имея возможности, по размерам картины, работать ее в своей мастерской, г. Крамской выстроил для этого особый барак во дворе Павловского училища (на Васильевском острове). В настоящее время картина будто бы уже близка к окончанию, но когда и где будет выставлена — неизвестно. Не можем, конечно, не пожелать художнику успеха в его работе».

[2] Речь идет о намерении Крамского экспонировать десять своих произведений на Парижской всемирной выставке.

[3] Г. Г. Мясоедов.

[4] Повидимому, Крамской информировал Савицкого о борьбе, которая разгорелась между Академией художеств и Товариществом по вопросу об устройстве русского художественного отдела на Парижской всемирной выставке 1878 года. Согласно правилам выставки, на ней экспонировались произведения, отражающие развитие изобразительного искусства за истекшее десятилетие. Совершенно очевидно, что в отделе, представляющем русскую художественную школу, главное место должно было принадлежать произведениям художников-реалистов. Однако руководство Академии художеств, движимое ненавистью к идейному демократическому искусству, принимало различные меры для того, чтобы ограничить участие передвижников на всемирной выставке. В комиссию, назначенную президентом Академии художеств для составления Отдела русского искусства на Парижской всемирной выставке, вошли принципиальные противники Товарищества: профессора Академии художеств во главе с В. И. Якоби и конференц-секретарь П. Ф. Исеев. Существование Товарищества, как самостоятельного объединения художников, комиссией совершенно игнорировалось. При отборе произведений для выставки комиссия постановила принимать не более двух картин от каждого участника. Руководствуясь этим постановлением, председатель комиссии А. И. Сомов отобрал из галлереи П. М. Третьякова всего семнадцать картин для выставки. Товарищество, во главе с Крамским, предприняло ряд решительных шагов к тому, чтобы русская школа живописи, в лице Товарищества, на международной выставке была представлена достаточно полно и чтобы в то же время деятельность каждого члена Товарищества была показана по возможности всесторонне. Правление Товарищества предложило комиссии свой список произведений для всемирной выставки, в который были включены лучшие картины идейного реалистического искусства, в том числе и картина Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге», А. И. Со-

мовым на выставку не отобранная. В случае отказа Академии художеств принять картины, назначенные Товариществом, Крамской выразил твердое намерение не участвовать на выставке; другие члены Товарищества решили последовать его примеру. Одновременно с этим Крамской выдвинул проект организации самостоятельного павильона Товарищества на всемирной выставке в Париже. Именно этот проект так горячо и приветствует в комментируемом письме Савицкий. Павильон не был выстроен, так как Товарищество не нашло для этого необходимых средств. Но протест Товарищества, поддержанный передовым общественным мнением, возымел свое действие. Особую роль в решении этого вопроса сыграло участие В. В. Стасова. Русское реалистическое искусство на Парижской выставке было представлено значительно полнее, чем на всех предыдущих международных выставках. Только из собрания П. М. Третьякова в Париж была отправлена сорок одна картина.

[5] Речь идет о III выставке Общества выставок художественных произведений, открытие которой состоялось только в 1879 году.

215

[1] Крамской и Шишкин в октябре 1878 года ездили в Париж для ознакомления с всемирной выставкой.

[2] Речь идет о картине Савицкого «На войну». Сестра Савицкого Н. А. Сазанович в своих воспоминаниях сообщает, что картина «На войну» была задумана и эскизно набросана еще в Динабурге, следовательно, во время русско-турецкой войны. В основу картины положены личные наблюдения художника, который за долгие годы странствования по России глубоко и всесторонне изучил жизнь и быт русской деревни.

[3] На V Передвижной выставке экспонировались картины Савицкого: «С нечистым знается» (1879) — находится в Третьяковской галлерее, и «Подолянка» — местонахождение неизвестно.

[4] См. письмо 120 и примечание 2 к нему, письмо 121 и примечание 3 к нему.

[5] Неясно, о какой картине идет речь.

[6] Jeune de Naples, jeunatre *(франц.)* — желтая неапольская, желтоватая (масляная краска).

[7] Поленов Дмитрий Васильевич (1806—1878) — археолог и библиограф, отец художника.

[8] Групповая фотография передвижников была сделана фотографом Лаптевым в мае 1878 года во время общего собрания членов Товарищества в Москве.

217

[1] Письмо Крамского не сохранилось.

[2] Речь идет о картине «На войну».

218

[1] Савицкий получил протокол общего собрания членов Товарищества, состоявшегося 12 ноября 1878 года по вопросу о необходимости иметь свое собственное постоянное помещение для выставок в Петербурге (см. примечание 3 к письму 121).

[2] Главным условием для осуществления постройки собственного павильона являлось получение от городских властей бесплатного места

в центре города. Товарищество наметило три возможных места: 1. Александровский сквер (ныне Сад трудящихся), 2. Михайловский сквер (ныне площадь Искусств), 3. Площадь Михайловского манежа (ныне Манежная площадь). Савицкий, со своей стороны, предложил ряд других мест: 1. Сад Буфф (ныне Измайловский сад), 2. У Симеоновского моста (ныне моста Белинского), 3. Знаменская площадь (ныне площадь Восстания), на которой было две гостиницы: Балабинская, между Гончарной улицей и Невским проспектом, и Северная — на месте нынешней Октябрьской гостиницы, 4. Павловский сквер (неясно, какое место имел в виду Савицкий), 5. Сад при дворце Елены Павловны (ныне Михайловский). Необходимое для постройки место не было получено Товариществом.

[3] Установить фамилию подписавшегося не удалось, так как в делах Товарищества подписной лист не сохранился.

[4] Забелло Пармен Петрович. Правление Товарищества заручилось разрешением общего собрания — в случае необходимости назначить Забелло сопровождающим Передвижную выставку в провинции.

[5] Савицкий имеет в виду следующее, зафиксированное в протоколе общего собрания Товарищества, решение: «Правление доложило собранию ходатайство сопровождающего выставку А. Д. Чиркина разрешить ему новый расход на наем кассира в провинции на время открытия выставки в каждом городе особо, каковой расход до сих пор он принимал на свой счет. Постановили: расход этот ему разрешить».

[6] В члены Товарищества баллотировался Николай Егорович Маковский — пейзажист, состоял экспонентом с 1875 года. Константин Егорович Маковский был избран в члены Товарищества в 1879 году.

[7] VII Передвижная выставка была открыта в Петербурге в здании Академии наук 23 февраля 1879 года.

[8] Литке Федор Петрович (1797—1882) — адмирал, президент Академии наук с 1864 по 1882 год. Был лично знаком с Крамским, который по заказу Академии наук в 1871 году исполнил портрет Литке, находящийся в Академии наук в Ленинграде.

[9] В протоколе записано: «Вопрос о пересылке картин в провинцию на выставки в рамах или без рам, возбужденный самим ходом дела передвижения, так как некоторые ящики не входят даже в двери вагона по своей величине, был также предметом обсуждения на общем собрании, и ввиду того что с каждым годом увеличивается объем выставки, ее вес, влияющий на увеличение расходов по передвижению, грозящее превысить средства Товарищества, а потому решено посылать картины на выставку в провинции все без исключения без рам, в багетах не шире $1^1/_2$ вершков». П. М. Третьяков, в целях сохранения принадлежащих ему картин, не разрешал снимать их с подрамников при перевозке. Считая это возможным, Савицкий указывает, что картина Мясоедова «Молебен во время засухи» и его картина «Встреча иконы» не создавали, таким образом, затруднений при перевозке.

[10] Речь идет о картине «На войну».

1879

219

[1] Письмо Крамского не сохранилось.
[2] Речь идет о картине «На войну».

1884

221

[1] Письмо адресовано Крамскому и его дочери Софье Ивановне во Францию в Ментону, где Крамской прожил весну 1884 года в связи с обострившейся болезнью сердца.

[2] Сергей, Николай и Анатолий — сыновья, Митя — Дмитрий Федорович Крамской — племянник художника.

[3] Кто такой был Зиновьев, установить не удалось.

[4] Речь идет о картинах Крамского «Жаркий день», «Сумерки» и «Полдень», экспонировавшихся на XII Передвижной выставке в Москве.

[5] Ивачев Павел Андрианович (род. в 1844 г.) — классный художник 2-й степени. С 1882 по 1887 год был сопровождающим передвижных выставок Товарищества в провинции.

[6] Картина «Неутешное горе» экспонировалась на XII Передвижной выставке в 1884 году и была приобретена П. М. Третьяковым. В настоящее время находится в Третьяковской галлерее.

[7] XII Передвижная выставка Товарищества была открыта в Петербурге с 26 февраля по 25 марта 1884 года.

222

[1] Письмо Крамского не сохранилось.

[2] Похитонов Иван Павлович (1850—1923) — пейзажист, жил преимущественно за границей. На передвижных выставках Похитонов начал участвовать с 1890 года в качестве экспонента, в 1905 году избран в члены Товарищества. Крамской познакомился с Похитоновым в Ментоне.

[3] Карл (Кирилл) Викентьевич Лемох.

[4] Наталья Васильевна Дмитриева, урожд. Мальке, жена художника Н. Д. Дмитриева-Оренбургского.

[5] В Аничковом дворце жил Александр III.

[6] Копия письма не сохранилась.

[7] Пети — парижский торговец картинами. С 1879 года, когда Похитонов впервые экспонировал свои картины в Парижском Салоне, он в течение десятилетия продавал свои произведения через магазин Пети.

[8] Демидов князь Сан-Донато Павел Павлович (1839—1885) — владелец горных заводов на Урале, коллекционировал произведения искусства.

223

[1] Леля, Жорж и Боря — племянники Савицкого.

[2] Крамская Людмила Федоровна — племянница художника. В 1883 году Крамским был написан ее портрет «Женщина под зонтиком» — находится ныне в Художественном музее города Горького. Акварельный портрет — в Третьяковской галлерее.

[3] Сюзор Павел Юрьевич (1844—1918) — архитектор, родственник П. А. Брюллова.

[4] Лидия Александровна Максимова, урожд. Измайлова, жена художника В. М. Максимова.

[5] XII Передвижная выставка в Москве была открыта с 6 апреля по 9 мая 1884 года.

[6] Кроме названной картины «Деревня», Е. Е. Волков экспонировал на XII Передвижной выставке следующие произведения: «Рыбак» (приобретена на выставке в Петербурге Б. И. Ханенко), «В ночное», «Восход луны», «Октябрь», «Вечер», «Лесок» (приобретена Б. И. Ханенко), «Дорожка» (приобретена на выставке в Петербурге В. Е. Лампи), «Болото», «Утро пасхи». Местонахождение этих картин в настоящее время неизвестно.

[7] А. А. Харламов экспонировал на XII Передвижной выставке картины: «Головка девушки», «Головка», «Портрет П. П. Демидова князя Сан-Донато», портреты детей князя Сан-Донато.

[8] Г. Г. Мясоедов экспонировал на XII Передвижной выставке картины: «С Байдарских высот», «Лужа», «Портрет Е. С. Гордеенко», «Лунная ночь», «Из окрестностей Киева», «Речка Лопань» (Харьковская губ.), «Скалы Георгиевского монастыря», «Осеннее утро», «Ночь в парке», «Лесная колдобина», и крымские этюды: «Гурзуф» (три этюда), «Чатыр-даг», «Дорога», «Ай-Василь», «Горный ручей». О каком этюде идет речь — неясно.

[9] П. А. Брюллов экспонировал на XII Передвижной выставке три картины под одним названием «Алжир», «Головку» и двадцать три алжирских этюда, из них десять было продано на Передвижной выставке.

[10] Злобные нападки рецензентов реакционного и либерального лагеря на XII Передвижную выставку подверглись сокрушительной критике В. В. Стасова в его статьях «Наши художественные дела» (газета «Новости» и «Биржевая газета», 15 и 19 марта 1884 г.) и «Лже-художник «Нового времени» («Биржевая газета», 22 марта 1884 г.). Стасов убедительно показал, что противники Товарищества преследуют сугубо реакционные цели — затормозить развитие русского реалистического искусства, парализовать его влияние на широкие круги зрителей. Не случайно острие реакционной критики было направлено против самых выдающихся по идейному содержанию и художественным достоинствам произведений XII Передвижной выставки и, в первую очередь, против картины Репина «Не ждали».

[11] Соловьев Михаил Петрович (род. в 1842 г.) — юрист по образованию, занимал видные административные должности в государственном аппарате. По своим взглядам — ярый монархист, реакционер. В 1896—1906 годах, исполняя обязанности начальника главного управления по делам печати, широко использовал свое право предостерегать и приостанавливать издания. Не являясь по существу ни профессиональным писателем, ни критиком, М. П. Соловьев выступал в качестве художественного критика в консервативно-монархической газете «Московские ведомости» и был в числе злейших врагов Товарищества передвижных художественных выставок. Существенно отметить, что статья Соловьева «Петербургские художественные выставки» («Московские ведомости», № 88, 29 марта 1884 г.) как бы предваряла собой появление XII Передвижной выставки в Москве и имела целью восстановить против нее общественное мнение.

[12] Полевой Петр Николаевич (1839—1902) — реакционный писатель и историк всеобщей и русской литературы. Являясь издателем-редактором еженедельного иллюстрированного журнала «Живописное обозрение» (с № 22 1882 г. по № 22 1885 г.), заключил с целым рядом русских художников типовые договоры на исключительное право воспроизведения в своем издании репродукций с их произведений.

[13] В 1884 году Академия художеств возобновила ежегодные академические выставки. Для оживления деятельности Академии в целом правительство, начиная с этих пор, отпускало ежегодно 30 000 рублей. Большая часть этих денег должна была итти на приобретение художественных произведений. К участию на выставках приглашались все художники. Отбор произведений для выставки и для приобретения осуществлялся особым жюри из двенадцати человек: шесть из них назначались Советом Академии художеств, а шесть — избирались экспонентами.

[14] Речь идет о картине К. Е. Маковского «Боярский свадебный пир XVII века», экспонировавшейся на отдельной выставке в Петербурге, открытой художником 15 ноября 1883 года в помещении Столичного аукциона на набережной Мойки у Полицейского (ныне Народного) моста, затем в Москве, Париже и на всемирной выставке 1884 года в Антверпене, где была приобретена для Америки.

[15] Ковалевский Павел Осипович.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абросимов, А. С. — 405, 434, 435, 490, 492, 493, 497, 508, 512, *616*
Аванцо, А. — 53, 385, *538, 589*
Айвазовский, Иван Константинович — 60, *539*
Аксаков, Константин Сергеевич — *633*
Аксаковы — *592*
Александр Македонский — 248
Александров, Николай Александрович — 317, 318, 320, 352, 398, 404, 473, *560, 576, 577, 580, 585, 629, 630*
Александровский, Степан Федорович — 484, *633*
Алексеев — 396
Аллиери, Фридерик — 307, *575*
Алловерт, Николай Павлович — 397, *598*
Альма-Тадема, Лауренс — 333, *582*
Альтамура, Саверио — 256, *564*
Аммосов, Сергей Николаевич — 436, *616*
Аммосов, Сергей Сергеевич — 375, *591*
Антокольская, Елена Юлиановна — 254, *564*
Антокольский, Марк Матвеевич — 23, 82. 173, 176, 185, 249, 250, 254, 257, 269, 270, 273, 280, 286, 305, 306, 308, 311, 314, 315, 317, 320, 322, 330, 333, 337—339, *529, 533, 541, 552, 562, 564, 568, 571, 576, 580, 581, 592*
Ахенбах, Андреас — 188, *554, 624*
Ахенбах, Освальд — 188, *554*

Базен, Франсуа-Ахилл — 272, *567*
Базунов, А. Ф. — *580*
Байрон, Джордж Ноэл Гордон — 256, *564*
Баранювский, Ю. — *635*
Барро, Теофиль Этьен Виктор — 443, *620*
Бартков, Михаил Васильевич — 27, 28, 31, 41, 77, 89, 213, 225, 229, *534*
Басин, Петр Васильевич — *524*
Бастьен-Лепаж, Жюль — 474, *630*
Батюшков, Константин Николаевич — *552, 553*
Беггров (брат А. К. Беггрова) — 459
Беггров, Александр Иванович — 53, 105, 135, 307, 459, 506, 508, 511, 512, 515, *538*
Беггров, Александр Карлович — 309, 375, 385, 386, 421, 424, 448, 454, 459, 461, *575, 577, 593*
Безбородко, Александр Андреевич — *548*
Безобразов (владелец типографии) — 138
Бейман — 25, 62
Беккер, Жорж — 332, *581*
Беклин, Арнольд — 412, 413, 476, *604*
Белинский, Виссарион Григорьевич — 298, 334, *582*
Берг — 53, *538*
Берн-Белькур, Этьен Проспер — 474, *630*
Берне, Карл Людвиг — 129, 141, *547*
Бессонов, Василий Владимирович — 11, *527*
Бетховен, Людвиг — 253
Бисмарк, Отто Леопольд фон Шенгаузен — 438, *618, 620*
Боборыкин, Петр Дмитриевич — 22, *533*

Бобринский, Алексей Павлович — 173, *553*
Бобров — *578*
Бове, де, С. А. — 330, 459, 467, *581*
Богацкий, Николай Тимофеевич — 76, *541*
Богданов (Богоданов), Никита — 416, *605*
Боголюбов, Алексей Петрович — 11, 13, 15, 65, 107, 131, 142, 168, 278, 291, 296, 303—305, 309, 322, 323, 328, 330, 334, 338, 367, 374—377, 386, 398, 416, 447, 448, 451—454, 456, 458—462, 464, 467, 472, 474, 489, 516, 517, *528, 530, 539, 547, 548, 569, 577, 581, 590, 591, 593, 602, 603, 605, 622—624, 626, 628—630, 635*
Богомолов, Иван Семенович — 377, *591*
Бодаревский, Николай Корнильевич — 13, *529, 530*
Бодри, Поль Жак — 316, 318, 452, *576, 624*
Бок, фон, Георгий Тимофеевич — 97, 139, 140, *543*
Бонер, Роза — 274, *568*
Бонна, Леон-Жозеф-Флорентен — 262, 294, 304, *565, 575*
Борхарт — 519
Боткин — 468, *628*
Боткин, Дмитрий Петрович — 335, 415, 422, *583, 594, 604*
Боткин, Михаил Петрович — 34, 42, 58, 68, 69, 71, 77, 257, *534, 536, 539*
Боткин, Сергей Петрович — 42, 47, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 80, 121, 223, 230, 237, 239, 243, 282, 382, *537, 539*
Боткины — 70
Бретон, Жюль Адольф — 474, *630*
Бриджмен, Фредерик — 333, *582*
Брож, Карл — 184, *554*
Бронников, Федор Андреевич — 398, *598*
Бруни, Федор Антонович — 271, 280, 284, *567*
Брюллов, Карл Павлович — 191, 224, 229, 267, 269, 273, *536, 554, 566*
Брюллов, Павел Александрович — 359, 370, 375, 382, 394, 518, 519, *587, 590, 593, 622, 643*
Брюллова — 491
Бугеро, Адольф Вильям — 474
Буров, Федор Емельянович — 318, 461, *577, 626*

Ваке — 74, *540*
Валуев, Петр Александрович — 173, 217, 291, *553, 572*
Ван-Дейк, Антонис — 439, *618*
Ваныкин, Аполлон Иванович — 236, 248
Васильев, Александр Александрович — 76, *541*
Васильев, Роман Александрович — 9, 12, 14, 17, 20, 28, 37, 38, 45, 49, 54, 58, 62, 65, 77, 82, 84, 92, 103, 107, 113, 117, 122, 124, 130, 136, 144, 157, 163, 165, 174, 180, 197, 210, 212, 222, 233, 237, 241, 244, 265, *525, 526*
Васильев, Федор Александрович — 5—244, 249, 254, 259, 262, 265, 268, 273, 287, 352, *523—526, 528—531, 533—562, 564, 565, 567, 569, 585*
Васильева, Ольга Емельяновна — 9, 10, 14, 17, 20, 26, 29, 37, 38, 45, 49, 52, 54, 58, 62, 73, 74, 76, 77, 82, 84, 92, 102, 103, 106, 107, 113, 122, 130, 133, 144, 148, 152, 157, 174, 177, 180, 197, 199, 200, 210, 212, 214, 218, 222, 233, 237, 249, 265, *525, 530, 547, 560, 561*
Васильковский — 425, *610*
Васнецов, Виктор Михайлович — 195, 202, 250, 280, 282, 296, 297, 304, 305, 312, 316, 318, 332, 359, 366, 370, 375, 376, 383—385, 388, 389, 393—396, 398, 403—405, 416, 417, 425, 443, 461, 489, *556, 562, 565, 566, 569, 572—574, 576, 580, 590, 592, 594, 595, 597—600, 605, 610, 633, 634, 636*
Веласкес, Диего — 274, 285, 439, *565, 568, 575, 618*
Вениг, Богдан Богданович — *524*
Вениг, Карл Богданович — 169, 439, *552, 618*
Верещагин, Василий Васильевич — 306, 307, 309, 316, 398, 436, 444, 450, 454—456, 477, *542, 575—577, 599, 617, 623, 625, 630*
Верещагин, Василий Петрович — 169, 254, 280, 307, *552, 564, 575*
Верещагины — 198

Веронезе (Кальяри, Паоло) — 261, 268, 318, 439, *565*
Весаль — 74
Виардо, Луи — 333, *582*
Виардо, Полина-Гарсиа — *582*
Вибер, Жан-Жорж — 332, 474, *581, 630*
Виейль — 499, *637*
Винекен — 308, 443, 446
Вирц, Антуан-Жозеф — 332, *581*
Воейкова, Вера Николаевна — *602*
Воейкова, Ольга Леонидовна — 409, *517, 602*
Воейкова, С. В. — *608*
Воинов, Всеволод Владимирович — *577*
Волков, Ефим Ефимович — 36, 193, 518, 519, *535, 555, 643*
Волковский, Иван Васильевич — 27, 63, 66, 73, 74, 88, 89, 92, 120, 238, *523, 533*
Воллон, Антуан — 415, *604*
Вольф, Маврикий Осипович — 481, *631*
Воронцовы — 209
Вотерс, Эмиль-Шарль — 333, *582*
Врубель, Михаил Александрович — *544, 592*

Гартман, Виктор (Эдуард) Александрович — 254, 298, 299, *564, 573*
Ге, Анна Петровна — 41, 155
Ге, Николай Николаевич — 9, 11, 13, 14, 32, 34, 41, 44, 63, 80, 107, 108, 155, 184, 225, 228, 232, 263, 266, 278—280, 296, 322, 327, 328, 340, 386, 398, 434—436, 439, 443, 457, 467, *525, 527, 529—531, 536, 537, 539, 549, 558, 559, 566, 569, 576, 578, 615, 616, 620, 622, 625*
Гейне, Генрих — 124, 129, *546*
Гейнс (Гейнц), Александр Константинович — 321, *576, 577, 621*
Гельбиг, В. — *566*
Герен (врач) — 321
Геримский, Александр — 333, 336, *582, 583*
Герсон, Войцех-Альберт — *552*
Гете, Иоганн Вольфганг — *543*
Гиз, герцог — *603*
Глаголева — 224, 231
Гоголев — 176, 177, 193, 201, 202, 209, 212, 216—219, 224, 234, 249, 254, *553, 556, 557*
Гоголь, Николай Васильевич — 305, *525, 544*
Гольбейн, Ганс младший — 438, *618*
Голяшкин, Александр Николаевич — *535*
Гончаров, Иван Александрович — 318, *621, 630*
Гопер — 338, *582*
Гоппе, Герман Дмитриевич — 398, 400, 401, 486, 487, 491, *598, 599, 634*
Горавский, Аполлинарий Гиляриевич — *551*
Гордеенко, Е. С. — *643*
Горшков, Михаил Николаевич — 309, *575*
Гранье — *624*
Грибоедов, Александр Сергеевич — 358, *587*
Григорович, Дмитрий Васильевич — 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 30—32, 34, 37, 41—43, 45, 47, 50—53, 55, 56, 58, 71, 72, 77, 80, 84, 85, 88—90, 93, 94, 97, 99—102, 104, 105, 107—109, 113—115, 117—122, 127, 128, 131, 134, 135, 139, 140, 142, 145, 148, 149, 156, 157, 163, 171, 174—176, 185, 190—193, 205, 206, 208, 210, 211, 213—215, 218, 221—225, 229, 238, 240, *525, 526, 528, 531, 543, 547, 549, 550, 554, 557, 580*
Григорьев, Василий Васильевич — 356, 497, *637*
Гримм, Давид Иванович — *575*
Гро, Антуан-Жан — 274, *568*
Громме, Василий Тильманович — 226, *559*
Громов, Илья Федулович — 377, 378, 510, *591*
Гун, Карл Федорович — 107, 226, 272, 278, 294, 296, 306, 369, 371, 372, 464, 467, *544, 569, 576, 590, 622, 628*
Гуно, Шарль Франсуа — 124, *546*
Гупиль (издатель и антиквар) — 257, 294, 452, 459, 465
Гупиль, Жюль-Адольф — 332, *581*
Гурин — 477

Давид, Луи — 274, *568*
Дамберг — *578*
Даугель, А. — *616, 634*

Дашков, Василий Андреевич — 6, 7, 358, 484, 485, *524, 587, 633, 634*
Дебросс — *624*
Делакруа, Эжен — 274, *568*
Деларош, Поль — 274, 285, 302, 334, 391, *568, 596*
Демидов, князь Сан-Донато, Павел Павлович — 517, *642, 643*
Деннер, Бальтазар — 439, *618*
Детайль, Эдуард-Жан-Баптист — 339, 474, *584, 630*
Дефреггер, Франц — 252, *563*
Диккенс, Чарльз — 171
Диц, Вильгельм — 476, *630*
Дмитриев-Оренбургский, Николай Дмитриевич — 436, 439, 461, 465, 475, 477, 478, 481, 482, *529, 616, 617, 627, 630, 631, 632, 642*
Дмитриева, Наталья Васильевна— 465, 516, *642*
Доливо-Добровольский, Михаил Иванович — 309, 448, 454, 461, 478, *575*
Доре, Гюстав — 332, *581*
Достоевский, Федор Михайлович — 402—405, *600*
Дюпре, Анри — 442, *620*

Егоров, Алексей Егорович — *593*
Егоров, Евдоким Алексеевич — *593*
Ейкенс, Филипп Герман — 333, *582*
Елисеев (домовладелец) — 65
Еремеевский, Иван Федорович — 40, *536*

Жадовская, Ю. В. — *535*
Жак — *567*
Жаке, Жан-Гюстав — 332, *581*
Жерико, Теодор — 274, *568*
Жером, Жан-Леон — 294, 442, *573, 620*
Жесель — 396
Жирар, Франсуа Фирмен — 442, *620*
Жуковский, Василий Андреевич — *626*
Жуковский, Павел Васильевич — 461, *626*
Журавлев, Фирс Сергеевич — 197, 298, 464, *556*
Жюльен — *571*

Забелин, Иван Егорович — 364, 365, *588*
Забелло, Пармен Петрович — 155, 184, 510, *549, 550, 576, 640*
Загорский, Николай Петрович — 397, *598*
Задонский (домовладелец) — 238
Зак, А. И. — *572, 621*
Зеленский, Михаил Михайлович — 11, *528*
Зием, Феликс — 302, *574*
Зиновьев — 514, *642*
Зязин, Максим Иванович — 266, *566*

Иван (натурщик) — 434
Иван IV — 333, *533*
Иванов, Ефим (позолотчик)—181, *553, 554*
Иванов, Ефим Тимофеевич — *554*
Ивановский, Никодим Ксаверьевич — *552*
Ивачев, Василий Яковлевич — 389, 390, *595*
Ивачев, Павел Андрианович — 515, 519, *642*
Игельстром, Генрих Густавович — 468, 488, 489, 508, *628, 633*
Игельстром, Иван Густавович — 485
Игельстром, Константин Густавович — *628*
Игельстром, Лидия Аполлоновна — 433, 488, 489, 499, *614, 628*
Игнатович — 138
Иконников, Яков Михайлович — 9, 10, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 32, 35, 51, 59—61, 84, 105, 123, 172, 185, *526, 533*
Иконникова, Евгения Ивановна — 9, 12, 14, 16, 20, 29, 41, 45, 49, 54, 170, *526, 531, 533, 534*
Имсен, Василий Васильевич — 53
Имсен, Карл Васильевич — 53, 83
Иордан, Федор Иванович — 108, 169, 240, 279, 280, *544*
Исеев, Петр Федорович — 6, 7, 53, 57, 63, 88, 168—170, 184, 185, 216, 221, 225, 228, 239, 240, 278—280, 282, 290, 293, 318, 321, 328, 356, 413, 416, 447, 449, 454, 456, 497, *524, 565, 568, 571, 573, 577—580, 603, 609, 622, 623, 638*
Истомина — 376

Кабанель, Александр — 252, 474, *563, 630*

Кавелин, Константин Дмитриевич — 370, *590*
Кадар — 460, 461
Калмыков — *578*
Каменев, Лев Львович — 375, *591, 620, 621*
Каменский, Федор Федорович — 269, *567*
Каммерер, Фредерик — 442, *620*
Камуччини, Виченцо — 252, *563*
Караваджо, Микель Анджело — 439, *618*
Караччи, Аннибале — 267, 273, *566*
Карло (импровизатор) — 383, *594*
Каролюс-Дюран, Эмиль-Огюст — 332, 339, 443, *581*
Каррик, Василий Андреевич — 401, 434, 435, *599, 616*
Кастр, Эдуард — 442, *620*
Катков, Михаил Никифорович — 405
Келенбенц, Александр Христофорович — 452, *624*
Келер (Келер-Вилианди), Иван Петрович — 191, 217, 229, *554, 555, 575*
Киселев, Александр Александрович — 375, 376, *578, 591*
Клевер, Юлий Юльевич — 193, *555*
Клеман, Феликс — *563*
Клеопин, Платон Александрович — 9, 14, 23, 37, 62, 74, 92, 101, 110, 118, 131, 198, 199, 238, 239, 241, 244, *526*
Клодт, Михаил Константинович — 11, 13, 15, 65, 163, 278, 296, 331, 382, 395, 461, 475, *527, 529, 530, 551, 569, 573, 576, 593, 597, 622, 626, 630*
Клодт, Михаил Петрович — 296, 370, 401, 404, 461, *551, 573, 576, 580, 590, 599, 626, 636*
Клодт, М. К. или М. П. — 292
Клодт, Петр Карлович — 404, 405, *600*
Кнаус, Людвиг — 13, 141, 252, 530, *563*
Ковалевский, Павел Осипович — 11, 257, 333, 336, 365, 420, 421, 520, *528, 583, 607, 629, 644*
Ковальский — 257
Козлов — 483, 491
Колиньи, Гаспар — *603*
Констан, Бенжамен — 332, *581*
Константинов, Николай Павлович — 235, 236
Константинович, Василий Михайлович — 397, 399, *598*
Корзухин, Алексей Иванович — 197, 298, 464, *556*
Коро, Камилл — 268, 302, 339, 341, 441, *566, 567, 619*
Корш — 491
Кочеровский, Петр Каспарович — *552*
Кочетова, Ольга Акимовна — 193, 201, 217, 224, 226, 227, 230, 231, *555*
Кочубей, В. А. — *594*
Кошелев, Николай Андреевич — *524, 578*
Кошлоков — 518
Крамская, Людмила Федоровна — 518, *642*
Крамская, Софья Ивановна — 235, 514, 517, *560, 621, 642*
Крамская, Софья Николаевна — 6, 9, 10, 12—14, 20—22, 26, 28, 31, 33, 41, 45, 50, 52, 59, 62, 64, 65, 76—78, 82, 83, 87, 92, 101—103, 105, 106, 113, 122, 126, 133, 137, 144, 148, 151, 158, 166, 170, 186, 193, 197, 217, 226, 232, 233, 240, 242, 251, 254, 258, 263, 267, 273, 275, 282, 309, 310, 312, 330, 331, 339, 346, 358, 382, 384, 385, 390, 391, 403, 433, 435, 439, 443, 444, 447, 448, 452, 453, 461, 462, 472—474, 477, 478, 480—484, 491, 502, 507, 508, 511, 514, 515, *524, 533, 542, 596, 620, 626*
Крамской, Анатолий Иванович — 235, 248, 433, 453, 514, *559, 642*
Крамской, Дмитрий Федорович — 514, *642*
Крамской, Марк Иванович — 235, *560*
Крамской, Николай Иванович — 235, 453, 514, *559, 642*
Крамской, Сергей Иванович — 242, 462, 514, 517, *561, 642*
Красносельский, Александр Андреевич — 47, 48, *538, 552*
Креспи, Джузеппе Мария — 439, *618*
Крестоносцев, Петр Александрович — 324, 464, *578, 579*
Крестоносцев, П. Ф. — *578*
Крылов, Иван Андреевич — *556*
Кудрявцев, Михаил Андреевич — 11, *528*

Куинджи, Архип Иванович — 193, 270, 271, 274, 278, 280, 291, 293, 296, 312, 315, 316, 318, 331, 340, 341, 343, 345, 347, 351—354, 369—371, 386—388, 395, 398, 400, 423, 425, 443, 494, *555, 567, 572, 573, 581, 585, 589, 592, 595, 597, 598, 608, 610*
Кулебякин — *631*
Кухаржевский, Людвиг Антонович — *552*
Кушелев-Безбородко, Николай Александрович — *548*

Лаверецкий, Николай Акимович — 464, *575, 627*
Лавеццари, Андрей Карлович — 461, *626*
Лагорио, Лев Феликсович — *551*
Лазаревская — 122, 124, *546*
Лазаревский — 47, 97, 118, 163, *538, 546*
Лампи, В. Е. — *643*
Лаптев — 506, *639*
Лебеда — 89
Левицкий, Рафаил Сергеевич — 365, 425, 428, *589, 592, 610, 612*
Леман, А. А. (врач) — 382, *593*
Леман, Юрий (Егор) Яковлевич — 262, 264, 384, 386, *565, 594*
Лемох, Кирилл (Карл) Викентьевич — 298, 339, 394, 516, 517, *573, 584, 642*
Ленбах, Франц — 476, *630*
Лермонтов, Михаил Юрьевич — *530, 534, 543, 546, 560, 561, 582*
Леслер, Александр — *552*
Лесников, И. П. — *530*
Лефевр, Жюль-Жозеф — 474, *630*
Линдгольм, Берндт-Адольф — 171, 442, *552, 620*
Литке, Федор Петрович — 511, *529, 640*
Литовченко, Александр Дмитриевич — 333, 336, 385, *580, 582, 583*
Ломоносов, Михаил Васильевич — 257
Ляхницкий, Киприян Игнатьевич — *552*

Мавре (натурщик) — 294
Макаров, А. И. — 530
Макаров, Евгений Кириллович — 10, 11, 42, 44, 50, 162, 209, 420, 421, *526, 528, 536, 537, 539, 551, 607*
Макарт, Ганс — 252, 388, 476, *563, 595*
Маковский, Владимир Егорович — 296, 367, 370, 374, 386, 389, 396, 399, *573, 590, 592, 595, 628*
Маковский, Константин Егорович — 36, 343, 384, 424, 496, 510, 520, *535, 584, 593, 594, 596, 603, 636, 640, 644*
Маковский, Николай Егорович — 193, 510, *555, 640*
Макс, Габриель — 383, *594*
Максимов, Василий Максимович — 202, 337, 370, 396, 461, 519, *556, 578, 590, 598, 643*
Максимова, Лидия Александровна — 519, *643*
Максимовы — 443
Мамонтов, Савва Иванович — 379—384, 398, 400, 420, *564, 588, 592, 593*
Мамонтова, Елизавета Григорьевна — 364, 367, 371, 402, *588*
Манизер, Генрих Матвеевич — 397, 398, *598*
Манэ, Эдуард — 332, 345, *581*
Марков, Алексей Тарасович — 271, *524, 567*
Мартынов — 369, *589*
Матвеев, Иван Михайлович — 422, *595, 607*
Матейко, Ян — 252, 336, 349, *563, 583*
Матушинский, Аполлон Михайлович — 75, *541*
Матэ, Василий Васильевич — *577*
Мейсонье, Жан-Луи-Эрнест — 141, 248, 262, 274, *548*
Мендельсон-Бартольди, Феликс-Якоб-Людвиг — 124, *546*
Мещерский, Арсений Иванович — *541*
Микельанджело Буонаротти — 318, *562, 577*
Микешин, Михаил Осипович — 173, 185, 487, 491, *553, 580, 634*
Миллер, Карл Карлович — *552*
Михеев, В. — *548*
Моне, Клод — 332, *581*
Монигетти, Ипполит Антонович — 163, 185, 186, 216, *543, 551*
Монсон — *582*
Монтеверде, Джулио — 253, *564*
Морелли, Доменико — 248, 256, 275, 412, *562, 569, 604*

Моро, Адриан — 332, *581*
Моро, Гюстав — 442, *620*
Мурашко, Николай Иванович — 379, *592*
Мурильо, Бартоломе Эстебан — 439, *618*
Мясоедов, Григорий Григорьевич — 169, 263, 266, 280, 282, 290, 291, 293, 296, 298, 306, 308, 340, 357, 359, 370, 386, 394, 396, 398, 497, 502, 504, 511, 519, 520, *527, 552, 569, 572, 573, 576, 586, 597, 598, 610, 617, 620, 625, 637, 638, 640, 643*

Наполеон — 299
Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт) — 453, *624*
Неведомский, М. П. — *585*
Невиль, Альфонс-Мари — 342, 345, 348, 349, 441, 450, 452, 474, *584, 619, 624, 630*
Неврев, Николай Васильевич — *592*
Неклюдова, Е. Е. — 288, *572*
Некрасов, Николай Алексеевич — 371, *559, 590*
Нецветаев, Александр Сергеевич — 5, 8, 9, 11—13, 15, 41, 60, 63, 105, 106, 112, 113, 123, 141, 142, 151—157, 174, 183, 184, 192, 197, 198, 207, 208, *524, 525, 529, 531, 536, 544, 545, 549, 553*
Нефф, Тимофей Андреевич — 292, *573*
Нибгольц — 404
Ниттис, Джузеппе — 442, *620*
Ноде, Тома Шарль — 448, *623*

Оболенский, Дмитрий Александрович — 371, *590*
Олехнович (врач) — 17, 20, 27, 28, 68, 117, 121, 136, 137, 139, 144, 149, 150, 157, 163, 179, 204, 210, 211, 218, 221, 224, 228, 232—234, *525, 540*
Опекушин, Александр Михайлович — 333, 338, *582*
Орловский, Владимир Донатович — 140, 141, 193, 204, 208, 209, 213, 222, 324, 327, 401, 464, 467, *548, 555, 557, 578*
Островский, Александр Николаевич — *529, 595*
Остроухов, Илья Семёнович — *543, 592*

Панемакер, Адольф-Франсуа — 343, 350, *584*
Панов, Михаил Михайлович — 133, 148, 163, 166, 176, 195, 197, *547*
Патти, Аделина — 342, *584*
Пелуз, Леон Жермен — 442, *620*
Перов, Василий Григорьевич — 10, 11, 13, 108, 193, 263, 266, 296, 298, 386, 414, *526, 527, 529, 530, 542, 555, 566, 573, 604, 620, 628*
Песков, Михаил Иванович — 281, *570*
Пети (торговец картинами) — 517, *642*
Петр I — 82, 173, 337, *530, 531, 541, 552, 553, 583*
Петрарка, Франческо — 39, *535*
Петров, П. Н. — *554*
Пехт — *562*
Пилоти, Карл (Теодор) — 252, 476, *563*
Писемский, Алексей Феофилактович — 403, *600*
Плешанов, Павел Федорович — 464, *627*
Плюснин, Николай Михайлович — 266, *566*
Пожалостин, Иван Петрович — 262, 264, 267, 269, 273, 280, 291, 294, 301, *565—567*
Поклонская, О. О. — 288, *572*
Полевой, Петр Николаевич — 519, *643*
Поленов, Василий Дмитриевич — 10, 11, 250, 254, 264, 267, 287, 291, 292, 294, 302, 305, 309, 322, 333, 334, 336, 338, 357, 363, 365, 366—371, 384, 385, 389, 390, 396, 409—430, 445, 446, 448, 451, 460, 461, 465, 467, 468, 474, 475, 484, 489, 506, *526, 528, 544, 566, 571—573, 576, 577, 582—584, 586, 588, 589, 592—595, 602—613 615, 621, 626, 628—630, 634*
Поленов, Дмитрий Васильевич — 411, 506, *603, 639*
Поленова, Елена Дмитриевна — 409, *592, 593, 602, 603, 613*
Поленова, Наталья Васильевна — 430, *613*
Поленовы — *588, 593, 607*
Полетика, А. П. — *616*
Полетика, В. А. — *616*
Полонский, Яков Петрович — *578, 580*

Попов, А. — *576*
Пороховщиков, А. А. — *536*
Постников, Сергей Петрович — 34, 42, 58, 68, 69, 257, *534, 536*
Похитонов, Иван Павлович — 516, 517, *642*
Прахов, Адриан Викторович — 254, 270, 273, 280, 293, 299, 300, 304, 331, 333, 336, 337, 484, 485, 487, 491, 507, *564, 567, 573, 574, 580, 583, 584, 589, 603, 633, 634*
Прахов, Мстислав Викторович — *633*
Прахов, Н. А. — *633*
Прим, Хуан (маршал) — *563*
Прушинский, А. А. — *552*
Прянишников, Илларион Михайлович — 291, 293, 296, 364, *572, 573, 588, 628*
Пугачев, Емельян Иванович — *566*
Пукирев, Василий Владимирович — 267, *566*
Пушкин, Александр Сергеевич — 118, 308, 330, 333, 337, *535, 575, 580—582, 619, 625*
Пыпин, Александр Николаевич — 334, 359, 455, *582*

Равене, П.-Л. — *530*
Радов, И. Ф. — *588*
Рафаэль Санцио — 87, 91, 247, 438, *542, 562, 580, 618*
Резанов, Александр Иванович — 107, *544*
Резанов, Виктор Михайлович — 193, 240, *550*
Рембрандт ван Рейн — 439, *565, 618*
Рени, Гвидо — 318, *577*
Реньо, Анри — 252, 274, 294, 413, *563, 568*
Репин, Василий Ефимович — 263, 391, *566, 596*
Репин, Ефим Васильевич — 202
Репин, Илья Ефимович — 10, 11, 42, 44, 60, 147, 162, 170, 176, 184, 201, 202, 216, 217, 224, 247—406, 414, 416, 417, 419, 421, 423, 425, 436, 446, 448, 449, 451, 456, 459—461, 464, 465, 467, 478, 484, 489, 517, 519, *526—528, 536, 539, 551, 558, 562—568, 570—582, 584—590, 592—601, 603, 604, 606, 608, 619, 621, 625, 626, 628, 629, 633, 634, 643*
Репина, Вера Алексеевна — 251, 254, 258, 260, 262, 263, 267, 275, 309, 310, 328, 330, 338, 339, 343, 355, 357, 361, 363, 364, 371, 378, 380, 382, 384—386, 389, 401, 403, 404, 461, *536*
Репина, Татьяна Степановна — 364, 367, *588*
Рибера, Хосе — 439, *618*
Риццони, Александр Антонович — 430, *613*
Рольман — *624*
Рубенс, Петер Пауль — 439, *618*
Рыльский — 10, 44, 60, 66, 196, 197, *526, 537, 538*

Саванопуло — 166
Савицкая, Екатерина Васильевна — 41, 75, 184, 309, 433, 435, 436, 439, 443, 444, 447, 452, 457, 460, 461, 462, 465, 468—471, 491, *580, 614, 626, 628*
Савицкие, К. А. и Е. В. — 87, 234, 236, *565*
Савицкий, Константин Аполлонович — 10, 11, 34, 41, 44, 50, 53, 63, 64, 75, 81, 83, 147, 148, 162, 170, 176, 184, 193, 208, 215, 224, 240, 248, 250, 254, 262, 265, 268, 273, 280, 282, 283, 287, 291, 292, 296, 301, 305, 306, 308, 309, 311, 316, 322, 324, 325, 328, 329, 331, 333, 334, 337, 339, 340, 359, 370, 372, 396, 413, 414, 419, 433—520, *526, 536, 540, 549, 561, 562, 564, 569, 575, 577, 589, 590, 593, 604, 614—621, 623—626, 628—640, 642*
Савицкий, Николай Аполлонович — 477, 520, *630*
Савич, Алексей Николаевич — 371, *590*
Саврасов, Алексей Кондратьевич — 13, 15, 193, 375, *530, 531, 541, 555, 620*
Сазанович, Надежда Аполлоновна — 433, 484, 489, 495, 499, 501, 504, *614, 636, 639*
Сазанович — 489, 490, 495, 504, *636*
Салтыкова, Феодора Романовна — 242, 443, 453, 461, 462, 472, *561, 620, 626*
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович — *529, 533, 541, 559, 624*
Сарасате, Пабло Мартин Мелитонде — 381, *593*
Сведомский, Александр Александрович — 430, *613*

Сведомский, Павел Александрович — 430, *613*
Сверчков, Николай Егорович — *626*
Семирадский, Генрих Ипполитович — 216, 224, 257, 271, 273, 275, 284. 307, 333, 335, 336, 339, *558, 565, 568, 583*
Сенковский, Осип Юлианович — *534*
Серов, Валентин Александрович — *544*
Сидоров, Александр Исидорович — 397, 423, *598*
Снарская — 66
Снарские — 442, *620*
Собко, Николай Петрович — *549, 588*
Солдатенков, Козьма Терентьевич — 46, 70—72, 77, 79, 168, 181, 211, 220, 221, 391, 457, 460, 475, 477, *535, 537, 540, 543, 545, 626*
Соловьев, Михаил Петрович — 519, *643*
Сомов, Андрей Иванович — 41, 42, 318, 359, 361, 363, 457, *536, 587, 626, 638, 639*
Сорокин, Павел Семенович — *624*
Софокл — 337, *583*
Сталь фон Гольстейн, Анатолий Александрович — 215, *558*
Станкевич, Александр Владимирович — *624*
Стасов, Владимир Васильевич — 14, 15, 19, 250, 287, 288, 290, 298, 299, 306, 309, 314—316, 320, 321, 330, 331, 333, 338, 339, 355, 368, 372, 385, 386, 391, 449, *523, 528, 530—532, 541—543, 551, 559, 562, 563, 571—577, 580—582, 594, 617, 623, 635, 639, 643*
Стенбок-Фермор, Юлий Иванович — 214, *557*
Степанов, П. С. — *529*
Строганов, Григорий Сергеевич — *621*
Строганов, Павел Сергеевич — 20, *524, 527, 533*
Строганов, Сергей Григорьевич — 400, *570, 599*
Суворин, Алексей Сергеевич — 292, 356, 406, 497, *548, 570, 572, 586, 629*
Суворина, А. И. — *621*
Суриков, Василий Иванович — 401—404, *544, 599, 600, 634*
Суходольский (домовладелец в Ялте) — 86, 105
Сухоровский — 53
Сюзор, Павел Юрьевич — 518, *643*
Сыпневский, Феликс Феликсович — *552*

Татищев, Александр Александрович — 453, 454, 475, 477, 478, 480, 481, *624, 626, 630*
Татищев, Дмитрий Александрович — 338, 461, *584, 626*
Терещенко, И. Н. — *611*
Тимашев, Александр Егорович — 169, 497, *552, 637*
Тимашева, Е. П. — 529
Тициан Вечеллио — 261, 268, 282, 284, 285, *565, 571*
Толоконников — *621*
Толстой, Алексей Константинович — 224, 301, 305, *558, 574*
Толстой, Лев Николаевич — 291, 301, 310, 311, 318, 354, *560, 572, 574, 585*
Томас — см. Янсон, К. Е.
Торхлин — 498
Третьяков, Павел Михайлович — 9, 30, 33, 34, 36, 40, 44, 46, 47, 50, 52, 55—57, 70—72, 77, 79, 85, 107, 113, 121, 123, 126, 135, 142, 154, 161, 167—170, 175, 190—194, 207, 212, 219, 221, 231, 239, 241, 301, 305, 338, 358, 361—363, 368, 377, 391, 396, 402, 434—436, 439, 443, 444, 477, 511, *524—526, 534—541, 545—547, 550—557, 560, 561, 574, 581, 585, 594, 596, 604, 607—609, 613, 615, 616, 618, 619, 628, 630, 631, 635, 638—640, 642*
Третьяков, Сергей Михайлович — 46, 72, 161, 207, 355, 457, 460, 475, *525, 535, 537, 556, 608, 625, 626, 631*
Третьякова, Вера Николаевна — 353, *585*
Третьякова, Елена Андреевна — 85, *625*
Тройон, Констан — 141, *548*
Трубецкая — 122
Трубецкие — 122, 124
Трубецкой — 122, 123

Тулинов, Михаил Борисович — 477, *630, 631*
Тургенев, Иван Сергеевич — 318, 321, 322, 325, 332, 333, 339, *566, 575, 578, 580, 582, 594*
Тьеполо, Джованни Баттиста — 318, *577*
Тютрюмов, Никанор Леонтьевич — 316, 317, 322, *576, 577*

Уланов, Иван — 360, *587*
Урлауб, Георгий (Иван) Федорович — 10, 11, *526, 528*
Успенский, Глеб Иванович — *566*
Усси, Стефано — 248, *562*
Утеман, К. Е. — *594*

Фальконе, Этьен-Морис — 337, *583*
Фарбштейн — 196
Федоров-Давыдов, Алексей Александрович — *523*
Фейербах, Ансельм — 476, *630*
Фельтен, А. — 307, *575*
Филиппов, Константин Николаевич — 16, 22, 24, 32, 69, 198, *531*
Филипповы — 62
Филиппото, Анри — 268, *567*
Фортуни, Мариано — 248, 257, 322, 332, 335, 341, 342, 344, 345, 348, 349, 412—415, 475, *562, 565, 583, 604, 630*
Фремье, Эммануель — 304, *574*
Ханенко, Богдан Иванович — *643*

Харламов, Алексей Алексеевич — 262, 264, 265, 294, 296, 304, 305, 307, 321, 332, 333, 335, 338, 339, 367, 384, 386, 448, 451, 456, 460—462, 519, *565, 575, 582, 593, 594, 625, 626, 643*
Хейльбут, Фердинанд — 274, *568*
Ходоровский, М. Н. — *580*
Хомяков, Алексей Степанович — *633*
Хрущов, Иван Петрович — *589*
Хрущова, Вера Дмитриевна — *589, 611*

Цабель — 211, 233, 236
Цветков, Иван Евмениевич — *631*
Ценкер — 519
Цицерон, Марк Туллий — 247, *562*

Черкасов, Павел Алексеевич — 293, *573*
Чернышев, Алексей Филиппович — *624*
Черняев, Михаил Григорьевич — *605*
Чехов, Антон Павлович — *629*
Чижов, Матвей Афанасьевич — 254, 257, 307, 308, *564, 565*
Чижов, Федор Васильевич — 364, 367, *588, 605, 630*
Чиркин, Александр Дмитриевич — 457, 478, 510, *625, 640*
Чистяков, Павел Петрович — 108, 250, 305, 340, 464, *544, 576, 586, 602, 606*
Чупин, Николай Иванович — 215, 223—225, *558*

Шамшин, Петр Михайлович — 169, 267, 271, 280, 439, *552, 618*
Шанин, Африкан Сидорович — 21, *533*
Шевченко, Тарас Григорьевич — 173, *533*
Шерер — 404
Шиндлер, Панталеон — 416, 461, *605, 626*
Ширинский-Шихматов, С. А. — *553*
Шишкин, Иван Иванович — 10, 11, 13, 15, 16, 29, 32—36, 39, 42—44, 63—65, 78, 79, 81—83, 103, 108, 113, 120, 121, 123, 131, 134, 136, 137, 142, 148, 162, 163, 169—171, 176, 184, 185, 193, 213, 215, 224, 231, 236, 240, 248, 249, 254, 262, 266, 269, 291, 303, 340, 354, 359, 368, 369, 385, 391, 396, 433, 435, 436, 439, 442, 447, 452, 461, 475—477, 480, 489, 497, 499, 500, 502, 505, 507, 508, 511, 513, *523, 527, 530, 533—536, 540—542, 545, 547, 548, 552, 555, 560, 561, 564, 572, 576, 580, 585, 589, 592, 614, 616, 620—622, 626, 630, 637, 639*
Шишкина, Евгения Александровна — 40, 78, 79, 103, 113, 123, 142, 185, 217, 231, 242, 262, 266, 435, *535, 541, 558, 561, 565, 616*
Шишкины, Е. А. и И. И. — 78, 85, 87, 102, 105, 234, 236, 242, 249, *554, 565*
Шопен, Фредерик — 124, *546*
Шперер, Эдуард Францевич — 435, 436, *616*
Шредер, Иван Павлович — 333, *582*

Шуберт, Франц — 124, *546*
Шурыгин, Арсений Николаевич — *578*
Шустов, Н. С. — *533*
Шустова, Варвара Николаевна — 22, *533*

Щеголева — 519
Щербатов, Михаил Лазаревич — 64, 65, *540, 541*

Экгорст, Василий Ефимович — 193, *555*
Энгр, Жан Огюст Доминик — 267, 274, *566*
д'Этремон — *603*

Юндолов, Иван Егорович — 89, *542*

Якоби (Якобий), Валерий Иванович — 324, 401, 464, *576, 579, 580, 583, 638*
Янсон, К. Е. — 171, *552*
Ярошенко, Николай Александрович—359, 369, 372, 383, 391, 394, 419, 447, 493, *587, 589, 592, 597, 622*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. Н. КРАМСКОГО, УПОМИНАЕМЫЕ В ПЕРЕПИСКЕ И ПРИМЕЧАНИЯХ

Вечер на даче (рисунок для альбома «Рисунки русских художников») — 379, 381, 383, *592*
Встреча войск (рисунок для альбома «Рисунки русских художников») — 379, 380—383, 420, 421, *592, 593*
Головка (рисунок для альбома «Рисунки русских художников») — 379, 381, 383, *592*
Жаркий день — 515, *642*
Майская ночь — 8, 9, 10, 12, 13, 15, *524, 525, 528, 529*
На тяге (Охотник) — 9, 12, 13, 15, *525, 529, 530*
Неутешное горе — 515, *642*
Ночь (Лунная ночь, Волшебная ночь, Дедушкин сад, Старые тополи) — 421, 426, *607, 610*
Оскорбленный еврейский мальчик — *572*
Осмотр старого дома — 147, 241, 242, 447, 452, 457, *549, 561, 621, 624, 625*
Осмотр старого дома (рисунок) — 242
Пасечник — *572*
Полдень — 515, *642*
Радуйся, царю иудейский (Хохот) — 112, 116, 132, 143, 147, 286—290, 292, 293, 297, 340, 355, 417, 490, 502, *545, 547, 548, 553, 558, 559, 571, 585, 605, 635, 638*
Созерцатель (Божий человек) — 147, 371, *548, 549, 590*
Сомнамбула — 8, *525*
Сумерки — 515, *642*
Храм Христа (эскизы росписей) — 7, 133, 143, 158, 173, *524, 550, 553*
Христос в пустыне — 12, 44, 65, 67, 78, 83—88, 90, 91, 102, 113, 123, 125, 132, 133, 142, 154, 155, 165, 167—170, 183, 184, 286, 318, 343, 350, *528, 537, 540—543, 545—548, 551—554, 571, 584*
Этюд с натуры (портрет крестьянина) — *529, 572*

ПОРТРЕТЫ

Автопортрет — *621*
Александра Александровича, вел. кн. — 173, 217, 340, 447, 478, *553, 621, 631*
Антокольского М. М. — *529*
Бобринского А. П. — 173, *553*
Валуева П. А. — 173, 217, 291, *553, 572*
Васильева Ф. А. — *529*
Васнецова В. М. (рисунок) — *572*
Воейковой В. Н — *602*
Гейнса А. К. — *621*
Гончарова И. А. (1874) — 318, *621, 630*
Грибоедова А. С. — 358, 359, *587*
Зак А. И. — *572, 621*
Клодта М. К. — *529*
Крамской Л. Ф. (Женщина под зонтиком) — *642*
Крамской Л. Ф. (акварель) — *642*
Крамской С. И. — *621*
Крамской С. Н. (1879) — 390, 391, *596*

Крамской С. Н. с детьми — 447, 452, *621*
Леман А. А. — *593*
Литке Ф. П. — *529, 640*
Некрасова Н. А. — 371, *590*
Оболенского Д. А. — 371, *590*
Репина И. Е. (1876) — 354, 355, *585*
Русских исторических деятелей (для Московского Румянцевского музея) — 6, 484, *524, 587, 633*
Савицкой Е. В. — 460, 465, 491, *626*
Савича А. Н. — 371, *590*
Салтыковой Ф. Р. — *561*
Сергея Александровича, вел. кн.— 371, *590*
Строганова Г. С. — *621*
Сувориной А. И. — *621*
Толстого Л. Н. (Третьяковская галлерея) — 291, 301, 318, 354, *560, 572, 574, 585*
Толстого Л. Н. (Музей-усадьба «Ясная Поляна») — 301, *574*
Третьяковой В. Н. — 353, *585*
Шишкина И. И. — 291, 303, 354, 355, 396, *572, 585*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф. А. ВАСИЛЬЕВА, УПОМИНАЕМЫЕ В ПЕРЕПИСКЕ И ПРИМЕЧАНИЯХ

Болото осенью — *540*
Болото утром (Рассвет) — 40, 41, 71, 102, 181, 206, 207, 211, 220, 221, *535, 540, 543*
Вечер (сепия) — *526*
Вид в Парголове — *542*
Вид из Эриклика — 98—100, 102, 104, 106, 110, 114, 115, 120, 127, 128, 131, 138—141, 143—145, 148, 149, 157, 163, 164, *543—550*
Вид из Эриклика (этюд к картине) — 99, *543*
Вид на Волге — *542*
В Крымских горах — 40, 41, 102, 134—136, 140, 150, 151, 156, 157, 161, 162, 164, 165, 167, 172, 174—176, 181, 182, 185—191, 194—196, 200, 204—207, 212, 213, 216, 219, *535, 540, 543, 547—554, 556, 557*
В лодке у берегов Крыма (акварель) — *526*
Волжские лагуны — *526*
Волна — *537*
Горы и море — 40, 53, 57, 68, 69, 71, 75, 76, 79, 84, 99, 102, 105, 107, 108, 185, *536, 538, 540—543, 545, 554*
Заброшенная мельница — 102, *524, 543*
Зима в Крыму — *526*
Крымские горы зимой — *526*
Лес осенью — 102, *543*
Мокрый луг (Болото) — 17, 26, 30—36, 38—46, 50, 52, 71, 102, 128, 170, 185, 188, 190, 193, 194, *531, 534, 536, 540, 543, 547, 552, 554*
Море — 40, 44, 45
Оттепель (Зима) — 35, 42, 43, 46, 62, 74, 75, 83, 117, 187, 194, *534, 537—540, 542, 554, 555*
Приближение грозы — *542*
У источника — 40, 41, 102, 119, 121, *535, 536, 540, 543, 545*
Ширмы (четыре панно) — 76, 77, 83, 85, 96—98, 102, 119, 130, 131, 134, 140, 150, 151, 156, 163, 171, 175, 177, 178, 180, 181, 185, 186. 191, 195, 198, 199, 207, 210, 211, 213—216, 220, 221, 225, 227, 228, *542, 543, 551, 557*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. Е. РЕПИНА, УПОМИНАЕМЫЕ В ПЕРЕПИСКЕ И ПРИМЕЧАНИЯХ

Бурлаки на Волге — 147, 162, 216, 217, 248, 284, 292, 294, 301, 363, 364, 384, 391, 414, *551, 558, 562, 588, 604*
Воскрешение дочери Иаира — *526*
Еврей на молитве — 362, *588*
Иван Грозный и сын его Иван — 406, *601*
Иов и его друзья — 296, *573*
Крестный ход в дубовом лесу (Явленная икона, Несение чудотворной иконы на «корень») — 360, 361, 372, *587*
Крестный ход в Курской губернии — 402, *600*
Монах — 287, 288, *572*
Мужик с дурным глазом (портрет И. Ф. Радова) — 362, 363, 371, *588, 590*
Мужичок из робких (этюд) — 364, 367, 371, *588*
Не ждали — *643*
Парижское кафе — 332, 333, 338, 341—343, 345, 346, 350, 451, *582—584*
Проводы новобранца — 397, 398, 401, *598*
Протодиакон — 358—364, 369, 371, *587—589*
Садко — 294, 309, 311, 339, *573, 575, 584*
Славянские композиторы — *536*
Царевна Софья Алексеевна во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году — 360, 361, 383—387, 389, 390, 391, 401, 423, *587, 593—596, 608*
Экзамен в сельской школе — 360, 361, *587*
Этюд — *594*

ПОРТРЕТЫ

Бове, де, С. А. — 459, 467, *581*
Грибоедова А. С. (копия с портрета работы И. Н. Крамского) — 358, 359, 361, *587*
Забелина И. Е. — 364, 365, *588*
Куинджи А. И. — 351—354, 371, *585*
Мамонтовой Е. Г. — 364, 367, 371, *588*
Неклюдовой Е. Е. — 287, 288, *572*
Писемского А. Ф. — 403, *600*
Поклонской О. О. (акварель) — 287, 288, 294, 300, 301, *572*
Радова И. Ф. — см. Мужик с дурным глазом
Репиной Т. С. — 364, 367, *588*
Русских исторических деятелей (для Московского Румянцевского музея) — *587*
Собко Н. П. — 362, *588*
Стасова В. В. — 287, 288, *572*
Тургенева И. С. — 321, *594*
Шиндлера П. (офорт) — *626*
Чижова Ф. В. (Мертвый Чижов, Смерть Ф. В. Чижова) — 364, 367, *588*
Портрет *** — *594*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. Д. ПОЛЕНОВА, УПОМИНАЕМЫЕ В ПЕРЕПИСКЕ И ПРИМЕЧАНИЯХ

Арест гугенотки (Арест графини д'Этремон) — 332, 334, 338, 363, 410, 411, 413, 467, *582—584, 603, 604, 628*
Бабушкин сад (Бабушка и внучка) — 421, 422, *595, 607, 608*
Воскрешение дочери Иаира — *526*
Голова еврея — *604*

Горелый лес — 427, *611*
Деревня зимой (Зима) — 427, *611*
Лето (Летнее утро, Царство лягушек) — 384, 385, 421—423, *594, 595, 607, 608*
Марина (копия с картины Фортуни) — 415, *604*
Московский дворик — 418, *588, 589, 606*
Московский дворик (этюд 1877 г.) — *606*
Пир у блудного сына — 460, *626*
Портрет Воейковой В. Н. — *602*
Портрет Чижова Ф. В. — *630*
Право господина — 338, *573, 584, 603*
Работник в лесу — *604*
Рыбачки (Удильщики, Ребятишки рыбу удят) — 421, 422, *595, 606—608*
Сказитель былин Никита Богданов (Калика перехожий с берегов Ояти, портрет Никиты Богданова, или Богоданова) — 416 *605*
Турецкий аванпост — 425, *610*
Христос и грешница — *613*
Цезарская забава — *603, 607*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ К. А. САВИЦКОГО, УПОМИНАЕМЫЕ В ПЕРЕПИСКЕ И ПРИМЕЧАНИЯХ

Воровка (Врасплох под яблоней) — 482, *632*
Встреча иконы — 370, 372, 396, 492, 493, 495, 500, 502, 503, 511, *590, 635, 636, 640*
Дворик в Нормандии — 449, 483, 484, 492, 493, 495, 500, 502, 503, *623, 633, 634, 635*
Деревенская околица (акварель) — *616*
Каин и Авель — *526*
На войну — 505, 509, 511, 512, *636, 639—641*
Нормандский рыбак — *623*
Овернские этюды — 449
Охотник — 434, 452, *616, 624*
Подолянка — 505, 512, 513, *639*
Пожар в деревне (Погорельцы) — 488, 492, 493, 495, 500—504, *635*
Путешественники в Оверни (Путешествие на гору Санси в Оверни) — 309, 449, 453, 456, 460 475, 492, 493, 495, 500, 502, 503, *575, 623, 626, 630, 635*
Ремонтные работы на железной дороге (Землекопы) — 250, 280, 287, 291, 292, 296, 434, 452, 477, *561, 562, 569, 571, 615, 619, 621, 624, 634, 638, 639*
Ремонтные работы на железной дороге (этюды) — 240, *561*
Рыбак в беде (Море в Нормандии, Приморский вид)—309, 449, 457, 475, *575, 623, 626, 630*
Рыбак в беде (эскиз) — *623*
Семейный портрет — 433, *614*
С нечистым знается — 505, 512, 513, *639*
Спросил бы, да боязно (Приглянулась) — 483, 484, *633, 634*
Темные люди (Бродяги в камышах) — 482, *631, 632*

РИСУНКИ, ОФОРТЫ

Водопад Кивач (рисунок) — *631*

Динабург. Деятельность Общества Красного креста. Упаковка палаток для отправления в действующую армию (рисунок; грав. А. Даугель) — 486, 487, *634*

Мобилизация русской армии. Сборный пункт для отправления воинской конной повинности (рисунок; грав. А. Даугель) — 486, 487, *634*
Перед домом (офорт) — *633*
Пожар в деревне (сепия) — *635*
Приготовление гонта (рисунок) — 487, *634*
Типы и сцены провинциального захолустья (шесть рисунков) — *634*

КАРТИНЫ И. И. ШИШКИНА, НАПИСАННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ К. А. САВИЦКОГО

Утро в сосновом лесу — *614*
Дождь в дубовом лесу — *614*

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции III

ПИСЬМА

ПЕРЕПИСКА с Ф. А. ВАСИЛЬЕВЫМ

Тексты писем подготовлены Ф. С. Мальцевой

1871

1. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому. 5
2. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 11 июня 6
3. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 1 августа 6
4. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 21 октября 8
5. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 8 ноября 10
6. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 6 декабря 12
7. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 27 декабря 14

1872

8. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 1 января 19
9. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 8 января 20
10. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 2 февраля 28
11. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 22 февраля 32
12. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 1 марта 36
13. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 15 марта 42
14. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, март 45
15. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 20 апреля 50
16. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 25 апреля 52
17. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 2 мая 55
18. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 22 мая 59
19. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 24 июня 60
20. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 5 июля 62
21. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 15 июля 66
22. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 20 июля 67
23. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 11 августа 76

24. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 20 августа 78
25. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 29 августа 82
26. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 22 сентября 84
27. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 10 октября 87
28. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 20 октября 92
29. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 12 ноября 103
30. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 23 ноября 105
31. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 30 ноября 107
32. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 16 декабря 114
33. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 22 декабря 122

1873

34. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 1 января 127
35. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 4 января 133
36. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 14 января 138
37. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 14 января 145
38. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 27 января 145
39. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 28 января 148
40. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 2 февраля 151
41. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 8 февраля 158
42. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 13 февраля 167
43. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 19 февраля 174
44. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 25 февраля 176
45. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 25 февраля 177
46. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 28 февраля 186
47. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 3 марта 195
48. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 11 марта 199
49. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 14 марта 203
50. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 25 марта 210
51. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 27 марта 213
52. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 3 апреля 217
53. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 8 апреля 220
54. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 10 апреля 223
55. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 13 апреля 226
56. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 19 апреля 227
57. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 15 мая 230
58. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 29 мая 232
59. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 2 июля 235
60. Ф. А. Васильев — И. Н. Крамскому, 25 июля 237
61. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 1 августа 238
62. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 18 августа 241
63. И. Н. Крамской — Ф. А. Васильеву, 10 сентября 242

ПЕРЕПИСКА с И. Е. РЕПИНЫМ

Тексты писем подготовлены Е. Г. Левенфиш

1873

64. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 3 августа 247
65. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 2 сентября н. с. 251
66. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 8 октября н. с. 255

67. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 8 октября 258
68. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 8/20 ноября 260
69. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 15/27 ноября 263
70. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 8 декабря н. с. 267
71. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 6 декабря ст. с. 269
72. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 16/28 декабря 273
73. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 25 декабря 276

1874

74. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 1/13 января 281
75. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 6 января 283
76. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 30 января 287
77. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 30 января 288
78. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 19 февраля н. с. 291
79. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 23 февраля 295
80. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 31 марта 301
81. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 7 мая 306
82. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 23 августа 309
83. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 26 августа 310
84. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 13/25 [сентября] 311
85. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 28 сентября 312
86. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 16/28 октября 316
87. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 29 октября 318
88. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 15/27 ноября 321
89. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 16 ноября 323
90. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 21 ноября 325
91. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 24 ноября/6 декабря 325

1875

92. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 1 января 327
93. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 1 апреля 329
94. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 5 апреля 330
95. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 22 мая н. с. 331
96. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 16 мая 334
97. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 1/13 июня 338
98. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 20 августа 340
99. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 29 августа 343
100. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 10 сентября 346
101. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 14 сентября 350

1877

102. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 13 октября 351
103. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 29 октября 352
104. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 20 ноября 355
105. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 15 декабря 355
106. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 26 декабря 356

1878

107. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 5 января 358
108. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 7 января 358
109. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 13 января 359

110. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 21 января 361
111. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому [13 февраля] 362
112. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 17 февраля 362
113. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 1 марта 364
114. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 6 марта 364
115. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 8 марта 365
116. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому [10 марта] 367
117. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 10 марта 367
118. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 26 марта 368
119. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 9 мая 371
120. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, [1 октября] 374
121. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 2 октября 376
122. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 21 декабря 379

1879

123. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 29 января 380
124. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому [31 января] 380
125. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 2 февраля 381
126. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 3 февраля 382
127. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 9 февраля 383
128. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 14 февраля 384
129. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 17 февраля 385
130. И. Н. Крамской — И. Е. Репину [февраль] 386
131. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 23 февраля 387
132. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 25 февраля 388
133. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 23 апреля 389
134. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 29 апреля 389
135. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 14 мая 389
136. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 17 мая 390
137. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому. 391

1880

138. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 17 марта 393
139. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 25 марта 394
140. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 15 апреля 395
141. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому [19 апреля] 396
142. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 28 октября 397
143. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 7 ноября 397
144. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 10 ноября 398
145. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 13 ноября 399
146. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 23 ноября 401

1881

147. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 4 [февраля] 402
148. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 14 февраля 403
149. И. Е. Репин — И. Н. Крамскому, 16 февраля 404

1885

150. И. Н. Крамской — И. Е. Репину, 25 января 406

ПЕРЕПИСКА с В. Д. ПОЛЕНОВЫМ

Тексты писем подготовлены Г. В. Смирновым

1867—1868

151. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову. 409
152. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 27 января 409

1875

153. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 2/14 марта 410
154. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 23 марта 410
155. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 12 апреля [н. с.] 411
156. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 5 апреля 413
157. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 24 мая [н. с.] 414

1876

158. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 12 сентября 416
159. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 5/17 октября 416

1878

160. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 13 апреля 418
161. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 14 апреля 418

1879

162. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 29 января 420
163. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 1 февраля 420
164. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 3 февраля 421
165. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 12 февраля 422
166. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 15 февраля 422
167. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову [18 февраля] 423
168. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 23 февраля 423
169. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 14 марта 424

1880

170. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 31 марта 425
171. И. Н. Крамской — В. Д. Поленову, 15 апреля 425
172. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 19 апреля 426

1881

173. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому [март] 427

1882

174. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 12 апреля 428

1883

175. В. Д. Поленов — И. Н. Крамскому, 13 ноября (25 н. с.) 429

ПЕРЕПИСКА с К. А. САВИЦКИМ

Тексты писем подготовлены Е. Г. Левенфиш

1873

176. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 22 июня 433

1874

177. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 12 марта 434
178. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 14 марта 435
179. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 29 марта — 2 апреля . . . 436
180. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 1/13 мая 440
181. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 12 мая 443
182. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 1 июня [н. с.] 445
183. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 27 мая 445
184. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 26 августа 446
185. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 18 сентября 447
186. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 25 сентября 453
187. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 24 октября/5 ноября 457
188. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 20 ноября [н. с.] 458
189. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 8 ноября 461
190. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 16 ноября 462

1875

191. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 8 января 466
192. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому [12 февраля н. с.] 468
193. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 4 февраля 468
194. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 9 февраля 469
195. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 14 февраля 470
196. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 14 марта 471
197. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 27 апреля 472
198. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 23 июня 474
199. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 13 августа 476
200. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 20 августа 478
201. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 30 сентября 479
202. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 20 октября 481
203. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 21 октября 481

1877

204. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 24 февраля 483
205. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 4 апреля 484

206. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 5 апреля 485
207. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 10 июля 485
208. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 27 августа 489
209. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 12 сентября 492
210. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 16 декабря 494
211. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 21 декабря 496
212. И. Н. Крамской — К. А. Савицкому, 26 декабря 497
213. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 31 декабря 498

1878

214. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 16 января 501
215. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 7 ноября 505
216. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 23 ноября 507
217. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 10 декабря 509
218. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 22 декабря 509

1879

219. К. А Савицкий — И. Н. Крамскому 4 января 512
220. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому [февраль] 513

1884

221. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 25 марта 514
222. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 8 апреля 515
223. К. А. Савицкий — И. Н. Крамскому, 9 апреля 517

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАТЕЛИ

Примечания к переписке с Ф. А. Васильевым. *Составитель Ф. С. Мальцева* 523
Примечания к переписке с И. Е. Репиным. *Составитель О. А. Лясковская* 562
Примечания к переписке с В. Д. Поленовым. *Составитель Г. В. Смирнов* 602
Примечания к переписке с К. А. Савицким. *Составитель Е. Г. Левенфиш* 614
Именной указатель 645
Указатели произведений И. Н. Крамского, Ф. А. Васильева, И. Е. Репина, В. Д. Поленова и К. А. Савицкого, упоминаемых в переписке и примечаниях. 656

И. Н. Крамской
ПЕРЕПИСКА С ХУДОЖНИКАМИ

Редактор Н. Семенникова
Оформление художника И. Рерберга
Технический редактор З. Колесова
Корректоры Н. Войцеховская,
Н. Яковлева

Сдано в набор 30/VII-54 г. Подп. к печати 1/XI-54 г. Форм. бум. 60 × 92 1/16. Печ. л. 41,75. (Условн. 41,75). Уч.-изд. л. 40,44. Тираж 10 000
М-55281

Государственное издательство „Искусство“
Ленинград, Невский, 28
Изд. № 877. Заказ тип. № 1137
Типография им. Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57

Цена 38 р. 70 к.


3 р. 70 к.